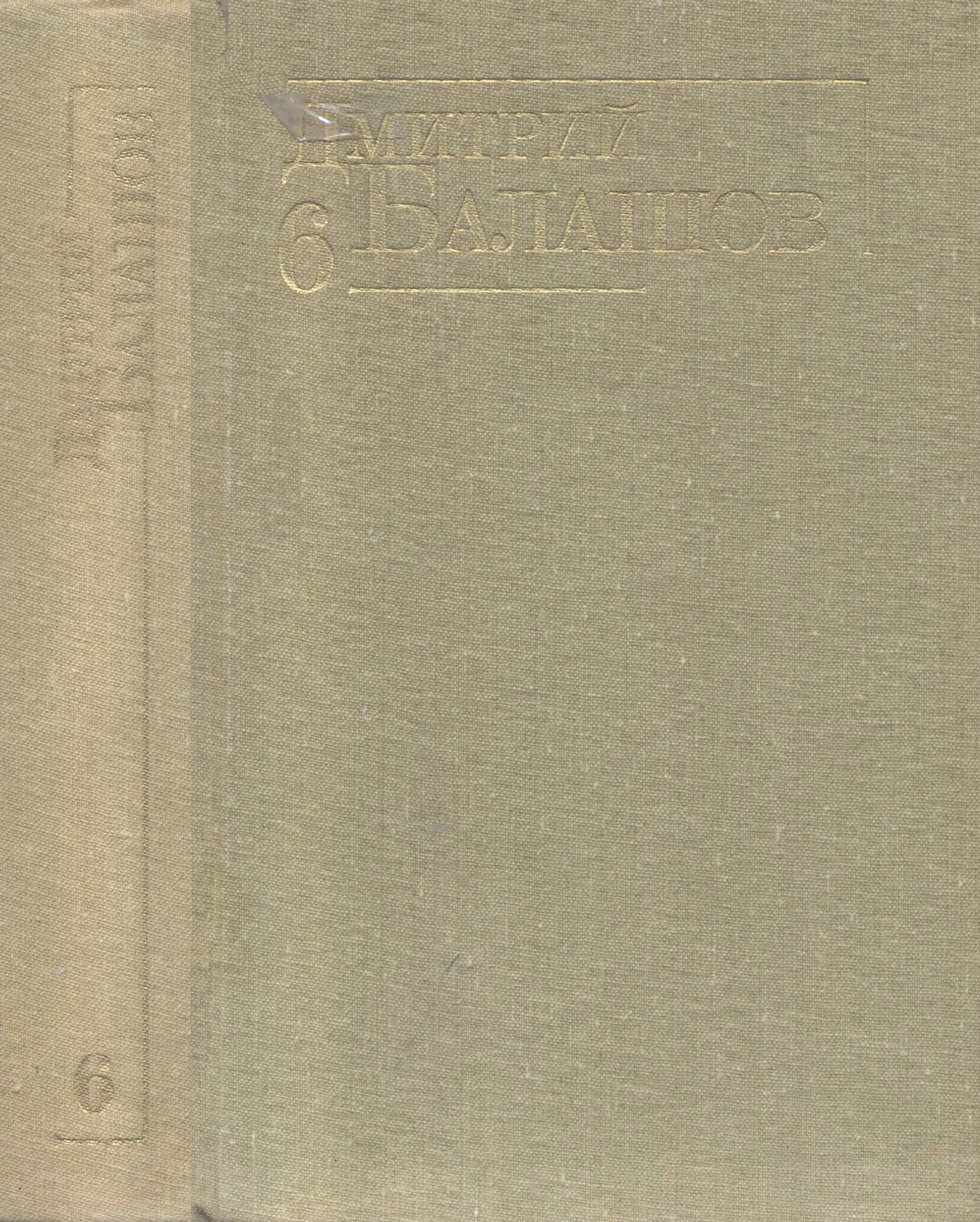
ДМИТРИЙ
6 БАЛАШОВ
ДМИТРИЙ
БАЛАШОВ
6

Дмитрий
Балашов

6

Дмитрий Балашов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

Москва «Художественная литература» 1993

Дмитрий Балашов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ШЕСТОЙ

Отречение

РОМАН

Москва «Художественная литература» 1993

ББК 84Р6
Б 20

Издание выпущено по Федеральной
целевой программе книгоиздания России

Оформление художника
Ю БАЖАНОВА

Б $\frac{4702010201-105}{028(01)-93}$ Подписное

ISBN 5-280-02039-7 (Т. 6)
ISBN 5-280-01602-0

Отречение

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПРОЛОГ

Чему может научить история, и может ли она научить чему-нибудь?

Читают о прошлом обычнее всего старики. Младости не свойственно, «пыль веков от хартий отряхая», вглядываться и вдумываться в дела людей, которые тоже ведь когда-то были и дерзки и молоды, но уже уснули, прошли, развеялись, и прах их истлел и смешался с прахом иных, таких же прошедших поколений, и кому и когда охота придет подумать о том, что в нас, в каждом, претворенная в соках земли, та же кровь и та же плоть и что в ветшающих памятях пращуров, книгах и храмах, развалинах городов и родных могилах доходит до нас тихая музыка былого, что дух отошедших к Творцу, «к началу своему», овеивает и нас, сиюминутных и бренных, коим, в свой черед, придет отзвенеть, отгулять и упокоиться в родимой земле?

И все же, и почему без памяти прошлого не живет, ничтожится, пылью растекаясь по лику земному, ни один народ?

Что в том, в отживающем прошлом, что в том для нас — молодых?

Ветхая плоть, кислый запах старости, отчаянно-беззащитные перед концом своим родные глаза? И ужас: как раздевать, как обмывать это уже неживое, глинисто-податливое тело? А потом — свежая земля и крест, либо обелиск, либо серая мраморная плита с надписью и фотографией? А потом — деревенское, городское ли кладбище, куда надо сходить «навестить бабушку» или уж совсем небылого, неясного, невиданного никогда прадеда, подчас и похороненного на чужбине, погибшего еще на германской, турецкой ли войне, и прапращуров, погибших под Москвою и Аустерлицем, на Кавказе, в Крыму, на Литовском рубеже, в сшибке с

ногайцами или еще прежде того, на поле Куликовом, на Ждане-горе, на Немиге, на Калке, на неисчислимом множестве иных великих и малых рек, и полей, и холмов,— так что, пожалуй, без хотя бы капли крови, пролитой пращурами, нет, не наберешь и горсти земли на просторах великой России...

Ну и что? И помнить?! Помнить — нельзя. Нельзя тогда и жить. Не вместить эту череду, вереницу смертей в одно свое, и тоже бренное, бытие. Нет, не помнить! Но чуять сердцем, душою, когда дует холодный ветер, когда сырью, влагой, духом земли и травы, когда горечью несвершенных надежд и упрямою верой в бессмертие пахнут просторы холмистой равнины с синью лесов, с обязательной синью лесов, замыкающих дальний окоем! Когда ни словами сказать неможно, ни даже песней, но звенит, звенит и тонет в веках минувших минувшая юность земли!

А так — в тяжелой, украшенной резною медью кожаной книге, разгибая пожелтевшие плотные листы, прочесть список побед и перечень славных имен и отеплить сердце гордостью лет минувших... Быть может, этому, да, конечно, этому в первый черед учит история! Славе родимой земли. А ежели бесславию? А ежели пораженья и беды? А и то спросим: продолжает ли помнить народ, уходящий в ничто, о веках величия своего? Люди еще живут, еще ведется молвь на том, прежнем, великом языке, но уже и обедненном, и искаженном, а памяти уже нет, уже лишь смутные преданья проглянут в редких байках стариков... Народ исчезает с памятью своею. И уже другим и другой славе отданные, и словно бы и сами иными видятся реки, леса и холмы, и земля постепенно поглощает, окутывая и погребая в себе, памяти старины уставшего жить племени.

Так есть ли смысл в этом вечном обновлении земли? Есть ли высшая цель в постоянной гибели новых и новых народов? И почему мы, жестоко и жадно разрушая зримые цивилизации, начинаем затем по крупицам, по черепкам, по монетам, сокрытым в земле, восстанавливать прошлое, пытаться понять язык тех, кто прошел и ушел и не вернется уже никогда, никогда больше? Что нам в том?

Но и не самая ли это большая услада на тернистом пути познания — узнавание прошлых эпох, цивилизаций, несхожих с нашею, и культуры иной?

Чему может научить история? Не повторять прежних ошибок? Мы их повторим все равно! Гордости? Гордиться можно (и даже легче!) незнанием! Или это продление жизни, мысленный, зримый воображению путь через столетия? И даже поняв цепь причин и следствий, железную череду этнических смен, взлетов и падений, в которые выстраивается наконец познанная нами история человечества, даже поняв, повторяю, можно ли (тем более!) изменить сущее, спасти от гибели уставший народ, перечеркнуть предначертанное природой... И однако, не в этих ли вечных стремлениях перечеркнуть, воспретить, восстать, воскреснуть, не в них ли подлинная жизнь, а все иное — лишь тени ненастных облаков на любимом лице?

Волны времени, подмывая век за веком осыпи слежавшихся глин, рушат наконец сухую кромку затравяневшего берега. Обнажаются игольчатые скопления древних белемнитов, окостеневшее дерево, треснувшая небесно-голубая бирюзовая бусина, а под нею коричневая, окаменелая кость. Проходят, протекают, меняясь, тысячелетия, века, годы...

И я вновь берусь за перо, ибо труд мой стал уже больше меня самого, я должен его докончить во что бы то ни стало и даже умереть не вправе прежде конца.

ГЛАВА 1

Ветер осени оборвал с ветвей последнюю украсу пожухлого великолепия нерукотворной парчи, обнажив сиреневые от холода тела берез и сизую, седую полосу тальника вдоль дальнего, низменного берега разбухшей от осенних дождей, холодной даже на взгляд громады Волги.

Уныли, пожухли и сами заволжские дали. Сквозь редину ветвей облетевшего сада сквозисто гляделось белесое небо — грустное, холодное и далекое, с редкими уже птичьими стадами, улетающими на юг, в земли незнаемые. И редкие порхающие в воздухе игольчатые снежинки, и забереги на старицах, и по утрам лед на лужах расхристанных осенних дорог, которые до звона сушил теперь упорный осенний ветр,— все говорило о том, что подступила пора зимы, пора волчьего воя и утренней тьмы на путях, пора метельных заносов, и скоро уже прозрачной бронею оденет стремнину волж-

ской воды, и вмерзнут в лед купеческие мокшаны, лодьи и кербаты, и дымом из труб оденется город, весь в серебре инея, как в мерцающей ризе, над белою до весеннего теплого ветра, до нового ледохода рекой.

Снег уже не раз и не два принимался идти, стаивая и вновь покрывая твердеющую раз за разом землю. Наступил ноябрь.

Константин Василич глядел в окошко своего высокого терема и знал, ведал уже, что не узрит ни нового ледохода, ломающего лед на великой реке, не узрит сверканья струй ледяной, синей, веселой воды, ни оголтело прущей вверх по Волге рыбы, свивающейся тугими кольцами под ударами остроги, ни новых набухающих почек на ветках дерев, ни даже серо-сиреневых зимних далей укрытого снегами Заволжья... Князь умирал.

И сейчас — отойти бы от забот земных, оглянуть, размыслить перед последним концом, перед торжественным и грозным переходом «туда». А дела не отпускали, отвлекая своею уже ненужною, ненадобною душе суетой. Скрипнула дверь. Засунул внимательный лик ключник. Обозрел князя, глянул в светлые, почти беззащитные на потемнелом, истончавшем лице глаза, произнес: «Привел!» Замер в поклоне. По разрешающему знаку Константина впустил боярина. Тот пугливо оглядывал грозного князя, укутанного в шубное одеяло, крытое рытым бархатом, костистый исхудалый лик, долгое породистое лицо с серою, потерявшею блеск бородою...

Твердой рукой держал князь Константин бояр своих. Карал отступников. Строго взыскивал за всякую неисправу. В давнем споре с Симеоном Гордым переветников казнили, по торгу водя в позорном платье, на память и вразумление прочим. И теперь бояре послушно ходили в руке князя. Вместе с ним возились из Суздаля в Нижний, рубили терема, заводили села на новых местах. И теперь, верно, ждут — страшась или вожделея? — его близкой смерти.

Князь поглядел строго, как умел всегда. Как все еще мог, хотя и с трудом, в эти последние дни. Изрек твердое слово. Боярин, оробев, исчез, растаял. А Константин, чуть-чуть усмехнув краешком губ и кивком головы отпустив ключника, взял в руки маленькую книжицу поучений Аввы Дорофея и, не читая, вновь поднял глаза на икону «Преображения» суздальского письма,

которую любил и нарочито поместил в покое, прямь ложа своего.

Угласто падающие апостолы, в ужасе от потоков света, исходящих на них от преображенного Христа, напомнили давешнего боярина. Вновь и опять полонила ум грозная неслиянность той, божественной, жизни, где гармония ангельских сфер, и этой, земной, в коей свет высокой правды заставляет даже учеников Его падать ниц в ужасе и страхе. Ведь чаяли, ждали! А меж тем, когда Учитель явился к ним в одеянии света, попадали ничью в ужасе. Отчего? Испугались торжества славы! Устрашились въяве того, чего чаяли словесно!

Лик Спасителя был строг и по-гречески сух. Пурпур зари (зари Святой Руси!) еще не претворился в лазурь и черлень ало-золотого солнечного сияния. Еще не потянулись пламенем свечей купола, еще шеломам подобны вставали главы соборов, еще не родился инок Рублев, еще не грезили Куликовой победою рати, еще все было впереди и во мгле,— а князь умирал.

Игумен Дионисий пожаловал невдолге вслед за боярином. Благословив князя, сел у соломенного ложа на раскладное кожаное креслице. Горячечный пронзающий взор обжег умирающего.

Дионисий начал когда-то с пещеры малой в урыве волжского берега в подражание великим подвижникам Лавры Печерской, жаждая повторить здесь, на Волге, в одно поколение то, что там, в Киеве, слагалось веками. И ведь получалось, получалось же! Вот он, его монастырь, и толпы верующих, и слава, и ученые переписчики книг, и все окрест, даже сам князь, поверили ныне в его, Дионисия, духовную мощь...

— Веришь? — вопросил умирающий.

— Но почему (в самом деле, почему?!),— возгремел глас Дионисия,— не Новеграду Нижнему воссиять в веках столицею новой Руси?! Яко древлему Киеву! Почему? Твердо стать здесь, в челе русских земель, на великих путях торговых и опрокинуть жадную степь, новым Мономахом промчать по татарским кочевьям! Отодвинуть поле саблями харалужными суздальских славных полков!

— И тогда ты, Денис, с крестом впереди воинства русичей...— Князь говорил едва слышно; куда угас звучный княжеский зык? — Завидуешь славе Алексия?

Книжица поучений Аввы Дорофея была раскрыта на главе о смиренномудрии. Дионисий, углядев, пошел

густым румянцем. Насупился. Умирающий знал его, знал слишком хорошо. Не признаваясь сам себе в том, Дионисий мучительно завидовал московиту, у кого доднесь сотворялось все замысленное и ныне сотворилась, далась, несмотря на бешеное сопротивление литовского князя Ольгерда и тверского ставленника Романа, вышняя духовная власть на Руси. Из Царьграда Алексий вернулся победителем, митрополитом всея Руси! И даже сумел митрополичий престол перетащить из Киева во Владимир, под свое крыло... Почему, ну почему князь Константин не получил доднесь великого княжения владимирского!

— Степь уже не страшна! — сурово отверг Дионисий, подымая твердый взор на князя.— Джанибек умрет, и с ним погибнет Золотая Орда! Только робость князей да раздоры... Кто, кроме нас, русичей, поддерживает ныне ордынский престол?

— Суздаль, Тверь, Москва и Рязань...— начал перечислять Константин.

— Да, да! — пламенно перебил Дионисий.— Ежели не Ольгерд, не Литва, пожравшая уже, почитай, три четверти великой киевской державы! Он один не медлит!

(А Джанибек взял и отдал престол владимирский Ивану. Баяли, и таковое еще произнес: «У Константина есть сумасшедший поп Денис, он заставит суздальского князя начать войну с Ордой!»)

— Меч ли железный или духовный меч перевесит на весах судьбы? — тихо вопросил умирающий.— Наши княжества равны по силе, но Москва держит у себя митрополичий престол! Почему Михайло Святой рассорил с владыкою Петром?

Дионисий дернул плечом. Он сам не раз задумывал об этом.

— Но тогда... Тогда Тверь, а не Суздаль стала бы во главе Руси!

«Денис! — хотелось сказать князю.— Отче Дионисие! У тебя еще есть силы, а у меня их уже нет, я изнемог, я умираю ныне! И хочу теперь одного: чтобы город не умер вместе со мной! Город, основанный в подражание Киеву на высоком берегу великой реки (как Смоленск, как Владимир) на пути в богатые страны Востока, означив грядущее заселение Поволжья русичами... Не в укромности, не в лесах дремучих, не в узкости стечки двух рек, на треугольном мысу, отгороженном рвами,— как основаны все, почитай, москов-

ские грады, прячущиеся от ворога за непролазными топями болот... Неужели умрет он и погибнет его новая столица — Нижний Новгород? Горше видеть кончину трудов своих, чем собственную смерть, ибо человек — персть, и преходящ, яко и всякая тварь земная, и чает бессмертия токмо в трудах своих!»

...Но город жил. Умирающий прислушался. Издали доносило звоны и тяжкие удары кузнечных молотов, отчетистый в холодном воздухе перестук секир. Город строился, рос, карабкаясь по кручам, распространяясь по урыву высокого берега; сильнел торговлею, густел крепкими лабазами иноземных и своих торговых гостей.

— Роман еще не сломлен! Константинополь может и перерешить! — сказал Дионисий, отводя взор.

— На Москве хлеб дешев! — возразил князь.

— Вывоза нет! — отверг игумен.— Потому и дешев хлеб! А серебро у нас! Не будь князь Семен другом Джанибека, давно бы и великий стол перекупили у Москвы!

Умирающий вновь усмехнул краем бледных, потерявших краску губ. Чуду подобно! Он, князь, мыслит ныне, как инок, а инок сейчас говорит, стойно купцу. Быть может, владыка Алексий и прав! Соборно! Вкупе! Всякая тварь... братия во Христе... Но почему Москва?!

Когда Константин по осени подписал соглашение с Иваном Иванычем Московским, дети встретили его хмурые. Борис не сдержался:

— Отец, зачем ты заключил ряд с Иваном!

...Затем, чтобы снять с вас груз этой ненужной уже, как видится теперь, полувековой при...

Дионисий подымается. Молча величественно благословляет князя.

Стеснясь в дверях, входят сыновья. Кучей, все трое. Темноволосый, внимательноликий Андрей, сын гречанки (он более всех понимает сейчас своего отца). Высокий Дмитрий, очень похожий на родителя, такой же сухопарый и широкоплечий, и только во взоре проглядывает ограниченная надменность.

«Упрям ты, сын! — думает Константин.— И в этом грядущая беда и поражение твое!»

Младший, Борис, ростом ниже брата и шире, и зраком яростен. Этот, быть может, и достигнет своего, но какой ценою! Андрей бездетен, престол перейдет к Дмитрию. Не разодрались бы сыновья над его могилой!

Константин Василич плохо слушает детей. Его взгляд вновь устремлен на иконостасный ряд, занявший почти всю стену покоя. Там — собор праведников у престола Богородицы. Там — всякое дыхание славит Господа. Там — надмирный покой и торжество, пурпур ранней зари и золото, священные цвета Византии, согласные хоры праведных душ и ангелов... А здесь — свары, дележ добра и наследств! Он чует, слышит, он уже почти там, за гранью, а они, дети, не понимают, их слух замкнут скорбью земли.

— В конце концов, я не подписывал ряда за вас! — говорит он с досадливою отдышкой.— В вашей воле поиначить судьбу! Вот ваши отчины! Вот то, что я успел совершить! Одно только помните, сыны: за вами и над вами — Святая Русь!

После того как прочли душевые грамоты, утвержденные игуменом Дионисием, и каждый получил свое — градами, селами, портами и узорочьем, Константин отпустил детей, удержав одного старшего.

Три сына, три судьбы. И только одна судьба, Андрея, ясна ему. Долгое чтение грамот утомило Константина Василича несказанно. Князь прикрыл вежды. Сколько сил, кипения страстей, борьбы — надобной ли? Но без нее нет и жизни!

Как странна смерть! По-прежнему несут дрова — топить печи. Дурным голосом вскричал петух, начав яростно-звонко и кончив хриплым натужным зыком. Жизнь шла, не прерываясь. И город рос. Его город!

...Он отпустил Андрея, наказав еще раз о грамотах и нераздельном владении Нижним Новгородом. (Андрей один не изменит отцовой воле!)

Служитель, мягко ступая, поставил горячее питье. Князь, поморщась (все было трудно и не надобно уже), отпил, откинулся на полосатые подушки, утонув в курчавой овчине взголовья. Неужели и дух слабнет с ветшающим телом? И ищет примирения с тем, против чего восставал и боролся допрежь?

В соломенном ложе от долгого лежанья промялось удобное углубление, и, нащупав его тяжко непослушливым телом, князь вновь замер, глядя в желтоватые слюдяные пластины окна.

— Отокрой!

Холоп не понял враз. Константин повторил громче:

— Отокрой!

По небу, враз проголубевшему, зеленоватому, свеже-

му, напомнившему строевые сосновые боры (и морозною свежестью пахну́ло, ознобив лицо и руки), тонкою кисеею проходило сиренево-розоватое облако. Быть может, душа, освободясь от тлена этого старого тела, помчит туда, как отставший от стаи гусь, и сверху узрит рубленые городни над кручею Волги, и стальную, вспыхивающую серебром полосу осенней воды, и леса, леса в редких росчистях новонасельников-русичей... И как же будут малы оттуда злоба, и зависть, и спесь, и местнические их княжеские счеты, как малы и ничтожны, и как необозрима пустыня небесных сфер! И с мягкою болью пришло, что и те великие просторы невозможны без этой грешной плоти, без земного воплощения своего! Потому и земля, и все сущее в ней... А дети вновь затеют драться с Москвой!

Он все-таки слишком много вложил в нее, в эту земную, грешную борьбу русичей за вышнюю власть во Владимирской земле! И только сейчас, может быть, следя тающее облако на холоде осенних небес, понимает, что есть высшее, что есть то, пред чем ничтожны крохотные усилия поколений, брань и противоборство коих слагаются в неведомую им череду деяний, быть может, предуказанных свыше Господом? Или предуказана одна лишь эта непрестанная жажда к волевому усилию, каковая и есть земная жизнь, по тому самому лишенная недостижимой для нее небесной гармонии?

Холоп, сторожко поглядев на князя, вновь опустил окошко. Константин Василич не пошевелился. Спал ли он, грезил ли с отверстыми очами? Или уже подступило то, последнее, и надобно звать отца Кирилла, слать за владыкою, за игуменом Денисом, за сынами и боярами старого князя? Константин медленно перевел ожившие глаза на холопа, подумав, примолвил:

— Ступай!

Дионисий будет рещи о великом жребии Нижегородской земли. Свое для всех правее! Доселева и он верил, что право на их стороне, ибо они — старейшие. Великим князем владимирским сперва был Андрей Ярославич, уже потом — Александр Невский, от коего тянут свой род московиты, и уже третьим по счету — Ярослав Ярославич Тверской. А о самой трудноте — разделении царств на ся и о преодолении сего — думал ли? «И начаша князи про малое — се великое — молвити, а сами на себя крамолу ковати»,— пришли на ум слова древней повести, которую когда-то сам читал детям...

Родовые права и соборное единение русичей. Воля и доброта. Власть и отречение. Где истина? И достижима ли она в мире сем?

Он вновь обратил тускнеющий взор к иконам. Передрассветный пурпур «Софии — Премудрости Божией» новогородского письма притек в очи. Пурпур зари грядущего единения рождаемой в муках новой, залесской Святой Руси!

Отемнело! Серыми клубами, затягивая померкший окоем, шли по небу гонимые пронзительным ветром, тяжкие, беременные снегом облака. Надвигалась зима.

ГЛАВА 2

Со дня смерти старого суздальского князя Константина минуло пять лет.

Протекли события, о коих речь уже велась в книге иной, и ежели бы не ордынский ужас, означивший начало крушения монгольской державы на Волге, то все иное возможно бы было почесть теми мелочами удельных споров и борьбы самолюбий, коими заполнена ежедневная история человечества.

Но уже достигала, уже достигла Руси иная, грозная волна, и первый ее тяжкий удар, качнувший золотоордынский престол, заставил отозваться дрожью весь улус Владимирский.

После того как была зарезана царица Тайдула, наступила «великая замятня»: два десятилетия смут и переворотов, когда иной из очередных ханов из Синей Орды успевал просидеть на престоле Сарая всего несколько дней.

Волна эта шла издалека, охватывая все области, где еще недавно безраздельно хозяйничали татары.

В далеком Китае, где монгольская династия губила саму себя, будущее решалось в кровопролитных сражениях повстанческих и разбойничьих армий. Крестьянский вождь Чжу Юань-чжан, разгромив в четырехдневном бою своего главного соперника, объявил себя императором и вскоре воссоздал новую китайскую династию Мин.

Рушилась монгольская власть в Персии. На очереди было возрождение под властной рукой Тимура хорезмийского султаната.

Рушилась, точно половодьем съедаемая турками-османами, Византийская империя.

Стремительно росла Литва, поглотившая уже почти всю Киевскую Русь.

Круговерть военных катастроф захлестывала и западный мир, хотя то были события иного внутреннего наполнения и исход их был иной, но они отнимали у Запада возможность вмешаться вооруженной рукой в дела Восточной Европы, подкрепив католическое наступление силой меча. Уже совершилось сражение при Пуатье, низринувшее Францию, и кто бы мог предвидеть растянувшуюся на столетие войну и крестьянскую девушку Жанну д'Арк, бросившую призыв: «Прекрасная Франция!» — означив то, за что стало можно умирать и сражаться, и тем воскресившую сильнейшее государство Западной Европы.

Еще стояла в обманчивом величии Чехия, ставшая при Карле I центром Германской империи. И тоже — кто мог предвидеть, что час славянского терпения истек, кто мог предсказать проповедь Гуса, Яна Жижку, таборитов и чашников, отчаянный героизм пражан и трагедию Белой Горы?

Предвидел ли кто, во что вскоре вырастет Османская Турция? Догадывались ли Сербия и Болгария, что с крушением ненавистной им Византии и их дни сочтены и уже недалеки Косово поле и долгий турецкий плен? Понимали ли Генуя с Венецией, весело хозяйничающие в бывших византийских владениях, что и их власти тут приходит конец и скоро все острова и крепости, захваченные итальянцами, перейдут под власть мусульманского полумесяца?

И чего могли ожидать, на что рассчитывать владимирские русичи, когда первым же ударом начавшейся бури было опрокинуто и разметано все сложное здание подкупов и интриг, возводимое московскими государями, начиная с Ивана Калиты и Юрия? Погибли в резне прежние эмиры и беки. Новые, пришедшие из Синей Орды ханы переиначили все, и очередной волжский володетель, коему москвичи привезли на поставленье ребенка Дмитрия, рассмеялся и передал владимирский престол взрослому (да и богатому!) суздальскому князю.

Весною 1360 года новый великий князь владимирский Дмитрий Константиныч воротился с пожалованьем из Орды. И тою же весною полумертвый, с немногими

оставшими в живых спутниками возвращался на Москву бежавший из киевского плена митрополит Алексий, чтобы с муравьиным упорством начинать все заново, восстанавливая и возводя вновь здание московской государственности. Спросим себя теперь по праву историка, почему же не Турция с Литвой, поделив «сферы влияния», стали в конце концов господами Восточной Европы и Средиземноморья? И почему Русь, так отстававшая от соперников своих, столь осильнела впоследствии?

Энергия, являющаяся в мир «свыше» (вероятнее всего, из космоса, и в этом отношении надо лишь удивляться глубокому провидению наших предков), поступая в распоряжение людей, начинает подчиняться далее условиям места и времени, политическим, экономическим и иным обстоятельствам, достаточно изученным наукою. И тут решительное влияние на судьбы государств и народов оказывают принятые ими решения, «путь свободной воли», данной человеку во все века истории.

Великую, «от моря и до моря», Литву разорвало принятие католичества. Созданное Ольгердом государство оказалось проглочено Польшей и погибло, передав силу свою двум соседям, которые в дальнейшем и решили спор о киевском наследии так, что наследие это в конце концов вернулось в лоно Российской империи.

Турки, объединенные воинствующей религией ислама, шли от победы к победе, но их сгубила инкорпорация «ренегатов», искателей приключений и успеха, которые, быстро разрушив национальные устои Турецкой империи, привели к закату «блистательную Порту».

Судьбы Руси складывались по-иному, ибо тут создавались и создались внутренние основы прочности государства на длительное время — религиозные, этические, правовые нормы, позволившие именно России, обогнав соперников своих, утвердиться на просторах Восточной Европы и Сибири, создав особый мир, особую культурную общность, не имеющие аналогов в мировой истории.

И не надо теперь считать, что то, что произошло, совершилось само собою, по законам истории, экономики или географического положения. Возможное в человеческом обществе превращается в действительное не иначе чем по велению целенаправленной воли и совокупным усилием живущих на земле людей.

Люди, однако (и к счастью!), не ведают своего будущего. Предсказать грядущее невозможно по одной простой причине: ибо еще не совершены поступки, которые его определят. Время нашей активной жизни — это красная черта свободы воли, свободы волевого исторического творчества. То, что мы совершим,— будет. Иное, не содеянное — не состоит. А за ошибки в выборе пути народы, как и отдельные люди, расплачиваются головой.

И всегда при этом действует, всегда проявляет себя в решениях человеческих инерция прошлого.

Еще почти целое столетие эпигоны пытались восстановить, спасти и утвердить утраченное величие монгольской державы, упрямо не желая понимать, что они — эпигоны и что прошлое невозвратимо, и ежели не ушло еще, то уйдет неизбежно, как уходит ветшающая жизнь.

И суздальский князь, наконец-то вырвавший власть из рук москвичей, совсем не понимал поначалу, что защищает прошлое и что прав не он, а упрямый московит, митрополит Алексий.

А москвичам виделись разве возвращенные в лоно Русского государства Киев и Галич с Волынью, завоеванная Сибирь и покоренная Азия, Кавказ и Черное море и неведомый, безмерно далекий Дальний Восток?! Когда в ближайшее «одоление на враги» и то уже не верилось!

И что тут сказалось первее? Упорство ли князей, решимость бояр и ратников, провúденье и государственный ум Алексия? А быть может, и то, что не является историей, но всегда — жизнью: труд пахаря, терпение бабы, на подвиги и смерти рождающей и воспитывающей все новых и новых русичей? Неясное, являемое зримо токмо в вековых усилиях мужество всей земли?!

ГЛАВА 3

Верить — да! Поверить было трудно, да и не во что, почитай! Но русичи той поры рассуждали мало, зато много работали. Тем часом, как в Литве и землях ордынских ржали кони, проходили рати и стлался по земле тяжкий дым сгорающих городов, на Руси сочиняли и переписывали книги, творили дело культуры, от коего одного становится прочным сотворенное воево-

дами, водили детей и строили, строили, строили. На Руси стучали топоры.

Отец, скинув плотный татарский армяк, подсучил рукава и, сужая глаза в ножевое лезвие, подымает секиру. Сын-подросток делает то же самое, повторяя все движения родителя. Первый удар расчетливо и плотно лег к основанию ствола. Заполошно полоща крыльями, из тьмы вознесенных ветвей сорвался, уходя в чащу леса, тетерев. Скоро переменные удары секир: плотный — легкий, плотный — легкий, отца и сына — наполнили громким дятловым тёктом пустыню зимнего бора. Когда ствол сузило в тонкий смолистый перехват и дерево стояло, будто подъеденное бобрами, отец, молча кивнув сыну: «Отойди!» — сделал еще два-три расчетливых удара и надавил широкою твердой ладонью, не рукой, а лапищей, на искрящийся инеем ствол. Дерево, мгновение раздумчиво постояв, качнулось, сперва чуть заметно, лишь дрогнула крона, и начало клонить туда, куда вела его мозолистая крестьянская длань. Но вот и пошло, и пошло, резвее, резвее, и, взметая вихрь, круша мороженый подрост, медноствольной громадою рухнуло, вздынув серебряное облако холода и глубоко впечатав в обнастевший, слежавшийся снег прямую свечу своей царственной, стройной красоты. Отец кивнул удоволенно, повел глазом в ту сторону, где дергал оглобли прядающий ушами испуганный конь, подошел, разгребая и отаптывая снег, к очередному оснеженному великану, меченному хозяйским топором еще по осени. Сын ступал вослед за отцом, волоча оба армяка. По лицу парня широко разливался ало-розовый девичий румянец, от плеч и спины шел пар.

— В сани кинь! — деловито примолвил отец и опять споро и точно погрузил наостренную секиру в ствол дерева.

Завеса мерцающего инея опускалась окрест, истаивая на рубахах разгоряченных древоделей, а отец с сыном все рубили и рубили, не прерываясь, ведя слаженный деловитый перестук крестьянских секир. И вот уже второй ствол качнуло в вышине и кракнуло понизу, у переруба. И отец, не тратя слов, отшиб рукавицею парня посторонь, ибо ствол, надломясь не в черед, должен был посунуться комлем в их сторону. И когда рухнуло и начал оседать снежный вихрь, пошел, тяжело ступая, к третьему. А парень, чуть

побледневший, сторожко следовал за родителем, пугливо оглядываясь на своевольное дерево.

— Птаху Стрижа знал? — не оборачиваясь, негромко вопросил отец.— Ево комлем так вот и убило! — Он помолчал, с хрустом уминая снег.— Через трои ден никак токмо и обрели в лесу. Дак соболь у ево в те поры все щеки объел...— Еще помолчав, прибавил: — Никогда не стой едак-то, прямь колоды! — И вновь оба надолго замолкли, взявшись за рукояти секир.

Уже когда сидели на дровнях и ели хлеб, накинув на плечи армяки, сын повестил, заботно поглядев сбоку на сосредоточенно, точно конь, жующего родителя:

— Даве Перка приходил, прошал: меду станем ли куплять у ево? Мамка сказывала.

— А, мордвин! — без выражения, слегка кивнув, отозвался отец. И, уже обирая крошки с бороды и усов, вопросил: — Чево просит?

— Секира ему надобна, да портище прошал...

Отец встал. Издрогнув, вздел армяк. Застегнул на грубые костяные пуговицы. Опоясался шерстяным тканым поясом, подхватил секиру. Медлить особо не стоило, солнце уже заходило, косым золотом пронизая лес, немой, молчаливый, задумчивый, но уже весь полный смутным предвестьем весны.

— В татарах, слышь, нестроение! — обронил отец, и сын, склонив голову, понял невысказанное: с мордвой, на землях которой сидят ноне они, нахожие суздальские русичи, мир, доколе мир с ханом. И новый князь, Митрий Костянтиныч, хотя и сел на великий стол... Сел-то он сел... А все за старым князем, Костянтином Василичем, было прочнее как-то! А теперя Москва, вишь, да хан... Тут терем срубишь, а тут те его на дым спустят!

Раздумывал мужик. Он тяжко вздохнул, но смолчал и принялся обрубать сучья. Подвели коня, подтащили подсанки. Ствол вагами, изрядно покряхтев, навалили-таки на дровни, крест-накрест, перепоясали вервием. Сперва казалось, что и конь не здынет, но конь взял. И уже когда миновали глубину снегов и вывернули на зимник, оба, сперва отец и мгновением позже сын, вскочили на дровни и погнали коня рысью под угор. Лучи солнца уже золотились и багровели. Сын держал наизготове припасенную для всякого лихого случая

рогатину. Мало ли кто встренет дорогой? Домой все-таки стоило воротить дотемна.

В ту же пору далеко отсюдова, в Заволжье, в тверских пределах рубил новую клеть, стоя на подмостях, заматеревший, раздавшийся вширь Онька. И сын-сорванец тоже тюкал топором, сидя верхом на углу, то радуя, то дразня родителя. И тоже низило солнце, и Таньша, сложив руку лопаточкой, держа за лапку меньшого сына (а дочерь босиком и в рубахе одной тоже вылезла за матерью на крыльцо), звала снизу:

— Мужики-и-и, сни-и-идать!

Онька улыбался жене и все не бросал топора, ладя до вечерней выти обязательно дорубить угол.

Уже потемнелый, бурый под снежною шапкою стоял терем, тот, давний, князь-Михайлой рубленный, с коего начала налаживать Онькина жисть, и уже не столь и казовитым выглядел в окружении новорубленых клетей и хлевов, Онькиной гордости... «И князь, верно, заматерел! — думал Онька.— Почитай, и женат, и дети есть! Не помнит, поди...»

Забавно баять о том, а где-то в душе очень хотелось Оньке, степенному нынешнему мужику, вновь увидеть князя своего, быть может, принять, угостить, погордиться достатком, накормить свежею убоиной... А чево! Може, когда и надобь какая придет ему сюда заворотить!

— Мужики-и-и! — звала Таньша, только что, подшлепнув, отправившая раздетую дочерь обратно в тепло терема.— Дитю колыхай, у-у-у, вражина!

Онька с сожалением сделал последний удар, полез, косолапя, с подмостей. Сын сиганул прямо с высоты в снег.

— Кому рещи, с топором не прядай! — рявкнул Онька, поздновато заметив очередное озорство первенца. Но тот уже встал, отряхиваясь, словно пес, от снега, и побежал, подпрыгивая, к терему.

Слухи в их лесную глухомань доходили не скоро, и что там деют промеж себя тверские и московские князья, Онька толком не ведал. Знал одно: созовут на рать — надобно стать за князя своего!

В ту же пору на Москве, под Звенигородом, к выти вечерней, отерев потное чело, оторвался наконец от

работы Услюм, брат московского ратника Никиты,— мастерил сани в холодной клети. Огрубелыми пальцами прищипнув фитилек, он затушил сальник и прошел темнеющим двором в избу.

Маленькая хлопотливая хозяйка Услюмова улыбнулась мужу, похвастала:

— Родитель весточку прислал! Митиха, вишь, занесла! — развернула, красуясь, кусок бухарской зендяни. Дети, уже обсевшие стол, только и ждали родителя. Задвигались, зашумели, потянувшись к ложкам.— Тебе поклоны шлет! — примолвила с гордостью жонка, свертывая зендянь. И тут же, отложив подарок на полицу, потянула ухватом дымящийся горшок из печи.

После щей — ели все из одной большой деревянной миски, по очереди окуная ложки в варево и подставляя под ложку кусок хлеба,— последовала черная каша, на заедку была приготовлена и уже стояла на прилавочнике горка тонких блинов, и выломанный медовый сот в глиняной тарели дожидал прожорливых «галчат», как называл Услюм в веселую минуту свое чуть не ежегодно умножаемое семейство. Он ел и улыбался, вспоминая вожеватого, ныне, видно, побогатевшего тестя с тещею и тут же, с легкою печалью, ушедшего в поход против суздальского князя вместе с владыкой Алексием брата Никиту. И жена, привыкшая читать по лицу Услюма все его тайные мысли, тотчас подхватила, произнеся вслух то, о чем он только что подумал:

— Бают, владыка воротилси на Москву, дак, стало, и Никита с им!

Услюм облизал ложку, пригорбил плечи. Хотелось, ой, хотелось верить, что брат не погиб! Так бы славно прикатил... Овин бы новый вместях срубили... Да хошь и так! Отоспался бы, отъелся: не в молодечной, не в дорогах, где, верно, все впроголодь,— у брата родимого во дому!

Дети лезли на колени. В крохотном, бычьим пузырем затянутом оконце мерк, изгибал недолгий еще день. И думы текли все о хозяйстве, о деле, о тех же санях, о новой расписной дуге... Он вздохнул, покачав на колене умостившегося на руках маленького. Только теперь умолк наконец упорный топор соседа-новосела, чтобы начать завтра вновь, еще до света, свою непрестанную песню.

Где-то топочут кони, текут рати, рушатся стены

городов. Здесь — ростят хлеб и рожают детей. Стучат мирные топоры, возводя новые и новые хоромы для новых и новых русичей. Земля строится. Ждет. Молчит. Час ее славы еще не настал, не пробил. Но он тут, в этих мужиках, в деловом упорном перестуке секир. В детях, что выйдут некогда, возмужав, на Куликово поле.

ГЛАВА 4

Никита, Услюмов брат, был, однако, жив, хоть и ранен, и давно возвратился вместе с владыкой Алексием из похода...

Все чаще, по прошествии времени, вспоминал он киевское сидение, тяжелый путь домой. Когда добрались наконец до смоленских пределов, когда отворотила от них на рубеже литовская погоня и стало мочно воздохнуть, оглянуть окрест, пережитое ими увиделось словно бы в страшном небывалом сне: и плен, и бегство, и отчаянные сабельные сшибки, когда жизнь вновь и опять висела на волоске, и смерть товарищей, и голод, и холод, и кровь...

Вот они сидят, худые, мосластые, с незажившими ранами, измотанные свыше всяких пределов и сил,— ратник Никита и владычный писец Леонтий (Станята в просторечии). Два друга, чудом оставшиеся в живых. Оба в клокастой рванине, потерявшей вид и цвет, оба с землистыми лицами, в пятнах и шелухе отмороженной и теперь отпадающей плоти. Сидят, опусти́в плечи, свесив между колен тяжелые, в узлах вен, рабочие руки, привыкшие к сабле и веслу больше, чем к перу и писалу.

За спиною у них нагретые солнцем бурые бревна рубленой церковной стены. Дьякон только что прошел, замкнув решетчатые двери тяжелым замком и цепью. Перед глазами друзей — протаявший кое-где бугор и тощий, с запавшими боками в клочьях зимней шерсти стреноженный Никитин конь, что сейчас выдирает долгими желтыми зубами пучки прошлогодней сухой травы. Внизу, под горою, сквозь путаницу ветвей рукастых, разлатых дерев в грачиных гнездах топорщит коростою соломенных крыш деревня, а за нею, до окоема, до синей оправы лесов — поля и поля, курящие голубым туманом. Издали доносит томительный запах тальника, запах дыма и протаявшего навоза. Щебечут птицы, и конь, взглядывая коротко на хозяина, взды-

хает, тоже чуя весну, и робко, понимая свою ослабу и неподобь, пробует взоржать.

Никита глядит светлыми, когда-то разбойными, а теперь отчаянными глазами в непредставимо прекрасную, истекающую синевой ширь окоема и говорит горькие, тяжелые слова.

Он устал. Устал только теперь, достигнув спасения. Как устает пловец с разбитого корабля, выброшенный бурею на берег (и нет уже сил доползти до ближних кустов). Он не ведает, не догадывает даже, что совершил подвиг, ибо делал лишь то, что должен делать человек, борясь со смертью и спасая того, без кого им обоим нельзя было даже и думать ворочаться на Москву.

— Ну, и што теперь?! — вопрошает он, сплевывая изжеванную горькую веточку осины.— Всё истеряли! Иван Иваныч в земле, Лопасню рязане забрали, в Брянске Ольгерд, на владимирском столе суздальский князь, Митрий Кстиныч! А что он может? Землю объединит? Ни в жисть! Литвин-от прет и прет! И умен, и жесток, и доселева ни единой неудачи не поимел! Только што мы вот маленьку ему зазнобу сотворили, владыку увезли, дак и то еле жив!.. Што теперь? Опять русичу на русича воевать придет! В боярах нестроение, Акинфичи, слышь, с Вельяминовыми не в ладах, на Рязани, бают, соткнулись. В народе — разброд. Посадским да смердам, сам знашь, дай волю, того только и захотят — жрать, спать да не платить даней! А вокруг — мордва, меря, чудь да мурома, им и вера православная не нужна! Какой тут «свет высшей правды»! Зрел сам, как киевляна те на владыку молились, плакали даже, а не будь нас, горсти московлян, никто бы ему и не помог!.. Сижу вот и думаю: едем к разбитым черепкам!

Никита резко отмотнул головой, присвистнул коню. Тот повел ухом: слышу, мол! Глянул на хозяина, тяжело выбросив передние спутанные ноги, передвинулся на новую сухую проплешинку, начал опять теребить серо-желтыми зубами перестоявшую зиму сухую траву.

Станята слушает друга, по усталости, по разладу душевному сейчас почти согласный с приятелем. Но он книгочий, а знания помогают вере, помогают устоять в упадке духовных сил. Он подымает взор (и тут зримо отличие между ними — это взор не воина, а «смыслена мужа», взор сдержанный, но и просветленный книжною мудростью).

— Чернь без пастыря, Никита, никогда ничего не могла! — тихо отвечает он.— Скопище людское, лишенное высокой мысли и руковоженья духовного, что возможет постичь, понять? Спасти себя — и то не возможет! По то и надобны пастыри народу! Но и то посуди. Ты вот данщик. А поставь себя на место боярина, хотя и даже князя! Что они без смердов, без земли? Пущай мы с тобою избранны, дак можем ли бросать братью свою во Христе, сородичей наших, нашу плоть и кровь? Коли в них — смысл всей нашей жизни? Сам знаю! Жить иногда рядом и то невмочь! И пьяный тя охулит, и смерд иной осудит; недаром мнихи в пустыню уходят, подале куда от суеты людской! Но имеем ли мы право пред Господом бросать их на гибель, которую они пусть и заслужили иными деяньями своими, но бросить-то как?! Как оставить без помощи, которую мы можем и, значит, должны им оказать? Почто ты, почто мы все спасали владыку Алексия? Да и было ли такое когда, чтобы народ сам, без пророков и учителей, находил дорогу спасения? А сами мы кто? Тот же народ! Из его вышли!.. А так-то что ж баять! И галилеяне не спасли Христа! Ученики и те спали в саду Гефсиманском, когда он молил их о бдении совокупном в последнюю ночь! Но прошло двести лет. Христиан и жгли, и зверями травили на позорищах, и распинали, и мучили всяко, а уже вся империя кесарей римских стала, почитай, из одних христиан. Я вот чёл про единого из кесарей, Максимина. У его галлы восстали, народ такой, франки нонешние. Они тогда уже были крещены. Ну и он послал на их легион войска, тоже из христиан, токмо земли египетской. Так все эти воины дали себя перебить, ни единый не поднял оружия на братью свою во Христе. Вота как! И Константин победил, когда поднял крест над полками!

— Дак Костянтин равноапостольный, святой! — начал было Никита. Но Станята решительно потряс головой:

— Никакой он святой тогда не был! Грешник, как и мы. И сына убил, и всякую неподобь деял. А тут вот и опомнился. И христиан опосле уравнял в правах с невегласами! Ну а там кесарь Феодосий и вовсе языческие требы воспретил. Так вот и победила вера Христова!

Станята разогнул стан. Твердо положил руки на

колени (под руками прощупалась обтянутая кожею кость).

— Да! — примолвил.— Слабы мы нынче! И Византия, сам зрел, на ладан дышит. И вся Киевская Русь, почитай, захвачена Литвой! Оттоле — турки прут. Латины токмо и мыслят покончить с правою верой. Русь в раздрасии: князь на князя, город на город. Единая надежда на кир Алексия, всё так! Но здесь, на Москве, горит нынче светоч православия, и Бог не позволит его угасить! Ну и что с того, что Дмитрий Суздальский получил ярлык! Кто его вручал? Хан Наврус! А спроси — долго ли жить тому Наврусу? Ты мнишь, мы слабы? А силен кто? Латиняне все передрались! В Орде замятня. После Чанибека-царя как начали резать друг друга, так и не перестанут! Да русский улус, ежели хочешь, уже сейчас крепче всей Орды! Мы как-никак спаяны верою православной, и владыка с нами!

— Дак и что ж?! — не уступая, возражает Никита.— Опять идти на Суздаль войной, проливать русскую кровь, стойно князю Юрию?

Станята, слегка усмехнувши, покачивает головою:

— А придет ли? Там, где есть душевное согласие, ни к чему кровь! Пред силою веры все иное отступит! Суздальцы — православные! — доканчивает он твердо.— Они пошли бы против московского князя, но против митрополита русского не пойдут! Такожде и Тверь, такожде и рязане, хоть и ненавидят они нас издавна. Татары, кто живет по Оке, и те принимают святое крещение. Мариам и Иса известны уже всем бесерменам! Владыка баял, что до тех пор, пока хоть крупица веры не угасла в наших храмах, она будет привлекать всех, в ком жива тяга к истине, правде и праведности!

— Ето когда ты с им в яме сидел? — уточняет Никита.

— Да! Сидели и ждали смерти! И я тоже, как ты, ослаб духом. Сидим, изгниваем, в язвах оба, чуть живы, а он мне говорит: «Верь, Леонтий, через века вся страна от Дышущего моря до устья татарской реки Итиль восславит Христа и православную церковь!» Так вот!

Он смолк, и вновь окружила друзей пронизанная солнцем, полная веселого птичьего щебета тишина. Синичка, подлетев близ, повисла на скате бревна, трепеща крылышками, взглянула любопытно и хлопот-

ливо. Косматые, слипшиеся от пота и грязи, открытые солнцу головы друзей привлекли было ее внимание, но люди показались страшны, и пичуга порхнула к коню, выдрала клок старой шерсти из его бока и, унырнув в сияние дня, скрылась со своею ношей.

Никита огладил задубелой рукою узорную рукоять ножа.

— Я хочу тебе верить, Станята! — раздумчиво отвечает он.— И жизнь за то положил бы не воздохня! Но как быть с теми из нашей братьи, кто против нас?

Оба подумали об одном и том же. Убийство Хвоста лежало на Никитиной совести, и Станята знал про это и, знаючи, не судил.

— Мир лежит во зле, Никита! — отзывается он наконец.— И князь мира сего — отец лжи! Самого Христа предали, и великая Византия погибает от той же беды! Иуда предал Христа, а Василий Апокавк — Иоанна Кантакузина! Дьявол ходит меж людьми, дурманит наши души и ожесточает сердца. Он под личиною и святости сокроет себя, и власти — в любом обличье! Мнишь, нам одним трудно? Правнукам будет труднее во сто крат! Но путь-то один и предуказан пращурами. Первыми из христиан, которые шли на казнь, не убоясь смерти. Христос что сказал? «Кто отречется от меня перед людьми, от того и я отрекусь перед Отцом моим». Я одно понял, когда сидел в яме вместе с Алексием: коли хочешь загробной жизни себе и чтобы твой народ не погиб в веках земных, прежде всего отрекись от страха смерти. Ибо ежели воцарит страх, то и погибнет Русь!

Оба умолкли. Светило солнце, щебетали птицы, и пора была снова вставать, идти и совершать подвиги.

ГЛАВА 5

Гридя Крень вышел из избы хмельной и веселый, в расстегнутом курчавом зипуне и стал, утвердился на ногах, щурясь на молодой снег, сбив круглую шапку на затылок, руки фертом, с удовольствием вдыхая всею грудью морозный свежий дух соснового бора из заречья. Доброе ячменное пиво дурью бродило в голове, подбивая на какое ни есть озорство. Все было бело и сине. Он оглядел редкую череду раскиданных по-над лесом по дальнему берегу крестьянских хором, утонувших в суг-

робах, мужичонку на мохнатой коняге, что торопливо объезжал новогородский ушкуйный стан. Взявши ладони трубой, набрав воздуху в грудь, прокричал, пугая низовского смерда: «Ого-го-го!» И тот, перекрестивши конягу ременным кнутом, опрометью, едва не выпадая из саней, помчал по дороге, пугливо озираясь на Креня, словно бы ушкуйникам, досыти ополонившимся в татарах, надобны были его кляча и худой дорожный тулуп...

— Эй, Фатыма! — окликнул Крень пленную татарку, вышедшую с дубовой лоханью вылить ополоски на снег. Шагнул было, вздумав вывалять бабу в сугробе, но татарка змеей выскользнула из-под руки и, избежав снежного купанья, ушмыгнула назад в избу, где сейчас — дым коромыслом, пили, пели, резались в тавлеи и в зернь зазимовавшие под Костромою новогородские «охочие молодцы».

Товару, портов, сукон, узорочья и полона набрали в Жукотине бессчетно, и теперь, медленно распродавая челядь низовским купцам, ушкуйники дурили, объедались и опивались, не думая уже до Масленой, до твердых зимних путей, ворочать в Новгород.

Торговый гость, Нездило Окинфич, сидел в избе и теперь. Запряженный караковый конь его стоял у коновязи, закинутый попоною, и, засовывая морду в подвязанную торбу, позвякивая отпущенными удилами, хрупал овсом, изредка переминаясь, подергивая легкие купеческие санки, в которые уже был кинут постав драгоценной персидской парчи. Гость в полуседой, чернь с серебром, бороде, в расстегнутой долгой бобровой шубе, развалясь на лавке, ласкал-ощупывал взглядом смуглую, с рысьим поглядом раскосых глаз татарку, щурясь, качал головой, предлагая за девку две гривны новогородского серебра. Хозяин полонянки, Мизгирь, горячился, требовал три; по правде, и девки было ему жаль, горяча оказалась на любовь татарка, да ведь не везти ж ее с собою в Новгород! Полон торопились они распродать поскорее, иных ясырей и ясырок отдавали совсем задешево, лишь бы сбыть с рук: не ровен час, беда какая нагрянет, а уж серебро, зашитое в пояс, оно и не сбежит, и есть не запросит, а погинет разве с хозяином своим.

— Не уступай, Пеша! — гремели Мизгирю из-за стола.

— Да ты покажь, покажь девку-то! Разоболоки

донага да яви, что у ей в каком мести! Купечь, подитко, и не видал есчо!

— А не то давай, за рупь серебра я и сам ее у тя купляю! — басовито выкликнул статный широкогрудый Фома, обнимавший разом двух татарок, почти исчезнувших под его могучими дланями. Девка, зарумянясь, стрельнула глазом в сторону богатыря, видно, не прочь была бы и сама перейти к могутному новогородцу. Впрочем, из-за баб тут не спорили. Хватало. Да и верно, домой в Новгород этой сласти не увезешь!

Гридя, вышедший из хоромины, когда торг был в самом разгаре, качнулся с носка на пятку. За спиною из полуприкрытой двери долетали гром, выкрики, хохот и свист.

«Какой голью перекатной были, почитай, едва не все молодчи в Господине Великом Нове Городи! А теперича! Ослабла Орда! Допрежь, при Чанибеке-царе, рази ж бы отважились на такое? Ни в жисть! Наши на Волге! Наши! Новогородчи! Что там югра да дикая лопь! Все бесерменски грады торговые, стойно девке той, ждут нашего приходу! Теперь бей, лови удачу! Даст Бог час, и Сарай возьмем!» — пообещал он кому-то в стынь речного окоема. Ширило силою, плечи аж распирало удалью и хмелевым счастьем.

— И-и-эх! Охо-хо-хо-хо! — вновь прокричал Крень, будя морозную пустоту. Эхо отскочило от стены далекого бора, воротилось к нему.

«Скатать, что ли, в город? Себя потешить, людей посмотреть! Княжеборцы, псы, не привязались бы невзначай! — остерег себя. А все одно удача плескала отвагою в сердце, кружило пуще хмеля, распирало грудь.— Собратьце всема — что Жукотин! Любой град ордынский, скажи, взяли б на щит!»

Вспомнил, как лезли, осатанев, по валу, как сам свалил двух татаринов, как бежало всё и вся, метались по городу ополоумевшие бабы, мычал и блеял скот, пылали магазины ордынских гостей, из которых через расхристанные, сорванные с петель двери выносили поставы сукон, шелка, тафты и парчи, охапками выбрасывали связки бобровых, рысьих, куньих мехов, белки и дорогого сибирского соболя, мешки имбиря, гвоздики, изюма, как пиво из разбитых бочек текло по улицам... Эх, и знатно погуляла в Жукотине славная новогородская вольница! Девок, что распродают теперь своим и персидским гостям, гнали целым табуном,

ясырей навязали — стадо! Татары в ужасе разбегались по кустам, сдавались без бою. Сам князь жукотинский едва утек от новогородских рогатин и засапожников — знатная была гульба!

Гридя пошел, покачивая плечами, сам еще не зная куда. На задах отворотил рожу от татарки, присевшей, подобрав подол... Завернул к поварне. Толкнув набухшую дверь, сунулся в жар и темноту, чуть разбавленную пляшущим огоньком сальника. Со свету, ослепнув, не очень и понял, что происходит тут.

Митюх с двумя ясырями-подручными (один из них месил тесто) хлопотал у печи. Креню кивнул, не прерывая работы: миг был торжественный — открывали печь.

— Давай! — коротко бросил Митюх. Враз шибануло хмельным сытным духом горячего ржаного хлеба. Митюх втянул носом, поддел деревянным пёклом ковригу хлеба, прикинул, обжигаясь, надломил, понюхал, шваркнул удоволенно на выскобленный добела стол и принялся ловко кидать горячие ковриги одну за одной, высвобождая нутро печи для нового замеса, морщась от жара, с удовольствием на потном лице: своя была работа! В Новом Городе был он когда-то пекарем, хозяином был, да разорился после пожара, поправиться не сумел, и вот... Дрался, грабил, не робел на борони, но счастлив был по-правдошнему только тогда, когда пек хлеб, и радовался, когда его печево хвалили, пуще ратной удачи...

Крень скоро почуял, что весь взопрел. Он отлепился от стены и с краюхой горячего хлеба в руке вышел опять на улицу.

Купец, так и не купивший девку, уже сбирался отъезжать и сейчас торочил попону, вдевал железо в губы коню. Тонконогий караковый жеребец — не конь, загляденье! — злился, мотал мордой, перебирал ладными коваными копытами. Купец справился наконец, ввалился в щегольские красные, с резным набором на задке санки, едва удерживая понесшего коня. Жеребец рванул в сторону, грудью вспахивая снег, понес по целине, дугою огибая все новогородское строение, сделал глубокую промятину возле хором, вынес купца на торную дорогу и понес скачью, кидая позадь себя комья снега из-под копыт. Нездило Окинфич, полуобернувшись, кивнул на прощанье Креню и, плотнее всев в сани, подобрал вожжи. Ездить купчина умел.

Крень с легкою завистью проводил глазами торгового гостя, любуясь жеребцом. Вот бы такого с собой увести! Да по Нову Городу! Да в таковых же и санках с ковром персидским!

Дверь молодечной вновь хлопнула с треском. На снег распояскою вывалился Еска Ляд, шагнул, черпанул пригоршню снегу, стал сильно растирать шею и лицо. Подошел ко Креню. Морда у Ески была на удивление хмурая, и глядел он смутно, не то с перепою, не то с какого зла.

— Слышь! — выдохнул он, останавливаясь около приятеля.— Недобро цегой-то! Не по-люби мне гость-от! Словно не бабу купляет, а нас всих вместе с ей! — Положил тяжелую лапу на плечо Креня: — Припозднились тутотка!

— Ницьто! — отверг Крень, весь еще по власти давешней хмельной радости. Приобнял приятеля: — Не сумуй! Расторгуемси — и до дому!

— А я бы,— сказал Ляд твердо и зло,— нонешней ноцью в путь поднялси!

— Не расторговались, поди-ко? — удивился Крень.

— На кой и товар! Чо ли мало серебра взято у бесермен?!

— Да ты цьто? — всерьез обеспокоился Гридя.

Еска Ляд постоял, втянул широким носом морозную речную сырь, точно матерый травленый волк, глянул потухло и угрюмо, помолчал, выдохнул:

— Чую! Да и купечь проврались: великий князь на Костроме!

— Да и чо?

— Что?! Великий князь, Митрий Кстиныч, дура! Цего ему делать-то тута? А у нас и молодчов не соберешь, иные под Ярославль ушли, кто под Нижним зимует, а кто под Угличем... Тутотка и народу, гля-ко, горсть! Коли цьто, и не отбитьце будет!

Крень мотнул башкой (кружило голову, перепил, ох и перепил хмельной браги!), возразил:

— Всё одно, пока не проспят молодчи, никоторого толку от их не добьесси! Да стой, с Фомою-то баял? Без атамана поцьто и толковать! — Хлопнул решительно приятеля меж лопаток, сам подтолкнул к дверям, завел, слегка упирающегося, назад, в похмельную кутерьму, в шум и хохот переполненной молодечной.

Фома, хмельной, слушал вполуха. Сопел.

— Купечь, гришь, кружил по задам?

— Высматривал, цьто у нас деитце!

— Може, просто с конем не совладал враз?!

— Ну, того не скажи! — отверг Крень, начиная трезветь.

— А князь...— Фома поморщился, поскреб в затылке.— Князю поцьто за Жукотин спрашивать? Русских купчей, кажись, не грабили...

— А коли хан приказал?

— Ну, ты, Ляд...

— Я волк травленый! — угрюмо перебил Еска.— Сколь разов так-то от смерти уходил!

— Дак постой! — вмешался Крень, озирая набитую народом избу. Говорили негромко, и никто, почитай, из укладывающихся спать «новогородчев» не брал в слух, о чем там толкует атаман с двумя молодцами.— Постой! Коли наших раскидано по городкам... Брать, дак всех враз надоть!

— Цего легче! — возразил Ляд.— Пошлют дружину, похватают поодинке, цьто куроптей!

— Вот и собрались бы кучей! — выкликнул Крень, уже начиная гневать.

— Кучу не прокормишь! — протянул Фома, морща лоб. Пьяный, он старался насильно удержать разбегающиеся мысли. (И всегда-то так, после какого набега, по своим закутам расползались!)

— Нам един Нов Город защита! — горячился Ляд.— Хаживал я за Камень, ведаю! Устюжане и те смотрят, как бы нашу ватагу с товаром разбить... Идешь оттоле, да с прибытком, так и держи ухо востро!

— Подыматься, дак всема надо! — тяжело выговорил наконец Фома.— Не то мы уйдем, а те погинут, на нас же и поруха падет, опосле и не отмоиссе: мол, сами вы княжески подзорщики!

— Ну дак и упреждай молодчов! — горячо выкрикнул Ляд.— А не тут, с бабами... Натешились вси! Полно уж того, гульбы етой! Дома жонки ждут!

— Распродадим полон...— начал было Крень.

— Вота цьто, Ляд! — твердо отмолвил Фома.— Пошлю тебя по починкам. Упреждай молодчов! И Онфима Никитиця в первой након! Да и вызнать надо, цего князь затеял.

Еска подумал, сплюнул:

— Я-то пойду! Я и в ноць пойду. Ребят жалко!

— Ну, беды-то не кличь! — решительно остановил Фома, которому не терпелось, подкинув армяк, опустить

голову на лавку и унырнуть в сон — такою дурью кружило похмельную голову. Мужики отвалили от старшого.

Кто-то из ратных, уставя локти в стол, затянул хрипло в это время ихнюю, волжскую, и — не стало уже поры на говорю. Приподымались, битые, кто с заскорузлой тряпицею на голове, кто с подвязанною рукою, старые и молодые, приставали к певцу, подымая на голоса торжественный, чуть печальный напев. Песня ширилась, крепла, лица становились строже.

Замерли татарки, со страхом и обожанием глядя на осурьезневших суровых молодцов, затихли ясыри, бубнившие что-то свое за дощатой перегородкою.

Ой ты, Волга, ты ма-а-ать широ-о-окая,
Молодецкая воля моя-а-а-а!

Крень тискал плечи приятеля, пел всею душою, взахлеб, очи аж прошибло слезою.

— Пожди до утра! — начал просить он, завидя, что Еска стал обряжаться в путь, едва мужики кончили песню. Но тот лишь отмотнул головой, сосредоточенно пересчитывая серебряные кругляши, слитки и обрубки шейных гривен, которые пересыпал из подголовника внутрь кожаного двойного ремня, прикидывая что-то на пальцах. Потом оделся, туго затянул тяжелый пояс, вздел овчинный зипун, низко нахлобучил шапку, сказал сурово:

— Долю мою в товаре, коли что, возьмешь за себя!

Ляд пошел было к выходу, но остановился и вдруг притиснул Гридю к себе, горячо, взасос поцеловал в уста:

— Бывай! Пронесет — свидемси!

На дворе, куда Крень вышел проводить друга, уже отемнело и вьюжило. По-над Волгою несло мерзлой крупой. Ляд приладил мешок на спине, морщась от снега (у самого шевельнулась грешная мысль: не дождать ли утра? Но отогнал, знал, ведал, многажды уходя от смерти, что надобно верить предчувствию, а не ленивому телу, которое всегда жаждет одного: покоя, тепла и жратвы, и поддаться которому на путях — это почти наверняка погинуть). Он подвязал широкие лыжи — ничего не видать было в седом, прошитом струями снега ночном мороке — и, пригнувшись, нырнул в холодную жуть. Скрип и шорох лыж потонули в метельном вое и свисте. Ни огонька, ни звука живого в тоскливом пении ночного ветра! Крень, издрогнув, перевел плечами, матюгнул:

— Кому надо лезть сюда в эдакую ночь! — Отворил дверь и с облегчением погрузился в душное тепло хоромины.

Упившиеся молодцы повалились кто где — на полу, на соломе, по лавкам, ухватив в охапку татарок-полоняночек. Молодецкий храп наполнял избу. Крень постелил в потемках зипун, невзначай нашарив чью-то голую ногу, и скоро заснул тоже. Скудно чадил еле видный огонечек самодельной лампадки под одиноким образом Николы-угодника. Сторожевые, тоже вполпьяна, дремали, переминались на морозе, опершись о рогатины. Дальней сторóжи, по беспечности гулевой, ушкуйники не выставили вовсе.

Не знали, не ведали молодцы, что недавно во Владимир ко князю Дмитрию по жалобе жукотинских князей прибыли из Орды, от нового заяицкого хана Хидыря трое важных татаринов — Уруч, Каирбек и Алтынцыбек и потребовали возмещения убытков, а также поимки и выдачи виновных в жукотинском погроме и что новый великий князь, опасаясь за свой престол, уже неделю назад согласился исполнить ханское повеление.

ГЛАВА 6

Снег на улице валил все гуще и гуще, заметая следы, скрадывая шорохи. К утру намело так, что настывшая дверь молодечной с трудом открывалась наружу и очередные сторожи, ленясь разгрести снег, боком пролезали в жило.

Ветер утих на заре, но все заволокло, точно дымом, морозною мглою. Во мгле глухо протопотали кони. Не скрипели сани, не визжали полозья на молодом пушистом снегу, и сторожевые, дремавшие у избы, даже не поспели схватиться за рогатины, как на них из мглы навалились, крутя руки назад, княжеские дружинники.

Дверь молодечной попросту сняли с подпятников. Внутри избы створился ад: очумелые со сна, с похмельными головами ушкуйники искали впотьмах порты, оружие, визжали татарки, свой бил своего. Фома, на плечах которого повисли враз четверо суздальцев, рыкнув, раскидал кметей, вырвал широкий нож — запахло кровью, но острый удар копейного лезвия в живот разом лишил сил новогородского богатыря. Кровь с бульканьем выходила из раны. Фому повело. Он падал, заваливаясь,

рыча, пытаясь слабнущими пальцами оторвать от себя вражеские руки, мутно глядя гаснущими глазами, как брали растерянную вольницу, вязали молодцов, вели ясырей... Бормотал:

— Мой грех! Ни за цьто погубил дружину! Ляд правду баял... Во слух не взял... Простите, други, за ради Христа! — Одинокая слеза скатилась по щеке Фомы. Он задышал хрипло, кровь хлынула горлом, и очи замглились смертною истомой. Владимирцы, проволочив по полу, выпустили из рук тяжелое тело, уложили прямь дверей. И плененные новогородцы, подталкиваемые в спину древками копий, коротко взглядывали, переступая, на своего атамана, погинувшего и погубившего братью свою...

Утро пробилось наконец сквозь завесу туманной мги. Ясыри послушно таскали товар, укладывали в сани кули, поставы сукон, бочки и связки мехов, затягивали вервием. Где-то еще дрались, кого-то стягивали с подволоки, за кем-то гнались по глубокому снегу обережья.

Четверо новогородцев, забившись в поварню и завалив выход, отбивались, и уже в груде столпившихся у дверей снаружи суздальцев мелькал, посвечивал дымно загорающийся факел.

— Запалю! — кричал, ярясь, боярин. Ему отвечали изнутри матерной руганью. Вот запылал свес кровли. Быстрее забегали ясыри, грузя на княжеские розвальни грабленое добро. Дымный столб поднялся над кровлею поварни. Спеленутые арканами новогородцы, кто молча, кто скрипя зубами и матерясь, смотрели на разгорающийся пожар.

— Кто там из наших? — негромко вопросили у Креня за плечом. Гридя, морщась (разбитое лицо саднило), скосил глаза.

— Митюх, кажись, с Окишем...

— Цетверо тамотка! — поправили из толпы.

Все — и суздальцы, и новогородцы — завороженно глядели на разгорающееся пламя. Изнутри послышался вой, но дверь упорно не отворяли и никто не выходил наружу. Уже веселые языки плясали над начинавшей прогибаться кровлей, и снег с уханьем сползал пластами с горячей драни. Уже и княжеские кмети, морщась от жара, начинали отступать посторонь.

— Погинули молодчи?

— Не, еще живы!

— Скорей бы...— переговаривались в толпе полоняников.

Вот шевельнулось бревно под стрехою, вот, выбросив столб сверкающих искр, рухнула наконец кровля. Полетели поднятые столбом горячего воздуха ошметья драни, и что-то, как пылающая головня, выбросилось из яростного костра и покатилось, побежало по снегу. Суздальцы кинулись вслед. Из пламени вырвалась вторая головня, перевалилась через стену и в сугроб. Ушкуйника, обгорелого, в черной запекшейся крови, волокли по снегу, уложив, отступили враз. Даже и привычным ко всему кметям страшно было глядеть на все еще живого, с лопнувшими от жара глазами, с до кости обгорелыми лицом и руками, от которых остались какие-то черно-кровавые культи, шевелящегося на снегу человека.

— Убей! — высоко, с провизгом выкрикнули из толпы полоняников.— Убей враз, курва, ну! Не мучай!

И суздалец, потерянно оглянув связанных новогородцев и своего боярина, тоже смутившегося духом, не ведая, что вершить, вдруг поднял копье и, жестоко закусив губы, вонзил его в шевелящееся полуживое тело — раз, другой, третий, пока умирающий не затих. Скоро приволокли с Волги и второго. Этот обгорел меньше, сообразил завертеть голову зипуном. Безумно глядя по сторонам, он хватал воздух обожженными легкими, раскрывая рот, как рыба. В нем даже свои не враз признали пекаря Митюха...

Огонь ярел. Поварня уже вся сквозисто просвечивала черным скелетом, внутри коего билось, металось яркое пламя, и уже занимались кровли амбаров и молодечной избы. Ясыри, подталкиваемые в спину, быстрее и быстрее бегали с остатними кулями и бочками.

Связанных полоняников рассаживали на сани. Позабытая татарка-стряпея ковыляла по снегу, быстро и тупо переставляя короткие ноги в шароварах вослед отъезжающим саням, пугливо озираясь на ратных.

— Слышь, ты, стерво ордынское, кому служишь, кому? За татар, за псов, своего русиця губить! Каких молодчов истеряли! Тьфу! — орал кто-то из ушкуйников, уже привязанный к саням, а возница только дико оглядывал на него, полосуя лошадей по спинам.

На снегу в свете утра и зарева разгорающегося пожара, на истоптанном молодом снегу темнела, свертываясь, яркая алая кровь.

ГЛАВА 7

Возы с добром и полоном въезжали в Кострому на полном свету около полудня, когда народ густо табунился на улицах и в торгу. Крепко пахло щами, и у голодных новогородцев разом потекли слюни. Костромичи оглядывали вприщур долгий обоз.

— Кого-та везут?

— А, татей поимали! — доносились незаботные замечания прохожих. Мальчишки бежали рядом с санями, заглядывая в лица.

— А тот-то, тот-то, гляди! У-у, рожа! — Раздался свист, кто-то запустил снежком. Отплевывая снег, ушкуйник скрипнул зубами, смолчал.

— Эгей, кто таковы? — весело окликнул купец в богатой шубе нараспашь, в малинового шелку рубахе, что стал на пути, расставя ноги в зеленых, шитых шелком чеботах с загнутыми носами и красными каблуками, явно новогородской работы.— Не будут обозы зорить! — возгласил.

Олекса Кречет на третьих санях зло выкрикнул в ответ:

— Тебя, что ль, зорили-то? Татар зорили!

И ратник, правивший санями, подтвердил негромко:

— За жукотинский погром по ханскому слову взяты! — И сплюнул в снег, безразлично подергивая вожжой. Купчина остоялся на дороге, ворочая, точно булыгу, в голове новую мысль. Пробормотал:

— Дак... етто...

Ближе к рыночной площади толпа огустела. Уже и кони шли шагом, возничие поминутно окликали, требуя дороги. И что происходит, что деется с толпою подчас? Смотрят со смехом ли, со злобой, с безразличием, которое тяжеле всего, заранее отчуждаясь, отодвигая от себя, и тогда холодом веет от лиц, от взоров, и люди — словно немая, безжалостная стена; а то — со скрытым пускай, но с сочувствием, жалостью, и тогда самому преступнику, повязанному, ждущему казни, все-таки легче дышать, ибо и немое сочувствие — все же сочувствие, и чуется, что не один ты в мире, как перст, а есть братья твои во Христе, а тогда и смерть сама не столь уже и тяжка. «На миру и смерть красна»,— сказано именно про такое: про мир, как про братью свою, а не про ворогов...

Толпа стеснилась. Уже и вплоть к саням стояли, вгля-

дывались в насупленные лица новогородцев, и уже текло по народу:

— Жукотин, Жукотин, Жукотин! — Про жукотинское взятье в исходе лета слыхали все и не то что одобряли разбой, а — не своих грабили-то! В нынешней ордынской кутерьме, когда всяк купец, едучи с товаром, страшится: не то воротишь с прибытком, не то обдерут донага да еще молись Богу, что самого не продали! В нонешней-то лихой поре, поди,и поделом им, татарам! И говор, точно шорох весеннего мелкого льда, когда, торопливо поталкивая друг друга, лезут и лезут, торопятся, кружась, с непрерывным шуршанием уносимые стрежнем битые сизые льдинки, что так и называют: не льдом, не битняком, а шорошем,— так вот тек говор промежду людьми, не вырезываясь ясно, но лица светлели, и уже сочувственно заглядывали в очи повязанных любопытные костромские жонки, пока у въезда на площадь чей-то высокий молодой голос, верно — по выговору судя — кого из новогородцев, торговых гостей, не пробился сквозь осторожный шорох людской потаенной молвы:

— За татар, за псов, своего, русиця, тьфу!

И — стронулось! Загомонили разом, качнулись, ринули слитной толпой. Кони стали, сани сбились в кучу. Ратники взялись за нагайки, за плети, а тут уже и совали бабы кто калачика, кто молока подносил ко рту повязанного: «Да выпей, родимый!» Уже и с кулаками лезли на княжескую сторожу:

— Не замай, псы! Вместо того чтобы татар зорить, тьфу! Псы, как есть!

И чей-то основательный голос, басовитый, громкий, покрыл уже грозно сгустившийся ропот толпы:

— Етто не дело — християн православных бусурманам выдавать! Ино дело товар, а за молодцов мог князь и серебром откуп дать!

И уже с плачем, с воплем: «Родименькие! За што! Соколики вы наши!» — лезли бабы, осатанев, руками отводя вздетые копья сторожи, совали снедь, и уже где-то в хвосте обоза к мигнувшему, отчаянно глядючи, ушкуйнику подскочил какой-то проворный ясноглазый посадский, полоснул ножом полуперетертое вервие, и освобожденный новогородец, безоглядно рванувши, с размаху, как в ледяную воду, нырнул под отчаянный свист и ругань в толпу, и только струистым колебаньем голов отметилось бегство ушедшего от смерти молодца.

И уже невесть что бы и створилось, не появись на площади сам великий князь Дмитрий верхом в сопровождении бирючей, «детских» и дружины, которая тут же ринулась отшибать народ от возов, помогая охранникам навести порядок и препроводить повязанных ушкуйников на княжеский двор.

Дмитрий Константиныч, высокий, сухой, кричал, гневал, белый его конь задирал морду, роняя клочья пены с отверстой пасти, грудью, золотою чешмой, сверкающей сбруей шел на толпу. Князь в алом опашне грозил плетью, гневно поводил очами. А за Дмитрием, придержав коня, в дорогой русской собольей шубе высился, сидя на коне, как на столе княжеском, татарин (руки в перстнях, мохнатая шапка седых бобров закрывает лоб) и не шевеля бровью, с каменным плосковатым ликом глядел на мятущуюся толпу русичей, на полоняников, коих урусутский князь добыл по ханскому слову, на возы с товаром... Глядел и не шевелил бровью, точно истукан, точно каменная баба степная. Князь служит хану — все хорошо! Все как должно быть! И пусть он кричит, и ругает, и грозит плетью русичам, на то он и князь, подручник, слуга. Всё хорошо! Здесь, на Руси, порядку больше теперь, чем в Сарае, где уже устали убивать ханов одного за другим...

Площадь пустела. Отхлынувший вал горожан оттесняли к тыну, к купеческим лавкам. И Дмитрий остановил коня, сердито глядя поверх голов на едва укрощенное море людское.

И тогда встал Гридя Крень. Встал со связанными назади руками, крикнул:

— Княже! Слышь! Митрий Кстиныч! — Отмотнул головою ратнику, ухватившему было его за плечи.— Слышь! Ты! За твово батьку Новгород Великий в Орде стоял, а ты цьто?! Кому служишь, ентим, что ль?! — кивнул в сторону татарина. И князю («Все одно пропадать, дак выскажу напоследок!») кинул: — Пес ты и есть! Шухло! На татар бы рати повел, коли ты великий князь володимерской! Стойно Михайле Святому! А ты? Вместо того чтобы Сарай зорить — своих, русичей, выдавать бесерменам! Кто ты есь после того? Стерво татарское! Пес приблудный! Пес! Пес! Пес!

— Молчать! — поднял, освирепев, плетку Дмитрий.— Убью!

Крень извивался, рвал стянутые руки.

— Эх, нож бы мне!

Поднял плеть Дмитрий, страшно отемнев и перекосясь лицом. Но не ударил. Связанного ушкуйника уже валили в сани, затыкали рот. Оглянул зверем растиснутых по краям площади смердов, узрел плачущих баб, узрел чужие, остраненные, насупленные лица посадских, круто заворотил коня.

У крыльца терема Дмитрий Константиныч в сердцах шваркнул оземь дорогую плеть, соскочив с седла, крупно пошел по ступеням, ослепнув от ярости, готовый бить, увечить, рубить кого ни то... Бухнула тяжелая дверь покоя.

Брат Андрей и ростовский князь Константин Василич сидели за столом с избранными боярами. Еще и беглый стародубский князек жался в углу.

— Усмирил? — поднял на брата укоризненный взор Андрей. И не договорил, но по взгляду, тяжелому, сожалительно-остраненному, понял Дмитрий иное, недосказанное старшим братом. «Понял,— говорил ему, казалось, Андрей,— почто я сам отступил вышней власти и стола владимирского?»

— Смерды едва не свободили татей! — сказал, валясь на лавку, Дмитрий.— Теперь етот Каирбек хану донесет...

— Я тебе не стал допрежь баять,— отозвался Андрей.— А в Нижнем так и еще хуже створилось!

— Игумен Дионисий с амвона проповедь говорил! — подсказал боярин Онтипа, глядючи мимо князя.

— Плакали! — договорил Андрей.— Ушкуйников, почитай, с Израилем, из Египта бежавшим, сравнил, а нас с тобою — с нечестивым войском фараоновым... А ему рта не зажмешь, ни ты, ни я! И не возьмешь, и в железа не посадишь! Так-то, брат!

— Борис не приехал? — вопросил Дмитрий, озирая насупленные лица старшей дружины.

— Нет, и не приедет! — твердо ответил за всех Андрей.

Константин Василич переводил взгляд с одного брата на другого. Новый великий князь наконец вернул ему вотчину, отобранную москвичами. И что же теперь? Всю жизнь он слушался кого-то: жены, Ивана Данилыча Калиты, шурина, Симеона Гордого, покойного Константина Василича Суздальского, а теперь слушает его сына, князя Дмитрия. И неужели все даром? Нет, хан должен защитить! Должен вмешаться! Не смердам же этим решать княжеские дела!

— Нам надобна Орда! Надобна единая твердая власть! — молвил Дмитрий, тяжело роняя руки на столешню и горбясь.

Стародубский князек, тоже получивший вместе с братом Иваном из его рук свою вотчину, молча, со страхом глядел на суздальского князя. «Неужели не усидит?» — думалось и ему.

Новгородцев-ушкуйников, что грабили Жукотин, хватали повсюду и теперь свозили во Владимир и сюда, на Кострому, дабы выдать хану.

Дмитрий поглядел слепо и упрямо в мелкоплетеное заиндевевшее окошко, сказал всем председящим:

— Они будут грабить, а я платить? А когда татары придут зорить Володимер, ушкуйники, што ль, станут меня защищать? Или так же вот повезут нас всех в полон, и бабы учнут пироги совать: «Нате, родимые!» Так, што ли?! — продолжал он, возвышая голос почти до крика: — Должон думать я наперед хоть немного! Не дурьей смердьей башкой, а княжеским разумом своим! Да без хана, без Орды все мы тута раздеремси промежи один другого! Изгубим землю до последнего кореня! Только и держит владимирский великий стол — воля ханская!

Бояре молчали, супясь. Андрей продолжал глядеть с мрачною, спокойною укоризной, и Дмитрий неволею опустил очи.

— А уверен ты, что Хидырь, в свой черед, усидит на ордынском столе? — возразил негромко Андрей.

— Как же быть-то, братие?! — вопросил, вздрагивая всем худым длинным телом, старый ростовский князь. А стародубский князь, сложивший руки на коленях и утопивший очи долу, только еще ниже опустил голову. Он уже каял про себя, готовый, ежели отступит судьба от великого князя Дмитрия, вновь пасть в ноги московиту.

Не знал князь Дмитрий, что власти Хидыря всего год, а потом, после, зарежут и его, и никакой прочности владимирскому престолу не проистечет от этой зряшной, как окажется потом, выдачи новгородских молодцов, что лучше, осторожнее и умнее было бы, как делали потом не раз и не два москвичи, потребовать откупа серебром с Господина Великого Нова Города, улестить хана, но не выдавать на расправу русичей, которым сейчас суждена долгая ордынская дорога и в конце ее канава, полная крови и нечистот, на краю которой татарским

ножом им, связанным, одному за другим перережут горло.

А и как узнать? Как уведать, почуять грядущее? Сердцем! Только сердцем! По слову Христа о любви к ближнему своему. Он подчас и ворог тебе паче недруга, ближний-то, а все-таки ближний, свой, и без любви обоюдной не станет ни страны, ни державы, ни самого племени русского...

ГЛАВА 8

Бояре разошлись. Дмитрий прошел в изложню. Холоп стянул с князя сапоги, принял опашень, золотой чеканный пояс и дорогой зипун шелковой парчи. Князь надел полотняный домашний сарафан, бархатные сапожки. Подошел к рукомою, взял кусок татарского мыла, холоп слил ему воду на руки.

Умывшись, князь отпустил холопа и стал было на молитву, но вдруг резко поднялся с колен, прошел узким переходом, стукнул в дверь соседнего покоя.

— Войди! — отозвался брат, словно сам ждал прихода Дмитрия.

Андрей сидел за аналоем на высоком резном креслице с подлокотниками, в одном исподнем, накинув на плеча легкий, куньего меха опашень, и читал по-гречески «Хронику» Никиты Хониата. Колеблемый круг свечного света выхватывал из темноты его лицо в рамке густой бороды и копну повитых сединою волос. Рука с долгими перстами, с серебряным перстнем на безымянном пальце, которой Андрей переворачивал твердые пергаменные страницы, казалась рукою не мужа битвы, но почти монашескою. И весь он, ежели бы не богатый опашень сверх долгой полотняной белой рубахи, скупо вышитой по вороту синим и черным шелком, напоминал монаха в келье монастыря.

Дмитрий подозрительно оглядел углы, ища, нет ли лишних ушей. Но Андрей был один. Брат показал глазами на второе такое же креслице, и Дмитрий сел, свалился, уронив руки и ссутулив плечи, мрачный ликом в колеблемом свете свечи, почти старый, похожий на отца в его последние годы.

— Что ж, ты полагаешь, москвичи воспользуют оплошкою моей и вновь захотят вернуть великий стол? Кому? Младенцу Дмитрию?

— Владыко Алексий меня беспокоит! — вымолвил негромко Андрей.

— Алексий меня венчал на владимирский стол! — Дмитрий выпрямил стан, заносчиво задрал бороду.

— Видишь...— Андрей, не глядя на брата, задумчиво отколупывал желтый воск, скатывал ароматные шарики, которые тут же снова давил в пальцах, прилепляя к кованому серебряному свечнику.— Видишь, летом московиту было не до того! Вернулся князь Всеволод из Литвы...

— Да, да! И Василий Кашинский вернул ему тверскую треть! И Роман приезжал в Тверь! И получил дары и церковное серебро, яко надлежит митрополиту русскому, от Всеволода с Михаилом!

— Но епископ Федор не похотел встречи с ним! — возразил Андрей.— Тот самый Федор, который когда-то поддерживал Всеволода! Алексий медлит. Но он укрепляет церковную власть! Ставит епископов. Нынче вот Великому Нову Городу владыку рукоположил! А ты, получивши суд по Новогородской волости, с чего начал? Великий князь володимерский! — Андрей поднял тяжелый укоризненный взор.

— Что же я должен был содеять, по-твоему?! Не послушать хана?

— Почто? Послушать, выслушать, заверить, обещать, одарить... И отай предупредить ушкуйников, воротить товар, да и то не сразу... В Сарае неспокойно. Чаю, не долго будем мы зреть Хидыря на престоле ордынском!

— Но Всеволод воротил свою треть! Но Ольгерд отбил Ржеву у москвичей и сам ныне приезжал смотреть! Но Роман все-таки был в Твери и получил серебро, яко митрополит русский!

— От князя!

— Да, от князя!

— И не от князя тверского Василия, а всего лишь от Всеволода Холмского! Который и воротиться-то сумел единой Ольгердовой помочью!

— Но Ольгерд!

— А что нам с тобою Ольгерд?! — Андрей вдруг резко, всем корпусом повернулся к брату.— Борису Ольгерд, по крайности, тесть! Так Борис и не приехал на Кострому! И тебя не послушал, хотя и младший! И полон не прислал! У него все ушкуйники, бают, сколь ни есть, успели удрать, и с товаром вместе... Да! — продолжил

он, не дав Дмитрию раскрыть рта.— Ольгерд занял Брянск, захватил Ржеву, не сегодня завтра возьмет всю Подолию у Орды, скоро проглотит северские княжества... Легче тебе от того? А ежели земля теперь отворотит от тебя? И погибнет хан Хидырь?

— И десятилетний ребенок сядет на стол владимирский? — упрямо возразил Дмитрий.

— Ты вновь позабыл про владыку Алексия! Митрополиту отнюдь не десять летов!

— Я не понимаю тебя, брат! Кто, в конце концов, совокупляет и держит власть земную,— князья или епископы?

— Церковь! — твердо ответил Андрей.— Нынче так! Не ведаю, как было в Киеве, не ведаю, что будет наперед, но теперь, нынче, в обстоянии, в коем пребывает Русь,— отселе бесермены, а оттоле католики, жаждущие покончить с православием,— нынче церковь и только церковь может спасти страну!

— И погубить нас?

Андрей молчал, продолжая внимательно разглядывать одинокое свечное пламя. Длинною восковою колбаскою опоясал тело свечи, поднял глаза на брата.

— Да, и погубить нас, ежели Алексий захочет того!

— Но я восстановил порядок в земле, воротил на свои столы ростовского, галицкого, стародубского князей. Каждый да держит отчину свою...— начал было Дмитрий, но Андрей вновь перебил брата:

— Как говаривал когда-то Владимир Мономах! Но Киевская держава разваливалась в те поры, и ничего другого Мономах измыслить не мог! А Алексий — надеюсь, не станешь ты спорить, что нынче на Москве правит не князь, а митрополит? Алексий отринул твои и порядок, и право! Утеснил, и паки утеснил тверичей, перевел митрополию во Владимир, а на деле — в Переяславль и даже на Москву, и будет вновь утеснять князей мелких владимирских уделов, отбирать отчины... Он собирает страну!

— Любыми средствами?

— Да, любыми!

— А как же заветы старины, как же право и правда, как же истина веры Христовой, наконец?

— Что есть истина?! — с горечью пожал плечами Андрей, невольно повторив слова Понтия Пилата.— Византия гибнет! А мы? Быть может, Алексий и более прав, чем мы с тобою!

— Дионисий пророчит величие нашей отчине! — гордо отверг Дмитрий.

— Игумен Дионисий не скоро станет митрополитом русским, да и станет ли, невесть! — холодно пожал плечами Андрей.— Нынче все толкуют опять про небесные знамения. Месяц был яко кровь. Сулят беду. Опять мор отокрылся во Пскове. Не на добро сие! — Он смолк.

Князь Дмитрий сидел, понурясь. Чуть слышно потрескивала свеча. Два стареющих человека, получившие наконец вышнюю власть в русской земле, сидели растерянные в тесном покое костромских княжеских хором и не ведали, что им вершить, что делать с обретенною властью.

ГЛАВА 9

Когда «тихого и кроткого» Хидыря зарезал во дворце его собственный старший сын Темир-Ходжа и в Орде наступил кровавый ад, из всех собравшихся в Сарае русских володетелей один лишь митрополит Алексий загодя учуял недоброе и сумел увезти свое сокровище — десятилетнего наследника московского престола — до беды. Дмитрий Константиныч, полагаясь на свое великокняжеское достоинство, остался пережидать замятню в Сарае. Андрей решился ехать. На прощание братья расцеловались.

— Быть может, ярлык...— начал было Дмитрий, но Андрей махнул рукою, и брат на полуслове умолк. В порядок и безопасность, установленные некогда Джанибеком, не верил уже никто.

Дружинники накануне всю ночь точили оружие. Загодя перековали коней.

Из Сарая выбрались благополучно и уже было понадеялись: «Пронесло!» Степь дымила низовым чадным пожаром: взбесившиеся, казалось, эмиры жгли кочевья друг друга, оставляя «карачу», своих смердов, на голодную смерть. В волнах дыма, отворачивая морды, проходили кони.

Орда Арат-Ходжи нахлынула нежданно. С воплями неслись на них низкорослые всадники на косматых злых лошадях. «Грабить? —думал Андрей, невольно сужая глаза.— Грабить!»

О том, что ростовского князя, двинувшего из Орды

вслед за ним, в пути разволочили донага, отобрав не только казну, товар, порты, оружие, но и коней, и несчастливый князь брел на Русь пешком, кормясь подаянием, Андрей узнал уже после, когда добрались до Нижнего. Здесь пока ничего было не ясно. Мгновенье растерянности он, не говоря ничего боярам, пережил сам в себе.

— Пайцза! Ханский ярлык! — кричал тысяцкий, высоко подымая над головою «опасную грамоту», без которой не ездили в степи.

Но первый же подскакавший татарин вышиб плетью фирман из рук боярина. Нарочито коверкая русскую молвь, он кричал бранные слова, из коих выходило, что ханской власти тут уже не признают и всем русичам надобно спешиться и отдать оружие.

Кровь хлынула к сердцу и голове Андрея, на миг стало трудно дышать, и — прошло. Ум снова обрел ясноту, и сила прилила к руке. Отвращение (вспомнились трупы на улицах Сарая), гнев, презрение охватили его: эти вот грязные руки убийц будут расшвыривать греческие рукописи его походной книжарни! Он обернулся, твердо сведя рот, и вырвал саблю. И дружинники, оробевшие было, с разом вспыхнувшими, прояснвшими лицами содеяли то же. Он еще успел заметить испуганно округленные глаза и отверстый рот татарина, и вослед за тем рука сделала сама надобное движение сверху вкось и вниз, и хрустнуло, и татарин исчез, нырнув под копыта скачущего коня, а кругом уже неслись с жутким монгольским кличем «Хурра!» нижегородские русичи, врезаясь, как в воду, в нестройную, жидкую, совсем не ожидающую отпора толпу степных грабителей.

...Трое суток они не спали. Трое суток не расседлывали коней, бессчетно устремлялись слитною густою лавой на неровные ряды скачущей татарской конницы.

Уже когда вырвались и Арат-Ходжа, поняв, что не на того нарвался, отступил, Андрей чуть удивленно и с невольною радостью ловил на себе восхищенно-преданные взгляды дружины. То, чего не мог добиться годами, совершилось тут само собою, почти без его воли и участия. Всё был грек, книгочий, книжник. А тут, срубивши вонючего степняка, усидев в седле под посвистом стрел татарских, стал вдруг своим, близким... «Поди, и про то, что от матери-гречанки, забыли! — думал Андрей, недоумевая.— Как же это легко! И легко ли? И в чем тайна? В том, что не побоялся вырвать оружие из ножон? И это

все? Все, что надобно?! Не ожидали от князя своего толикой ратной удали?..»

К нему подъезжали спросить, потрогать украдкою попону, седло, просто побыть близ...

Кругом, доколе хватало глазу, курилась подожженная степь. В дыму проходила на вымотанных конях спасенная нижегородская рать.

В Нижнем, куда уже доползли слухи о нятии князя, их встречали радостным колокольным звоном.

Василиса (тоже передумала невесть что, мыслилось, что и убит), едва завела в горницы, кинулась на шею, замерла, молча вздрагивая, давши волю слезам.

ГЛАВА 10

Ордынская замятня нежданно-негаданно спасла от неминучей смерти новгородских ушкуйников, захваченных на Костроме.

Ушкуйников по зиме привозили ватагами и тут же, мало подержав в яме, отводили на площадь перед ханским дворцом, где двое ордынских катов загибали связанным русичам головы назад, а третий буднично просто, точно резал скот, перерезал каждому горло, а затем, после того как утихал фонтан человеческой крови и у казненного стекленели глаза, тем же широким мясницким ножом в два-три удара отсекал голову, отбрасывая ее в сторону для счета, а тело подручные крючьями отволакивали посторонь. Новгородцы хрипели, ругались матом напоследях, бились, осатанев, в путах... Иные просили: «Хошь перед смертью руки развяжи!» Испуганный русский поп, взглядывая на дюжих татаринов-катов, неловко совал крест к губам новогородских молодцов, смаргивая, шептал молитву.

«Костромичей», задержанных в пути половодьем, привели поздно. Почитай, накануне того дня, когда Темур-Ходжа совершил переворот в Сарае. С десяток молодцов успели отвести на площадь и казнить, но потом вышла заминка. Голодные, с пересохшими от жажды ртами (кто бредил, кто хохотал непутем) новогородцы, истомясь, ждали уже хошь какого конца, лишь бы скорей!

Раза два в тот день в затвор заглядывали татарские морды, лопотали по-своему и скрывались. Стража все не шла. Наконец, к вечеру уже, в маленьком, вровень

с землею оконце помаячил лик и голос — своего, русича! — обжег смертников надеждою:

— Кто тутотка?

— Свои, русици! Воды! Испить! — прохрипели полоняники.

— Сторожи нетути! — возразил голос.— Утикли вси! Резня у их!

Обалдело не поняли враз, а как дошло до ума — ринули к окну, заорали всполошно:

— Со Христом Богом, выручай!

— Чичас! — ответил голос, и послышались редкие, неумелые удары камнем по замку.

Новогородцы — отколь и сила взялась! — зубами рвали ремни, освобождая друг друга, у кого-то нашелся обломок ножа; скоро освобожденные яро кинулись на дверь. Затрещало, посыпалась земля. Дверь вынесли с ободверинами, рванули вверх, ввысь, к свету и жизни.

Русич, что помогал с замком, заячьим скоком мотанул в сторону. Какие-то в халатах, с саблями наголо ринулись было вперейми. Ушкуйники, теряя людей, похватали их голыми руками, рвали горла, грызли зубами — не спасся ни один. Оборуженные захваченными саблями, звериным чутьем выбирая дорогу, новогородцы устремили к воде, к спасению. Еще кого-то встречали, с кем-то бились, уменьшаясь в числе, но зато обрастая оружием, и, дорвавшись, добежав до берега, пили, пили и пили, икая, храпя, готовые выпить до дна всю Волгу, и снова шли, и снова бились, зверея, пока наконец, в сумерках уже, не выбились из беды и не обрели лодью.

С берега, темного на ясной воде, летели стрелы. Гридя Крень, спасшийся вместе с другими и раненный напоследях, выдрал татарскую стрелу из тела, погрозил берегу кулаком. Весла гнулись в руках молодцов. Все еще верили и не верили, но уже вокруг была и отдаляла от смерти спасительная опалово-ясная полоса.

— Ужо воротим — мало им не будет! — процедил кто-то из ушкуйников. И Гридя, зажимая рану ладонью, повторил растяжно:

— Воро-о-отим!

Только теперь начал он понимать, что остался жив, и с жизнью подошло горячее желание мести: татарам ли, суздальцам — все едино кому!

— Воро-о-отим! — произнес он опять, липкой от крови рукою сжимая онемелый бок, а другою, сжатым ку-

лаком, грозя в отходящую назад смутным громозжением клетей, вспыхивающую факельными огнями и воем недобрую темноту татарской столицы. И чуялось по рыку, по ножевой ярости глаз, что и в самом деле воротят, досягнут и «тряхнут Волгою» настырные новогородские удальцы.

ГЛАВА 11

В ближайшие недели от чудом спасшихся купцов, от беглецов, от отдельных ратных, что возвращались со свежими, кое-как перевязанными ранами, обкуренные пожаром степной войны, на Руси вызнавалась понемногу истина произошедшего.

Золотой Орды, по сути, уже не было. Мамай, захвативший правобережье Волги, поставил своего царя, Авдула. Но в Сарае сидел после тройного убийства ханов Мурут, или Мурад (Тимур-Ходжа, зарезавший отца и брата, был вскоре зарезан тоже). А в заволжской степи поднял полки, добиваясь сарайского престола, Кильдибек, племянник убитого Бердибека. Булгары захватил Булат- (или Пулад-) Темир, перенявший волжский путь, а на мордовских землях от Бездежа до Наручади засел Тогай, основавший тут свое княжество. Итак, на месте волжской державы возникло пять улусов, и только один из них, русский, поддерживал попрежнему законную власть в Сарае...

Андрей всю осень болел, отлеживался, приходил в себя. Со страхом думал порою о делах и судьбе брата, которому уступил великое княжение владимирское. Впрочем, из Орды передавали, что князь Дмитрий жив и скоро ладит домой.

Здесь, за стеною лесов, было покамест тихо. Пахарь пахал, купец торговал, а князь правил. И летописец (усилиями покойного родителя в Нижнем тоже явилось свое летописание и школа изографов, не без нарочитого талана повторявших греческие образцы), летописец в посконной долгой рубахе и грубой шерстяной домодельной свите, подвязавший власы гайтаном — не падали б на глаза, заносил неспешно в тяжелую книгу старинным отчетистым полууставом горькую повесть тех лет, не ведая, что через века ото всего, о чем ныне кричат, толкуют, спорят — в избах, на торгу, в боярских теремах и в хоромах княжеских,— останут только эти вот его

скупые слова полетних записей в кожаной книге с узорными медными застежками дощатого переплета:

«В лето шесть тыщь восемьсот шестьдесят девятое (отнимем 5508 лет, по традиции считающихся от «сотворения мира» и до Христа, и тогда ясно станет, что Хидырь, на коего так полагался суздальский князь, просидел на престоле всего лишь чуть более года) поидоша в Орду, князи русские, и бысть при них замятня велика в Орде, убиен бысть Хидырь от сына своего Темерь Хозя, и взмятеся все царство: сперва посадили Хидырева сына большого, и пребыл на царстве две недели, и они его убили, а потом Ардамелика посадили, и тот царствовал месяц, и оне его убили, и наседе на царство Мурут, и яшася за ны князи ордыньские. А Мамай, князь ордынский, осилел с другую сторону Волги, царь бо у него именем Авдуля, а третий царь в то же время в Орде вста на них, и творяшесь сын царя Чанибека, именем Килдибек, и тот такоже дивы многи творяше в них. А Болактемирь Болгары взял и ту пребываше, отнял бо волжскы путь. А иной князь ордыньскый, Тагай бе имя ему, и от Бездежа и Наручадь, ту страну отнял себе и ту живяще и пребываше. Гладу же в них велику належащу и замятню мнозе и нестроению надолзе пребывающу и не престающе друг на друга восстающе и крамолующе, и воююще межи собою, ратящеся и убивающеся»...

Андрей читал погодную запись, отмечая про себя, что стараниями Дионисия Орда тут выглядела совсем уж немощной, когда в покой зашел знаменитый игумен. Благословив князя, сел в резное кресло. Требовательным взором оглядел Андрея.

— Великое мужество, князь, оказал ты в деле ратном!— сказал, помолчав.— Иные дивы творят, почто не взял великое княжение в руце своя? — И, не давая возразить Андрею, докончил: — Аз же, недостойный, реку: почто не поведешь русичей ныне, когда погибельное раздрасие одолило язычников, почто не поведешь на Орду? Тебе реку,— возвысил голос пастырь,— не брату твоему! Ушкуйники Великого Нова Города дерзают брать города бесерменские, а вы? Вы, коим надлежит возглавить и повести к одолению на враги и возвысить Русь, воротив ей прежнюю, древлекиевскую славу?!

— Мне, отче, не сговорить князей,— хмуро отозвался Андрей.— У Нижнего Новгорода недостанет силы на долгую прю с Ордою!

— Дождетесь! — пристукнув посохом и сверкнувши взглядом, рек Дионисий.— Дождетесь, Литва совершит то, чего страшите совершить вы! И к вящему торжеству католического Рима охапит волости русстии в руце своя!

Андрей чуть дрогнувшею рукою закрыл погодную летопись, притиснув топорщившиеся листы, пытался застегнуть медные застежки переплета. Как у отца хватало воли терпеть и укрощать игумена? И как объяснить этому упрямцу, что реченное им паки и паки невозможно и даже самоубийственно ныне для русской земли? Как объяснить?!

— Отче! — отвечает Андрей.— На то, чего хочешь ты днесь, нету у нас ни сил, ни серебра недостанет. Война дорога! («Ни крови недостанет людской»,— договаривает про себя Андрей.) И с Москвою не сговорить...— И, подымая голос, воспрещая игумену дальнейший спор, заключает Андрей, подымаясь с кресла: — Почто не изречешь ты глаголов сих главе церкви русской, владыке Алексию?

Дионисий потемнел ликом. Недобро глядючи на князя, хотел было продолжить спор, но Андрей не пожелал слушать. Негромко, но твердо повторив прежнее, примолвил: «Я сказал!» Склонил голову, благословляясь. Вышел, в дверях разминувшись с испуганным писцом, что неволею услышал спор громоносного игумена с князем и оробел несказанно, плохо, впрочем, поняв, о чем шла у них речь. Печерский игумен, пробормотав нечто зело нелестное о князе Андрее («и сей... робостию славен!»), также стремительно покинул покой.

Летописец — не игумен Дионисий, не князь. Его дело — писать так, как скажут, и токмо не переиначивать прежнего рукописания. Проводивши игумена, он крестится и вновь приступает к неспешной работе своей. Текут часы. Вот он подымает голову, трет усталые глаза. Сейчас ударят в било и можно станет, отложив гусиное перо, идти к выти в монастырскую трапезную, где будет уха, и хлеб, и тертая редька, и вареные овощи, где станут неспешно за трапезою читать жития святых... Пошли, Господи, и далее тишины русичам! И только ветер над кровлей, ордынский, суровый, будет тревожить тихое течение жизни предвестием новых бед.

ГЛАВА 12

Андрей понимал, что в чем-то обманывает своих ближних, дружину, поверившую было в него, бояр, даже Дионисия (паче всего Дионисия!), быть может, даже и смердов, но ничего поделать с собою не мог. Бросать невеликие силы Нижегородского удела в кровавую ордынскую кутерьму он не хотел и не имел права. Даже и теперь, когда в степи голод, когда, как говорят, с юга опять надвигается на татарские города чума, когда силы Орды разделены и поглощены борьбою ханов друг с другом. Он видел дальше. Он вместе с отцом объезжал починки русских насельников по Волге, Кудьме и Суре Поганой, межевал земли, улаживал владельческие споры с мелкими мордовскими князьками и ведал, что новонаходникам-русичам в здешних палестинах для того, чтобы окрепнуть и умножиться до брани с Ордою, надобны еще зело многие годы. Или у него самого не было стольких сил? Быть может, и то и другое!

Святками наезжал Борис да и загостился в Нижнем. Облазал весь город и загородье, толковал с игуменом Денисом, побывал едва ли не у всех великих бояр.

На улицах гремела разгульная удаль Масленой, проносились ковровые сани, лихо выкатывая на оснеженный волжский простор. Было много смеху, безлепицы, бурной посадской радости — ни от чего, от изобилия молодых сил в плечах, от вишнево-алых румяных девичьих лиц, от заливистого звона поддужных колокольцев, от грома, гама, песен и пиров...

Борис прошел к нему пышащий здоровьем, молодой, жадный, разгоряченно-злой. Бросил кулаки на столешню, вырезными ноздрями гнутого носа втянул воздух, лампадный книжный дух покоя Андреева и, выдохнув жарко,— отверг. Мотанул головой, голубыми сумасшедшими глазами уставясь в темные очи старшего брата, едва не выкрикнул:

— Кому оставишь престол?!

У Андрея не было детей. Первую жену и рожденного ею (и рано умершего) сына он уже начал позабывать. Тверянка Василиса, выданная за него, тридцатилетнего заматерелого мужа, двенадцатилетнею тоненькой девочкой и первые месяцы со страхом ложившаяся в супружескую постель, рожала впоследствии все мертвых де-

тей. Нижегородский стол после его смерти должен был отойти кому-то из братьев.

Андрей, перешагнувший уже на середину шестого десятка лет, должен был, конечно, не раз и не два подумать о наследнике. По лествичному обычному праву города княжества должны были доставаться братьям-наследникам в очередь, по старшинству. Но какой град почесть нынче старейшим: Суздаль, где продолжает оставаться епископский стол, или Нижний, куда отец перенес престол княжества?

— Дмитрий — великий князь! У него в руках Переслав, Кострома, Владимир! Что ж, мне так и сидеть на Городце? — выкрикнул гневно Борис.

«Так и сидеть!» — должен был бы ответить Андрей, но не ответил, столькая ярость была во взоре братнем. И он спросил вдруг о том, о чем спрашивать было не след:

— А примет тебя дружина?

— Надеюсь... Верю!

Смутясь, Борис утупил очи долу, вновь, уже хмуро, глянул на брата, в его правдивые мудрые укоризненные глаза. Андрей, и не ведая, угадал его тайные речи, посулы, клятвы нижегородской боярской госпóде. Понял и был огорчен. Не за себя (боярам бездетного пожилого князя была нужда думать, с кем они останут после его смерти!). За брата Дмитрия, за братнюю, столь нужную в днешнем раздрасии любовь... Выгнать Бориса из города Андрей не хотел, да и не имел права. У каждого из сыновей Константина Василича был в Нижнем свой двор, у каждого — свои села под городом, и в доходах нижегородского мытного двора была у Бориса своя неотторжимая часть. И неведомо, куда повернет, прикажи такое Андрей, старый отцов тысяцкий...

Васса вошла вовремя, притушив едва не начатую ссору. На серебряном подносе уставно подала деверю гостевую чару. И Борис чуть вздрагивающей рукою принял хмельной мед, встал, помедлив, перед невесткою, перед ее строгим взором, поджатыми губами, сухоиконописным ликом. Опорожнил серебряную плоскую чарку с драгим камнем на дне. Глянул и на нее светлобешено. Но Васса, потянувшись, слегка тронула его щеку холодными губами, и взор Бориса забился, запрыгал и потух.

Василиса передала поднос с чарою прислужнице, кивком увенчанной жемчужною кикою головы повелела

слугам накрывать и пошла-поплыла вон из покоя — едва вздрагивали прямые складки темного, мерцающего скупою золотою отделкою долгого, до полу, сарафана.

Борис ковырял двоезубой вилкою поджаренную с индийскими пряностями дичь, ширил ноздри, глядел мутно, но в драку, как показалось даве, уже не полез и на строгие слова Андрея о том, что о родовом надлежит баять вкупе с епископом, старейшими из бояр и игуменом Денисом, лишь сумрачно глянул вновь в очи брату, но сдержал себя на этот раз.

«Нет, не отдаст добром Борис Нижний Дмитрию! — думал Андрей хмуро, ощущая растущее бессилие свое.— Не отдаст! А ну как и с великого стола спихнут Митю? И кто! Четвероюродный десятигодовалый племянник!»

Борис наконец ушел, не получив от него никакого ясного ответа. Правда, это отнюдь не значило, что он не получил отай этого ответа от нижегородских бояр Андреевых...

Вечером, когда супруги были в опочивальне, Васса, снимая украшения и разбирая волосы на ночь, сказала мужу:

— Мурут разбил Кильдибека, слыхал?

— Да,— безразлично отозвался Андрей.

— Ты баял, Мурут не осильнеет в Орде!

— Значит, ошибался... Впрочем, это еще хуже для нас!

— Мыслишь, захочет переменить великого князя?

— Не ведаю.

Она уже сняла ожерелье и кику и сейчас, сжимая губы в нитку, расплетала, расчесывая, косы. Худая длинная шея жены, голубоватая от проступивших жил, и острый очерк носа напомнили Андрею еще раз, что молодость Вассы уже позади. В самом деле, ей уже за тридцать, да и невеселые неудачные роды содеяли свое дело... Когда-то она, маленькой девочкою, обмирала в его руках. Теперь, поминая, Андрей стыдился тогдашнего своего нетерпения. Не он ли и виноват, что у них теперь нету детей?

— Слушай! — спросил он вдруг.— Ежели я умру... Погоди! Ежели скоро умру, ты пойдешь сызнова замуж?

— Уйду в монастырь! — сказала как отрезала, и не поглядев на него. Помолчала, добавила мягче: — Я и маленькой хотела уйти в обитель!

— Знаю. Ты не жалеешь теперь, что пошла за меня?

— А ты?

— Васса! — Он уронил голову в руки. Жена подошла, помедлив, легко коснулась поседелых Андреевых кудрей влажной холодной рукой.

— И не понимаю тех, кто поступает иначе! — молвила строго.— Семья — святыня! Муж един и на всю жисть! Как можно? — Она слегка поморщилась, пожав плечами.— Чужой запах, норов чужой... По-моему, так изменить ли живому али мертвому — все едино!

— Дитяти нету у нас,— покаянно прошептал Андрей.

— От Бога сие! — с холодноватою твердостью отозвалась Василиса, вновь отходя от супруга. Взяла серебряное зеркало, открыла круглую костяную коробочку с благовонною мазью, стала растирать лицо. Не оборачиваясь, вопросила негромко: — Борис у тебя опять Нижний просил? Отдаешь?

Андрей вздохнул шумно. Перемолчал.

— Ежели тебя не станет,— прибавила она жестко,— сам возьмет! Не поглядит и на Митрия!

— Мыслишь?

Андрей, вопросив, не ожидал ответа от жены. Борис, конечно, ни за что не откажется от Нижнего! Вот и распадается их семья, казавшаяся такою крепкой при отце!

Василиса сидела на краю кровати, уже в одной долгой рубахе, неясная в сумраке и оттого помолодевшая вновь. Чуть улыбнулась, вопросив:

— Разуть тебя?

Андрей торопливо скинул мягкие домашние тимовые сапоги, расстегнул и сбросил ферязь, зипун, верхние порты. Ополоснул лицо и рот под рукомоем. Он и правда чувствовал себя порою так плохо, что начинал думать неволею, что скоро умрет.

Васса, когда уместились в постели, задернула полог, положила руку ему на грудь, на сердце, вопросила:

— Расстроил тебя Борис?

Андрей молча кивнул. Она поняла в темноте легкое шевеление супруга, стала осторожно растирать ему грудь. Горечь, неведомая доселе, поднялась в нем и, помедлив в груди, подступила выше и выше, к самому горлу.

— Почему русичи не могут совокупить себя воедино? По слову Христа: «Возлюби ближнего своего»... Ведь уже почти полторы тысячи лет, как сказано это! Тринадцать веков! И почти четыре столетия от крещения Руси! И всего две — две — заповеди! Возлюби

ближнего и Господа своего возлюби паче себя! А это значит — возлюби честь, совесть, правду, родину, наконец! Паче своего живота, паче жизни! Умей отдать за них, ежели потребует судьба, и самого себя! Неужели сего не поняли? Сих двух Христовых заповедных речений не восприняли за века протекшие?!

Ведь нас, русичей, не так и много, в конце-то концов! Ведь нас — горсть! Ведь мы в лесах, в пустынях, почти в рассеянии обитаем! Вокруг — вяда, мордва, татары, меря, мурома, черемиса, булгары, а там — зыряне, чудь, югра, пермь, дикая лопь и самоядь — кого только нет! И у нас одних — свет истинной веры Христовой!

Ведь пошли бы за мной, поведи я их на ратный бой, на кровь и на гибель! Почему льзя на смерть и нельзя на любовь?! Почему даже братья родные и те друг на друга? «И почаша князи про малое «се великое» молвити, а сами на себя крамолу ковати. А погании со всех стран прихождаху с победами на землю русскую!» Где предел? И кто положит его?!

Купцы жадают утеснить тверичей и гостей новогородских, те — перебить пути сурожанам. Ну, пускай фряги, иной язык, но свои!

Ведь, Господи, Боже мой! Ведь все можно! Вот дела святые: заселяй землю, обиходь, защити, зачем же ее губить? Вот они, просторы, леса дикие — за стеной! Паши, строй, раздвигай пределы Руси Великой!

Нет! Будем губить друг друга, утесняти себя, яко Византия, утерявшая в спорах взаимных все великое наследие свое! Кто должен уступить? Как в тесноте, в узости, в арке каменных ворот, прут вперед и стеснили друг друга до невозможности содеять вздох, шевельнуть членом. Кто сдаст назад в одичалой толпе? Кто кинет себя под ноги во спасение прочим?

Пусть я! Я отдал великое княжение Дмитрию. Теперь отдать Нижний, отцову отчину, Борису? И они тотчас помирятся? Как бы не так!

В Твери дядя, Василий Кашинский, воюет который год уже с племянниками покойного брата-мученика. Новгород пред лицом свеев и немецкого Ордена спорит со Псковом. Великий князь — с Новгородом. И все нынче жадают боя, свары, драки-кроволития, не очень еще и понимая, с кем и для чего.

Дионисий зовет к битве с Ордою, к одолению на татар, хотя Орда сейчас — наше единое спасение, все передеремся ведь!

Да, ежели этого нет, нет силы, напора, энергии, гнева, наконец,— тоже гибель!

Но вот мужики — строят! Орют землю! Избы растут, тучнеют поля... У них пожар — дак то пожога, выжигают гари под новую пашню, а у нас пожар — выжигаем храмы и города!

Ныне есть силы на Руси! Помню, стоило мне вырвать лезвие — и ринули в бой! Уже нет страха перед татарами, вообще исчез страх... Но где истина?

Ведь это ужасно, даже ежели свое — обчее, и в этом спору нет, Русь одна! Но ежели при том каждый станет только за себя, с постоянною скорбью лишь о своем успехе, собине, власти, чинах и наградах, то ведь эдакто и до предательства возможет дойти! Ибо ежели тот и другой из нас плох, что помешает оборотить за подмогою ко врагу? Как древле наводили поганых половцев, хазар, жидов, ляхов, угров на землю русскую и изгубили страну! Где предел?! И не станет уже предела! И народ погибнет. Весь!

Для соборности, для соборного деяния надобна жертвенность!

Ведь вот татары — не изверги же они и не потому убивают брат брата и сын отца, что жадают крови ближних, а потому, что ныне в Орде в глазах большинства это единственно возможный путь устроения власти!

Ужели и до сего дойдем? Ведь это ужас! Эти похоти власти, успеха, животного любования собой... Да, надобна жертвенность! Где же она на Руси? Есть мужество, повторю, злоба есть, но кто отречет от себя самого?

Нам не хватает отречения!..

Андрей привстает, вновь сваливает обессиленную голову на взголовье. Василиса продолжает гладить ему грудь, трогает прохладными пальцами лоб, щеки. Отвечает негромко, тем своим успокоенным, лукаво-материнским голосом, которым разговаривает с Андреем только в постели:

— Ты хороший! Не волнуй себя больше. Спи!

ГЛАВА 13

Незримая граница отделяет дитятю от отрока, отрока от вьюноши и вьюношу от мужа. Последнее не всегда в подвигах. Резче всего отделяет и отдаляет мужа от вьюноши женитьба, семья, бремя ответственности и за-

бот о супруге и детях. Ибо никогда не было так в героические времена, чтобы жена кормила неумеху мужа. Муж, мужчина снабжал дом, создавал его, пахал ли и сеял, водил стада, плотничал ли, чеботарил, кузнечил, иною какою мудростью-хитростью пропитывал домашних своих, торговал ли, судил ли и правил, в походы ли ходил — всегда на нем лежала охрана и снабжение дома. На жене, женщине — хозяйство в этом дому. Пряла и ткала, варила, солила и стряпала, готовила меды и наливки, лечила и обихаживала скотину, держала огород (покос, опять же, был делом мужским) — женщина. Патриархальная, многажды разруганная семья покоилась отнюдь не на всевластии и самоуправстве мужчины, как это принято думать, а на строгом распределении обязанностей и прав между мужем и женой.

Много работы в дому! И в боярском не меньше, чем в крестьянском. Ибо надо всех нарядить по работам, надобен за всеми догляд и надо уметь делать то, что наказываешь и велишь слугам. У хорошей хозяйки вычищены кони, подметено в хлевах, чистота на дворе. Не сама — слуги! Но встать надобно на заре, прежде слуг. А в любую свободную минуту и боярские, княжеские ли жонки сидели за тканьем и вышивкою, и вышивки те до сих пор изумляют в музеях взоры знатоков. Так вот было во времена героические. До немцев-управляющих, до ассамблей и томительного дворянского безделья, в котором многие ли и много ли сил тратили на творение культуры? А детей воспитывали уже не сами, как встарь, а крепостная мамка да выписанный из-за границы француз... Но до француза и немца еще у нас пять столетий. Не позабудем того.

Итак, женитьба сотворяет мужа из вьюноши. Дитя — пока на руках матери и мамок. В семь (а то и в пять лет!) начинается мужское воспитание. Отец-охотник семигодовалого сына впервые берет с собою на долгую охоту в лес; пахарь приучает к труду; боярского сына, совершив постриги, вскоре садят на коня и дают в руки оружие. Меж отроком и вьюношей такого резкого рубежа нет.

Вот толстенький десятигодовалый отрок-медвежонок косолапо лезет в седло. Конь все отступает и отступает, отворачивая от крыльца, и отрок злится, дергает коня за повод, тащит опять к ступеням. Он еще не умеет, как другие подростки-сверстники, кошкою по стремени

взлетать на спину коня, хотя сидит в седле уже хорошо. А конь, зная это, не дается, дразнит подростка.

Иван Вельяминов — высокий, красивый, светлый лицом «муж битвы и совета», как говорили встарь,— с легкою усмешкой наблюдает старания княжича. Он уже женат, уже нянчит сыновей, и ему весело следить неумелые потуги, Шуриного первенца, которого владыка Алексий, как ни хлопочет, не может и доселева посадить на великий стол. Иван легко касается носком изукрашенного сапога стремени. Взлетает в седло. Не глядючи принимает поданный стремянным повод. Доезжачие нетерпеливо ждут, горяча коней, сокольники чередою выезжают из ворот, у каждого на перчатке сокол в колпачке, и у Мити стоят уже злые слезы в глазах. Он — князь! И как смеет, как смеет Иван Вельяминов смеяться над ним!

Микула в очередь сбегает с крыльца. Легко, без натуги, подхватывает Дмитрия и вбрасывает в седло. Княжич, точнее сказать, отрок-князь — ибо он сейчас самый старший из князей на Москве, даром что правит за него местоблюститель престола владыка Алексий со старшими боярами,— весь заливаясь густым детским румянцем, кивком головы благодарит Микулу и торопится подобрать повода. Стремена его коня подвязаны по росту юного князя, и, утвердясь в них, Дмитрий резко осаживает взыгравшего было жеребца. Сила в руках у мальчика есть, и немалая. «Добрый будет воин!» — уже сейчас говорят про него.

Микуле за двадцать, но он еще не женат, и это, да к тому и незлобивый нрав (Микула никогда и ни в чем не величается), сближает его с отроком-князем, с которым он и в городки играет, и в игру тавлейную, учит и натягивать лук, и правильно рубить саблей, и в седле сидеть его, почитай, выучил Микула, а не кто другой.

Вельяминовы всею семьей, точнее, всем родом, не уступая никому, воспитывают потерявшего отца будущего князя московского. У Алексия отрок постигает премудрость церковную, учится чтению по Псалтири и письму, а паки научается вере православной и благочестию. Но верховой езде и воинскому искусству, обхождению с чинами двора и думы, истории и законам, прехитрым извивам политики учат его Вельяминовы. Василий Василич взял на себя воинскую науку подрастающего князя, его брат Тимофей, книгочий и книж-

ник,— изучение «Правды русской», «Амартола» и Несторовой начальной летописи. Писаная мудрость, впрочем, дается Дмитрию с трудом. Со слов, по изустному речению постигает он больше, чем из строгих, пахнущих кожею и чем-то отпугивающим его книг. Лениться, однако, отроку не позволяет Алексий, успевающий доглядывать за всем, что касается воспитания и обихода наследника. Есть еще, правда, второй княжич, младший, Ванята. Шура успела родить двоих мальчиков от князя Ивана. Но тот, хоть и разумом светел и добр, но какою-то юною беззащитностью слишком напоминает отца своего, несчастливого Ивана Иваныча Красного, и потому все надежды Алексия сосредоточиваются пока на старшем, на Дмитрии...

Вот вереница красиво разряженных всадников, вытягиваясь, скачет по лугу. Звенят птицы над головою, текут в промытом весеннем молодом небе белые облака. И лес свеж, и сверкает молодая яркая листва, и у Дмитрия уже высохли слезы обиды на лице, он улыбается, понукает коня, и жеребец с рыси переходит на скок, и отрок с упоением взлетает в седле, выпрямляясь и чуть откидываясь назад, как учил его Микула.

Трубят рога. Загонщики гонят дичь в открытое поле. Вот уже первый сокол, освобожденный от колпачка, взмыл в небеса и оттуда, пореяв немного, озираясь и расправляя крылья, рушит стремглав вниз, сбивая с полета отчаянно орущую крякву. Вот вельяминовский сокол подбил зайца. Митя, кусая губы и уже гневая, оглядывается на своего сокольничего: ну же, да ну, скорей! Но княжеский красный кречет, дорогой челиг, привезенный аж с Терского берега, пошел кругами, только еще примериваясь к добыче, меж тем как сокол Ивана Вельяминова опять ринул вниз у него под клювом и уже взмывал ввысь с пестрою куропаткой в когтях. Маленький Дмитрий стал в ярости бить кулаками по конской шее, жеребец взмыл на дыбы, едва не выронив княжича из седла. И опять Микула, не мысля худого пред братом, помог Дмитрию, промчавши мимо и указав плетью в сторону, к просвечивающей меж стволов воде. Дмитрий, уразумев, совсем по-княжески, повелительно, кивнул своему сокольничему и помчал вослед за Микулой. Не снимая шапочку с глаз своего сокола, младший Вельяминов пропустил князя вперед, и тут же целая стая уток с кряканьем и оглушительным хлопаньем крыльев вырвалась из камышей.

— Пускай!

Челиг вновь взмыл и ринул в середину стаи. Крупный селезень, теряя перья и кувыркаясь, полетел вниз, а челиг, сделав немыслимый прыжок в воздухе, подбил утку и успел, настигнув стаю, ухватить вторую, которую и понес в когтях, снижаясь на призывный свист сокольничего. Дмитрий, позабыв давешнюю обиду, хлопал в ладоши. Микулин доезжачий по знаку господина скинул порты и борзо сплавал за двумя подбитыми челигом птицами. Княжич, счастливый, привязал уток к седлу и гордо, разгораясь лицом, огляделся кругом. Охота продолжалась.

Сколько мелких обид и уколов самолюбия, сколько промахов, допущенных не очень внимательным к юности Иваном Вельяминовым, понадобилось, чтобы совершилась трагедия, разыгравшаяся спустя много лет, уже после смерти тысяцкого Василия Василича! И думал ли о том, мог ли подумать Иван? Дмитрий? Микула? Да ни один из них! Но годы проходят...

Солнце уже пошло на закат и стало свежо, когда охотники, увешанные битой птицей, разгоряченные, покрытые пылью, возвращались к дому. У загородного терема Вельяминовых стоял крытый митрополичий возок. Молодые боярчата невольно подтянулись. Юный князь меж тем весело побежал здороваться со своим духовным отцом.

В покое, темном после солнечного дня, сидели друг против друга тысяцкий Василь Василич и митрополит Алексий. Дмитрий без стука ворвался в палату и остоялся, понявши, что что-то происходит меж ними важное и непонятное ему. Василь Василич был необычайно хмур, а владыка Алексий необычайно торжествен: в палевом, летнего дня ради, облачении и в белом клобуке с воскрылиями и шитым золотою нитью изображением серафима надо лбом.

Алексий благословил Дмитрия, на миг припавшего к его сухой, горячей длани; княжич затараторил было об охоте, но, видя, что оба слушают, словно пережидая, смешался, умолк, вопросительно взглядывая то на дядю, то на духовного отца. Алексий напомнил ему о трудах духовных и книжных, слегка, кратко пожурил и вновь благословил, отпуская. Дмитрий, опустив голову, дошел до двери, обернулся было с легкой обидою: почему ему, князю, не говорят, о чем идет речь? Но встретил строго-внимательный и чуть-чуть лукавый взор

Алексия и, смутившись, устыдясь неведомо чего, выбежал вон. Дядька уже искал юного князя, чтобы вымыть и переодеть перед трапезою.

Когда за наследником престола закрылась дверь, Алексий, продолжая прерванный разговор, вымолвил:

— Серебро надобно! Много серебра! Дают, по слову моему, все!

— Но ведь Дмитрий Констянтиныч имеет в руках ордынский выход! Он и поболе возможет заплатить!

— Ты забываешь, Василий, что суздальского князя поддерживали эмиры покойного Хидыря, а Мурут с ними во вражде!

— Мурут зимой разбил Кильдибека!

— Да! А нынче ему предстоит сразиться с Мамаем!

Василь Василич, потемневши ликом, трудно склонил голову, думал. Наконец, остро и хищно глянувши на Алексия, вымолвил хрипло:

— Ежели... Великий стол... Сундуки выверну! Не обманет Мурут?

— Обещал. Ему нас обмануть... Хидыревы эмиры прирежут! Муруту, дабы победить Мамая, надобно иное серебро, окроме царева выхода, о коем не знал бы никто из вельмож татарских. Такова нынче ордынская власть!

— А потом, после,— вопросил тысяцкий с затруднением,— так и станем платить повдвое обычной дани?

— О «после» знаю только я, Василий! И не скажу никому, даже тебе. Веришь ты мне, духовному своему отцу и местоблюстителю московского престола?!

Василий Вельяминов поднял голову, встретил темнопрозрачный строгий «невступный» взор митрополита русского, круто согнул выю, вопросил хрипло:

— Когда нать серебро?

— Сейчас!

В Москву, не задерживаясь, Алексий вместе с Вельяминовым выехали ночью.

ГЛАВА 14

Иван Вельяминов по собственному почину поскакал в Москву следом за родителем. Василий Василич встретил старшего своего хмуро. «Не звал!» — сказал Ивану остраненный отцовский взор.

Вместе спустились в погреб, где хранилась казна.

Молчаливые холопы носили кожаные мешки с русскими гривнами, с иноземным — немецким и арабским — серебром, увязывали связки соболей, чаши, достоканы, блюда, сосуды фряжской и арабской работы. Василий Василич, горбатясь под низким тяжелым сводом из глыб грубо околотого белого камня, немо смотрел, как утекает накопленное двумя поколениями тысяцких добро. Иван, подрагивая носком сапога, остановился прямь родителя. Испуганно колебалось свечное пламя.

— Для Митьки все? — вымолвил наконец Иван, прямо глядя в лицо родителю.— Думаешь, сделат ево Олексий великим князем?

— Олексий возможет все! — тяжко ответил отец. И, помолчав, добавил, отводя взор от ограбленных, разверстых сундуков, ларей, укладок и скрыней: — И не зови Митькой наследного князя московского!

— Не заслужил ищо...

— Заслужит! И помни: князей не выбирают, князем родиться надобно! А иного князя нету у нас на Москве!

— У тетки Шуры Иван ищо!

— Иван молодший!

— Так уж важно...

— Да! — жестко обрезал сына Вельяминов.— И полно молвить о том! У суздальского князя, как и на Рязани, тысяцким ты никогда не станешь!

Иван посвистал, оглядывая развороченные сундуки. Холопы вышли, они были одни в покое. Заложивши ладони за кушак и покачиваясь с носка на пятку, он снова посвистал, сожалительно повел головою. Сказал негромко:

— Жалко добра!

— Все дают! — угрюмо ответил отец.

Серебро давали действительно все. Да и как не дать, когда требует не просто правитель страны, глава боярского совета, но и отец духовный, но и митрополит, в воле которого все завещания, поминания души, требы, церковный и частный обиход, имущественные споры — сама жизнь, по сути! Да и слишком при нынешней трудноте надобна была всем и каждому та власть, которую потеряли москвичи со смертью Ивана Иваныча. А в Алексия верили. И потому давали без спору. И мало кто догадывал даже про толикое опустошение боярских сундуков. И мало кто (избранные токмо) ведал, что за купеческий караван ладит отойти в Сарай от коломен-

ских вымолов, что за паузок подошел ночью к Коломне с нарочитою стражею на борту и о чем наставлял накануне духовный владыка Руси необычно серьезного сына покойного Андрея Кобылы Федора Кошку, вручая тому запечатанную вислою митрополичьей печатью грамоту. Лодьи отплывали и послы отбывали в Сарай в полной тайне.

С Феофаном Бяконтовым, с Дмитрием Афинеевым, с молодым Федором Кошкой отбывал в Орду невидный маленький монашек, вовсе незаметный в дорожной сряде своей рядом с нарочитыми боярами московскими. Но именно его сугубо напутствовал накануне Алексий, и именно ему поручено было довести до конца дальний владычный замысел и даже «полуизменить», сообщивши ненароком Мамаю о получении ханом Мурадом московского серебра...

В лугах, в Замоскворечье, полно народу, селян и горожан, ныне неотличимых друг от друга. Бабы в пестротканых сарафанах, в полотняных рубахах, изузоренных вышивкою, у иной и праздничные лапти в два цвета плетены, в узорных головках с алым, серебряным или золотым верхом — ежели цветной плат спущен на плеча или брошен от жары на межу,— гребут сено. Мужики распояской мечут стога. Бабы заливисто поют, в лад взмахивая граблями. Парни, не прекращая работы, задирают девок, те отшучиваются, бросая из-под ресниц долгие дурманные взоры на иного полюбившегося молодца. На коротком роздыхе, когда старшие валятся под стог передохнуть, эти с визгом и хохотом бегают взапуски в горелки, только бы догнать, ощутить под рукою горячие трепетные девичьи плечи.

— Горю, горю, пень! — слышится там и тут.

— Чего горишь?

— Девки хочу!

— Какой?

— Молодой!

— А любишь?

— Люблю!

— Выступки купишь?

— Куплю!

— Прощай, дружок, не попадайся! — с хохотом звучит лукавый ответ. Матери и отцы улыбаются: ништо! Сами были молоды, дак!

Покос отведут, а там уж заколосится рожь, а там уж и жатва, главная страда крестьянская. Сторожевые на

высоких рубленых кострах стены московской, изнывая от безделья, с завистью смотрят вдаль, на усыпанные словно яркими цветами луга. Три четверти дружины распущено ныне, и все на покосе. Им одним охранять Москву! Скорей бы смениться да хоть в руки взять легкие рогатые тройни, хоть пару копен поддеть да кинуть, играя силою, целиком, не разрушая, на стог! И сощурить глаза, слыша восхищенный бабий толк, и вдохнуть грудью щекотный вкусный дух свежего сена!

Облака висят дремотные, тающие по краям оксема, не мешая солнцу, что шлет стрелами свои золотые лучи, вонзая их в вороха исходящей паром, прямо воочью сохнущей кошеной травы.

В митрополичьих покоях тишина. Все окошки выставлены ради прохлады. Во дворце пустынно, молодые служки да и монашествующая братия на покосе. Сейчас в белых холщовых подрясниках тоже гребут и мечут, только что без песен, в согласной, почти молитвенной тишине, пока какой-нибудь дьяконский бас не грянет, не выдержавши молчания, стихиру, и тогда обрадованно стройно подхватят на голоса, и словно и работа резвее пойдет под глаголы божественных песнопений.

Алексий один со Станятою, верным секретарем своим. Митрополит в холщовом нижнем облачении, в одной камилавке. Жарко, хотя в окна и задувает порой. Даже сюда, во владычный покой, доносит томительно-сладкий дух скошенного сена, и Алексий на краткий миг прижмуривает глаза, трет веки, представляя себе безотчетно ряды косцов на зеленом пестроцветном лугу.

Недавно отправили серебро в Орду, и у обоих, у Алексия и Леонтия-Станяты, невольное чувство легкой опустошенности.

— А ежели Мамай все-таки разобьет Мурута? — спрашивает негромко Станята, глядючи на Алексия. Они одни, можно позволить себе теперь и такое.

— Лепше, чтобы сего не произошло! — подумавши, отвечает владыка со вздохом.— За ярлык придет нам тогда много платить! Не то худо,— продолжает он, помолчав.— Самая напасть была бы, ежели Мамай сдружит с Ольгердом! Тогда вот несдобровать Руси!

— А он... может? — Станята, представив себе сказанное, пугается нешуточно: Ольгерд способен на все!

— Нет! — Алексий крутит головой, отрицая.— Ольгерд ладит поход на татар. Мне донесли. И к тому же Роман умер и наследника ему пока не найдено. Митро-

полия русская вновь совокуплена воедино и будет в наших руках. В толикой трудноте Ольгерд не решится на союз с Ордою... Во всяком случае до той поры, пока в Литве не одолеют католики!

— Католики разве возмогут заключить союз с мусульманами?

— Да! Во фрягах уже идет молвь, что схизматики, греческая православная церковь, хуже бесермен. Что от православных самого Бога тошнит. Латиняне полагают, что замыслы Всевышнего ведомы им лучше, чем ему самому! Нет, не поможет Ольгерд Мамаю!

— А Мамай лучше Мурута? — вопрошает Станята погодя.

— Много хуже! — со вздохом отвечает Алексий.— Но дружить нам придет вскоре именно с ним!

Владыка вновь склоняет чело над грамотами. У него одного на Москве нет ослабы от трудов духовных и государственных.

ГЛАВА 15

Весть о том, что хан Мурад (или Мурут, как его звали на Руси) разбил в бою под Сараем Мамая и заставил его отступить в степь, догнала великого князя Дмитрия Константиныча на пути из Владимира в Переяславль.

Собственно, само известие князь получил еще во Владимире, но на пути к Юрьеву вдруг ощутил смутную тревогу.

Отношения с новым ханом все не налаживались. Эмиры, которым он вручал подарки, сидючи в Орде, сперва Хидыревы, после Темерь-Хозевы, были, слышно, все перебиты или бежали из Сарая, и проверить, как там и что, было неможно: по нынешней неверной поре князья сами в Сарай уже не ездили, посылали бояр. Теперь он уже жалел, что сразу не поверил в Мурута, торговался, придерживая серебро. Мурута можно было купить, купецкая старшина не раз уже намекала князю на это. Только упрямство не по разуму да ложно понятое чувство чести помешали ему, как он мыслил теперь, поддержать сразу этого заяицкого хана... Впрочем, кто мог поверить тогда в двойную нынешнюю победу молодого, никому не известного хана над Кильдибеком и Мамаем, родичами как-никак законного царя ордынского — Бердибека. («Убийцы отца и братьев!» — поправил Дмит-

рий Константиныч самого себя. После гибели Джанибековой от руки сына вряд ли кого можно было почесть законным на ордынском столе.)

— Что ж они — так и будут резать друг друга?! — проворчал Дмитрий себе под нос. (В Орду опять и вновь были усланы киличеи, ибо московиты не успокаивались, нынче вдругорядь хлопотали перед ханом о возвращении им великокняжеского ярлыка.)

Небо заволокло плотною серою чередою, и теперь дождило. Вотол, ферязь, зипун под ферязью — все уже было мокро. Князь подосадовал, что невесть с какой охоты поехал верхом, отослав княжеский возок наперед себя в Переяславль. От упорного мелкого дождя дорога начала раскисать. Копыта коней чавкали, поминутно осклизаясь, и уже попона, сапоги, чепрак, даже лука седла были заляпаны жидкою грязью. «Впору бы татарские кожаные чембары надевать!» — думал князь, злясь на себя. Вода с околыша суконной княжеской шапки затекала за шиворот. Дмитрий не накинул на голову враз суконную видлогу вотола, а теперь она уже была полна воды.

Холопы, бояре, дружина, растянувшись на доброе поприще, ехали понуро, все, как и князь, поникнув под дождем. И под этою упорною осеннею моросью Дмитрий Константиныч начинал чуять то, что обычно — на пирах, приемах, в хлопотливой суете многих дел — редко еще приходило ему в голову: возраст свой и бренность дел человеческих. Хотя какой возраст для мужа — сорок лет! И в делах он — наведя порядок в городах и на мытных станах, подчинив Великий Новгород, отобрав наконец-то Переяславль у москвичей, воротив ростовскому и дмитровскому князьям их наследственные уделы,— и в делах он вроде бы успешен...

Впрочем, с того памятного нятья новгородских ушкуйников не оставляло его это клятое «вроде бы». Да, выход царев он нынче собрал впервые полностью и без недоимок. Даже тверские князья разочлись с ним, и Василий Кашинский, и его непокорные племянники... Вроде бы! И вспомнился давешний разговор с Дмитрием Зерновым на Костроме. Боярин глядел почтительно, говорил складно и с толком. Кострома собирала ордынский выход в срок, но в ратной силе князю отказывала. Ссылались на плохой год, на малолюдство, на боярскую скудоту... И все было не то, и все было ложью, а единая труднота заключалась в нем, в этом гладколицем масти-

том боярине, державшем в своих руках все нити местных вотчинных отношений, и в том еще, что был Дмитрий Алексаныч Зерно великим боярином московским. И как ни пытался, обиняками и прямо, перетянуть его суздальский князь на свою сторону (сулил даже и не малое место в думе княжой!), но добиться своего не сумел. Крепко, видно, повязаны были Зерновы с московской господой! А без силы ратной по нынешней неверной поре...

«Ну как нахлынет какой-нибудь новый Арат-Ходжа на Русь! Самих ведь, дурней, погромят и пограбят!» — распалял себя Дмитрий и не мог ничего содеять даже с собой... Текло и текло за шиворот, чавкали копыта, разъезжаясь на склизкой дороге, и тянулось по сторонам унылое в эту пору Владимирское Ополье со скирдами убранного хлеба, с побуревшими стогами по сторонам.

Вечерело. Темнела дорога, и в лужах, яснеющих на мокрой земле, отражался меркнущий палево-желтый цвет сокрытой за облаками вечерней зари. Какие-то бабы в лаптях, с узлами за спиною шарахнули посторонь, пропуская княжой поезд, и долго глядели вослед. Боярин подъехал, вопросил, не сделать ли останов в Юрьеве. Князь умученно кивнул, соглашаясь безо спору, и,будто почуявши близкий ночлег, кони разом взяли резвей. Юрьев был тоже не своим, московским городом, присоединенным еще при князе Симеоне, и даже теперь не в волости великого княжения состоял...

ГЛАВА 16

В Переяславле князь на сей раз задержался от Воздвижения и до самого Покрова. Уряжал споры боярские, вытребовал задержанные было дани с Москвы. Пытался вкупе и поодину толковать с боярами. Но тут, в Переяславле, стена перед ним была паче, чем в Костроме. Самыми сильными вотчинниками в округе были Акинфичи. Владимир Иваныч, второй сын Ивана Акинфова, сидел тут, почитай, безвылазно на отчих поместьях, а иные села имел под Владимиром, и князь едва сдержал себя, в гневе похотев было наложить руку на владимирские вотчины упрямого боярина.

Лишь сын убитого на Москве Алексея Хвоста, Василий Алексеич Хвостов, угодливо улыбаясь, проговорил

ему наедине после очередной пустопорожней думы с местными боярами:

— Посиди на столе подоле, князь, вси твои будем! — И Дмитрий Константиныч неволею проник в правоту боярских слов. Против полувекового московского управления городом его неполных два года пребывания на владимирском столе весили совсем немного! Впрочем, этот боярин, сын убитого врага Вельяминовых, кажется, готов был бы и перекинуться на сторону иного князя...

Осень уже сушила дороги, близили зимние холода.

На Покров была торжественная служба в соборе, совершить которую должен был сам митрополит. Еще и потому не удавалось ничего толком Дмитрию Суздальскому в Переяславле, что Алексий содеял город сей своею некоронованной столицей и пребывал тут чаще, чем во Владимире и даже чем в Москве.

Неподалеку от Переяславля находилась и обитель чтимого московского игумена Сергия, которого, много слышав о нем, князь едва не порешил навестить, чему, однако, Алексий уклонливо воспротивил, объяснив, что по осени дороги туда для князя с дружиною непроходны, а сам игумен отбыл ныне в иную обитель, на Киржаче. Вызвать же игумена оттоле в Переяславль он не похотел тоже...

Служба была долгою и торжественной.

«Величаем тя, пресвятая Дево, и чтим Покров твой честны́й, тя бо виде святый Андрей на возду́се, за ны Христу молящуся»,— пел хор.

В каменном, Юрием Долгоруким строенном соборе, все еще незримо хранящем отсвет великой киевской старины (хоть и выгорал не раз, и ограбляем бывал паки и паки от иноверных), стоял пар от соединенного дыхания прихожан. Густой дух свечного пламени и ладана насыщал воздух. Вся переяславская госпо́да — нарочитые мужи из бояр, гостей, посада — собралась здесь и стояла сейчас слитной толпою, подпевая могучему хору, а в перерывах вполголоса обсуждая облик нового великого князя и наряды нарочитых боярынь.

Дмитрий Константиныч стоял прямой, высокий, истово слушая праздничную лити́ю, и осенял себя крестным знамением, и кланялся, строго блюдя чин церковный. На благословении первый, твердо отметя́ взором прочих и широко ступая на голенастых сухих ногах, подошел ко кресту и тут вот, целуя крест, узрел направленный

на него темно-блестящий напряженный взор Алексия. Взор охотника, подстерегшего жертву свою. Это был миг; одно мгновение только, но оно поведало князю больше, чем тьмы сказанных слов. Деревянно шагая к чаше с церковной запивкою и беря в рот кусочек нарезанной просфоры, князь ощутил попеременно страх, ужас, ярость и гнев до того, что потемнело в глазах, и тем паче ощутил, что ничего, ровно ничего не было ни содеяно, ни сказано! И о киличеях, что привезли ярлык на великое княжение юному Дмитрию Московскому, князь узнал много спустя, уже во Владимире, но, сопоставляя и обмысливая события, понял, что Алексий знал об этом еще тогда, заранее, и, поднося крест к губам суздальского князя, уже отстранял его мысленно от вышней власти в русской земле.

Узнав о «предательстве» москвичей и Мурута, Дмитрий Константиныч, по обыкновению своему, вскипел и отказался исполнить ханское повеление. Из Суздаля и других городов спешно подтягивались рати, сам князь во главе дружин двинулся в Переяславль. Но тут вот и обнаружилось все, что лишь смутно брезжило доднесь. Кострома отказалась прислать ратную силу вовсе. Ростовский, дмитровский, стародубский и ярославский князья сами не сумели или не восхотели выставить значительных сил, и Борис из Городца прислал тоже невеликую дружину. Запаздывали полки из Нижнего. Владимирская рать, едва князь покинул город, перестала собираться вовсе, а кмети отай начали расползаться по домам.

В Переяславле князь Дмитрий не встретил поддержки ни у кого. Горожане бежали вон из города, а боярские дружины совокуплялись на той стороне, за Весками, ожидая подхода московской силы, дабы тотчас перекинуться на сторону законного князя.

После небольших стычек с передовыми разъездами москвичей Дмитрий Константиныч, поостыв, понял, что ему не устоять (а быть заперту во враждебном Переяславле ему и вовсе не хотелось!), и начал оттягивать рати к Владимиру. В голове у матерого и нравного суздальского князя все еще не умещалось, как возможно уступить престол ребенку, получившему ярлык от хана-чужака, коего не сегодня завтра сами татары спихнут со стола! Но когда из лесов начали выходить полк за полком и стылая, едва укрытая снегом земля задрожала от гула ратей, от топота множества конских копыт,

Дмитрий понял, что и тут ему не устоять. Он похотел было затвориться во Владимире. На помочь ему подошла нижегородская рать, но, смéтя силы, оба князя, он и Андрей, поняли, что Владимира им тоже не удержать.

Андрей, простившись с коня — оба уже были верхами, отбыл в Нижний крепить рубежи княжества, а Дмитрий, нахохленный и окончательно растерявший веру в свою удачу, отступил к Суздалю.

Полки редели на глазах. Ушел ярославский князь, за ним стародубский и дмитровский. Константин Василич Ростовский, худой, замученный, зябко горбатясь на коне, жалко взглядывал на Дмитрия, всем видом показывая, что и он тут только из старой дружбы с покойным родителем суздальского князя, а ни сил, ни желания спорить с московитом у него давно уже не осталось.

В Суздале, куда откатилась рать, разом не хватило хором, снеди, дров, овса и ячменя для коней. Когда на второй день в оснеженном поле показались муравьиными чередами тьмочисленные полки москвичей, Дмитрий Константиныч окончательно пал духом и выслал на переговоры бояр, отрекаясь от великого стола и прося в ответ не разорять Суздальской волости.

Он стоял на стрельнице городовой стены, не чуя холодного ветра, не чуя злых слез на глазах, стоял, застыв от унижения и злобы, поруганный, преданный и проданный ханом, боярами, городами Владимирской земли, и все еще не понимал до конца, не хотел и не мог поверить, что все кончено и дальнейший спор с Москвою уже не приведет ни к чему, ибо земля отворотилась от него.

В самый канун Крещения одиннадцатилетний московский князь Дмитрий венчался в стольном граде земли, в Успенском соборе великим князем владимирским.

ГЛАВА 17

Человек привыкает ко всему, даже к смерти. Известие о том, что с Бездежа вновь на Русь наползает чума, никого уже не всколыхнуло ужасом. Пережили единожды, переживем и вдругорядь! А в смерти и в животе — Бог волен! Ведали уже, что неможно трогать платье с мертвецов, ни прикасаться к трупам. Рассказывали, кто видел, что нынешняя черная смерть не такая, как была

прежде, а сперва вскакивает у человека «железа» — у кого на шее, у кого на стегне, у кого под пазухою или под скулою, у иных и на спине, под лопаткою — и затем, два или три дня полежав, человек умирает. Выслушивали, вздыхали, крестились и шли по своим делам — торговать, чеботарить, плотничать... Пока живой, есть-пить все одно надобно! Впрочем, мор еще не дошел ни до Переяславля, ни до Москвы, ни до Владимира...

Татарский посол, коему пришлось проехать через вымирающий Бездеж, трусил гораздо больше. На ночлегах подозрительно оглядывал проезжих-прохожих, избы велел окуривать ядовитым дымом и только уже на Руси малость поуспокоился, завидя здоровых, пока еще вовсе не озабоченных надвигающимся мором людей.

Посол миновал Москву, где сидел нынешний великий князь, мальчик, посаженный на престол «великим урусутским попом», и, не обманывая себя нимало, ехал к тому, кто был сейчас подлинным главою страны — к митрополиту Алексию.

Мохнатые кони весело бежали по разъезженной людной дороге. То и дело встречь попадались возы и телеги. Везли сено, дрань, мороженые говяжьи туши, кули и бочки, и татары, изголодавшиеся нынешней суровой зимой, с завистью, причмокивая, озирали товар, сытых крестьянских лошадей, ладно одетых и обутых смердов. На ямских подставах дружно уплетали, чавкая, вареное мясо и свежий мягкий ржаной хлеб, пили пиво и квас.

На одном из дворов кто-то из татар залез было в чулан с добром, но старуха хозяйка решительно вытолкала «нехристя» взашей, пронзительно крича и ругаясь.

— Падаркам, падаркам! — бормотал татарин, отмахиваясь от взбешенной старухи.

— Куды едешь, ирод, тамо и проси! — кричала в ответ баба, замахиваясь кичигою.— Ишь, рты раззявили! Ко князю, ко князю ступай альбо к боярину! А мое не замай, тово!

Сгрудившиеся во дворе московские возчики угрюмо и тяжело молчали, подбирая кто кнут, а кто и ослоп в руку, и посол не решился из-за какой-то ополоумевшей русской бабы обнажать саблю. Чуялось тут, что о набегах татарских местные русичи позабыли напрочь. Да и не диво, иные и родиться и вырасти успели с последнего-то татарского разоренья.

Переяславль показался с горы оснеженный, людный, игольчато уставленный храмами и теремами под крутыми свесами бахромчатых тесовых крыш. В Горицком монастыре, куда проводили послов, их тут же, сытно накормив, ловко поделили и развели по разным покоям, так что посол остался всего с тремя спутниками, окруженный русскою обслугой из плечистых владычных служек, которым, казалось, стоит только скинуть подрясник да вздеть бронь — и станут из них добрые воины. Жонок, на что надеялись было татары, им не прислали тоже.

Впрочем, главный урусутский поп принял посла не стряпая, в тот же день ввечеру. Посол, приосанясь, уселся в предложенное кресло, как был — в шапке и меховой расстегнутой шубе. Митрополит в высоком головном уборе с ниспадающими на грудь вышитыми концами и с узорною, усыпанною драгоценностями панагией и золотым крестом на груди сидел напротив — в своем кресле, которое, как приметил татарин, было чуть выше поданного ему.

Посол неплохо ведал русскую молвь, и скоро Алексий знаком удалил толмача из покоя.

— Тебе поклон, бачка! От царя Авдула поклон и от гургена Мамая!

Алексий молча склонил голову. Внимательно просквозил взглядом татарина. Произнес, помедлив, несколько незначащих приветственных слов. Вот тут и был удален из покоя толмач-переводчик.

Посол рысьим взглядом беззастенчиво озирал тесовые владычные палаты, иконы и кресты, оценивая на глаз стоимость дорогого металла, янтарные гладкотесаные стены, сложенные из толстых сосновых стволов, резную утварь.

— Обижаешь царя, бачка! Нехорошо! — молвил посол, едва только они остались одни.— Законный хан — Абдулла! Царицы с ним, Орда с ним! Зачем Мураду даешь серебро?

— Хан сидит в Сарае! — помедлив, ответил Алексий.

— Абдулла правильный хан! — крикнул посол, ударив кулаком по подлокотнику креслица.— Мурад — Кок-Орда! Он не наш!

Алексий молчал, разглядывая посла и думая сейчас о том, насколько еще хватит сил у ордынцев удерживать Русь в повиновении.

— Слушай, бачка! — посол наклонился к Алексию, понизил голос, вкрадчиво заглядывая в глаза этому непо-

нятному для него служителю русского бога.— Ты лечил Тайдулу, а Мурад — брат ее убийцы! Кок-ордынцы погубят и нас и вас! Царицу резал, тебя, бачка, зарежет! О-о-ой, Мурад! Народ, земля против, степ против!

— Хану надобно русское серебро,— нарушил наконец молчание Алексий и покачал головою.— Не ведаю, как и быть!

— Абдулла дает тебе ярлык, твоему князю ярлык! — посол даже рассмеялся, так просто казалось ему то, чего упорно не понимал русский поп.— Сядешь Владимир, шлешь выход хану Абдулле, верному хану!

Алексий продолжал глядеть на татарина, не поведя и бровью.

— А что скажет Мурад?

— С русским серебром Мамай разобьет Мурада! — нахохлясь, возразил посол.— В Сарае будет Абдулла! Мамай посадит Абдуллу!

— Мамай не может ручаться за хана....— начинает Алексий осторожный торг. Но татарин горяч и рубит сразу:

— Правит Мамай!

— Он не Чингизид! — возражает Алексий.

— Ты тоже не князь, а правишь! — взрывается посол. Они одни в покое, и можно не выбирать слов. Алексий смотрит ему в глаза и говорит медленно и внятно:

— Предок Мамая, Сéчэ-Бúки из рода Кыят-Юркин, был убит Чингисханом, и с тех пор Кыяты всегда были врагами Чингизидов. Иные из них уходили к кипчакам, рекомым половцами. Хотя Мамай и стал темником и зятем, «гургеном» хана Бердибека, но можешь ли ты обещать, что его поддержит вся степь?

— Хан — Абдулла! — чуть растерянно отвечает посол, не ведавший, что главный русский поп помнит монгольские кровные счеты полуторавековой давности.

— На Русь надвигается черная смерть! — сурово, выпрямляясь в кресле, говорит Алексий.— Смерды погибнут, кто будет давать серебро? Русь не может платить прежнюю дань! Хан Мурад обещает сбавить нам выход!

(Мурад, получивший ныне едва ли не вдвое, ничего подобного не обещал, но Алексий ведает, что говорит. Раз Мамай направляет посла, значит, положение его безвыходное.)

— Мамай... хан... Тоже сбавит... Может сбавить дань! — поправляется посол. (Ничего подобного Мамай ему не говорил, отправляя к Алексию.)

Алексий удоволенно склоняет голову. О размере выхода речь еще впереди, и будет она вестись уже с другим послом. Важно только, чтобы Мамай понял, чего от него хотят.

— Я передам твои слова хану Абдулле и Мамаю,— говорит посол, думая, что прием подходит к концу.

— Это еще не все! — продолжает Алексий не двигаясь, и посол плотнее усаживается в кресле, ожидая начала торга. Однако русский поп вновь озадачивает его. Он просит совсем об ином. Ему, оказывается, надо, чтобы в грамоте, которую дадут на великое княжение московскому князю, было указано, что город Владимир и вся волость великого княжения являются вотчиною московского князя.

«Вотчина» у русских — это улус, наследственное, родовое владение. Московские князья владели великим столом уже три поколения подряд, со дня гибели тверского коназа Александра, и теперь хотят, чтобы это было указано в грамоте. Очень хотят. Это их непременное условие.

— Тогда никакой другой хан не сможет давать ярлыки на великое княжение иным русским князьям,— объясняет Алексий послу, словно маленькому.— Будет один московский князь, и у вас будет один... Мамай.— Имя всесильного темника Алексий произносит чуть помедлив, дабы посол понял, что про ставленного Мамаем хана Абдуллу ему известно решительно все.— И тогда не станет никаких споров здесь, на Руси, и мы сможем собирать выход со всех и давать серебро Орде, Мамаевой Орде! — Он и опять намеренно не называет хана Абдуллу.

Посол слушает, запоминает, кивает головой. Ему кажется последнее требование русского попа справедливым (несправедливым — первое). И таким же покажется оно Мамаю, озабоченному пока лишь тем, как ему одолеть Мурада, и мало отдающему чести каким бы то ни было грамотам. Пусть московский князь считает великое княжение своею вотчиной, лишь бы платил дань!

Татар отпускают через два дня, щедро одарив. Каждый из воинов получает новую шубу и сапоги, посол к тому же — связку соболей и серебряный ковш с бирюзою. Татары, вновь собранные вместе, садятся на коней, и

скоро их отороченные мехом островерхие шапки исчезают в белом дыму начавшегося снегопада.

И один только Алексий ведает в этот час, чего он попросил у Мамая и с чем так легко согласился татарский посол.

Ибо волость великого княжения никогда доселе не была и не могла быть вотчиною Москвы.

Ибо доселе власть во Владимирской земле была выборной и, хотя бы в замысле, переходила от роду к роду.

Ибо тем самым отменялся существующий на Руси много веков лествичный порядок наследования и устроялся иной, наследственно-монархический.

Ибо тем самым полагалось единство земли, продолженность власти и закладывалась основа ее грядущего величия в веках.

Но теперь, вырвав у случайно осильневшего в Орде темника дорогую грамоту, надобно было заставить подписаться под нею, заставить принять новый порядок устроения власти всех прочих русских князей. А эта задача настолько превышала предыдущую, что и сам митрополит Алексий, месяц спустя получивший жданную грамоту от Мамая и выдержавший яростный торг из-за дани — ему все же удалось сбавить размер выхода более чем на треть,— и сам владыка Алексий задумался и мгновением ужаснулся замыслу своему. Но отступать было уже нельзя. Да он и не думал об отступлении!

ГЛАВА 18

В марте юный Дмитрий Московский со многими боярами торжественно прибыл во Владимир и венчался вторично великим князем владимирским, теперь уже по ярлыку хана Авдула, доставленному послом из Мамаевой Орды, подтвердившим, что великое княжение отныне переходит в вотчину московского княжеского дома.

Из Владимира великий князь Дмитрий прибыл в Переяславль, а оттоле в Москву. Здесь тоже устраивались пышные торжества. Пришел по зову владыки с Киржача сам игумен Сергий, и Алексий заставил своего воспитанника сойти с княжеского креслица и встретить радонежского игумена в дверях, поклонившись ему.

Бояре, наблюдавшие эту сцену, понимали, что присутствуют при очередном дальнем замысле Алексия, и пото-

му все в очередь почтительно приветствовали одетого в простое суконное дорожное платье и лапти русоволосого инока. Впрочем, молва о Сергии разошлась уже достаточно широко и многие из бояр приветствовали радонежского игумена с почтением неложным.

Дмитрий глядел на рослого сухощавого монаха, который когда-то являлся к ним в княжой терем, с опаскою. Увидел и лапти, и грубый наряд и, достаточно начитанный в «Житиях», заметя к тому же общие знаки внимания, так и решил, что перед ним живой святой, и потому облобызал твердую, мозолистую, задубевшую на ветру руку Сергия истово и прилежно.

Сергий чуть-чуть улыбнулся коренастому, широкому в кости подростку, благословил князя и молча занял предложенное ему место за пиршественным столом, хотя пил только воду и ел только хлеб с вареною рыбою. Дары, содеянные многими боярами во время и после трапезы, распорядил принять своему келарю и троим спутникам, пришедшим вместе с ним, тут же наказав не забыть купить воску и новое напрестольное Евангелие для обители.

Пир и чести были ему в тягость, но он понимал, что все это надобно Алексию, как и прилюдная, ради председящих великих бояр, встреча с князем, коего он уже видел прежде и с большею бы охотою встретил опять в домашней обстановке, а не на княжеском пиру.

В этот вечер Алексий особенно долго стоял на вечернем правиле. Долго молился, а окончив молитву, долго еще стоял на коленях перед иконами, закаменев лицом. И не о Господе думал он, не о словах молитвы. Иной лик стоял пред мысленными очами владыки, и лик тот слегка усмехался ему в полутьме покоя, ибо был то лик покойного крестного, Ивана Данилыча Калиты.

— Здравствуй, крестник! — услышал он тихо-тихо сказанные слова.

— Здравствуй, крестный! — ответил покорно и ощутил позабытое детское волнение во всех членах своих и в глубоком строе души.

— Ну как тебе, крестник, ноша моя? — вкрадчиво вопросил голос. И, не добившись ответа, выговорил опять: — Тяжело тебе, крестник?

— А тебе? — ответил Алексий, с трудом размыкая уста.

— Мне тяжело!

— И мне тяжко! — эхом отозвался Алексий.

— Веришь ты по-прежнему, что ко благу была скверна моя? — вопросил голос.

— Но ведь не свершилось нахождения ратей, ни смерды не погинули, и растет, ширит, мужает великая страна! Погоди! Не отвечай мне! Ведь иначе мы уже теперь были бы под Литвою!

— А цена власти? — вопросил вкрадчивый голос.— В грядущих веках?

— Царство пресвитера Иоанна, Святую Русь, страну, где духовное будет превыше земного, мыслю я сотворить! — ответил сурово Алексий, подымая лик к иконам и вновь ощущая на плечах груз протекших годов.

Свеча совсем потускнела. Все было в лиловом сумраке, и то неясное, что мглилось пред ним, будучи призрачною головою крестного, издало тихий, точно мышь пискнула, неподобный смешок.

— А создаешь, гляди-ко, твердыню земной, княжеской власти! Чем станет твоя Святая Русь, егда восхощут цари земные сокрушить даже и православие само?!

— Ты что, видишь... ведаешь грядущее, крестный? — вопросил смятенно, покрываясь холодным потом, Алексий.

— Я не вижу, не ви-и-ижу-у-у... Не вижу ни-че-го! — пропела голова, и голос теперь был не толще комариного писка.— Мой грех, крестник, неси теперь на себе, мой грех!

Станята, подошедший к наружной двери моленного покоя, дабы позвать наставника ко сну, услышав два голоса, остоялся и вдруг на ослабевших ногах сполз на пол, часто крестясь и беззвучно творя молитву...

ГЛАВА 19

Исстари так ведется у людей, что обмануть недруга, чужака, иноверца кажется допустимее, чем обмануть ближнего своего (хотя обманывают и тех и других достаточно часто). Есть моральные системы (иудейская, например), целиком построенные на исключительности своего племени, внутри которого недопустимы никакие нарушения этических норм,— а вне, с иноверцами, «гоями», дозволены и ложь, и клевета, и обман, и предательство, и преступление на том лишь основании, что гои — не люди.

Справедливости ради заметим, что неполноценными людьми, варварами считали окружающих их инородцев

и древние китайцы, и эллины, и скифы, и египтяне, и римляне. Словом, всякая нация, добившаяся ощутимых успехов на поприще цивилизации и военного дела, не была свободна в той или иной мере от пренебрежительного взгляда на более «примитивных» соседей, дозволяя относительно их поступки, предосудительные в своей среде.

Мораль подобного сорта, впрочем, спорадически возникает в людских сообществах и доныне, там и здесь, прикрываясь любыми подходящими к случаю объяснениями религиозного, сословного, национального или классового, корпоративного характера. Таковы были едва ли не все тайные организации от ассасинов и тамплиеров до масонов и современных мафий. Представление о принципиальном равенстве несхожих между собою наций, рас и культур и до сих пор еще не стало достоянием большинства.

Что тут сказать! При всем различении ближних и дальних, своих и чужих, различении необходимом и неизбежном, мораль должна быть единой. Для всех. И рыцарь, подавший напиться раненному им в поединке противнику, и полководец, обещавший милость побежденному городу, который открывает ему ворота после долгой осады, надеясь на слово врага (а победитель сдерживает свое слово!), и купец, возвращающий свой долг конкуренту по сгоревшей на пожаре грамоте, и врач, оказывающий медицинскую помощь солдату вражеской армии, и, словом, всякий, в ком есть истинная честь, понимает это достаточно хорошо.

Может ли политика, спросим о том еще раз, как спрашивали уже неоднократно, быть в абсолютном ладу с моралью?

Обман противника на войне диктуется военной необходимостью и входит в понятие стратегии. Но где допустимый предел обмана в дипломатической игре?

Монголы, например, применявшие неисчислимые воинские хитрости, очень твердо хранили закон о дипломатической неприкосновенности послов, не прощая нарушений этого правила ни себе, ни другим, и, кажется, почти обучили в конце концов этому правилу не склонную к нему прежде Европу.

Митрополит Алексий, человек высокой культуры и высокого этического парения, понимал, что он, подписывая договор с Мамаем, нарушает тем самым свой тайный уговор с Мурадом, продавая этого заяицкого хана

в руки его недругов, то есть совершая предательство, непростительное уже по одному тому, что поводов к нему хан Мурад Алексию не подавал. Вот почему ему и привиделась на молитве усмехающаяся голова крестного. Князь Иван радовался тихо за гробом, что крестник, взявший на себя его крест, вынужден теперь поступать так, как поступал при жизни сам Калита.

Дьявол — это нежить, бездна, эйнсоф, пустота, сочащаяся в тварном пространстве вселенной. Но движение в тварном мире невозможно без наличия пустоты. И потому всякое действование подстерегает грех. И всякое желание насильно изменить сущее греховно по существу своему.

Александр Невский многие деяния свои оправдывал единою мерою: «Никто же большей жертвы не имат, аще отдавый душу за други своя». Но отдать душу — не значит ли впасть в грех непростимый?

Нынче митрополиту Алексию приходило воспомнить эти слова. Взяв на рамена крест Калиты, Алексий не устрашился ни греха, ни воздаяния. В Орду были посланы тайные гонцы, и в том, что Мурад был в конце концов убит своим главным эмиром Ильясом, возможно (мы не утверждаем этого), участвовало русское серебро. Впрочем, то же самое русское серебро могло быть получено Ильясом и от Мамая!

ГЛАВА 20

Князь Дмитрий Константинович Суздальский ровно ничего не понял, кроме того, что москвичи лестью и мздою получили у хана ярлык. И потому обрадован был безмерно, когда взбешенный Мурад послал ему в свой черед ярлык на великое княжение владимирское. Ярлык привез посол Иляк [1] в сопровождении тридцати татаринов и князя Ивана Белозерского, что обивал пороги в Орде, выпрашивая у хана свой удел, отобранный некогда москвичами.

Дмитрий Константинович взыграл духом и с ближнею дружиною, рассылая гонцов союзным князьям, тотчас устремил в путь.

---

[1] Ежели, как предполагает исследователь Н. Я. Серова, этот Иляк и Ильяс одно и то же лицо, то подкуп Ильяса москвичами с целью убить Мурада становится более чем вероятен.

Уже густо кустились озимые, повсеместно кончали пахать, и птицы оголтелыми стаями вились над серобурыми, только-только засеянными полями. Князь мчал скачью, кидая позадь себя комья влажной, еще весенней земли. Дружина едва поспевала следом.

Владимирцы, растерявшись, впустили татар и суздальского князя с дружиной в город. Татарский посол с амвона Успенского собора огласил ханскую грамоту. Московская сторожа не поспела, а затем уже, после возглашения ярлыка, и не посмела что-нибудь содеять противу.

Дмитрий вступил в княжеские палаты, расшвыривая двери и слуг. Это был его звездный час, час мести. Его не озаботило даже и малое число татар,— надобно станет, хан пришлет ему иную ратную помочь! Гонцы устремили в Стародуб, Городец, Нижний, Ярославль, Ростов, Галич — подымать полки на Москву.

От Владимира до Москвы двести с небольшим верст, и о новом вокняжении Дмитрия Константиновича в Кремнике узнали назавтра. Запаленный гонец, загнавший в пути неведомо которую лошадь, ворвался прямо во двор Вельяминовых. Василий Василич только что прискакал из деревни, с Пахры, и был еще в высоких, заляпанных грязью сапогах. Он даже не стал разуваться, ни созывать думы — велел нарочным оповестить всех бояр и собирать по дворам ратников, кто уже отсеялся, а за прочими тут же наряжали скорых гонцов.

Княжичей, всех троих — Митю, что пытался уже распоряжаться, пыжил грудь и покрикивал звонким мальчишечьим тенором на оружных холопов, испуганного Ивана и ухватистого немногословного Владимира, двоюродника московского князя (будущего великого полководца),— Василий Василич отправил с дружиною к Переяславлю. Наспех собранный коломенский полк еще через два дня уходил прямою дорогою на Владимир. Ржевской рати велено было идти на Дмитров, а оттуда прямиком на Ростов.

Полки, стянутые со всех рубежей, подходили и подходили, и каждую новую рать великий тысяцкий Москвы посылал вперед, не сожидая отставших. Приподзалые ратники, запаляя коней, догоняли свои полки. Важно было не дать времени суздальскому князю собрать рати и получить татарскую помочь.

Василий Василич спал с лица, почернел от недосыпа, загнал себя, сыновей, бояр и молодших, но уже к концу первой недели, собранные со всех концов княжества, тянулись по дорогам на Владимир московские рати, подходили аж с литовского рубежа снятые останние полки, и Никита Федоров, прискакавший в Москву напоследях, не нашел в городе уже никого из владычных кметей. Полк выступил еще позавчера, сказали ему.

Он скакал, держа в поводу запасного коня, поминутно обгоняя трусивших то шагом, то рысью оружных всадников; где-то под Переяславлем уже нагнал и обогнал ходко идущий разгонистым дорожным шагом пеший полк, думая хоть в Переяславле застать своих, но в городе, полном ратными (дружины все проходили и проходили, устремляясь кто к Ростову, кто к Юрьеву), ему даже не сразу могли повестить, куда двинулись владычные кмети, и уже в самом Горицком монастыре у эконома вызнал он, что его полк выступил к Ростову перенимать тамошнего князя Константина Василича.

По дороге сквозь городские ворота безостановочно шли, шли и шли московские войска. Проходили потные, до самых глаз в дорожной пыли пешцы. Жадно опорожнив крынку молока у сердобольной бабы, вышедшей к обочине, или ковш воды у молодайки, что уже принималась за второе ведро, поднося и поднося хрустальную влагу ратникам, бегом возвращались в строй и, дожевывая на ходу ломоть ржаного хлеба, торопливо нагоняли товарищей. Вереницы ратных то рысью, то в скок обгоняли по обочинам пешие полки. Подрагивали притороченные к седлам копья, бились над рядами конных кметей боевые хоругви.

Никита с трудом выбрался из толчеи у вторых ворот и, сметя дело, поскакал, спрямляя путь, полевою, ведомою ему одному дорогою. Разом исчезла пыль, стало мочно вздохнуть полною грудью, ощутить аромат земли и травы и рассмеяться невесть чему.

Владычный полк он нагнал уже под Ростовым, ночью. Его едва не приняли за суздальца, но, к счастью, случился знакомый кметь, признавший Никиту. К городу подступили на ранней заре вместе со ржевцами, которых привели князь Иван Ржевский и Андрей, племянник ростовского князя. В Ростове заполошно названивали колокола, с заборол стреляли, но не густо

и как-то без толку. Ратные уже подтаскивали бревно к воротам, раздобывали лестницы. Но тут кто-то изнутри отворил водяные ворота, против которых стоял ржевский полк, и все устремились туда. Кто-то дрался, кого-то имали, крутили руки. У стены сидел с белым лицом залитый кровью ратник, но Никита, ворвавшийся в город вслед за прочими, боя уже не застал. Вал бегущих, грозно уставя копья, ржевских кметей с ревом повернул к княжому терему. Никита, сошедший, как и многие, с коня, бежал вместе с ними. Он с площади видел, как лезли на крыльцо княжого терема, как кого-то в разорванной шелковой рубахе кидали вниз на копья и крик его потонул в общем гаме, и уже сам пробился ко крыльцу и полез в толпе по ступеням, когда вверху отворились двери и ратные подались в растерянности назад. На крыльцо вышла княгиня Марья и, не дрогнув от двух-трех стрел, вонзившихся в дверной косяк над ее головою, стала, скрестив руки.

Первым поняв, что перед ним дочерь Ивана Калиты, Никита стал оттаскивать от княгини настырных ратных, близко увидя ее расширенные, обведенные тенью глаза и закушенные побелевшие губы.

Снизу шел по лестнице, расталкивая кметей, боярин. За ним торопился князь Андрей.

— Дяди твоего нету в городи! — негромко сказала ему княгиня Марья и, не разжимая скрещенных рук, поворотила к нему спиною и ушла в терем. Князь, махнувши рукой ратным, вбросил в ножны саблю и, расстегивая шелом, двинулся следом за ней. Боярин тут же хлопотливо начал наряжать сторожу.

Никита спустился с крыльца, выбрался из толпы и, глянув на величавую громаду собора, с гордым пренебрежением взирающего на беснующееся у подножия своего человеческое скопище, пошел разыскивать своих.

К вечеру они уже выступали из Ростова по дороге на Владимир, в сугон за дружинами отступавших суздальцев.

Дмитрий Константинович просидел в этот раз на великом столе всего лишь чуть больше недели. Когда стало ясно, что и Ростов и Стародуб захвачены и полки московлян со всех сторон идут к Владимиру, он, не принявши боя, отступил опять в Суздаль, рассчитывая отсидеться в родном городе.

С той же стрельницы городовой стены, с высокого

берега наблюдал князь, как движутся, окружая город, все новые и новые московские полки, как подымаются над кровлями деревень дымы пожаров, слышал гомон ратей и мычание угоняемой скотины и, кажется, начинал понимать наконец, что дело вовсе не в ханском ярлыке.

Суздальский тысяцкий тяжело поднялся по рассохшейся деревянной лестнице, стал рядом с князем. Молчал. Шел четвертый день осады. Горели деревни, и помедлить еще — значило узреть полное разорение родного края.

— А на приступ полезут — и не устоять нам, поди! — высказал, как припечатал, боярин.

Старший сын князя Василий, прозванный по-мордовски Кирдяпою, взбежал на глядень. Жарко дыша, бросил:

— Дозволь, батюшка, окровавить саблю!

Глаза у него сверкали, лик то бледнел, то краснел.

— Погинешь, сын! — ответил Дмитрий, пробормотав с горечью: — Все даром...— Он неотрывно глядел вдаль, в поля. Вымолвил наконец: — Надобно посылать послов!

Василий Кирдяпа поднял саблю, не вынимая ее из ножен и изо всей силы треснул по бревенчатому устою двускатной дощатой кровли. Стремглав скатился по ступеням вниз. Дмитрий Константинович долгим взором проводил взбешенного сына, вздохнул и, оборотя лик к тысяцкому, выговорил:

— Что ж! Посылай к московиту о мире! И верно, не устоять...

Ярлык со срамом пришлось воротить московскому племяннику.

Заключив мир, Дмитрий Константиныч вскоре уехал из разоренного стольного города к старшему брату в Нижний. Туда же потянулись выгнанные со своих уделов князья Дмитрий Галицкий и Иван Федорович Стародубский, «скорбяще о княжениях своих», как не без яду записал впоследствии владимирский владычный летописец. Константин Василич Ростовский бежал на Устюг.

Отзвуком скорой московской победы явилась новая тверская замятня. Василий Кашинский вновь пошел было ратью на племянников, подступив на сей раз к Микулину, вотчине младшего сыновца своего, Михаила Александровича. Уступивши дяде, Михаил заключил

мир. Да и не время было ратиться. На русские княжества неодолимо надвигалась чума.

Миру способствовал и приезд в Тверь владыки Алексия.

ГЛАВА 21

Княжеское застолье в тверском городовом тереме Михаила Святого, в малой столовой палате.

Терем не раз сгорал вместе с городом. И тогда, когда громили Шевкала и осатаневшие горожане жгли княжеский дворец вместе с засевшими в нем татарами; и тогда, когда соединенные татарско-московские рати громили в отместье по наказу Узбека обреченную Тверь и пламя металось над двадцатисаженными валами великого города, а кровь ручьями лилась по скатам, застывая на волжском льду; и позже, в обычных, греха ради, пожарах мирного времени, слизывавших, однако, в одночасье целые ряды расписных теремов, рубленых хором, амбаров, клетей и лабазов.

Но город упрямо вставал. Вновь громоздились магазины и лавки, кипел торг, полнились ремесленным людом улицы, и воскресал дворец, город в городе, обнесенный валами и рвами, и воскресал расписной терем княжеский над Волгой, островерхими кровлями своими, затейливыми гульбищами и вышками взлетающий над стенами княжого двора, выше дубовых костров, почти вровень с главами Спасского собора. И пусть нет уже затейливых новогородских змиев на воротах и наличниках дворца, что заводила некогда великая княгиня Ксения Юрьевна, нет медных, изузоренных пластин на резных столбах крыльца, нет золотого прапора и сине-алых наборных витражей в мелкоплетеных переплетах вышних горниц — многого нет! Но и нынешний дворец все еще величеством своим превосходит многие и многие княжеские хоромы сопредельных княжеств. Дворец не хочет забыть величия гордого города.

И давнюю, многолетнего спора ради кашинского дяди с племянниками Александровичами, неухоженность дворца увидишь только вблизи, когда бросятся в очи подгнившие свесы кровель, зелень мхов на тесинах, полуосыпавшаяся черная бахрома и обрушенные там и сям резные подзоры да бурая гниль, тронувшая по углам великий дворец. Но это только ежели подойдешь вплоть да и сбоку и не станешь восходить по ступеням

главного крыльца, заново срубленного и обнесенного узорным тесом три года назад, когда Александровичи получили наконец от дяди Василия отобранную им было у них с благословения московитов тверскую треть, а с нею и родовое гнездо, родовой терем на дворе княжеском.

И вот сейчас они все, собравшись воедино, сидят за столом. Во главе стола — великая княгиня Настасья. Она в домашней, скупо шитой жемчугом головке, в атласном голубом саяне со звончатыми серебряными пуговицами от груди до подола. Сверх пышносборчатой, тонкого белого полотна рубахи, отороченной по нарукавьям серебряным кружевом, парчовый, густо увитый серебряными цветами и травами коротель. Шею охватывает бисерный наборочник и нитка крупных, медового цвета северных янтарей. Скупыми движениями рук она чуть поправляет тканую скатерть, оглядывает стол, на котором уже выставлены сосуды, бутыли и братины с квасом, медом и виноградным фряжским вином, а также серебряные и поливные, восточной глазури, блюда с заедками.

Кожа на руках у княгини чуть сморщилась и потемнела. Резче обозначились узлы вен. Руки старее лица и не дают ошибиться в возрасте. Полное, с прежними ямочками на щеках, спокойное, чуть усмешливое лицо Настасьи тоже, ежели поглядеть близ, одрябло, опустились щеки, стала рыхлою кожа, набеленная и чуть подрумяненная ради торжественного дня, во рту не хватает нескольких зубов, посеклись и посветлели брови, впрочем, тоже слегка подведенные нынче сурьмой. Линии шеи, когда Настасья поворачивает голову, стали резки и сухи. Шея тоже, как и руки, старше лица. Впрочем, вдова князя Александра не скрывает ни от кого своего возраста и не тщится казаться моложе, чем есть,— не перед кем! Вдовствующей великой княгине шестьдесят лет.

В этом возрасте сердце уже утихает, плотское с его заботами и тревогою отходит посторонь. Золотное шитье, надзор за хозяйством да божественное чтение — вот все дела и заботы великой княгини. Дочери выданы замуж в нарочитые княжеские дома: Ульяна за Ольгерда Литовского, Мария, успевшая овдоветь, за Симеона Гордого. Сыновья выросли. Оженились. Вот они сидят, все четверо, по правую руку от матери: Всеволод, Владимир, Андрей и Михаил. И Настасья, что

бы ни случалось с ними, оглядывает рослых, на возрасте сыновей со спокойною материнскою гордостью. Что бы ни случалось и что бы ни случилось впредь — но вот они, все четверо, четыре князя Тверской земли, четыре сына покойного Александра! И мужу сможет она сказать, представ перед ним, что довела, вырастила, сохранила! Хоть и тяжко было порою и ей и им, и более всех — ее несчастливому старшему, Всеволоду...

Всеволод сидит большой и тяжелый, чуть ссутулив плечи и уронив огромные руки на стол. Руки воина, которому во всю жизнь (князю уже перевалило за сорок) так и не довелось повести за собою рати в настоящем сражении. Вся жизнь князя ушла на ненужную и напрасную борьбу с дядьями — сперва с покойным Константином, потом с Василием Кашинским, нынешним великим князем тверским. Было все: безлепая драка в Бездеже, и грабления родовых сел, и бояр лупление, и вечная борьба за тверские доходы, и походы взаимные, всегда кончавшиеся полупримиреньями и уступками, и жалобы к митрополиту и князю Симеону, и поездки в Орду, и нятья, и выдача ханом Бердибеком его, Всеволода, Василию головой, и истомное сиденье в плену в Кашине, да и семейные нестроения с первой женой... Все было! Не было только дела мужеского, ратного, княжеского дела, для коего был рожден и возрос, не было того, что оправдало бы разом жизнь и содеяло славу. Не было, не позволяла Москва! И потому Всеволод сидит так понуро, постаревший не по годам, с сединою в густых курчавых волосах, с набрякшими подглазьями крупного тяжелого лица, и рука его, брошенная на стол, с одиноким на безымянном пальце серебряным перстнем, в котором недобро змеится прихотливо-пестрый восточный камень,— рука его кажется забытою и ненужной хозяину своему.

На Всеволоде дорогая праздничная сряда: расшитый жемчугом цареградский зипун и долгий, поверх зипуна, короткорукавый выходной шелковый травчатый летник, по вишневому полю шитый кругами с золотыми грифонами в них. Но даже и роскошь платья не перебивает мрачной усталости Всеволодова лица. Хозяйка Всеволода, Софья, заботливо посматривает на мужа через стол, хочет хоть взглядом отворотить от печали.

«С этою невесткою, кажется, повезло наконец!» — думает Настасья, озирая супругов.

Погодки Владимир и Андрей — оба кровь с молоком,

оба крупноносые, большеглазые, в отца,— придет пора и им заступить место старшего брата! Тоже в иноземном сукне, парче и шелках. Коротко взглядывают то на мать, то на старшего брата. Жена Андрея Овдотья сидит, как и Софья, супротив мужа. Усмешливо кидает исподлобья тайные взоры супругу. По лицу, живому, трепетному, легкому, пробегают тени улыбок, несказанных слов, задержанных вздохов. Андрей чуть подымает бровь, морщит губы в ответной сдерживаемой улыбке.

«Не натешились еще!» — думает с ласковой нежностью мать, замечая все, даже этот молчаливый переговор супругов, не предназначенный ни для кого постороннего.

Светлоокий кудрявый Михаил — ему тридцать, и жена сидит супротив, преданными глазами ест супруга, но в лице Михаила так и не исчезла озорная живость юношеская, и удаль в глазах бедовая, та, с которой подымают воинов в бой и от которой жонки с погляда теряют и сон и покой,— удаль прямо плещет, переливает через край. Только-только стоял с ратью на полчище у Микулина: дядя вздумал было проучить молодшего племянника, да и жена Олена подначила — нашему-то роду при Михаиле великого княжения не видать! Спохватился! Дивно ли?! Вся Тверь нынче за него, только и слышно на улицах и в торгу: Михайло да Михайло!

«Почто его любят так?» — удивляется мать. Свой, слишком близкий, ласковый, и непонятно сблизи, чем дорог так смердам, ремесленному люду и купцам. Нынче и он заматерел. Ездил к Ольгерду на побыв, заключил мир. Чем-то взял и Ольгерда!

Литовского зятя Настасья не понимает и потому побаивается, особенно теперь, когда надумала ехать в гости к Ульяне в Литву. Зять, впрочем, писал ласково, сам звал тещу к себе в Вильну на побыв.

Нынче Настасья решилась. И потому собрана семья. На поезд. Сидит в застолье и сын «московки» покойной Семен, приглашен по дружбе с Михайлой. Сидят в конце стола избранные бояре: тысяцкий Константин Михалыч, Григорий Садык и Захарий Гнездо — все три брата из рода потомственных тверских тысяцких Шетневых; боярин Микула Дмитрич с супругою, еще двоетрое, немногие, самые близкие, те, кто пережил, те, кто не изменил в тяжелые годы продаж, грабительств и гонений.

Бояре переговаривают вполголоса. Слуги ждут приказа носить блюда. В отверстые окна ветерок наносит волжскую водяную свежесть и пронизанный ароматами трав дух полей — лето на дворе!

Ждут епископа Василия и митрополита Алексия. И потому еще ждут в таком вот застолье одних, почитай, Александровичей, что владыка Алексий едет нынче в Литву к Ольгерду вместе с княгиней Настасьей. Теперь, когда умер Роман, Алексий вновь становится полновластным хозяином западно-русских епархий.

Послы уже сносились между собою. Ольгерд дал согласие на встречу и ждет, хотя и доселе неясно: не повелит ли он схватить русского митрополита опять, как это было тогда, в Киеве? Не утеснят ли его каким иным утеснением. А то и просто не положат ли Алексию лютого зелья в еду?

Алексий задерживается. Он только что отслужил литургию в соборе вместе с тверским епископом (на которой присутствовали скопом все те, кто сейчас сидит за столами), но вереница жадающих получить благословение у самого митрополита русского все тянется и тянется, и сейчас, верно, владыка только-только начал переоблачаться, а тут уже ждут.

И Всеволод, скоса глянув на мать, спрашивает Настасью негромко, с недоброй усмешкою:

— Не поимают его тамо, в Литве?

— Патриарх Каллист ныне за московитов,— раздумчиво отвечает мать и вздыхает. Ежели бы не умер Роман, все бы могло пойти иначе и не Алексия чествовала бы ныне княжеская семья покойного Александра Тверского!

Михаил, что сидит позадь братьев, слышит тихий разговор и, с полугласа понимая, о чем речь, усмешливо подхватывает:

— Ты, мать, его оборонишь тамо!

К Алексию у них у всех отношение сложное, которое можно бы передать словами так: «И умен, да не свой!» Не свой был митрополит! Да и какой он владыка, коли одновременно — наместник московского стола? Но Роман не сумел стать митрополитом залесских епархий, даже и тверское епископство не вышло из воли Москвы, а теперь вот и Волынь с Черною Русью и Киевом вновь отойдут к Алексию! Умная власть вызывает уважение даже у врагов.

Но вот наконец отворяются двери. Алексий входит

быстрыми шагами, он в простом светлом летнем облачении с одною лишь владычной панагией и малым крестом на груди. Оглядывает застолье, благословляет строго по чину княжескую семью и бояр. Его и епископа усаживают на почетные кресла. Теперь можно велеть слугам, и в серебряном двоеручном котле под крышкою появляется разварная стерляжья уха.

Истомившиеся гости, едва выслушав молитву, живо ухватывают костяные, рыбьего зуба, серебряные и липовые, тонкой рези, с наведенным узором ложки. Настасья берет свою, тоже серебряную, с драгими каменьями «лжицу» (такие же точно узорные ложки положены митрополиту и епископу).

На чем держится единство культуры и, в конечном счете, единство нации? На сходстве, однотипном характере всех явлений народной жизни. Обряды — едины для всех. Единая, по тому же навычаю ведомая свадьба, пир; одни и те же развлекают простолюдина и князя игрецы-скоморохи (безуспешно запрещаемые церковью), и церковное богослужение совместное и единое для всего народа, и древняя Масленица съединяет все сословия в совокупной раздольной гульбе. И покрой одежды, пусть из разного материала сотворенной, но сходствовал по всему прочему. И устроение хором являлось сходным. Да, богаче, пышнее, но в чем-то основном, главном у простолюдинов и знати жилье было одинаковым вплоть до эпохи Петра. Одинаково здоровались, благодарили, кланялись, встречали и провожали гостя, одаривая пирогами со стола. Одинаково мыли руки под рукомоем (а не в чашке, поставленной на стол, как это было принято на Западе). Рыбу разбирали руками, вытирая пальцы разложенным по столу рушником, и опять же во всех сословиях одинаково, хотя русская знать и начинала уже употреблять в еде вилку, еще незнакомую Западу. Нож обычно использовали свой, благо у всякого он висел на поясе. И даже вот такое нехитрое орудие, как ложка. Ложки те, что делали и делают на Низу,— грубые, большие, с прямой ручкой. В рот их не засунешь, ими хлебают с края, поднося боком ко рту, а при нужде дед бьет такою ложкой по лбу зазевавшегося баловника внука. Но на Новгородском Севере и в Твери употребляли другие ложки, невеликие, изогнутые, с чуть продолговатою небольшой чашечкой и короткою ручкой. Те ложки держат уже не в кулаке, а в пальцах и, донося до рта,

суют в рот, поворачивая к себе. Такою ложкой едят опрятно, не льют на бороду, сидя инако за столом. И ложки эти режут из березы, из липы, из клена (из клена лучше всего), иногда и расписывают, выжигая плетеный узор и закрашивая разноцветною несмываемой вапой. Но можно такую же ложку сотворить и из дорогого кипариса, а можно и из кости, рога, зуба морского зверя и, наконец, из серебра. И тоже невеликую, дабы помещалась в рот, и с гнутою короткою ручкой. А уж по ручке той у княжеской Настасьиной ложки шел сканый узор и камни яхонты любовали в оправе витого серебра, украшая ложечный черен с жемчужной коковкой на нем. Но так же, как и деревянную резную, надо было брать эту лжицу опрятно в пальцы, так же держать и так же есть. И ежели бы пришлось княгине Настасье есть в посадском дому (а приходило, и не раз!), то и тамошнюю деревянную ложку держала бы она тем же навычаем, не отличаясь и не величаясь перед хозяевами иным, несхожим поведением в застолье.

Настасья берет ложку, и по знаку тому председящие принимаются за трапезу. От ухи восходит ароматный пар, и все идет заведенным чином. Сыновья и гости истово едят, митрополит токмо вкушает, но заметно, что ублаготворен и он. Идет неспешная пристойная беседа. Слуги, неслышно появляясь, носят и носят перемены.

Алексий, поглядывая на хозяйку, задает вопросы о внуках, о здоровье — незначащие вопросы, приглядывается. Тверские князья, в свою очередь, приглядываются к нему. С прошлых лет Алексий словно бы чуточку подсох, крепкие морщины лица не разглаживает теперь даже улыбка, но взгляд все так же темно-прозрачен и ясен и полон умом, а порою и сдержанною, спрятанною во глуби зрачков усмешкой.

Всеволод, как большой пес, недовольно отводит глаза от взгляда митрополита. Михаил же и сам смотрит на Алексия с легкою лукавинкой, вопрошает, утих ли князь Дмитрий Костянтиныч или по-прежнему недоволен потерею великого стола.

Епископ Василий с беспокойством взглядывает то на микулинского князя, то на владыку: неподобно прошать о таковом, да еще на пиру!

— Не исповедовал князя, посему не ведаю,— отвечает Алексий, встречною улыбкой возражая дерзости молодого Александровича.

«Как быстро мелькают годы! Отрок сей такожде предерзко состязался некогда с князем Семеном в Новом Городе, а теперь стал муж рати и совета, превзошел, видимо, уже и всех братьев своих,— думает Алексий, глядя на Михаила.— Ныне и отроком не назовешь!»

— Может ли земная власть быть одновременно властию духовною? Ведь «царство мое не от мира сего»! — спрашивает Михаил, и застолье притихает, смущенное столь явным высказываньем того, о чем все ведают, но молчат. Алексий перестает улыбаться, смотрит в лицо микулинскому князю сурово и спокойно.

— Не может! — отвечает он твердо и, дав восчувствовать, повторяет опять: — И паки реку: не может! Но духовная власть,— он подымает указующий перст к иконам,— владычествовать над властию земною и может, и даже должна! Ибо Дух превыше плоти. И тайна исповеди принадлежит токмо иереям, не власти земной! — Алексий, отставивший было тарель, вновь придвигает ее к себе и, зацепивши кусок белорыбицы вилкой, как незначащее, разумеемое само собою, добавляет: — И посему, сыне, митрополит призван судити и оправливати князей земных, а не инако! И ежели земная власть возжаждет заменить собою духовную, что многажды бывало в протекшие века,— изъясняет он попутно, поворачиваясь к прочим гостям,— ни к чему доброму сие не приводило и не приведет, а токмо к суете, огрублению нравов и смердам к докуке вятшей от несытства забывших Бога властителей!

Михаил медлит, молчит и наконец, поведя значительно бровью (уразумев про себя, как мог бы отмолвить Алексий на дальнейшие его вопрошания), утыкает нос в тарель, побежденный в прилюдном споре, хотя и не убежденный владыкою.

Настасья вздыхает облегченно. Меньше всего надобна им сейчас пря с митрополитом! И ей ведь на самом деле предстоит предстательствовать за владыку Алексия перед Ольгердом! Ибо ежели с Алексием что содеют нынче в Литве, пятно преступления падет и на вдову загубленного некогда в Орде князя Александра Тверского.

— Не стоило тебе ворошить этот муравейник! — ворчливо вымолвил Всеволод, когда уже отбыли митрополит с епископом и гости начали покидать столовую палату.

Они стояли рядом — он с Михайлой, глядя, как хло-

почет мать и слуги, убирая со столов, бережно уносят в тарелях и мисах объедки трапезы. «Чтобы за дверями покоя или на поварне вдосталь полакомиться остатками редких господских блюд»,— безотчетно отмечает про себя Михаил, у которого не прошло его отроческое, воспитанное еще в Новгороде умение видеть каждую вещь или явление с разных сторон. Греясь у печи, он видел дымный покой с той стороны, куда выходит дым, и слуг, которые, морщась от чадной горечи, накладывают дрова. Разговаривая со смердом-медником, ладившим княжую упряжь, он не позабывал спросить (ибо знал и ведал) про домашний обиход мастера, и ежели стояла дороговь на говядину в торгу, то знал точно опять же, у кого из горожан нынче будут пустые шти на столе. Глядючи, как куют, строят, чеботарят, выделывают кожи, Михайло мог задать всегда дельный вопрос, обличающий хорошее знание ремесла. Мог сам взять в руки топор или кузнечное изымало. Знанием этим и люб был многим и многим молодой микулинский князь паче Василия Кашинского, что по торжественным дням, гордо задирая бороду, разбрасывал в толпе серебро горстями выхвалы ради, а как живут и что едят тверские смерды, кажется, не ведал совсем.

Михайло и Алексия не утерпел поддеть за трапезою, ибо слишком хорошо чуял истину того, что человек, долженствующий надстоять равно над всеми, является одновременно местоблюстителем московского стола и ведет дело к тому, чтобы все залесские княжества подчинились московской власти. «Но почему не тверской?!» — с возмущением думал Михаил. Внуку и соименнику Михайлы Святого неможно было и мыслить иначе. Всеволод, тот был уже сломлен. Михаил — нет.

— Я не к тому,— поясняет Всеволод негромко, видя молчаливое возмущение брата,— что ты не прав! Но ни к чему это теперь!

— Митрополит не вечен, как и князья, как и всякий смертный! — резко отвечает микулинский князь старшему брату.— Мальчишка, что сидит сейчас на престоле нашего отца и деда, тоже может умереть в свой черед. И что тогда? Лествичное право — залог того, что княжеская власть не окончит и не сгинет в русской земле! А владыка Алексий мыслит доверить страну воле слепого случая, причудам рождения, судьбе, наконец! Неужели и ты, брат, не видишь, как слепа и преступна эта борьба за наследственную власть одного рода! И паки

реку: почто не мы?! Даже и в том рассуждении, ежели митрополит прав и надобно родовое наследование власти, почто не потомкам Святого Михаила, великого князя, мученика, отдавшего кровь и жизнь за други своя, почто не им, не граду Твери, что стоит на скрещении всех путей торговых и ратных, что неодолимо ширится и растет, что славен художеством и премудростью книжною уже теперь паче иных русских градов, почто не нам возглавить Залесскую Русь? Что содеяли москвичи, начиная с рыжего Юрия? Ублажали Орду и уступали Литве город за городом! Да, мы с тобою союзники Ольгерда, но кто заставил нас кинуться в объятия Литвы? Не московские ли шкоды с покойным Костянтином, с Василием, что двадцать лет подымает которы и свары в Тверской земле! Ты баешь, Семен Иваныч был иной, чем они все! Но что он содеял для нас, твой Семен? Великое княжение тверское у тебя было вновь отобрано... Ну сам, сам знаю! Сам отдал! И не подумал бы отдать, коли бы не Москва! Брянск они потеряли? Ржеву отдали? Нынче потерян Коршев, дальше очередь Новосиля. Киев не сегодня завтра да и вся Подолия будут в Ольгердовых руках! Так уж лучше с Ольгердом, чем с Москвою!

Михаил выговорился и умолк. Настасья подошла к детям, о чем-то заспорившим непутем, и оба согласно склонились перед матерью.

— Посиди со мною, Всеволод. И ты, Михаил, тоже! — попросила она.— Уезжаю, так наглядеться на вас обоих напоследок.

Лицо у матери было прежнее, улыбчивое, спокойное. Улыбкою она словно бы смиряла силу слов. Но в глазах промелькнуло мгновеньем предчувствие близкой разлуки, хотя никто из них не мог бы в ту пору представить себе, когда и какой.

Еще через день пышная и долгая вереница конных ратников, слуг, бояр и свиты, телег, возов и возков, поставленных на колесный ход, выезжала из ворот княжеского двора.

Тверской великий князь Василий Кашинский прискакал-таки почтить митрополита и сейчас пыжился, сидя на вороном атласном коне в богатом уборе и в дорогом жарком платье, обливаясь потом и задирая спесиво бороду, что делал всякий раз в присутствии своих непокорных племянников и что со стороны выглядело довольно смешно. Василий был уже сильно

полноват, с набрякшею толстою шеей, красное мокрое лицо его то обращалось к возку благословляющего его митрополита, то взмывало опять к небесам, когда танцующий кровный жеребец нетерпеливо привставал на дыбы. От шелковой переливчатой попоны, от жженного золотом седла, от узорной, в рубинах чешмы на груди коня, от густого серебра сбруи и оголовья княжеского коня исходило сверкание, так что впору было прижмуривать глаза. Соболиный опашень вовсе был лишним на тверском князе.

Александровичи тупились, отводили глаза. Провожая мать, не хотели, тем паче прилюдной, ссоры с дядей.

Вот возы и возки протарахтели по бревенчатой мостовой, вот выехали на колеистую дорогу, и началось дорожное покачивание и потряхивание с боку на бок.

Станята в холщовом армяке, невидный совсем, забившись в глубине возка между двух владычных служек — на коленях у него ларец с грамотами,— неотрывно и печально глядит в спину Алексия, что, высунувшись в окошко, крестит и крестит провожающих. Как-то встретит владыку, да и его самого, враждебная Литва!

Он, сидевший вместе с митрополитом в смрадной киевской яме, ожидаючи смерти (всего три с небольшим лета назад!), паче всех прочих может оценить мужество Алексия, решившегося нынче на этот поход.

ГЛАВА 22

Удивительно умение наших предков ездить быстро по тогдашним дорогам, тем паче в летнюю пору, когда невозможна стремительная санная езда. От Твери до Вильны почти тысяча верст. Владыка Алексий выехал в начале лета, и, ежели бы ехал со скоростью, каковую принял для обычных перевозок неспешный девятнадцатый век, верст этак по тридцать, по сорок в сутки, ему бы никак не вернуться назад еще до осени! Впрочем, объезд западных православных епархий Ольгерд ему запретил.

Как приметно меняется земля, когда вступаешь в область иного народа! Вроде бы и березки, и острова хвойного леса те же, и те же холмистые дали, и те же поля, ан, уже и не то! Не те селяне, не та одежда и молвь, и деревень многодворных, красных сел с бояр-

скими усадьбами в них не стало уже совсем. Одинокие, угрюмые на взгляд, грубо сработанные из толстых, плохо обработанных бревен, поставленные покоем безоконные хутора-крепости, где возможно и отсидеться, и отбиться от ворога в тяжкий час, неприступно прячущиеся в распадках холмов, в долинах, обязательно, хоть боком одним, примыкая к густому ельнику, куда не пройдет рыцарский конь, а хозяин может и скотину угнать, и сам с детьми и женою укрыться от плена и смерти — вот Литва.

Вынырнет из леса высокий белобрысый и длиннолицый хуторянин на широкогрудом коне, посмотрит, сощурясь: ну, не вороги, из Руси едут — верно послы! Не поздоровавшись, унырнет в лес. Мальчишка с копьем охраняет коров. Рослый мохнатый пес у ног скалит желтые зубы. Полощет на ветру подол холщовой домодельной рубахи, рука твердо держит копье. Парень, не дрогнув, пойдет на волка, а вместе с отцом — и на немецкого рыцаря. Тоже не здороваясь, взглядом провожает череду комонных, несущихся рысью лошадей в упряжках, своих и иноземных кметей, скачущих вслед за повозками. Взгляд парня вспыхивает при виде дорогого оружия. «Мне бы такое!» — шепчут губы. Голубые овсы, желтеющая рожь, и леса, леса, полные настороженного угрюмого ожидания. Так до самой Вильны. Только уже под городом расступились дубравы, расширились поля, и город встал перед ними — приземистый, словно мертвою хваткой вцепившийся в землю. Город-крепость с негустым посадом вокруг, с несколькими разномастными церквами (есть православные храмы, есть и католические костелы).

Возки минуют пригородные усадьбы, задавленные огромными, крытыми соломою кровлями. Встречу несутся всадники. Скачет кто-то в русском боярском платье. Поезд великой княгини Настасьи и митрополита русского встречают. Трубят рога.

За дорогу многое передумалось и вспоминалось многое. Алексий, измученный-таки многодневною тряскою, сидел нахохлясь, чуя упрямые годы, перебирал в уме все, что скажет Ольгерду, усилием воли запрещая себе думать о возможном нятьи и плене во враждебной Литве.

Сомнения отнюдь не исчезли и в Вильне, где их с княгинею после торжественной встречи развели порозь. Впрочем, к Алексию в предоставленные ему хоро-

мы тотчас прибыл местный священник, который все жаловался на обстояние католиков, мешая Алексию сосредоточиться и подумать.

Настасья уже, верно, встретилась с дочерью, расцеловала Ульяну, передержала на коленях всех внуков, поплакала и порадовалась на дочернино житье-бытье, а ему со спутниками только что были доставлены снедь и конский корм без всякого слова со стороны Ольгерда, и потому весь остаток дня и первую ночь Алексий промучился неизвестностью. Ему даже не удалось встретить и благословить княгиню Ульянию.

Утром прибывший княжой боярин объявил о приеме. Алексия проводили во дворец, расположенный на горе, скорее замок с каменною башнею — хоромами самого Ольгерда.

В широкой сводчатой, с низким потолком кирпичной палате его встретила стража в оружии и бронях и несколько молчаливых бояр, и Алексий в торжественном облачении, со своими клирошанами и литвином-толмачом шел словно сквозь строй, чувствуя всею кожею непривычность бросаемых на него взглядов: парчовое облачение митрополита вызывало интерес ратников только необычностью и богатством своим. Трое-четверо, впрочем, при виде Алексия мелко перекрестились и склонили головы. Алексий поднял руку и легко благословил этих христиан в стане язычников.

По крутой, загибающейся винтом каменной тесной лестнице они восходили наверх, миновали еще одну палату, полную опять вооруженной дружиной. Правда, оружие и платье у этих были заметно богаче, чем там, внизу, и на многих виднелись русские зипуны и опашни.

Наконец поднялись еще выше, и тут, в почти пустой невеликой сводчатой горнице Алексия попросили подождать. В полукруглое оконце виднелись далекие леса, синевшие на окоеме, как море. Ждать, впрочем, пришлось недолго.

Ольгерд вошел, слегка прихрамывая. Алексий до последнего часа все не ведал, благословить ли ему князя-язычника (когда-то крещенного, впрочем, но паки отринувшего христианскую веру). Чувствуя противную ему самому неуверенность в дрогнувшей длани, поднял руку для благословения. Высокий Ольгерд слегка пригнул голову, и Алексий, ободрясь, благословил князя. Ольгерд склонился к его руке, якобы целуя, но так и не коснулся губами. Тому и другому подали вы-

сокие кресла с игольчатой дубовой резью на спинках — верно, немецкой работы, на сиденья положили подушечки.

Ольгерд сидел прямой и властный, широкая светло-русая с проседью борода покрывала грудь. Лицо с крупными чертами было румяно и почти лишено морщин. Голубые глаза светились умом и волей. Лоб князя облысел, и потому величавое чело казалось еще выше, еще просторнее. Он не был ни худ, как Кейстут, ни толст, и голос князя, когда он заговорил, оказался красив и звучен.

С первых же слов Ольгерд, отстранив толмача, коему на протяжении всей беседы не довелось и рта раскрыть, повестил митрополиту, что избранные епископы, луцкий и белзский, днями навестят его в Вильне, но отпустить самого владыку на Волынь он не может, ибо там неспокойно, идет война с католиками, и он не в силах ручаться за сохранность митрополичьей жизни. Намек был слишком ясен, и Алексий больше не настаивал.

По-русски Ольгерд говорил более чем сносно. Порою забывалось даже, что он литвин. Алексий смотрел на князя и думал, что, верно, Ульяния безоглядно влюблена в своего супруга, и ему становилось все страшнее. Чуялось, что голос этот может переломиться вмиг, и тогда в палату вбежит, бряцая оружием, стража, и его, Алексия, под беспощадным взглядом умных голубых глаз поволокут куда-то вниз, в каменные потаенные погреба, в сырость и мрак... «Нет! Нет! Нет! — кричало все в нем.— Не может, не должен, не может!» Но и Византия, и Каллист, и Филофей Коккин, и даже Москва казались отсюда безмерно, непредставимо далекими.

Видимо, все-таки, несмотря на все старания Алексия, Ольгерд что-то понял, почуял, узрел по его виду. На каменном лице литовского великого князя впервые явилась сдержанная снисходительная улыбка. Улыбка эта отрезвила Алексия, позволила ему опомниться.

Он начал говорить, негромко, но твердо, тщательно подбирая слова, о том, что старинное нелюбие, существовавшее между великими князьями московским и Ольгердом, ныне, когда он, Алексий, после смерти митрополита Романа вновь становится главою всех православных епархий, должно быть отложено. Что как глава церкви он не может быть врагом князя, во владениях коего находятся подвластные ему, митрополиту, епар-

хии Черной Руси и Волыни. Что он, Алексий, являясь главою государства при малолетнем Дмитрии, в силах и вправе заключить дружественный договор двух князей: великого князя московского и владимирского Дмитрия с великим князем литовским Ольгердом. Что дружба, которую предлагает Ольгерду Алексий, есть дружба не на час, а навек, ибо владимирское княжение является отныне, по ханскому повелению, отчиною московских князей и может передаваться по наследству только единым князьям московского дома. И что в толикой трудноте надлежит им — митрополиту Алексию и князю Ольгерду — отложить все злое и вспомнить то доброе, что многажды бывало меж них. Что юный московский князь вступает в пору, когда его пора женить, и что он, Алексий, затем и приехал с великою княгинею Анастасией вкупе, что надеется получить согласие князя на брак его дочери с московским князем Дмитрием, каковой брак и должен послужить ко взаимному вятшему дружеству двух государей.

Ольгерд давно уже перестал улыбаться. Слушал настороженно, обмысливая слова Алексия паки и паки. Когда узнал о ханской грамоте, повел бровью, дернулся было сказать нечто, но сдержал себя. Впрочем, по глазам Ольгерда Алексий тотчас прочел несказанные слова: «Хан может и перерешить!» Не хуже Алексия ведал Ольгерд о той чехарде убийств и смещений, что творилась в Золотой Орде. Ханский фирман был пустою бумажкою, ничего не значащей, доколе ее не подтвердят или опровергнут воля, власть и оружные полки.

И все же над предложением этого хитрого русича подумать стоило. Возможно... В грядущем! Переиграв старца-митрополита (да и умереть он может до той-то поры!) с помощью Ольгердовны на столе великокняжеском, станет мочно предъявить и свои права на владимирский престол!

И уже милостивее выслушал он ходатайство митрополита о восстановлении Брянской епархии, тем паче что о том же просил и сын, посаженный им в Брянске, Дмитрий-Корбут, коего покойная первая жена, Мария Ярославна, сумела-таки вперекор отцу воспитать христианином. Обещал уважить он и просьбу митрополита о свидании с великой княгиней Ульянией, дабы благословить ее по обычаю русской церкви, закону греческому и святоотеческим заповедям.

По окончании приема Алексий вновь, уже увереннее,

благословил великого князя литовского, и Ольгерд, усмехнувши краем губ, коснулся слегка губами его руки.

Алексий не ведал, что тотчас по его уходе Ольгерд протянет руку над огнем и произнесет в присутствии ближних бояр литовское древнее заклятие, освобождающее его от власти креста. Впрочем, и узнав, не удивился бы. То, что для Ольгерда любая вера лишь одна из бесчисленных личин, надеваемых им по мере надобности и сбрасываемых тотчас по миновении оной, Алексий понял уже давно.

ГЛАВА 23

Дома к Алексию бросился Станята. Разоблачая владыку, заглядывая в глаза, подавал брусничной воды. Алексий был, как казалось ему самому, в полуобморочном состоянии... Дал себя раздеть, умыть, напоить, уложить в постель. Разом сказалось напряжение всех последних дней, усталость от долгой и тряской дороги, муки говори с Ольгердом, и ежели бы не Станята, вовремя уложивший владыку отдыхать и воспретивший, пока тот спит, кому-либо входить и тревожить наставника, Алексий, возможно, расхворался бы всерьез. К счастью, своевременный отдых, дисциплина, усвоенная им для себя еще в отроческие годы, и горячая молитва ко Господу сделали свое дело. Назавтра митрополит встал, хотя и с легким головным кружением, но бодрый и вновь готовый к подвигам духовного «одоления на враги», непрестанно совершаемым им во славу единожды принятой великой идеи создания московского самодержавия.

В ближайшие дни, пользуясь данной ему свободой передвижения, он посетил все православные храмы Вильны: замковую церковь, строенную еще покойной Марией Ярославной Витебской (первой женою Ольгерда), и большую Пятницкую в самом городе, где он отслужил литургию, также и церковь святого Николы, перестроенную в камне на месте ветхой древяной рачением княгини Ульянии, и даже Успенский храм в Озерищах. С прибывшими с Волыни епископами урядил о данях и митрополичьем серебре, обещав, в свою очередь, присыл богослужебных книг и икон владимирского письма.

Киево-печерский архимандрит Давид, духовник Ульянии, ожил и воскрес, почуя Алексиеву поддержку, и деятельно хлопотал, уже не жалуясь, о сооружении Свято-Троицкой церкви, средства на которую давала также княгиня Ульяна. Словом, пока Ольгерд думал и гадал, Алексий деятельно налаживал в Вильне христианскую жизнь, способствуя обращению в греческую веру новых и новых язычников.

Ульяна, к которой Алексий был допущен вскоре после приема, обрадовалась ему несказанно. Винилась в том, что не все ее дети были крещены (по дальним замыслам Ольгерда, иным из его потомков полагалось оставаться язычниками или же принять католичество. К тому были и литовские имена юных княжеских сыновей). Чуялось, что покойная первая жена Ольгердова имела больше воли над своим супругом, которому в ту пору удержать за собою Витебск было нужнее всего.

Ольгерду ежеден доносили о всех действиях Алексия, и он неволею начинал нервничать и злиться. Московит уже не казался ему таким беззащитным и простым, как на первом приеме. Да и с Ульяной происходили чудеса. Она стала много строже блюсти чин церковный, и Ольгерду теперь приходилось выслушивать обязательные (и совершенно ненужные, с его точки зрения) молитвы перед едой и на сон грядущий, соблюдать среды и пятницы. Впрочем, плотское воздержание по этим дням, на коем настаивала и первая жена Ольгердова, ему было не внове и даже не отяготительно. Ольгерд себя приучал к воздержанию во всем, что касалось услад телесных, с юных лет, да и возраст брал свое, хоть и дерзал не поддаваться силе лет переваливший уже за рубеж шестидесятилетия великий князь литовский. По возрасту почти ровесник Алексию, он выглядел значительно моложе и крепче московского митрополита.

Иное, однако, вызывало злость князя. И когда он попробовал разобраться в себе, то понял: злость была от непонимания.

Алексия — местоблюстителя стола, торговавшегося с ним о землях и власти, он мог понять и понимал хорошо. Он вполне понимал латинских прелатов и патеров, стремившихся крестом подтвердить военные претензии Ордена, польского короля, папы и императора. Но понять сущность поступков таких людей, как казненный им некогда боярин Круглец (из коего греки

тотчас сотворили себе нового святого мученика), пожертвовавший почетною службой и жизнью ради нескольких слов, которые ему никто не мешал произнести за дверьми княжеского покоя,— этого Ольгерд понять был совершенно не в состоянии. А непонятное долило и жгло. Неужели, как утверждают христиане, есть «та», другая жизнь, ради которой стоит жертвовать жизнью сущею? Но тогда переворачивается всё, и все привычные ценности, такие, как достаток, здоровье, золото и даже власть, теряют цену свою и всякое значение в этом мире. Да, он, Ольгерд, не носит парчи и шелков, не пьет вина, не тратит себя в пирах и утехах женских, но отринуть саму власть, ради которой он и мог всю жизнь отказывать себе в низменных радостях? Этого понять он решительно не мог. Тем паче что все известные ему прелаты, епископы, кардиналы и сам папа римский и даже этот русич Алексий, хлопочущий об устроении московского престола, все они также собирали добро и боролись за власть, подчас даже более яростно, чем короли и князья...

И все же было что-то иное. Быть может, род безумия? Однако и безумием трудно было объяснить тринадцать с половиной веков христианской культуры!

И потому Ольгерд начинал все больше и больше нервничать. Митрополита надо было услать, и как можно скорее. Он плохо воздействует на жену! А о браке дочери с Дмитрием... О браке он подумает. Возможно, даст и согласие свое. Великая княгиня Анастасия пока не уезжает никуда, он уговорил ее пожить в Вильне до зимы или даже до весны, ибо осенью Ольгерду предстоял большой поход, о котором покамест он не говорил решительно никому. На юге в Орде так складывались дела, что можно было именно теперь, когда ежемесячно сменяемые ханы режут друг друга, а у Мамая нет сил вмешаться в литовские дела, захватить Подолию. Алексий об этом знать не должен был тем паче. И потому Ольгерд, в конце концов подавив в себе жажду расправы с упрямым московитом (расправы решительно невозможной и неподобной ныне!), позволил ему получить причитающиеся церковные доходы, разрешил возобновление Брянской епархии, на которую Алексий уже рукоположил, оказывается, некоего Парфения, дал согласие на приезд своей дочери в Русь (о дальнейшем было еще время подумать и погадать с боярами) и с внутренним глубоким облегчением проводил митрополита обратно

на родину, так и не понимая на этот раз, кто же из них кого обманул: он Алексия или Алексий его? И к каким последствиям приведет этот задуманный митрополитом брачный союз?

Проводивши поезд русичей, Ольгерд урядил ежедневные дела, ответил на две грамоты — рижского магистрата и комтура венденского, после чего прошел к себе и, остановившись в дверях, долго глядел, как две женщины, жена и тверская теща, с помощью русской служанки пеленают и тытышкают малыша с тем хлопотливо-удоволенным выражением лиц, которое бывает у женщин, полностью поглощенных возней с дитятею. Он стоял незамечаемый ими и думал. Нет, не думал, а только смотрел задумчиво и тревожно, не ведая, как постичь то неподвластное уму, что ворвалось в его жизнь и требовало от него какого-то сознательного решения. Смотрел и не знал, к худу или к добру русского митрополита Алексия три года назад не сумели погубить в Киеве. Быть может, не поздно еще нагнать его по дороге, имать, убить? Заключить в железа? Двое-трое литовских бояр намекали о таковом решении!

Тут Ульяния, завидя супруга, весело подбежала к нему, держа в руках толстого улыбающегося малыша, который тщился засунуть весь кулак в рот, а другой рукою потянулся к бороде родителя.

«Нет, нельзя!» — решил наконец Ольгерд, принимая сына. На шее ребенка, на мягкой шелковой ленточке, сверкнул маленький, невесомый золотой крест.

ГЛАВА 24

В это лето стояла великая сушь. Волга обмелела. Пересыхали колодцы. Душные, горячие стояли, истекая смолою и зноем, сосновые боры. Хлеб топорщился сухой, ломкий, жидко выколосившийся, и тощее, не успевшее налиться зерно обещало зимнюю бескормицу.

Нижний дважды горел. Во второй раз пожар начался у вымолов и, раздуваемый дыханием Волги, полез по склону вверх, проглатывая одну за другою клети, избы и хоромы горожан. Разом запылали кровли костров городовой стены, пламя выбилось высоко над кручею и заплясало, светлое, беспощадное, в тусклом мареве душного летнего дня. Терема и житный двор,

к счастью, удалось отстоять, хотя выгорело полгорода и обгорел Спасский собор.

Константиновичи, все трое, отчаянно переругались друг с другом.

В город опять пожаловал Борис и, почуялось, уговорил бояр задаться за него. Андрей смирился было, хоть и ворчала жена, но тут в Нижний явился Дмитрий, выбитый из Владимира, а почитай и из Суздаля, набежали изгнанники-князья, стародубский и галицкий. В торгу стояла дороговь на снедный припас, и прокорм всех князей с их совокупными дружинами, бояр и княжеской челяди лег на плечи одного Андрея. Обедали Константиновичи покамест за одним столом, но по дворам уже начинались драки суздальцев с городецкими кметями князя Бориса. В жарком, пронизанном гарью пожаров воздухе повисла над городом зримая беда братней резни.

Борис выпрямился и с силой шваркнул ложку о стол. Крылья носа его трепетали, яростный взгляд был направлен прямо на Дмитрия.

— Вотчина твоя — Суздаль! Будь я на великом столе, не бежал бы на рати, как ты, и не сдавал городов, дабы потом распихивать братьев по уделам! С Москвою, а не со мною надо ратиться! Сидишь тут, князей битых назвал, объедаем брата...

Дмитрий запрокинул лицо. Взгляд его был страшен. Кубок в сжатой руке ходил ходуном. («Сейчас выплеснет вино в лицо Борису!» — невольно подумал Андрей.)

Отец Никодим, князев духовник, в ужасе прикрыл глаза, ожидая, что братья возьмутся за оружие.

— Ты... ты...— бормотал Дмитрий прыгающими губами.— Тебя тоже кормит Андрей! И неподобно тебе отбирать город под старшим братом!

— Тебе отдать, чтобы ты бежал отселе в Сарай? — хищно оскалясь, рыкнул Борис. И Дмитрий, размахнув длань, выплеснул греческое вино из чаши в лицо Борису. Впрочем, Андрей, бывший наготове, сумел выбить кубок из руки Дмитрия, и красное вино лужей и брызгами разлилось по тканой скатерти.

Борис уже стоял на напряженных ногах, ловя рукою княжеский дорогой нож на наборном, из чеканных серебряных пластин поясе.

— Если бы ты... если бы ты,— бормотал,— попал в меня, я бы тебя зарезал! — выкрикнул он.

Андрей тоже встал, сузив глаза.

— Сядь, Борис! — повелел грозно.— Вы оба в моем городе! Утихни, Дмитрий! А ты, Борис, помни, что я не трусил в ратном бою!

И такая нежданная сила была в словах Андрея, что Борис, послушавшись, сел. И тут с другого конца стола послышались сдавленные хрипы и урчание. Это стародубский князь, приглашенный Андреем возраста ради к семейному столу, про коего они, все трое, почитай, забыли, сидел, склонясь головою, и, вздрагивая, жалко вскидывая обреченные глаза, изливал на пол проглоченный только что обед. Князя тошнило со страха.

Вбежали слуги с тазом, с мокрыми тряпками. Князя Ивана Федорыча под руки увели во внутренние горницы. Отец Никодим, оглядываясь опасливо, поспешил следом.

Борис, морщась, брезгливо глядел на место, где только что сидел старик, меж тем как холопы быстро-быстро замывали пол и убирали, почти бегом, следы княжеского невольного непотребства.

— Борис останется здесь, и Дмитрий тоже. Но городом управляю я! — договорил Андрей.— А ты, брат,— он оборотился к Дмитрию,— напиши митрополиту Алексию, пусть позволит хотя бы Ивану Федорычу воротиться домой!

Братья угрюмо молчали, стыдясь друг друга, и все еще гневали, не подымали глаз.

— У меня нет наследников. Василисе останет токмо на прожиток. Неужели вы оба не сумеете поделить княжества между собой, когда я умру? — с горькою укоризною вымолвил Андрей. Борис вдруг встал и, неуклюже кивнув куда-то вбок, стремительно вышел из покоя.

— Ты тоже считаешь меня трусом, без бою уступившим Дмитрию Иванычу? — Дмитрий Константиныч впервые, кажется, назвал московского племянника своего по отчеству.

— Я не считаю так! — устало отмолвил Андрей.— Я считаю, и говорил уже тебе об этом не раз, что ты проиграл сразу же, как получил власть, с самого начала, тогда еще, когда стал возвращать тем же ростовчанам, галицкому князю или этому вот Ивану Федо-

рычу потерянные ими княжеские права и волости... Молчи! Молчи и слушай теперь! Чего ты хотел? О чем спорил с Дмитрием, прости, не с ним, не с ребенком, а с владыкой Алексием? Алексий создает страну, а ты хотел всего лишь сидеть на престоле! Как ты не видишь, брат, что старого не вернуть, никогда не вернуть! Неможно дважды ступить в одну и ту же реку!

— Даже ежели старое во сто крат лучше того, что грядет? — угрюмо вопросил Дмитрий.

— Даже тогда!

Дмитрий повел плечами, покачал головой — словно проверяя, на месте ли еще они, неуверенно спросил, подумав:

— Что же измыслил бы ты на месте моем?

— Брат! — Андрей рассмеялся невесело.— Да потому я и не взял власти от хана, ибо не ведаю ничего! Не ведаю, что измыслить иного, не ведаю, истинно ли творимое Москвой! Я одно лишь могу и одно лишь потщусь содеять ныне: не дать вам, братьям, рассорить промежду собой и тем погубить княжество!

ГЛАВА 25

По-видимому, обо всем, что произошло в этот день между братьями, вызнал от Никодима новый суздальский епископ Олексей. Потому что назавтра во время обедни в Спасском соборе совершилось прилюдное чудо.

Когда Андрей по старшинству первый подошел ко кресту, то с напрестольного серебряного креста нового владыки на склоненную голову князя капнула тяжелая капля. Андрей недоуменно поднял взор. Из креста сочилось и капало, капало, капало вниз, в кем-то из служек усердно подставленную чашечку священное миро. О том, что это миро, а не простое масло, тут же ропотом загомонили в толпе.

Андрей укоризненно глядел в глаза Олексею, а тот, отворачивая взор, громко вещал о том же, что и простецы: что-де вот, Господь в правде своей, увидя кротость и братнюю любовь князя Андрея, отметил чудом избранника своего!

Андрей, опустивши голову, стыдясь и епископа,

и себя, скорым шагом покинул собор. Пред ним расступались с уважительным шепотом.

Дома, швырнув наземь выходной зипун с золотым поясом, он дал волю гневу и возмущению. Василиса, усевшись рядом, пыталась его утешить:

— Ты же не ведаешь и сам, как это произошло! А я уже и от холопок своих слышу, что нынче в соборе князя, мол, Андрея за кротость и любовь отметил знаком своим сам Господь!

Андрей замученно поглядел в глаза Василисе. Она-то как может!

— Весь город, говоришь? Это значит, ежели тебе бают — пьян, дак хошь и не пил, а иди выспись? Трудно ли опустить полый крест в миро часа на два, пока он весь не наполнится изнутри, а потом, обтерев, вынести его к народу? Я ведь первым подхожу ко кресту. На меня и закапало!

Зачем это все, зачем, о Господи! Ведь все одно не заставят они меня взять оружие в руки, а сами никогда не помирятся, пока не потеряют окончательно все! И новый епископ — как он мог! Я его уважал, почитал, яко смыслена мужа, и книжна, и учительна зело, а он... Опять эта московская неразборчивость в средствах, уже и сюда проникла! Значит, все даром...

— Погоди,— встала жена, оправила головку и сарафан.— Кто-то идет!

Епископ Олексей был легок на помине. Окончив службу, он тотчас поспешил в княжеский дворец.

Андрей затрудненно встретил старика, не ведая, куда девать взор, мысля, что сейчас тот начнет увертливый и лживый толк о совершившемся однесь «чуде».

— Укоряешь мя, князь? — вопросил епископ, садясь в предложенное Василисою кресло, и поглядел весело и светло.

— Зачем это все надобно? — с мучением отозвался Андрей.

— Надобно! Для простецов! — с твердостью возразил епископ.— Ибо уже по городу свары и ссоры и бои кулачные, почти до умертвия доходящие, а при нынешней скудоте великая может настать неподобь от такового взаимного озлобления христиан! И не ты ли, князь, в тереме своем вчера остановил братьев от гибельного раздрасия?

— Но зачем, к чему это нелепое чудо...— начал было Андрей.

— Чудеса, сыне,— отверг епископ,— никогда не нелепы суть! Ибо без того не вразумить простецов, тех, что сами жадают знака горняго! Я не тебе, но им указую то вразумительно и внятно, что ты, княже, постиг разумом, свыше данным, и книжным научением!

— Отче! Но ведь это — обман! Ведь этих людей мне вести в бой! Равны есьмы пред смертию и должны быть равными в правде. Неужели неможно объяснить им, как это делал Христос, погибельность раздрасия и силу братней любви! Ведь с этой вот лжи, с малого все ся и зачинает. А кто поручит в том, что в грядущем народ, навычный к приятию ложных чудес, некий борзомысл не станет теми же глаголами, являя им чудо, натравливать на братию свою во Христе, не поведет на резню, убиение, не почнет чернь вадить на вятших, ремесленников на пахарей, тружеников на купцов? И будет обещать чудо! Будет обещать, яко Христос, накормить пятью хлебами пять тысящ душ, лишь бы подвигнуть сих малых на зло, на прю, на раздрасие всеконечное! Что, кроме правды, возможет остановить сие? Ведь ежели правда будет скрыта от меньших и доступна вятшим одним, тебе, владыко, и мне, князю, кто поручит в грядущих веках за князя доброго и за пастыря совестливого?! Ведь стоит только, о, стоит только начать! А там — народ преобразится в стадо, а там лукавый иноземец, приникнув к уху князя недоброго, нашепчет ему гибельное для народа его, и он, тот грядущий князь, учнет работать на потребу злу, губя свой народ! Не было разве уже того в Византии? Не было среди римских кесарей? Не было и среди князей русских, коромолами изгубивших Киевскую державу? Истину, отче, должны ведать все! Даже прегорькую, горчайшую оцета и желчи! Токмо тогда не будет обманут народ, и токмо тогда возможет воцарить истина веры Христовой!

— Князь! — епископ, осерьезнев лицом, поднял руку, утишая поток Андреева красноречия.— Скажи, почто сам Христос многажды говорил притчами, не разъясняя смысла слов своих? Почто, отринув искушения дьявола, все же творил чудеса, и исцелял, и воскрешал, и являл ся ученикам по водам ходяше и многая иная прочая? К чему речено: «много было званых и мало избранных»? Скажи, возможешь ты изъяснить простецам круглоту земли, парящей в аэре, никем не держимой? Не вопросят у тя: а как же

низ и верх и почто не падают те, что живут по ту сторону земли? Изреки, многим ли ты сумеешь изъяснить душепонятно разноту тварного и духовного? Троичность божества? Или обычное, повторяемое ежеден в символе веры, что сын рожден от отца прежде всех век и он же родился от Марии Девы тринадцать столетий тому назад? Многим ли ты изъяснишь глаголемое Григорием Паламою о свете фаворском и об исихии? Как изъяснишь, наконец, невещественность, нетварность Создателя малым сим?! Но отцы церкви разумно положили в зримом изображении являть Вседержителя и ангелов его, яко и аз в зримом явлении текущего мира явил благость братнего согласия князей суздальских! Вспомни притом споры иконоборческие и утвержденное, егда хулители икон были посрамлены! Так, княже, так! Помысли — и поймешь правду мою! Ведь иное и рад бы изъяснить, но неможно сего, не приимут, не поймут, и боле того: озлобят на тя, решив, яко величахуся над ними! Не возжелай, сыне, всем того, что имеешь сам, ибо это — гордость паче гордыни самой. Пусть смерд зримо зрит правду твою, княже, и не мешай мне полагать оным пути легчайшие к постижению истины!

Василиса, не проронившая слова, тут настойчиво, подтверждая, склонила голову; и Андрей, оставшись совсем один, должен быть уступить, согласясь с епископом ежели не в душе, то хотя бы наружно.

— Обещай мне, владыко, одно! — сказал он, поворачивая к Олексею бледный, измученный лик.— Обещай мне, когда я умру, поддержать волею своею того из них, кто будет более прав!

— Обещаю, сыне! — не вдруг отозвался епископ. Подумав, он поднялся и подошел к иконам, дабы клятву, данную Андрею, повторить пред Господом.— Господи! Ты ведаешь все дела человеческие! Приимь обещание мое поддержать правого среди князей суздальских! Что бы ни было и что бы ни совершило со мною...

— Аминь! — произнесли оба единовременно, епископ и князь. И Василиса, бледная, с темно-углубленным взором, молчаливо слушавшая странную просьбу мужа и клятву епископа, тоже отозвалась из угла покоя тихо, словно далекое эхо голосов:

— Аминь!

ГЛАВА 26

Есть что-то чрезвычайно символичное в том, что осенью того же 1363 года, когда Алексий добился от Мамая ярлыка, отдающего владимирский стол в вотчину государям московским, Ольгерд, разбив татарских князей Кутлубугу, Хаджибея и Дмитрия, занял Белобережье и Синюю Воду, то есть всю Подолию (низовья Днепра и Буга), подготовив тем самым скорое присоединение Киева и превращение маленькой Литвы в огромное литовско-русское государство, протянувшееся «от моря и до моря». (Точности ради скажем, что как побережья Балтики, так и Черного моря ему не принадлежали.)

Едва ли случайно, что два этих события — первое очень невидное, почти незаметное со стороны, и второе громозвучно-победоносное, тем паче, что победа была совершена над непобедимыми до сих пор татарами,— произошли в один и тот же год, словно бы намечая разноту путей, по которым пойдет развитие того и другого государства Восточной Европы.

Конечно, Ольгерд, великий стратег, очень умно выбрал время для своего одоления на враги. Татарские князья, чьи орды кочевали в низовьях Днепра, почти не подчинялись центральному улусу, а рати Мамая были нацело скованы борьбою с ханом Мурутом, и сил, чтобы вмешаться в дела Подолии, он в ту пору совсем не имел. К тому же голод и чума, опустошившие Бездеж и другие татарские города, и вовсе ослабили Орду.

И все-таки, когда литовская конница, вылившись из лесистых холмов своей родины, в открытой степи разгромила татар, выгнав их за Дунай и в Добруджу, это была отнюдь не рядовая победа в бесконечных войнах эпохи, это был символ начавшегося обратного движения европейских народов против еще недавно неодолимых кочевников.

И пусть литовцам очень помогли лесистые долины рек, пусть победа была не прочна, пусть это была окраина Орды, окраина степного моря... Но выйти в степи! В ослепительный бескрайний, сливающийся с небом простор, в безмерность, в которой тонет взор жителя лесной стороны, не ведая, за что зацепиться ему. Выйти в степи почти то же, что выйти в океан, оторвавшись от спасительных берегов. Та же унылость и простор и та же близость дальних земель и стран, открывающаяся духовному взору путника, ибо конь не медленнее бежал

по степи, чем стремились по морю пузатые окрыленные корабли тогдашних мореходов.

Ольгерд мог гордо оглядывать с коня завоеванный им простор. Вот она, степь! Теперь он предложит папе римскому в уплату за крещение Литвы в латинскую веру переселить сюда, за границу Золотой Орды, немецких орденских рыцарей (это будет его непременным условием, почему и само крещение, на коем многажды настаивал папский Рим, не состоялось вновь). За этой степью — Греческое (когда-то Русское!) море, пути в Константинополь, на Запад и в страны Востока...

Почему с этою победой, означившей, казалось бы, поворот всей европейской истории, сопоставим тайный договор Алексия, клочок пергамента из тех, что тысячами истлели без остатка в земле?

У того и другого государства еще неясен грядущий путь, и еще столкнутся с Ордою те и другие. И ежели Русь устоит на Куликовом поле, то Литва при Витовте будет наголову разбита на Ворскле, и это означит ее скорый закат, поглощение Польшей, и уступит она после того сопернице — Руси путь и в Византию, и к Востоку, и в степи, а затем и в лесные просторы Сибири, все дальше и дальше, пока чужой, неведомый океан не заплещет перед очами землепроходцев-русичей, добравшихся уже на другом конце величайшего из земных материков до своего «последнего моря».

Что перевесило? Меч или судьба? Перевесило слово. Писаное. Утвержденное. Осененное знаком креста и скрепленное государственными вислыми печатями.

Поэтому и сравним секретный договор Алексиев с победою Ольгерда, совершенною в тот же год, но означившую только шаткость военного счастья и переменчивость земных судеб, замыкающихся на смертной личности правителя, мнящего себя бессмертным (как, увы, и многие правители земные!).

Чтобы не быть голословным в этом противопоставлении оружию — слова, окинем взглядом те незаметные в громе побед и поражений родники, что уже повсюду начинали пробиваться, хлопотливо журча, в русской земле.

Обезлюженная чумою в 1351—1353 и повторно в 1363—1366 годах, то есть всего с десятилетним перерывом (при этом поветрие 1363—1366 годов, принесшее на Русь сразу и чуму и моровую язву, было не менее, а быть может, и более сильным, чем предыдущее), в сложном обстоянии военных розмирий, походов, кня-

жеских ссор и порубежных угроз страна очень много строит, создает, украшает и творит.

Растут каменные церкви в Новгороде, суздальские князья отстраивают и украшают Нижний, Москва один за другим возводит монастыри и храмы; строительство идет и в Твери. Неслыханно расцветает живопись (напомним, что вскоре на Русь явится Феофан Грек и обретет здесь пышную местную художественную школу, точнее — много школ, и уже не за горами появление Рублева, целиком созданного XIV веком, а его гением означено высшее стояние художественной культуры Московской Руси, что о сохранившихся образцах русской живописи середины XIV века теперь сочиняют целые монографии, что именно в эту пору начинается бурное развитие иконостасного ряда, музыки, возникают или достигают своей законченности все местные школы зодчества).

Создаются такие шедевры литературы, как «Повесть о нашествии Батыя на Рязань», многочисленные «Хожения» русских паломников, «Повесть о Шевкале», «Повесть о житии и убиении князя Михаила Тверского», «Задонщина», бурно развивается летописание и в Залесской Руси и в Новгороде, создаются русские «Жития», «Сказания», переводятся шедевры византийской литературы. Возникает и растет монастырское «скитское» движение, отмеченное появлением новых общежительных обителей, ставших центрами и рассадниками культуры, и целым соцветием имен выдающихся подвижников, таких, как Дионисий Печерско-Нижегородский, Евфимий Суздальский, Макарий Унженский и тьмы других, не говоря уже о Сергии Радонежском и веренице его последователей и учеников. Все это свидетельствует о действительном духовном подъеме, подъеме внутреннем, мощном и всеобъемлющем. Подъеме, уже в силу значительности своей более медленном, как подъем океанской волны по сравнению с частым плеском прибрежного наката.

Мор, к 1364 году опустошивший Бездеж, Рязань и Коломну, достиг Нижнего Новгорода, Переяславля (где умирало до сотни человек в день!) и Москвы. Умирали «железóю», умирали «прыщом», но люди продолжали работать, строить, творить, скакали по-прежнему послы, двигались рати, и митрополит Алексий продолжал неустанную работу, сплетая свою сеть, в которую уловлял уже не отдельные души — целые княжества.

ГЛАВА 27

Летом великая княгиня Настасья воротилась из Литвы, где пробыла почти год, с внучкой, будущей невестою московского князя.

Истомясь по дому, Настасья, когда уже подъезжали к Твери, не могла высидеть спокойно. То принималась без нужды целовать и тискать юную Ольгердовну, то теребила рабыню-татарку, подаренную ей зятем. Татарка кое-как понимала русскую молвь. Все опасы, слухи и вести о черной смерти — все было позабыто до поры.

Такое же было солнце, что и год назад, и так же волновало спеющие хлеба, и такие же высокие стояли облачные башни в тающих, безмерных небесах над родною землей. Дома бросилась в очи новая кровля (по весне, оказывается, кровли с теремов сорвало вихорем, а в верх Спаса ударило молоньей).

Минуя слуг, расставленных для встречи, Настасья почти вбежала на крыльцо. Сыновья стояли торжественные, разряженные ради встречи с матерью, а юная Ольгердовна так вся и заполыхала жарким румянцем: подумала, что один из них — князь Дмитрий, ее суженый.

— Ну, что тут, как? Что нового? — торопила Настасья сыновей с ответами, сама почти не слушая ничего, сияющими глазами любуя детей, и невесток, и внуков... А когда стала переодеваться у себя в горнице, бурно расплакалась невесть почему. Николи прежде такой не была.

— Ну, можно мне, можно, можно теперь! — бормотала, отирая слезы смоченным в вине платом.

Торжественно прошла служба в соборе. Торжествен был пир. (И баня с дороги — своя, отвычная — умилила Настасью несказанно.)

Новости дома были невеселые. Мор — хотя и хватали, и заворачивали по дорогам, и держали дня по три, разглядаючи: не везут ли болесть? — неодолимо надвигался все ближе и ближе. И грозы, и ветры с вихорем были не на добро, как уверяли старики. Думать ни о чем этом не хотелось, а думалось уже. Поневоле. Мор, сказывали, достиг Переяславля. И сушь стояла. На зиму по всей земле ждали голода.

Настасья, отдыхая, сидела за пяльцами. Даренная зятем девочка-татарка внимательно, даже рот открыв,

следила за работою. Внове была, видно, княжеская, шелками и золотом творимая гладь.

Всеволод, громоздясь на лавке, сказывал новости. Кое-что она знала от гонцов, что прибывали из Твери. В Орде было опять неспокойно, Мурута зарезали свои эмиры, возможно, не обошлось тут без козней Москвы. На его место явился новый хан, Азиз, и как и кого он поддержит, было неясно.

— Да и не осильнел ищо на столе-то! — хмуро проговаривал Всеволод. Помолчал, свеся голову, вновь поднял тяжелые глаза: — Что ж Ольгирд нонече думает сотворить? Али опять Литве с немцем ратитьце придет?

— Его не поймешь,— отмолвила Настасья, щурясь и подбирая нить.— Дочерь, вишь, пустил со мною, видать и свадьбу свершат с Митрием... А как дале пойдет у их — гляди сам! Мне, жонке, тово не понять, да и сам владыка Олексий, мыслю, не ведает!

Стукнув в дверь, в покой пролез Михайло в подпоясанной кожаным ремешком рубахе, простоволосый, светлый, весь от летнего дня, и с улыбкою такою же светлой, как день весенний. Чмокнул мать в щеку, походя пощекотал зардевшуюся Ольгердовну, татарке показал пальцами козу, всех рассмешил, всех утешил. Свалился на лавку, хлопнул брата по плечу.

— Не тужи, Всеволод! Слыхала, мать,— отнесся к Настасье,— владычный гонец прискакал? Скоро, бает, самого ждать! Крестить тебя будут, коза-дереза! — И юная Ольгердовна вновь залилась румянцем. Предстоящее ей крещение было необходимой ступенью к браку с московским князем. Она подняла светло-голубые прозрачные глаза на Михаила, самой подумалось: вот бы такой и был московский жених, веселый, хороший!

С приходом Михаила и толк пошел живее, и радостнее стало как-то, хотя ничего излиха радостного не мог повестить и он. Сушь и надвигающийся неодолимо мор да смутные вести из Орды при явных успехах Ольгерда (хоть и родича, хоть и союзника, а все же...) радовали мало. Впрочем, Михаил стал сказывать про нового изографа-новогородца, что днями прибыл в Тверь, и скоро увлек всех до того, что Настасья, отложив шитье, решила пойти поглядеть работу мастера.

Княжеские иконописцы помещались тут же, на дворе, поэтому переодеваться не стали. Настасья лишь накинула шелковый летник, а Михаил даже и зипуна надевать не стал.

В мастерской была прохлада и тишина. Мастера засуетились было, завидя великую княгиню и князя Всеволода, но Михаил охлопал старшего по плечам, подмигнул подмастерьям, сам поднял на подмостки и утвердил понравившуюся ему работу, начал показывать и хвалить.

Что-то было в пошибе новгородца неуловимо крестьянское, простое ли — уже и слишком. Настасья глядела щурясь, поджимая губы. Всеволод, крякнув, стал поглядывать по сторонам — на каменные краскотерки, чашечки с краской и кисти, яичную скорлупу и толченый алебастр, приготовленный для левкаса. Ему работа не показалась, свои, тверичи, были лучше, казовитее, строже. Мастер неуверенно и угрюмо взглядывал, поправляя и поправляя ремешок на спутанных буйных волосах, чуя нутром, что труд его не показался княжескому семейству, и потому сникая и темнея ликом...

Позже, когда вышли, Михаил с жаром начал защищать мастера. Всеволод нехотя возражал. Ему живопись Великого Новгорода той, еще дотатарской поры казалась гораздо более совершенной и величественной. Михаил все наскакивал на брата, Всеволод качал головой, отрицая:

— Брось, Миша! Были у новгородцев изографы — два века назад! «Спаса Нерукотворного» ихнего возьми хоть, да весь Юрьевский иконостас! Доколь у Византии учились, у Комниновых изографов, то были и мастера! Сила! Взгляд! Воистину — царь небесный! А письмо! Каждая черта проведена словно бы временем самим, а не рукою смертною. Я деда нашего вижу таким. Ушло величие. А эти что? Горожане! Смерды... И живопись не точна, не красна, нету той законченной, горé вознесенной... Властности нет!

— Но цвет...

— И цвет! И свет! Невесть отколе. То было: самосветящий лик, горняя благодать! Немерцающий свет, золото!

— Ну, брат, после Григория Паламы...

— Да, да, исихия твоя! Дак где она-то тут?

— Я и не спорю о том,— не уступал Михаил старшему брату,— но тут зри: движение, поиск! Этот красный цвет вместо золотого... Возвышенное ушло с Киевской Русью, теперь другое грядет: душепонятность, близость тому самому смерду, глаза в глаза! И из

этого вот, нынешнего, скоро проглянет великое, попомни меня!

— Нет, Михаил! — Всеволод решительно покрутил головою, остановясь на ступенях крыльца и озирая обширный княжеский двор со снующею там и сям прислугой.— Тогда уж суздальское письмо возьми. И у них сияние цвета. Но ка́кая точность прориси! Вот давешнее «Положение во гроб»: изографу для горя довольно одних вскинутых рук, а там — согнутые плечи, а там — наклон головы, стихающая в сосредоточии волна... Узришь такое — и самого себя укоришь за невместное князю буйство в иной час... Да, не тем будь помянута и Москва, а при владыке Феогносте были и у них добрые изографы, и свои от них навыкли. Видал, бывал на Москве. «Спаса» назову из Успенья — самосветящая высота, умно́е восхождение! Свет как бы взошел в тварную плоть, и зрак надмирен, от высшего разума к бытию, зрак горний! А ети твои исихасты — дак суета, мука, страсть...

— И немерцающий свет, свет Фавора! Да! И душа, и страстность, и страдание! — живо перебивает старшего брата Михайло.

— Коли хошь,— пожимает плечами Всеволод.— А все ж новгородец твой мужиковат, мужикова-а-ат!

Михаил горячился, спорил, утверждая, что предельное совершенство одновременно и предел, останов самой живописи и что за совершенством неизбывно наступают упадок и смерть, как и в жизни, как и в судьбе народов... Перешли на Византию, на Рим, на Киевскую державу...

Настасья слушала молча, наслаждаясь тем, какие у нее взрослые и умные сыновья, пред чем ее собственное мнение об изографе, показавшемся ей, как и Всеволоду, излишне простецом, уже ничего и не значило. Самой Настасье, ежели бы ее спросили сыновья, больше всего нравился свой, тверской пошиб живописи. Она вспоминала недавно написанный изографом Онтипою для домовой церкви княжеский лик Матери Божьей, полный душевной тревоги и глубины материнского отречения,— таково-то и греки не писали! Но не говорила ничего, не вступалась, боясь огорчить сыновей...

Митрополит Алексий приехал через неделю. Было торжественно и красиво. Юную Ольгердовну окунали в купель за завесою, что держали боярыни знатных родов. Потом новообращенную поздравляла вся твер-

ская госпóда. Была дивная красота службы. Знаменитый тверской хор, хор, еще Михаилом Святым строенный, превзошел сам себя. (В Тверь ныне учиться пению церковному ездили даже из Владимира!) От сверкания праздничных одежд собравшейся знати и горожан — парчи, бархата, шелков, пестроцветной тафты, драгоценностей — разбегались очи.

Алексий в торжественном облачении, словно бы даже и ростом выросший, торжественно нарекал, помазуя, обращаемую язычницу «во имя Отца и Сына и Святого Духа» и был благостен, строг и прекрасен. И казалось, мнилось, все это не просто так и не пройдет, не минет, и ее, Настасьиных, детей не оттеснят более от престола кашинцы, ни дядя Василий, ни сын его Михаил, прискакавшие в Тверь ради митрополичья приезда. И брак этот, жданный, не без хитрого расчета затеваемый владыкою Алексием, потянет за собой новую череду свершений, и, как знать, не ко благу ли родимой Твери и ее красавцев-сыновей?

Лето переломилось на вторую половину свою. Скоро жатва. И там, где в прежние годы вымокало, хлеб нынче родил хорошо. Справятся они и с этой бедой! Настасья смотрела в открытые окошка вышних горниц, отдыхала после пиров, встреч и торжеств. По небу текли успокоенною чередою ровные легкие облака, почти не закрывавшие солнца. Лицо обдувал волжский ветер, и так легко-легко дышалось! И жизнь, в которой горечи было, пожалуй, больше, чем счастья, прошла все-таки хорошо...

По двору внизу несли что-то, закрытое полотном. Несли недружно, вразброд, спотыкаясь, и какая-то из дворовых баб голосила, стоя в дверях поварни. Несли, как приметила Настасья, не то на носилках, не то попросту на шестах, отворачивая лица посторонь, смешно дергаясь и мешая друг другу... Не сразу и не вдруг сообразила она, что несли труп и что на княжеский двор проникла добравшаяся и до Твери черная смерть.

ГЛАВА 28

— Пить!

Никого.

— Пить!

Скалясь, выгибая грудь, он звал ту, которая не покинула бы его, подошла, напоила, успокоила. Жизнь,

в которой были и радости свои, и труд, и гульба, и любовь, и походы ратные, сузилась до единого, томительно-прекрасного, отчаянно просимого, недостижимого чуда: глотка воды!

— Пить!

Безмолвие висело над покинутым, вымершим домом. Он заплакал, вздрагивая, по-детски, беззвучно и горько, так, как не плакал уже никогда с отроческих лет. Вспомнил, что труп жены лежит в подклете, уложенный в домовину им самим, когда он еще мог ходить, нет, шевелиться, ползать по дому. И теща сгинула невестимо, и нет детей, забранных братнею снохой. Он был один, один во всем огромном и страшном доме.

— Пить!!!

Голоса уже не было, был хрип, он сам почти не слышал себя.

— Воды... Воды! Глоток воды! Как пес, как пес помираю...

Скрипнула половица, другая. Черная фигура в монашеском куколе, едва видная в скудном вечернем сумраке, затмила свет из крохотного оконца, надвинулась и склонилась над ним. Он пил, пил, пил, захлебываясь, икая и всхлипывая, и с влагою в тело нисходил опустошающий легкий покой.

— Отходит! — произнес второй инок, что, робея, держался за спиною товарища.

— Еще налей! — устало и строго попросил первый, протягивая молодшему опустошенную корчагу.

В сколькие домы они вот так заходили уже и скольким пропадающим в жару людям подавали воду и квас!

Умирающих «прыщом» перед концом мучила страшная жажда. Монахов Отроча монастыря, что подавали питье, исповедовали и причащали, болящие встречали, как ангелов. Напоить — главное, напоить! — и приготовить к переходу в иной, лучший мир — иного спасения от «черной» не было. Монахи умирали в свой черед. Тверской епископ Василий, как мог, укреплял паству свою, сам многажды подавал примеры бесстрашия.

Напоив умирающего медника, оставив около него баклажку воды, монахи подымаются, бредут, позванивая в колоколец, к следующему дому. Улицы пустынны. Пути перекрыты рогатками. Чадный дым ползет по

дворам: сожигают на кострах платье мертвецов. Домы умерших окуривают смолою и серой, кропят святою водой. В церквах, открытых день и ночь, под равномерный колокольный звон идет непрерывная служба. И ничего, ничего не помогает! Вымирает Тверь.

Утихли скоморохи, не творят игрищ, ни братчинных пиров. Собравшие урожай живые русичи молятся, зная уже по прежнему разу, что умрут многие еще, и не один просит отай у Господа: «Да минет меня чаша сия!»

Страшна смерть без чести и славы, смерть не в очередь лет и не по миновении возраста мужества, смерть не в трудах, не в бою, не среди множества соплеменных, ибо от погибающего черною гибелью разбегаются даже родные, зная уже прилипчивость этой беды.

Кто откажется, егда созовут его к совокупному веселию? Никто! Мнихи и те смущались порою прелестью бытия, музыкою, сопелями, домрами, гудками, плясаньем и пением, скоморошьими играми...

Почетно, егда созовут на общий труд. Тут — стыд не пойти! А там уже надобно показать, что и ты работник, и не хуже, а то и лучше других, там уж задор берет — кто кого!

Много труднее, егда созовут на бой, на возможную смерть, на подвиг ратный! Тут уж, воин, чистую рубаху надень да помолись. Но мужественный пойдет, не робея, мужествуя со всеми, и не побежит с полчища, опозорив род отца своего. «На миру и смерть красна!» — сказано о том складным словом.

Но всего тяжелее, ежели созовет тебя рок на общую смерть. На таковую вот смерть! Где не вздынуть меча, не поднять копья, где ни мужество, ни честь, ни удаль, ни слава, ни доблесть, ни заслуги, ни жаркое серебро — ничто уже не помога. Где только и остает верить в молитву да в чудо, ибо ни травы, ни зелья, ни волхвование не в силах помочь.

Было уже! Видели! Те, кто пережил. И учили других. Как не касаться к платью, ни к рухляди, как окуривать дымом, как воду брать чистую, колодезную... Да ведь иной и в чистоте, и в опрятности, а — вот поди! В смерти и в животе — един Господь!

Монах-летописец задумывается. Перо застыло в его руке. Тяжкие удары колокола звучат над его головою.

Хоронят и хоронят! Чей-то завтра черед? Он растирает усталые глазницы, наклоняется над книгою. Грядущим поколениям, для тех, кто останется жить, выводит строгим, красивым полууставом строгие, горькие слова: «Немочь то етая такова: прежде яко рогатиною ударит за лопатку или под груди, или меж крил, и тако разболевся, человек начнет кровью харкати, и огнь зажжет внутри, и потом пот, та же дрожь, и полежав един день, или два, а редко того, кои три дни, и тако умираху... А иные железою умираху!. Железа же не у всякого бываше в едином месте, но овому на шее, а иному под скулою, а иному под пазухою, другому за лопаткою, прочим же на стегнех... И то же, много трои дён полежат!»

Летописец перечитывает написанное, крестится. В глазах, когда он прикрывает вежды,— опустелые городские улицы и трупы, трупы, трупы... В ушах — непрерывный колокольный звон.

ГЛАВА 29

Княгиня Настасья всю осень делала что могла. Посылала кормить сирот, собирать трупы, следила за заставами — не пропускали б болящих. Мужествовала, стойно владыке Василию. Себя не щадила, думая об одном — дети бы живы остались!

Епископ Василий заходил к великой княгине, остерегал, многажды просил уехать вон из города.

...Они сидели за столом в хоромах, щедро политых уксусом, вымытых и отскобленных до предельной чистоты. Епископ вздрагивал от холода, на улице была мерзкая осенняя сырь, слякоть, снег вперемешку с дождем. Ему казалось, что и в хоромах холодно (мысли о болезни своей отгонял усилием воли). У Настасьи тоже лицо осунулось, тени легли около глаз, запал рот. Оба почти не спали. У того и другого на глазах гибли и гибли люди, чужие и свои, ближние, с кем делил хлеб и соль, кого знал с юных лет, без кого, почитай, не мыслил и жизни самой...

Настасью трясло. Заболела внучка, Ольгердовна. Почто не отправила девочку с началом мора назад в Литву?! Предлагала, да та заупрямилась, ожидаючи брачных утех, и Настасья уступила, грешным делом

сама пожалев отпускать от себя полюбившуюся внучку. И вот теперь...

Швырнув двери наполы, вошел Михаил. Выслушал, глянул сумрачно. Предостерегающе поднял ладонь:

— Не подходи, мать, на вымолах был!

Не сказал уж, чтоб не тревожить Настасью, что сам только что помогал подымать умирающих, ободряя растерянную и оробелую дружину. Глянул тяжело, как никогда не глядел. Вопросил:

— Черная?

Настасья покивала головою, вдруг упала лицом на стол, заплакала, давясь рыданьями. Оба, сын и епископ, немо смотрели на горе, коему были не в силах помочь.

— Буду молить Господа нынче всю ночь! —сказал Василий, и во взоре его, отчаянном и светлом, просквозило безумие и надежды.

Михаил глянул на него исподлобья, хотел высказать, но только потряс головой. Дернулся встать, подойти к матери, огладить ее, утешить, вспомнил, что трогал больных, растерянно глянул на ладони свои (хоть и омытые уксусом, а — не тронешь материных плеч!), поник, исказясь лицом от бессилия. Сказал надорванно:

— Уезжай, мать! Хоша в Старицу, туда, бают, черная еще не дошла... Али в монастырь какой потаенный...

Настасья подняла голову, отерла слезы рукавом. Решительно потрясла головою: не еду, мол! Не впервой уже дети уговаривают ее уехать, а сами? Встала.

— Я с тобой! — посунулся Михаил.

Строго отвела его движеньем руки:

— Не поможешь, сын! А коли сам погинешь — меня осиротишь вконец! — И добавила тихо, с горькою нежностью: — Любимый ты у меня! На тебя ныне и вся надея!

Допрежь ни разу такого не высказывала Михаилу, была ко всем детям ровна. Микулинский князь залился жарким румянцем.

— Мамо! — вымолвил в спину уходящей. Настасья не остановилась, не обернула лица.

Владыка Василий, опрятно не возжелавший заметить переговора меж сыном и матерью, мало посидев, преодолел слабость телесную, встал и, благословив князя, вышел из хоромины. А Михаил, оставшись один,

тронул было завесу, византийским обычаем отделявшую внутренние двери горниц от самой палаты, и вдруг, скомкав в руке тяжелую бархатную ткань, вжался в нее лицом и заплакал немо, по-мужски, сцепив зубы, ибо тихое прощание, прозвучавшее в материных словах, неслышным крылом своим коснулось его лица.

Великая княгиня Настасья заболела в середине ноября.

Снег запаздывал в этом году, все не ложился. Ожидали с морозами утишения мора. Настасья так и не дождалась холодов. Проводивши в потусторонний мир внучку (девочка умерла беззащитно и кротко, как часто умирают дети, угасла,— и с ее смертью у Настасьи словно что-то оборвалось внутри), она ходила еще, что-то делала, еще верила, что ее не зацепило и на этот раз, но вот начались жар и озноб, а там и кровавый кашель...

Она отгоняла детей, не хотела им передать заразу, не хотела, чтобы видели дурно пахнущую мокроту и кровь. А они, все четверо — Всеволод, Михаил, Андрей и Владимир, пренебрегая заразою, сидели у ее ложа, подносили питье, помогали прислуге. Четыре рослых мужа, четыре воина, четверка князей, наследники великого тверского дома, и мать уже не отгоняла, силы уходили с каждым мгновением, а лишь смотрела жалко: жаль было себя, жизни, жалко было оставлять сыновей. Мыслила в старости уйти в обитель и оттоле наблюдать, не мешая, за их княжою жизнью и вот — первая уходит ко Господу.

Жар, и озноб, и тошнотные позывы набегали волнами. Тело уже не слушалось ее. Холопки со строгими лицами выгоняли князей из покоя, переворачивали госпожу. Им придет вскоре, почти всем, умереть, и старые слуги Настасьины знают это и, знаючи, не бегут, не бросают свою госпожу на последнем пути.

Она уже причастилась и соборовалась. Снова зовет сыновей. Прерывающимся слабым голосом отдает последние наказы. Велит прочесть духовную грамоту.

Владыка Василий совершает последний обряд. Она еще хочет что-то сказать, но сказать нужно столь многое — и о любви, и о дружестве, и о славе родительской, и каждому вособь, свое, только ему назначенное, но тут они все и епископ, и не удалишь никоторого из покоя, не скажешь никому потаенные, токмо ему

одному предназначенные слова. Она затуманенно обводит стены, иконные лики, дорогое узорочье, посуду, ордынские ковры, тяжелую, откинутую днесь завесу постели, парчовый полог княжеского ложа, отодвинутые посторонь пяла с недошитым в них воздухом — и отчаянным, отверсто-беззащитным, жалимым взором смотрит, уже трудно различая лица, на своих сыновей, не зная по милосердию судьбы и Господа, что почти все они воспоследуют вскоре за нею...

Настасья умерла двадцатого ноября. В декабре, под самое Рождество, умерла жена старшего сына Всеволода Софья. В самом начале января заболел, заразившись от супруги, Всеволод.

Михаил немо сидел у постели брата, уже понимая и прозревая, что происходит в ихнем тверском дому, и молчал. Большое бессильное тело Всеволода сотрясала крупная дрожь.

— Ты останешь, ты останешь один! — говорил он, когда отпускали острые боли.

— Андрейко и Володя еще есть! — возражал Михаил негромко.

— Ты останешь один! — с упрямою силой повторял Всеволод.— Один! Дак помни, все помни! Не забудь! На тебе род... Тверь... К Михайле Святому все отойдем, отходим. Не посрами... Ольгерд... Бойся... Олексий видит дальше... Трудно мне, умирать трудно! Владыку созови... Матери, матери поклон... передам... Ты не страшись, ты должен, обязан жить... Ты умереть не можешь!

Всеволод вдруг приподнялся на ложе, исхудалый, бессильно-огромный, закричал. Крупный пот, словно князь был под дождем, осыпал его чело. Вбежал холоп, скорым шагом вступил в покой духовник. Ждали владыку Василия... Всеволод тяжко дышал, скрипя зубами, мотая, елозя головой по взголовью, отемнелому от смертного пота. Выговорил, справясь с собой:

— Тебе, Михаил, все! Вотчины, добро, Тверь, княжество, слава... Веси Господи! — продолжал он, говоря с иными, незримо оступившими ложе, и уже не видя брата своего.— Веси Господи! Приимь в лоно твое! В чем грешен... скорбию искупил... А чем много грешен — несвершением... Не смог, не сумел... Ты отче... и деда нашего... Михайлу — всё...

Епископ Василий вошел в покой, когда князь уже

только сипел, закатывая глаза, и умер вскоре, не приходя больше в сознание.

Смерть Всеволода совершилась восьмого января. А двенадцатого, всего через четыре дня, умерли Андрей с Овдотьей, оба в один день и час, не пожелавшие расстаться даже и в смерти.

Ударили крещенские морозы, и «черная» на время отступила, пришипилась, спрятав змеиную голову свою, но с первою оттепелью вновь ворвалась в княжеский дом. Пятого февраля умер последний из братьев Михаила, Владимир.

Самого микулинского князя, словно заговоренного, хотя он берегся менее всех, смерть обошла стороной. Обошла стороною и его семейство. Евдокия и сын Иван остались живы.

Умер по весне еще один тверской князь, Семен, сын князя Константина и Софьи-«московки», оставивши свой удел, мимо сводного брата Еремея, с которым не ладил все более и более, микулинскому князю Михаилу Александровичу.

Так, венчанный судьбою, стал князь Михаил единственным наследником Александрова княжеского дома, взвалив на плечи свои груз не токмо дел хозяйственных и наследных, но и тяжелейший прочих груз грядущей, сужденной ему тою же строгой судьбою, последней, отчаянной и, как выяснилось впоследствии, безнадежной борьбы с Москвой.

ГЛАВА 30

На Москве тою же осенью, 23 октября, умер черною смертью Ивашко Малый, младший брат князя Дмитрия. Умер отроком, так и не раскрывши того, что было в нем хорошего или дурного, ушел невестимо, как уходят все рано ушедшие из этой юдоли трудов, разочарований и слез, и только то, что был княжеский сын, заставило летописца длинным перечнем предков, восходящим аж к Юрию Долгорукому, отметить кончину этого мальчика среди тысяч и тысяч тогдашних смертей. И только мать, Александра, Шура Вельяминова, неложно рыдала над гробом меньшого своего, ласкового и тихого, единственного, как она начинала понимать, оставленного ей утешения, ибо Дмитрий, забранный в решительные руки митрополита и Вельяминовой

родни, мужая, все дальше и дальше отодвигался от собственной матери.

Шуре не выпало счастья ни узреть славы своего повзрослевшего первенца, ни даже оженить его, ибо и сама она заразилась «черной болестью» и умерла в исходе того же 1364 года, 27 декабря, лишь на два месяца переживши младшего сына. Нареченная в схиме Марией, она была похоронена в приделе храма «У великого Спаса в монастыре».

Мор свирепствовал по всей земле, вымаривая целые города, уводя с собою в небытие ряды поколений с их навычаями, с их дружеством и любовью, с их связями приятелей, родичей и сябров, со всеми созданными ими устойчивыми вехами жизни. И те, что шли на смену погибшим, были злее, яростнее в страстях, большего могли и хотели достичь; быть может, были более правы в своей любви и ненависти, ибо в конце концов они-то и создали из Руси Владимирской Великую Россию.

В исходе 1364 года нижегородский князь Андрей Константинович постригся в монашеский чин. Тотчас возгорелась братняя пря: кому сидеть в Нижнем Новгороде, и Алексий нашел повод удобным, чтобы вмешаться и потребовать разбора дела в своем присутствии.

Алексий отнюдь не шутил, утверждая, что главе церкви принадлежит право рассуживать княжеские споры. В Нижний к Борису была отправлена грамота, вызывающая его на владычный суд. Борис на суд не поехал и начал укреплять город.

Невзирая на мор, из деревень торопливо стягивали сотни людей на отсыпку городовой стены. Вокруг сгоревшего посада ставили новые городни, часто и зло стучали топоры, смерды работали в дождь и снег, глину и щебень для засыпки городень и сооружения нового вала откапывали, проламывая пешнями мерзлую землю. Спали в тесноте набитых народом клетей, жрали из общих котлов дымное варево. Верхняя сряда за ночь не успевала просохнуть. Вечерами толковали о ссорах князей, поругивались. Трупы померших черною смертью выносили отай в сумерках, хоронили за городом. Над Нижним тек погребальный колокольный звон.

Окончившие городовую стену мужики разъезжались по весям, развозя черную смерть на Кишу, Кудьму и Сару, в глухие углы княжества.

Но и черная смерть не прекратила княжеских споров. Скакали гонцы, оборужались рати. Шла новая трудная весна, весна 1365 года, неся с собою новые беды, и только удивляться приходится тому, как хватало у наших далеких пращуров воли к действованию, невзирая даже на смерть, на чуму, на засуху и голод.

Андрей, уступив Борису верховенство в городе, немо ждал, чем все это окончит. Василисе, многажды приступавшей к мужу с укоризнами, сказал как-то, еще до схимы:

— Я устал от собственной немощи, Васса! Погляди на этих людей, поговори с игуменом Дионисием — и ты поймешь, что я прав!

Васса склонилась над ним, упав лицом в постелю, долго молча гладила, обливая слезами, любимую голову мужа. Кажется, только теперь поняла, что им уже немного осталось быть вместе на этой земле.

ГЛАВА 31

Погребальный звон тек и над Москвой. И тоже стучали топоры, смачно чавкала выкидываемая из ям земля, только-только оттаявшая, весенняя. Новый храм во имя Чуда архангела Михаила в Хонех (позднее здесь будет знаменитый Чудов монастырь) сооружался сразу же за стеною Кремника со стороны Подола, на месте, уже густо застроенном теремами и палатами знати, которое намеревали вскоре обнести новою городовою стеной. Камень возили еще зимою, по санной дороге, и сейчас рыли рвы под основание церкви.

Зодчий стоял над рвом, что-то высчитывая и прикидывая по чертежу, сделанному на навощенной дощечке. Потные мужики работали молча и яро, сцепив зубы. Невдали, у груды камня, источающего зимний холод, лежал прикрытый дерюгою труп.

В сторону мертвого зодчий старался не глядеть, а мужики-строители взглядывали скользом и тотчас отводили глаза. Приплелся к работе весь в жару, а когда мужики, сметя дело, стали его отгонять посторонь, доволокся до кучи камня да тут и лег и, подергавшись, затих. Мертвеца, не сговариваясь, закинули рогожею и теперь ждали, когда придут монахи с носилками, заберут труп и снесут к общей скудельнице на Неглинной. Мертвых нынче редко и хоронили поодинке, все

больше по двое, по трое, а то и пять, и десять в одну яму сложат, а на скудельницах так и по сту человек зарывали в одну яму, разом и отпевали всех. С нынешней ночи опять трое мастеров не вышли к работе...

В конце улицы, в проеме настежь отверстых ворот показались несколько скороходов, за ними ехал знакомый всей Москве возок владыки Алексия.

Скоро возок остановился около работных мужиков, и Алексий в простом облачении вышел, опираясь на подставленное плечо служки. Зодчий подступил к возку, и тут-то появились припоздавшие монахи с холщовыми носилками.

Алексий, прихмурясь, проводил глазами почти рысью уносимый труп, строго кивнул келейнику. Погибших черной смертью велено было уносить с улиц не стряпая, дабы не распространять заразы.

— Давно? — вопросил митрополит зодчего, подступившего к возку, стягивая шапку.

— Да никак из утра...— виновато отозвался тот.

Торжественная закладка храма — точнее, алтаря — намечалась на осень, на шестое сентября, когда уже будут уложены фундаменты, возведены основания стен и пол постройки, ко дню памяти чуда архангела Михаила, отвратившего поток от своего храма. По мысли Алексия, новый храм должен был помочь остановить бедствие, нахлынувшее на Русь.

Выслушав зодчего и покивав удоволенно, Алексий присовокупил, садясь в возок, дабы больных тотчас отделяли от здоровых, а место их окуривали дымом и обливали уксусом. С мором пока справиться не удавалось никак. Не помогали ни водосвятия, ни молебны, ни строгое слеженье на всех заставах за прибывающими и убывающими из города.

Всю княжескую семью Дмитрия с двоюродным братом Владимиром, боярами и обслугою Алексий услал в загородный дворец, на Воробьево. Туда, в сосновые боры, всегда продуваемые свежим ветром, мор, кажется, еще ни разу не проникал. Сам Алексий оставался в городе. Оставались и многие бояре из тех, кто должен был, как Василий Вельяминов, следить порядок на Москве.

Воротясь к себе, Алексий прошел переходами митрополичья дворца, поднялся в келью, переменил с помощью служки платье, омыл руки под рукомоем и подержал ладони над курильницей с целебными восточны-

ми смолами. После прошел за аналой и сел в кресло, тяжело пригорбивши плечи.

Со смертью Ольгердовой дочери развалился затеянный им мир и союз с Литвой, сызнова зловеще нависшей над рубежами Руси Владимирской. Черная смерть оказывалась сильнее его замыслов. Все рушило под рукой.

Он оборотил ум к делам Суздальского княжества. Упрямство Бориса, не желающего оставить Нижний, было ему, пожалуй, на руку. Можно бы Бориса заставить подписать грамоту об отречении от великого стола и тогда оставить ему Нижний... Тяжелая мысль, недобрая мысль! Ибо она тянула за собою другую. Дмитрий Константиныч, узнав о согласии брата на отречение, неизбежно откажется от великого княжения и сам (откажется ли?!). И тогда... Тогда надобно станет отбирать Нижний у Бориса и отдавать его опять Дмитрию?

А как поведут себя теперь тверичи? Оставшись один, микулинский князь становится излиха опасен! И всякое упование по-прежнему лежит на дяде его, Василии Михалыче Кашинском...

Он повел головою, отгоняя от себя видение смерти. Плотнее уселся в кресло, положив руки на подлокотники. В глазах все еще стояло, как торопливо подымали черноризцы давешний труп. На монастырскую братию, пока не введен общежительный устав, полагаться было нельзя. Пока не введен! И, значит, он паки ошибся, дозволив Стефану занять место Сергия! Ибо у него, митрополита, нет иных таковых подвижников, яко же сам Сергий. Нету. Есть в иных княжествах, в том же Нижнем Новгороде, не у него (Алексий рассуждал сейчас как московский володетель, а не как владыка всея Руси).

Конечно, Сергий устроил уже два общежительных монастыря, здесь и под Ростовом, и к нему на Киржач едут и едут... О Сергии следовало помыслить путем и не среди суетных забот господарских! В голове у него все яснее слагалась настойчивая мысль, что судьба Сергия и обители Святой Троицы странным образом переплелись с судьбою Нижегородского княжества...

Алексий задумался, невидяще глядя в окно. Над городом, одетым промытою весеннею синью, тек непрерывный колокольный звон.

Почти не ошибаясь в предведеньях своих, Алексий

знал, ведал, что Андрей Нижегородский скоро умрет, и тогда два брата, не желающие уступить друг другу, столкнутся лбами и будут вынуждены (он вынудит их!) принять волю Москвы.

ГЛАВА 32

Князь Андрей, «кроткий и тихий, и смиренный, и многодобродетельный», как наименовал его нижегородский летописец, умер второго июня на память святого Никифора в неделю пянтикостную.

Княгиня Василиса, почерневшая от горя, со страшными, обведенными глубокою тенью глазами, твердо отодвинув Бориса от дела, которое она урядила свершить только сама вкупе с игуменом Денисом и духовником покойного князя, похоронила Андрея, как он и просил, рядом с отцом, в Спасском соборе.

В облаках ладана, в волнах погребального плача удивительного Иоанна Дамаскина уплывала куда-то скорбь и обиды на живых, вытесняемые легкою потусторонней печалью. Теперь и Борис, и Дмитрий, и эта взорвавшая суздальский дом пря из-за Нижнего — все уходило посторонь, гасло, исшаивало пеплом в мысленном огне погребального костра. Острые касания боли и отчаянья уходили, уносимые властною силою надмирной красоты, и вот уже светлела ее грядущая дорога: обитель и подвиги послушания, подвиги приуготовления себя к переходу в тот, иной, вечный, как полагают, мир, мир, удаленный от скорби быстролетного земного бытия, мир прекрасный неизреченною светлотою и неведомый, дондеже не свершит смертный предназначенного пути своего.

Дмитрий Константиныч устремил в путь, едва заслышав о смерти брата. Он ехал с дружиною, боярами, с епископом Олексеем и матерью Оленой, надеясь, что ежели не бояр и не епископа, то матери родной послушает все же Борис! Ехал, дабы утвердить за собою престол покойного Андрея.

События с этого мига стали развертываться с головокружительной быстротой.

Оба князя загодя отправили своих киличеев в Орду. Борис сообразил содеять это первым и теперь ждал с часу на час своего тысяцкого с ордынским решением. Он был весел и зол, и когда гонец подомчал объ-

явить, что Дмитрий на берегу Оки и уже возится на сю сторону, то Борис, оскаля зубы, сам ринул встречать и останавливать брата.

— Броні! Живо! — Холопы, суетясь, подавали ему ратную справу.— Ты! — он оборотил лик к своему городецкому боярину.— Возьмешь лодью! Гребцов! Лети в Городец! Что они там, сдохли, что ли? Псы! Велел быть с ратью в Нижнем неделю назад... Яков! Позвизд! Онтипа! Юрко! Тимофей! Вам — ворота! Жизнью! Поднять на ноги всех!

Он выхватил из рук холопа холщовый стеганый зипун, прыгающими, непослушными пальцами вдевал в петли плоские костяные пуговицы. Сунув голову в подставленную холопами бронь, облился длинным струйчатым железом, принял пояс, крепко перетянул сверх кольчуги кушак. Проверил, на месте ли нож, кинул через плечо перевязь роскошной своей бухарской сабли с золотым письмом по лезвию, в ножнах, осыпанных бирюзой, натянул кожаный подшлемник и вздел, туго застегнув ремень под горлом, отделанный серебром островерхий шелом с кольчатою бармицей.

Скатился по лестнице. Вышиб дверь. Взмыл на коня, чуя тяжесть брони и лихорадочную радость возможной битвы. Орлиным оком с седла обозрел двор. Стремянный, уже верхом, держа господиновы щит и копье, преданно ел его глазами. Дружинники выводили коней, доседлывали, иные уже верхами сожидали князя.

Борис гикнул, крикнул:

— За мной! Остатние — догоняй! — и опрометью рванул со двора, только ветер засвистел в ушах. Вымчали за ворота.

Дощаник, медленно плывущий с того берега Оки, в котором густо грудилась суздальская дружина, уже застал на берегу рассыпанных цепью, с копьями наизготовку Борисовых кметей.

У вымола началась ругань. Братни паузки Борисовы кмети отпихивали шестами. С той стороны ругались, грозили веслами. Кто-то, оборуженный и в кольчатой броне, пытаясь перепрыгнуть на берег, упал в воду и теперь барахтался меж кораблем и бревенчатым вымолом, пуская пузыри и взлаивая дурным голосом,— видно, железо тянуло ко дну. Его наконец выволокли обратно на княжеский дощаник.

Над бортом второго дощаника поднялось гневное

лицо Дмитрия. Он стоял на коне, только что без брони, тряся бородой и крича, а Борис, подъехавший вплоть к краю вымола, кричал тоже, и уже первый дощаник, развернув и закружив, начало выносить в Волгу, и над бортом братнего судна показалось укоризненное лицо епископа Олексея с крестом в руке, и донесся до Бориса высокий голос матери, взапуски, неподобною бранию ругавшей своего младшего сына. Бояре попятили со сторон, кмети опустили шесты, дощаник глухо стукнул о вымол. Суздальцы сами соскочили, начали вязать чалки. И на всю эту неподобь лилось с высоты щедрое солнце, сверкала вода, где-то на урезе берега оглушительно свистели вездесущие сорванцы, которым потеха была зреть, как вот-вот начнут ратиться княжеские дружины.

В конце концов Борис, кусая губы, позволил привязать дощаник и спустить сходни. Перед епископом и матерью пришлось спешиться.

— Город мой! — упрямо твердил Борис, ратные которого так и стояли наготове, с копьями наперевес, меж тем как растерянные суздальцы — кто соступил на берег, кто ждал, чем окончит княжая пря. К бою с братней дружиною они явно готовы не были.

В это время подошел и стал чалиться второй дощаник. Ратники и бояре скатывались на берег, озирая то растерянного высокого князя Дмитрия, который, похожий сейчас на голенастого журавля, не ведал уже, что и вершить, то епископа Олексея, что был в дорожном облачении и потому, уступая в росте обоим братьям, казался невидным и невеличественным. Крест дрожал в его руке, словно что-то ненужное и смешное в лесу копий, сулиц, островерхих шеломов, рогатин, вздетых топоров и готовых выскочить из ножен сабельных лезвий.

Борис приздынул саблю, обвел, жарко дыша, чужие и свои лица дружинников. В глазах его уже сдвинуло, поплыло, и он бы вот-вот уже рубанул вкось первого суздальского ратного, но тут, дергая за концы свой шелковый плат, уродуя губы, в середину готовой вспыхнуть схватки, грудью вперед, расталкивая локтями и телом оружных мужиков, двинулась великая княгиня Олена.

— Псы! Звери! Над могилой родителя своего! Ты, волчонок, меня, матерь свою, сначала убей!

Борис отступил шаг, другой, вбросил клинок в нож-

ны. Дмитрий надменно скрестил руки на груди, ожидая, чем окончится спор.

От раскиданных по низкому берегу на стечке рек сараев, шатров, балаганов сюда, к ратным, бежали любопытные глядельщики. Неподобь росла и росла. Уже и бояра заоглядывали по сторонам.

— Дружину оружную в город не пущу! А сами — ступайте! — решил наконец Борис.

С паузка сгружали возок, сводили лошадей. Матерь стихла, посажалась в возок, и в окружении Борисовых кметей процессия устремилась к городу. Не понять было, то ли Борис уступил, то ли взял в полон старшего брата с матерью.

В город, поругавшись вдосталь еще у ворот, впустили, кроме епископа, брата и матери, Дмитриевых бояр и свиту. Дружину суздальцев остановили на подворьях по-за стеною, выславши им снедный припас.

Через час уже стряпали на поварне. Тащили корм лошадям. Борис, с неохотою стащивший с себя шелом и бронь, скрепя сердце изображал хлебосольного хозяина, а мать, красная лицом, распаренная, гневная, отходя, ругательски ругала девок, швыряла и шваркала сряду, кинула о пол рукомой, пока не почуяла, как быстро-быстро бьется сердце в груди. Села, отпила кислого квасу на травках, отирая концом плата невесть с чего покатившие из глаз злые слезы. Поревела про себя. Потом уже, омывши лицо вином с водою — сынам слез не казать! — велела холопкам переодевать себя. И наконец, разоблачившись от дорожного платья и облачившись вновь, вышла в трапезную палату...

Чтобы ее, мать, не пустили в терем, строенный покойным супругом, который и жил тут и умер тут, на этом самом месте!.. Едва не зарыдала опять.

— Княже! — позвал негромко Бориса ближний боярин, Степан Михайлович, когда уже невольные гости сажались за столы.— Выдь на час малой!

Борис, разом почуя недоброе, вышел в сени.

— Гонец! — проговорил Степан Михайлович тревожно и разом отверг движением головы надежду Борисову: — Наших еще нету! Василий Кирдяпа, сынок князь Митрия, доносят, в Орде, у хана самого... Худа б не стало!

— Ведают?! — только и спросил Борис, яро кивнув вбок, на закрытую дверь столовой палаты.

— Не вемы! — пожав плечами, отмолвил боярин.

Оставало надеяться лишь на то, что Дмитрию от Кирдяпы покамест не было никаких вестей.

Сотворив деревянную, более похожую на волчий оскал улыбку, Борис воротился в столовую палату. Прочли молитву. В тяжелом молчании приступили к трапезе.

Борис сейчас ненавидел родного старшего брата паче ворога, паче любого насильника и злодея, и все потому, что должен был ради матери, ради суздальского владыки Олексея сдерживать себя, привечать и угощать брата и братних бояр, глядеть, как Дмитрий пыжится, закидывая голову, как он изо всех сил изображает за этим столом старшего в роде, повелителя...

«За тем и матерь к себе забрал!» — думал Борис, ярея все более и более. И быть бы грозе, быть бы крутой братней которе, да присутствие епископа и двух игуменов, приглашенных на пир, не позволяли прорываться буйству одного и упрямой гордости другого.

Ближе к ночи прошли в думную палату, расселись по лавкам. Спорили. Дмитрий упирал на лествичное право, на то, что он старейший Бориса и стол Андреев должен по праву перейти ему. Сейчас уже не имело значения, прав был старший брат или нет. В конце концов ярлыки на княженья давала Орда, и ни великий князь, ни митрополит не имели в том части.

Ночью Бориса подняли с постели. Накинув домашний зипун на плечи, щурясь от плещущего света факелов, он вышел к черному крыльцу теремов. Измученный гонец протягивал ордынскую грамоту.

— Едут! — проговорил.— Меня наперед послали!

Борис сгреб за плечи и расцеловал ратника.

Посол Барамходжа от болгарского царя и царицы Асан, привезший Борису ярлык на Нижний Новгород, прибыл еще через день, к вечеру.

Третьи сутки не стихали споры бояр и князей. Третий день святые отцы предлагали перенести прю на суд владыки Алексия, в Москву.

В это утро, принявши татарина со свитою и задав ордынскому гостю на радостях пир, Борис прямо на стол перед лицом Дмитрия швырнул татарский фирман, прекращая все дальнейшие переговоры с братом:

— Мой Нижний!

Суздальские бояре недовольно и опасливо оглядывали татарина в дорогом халате и в перстнях на корявых пальцах, читали ярлык, понимая с горем, что Борис

первый након выиграл, а на второй надобно перенести споры в Орду.

Вечером того же дня у Бориса состоялась толковня с епископом.

— Я обещал покойному брату твоему старейшему,— с сокрушением говорил владыка Олексей,— поддержать того из вас, кто будет правее. Теперь вижу, что надобно поддержать тебя, сыне! Но повиждь и помысли: не достоит ли все же обратить слух к глаголам набольшего духовного судии? Суд князев на Руси должен вершить митрополит Алексий! Понеже брат твой старейший покидает город... Там будет паки рассмотрен и ярлык, добытый тобою!

Борис выслушал епископа, отемнев лицом.

— Не еду! — отверг решительно и гневно.— Князь я аль нет?!

— Пережe всего, сыне, ты христианин еси и как всякий верный подлежишь суду духовного главы, митрополита всея Руси, кир Алексия!

— Не еду! Не еду! Нет моей воли на то!

— Помысли, сыне! Духовная власть...

— Можешь ты, ты, отче, повестить владыке Алексию про ярлык, полученный мною? — прервал яростно своего епископа Борис.— Ради памяти Андрея хотя бы, как ты и сам говоришь!

Епископ пожал плечами, вздохнул, понурился, вымолвил:

— Попробую, сыне!

(Он не ведал еще, что этим своим «попробую» уже терял епископскую власть над Нижним Новгородом и Городцом, ибо Алексий, не терпя препон от ставленников своих, отторг вскоре от суздальской епископии эти два города, подчинив их своей владычной власти.)

Назавтра суздальцы собирались домой. Мать уезжала вместе со старшим сыном, не простивши Борису нанесенной ей обиды. Торочили коней. Выезжали со двора бояре и слуги. Почетная стража стояла рядами от крыльца до ворот. Столкнувшись в сенях, Борис с Дмитрием едва кивнули друг другу.

Мать на отъезде не сдержала гнева. Заматывая дорожный плат (у нее, как всегда, когда гневала, дрожали руки), говорила, не глядя на младшего своего:

— Обидел! Оскорбил! До смерти помнить теперь! Нянчила!

— Тебя, мать, не гоню! — хмуро отмолвил Борис.

— Нет уж! Ноги моей больше здесь не будет! — возразила Олена и пошла, большая, сердитая, еще более полная и плотная в дорожном вотоле своем.

Борис про себя тихо радовался материну гневу. Так бывало и в детстве: ежели накричит, разбранит, значит — уже согласилась с чем, а там и отойдет, а там и примет! Не скажет сама никоторого слова, а словно бы позабудет. Вздохнул, подумал: «Усижу год-другой — и мать примет как неизбежное!»

Не ведал еще Борис, что и единого лета не дадут ему высидеть на нижегородском столе.

Проходил июнь. Стояла сушь. Воздух курился, словно бы пропитанный дымом, там и тут возгорались пересохшие моховые болота, и небо гляделось белесым и мглистым сквозь чад.

ГЛАВА 33

Уговаривать князя Дмитрия Константиныча послан был из Москвы Тимофей Василич Вельяминов. Поручение было важное, и он мог надеяться в случае успеха получить чин окольничего, который ему, собственно, и был обещан Алексием. С собою Тимофей Василич взял юного сына Семена и взрослых племянников — Ивана с Микулою, детей тысяцкого...

Иван поскакал наперед и должен был сожидать посольства во Владимире.

Микула, получив разрешение отца, радостный, отправился в дядин терем, где ему всегда нравилось бывать, слушать ученую молвь, погружаться в мир высокой духовности, трогать дорогие греческие и латинские книги, прочесть которые ему, по незнанию языков, не было дано.

Он ехал верхом, озирая развалы камня и копошащихся мастеров, вдыхая легкий боровой дух из заречья и радостно слушая погребальные московские звоны. Бывает такое в молодости, когда хорошо, весело ото всего, и даже смерть не печалит и не страшит, столько в себе самом чуешь силы и радости бытия. Микула к тому же не был еще женат (в чем виною тоже был мор, унесший в одночасье суженую ему невесту), и молодость бродила в нем, точно хмель.

У дяди его тотчас окурили дымом какой-то особой ядовитости, заставили снять сапоги и вымыли пахучим

составом каблуки и подошвы. Вышел Кузьма, дядин казначей (оставшись сиротою с прежнего мора, он так и возрастал в дядином тереме), невысокий, островатый лицом и взором скорее аскет, чем муж брани, поглядел строго своими большими, настойчивыми, в покрасневших от частого чтения и свечного пламени веках глазами, сказал, чтобы и холщовую летнюю ферязь Микулы приняли и унесли, пригласил затем так же строго, без самомалейшей улыбки, в верхние горницы.

Дядя Тимофей, бело-румяный, крепкий, весело расцеловал племянника, вопросил, шуткуя:

— Не уморишь нас с Кузьмой?

Казначей недовольно повел бровью. Дядя расхохотался, спросил:

— Не видал ищо нашей поварни-то? Поди поглянь, поглянь! Тем часом на стол соберут!

Спустились по лестнице, прошли вторым двором в приземистую запасную поварню, из-под кровли которой густо и вонюче дымило. Внутри было нечто, напомнившее Микуле не то логово сатаны, не то ведьмино урочище. Рядами стояли разноличные горшки и сосуды с каким-то варевом, свисали с потолка пучки трав и зелий, а в обширной печи варилось что-то непредставимое, и дух был такой, что шибало с ног.

Кузьма деловито прошал о чем-то двух своих помощников, суетившихся у печи, попробовал, чуть скривясь, какую-то смесь из горшка. В поварне было темно и сумрачно. Вот из-за печи вышел некто черный, в спутанных волосах (и Микула чуть было не выговорил: «Чур меня, чур!»). Вопросил что-то у Кузьмы на неведомом языке, словно бы даже и не греческом, бегло, без интереса глянув на молодого, в палевого шелку рубахе, в зеленых набойчатых портах и тимовых сапогах с загнутыми носами боярина. Кузьма ответил черному мужику на том же халдейском языке, покачал головою. Пояснил Микуле:

— Любую болесть можно остановить! Да черная времени не дает! Кабы неделю, две, а то два-три дня — и конец! Бьемси, бьемси тута, а все толку нет! Уж Господней кары, видать, человечьим умением не отворотишь! — Он широко осенил себя крестным знамением, и Микула тут только узрел в углу невидную икону с ликом Николая-угодника.— По Галенову и Иппократову учению творим! — с оттенком гордости произнес Кузьма.— И остановили б, да крысы вот...

На недоуменный взгляд Микулы пояснил:

— Крысы! Кабы их истребить, дак и черная окончилась бы той поры.

— Крысы-то при чем?! — удивился Микула.

— Дак грызут снедное, ну и болесть переносят на себе! Все связано, все в тварном мире одно с другим съединено! — поучительно, с бледною усмешкой к простоте собеседника изрек Кузьма.— Без пчелы, без шмеля, смотри, нету и урожая! Птица певчая хранит сады от червя; всякое былие малое и то на потребу человеком. Всяк зверь для своей надобности служит. И скимен-лев, и хищный волк, и медведь, и инрог, что в жарких странах обитает... Богом создано! Превышним разумом! Стало, чего и не понимаем враз по невежеству своему, и то всяко полезно и надобно в мире сем.

Вышли снова на свет. У Микулы с непривычки даже голову закружило и слезы выжало из глаз.

— Ищем, чем черную остановить! — сказывал Кузьма, вздыхая, когда они шли назад через двор.— Мыслю, однако, не все возможно человеку, в ином положен предел жестокий, и тут бейся не бейся... А иного не измыслишь, кроме как — молитва и пост! Мнихов, поглянь, все же меньше мрет, нежели мирян.

Микула подымался вслед за Кузьмою по лестнице, все еще ощущая запахи адского варева, верно, приставшие к платью и волосам, так и не понимая до конца, был ли тот, черный, целителем из иной земли, колдуном ли, али самим нечистым, коего Кузьма, связав молитвою, обязал работати на христиан. С удовольствием принял предложение Кузьмы омыть еще раз руки, лицо и бороду. Только тогда мерзкий запах несколько отошел от него. В доме родительском тоже собирали травы и зелья варили, но такого он у родителя-батюшки не видывал никогда.

За столом были только свои, домашние. Кроме семейных, лишь дядин духовник да Кузьма.

Дядя вольно сидел, полуразвалясь на лавке, в расстегнутой полотняной чуге, открыв густо шитую шелками грудь рубахи белого тонкого полотна, небрежно вытирал пальцы о разложенный по краю стола рушник. О посыле в Суздаль речи не было. Разговор шел все о том же: о травах, стихиях, из коих составлены мир и человек, о причинах болезней, о том, что добрый врач «естеству служитель и в болезнях сподвижник» и что природе надобно помогать, а не перечить ей.

Коснулись и того, почему отмечают третины, девятины и сороковины по покойнику, и Микула с удивлением узнал, что в дядином терему совсем не чтут «Диоптру», по каковой указанные дни объяснялись явлениями Христа ученикам своим в третий и девятый дни и вознесением его на сороковой день на небо.

— Яко семя, убо в утробу женскую вошедшее,— принялся объяснять Кузьма,— в третий день пременяется в кровь и живописуется сердце, в девятый же день сгустевается в плоть и составляется в уды леновы, в сороковой же в видение совершенно воображается,— он отложил вилку и поднял указующий перст: — Тако же и после смерти обратное творению ся совершает: в третий день изменяется человек, в девятый же раздрушается и сливается всяко, сохраняему токмо сердцу, а в сороковой же и самое сердце раздрушается. И энергии истекают в те же дни и часы! Сего ради третины, девятины и сороковины творят умершим.

Микула оборотил недоуменный взор к духовнику, но тот, помавая головою и прожевывая кусок стерляди, подтвердил:

— Тако!

— А как же в «Диоптре»...— начал было Микула.

— Истекающие энергии! — прервав его на полуслове, вновь поднял палец Кузьма.— Те самые, о коих отец Палама бает! Пото и Христос являлся верным в указанные дни! А в сороковой день силу его, исходящу из ветхой плоти, стало возможно зрети учеником!

— А Фома Неверный? — решился все же возразить заинтересованный всерьез Микула.

— Энергиями, истекающими на ны, создана всякая плоть! — строго отверг Кузьма.— Зри окрест! Все земное, тварное тою же силою создано!

Дядя Тимофей только посмеивался, накладывая себе и придвигая племяннику новые куски севрюги.

— Ешь! Да слушай! Гляди, и сам поумнеешь, тово!

А Кузьма с духовником тем часом заспорили, что надобно есть в весну, лето и осень, и что подобает теперь, и не надобно ли уже отврещись от многая рыбы, поскольку в летнюю пору умножение черной желчи предстоит и надобно очищать утробу питием трав и воздержанием...

Тимофей Василич лишь подмигивал племяннику и накладывал себе в тарель еще и еще. Юный сын Тимофеев, Семен, сидел опрятно, в речи старших не

лез, но слушал, видимо, в оба уха, и потому, захотев отрезать себе еще жирной рыбы, смутился и начал поглядывать то на отца, то на духовника с Кузьмою.

— Ешь, сын! — поощрил Семена отец.— Объядения избегай, а иное тебе пока не грозит.

— Как батька? — отнесся наконец насытившийся Тимофей к Микуле.— Покос-от не проворонят у ево?

— Сушь! — отмолвил Микула.— Трава худа.

— Я дак своим велел и вовсе верхних пожен не трогать,— отозвался Тимофей.— По кустам да по лощинам, по сыри, больше наберешь! Где лонись была крапива жигучая да мокредь, ныне травы добрые выстали. Земля-матушка — она тоже свое знает паче нас с тобой!

Кузьма с духовником, позабывши уже и про снедь, перешли тем часом на кровопускания и спорили, когда надобно отворять кровь, и кому, и откуда. Тимофей махнул рукою, вставая из-за стола:

— Пошли, племяш! Всего не переслушаешь тута! — И уже когда проходили во внутренние горницы, на пороге изложни, оборотясь, строго вопросил: — Ехать-то готов?

— Готов! Когда? — живо отозвался Микула.

— Седни в ночь,— сказал Тимофей. Подумав, поправился: — До свету выехать надобно. У меня и ночуй. Холопам накажешь, не умедлили б с зарею!

ГЛАВА 34

К Суздалю подъезжали долгим поездом. Гонцы были посланы загодя, и князь, стесненный и московитами и собственным братом, порешил устроить Вельяминовым почетную встречу.

За пять поприщ от города московитов встречали избранные бояре, на подъезде к городу — дружина и бирючи. На княжеском дворе от ворот до терема были расстелены сукна и по обе стороны выстроены «дети боярские» в дорогих доспехах, с узорным оружием в руках. Начищенное железо сверкало и плавилось на солнце. Горожане и купцы, набежавшие на глядень, теснились по сторонам. Иван и Тимофей Вельяминовы, племянник с дядей, важно вышагивали, сойдя с коней, в ферязях цареградского аксамита, в шитых жемчугом сапогах, в отороченных соболем, невзирая на жару, шапках. Микула следовал сзади брата, тоже разряжен-

ный, с любопытством озирая княжой двор и собравшуюся суздальскую вятшую господу. Все явно в лучшем своем, иные, почитай, в единственном праздничном платье, все спесиво-чопорные, как и князь, что вышел на крыльцо и стоял прямой, сухопарый, высокий, задрав бороду, не то гордясь, не то гневая на удачливых соперников своих.

Москвичей встретили, разместили. Была торжественная служба в соборе. Мор в Суздале, собрав свою законную жатву, начал уже утихать, и потому глядельщики собирались толпами без особого опасу. Наконец провели в терема. Послам было представлено княжое семейство. И с этого мига Микула, дотоле внимательно разглядывавший лица, одежды, иконные лики в соборе, горожан, лавки, оружие,— умер, воскрес и не замечал уже больше ничего.

К гостям вышла княгиня Анна, супруга Дмитрия Константиныча, младшие сыновья князя и две дочери, одна еще почти девочка, Дуня, с распахнутым взором больших бирюзово-синих глаз, статная, чуть заметно курносая, обещающая стать писаною красавицей года через два, и старшая, Маша, потемнее сестры волосом и взором, с темно-синими строгими глазами, с продолговатым гордым лицом точеной, надменной, почти иконописной красоты, с непредставимо долгими ресницами, от которых на нежные щеки ложились тени, и казалось, когда она распахивала очи, взглядывая, подымался тревожный ветер в палате. Словом, Микула, хоть и был не робок, и собою хорош, и статен, и родом высок, и в Суздаль прибыл как победитель в стан побежденного супротивника, а оробел, истаял, истерял мгновением волю и власть, и когда она, облитая лиловым, в неправдоподобно огромных золотых парчовых цветах шелком, поворотилась и уплыла гордою лебедью, сердце Микулы рухнуло и разбилось в куски. Свет замглился, и стало — вынь да положь суздальскую княжну, иначе и жить не хочу!

Тимофей, догадав, что створилось с племянником, задумался. Припоздал отец женить молодца! А невесть, Митрий Кстиныч отдаст ли ищо дочерь за боярского сына? Добро бы, коли старший, Иван. Наследный тысяцкий московский — куды ни шло! Ох, не в пору да и не вовремя! Не здесь бы тебе, племянничек, голову терять. Посватаешь непутем, дак и все бы посольское дело не рухнуло той поры! А с другого-то боку гля-

нуть? Брат Василий, поди, и побогаче суздальского князя теперь, да и власти у нас, Вельяминовых, не менее, почитай, чем у битого Митрия Кстиныча!

Тимофей Василич не сослепу и не сгоряча враз задумывал о браке. Это ведь романисты позднейших веков придумали долгую череду ухаживаний с нарастанием чувства, нечаянными встречами в саду, письмами, вздохами, слезами и разлуками, которых как раз и хватало на толстую книгу, на последних страницах которой происходил после всех перипетий счастливый брак с золотыми венцами и поздравлениями молодых за свадебным столом, вслед за чем немедленно оканчивалась и книга, ибо ту, подлинную, главную жизнь, которая только и начинается после венца, романисты, как правило, описывать не умели и не любили... Но любовь все-таки во все века начинается чаще всего с первого взгляда: был этот первый взгляд — состоится и все последующее, не было — и целые томы любовных ухищрений ничему не помогут. Так что предки, доверявшие первому взгляду молодых, были не так уж, как мнится теперь, и наивны. Ну а жизнь, действительно, начинается после свадьбы. Только в браке, родив детей, в заботах о семье и муже обретает себя женщина, только семья и ответственность перед нею доделывают, образуют мужчину до взрослого состояния.

Всех дальнейших переговоров дядиных, хитрых недомолвок, намеков, тайной толковни с боярами, как и грубовато-прямых высказываний старшего брата Ивана, Микула уже попросту не замечал, не видел. Жил от встречи до встречи со своею любовью (и встречи мгновенные, прилюдные, на пиру или в церкви... лишь издали и кинуть взгляд!) и порою вел себя сущим теленком, по выражению Ивана Вельяминова. Так, первым узнавши про возвращение из Орды Василия Кирдяпы, он только незаботно повестил о том дяде, глуповато-радостно улыбаясь: вот, мол, и этот тут, с нами! И долго не мог взять в толк, чего это обеспокоились, прихмуря брови, дядя со старшим братом, о чем запереглядывали меж собою, почему руки бояр враз потянулись к оружию, ведь все доселева было так хорошо.

И он же первый из московитов уведал о том грозном, что вступило в суздальский терем с наездом Василия Кирдяпы.

В тот день ввечеру, ведомый безотчетною хитростью влюбленного, он чудом проник в княжеский сад и, зави-

дя на невысоком гульбище знакомый очерк в неярком голубом летнике, подтянулся кошкою и, перемахнув резные перила (сто раз могли, заметя неведомого дерзкого гостя, пырнуть рогатиною меж крыл или пустить стрелу, не разбираючи, кто там лезет через ограду!), очутился прямь девушки, тяжко дышащий, разгоряченный, с трепетом ноздрей и жарким блеском глаз. А она стояла перед ним, зажав в руках шелковый плат, которым доселе обмахивала лицо, и глядела недвижно, точно каменная, точно писанная изографом. Лишь чуть-чуть, едва заметно усмехался вишневый рот.

— Пришел? — спросила нежданно низким, переливчатым голосом. И тут произнесла то, о чем еще ни брат Иван, ни дядя не ведали: — Василий из Орды привез батюшке ярлык на великое княжение владимирское! — сказала негромко и властно.

Микула свел брови, стал, не зная того, несказанно хорош, и княжна неволею опустила глаза, замглилась взором.

— Пойдешь за меня? — вопросил, движением головы отбрасывая и великий стол, и ордынский ярлык с Кирдяпою, и все на свете.— Коли позволит отец?

Не подымая глаз, она тихонько кивнула головою, шепотом произнесла:

— Идут, беги!

Микула потянулся к ней, но она легонько отвела его точеными пальцами с покрашенными, как у восточных красавиц, ногтями. Глянула, преодолев себя, серьезно и строго. Метнулись испуганной тенью ресницы. И Микула, оберегая девичью честь, живо соскочил в сад, пробежал малиною, ломая кусты, пихнул растерянного ратного у калитки, выскочил в улицу.

Страж, проворонивший гостя, намерил было крикнуть, но, сообразив нечто (да и за свою-то оплошку всяко можно от старшого по шее получить!), только махнул рукой, воровато озрясь: не видел ли кто?

Вечером Микула, торопясь, вспыхивая и гневая на себя, сказывал дяде и брату грозную новость. Тимофей Василич слушал задумчиво, теребя концы пояса, Иван — насупясь. Вдруг перебил грубо:

— Чем она-то пленила тебя?!

— Порода в ей! — выдохнул резко, по-отцовски, побледнев ликом, Микула.— Княжая стать! И все такое прочее... И не замай! И пойдет за меня, коли...— Он сжал кулаки, не договорив.

— Коли не прирежут нас с тобою сегодня же ночью! — сурово докончил Иван. А Тимофей Василич только крякнул, вскинув глаза на готовых сцепиться племянников, и промолчал. Знал он бешеный норов Кирдяпы, ведал и гордую обидчивость старого князя... Могли и прирезать, могло статься и такое! Весьма могло!

В горнице дубовой, похожей сейчас скорее на бревенчатую западню, неслышным стремительным обвалом повисла трепетная, словно натянутая тетива лука, обломная тишина.

Иван вдруг твердо встал, сведя брови, и начал молча затягивать пояс.

ГЛАВА 35

Василий Кирдяпа ворвался в сонную тишь отцовского терема, словно дикий ордынский вихрь. Веселый, злой, в упоении победы готовый расшвыривать всех и вся, обожженный солнцем и обдутый всеми степными ветрами, повидавши смерть лицом к лицу, черные трупы под роями жирных мух, ордынский ужас и резню эмиров, пробившийся к новому хану Азизу, всевшему на ордынский престол, добившийся от хана — соперника Мамая и, значит, врага московского князя — ярлыка на великое княжение своему отцу, он заранее торжествовал победу. Видел себя въезжающим во Владимир на белом коне впереди родителя, видел у ног своих поверженных московитов... Власть, жданная, утерянная было, вот она, снова тут, с ханским фирманом у него в руках!

Услыхав о московском посольстве, потребовал у отца немедленного:

— Вельяминовых в железа! И — собирать рати!

У Дмитрия Константиныча по первому чувству взыграло ретивое. Токмо выдохнул: «Сын!» Сжал Кирдяпу в объятиях. Зажмурив очи, из коих выжало радостную слезу, пережил ослепительное видение скачущих опрометью коней, распахнутых ворот Владимира, красного колокольного звона торжественной встречи... И тут, споткнувшись об истину бытия, широко отворив смеженные было очи, вопросил себя горько и строго: «С кем? И с каких животов, ежели потерян Нижний?» И вслух повторил сыну:

— С кем?! Откудова возьмем ратную силу?

— С кем? Со всеми! — вскричал Кирдяпа.— В Москве голод, черная смерть... Всем надолызла московская власть! Ростов! Дмитров! Галич! Все встанут!

Но чем больше убеждал и горячился Василий Кирдяпа, тем угрюмее и нерешительнее становился родитель. Трусость союзников, вдосталь испытанная им, позорное бегство князей, ссора с братом — все упрямо вставало у него в очах и памяти вперекор истомному нетерпению сына. Черная смерть вдосталь опустошила суздальскую землю, засуха обещала неурожай. Отстранив сына, Дмитрий Константиныч собрал думу.

Бояре тоже судили-рядили наразно, и так и сяк. Без Нижнего, без нижегородского серебра и нижегородской дружины им в одиночку с Москвою было не совладать.

— Ну, захватим Владимир! — грубо молвил тысяцкий.— А дале што? Одно, коли слать к хану за ратною помочью!

Дмитрий Константиныч, двукратно испытавший на себе силу Москвы, оборотил лик к сыну, нетерпеливо кусавшему губы.

— Повести, Василий,— сказал,— как тамо, в Орде?

Кирдяпа начал сбивчиво рассказывать. В Орде, по-видимому, устали от убийств и новый хан сел прочно. Но сил для похода на Русь у него не было. В южных степях грозно нависла над ним Мамаева Орда, огланы-улусники подчинялись плохо, мор, резня и прошлогодний джут вдосталь истощили татарские кочевья. Впервые прозвучали слова о том, что сила эта, казавшаяся доселе безмерной, исчерпана и хану, во всяком случае теперь, некого слать на Русь. («А и пошлет,— думали многие, внимая рассказу,— чем будет расплатиться с има? Пожгут останние села, людишек угонят! Дорогонько станет нам татарская помочь!» Так думали, хоть и не высказывали вслух.)

Ничем окончила наспех собранная княжая дума. Разошлись, ничего не решив.

Василий Кирдяпа в гневе решил действовать сам, не сожидая отца. Поднять дружину, перевязать московитов, быть может, убить, а там — там отец сам захочет идти на Владимир! Да и не заможет иного!

Вот тут поздним вечером к нему и явился Иван Вельяминов. Один. Без холопов и свиты.

Вошел. Прихмурясь, обозрел раскиданное оружие,

суетящихся кметей и бояр, усмехнулся, понял все сразу. Твердо выговорил:

— Побаять надо с тобою, князь!

И такая сила была во взоре, стати, в голосе московита, что Василий, похотевший было тотчас велеть схватить Вельяминова, засовался, засопел, вымолвил наконец, облизывая сохнущие от ярости губы:

— Добро! Пройдем, боярин! Или как тя, не боярин ищо?! Боярчонок, чать?! — примолвил глумливо, оборачиваясь в дверях.

— Сын боярский! — спокойно возразил Вельяминов. И уже когда ступили в боковушу, притворив дверь, докончил: — Старший сын великого тысяцкого Москвы!

Кирдяпа стоял на напряженных ногах. Не садился сам, не желая сажать Вельяминова, с которым все еще не решил, что содеять: убить или поковать в железа?

— Здесь не Орда, Василий! — сказал Иван Вельяминов спокойно, даже миролюбиво, чуть насмешливо глядючи в яростные очи Кирдяпы.— Ну, схватишь, ну, казнишь! У мово батьки трое сынов и трое братьев. Пусть Тимофей Василич тута, дак дядя Федор Воронец, княжой боярин, не уступит ему! Еще Юрий Василич есть! За кажным — тыщи оружного люду! Сметь свои силы, потом и дерзай! А и то еще реку: убьешь послов — татары того не любят, хан Азиз, гляди, и откачнет, и не поможет тебе! И сядете вы тута с отцом — ни Кострома, ни Переславль, ни Ростов не вступят за вас, и Борис Кстиныч полки подошлет нам в помочь, лишь бы на Нижнем усидеть! Да владыка Алексий, гляди, твово батьку и тебя от церкви отлучит за таковую-то пакость!

Иван поглядел еще — он явно не страшил совсем, и эта непоказная храбрость гораздо более, чем слова, сковывала князя Василия,— подумал, перевел красивыми бровями не то насмешливо, не то сожалея, вымолвил вдруг просто, как равный равному:

— Я бы на твоем-то месте, Василий, може, и не то начудесил! Ну, хошь? Схвати, ударь, убей, сорви сердце! Токмо ведь не отмолишь потом и батьку опозоришь навек! Я затем и пришел, подобру остеречь тебя, князь, а там — воля твоя! Токмо об одном советую: чего делашь, думай завсегда наперед, с загадом. Я вот то-то свершу, за ентим такое-то воспоследует! — Иван пошел на ход и уже от двери, оборотясь, докончил: — Привел бы ты, князь, три тумена татарской конницы с со-

бою! Слова бы не сказал тебе, сам руки протянул: на, вяжи! — И вышел. И, никем не задержанный, покинул терем. Еще и на выходе, как прояснело потом, оружничему Василия сказал: — Убери молодцов! Неладное затеяли! Князь пущай поутихнет, охолонет, опосле и толкуйте с им!

Кирдяпа вышел вскоре вслед за Иваном. Глянул сумрачно на растерянных, замерших дружинников, супясь повелел:

— Спать!

Невесть что и натворил бы Василий, не явись к нему Иван Вельяминов вовремя...

ГЛАВА 36

Уцелевшие в первую ночь московиты продолжали, однако, оставаться у суздальского князя почти в заложниках. Дмитрий думал, и думалось ему трудно. Не было уже на земле брата Андрея, коего он даже не сумел похоронить, приехавши только к девятинам, и который один мог бы ему нынче дать разумный совет. Он послал отай скорого гонца к брату Борису и теперь ждал, не отвечая московским послам ни да, ни нет. Наконец гонец воротился. Борис по-прежнему требовал себе Нижний, уступая Дмитрию полученное им от хана великое княжение...

Князь выходил на глядень городовой стены, смотрел угрюмо в ту сторону, отколе уже дважды подступали под город череды московских полков. Волнами проходили в душе и памяти обида, боль, порою ярость... Воли — не было. Погадав о себе, сам наедине с собою, понял, что страшится новой войны с Москвой. Ослабнув духом, советовался с женой, с матерью. Великая княгиня Олена сердито отмалчивалась. Единожды взорвалась гневом:

— Муж ты али баба какая? Рати собраны? Князья помогут? Пущай хоть Ольгерд полки подошлет! Ну! А меня прошаешь! Бабу! Тьфу! Воин! — Ушла и говорить боле не стала.

Князь, измученный, бродил по терему. Зашел в светлицу к старшей дочери. Марья сидела за пялами. Глянула скоса.

— Вот, доченька! — произнес Дмитрий потерянно.— Не ведаю уже ничего!

— Микула Вельяминов хочет посватать меня,— сказала Маша без выражения, глядя перед собой в пустоту за пялами.

Дмитрий, еще ничего толком не поняв, закричал, срывая голос, затопал ногами. Дочерь взялась за щеки, прикрыла уши ладонями. Дождала ослабы отцовых воплей, вымолвила:

— Ах, батюшка! Верши, как ведаешь, стыда бы опять не было только!

Дмитрий вдруг кончил орать, засопел, значительно задрал бороду:

— Отдать, дак за князя самого!

— Князь Митрий не ровня мне,— возразила Мария рассудливо.— Молод! Ему Дуня ровня! Коли уж не за Вельяминова, так ни за которого из московитов не пойду! — сказала и утупила взор. Твердо сказала. Дмитрий осекся, поглядел на дочерь новым зраком, обмысливая. Вышел, прихлопнув дверь.

В тот же вечер он вызвал на говорку Тимофея Вельяминова. Сопел, пытался изобразить гнев — гнева не являлось.

Тимофей озирал Дмитрия Константиныча, прикидывая, дозрел тот али еще не дозрел. Выговорил наконец («А, была не была!»):

— Князь Борис, слышь, за Нижний обещает и грамоту подписать на отказ от великого княжения... Баяли о том еговы бояре!

Угадал верно. Дмитрий оскучнел, склонил голову.

— Чего хочет от меня владыка Алексий? — Пояснил, помедлив: — Ежели я передам ханский ярлык Дмитрию!

— На ярлыке спасибо, князь! — осторожно отмолвил Тимофей.— А токмо...— Он приодержал речь, намеря высказать главное требование Москвы как можно опрятнее.— В грамоте нашей, что от Мамая и хана Авдула получена...— Он вновь остро глянул в очи суздальскому князю, понял, что продолжать можно, выслушает! — В грамоте той великое княжение владимирское названо вотчиною великого князя московского! Дак от тебя, князь, не посетуй уж, надобно теперича согласие на то! Чтобы, значит, отрекся ты, батюшко, от владимирского княженья и с родом своим на все предбудущие веки!

Выговорив самое трудное, Тимофей смолк, тревожно разглядывая князя. Но Дмитрий был тих, думал.

— А заботу о Нижнем,— бодрее продолжал Вельяминов,— чтобы, енто самое, по старшинству, по ряду, по закону... Владыко берет на себя. Надо — и ратную силу тебе в помочь подошлет!

Князь продолжал молчать. Сумрачно глянул и опять поник взором. Тимофей, не дождавши ответа, встал, отдал поясной поклон:

— Прости, коли чем прогневил, княже! А у посла воля не своя, говорим, как велено!

Снова поклонился, коснувшись рукою пола; дождав разрешающего кивка князя, пятясь, покинул покой.

Дмитрий и доселе не умел, стойно Андрею, задумывать слишком далеко. И не первому ему приходило менять первородство на чечевичную похлебку!

Ночь он не спал. Прикидывал так и эдак. Силился представить эти «предбудущие веки» и не мог. В очи лез рассерженный Василий Кирдяпа, рожицы младших, дочери... Какие там «веки», ежели грамоты переменяют по воле своей все очередные золотоордынские ханы едва не кажен год! Представил было себя в самом жалком унижении, лишенным княжеской чести, на лавке среди бояр в думе московской... Тотчас замотал головою со стыда. А ведь уже идут! Уже становятся мелкие изветшавшие князи боярами московскими! Нет, только не это! Драться! Драться до самого конца, до умертвия!

Анна пришла к нему (был постный день, спали врозь), села на край постели. Спросила робко:

— Быть может, Ольгерд?

Дмитрий отрицательно помотал головою:

— Ольгерд — тесть Борисов! Николи противу его не пойдет!

Он начал объяснять, говорить сбивчиво про грамоту, отречение, дочерь, ханский фирман, скудоту в хлебе и ратных людях... Она слушала, не прерывая. Сказала только:

— У нас и вторая дочь растет, четырнадцатый год уже!

Оба знали, что в Суздале будет не прокормить даже дружину.

Счастливая мысль о возможном Дунином браке с московским племянником, подсказанная Машей, а тут еще раз повторенная Анною, спасительно явилась в его мозгу, осветив грядущее возможностью неунизительного соглашения с московитом. Неунизительного! Он при-

тянул к себе супругу, вжался лицом, бородою в ее ладони.

— Уступи, Митрий! Не выстоять нам! — тихо подсказала она.

Назавтра Дмитрий Константиныч отправил послов в Москву. Начались переговоры, которые от имени юного московского князя вел сам владыка Алексий.

Вскоре на княжой двор прибыли вельяминовские сваты. (Старшую дочерь, по обычаю, так и так следовало выдавать прежде младшей.) Возглавлял сватов брат московского тысяцкого, боярин Федор Воронец. Свадьбу Микулы Вельяминова и Марьи Дмитриевны наметили совершить в исходе лета, в августе, а тем часом шли вовсю переговоры о княжениях. К Борису посылали гонца за гонцом, но он уперся, ссылаясь на ханский ярлык.

На южных границах Московского княжества было неспокойно, заратился татарский князь Тагай. А поскольку передача Нижнего Дмитрию Константинычу была главным условием всех переговоров, то Алексий порешил воздействовать на непокорного князя силою власти духовной. Тут-то, уведав, что суздальский епископ держит руку Бориса, Алексий и отобрал у него Нижний с Городцом, присоединив оба города к своей митрополичьей епархии. Теперь следовало избрать такого посла из духовных, который мог бы сломить волю упрямого князя, не прибегая к силе меча. Тагай из Наручади двигался на Рязань, и уводить полки с южной границы было никак нельзя. Тому бы воспротивились решительно все воеводы.

Алексий перебрал мысленно всех своих архимандритов и игуменов. Не годился ни один из них, даже Стефан. Любого могли не послушать в Нижнем Новгороде. И тут Алексий вновь подумал о Сергии. Сергий один должен был заменить ему армию.

ГЛАВА 37

С Сергием надобилось что-то решать! Троицкая обитель хирела, в ней царили разномыслие и разброд. Алексию все чаще приходило на ум, что Дионисий Печерский в Нижнем куда успешливее, чем он, митрополит всея Руси, ведет монастырское строительство, понеже ученики Дионисия основывают все новые общежительные

монастыри, а он не может преобразовать даже тех, которые состоят под его началом. Ни в одном из старых московских монастырей общежительный устав не был принят. Дело содеивалось и устраивалось у одного Сергия. И теперь, продумывая посыл в Нижний и, как крайнюю меру, закрытие в нем церквей, Алексий понял, что выполнить эту задачу возможет один Сергий, тем паче что он близок с игуменом Дионисием, а без воли оного никакое закрытие храмов в Нижнем Новгороде сотворить невозможно.

Тут пусть читатель позволит автору некоторое отступление. Фигура Сергия все еще не получила в научном освещении четких границ, а крайний разброс мнений воистину удивителен. То он идеолог, поднявший Русь на Куликово поле, исключительный духовный деятель в истории страны, то «робкая, пассивно-смиренная натура», всецело подчиненная влиянию митрополита Алексия и Дмитрия Донского. То он — патриот Москвы, то — почти враг князя Дмитрия. Указывают также (и справедливо) на то, что Сергий не был исключителен и единствен в тогдашней русской действительности, что «над изменением монастырского устава в ту пору трудилась целая плеяда энергичных деятелей: это Стефан Махрищенский (кстати, друг Сергия!), Иван Петровский, Пахомий Нерехотский, Авраамий Чухломский, Дмитрий Прилуцкий, Мефодий Пешношский и другие» [1]. И «других», прибавим, было тоже не мало. Великие явления, как и великие деятели, не вырастают на пустом месте. Весь этот список имен свидетельствует лишь об одном — о закономерности появления Сергия Радонежского. И то подтвердим и с тем согласимся, что без постоянной опеки Алексия Сергий не стал бы тем, кем он стал для всей страны, не прославился. Все так! И все же это не отменяет того, что Сергий был единственный и неповторимый. И уже теперь трудно да и невозможно — да и зачем? — отделять живого Сергия от того пиетета, коим его окружило в веках признание россиян. Слава человека — это тоже он сам, его продолжение во времени. Спросим себя хотя бы: а мог ли состояться Пушкин или Лев Толстой без миллионов читателей и почитателей их талантов?

О Сергии спорят доселе. Будут спорить, видимо, еще

---

[1] Цит. по кн. Н. С. Борисова «Русская церковь в политической борьбе XIV—XV веков».

долго, пока не утихнут страсти, вызванные «борьбой с религией». Но он был. Действовал. По-видимому, далеко не всегда по житийному канону. И поход в Нижний был одним из таких деяний Сергия, скорее политических, чем религиозных, далеких от собственно духовного подвижничества и намеренно не отмеченных потому «Житием», но зато занесенных во все летописные своды. Впрочем, и тут истина устанавливается не без труда. В «Рогожском летописце» событие отнесено к 1363 году, а посланцами Алексия названы архимандрит Павел и игумен Герасим. Во всех других сводах — к 1365-му, а посланный — Сергий Радонежский. Проверка по пасхалии легко устанавливает ошибку «Рогожского летописца». Событие было одно и произошло в 1365 году. С другой стороны, Павел и Герасим, названные архимандритами, это именно те, кого, согласно «Житию», Алексий посылал к Сергию на Киржач, призывая его вернуться назад, к Троице.

Сопоставление фактов убеждает, что это одно и то же событие и что Сергия за тем и призывали с Киржача, дабы тут же послать улаживать нижегородские дела. Иного решения попросту не придумать [1].

Прибавим, что для современников в этом походе Сергия не было ничего удивительного. Все тогдашние подвижники властно вмешивались в политическую жизнь страны, указывали князьям, мирили и воспрещали, наставляли и даже ободряли к ратным подвигам, отнюдь не замыкаясь только в трудах духовных. Таков был век и таковы были люди в нем!

ГЛАВА 38

Мы вновь видим Алексия в его кабинете-келье, где божница и аналой, но и книги, и грамоты, разнообразная переписка владыки, касающаяся не только церковных, но и хозяйственных, и политических, и военных дел княжества. Видим и рабочее место секретаря, на котором склонился над грамотою Леонтий-Станята, постепенно из бродяги-созерцателя превращенный волей Алексия в дельного и преданного помощника в тьмочисленных владычных трудах.

[1] Анализ и вывод принадлежат члену-корреспонденту АН СССР В. Л. Янину.

— Я надумал Сергия воротить к Троице! — говорит Алексий твердо, как о решенном, и Станята понятливо склоняет голову. Говорено о том было многажды и по разным поводам, и нынешнее решение владыки — это созревший плод долгих дум, ныне претворяемых в дело.

— Грамоту? — вопрошает Станята.

— И нарочитых посланцев, дабы уговорили его оставить Киржач! — договаривает Алексий, кладя на аналой сжатые кулаки.— А из Троицкой обители должны уйти все те, кто его обидел, истинно так!

Оба замолкли. У обоих шевельнулась мысль: послушает ли Сергий митрополита? Оба знали: Сергия можно убедить, но заставить — нельзя.

Наконец Алексий вздыхает полною грудью и повелевает негромко:

— Пиши!

Станята кладет перед собою вощаницы, берет писало в руку. Слушает. Алексий начинает диктовать, отчетисто отделяя слова друг от друга:

— «Отец твой, Алексие, митрополит, благословляет тя...» Написал? — Станята кивает, твердо и уверенно выдавливая на воске буквы послания. Алексий, больше не останавливаясь, додиктовывает до конца: — «...Зело взвеселихся, слышав твое житие, еже в дальней пустыне, яко и тамо от многих прославится имя Божие. Но убо довлеет тобою сотворенная церковь и Богом собранное братство; да его же веси в добродетели искусна от своих ученик, того постави вместо себе строителя святому монастырю. Сам же паки возвратися в монастырь Святыя Троица, яко да не надлезе братия, скорбяще о разлучении святого ти преподобия, от монастыря разлучатся. А иже досаду тебе творящих изведу вон из монастыря, яко да не будет ту никого же, пакость творящего ти; но токмо не преслушай нас! Милость же Божия и наше благословение всегда да есть с тобою» [1].

Грамота ляжет в архив, и потому в ней многое — для истории, для грядущих читателей. Много такого, о чем Сергию не надобно говорить, но надобно сказать тем, грядущим, еще и не рожденным на свет.

Пока Станята перебеливает грамоту на пергамене, Алексий ждет, откинувшись в кресле. Потом приклады-

---

[1] Грамота подлинная.

вает ко грамоте серебряную вислую печать со своим оттиском, ставит подпись: «Алексие».

— Архимандрита Павла и игумена Герасима пошлю! — громко говорит Алексий, размышляя вслух, что он позволяет себе только в присутствии Станяты.— Старцы достойные! Созови!

И пока не пришли названные, Алексий все сидел и думал: прав ли он и послушает ли его Сергий?

Вызванным клирикам Алексий повелел разговаривать с преподобным Сергием, имея сугубое уважение в сердце и на устах, и через них же пригласил Сергия посетить его, Алексия, «ради некоей сугубой надобности» во граде Москве.

Вечером на молитве и еще позже, укладываясь в постель, он все думал, согласится ли Сергий отправиться по его зову в Нижний. И, следственно, прав ли он, возвращая преподобного к Троице? Пока не понял наконец, что прав, истинно прав! И уже не думал и не сомневался больше.

Согласно «Житию» Сергий, получивши послание Алексия, будто бы сказал:

— Передайте митрополиту: всякое от твоих уст исходящее, яко от Христовых, приму с радостью и ни в чем же не ослушаюсь тебя!

На деле Сергий, повелев братии принять и накормить посланцев митрополита, долго сидел и думал. Стояло лето. Серебристые кусты трепетали над лазурно-синей водой. Близила осень, когда кусты пожелтеют и опадут, расцветив мгновенной парчою густо-синюю воду потока. Уже и к этому месту прикипело Сергиево сердце! Умом он, разумеется, понимал Алексия и чуял, что владыка опять прав. Но все сидел и все медлил, не в силах собрать на совет братию, повестить ей, что уходит отселе назад...

Исаакий наотрез отказался стать игуменом новой обители. Тогда Сергий обратился к Роману. Тот попросил у преподобного времени подумать — до утра.

В ночь эту Сергий да и все пришедшие с ним радонежане не спали. Молились. Они собрались под утро маленькой кучкою, верные спутники преподобного, словно древние апостолы, готовые идти за своим учителем на край света. Ждали Романа, наконец пришел и он. Сергий поднял на него свой загадочно-строгий, с легкою грустной усмешливостью в глубине зрачков взор. Взор, коего не могли забыть, единожды

увидав, многие. Будто в живом, смертном муже таился еще другой, иной, токмо наблюдающий этот мир, бесконечно терпеливый и мудрый. Глянул — и, не вопросив, понял все. Роман рухнул на колени.

— Благословляю тебя, чадо, на сей труд и радую за тебя! — произнес Сергий.

Романа еще надо было ставить во священники, потом в игумены, но это все будет после, позже! Теперь он отправится вместе с Сергием на Москву. Остальные же побредут прямо к Троице с благою вестью о возвращении игумена.

И вновь Сергий прислушивается к себе, и река несет и несет свои воды, ударяя в берег, и высит стройная, уже потемнелая от ветров и погод церковь у него за спиной...

Он встал, велел созвать всех, троекратно облобызал каждого из иноков. Принял посох. Выходя из ворот уже, вновь оглянул творение рук своих, оглянул столпившую семо и овамо братию, столь уже привыкшую к нему как к наставнику своему, понял в сей миг, что невестимо свершил еще один подвиг, надобный родимой земле, и с тем, просветлевши лицом, благословил обитель. Потом оборотился и пошел, уже не оглядываясь назад. Роман и московские посланцы поспешали следом. Архимандрита с игуменом в ближнем селении ждали кони, Сергий же с Романом намерились, по обычаю преподобного, весь путь до Москвы проделать пешком.

Апостолы ходили из веси в весь, из града в град пеши, своими ногами. Как знать, не самое ли это правильное и для всякого из нас, живущих на этой земле!

ГЛАВА 39

Алексий ждал и принял Сергия, отложивши все прочие дела. Назавтра днем сам рукоположил во дьякона и затем во пресвитера Сергиева ученика Романа, сам и отослал его игуменствовать на Киржач.

Когда уже все было свершено, пригласил радонежского игумена к себе в келью вместе с архимандритом Павлом.

— Труднейшее хочу поручить тебе, брат! — начал

Алексий, не ведая еще, как вести разговор о нижегородских труднотах.

— Хочешь, владыко, послати мя в Нижний Новгород? — вопросил Сергий, спрямляя пути разговора и сминая все Алексиевы хитрые замыслы. Как понял, как узнал он, о чем его попросит митрополит, Алексий не спрашивал. Помолчав, сказал:

— Борис не по праву сидит на нижегородском столе! — И, уже торопясь, дабы Сергий вновь не обнажил своего сокровенного знания, добавил: — Дмитрий Константиныч согласен подписать ряд с Москвой, отрекаясь от великого княжения!

— Ему привезли ярлык? — безжалостно вопросил Сергий.

— Да, от Азиза-царя! — отмолвил Алексий уже несколько резко. Архимандрит Павел только вздыхал, глядя то на того, то на другого.

— Борис должен уступить город и подписать грамоту об отречении? — строго спросил Сергий, утверждая.

— Да.

— Князь Борис получил от царицы Асан ярлык на Нижний Новгород! — порешил вмешаться архимандрит Павел. Сергий кивнул. Видимо, он знал и это.

Знал он, оказывается, вернее, предвидел и закрытие церквей, предложенное Алексием. Произнес только, осуровев лицом и не обращаясь ни к кому:

— Мор!

И стало ясно, что мера эта и жестока и груба...

Было в лице Сергия нечто новое, не усталость, нет! По-прежнему румяны были впалые щеки и здоровою — худоба, и стан прям, и руки, большие руки плотника, крепки и чутки. Но что-то прежнее, юношеское, что так долго держалось в Сергии, изменилось, отошло, отцвело. Спокойнее и строже стали очи, не так пышны потерявшие яркий блеск волосы. Верно, когда уже переваливает за сорок, возраст сказывается всегда. Возраст осени? Или все еще мужества? Возраст свершений! Для многих — уже и начало конца... И Алексия вдруг охватил испуг, он устрашился движению времени, явленному ему в этом дорогом лице. Но Сергий снова глянул ему в глаза, улыбнулся чуть-чуть, лишь две тонкие морщинки сложились у глаз, словно возвратясь из вечности приветствовал здешних, смертных, поверивших было его гибели.

— Ты разрешишь мне, владыко, прежде побывать у Троицы?

Алексий с жаром принялся объяснять, что да, конечно, что он и посылает его не иначе как троицким игуменом и потому тем паче...

Все это было неважно. Сергий шел в Нижний, ибо правда была все-таки на стороне Дмитрия Константиныча, и потому, что он знал другое: что все это — и княжеская грызня, и споры из-за великого стола — тоже неважны. Придет неизбежный конец, уравнивающий всех, и думать надо о вечном, сбирать богатства, коих червь не точит и тать не крадет. И пока сего не поймут, все будет так, как есть, и не пременит течения своего. Даже невзирая на необходимые в мире сем усилия кир Алексия.

Архимандрит Павел, поняв нечто, трудно выразимое словом, вышел первый. Они остались одни.

— Простишь ли ты меня, Сергие? — вопросил Алексий.

— Ты взял крест на рамена своя,— возразил Сергий, стараясь оттенком голоса смягчить суровость слов,— и должен нести его до конца! — Помолчал, прибавил негромко: — На худое меня не зови. Токмо на доброе! — И еще помолчал и рек твердо: — Смирять братьев надобно! Это мой долг, как и твой!

Они молча троекратно облобызались. И опять у Алексия, отягченного годами и властью, возникло чувство, что он — младший и днесь целует учителя своего, без которого ему трудно, очень трудно жить на земле!

Когда на утро другого дня Сергий подходил к горе Маковец, у него сильно билось сердце и пересыхало во рту. Он остановился и долго стоял, смиряя себя и собираясь с духом.

Его все же заметили — или знали, разочли его прибытие? Бил колокол. Иноки вышли и стояли рядами вдоль пути, иные падали ничью.

Те из братий, кто хулил Сергия и радовал его уходу, исчезли предыдущей ночью, сами покинули обитель, прознав о возвращении игумена, так что и выгонять ему никого не пришлось.

Стефан сожидал его в келье. Когда Сергий вошел, брат стал на колени, склонил чело и глухо повестил, что понял все и теперь готов уйти из монастыря. Сергий

молча поднял его с колен и поцеловал в лоб, произнеся токмо:

— Прости и ты меня, Стефане!

Затем они оба долго молились в келье, стоя на коленях перед аналоем, меж тем как Михей за стеною в хижине хлопотливо готовил покой к праздничному сретению любимого учителя, а учиненный брат уже созывал иноков к молебствию и торжественной трапезе.

Перебыв в обители самое малое время, Сергий в сопровождении архимандрита Павла, игумена Герасима и нескольких отряженных с ним попов и иноков вышел в путь. Тяжкая оперенная стрела с тихим жужжанием вылетела, толкаемая тетивою владычной воли, и теперь устремилась к цели.

ГЛАВА 40

Посольство Сергия было столь невелико и не пышно, что его вовсе не заметили в Нижнем Новгороде. Кучка пропыленных, умученных жарою странствующих иноков переправилась на дощанике через Оку и от перевоза неспешно устремила стопы в гору, по направлению к городу. Их не остановили в воротах, поскольку иноки повестили, что идут в Печерский монастырь к игумену Дионисию.

Они действительно прошли через город не останавливаясь, только озираясь кругом, разглядывая наспех сооруженные Борисом валы, полуобвалившиеся кое-где, когда весенние воды подмывали мерзлую и потому рыхлую осыпь. Там и тут суетились работники, довершая и доделывая. И все же полный обвод городовых стен был сотворен и потребовал бы в случае осады города и приступа немалых усилий.

В монастыре путников ждали. Игумен Дионисий сам встречал важных гостей, ибо извещен был уже о том, что епископия Нижегородская отошла в ведение Алексия, и о посольстве был предупрежден заранее скорым гонцом.

Он, впрочем, до самого прихода Сергия не ведал, как ему поступить. Сергий, с которым они изредка пересылались грамотами, не был в Нижнем несколько лет, и теперь (после богослуженья и трапезы) они сидели вдвоем, прямь друг друга, вглядываясь и привы-

кая к приметам быстротекущего времени на знакомом лице.

Солнце низилось, претворяя свои лучи в старое золото, безоблачный жаркий день изгибал, и Волга, видимая отселе в небольшие, в два бревна, прорубленные оконца, играла лениво и успокоенно, стремясь и стремясь безостановочно в дикую татарскую степь.

— Князь Борис имеет ярлык от татарского царя! — говорил Дионисий, беспокойно ходя по горнице.

— От болгарского царя и царицы Асан! — уточнил Сергий.

— Андрей сам на смертном ложе уступил ему город! — возвысил голос Дионисий. Он мучился тем, что вынужден говорить все это духовному мужу, коего чтил высоко и с которым совсем не об этом хотелось бы ему беседовать.— Не ведаю даже, примет ли он вас! — Дионисий смущенно пожал плечами, скосил взгляд на Сергия: не сердится ли тот?

Но Сергий сидел вольно, отдыхая, и светлым взором следил Волгу, посвечивающую золотыми искрами сквозь путаницу ветвей. Усмехнулся, вопросил, где та келья, в коей они беседовали когда-то́, в первый отроческий приход Сергиев к прославленному уже тогда игумену.

— Сгорела,— ответил Дионисий.— Три раза горел монастырь, все тут рубили и ставили наново! — Сказал и умолк. Ничего не спросив, заставил его Сергий вспомнить ту давнюю беседу и гордые слова о русичах, что, совокупясь воедино, когда-нибудь ниспровергнут Орду. И не о том ли самом твердит он не уставая суздальским князьям вот уже которое лето подряд!

— Борис должен уступить старшему. Иначе не будет порядни в земле! — досказал Сергий, вновь становясь взрослым, умудренным мужем, игуменом входящего в славу монастыря.— Владыко велел, ежели князь окажет упорство, затворить церкви в городе! — Он помолчал, давая игумену Дионисию осознать сказанное до конца, и прибавил: — Помысли, Дионисие, с кем ты и возможет ли Борис, один, в споре с братом своим старейшим противустать всей Владимирской Руси да еще и Орде?

Слова упали, как камни в тихую воду. От них пошли большие, все расширяющиеся круги. Противустать Алексию для Дионисия значило остаться в одиночестве, поддерживая упрямого удельного князя... Устранить себя от дела сего он тоже не мог. Сергий ждал ответа,

и в молчании давнего знакомца была незримая, неведомая ему доднесь твердота. Дионисий сел. Встал, вновь начал ходить по покою.

— Быть может, мне самому сперва перемолвить с князем? — вопросил, найдя, как казалось ему, временную лазейку, дабы оттянуть, отложить неизбежное...

Сергий слегка, очень слегка, чуть заметно покачал головою, скорее даже глазами повел туда-сюда. И отверг. Дионисий аж покраснел, сердито насупил брови. Ему было вчуже и внове подчинять себя чужой воле. Опять, и долго, молчал.

Сергий смотрел то в окно, то на него ясно. В лице у него был тот же вечерний свет, что и за окном. И Дионисий, продолжая молчать, начал постигать наконец простую истину, что митрополит прав, что должно не раздувать прю, а помирить братьев, а для того заставить Бориса соступиться с нижегородского стола, и что ему, Дионисию, пристойно и лепо споспешествовать в том игумену Сергию. Он поднял потишевший, обрезанный взор. Сказал:

— Из утра поведу вас ко князю! Не послушает Борис — будем затворять храмы!

Князь Борис о московском посольстве уведал, когда уже московиты вступили на княжой двор и ближний боярин позвал его встретить гостей. Борис, разом почуяв недоброе, вышел на глядень. Внизу по двору неспешно шествовала, направляясь ко княжескому терему, процессия клириков, среди коих Борис углядел игумена Дионисия и каких-то явно незнакомых ему иерархов.

— Отколе?

— Из Москвы, от владыки Алексия посыл! — ответствовал боярин.

— Как пустили?! — выдохнул яростно Борис.

— А как могли не пустить? — пожал плечами боярин.— Они, вишь, идут от Печерского монастыря, ну а кто ж из ратных наших самого игумена Дениса да и с архимандритом московским, владыкою посланным, в город не пустит! И я не прикажу, и ты не прикажешь, княже!

— Почто они?!

— Мыслю, к суду с братом тебя созовут! — заключил Степан Михалыч, вздыхая.— Выдь, княже! Неподобно тово духовных лиц от крыльца отгонять!

Борис потерянно оглянул нахмуренный лик боярина,

понял, что встречи не избежать никак. Связанными, напряженными шагами пошел вниз по лестнице. Со сторон выбегали холопы, слуги, челядь, выскочил ключник, собственный Борисов духовник колобком скатился с лестницы.

Борису стало только стать в сенях и, целуя в ответ подставленные ему руки, принимать благословения московитов, которых тут же и наименовывали ему:

— Архимандрит Павел! Игумен Герасим! Игумен Сергий! — Это были главы посольства, а за ними следовали еще какие-то попы, дьяконы, служки, печерские иноки и монастырские слуги в мирском платье — целый синклит.

Дионисий глянул на него с внимательным сожалением, изронил негромко, благословляя Бориса в свой черед:

— Внемли, княже!

Началась долгая суета знакомств, усаживаний, добывания приборов, тарелей, мис, вилок и ножей, дорогих рыбных блюд нарочито для монашествующей братии.

Архимандрит Павел сказал несколько слов о горестном времени, о засухе, гладе и моровой беде, коими казнимы христиане за грехи гордыни, ссор, свар, себялюбия и неисполненья завета Христа о любови братней. Борис слушал, темнея и жесточея лицом. Но повели он сейчас кметям вышвырнуть отселе всю эту рясоносную свору — и ни у которого из дружинников не вздынет рука на сие, и он, князь, останет опозорен навеки. Приходило терпеть!

Игумен Сергий, сперва почти и не замеченный Борисом,— он долго и как-то остраненно разглядывал нижегородского князя,— вдруг нежданно вступил в разговор, высказавши спокойно, без всяких украс и приступов то главное, ради чего московиты и прибыли сюда.

— Ты, князь, должен уступить брату своему старейшему!

Борис вперил в него яростные очи, хотел усмехнуть надменно и свысока — усмешки почему-то не получилось.

— О княженьях решает хан! — почти выкрикнул в лицо невеже игумену.

— Суд князем на Руси должен вершить глава духовный! — негромко и строго возразил московский посланец. И князю мгновением почудило, что они только двое за столом, он и вот этот монах, про коего —

вспомнил теперь! — ему уже не раз говорили, именуя его чуть ли не чудотворцем московским.

— Дмитрий сам оставил город! — выкрикнул он опять неведомо зачем, ибо ханский ярлык, а не воля старшего брата удостоверял его права на нижегородский престол.

К счастью для Бориса и к несчастью для дела, архимандрит Павел вновь вмешался в говорю и затеял витиеватую речь с укоризнами от Писания, на что Борис решительно отверг, теряя всякую власть над собою:

— Не отдам города!

— Паки помысли, сыне! — произнес, подымаясь с кресла, архимандрит Павел зловеще, но не теряя спокойствия голоса.— Ныне ты гневен и не можешь собою владеть, ни помыслити путем! Прощай!

Он двинулся к выходу, не благословив князя, и все поневоле последовали за ним. Сергий с порога оборотил лицо к Борису, будто ждал, что тот опомнится и остановит духовных. Но Борис только невступно отмотнул головой.

Дионисий во все время встречи молчал. Он опять колебался, и, не будь Сергия, все дальнейшее попросту бы не состоялось. Но Сергий был здесь.

Борис, вышвырнув, по сути, посланцев митрополита из терема, долго пил квас, приходя в себя, потом, помыслив, что те уже уехали, велел оседлать коня и отправился проверять, как идет отсыпка валов внешнего города.

Возвращаясь от городских ворот, он не понял ничего сперва, завидя толпу прихожан и гроб на паперти Спасского собора. Подъехал ближе. Бабы плакали. На дверях церкви непривычно висел тяжелый амбарный замок, замыкающий кованую полосу железа, продетую в скобу и перекрывшую путь внутрь.

Батюшка, разводя руками, приблизил ко князю, со страхом глядючи в закипающие гневом очи, пояснил сбивчиво, что церкви закрывают по воле самого митрополита Алексия московские посланцы: архимандрит Павел, Герасим и Сергий с игуменом Дионисием вместях, и впредь до разрешения владыки не велено ни крестить, ни венчать, ни петь часы, ни служить, ни хоронить мертвых.

Борис, огрев плетью дорогого коня, помчал к рубленой на шатровый верх церкви в слободе и уже издали

узрел толпу народа и московских посланцев, замыкающих входы в храм. Подскакав, князь молча вырвал из ножен саблю. Толпа с ужасом шарахнула посторонь. Какая-то старуха с воплем кинулась вперейми, не давая Борису достичь московского архимандрита, который токмо глянул и возразил негромко:

— Отойди, князь! То — воля Алексиева!

Ужас толпы и вспятившей собственной дружины отрезвил князя. Понял, что ни приказать, ни велеть тут ничего нельзя. Положим, его послушают дружинники, взломают двери храмов, а далее? Кто из попов посмеет служить, нарушая митрополичий запрет? (А кто посмеет, тотчас будет лишен сана!) А люди мрут, и скоро гробы непохороненных русичей переполнят город.

Давешний московит, игумен Сергий, без робости приблизил ко князю. Кругом шептали, вскрикивали: «Сергий! Сергий! Сам!» Падали на колени, просили благословения. Двое-трое княжьих дружинников решительно спрыгнули с седел, тоже подошли, склонившись, под благословение московита. Князь, на которого уже не обращали внимания, нелепо высил, сидя на коне, оставленный всеми, народом и дружиною, и не ведал более, что ему вершить.

Сергия, оказывается, знали, и знали много лучше, чем князь Борис. Слыхали о преподобном и теперь толпою стремились следом — прикоснуться, получить осеняющий знак руки. Переговаривали друг с другом, толкуя, что теперь-то, с явлением радонежского подвижника, наверняка утихнет и мор!

Мгновением Борис подумал было тут же и сам устремить за Сергием, но упрямство превозмогло. Только на третий день князь с ближней дружиною поехал в Печерский монастырь, где остановились московиты.

Игумен Дионисий встретил его на дворе обители, дождал, когда князь слезет с седла, сказал с суровою укоризной:

— Княже! Духовная власть от Господа! Смиренья не имеши! — Помолчал, обозрел Бориса жгучим, источающим силу взглядом, примолвил: — Повинись, да не потеряешь удела своего!

Тут только взял в толк Борис, что и Нижегородский и Городецкий уделы отошли под церковную власть митрополита Алексия и ему приходит теперь воевать не только с братом и Москвою, но и с церковью.

Его долго отчитывали и стыдили, в основном москов-

ский архимандрит. Игумен Сергий молчал, но от молчания его князю становилось совсем неловко. Он мрачнел, низил все еще яростный взор, обещал собрать думу.

Дума была собрана. Бояре сказали: «Не устоять!» Обезлюженный чумою город не мог сопротивляться всей земле. В конце концов Борису предлагали всего лишь воротиться в свой удел и подписать отказную грамоту, по которой владимирский стол становился вотчиною Москвы. Силу этой грамоты Борис, приученный к скорым ордынским переворотам, не почуял. Один хан дал, другой заберет назад! А Нижний, в очередь после Дмитрия, согласно лествичному праву, все одно перейдет к нему, Борису.

Храмы продолжали оставаться закрытыми, и потому посольство во главе с думным боярином-отцовым Василием Олексичем отправилось на Москву в тот же день. Борис, все еще не отрекаясь явно от Нижнего, просил владыку Алексия урядить его с братом.

ГЛАВА 41

Полки с южного рубежа не снимали еще и потому, что московские воеводы опасались князя Олега, очень усилившегося за последние годы. Захвативший десятилетие назад и удержавший за собою Лопасню, он мог теперь (и должен был!) позариться на Коломну, древнее рязанское наследие, отобранное у рязанцев полвека назад московским князем Данилой Александровичем. И хоть стала Коломна с тех пор московскою крепостью и важным торговым городом, хоть была уже наполовину заселена москвичами, но тем более опасно было теперь этот город потерять! Москва лишилась бы выхода к Оке и львиной части своих мытных сборов, что уже грозило умалением всему княжеству. Поэтому сильной оружной заставы из Коломны никогда не убирали, да и весь полк коломенский редко когда отправляли к иному рубежу.

И то еще надобно сказать, что земли южнее Москвы были плодородны особенно, и теплее здесь было всегда, и сеяли раньше, и урожаи собирали не в пример иным станам Московского княжества. У крупнейших бояр московских были тут свои волости, и за волости эти готовы они были драться насмерть, «до живота». Тем паче теперь, когда, по слухам, зашевелился Тагай

и от Наручади двинулись на Рязань татарские полчища. Перейти Оку и погромить окраины Москвы им ничего не стоило.

Поэтому всю ту пору, пока шла пря с суздальскими князьями, в коломенском кремнике стояли оружные кмети, дозоры, высматривая возможного врага, скакали по всем дорогам, а мужики, начавшие тем часом убирать хлеб, брали с собою в поле ради всякого случая рогатину и насаженный на длинное топорище топор. Слухи ползли разные, один одному вперекор, и о том, что произошло под Рязанью, вызнали уже спустя время, когда Тагай с остатками своей орды откатывал в степь.

Князь Олег, заметно заматеревший за прошедшие годы, сумел добиться того, чего почти никогда не умели добиться князья рязанские. Княжество раздирали вечные усобицы рязанских и пронских володетелей. Усобицы эти роковым образом сказались в час прихода Батыева, сказывались и впоследствии не раз и не два. Доходило до взаимных убийств, жалоб в Орду, доносов и прочих многоразличных пакостей. Две реки, Проня и Ока, никак не хотели втечь в одно согласное русло.

Олег сумел подчинить себе князя Владимира Ярославича Пронского, сумел сделать другом Тита Козельского, и с тем вместе огромное Рязанское княжество едва не впервые стало действительно единым и силы его могли выступать не поврозь и не против друг друга, а совокупно противу общего врага.

Могила Олега несколько веков свято чтилась местным населением. Еще в XIX столетии жители вспоминали о нем «с умилением». Немногим историческим деятелям выпадала подобная честь. Историк Калайдович держал в руках, как он говорит, череп Олега со страшною отметиною сабельного удара на кости с левой стороны. Что стало с его могилой теперь, я не ведаю, не узнавал и в Солотчинском монастыре пока еще не был. Видел в рязанском музее кольчугу князя, подаренную им монастырю. Простую, видимо, сильно изорванную кольчугу, или, как называли их встарь, «бронь», предназначенную явно не для парадов и выездов, а для жестокой военной страды. Возможно, именно в этой кольчатой рубахе бился князь с ордою Тагая летом 1365 года, о чем у нас теперь и пойдет речь.

Тагай, укрепясь в Наручади и счастливо отбившись ото всех супротивников, возмечтал о большем и этим летом задумал поход на Рязань, слухи о чем до Москвы

дошли даже раньше, чем до Переяславля-Рязанского.

Свой набег Тагай рассчитал правильно. Не став задерживаться на Проне, ни на рубежах княжества, он изгоном пошел прямо на Рязань и сумел-таки опередить Олега, слишком поздно узнавшего о нападении.

Жители Переяславля-Рязанского не ведали ничего, когда ясным днем нежданно-негаданно (мужики были, почитай, все в полях) в отверстые ворота города ворвалась яростная татарско-мордовская конница. Выскакивающих на улицу кто в чем растерянных людей рубили саблями на скаку.

Натаха Сандырева только что вышла к колодцу за водой, перемолвила с соседкою, неспешно налила скрипучим журавлем первое кленовое ведерко, поставила на приступочек колодца и стала опускать журавль снова, когда в уличной пыли показался первый верхоконный. Натаха не подумала, кто и зачем, и потому не сиганула через плетень, так и застыв с долгим шестом в руках. Уже близко подскакавший татарин бросился ей в очи, и Натаха поняла и выпустила шест из рук, а журавль тотчас взмыл вверх, но не поспела ни побежать, ни охнуть. Грязная, пахнущая конским потом рука протянулась с седла, сшибла повойник у нее с головы и, крепко ухватя за рассыпавшиеся косы, поволокла за собой вдоль по улице.

Натаха бежала, путаясь в поневе, стараясь не попасть босою ногою под конское копыто и не упасть, чтобы не потащил за косы по земле, и только когда у бревенчатого тына начал, свесясь с коня, арканом крутить руки, закричала, завыла в голос, запрокидывая лицо и пытаясь вывернуться. Еще старалась укусить татарина, пока не получила по голове плетью. Свет замглился в очах, и баба, безвольно опадая, позволила стянуть себе руки за спиной и перевязать арканом. И уже на аркане, пьяно раскачиваясь, побежала вслед за конем, плохо видя, что кругом, из-за хлынувших градом слез.

Скоро в паре с нею оказалась еще какая-то связанная жонка, за которой бежал, крича «Мамо! Мамо!», маленький мальчик в одной рубашонке и босой. Татарин не стал его привязывать — от матери не убежит! В светлом, трепещущем от жары перегретом воздухе, над поднятою в небеса рыжею пылью уже плясали высокие, нестрашные с виду языки огня. Гомон татар и голоше-

ние угоняемых в полон русичей растекались по городу. Скрипели возы. Татары и мордва, спешившись, быстро набрасывали в телеги грабленое добро. Волочили укладки, корзины, рогожные кули, связками выносили лопоть и портна, швыряли в возы медную ковань, вязали к задкам телег коз и овец. Чей-то пес с лаем кидался на ратных, раз и другой, пока татарин, изловчась, не развалил его на полы. Пронзительно кричала насилуемая несколькими ратными тут же у порога девка. Какой-то пожилой бородач-мордвин усаживал в воз плачущую матерь с детьми, пересчитывая по-русски:

— Один парняк, два парняк, три парняк...— При этом называл «парнякәми» всех без различия — и пареньков, и девушек.

Кого-то, избитого в кровь, волочили арканом по пыльной земле...

Уже несло дымом и чадом, гарью заволакивало улицу, и Натаха с ужасом узрела ярый огонь над соломенною кровлею собственного дома. Рванулась, забыв об аркане.

— Сын у меня там, сы-ы-ы-н!

Удар, новый удар, Натаха упала в пыль, обливаясь кровью, вскочила, кинулась, зубами впившись в вонючую жестокую руку.

— Дитё у ей тамо! Изверг! — кричала вторая баба, когда татарин, сбросив Натаху в пыль, пинал ее кожаным сапогом под дых.— Дитенок! Бала́! Чурка ты, пес, у-у-у!

Татарин поглядел, сморщившись, жуя губами и разминая укушенную кисть. Глянул на дом, где уже пламя било из окон и начинала, изгибаясь, проваливать кровля, махнул рукой и, толчком подняв избитую бабу на ноги, сам взвалился на коня и погнал обеих полонянок перед собою прямо к выезду, торопясь уйти от огня. Бабы бежали перед ним босые, виляя бедрами, одна тащила под мышкой своего ребятенка... «Сильная! — одобрительно подумал татарин, прищелкивая языком.— Хорошо работать будет!» От вида бегущих баб у него разгорелось желание, и он думал теперь лишь о том, как бы скорее добраться до ночлега и отведать пленниц.

Город пылал. Разграбив Рязань, татары растеклись по окрестным селениям, все предавая грабежу и огню. Гнали скот, гнали полон, телегами увозили нахватанное добро. Назад тяжко ополонившаяся орда двигалась

медленно, сопровождаемая ревом, блеянием и мычаньем угоняемых стад, плачем детей и воплями жонок, бредущих в пыли нестройными толпами под охраною едущих шагом всадников.

Тагай рысил, гордясь собою, на дорогом коне, в дорогом боярском русском облачении и лисьей татарской шапке, с угоров хищно озирал растянувшийся на многие версты обоз. Князь Олег теперь будет выкупать полон. Даст много серебра! Чего не выкупит князь, возьмут сурожские купцы, в ихней италийской земле русский полон дорог!

О погоне и мщении Тагай не думал, не чаял, что русичи сумеют так быстро собрать рать.

Князь Олег был в это время в Солотче, в немногих поприщах от Переяславля-Рязанского. Беглецов из города встретил на дороге. Разузнав, как и что (княжая семья, к счастью, спаслась, переправившись на лодьях через Оку), коротко наказал княгине Евфросинье и боярам принимать и устраивать беглецов, тотчас послал скорых гонцов в Козельск и на Проню, а сам кружною дорогою, обходя татарские загонные рати, кинулся собирать ополчение. К концу первого дня за ним нестройною толпою уже скакало несколько сот ратных и мужиков, вооруженных кто чем, а то и вовсе безоружных. Но князь знал, что делал. Уже ночью подчиненные ему бояре начали прибывать ко князю с дружинами и привозить запасное оружие. Полки ощетинивались копьями, являлись мечи, сабли, боевые топоры, сулицы, брони. Скоро князь смог выделить дружину лучников и послать всугон татарам, наказав в бой не вступать, но всячески задерживать татарский обоз.

С последними наказами, когда в сумерках летней ночи двинулась, глухо топоча, посланная всугон дружина, Олег пролез в расставленный для него шатер, лег на кошму и, вполуха внимая голосу ратных, шевеленью коней во тьме и треску костров, начал думать. Все, что было доселе, не исключая и взятия Лопасни, было детской игрою по сравнению с тем, что подступало теперь. От чудом спасшихся ратников он уже выяснил приблизительные силы Тагая (одному, без пронской и козельской помочи, нападать на татар нечего было и думать), и теперь, взвешивая мысленно все сделанное доднесь, Олег понимал, что мерой содеянному станет одно — предстоящий бой с Тагаем.

В шатер посунулась косматая голова боярина:

— Не спишь, княже?

— Молви! — отозвался Олег.

— Ищо семеро бояр прибыли. С дружинами! И людей едак сот семь с има!

— Добро. Ступай!

Вскоре боярин посунулся снова. Ратники все прибывали и прибывали, кучно и россыпью, кто как и кто на чем. Иной на крестьянской коняге с ослопом, иной — в броне и шишаке на хорошем боевом коне.

Под утро захлопотанный вестоноша повестил, что подходят проняне с князем самим и от Тита Козельского посыл: бает, не умедлит!

— Добро! — отозвался Олег и, улыбнувшись самому себе в темноте шатра, тут же заснул.

Спал он всего часа полтора до подхода пронских ратей, но вскочил свеж и бодр, крикнул коня и поехал встречу князю Владимиру.

Вокруг шевелился просыпающийся стан. Разномастно вооруженные «удальцы и резвецы, узорочие и воспитание рязанское» приветными взорами провожали своего удалого князя. В Олега верили. Десять лет, протекших со взятия Лопасни, минули не зря.

Князь Владимир ехал шагом впереди своих ратных. Олег глядел на него издали, подъезжая, и думал, что пронский князь еще может изменить, изменит ему, ежели от него, Олега, отворотит судьба. Но сейчас, ныне, не изменил. Явился сам и привел рать! Они съехались и крепко обнялись, не слезая с коней. Затем поехали рядом вдоль рати конь о конь, и Владимир повестил кратко, что оружие для неимущих, сабли и брони, он привез и просит только воротить протор из захваченной добычи после сражения. Оба подумали враз (но промолчали), что исход битвы, даже ежели они нагонят Тагая, еще далеко не ясен.

Олег с некоторым беспокойством поглядывал сбоку на гордый очерк лица пронского родича. Столько сил было потрачено, дабы он вот так, как сейчас, выступил на помочь Олегу! И ради чего? Ради общего дела, надобного пронскому князю не менее, чем ему самому! Мгновенная горечь, тотчас усилием воли отогнанная посторонь...

— Мыслю, выступать надо немедленно, не дожидая Тита,— сказал Олег.— Тем, кто готов!

Владимир подумал, помедлил, кивнул. В Олега вери-

ли все, даже неволею. Рязанский князь не раз и не два доказывал, что у него слово никогда не расходится с делом.

После короткой дневки, поев наспех сваренной каши и покормивши коней, прончане выступили вперед.

Уходили один за другим оборуженные полки ратного ополчения. Тит Козельский прибыл ввечеру, и тогда сам Олег снялся со стана и пошел всугон за прончанами.

Виноват ли был он, что всю жизнь без роздыху дрался с врагами, не поспевая заняться столь нужным земле строительством культуры? Его ли вина, что подчас не хватало ни сил, ни средств на созидание храмов и монастырских библиотек, столь нужное Рязанской земле? Что в многократно выжигаемых городах трудно было копить книги и воспитывать ученых мужей? Вспомним хотя бы то, что единственный попавший на Москву список «Слова о полку Игореве» был принесен туда Софронием Рязанцем из Рязани, той самой Ольговой Рязани, сгоравшей дотла едва ли не каждый год!

Щитом Руси Владимирской была Рязань, что бы там ни говорили потом позднейшие политики и летописцы. И первая всегда принимала она на себя удары Орды.

Делая долгие переходы на рысях (спасали добрые, татарских кровей кони), не расседлывая лошадей на дневках, сокращая еду и сон, Олег нагонял и нагонял медленно бредущую орду Тагая. Ратники, у многих из которых татары разорили хаты и угнали ближних, не жаловались. Боя хотели все.

Когда уже стало ясно, что враги не уйдут, не утонут в мордовских лесах, не растают в степной бескрайности, переправив полон на рынки Кафы и Генуи, Олег дал краткий роздых полкам, подтянул отставшие рати и начал готовиться к бою.

Тагая настигли на выходе из Рязанской земли, у Шишевского леса на Войне. Перед утром Олег провел свою конницу, одетую в густой туман, долиной реки, обогнав Орду.

Утренняя дрожь пробирала невыспавшихся людей. Кони, словно тени, выныривали из тумана. Шерсть их была мокра от росы. Собрались воеводы. Олег твердо озрел ждущие лица. Коротко выслушал воевод. Предлагали обойти с тыла, отбить обоз, ударить всеми сила-

ми по головному полку... Нагнул голову. Поднял, глянул бестрепетно:

— Татар больше, чем нас! Ежели ударим с краю и кучно — обойдут!

Тем и отверг сказанное. И тут же высказал свое, не давая поселиться растерянности. Предложенный Олегом замысел боя был гениален и прост. Рязанская рать должна была тремя потоками рассечь татарско-мордовское войско Тагая и далее избивать по частям, не давая соединиться воедино и не отрываясь от татар ни на миг. Тагаю навязывали свальный бой, скорее резню, в которой выигрывал тот, в ком достало бы больше ярости. А в достаточной ярости русских ратников, жен и детей которых сейчас уводили в полон, Олег был более чем уверен. Тит Козельский возглавил первую рать, Владимир Пронский — вторую и Олег — третью. Рязанскому тысяцкому велено было стоять с запасным полком и держать свежих лошадей для ратников.

Ударили с зарей. Косые лучи солнца в белых столбах пара косо осветили разнотравье в алмазной росе, и по этому сказочному, сверкающему разноцветными огнями ковру, губя и топча его, наметом устремилась конница.

Татары нестройно бежали от шатров. Кто седлал коня, кто выезжал, метались татарские воеводы, собирая отставших... В первом напуске русские комонные легко пробили растрепанный вражеский строй, рубя на скаку не поспевших всесть в седла, обрушивая шатры, проскочили татарский стан. Жуткая скачка (у молодых ратных побледневшие, с лихорадочным румянцем лица слишком являли, чего стоило необстрелянным кметям так вот ворваться в середину ордынского войска!) привела к опушке Шишевского леса, и многие безотчетно устремили было туда.

Олег вовремя вымчал вперед, за ним — цепь бывалых ратников. Тут же поворотили скачущих, сбивая их в плотную ощетиненную лаву, и повернули встречь, вновь врезаясь в татарские порядки. Но те уже успели выстроить полк и, не сожидая Олеговых кметей, сами пошли в атаку. Слева доносило смутное: «А-а-а!» — Тит Козельский повел свой полк на врага. Со стороны Владимира Пронского еще молчали, опасно запоздав, но вот уже на подскоке, на сближении с татарским полком услышал Олег с облегчением ратные клики

и с той стороны. Бой развивался по должному порядку, и Олег сосредоточил себя целиком на близящей сшибке.

Татарская лава, визжа, катилась встречь, не думая уступать, ни заворачивать коней, верно, ждали, что первыми повернут русские. Олег слегка тронул острогами бока своего жеребца — и конь наддал, и вот уже он начал обходить передовых, сближаясь с растущими рядами татар. Щурясь, он высматривал того, «первого», и усмотрел, и когда кричащий, топочущий вал — отверстые пасти коней, косматые шапки, рты, открытые в реве, колышущийся блеск сабель надвинулись и содвинулись, поднял саблю и, уклонясь от копейного острия, рубанул, немыслимым зигзагом лезвия уйдя от столкновения с ордынскою саблей, в жуткое мгновение увидев прямо перед собою надменное молодое лицо, гордый взор узких степных глаз, суровый рот в тонкой оправе усов и черной рисованной бороды и медный ворот дорогой хорезмийской брони, на палец выше которого и пришло лезвие его сабли. Падения тела он не видел. В яркий от сабельного блеска миг пришлось отбить боковой удар, отразить второй и перемахнуть через поверженного вместе с брыкающимся конем всадника. Он вырвался вперед, в гущу, вокруг были только враги, и он рубил, рубил и рубил, так что стремительный блеск оружия превратился в немыслимое вращающееся молнийное колесо, и не чуял тупых копейных тычков в кольчугу, и, расчищая себе кровавый путь, рвался вперед, вперед и вперед, лишь какою-то сотою долей сознания с облегчением отмечая нарастающий рев за спиною. Дружина пробивалась к князю.

Кони вставали на дыбы, рушились. Павшие, кто мог, тыкали слепо снизу обломками копий в брюха вражеских коней. Фонтанами брызгала кровь. От треска оружия и рева ратей закладывало уши. Олег рубил, не следя падающих врагов, они попросту исчезали с глаз, расчищая дорогу к следующим за ними. Кто-то из Тагаевых ратных размахнул арканом, но в сумятице боя аркан запутал своих, и Олег тремя страшными ударами достиг и повалил мордвина с ременной петлей. Его уже обгоняли, уже резались вокруг него и впереди, и князь на мгновение опустил клинок, с которого капала кровь, гикнул и рванул вкось, углядев сумятицу на правой руке, где огромный, облитый бронею татарин крушил русичей железною палицей одного за другим. Взявши в зубы поводья, Олег ринул коня вплоть к ве-

ликану и, левой вырвав нож — меж тем как татарин с медвежьею силой схватил его за правую руку со вздетою саблей и повернул так, что сабля со звоном исчезла в круговерти конских и людских тел,— левой, грудь в грудь, всадил нож в крохотную щель разошедшейся на горле бармицы. Кабы не хлынувшие со сторон русичи, его бы убили в тот миг. Но вал своих одолел, и кто-то, нырнув под коня, подхватил, свесившись и всев снова в седло, саблю князя и подал, красную от крови, Олегу, и по гордости молодых глаз, по жажде боя, что прочел во взоре, понял Олег, что одолевают, одолели уже!

Татары и мордва еще рубились, не уступая, еще падали, но падали все гуще и гуще, и вот обнажилось впереди истоптанное поле, по которому вразброд скакали уходящие от удара враги.

Олег вновь остановил, вновь сплотил и повернул лаву. Уже едва половина тех, кто мчал с ним от Шишевского леса, собралась около князя, но тронули кучно, дружно и, сойдя с ума, мчали теперь вместе со князем своим на втрое сильнейший полк татарский. И снова те поскакали встречь, и снова Олег, высмотрев богатура в дорогой кольчуге, устремил к нему и опять перемог, хотя чуял: не токмо чужая, но уже и своя кровь лилась по телу, истыканному остриями копий под изорванной во многих местах кольчугою. Но уже то, что было в князе, передалось всем. Рубились безумно, вгрызаясь в татарский строй, точно волки в стадо овец, каждый сраженный падал вперед, еще успевая ударить очередного врага. Лава неслась, уже не ведая и не считая, сколько их осталось, и наконец это почуяли враги. В плотной стене с подъятыми саблями стали обнаруживаться дыры, отверстия, провалы, чей-то конь повернул боком и был сшиблен наземь грудью русского коня, и вот произошло долгожданное: Олеговы ратники увидали спины врага. Рубка переходила в убийство, татары бежали, у Олега уже онемела рука, пальцы, слипшиеся от крови, свело на рукояти (после он долго не мог, как ни старался, разжать ладонь), и он только подымал и рубил, подымал и рубил, каждый раз бросая вперед всю руку от плеча вместе с саблей и сам наклоняя с седла, и с каждым ударом новый татарский, мордовский ли ратник валился наземь, под копыта скачущей конницы.

Они были готовы теперь мчать в четвертый напуск,

хотя запаленных, покрытых пеной коней шатало и строй залитых кровью русичей, жутко поредевший, казалось, был уже на пределе сил. Но кругом бежали, и оставалось только рубить и рубить. Новая нестройная толпа нахлынула с той стороны, где бился Тит Козельский, и могла бы смять Олегов полк, но разбитые мордовские ратники уже не годились никуда. Они уходили от погони и думали только о спасении своих жизней.

Олег так и не узрел Тагая, не видал его мечущимся среди своих нукеров в виду катящей валом и мимо конницы. Не видал, как хан, бросив шатер, устремил на бег.

По полю бежали полоняники. Какие-то раскосмаченные бабы с воплями кидались к ратным. Весь залитый кровью кметь в разорванной от плеча до пояса кольчуге вдруг подхватил и поднял к седлу, крепко обняв, молодую женщину. «Ваня, Ванюша, Ванята мой!» — кричала та, прижимая к себе изрубленного, мокрого от крови супруга.

Тагай уходил, потеряв весь обоз, полон и три четверти своего войска. Запасная конница уже ушла всугон татарам. Ратники, кто не был тяжко ранен, пересаживались на поводных или захваченных у татар коней. Подъехал Владимир Пронский, тоже окровавивший меч в бою. Выслушав Олега, коротко кивнул и поскакал отряжать погоню.

Тита Козельского держали в седле двое кметей. Князь был ранен и заваливал вбок. Битва была безумной, Олег понял это только теперь, глядя на раненого князя-сподвижника. Но они победили!

Козельского князя снимали с седла, расстелили ковер. Густо набежавшие освобожденные полоняники начали хлопотать около раненых кметей. Уже торопились от реки с найденными в татарском обозе кожаными ведрами, обмывали и перевязывали раны. Над Титом склонился знахарь. Выпрямившись на миг, кивнул Олегу успокоительно: «Будет жить!» Олег, тяжело пересев на сменного жеребца, шагом ехал по полю, отдавая приказания подскакивающим к нему вестоношам.

Уже вели перевязанных арканами спешенных татар. Подумалось: «Пригодятся для обмена!» Гнали коней. Только что Олег позволил стащить с себя бронь и перевязать раны. Он сам знал, что уже не годится сегодня

к бою, но все же тронул коня острогами и поскакал вперед, туда, куда ушли посланные всугон Тагаю дружины.

Погоня воротилась к ночи на запаленных конях, таща на арканах полоняников. Тагай ушел «одною душою», бросивши раненых, покидав запаленных лошадей и повозки. Победа была полная.

Ближним отзвуком этой победы стало то, что московская боярская дума по настойчивому совету Вельяминовых, ныне, почитай, подружившихся с князем Олегом, поставила снять часть полков с коломенского рубежа и послать в помочь суздальскому князю Дмитрию Константинычу. Но дотоле произошло еще несколько — и немаловажных — событий.

ГЛАВА 42

Василий Кирдяпа был в бешенстве и почти справедливо обвинял отца в черной измене.

Зачем он почти год бился в Орде, дарил дары и сорил серебром, зачем добывал ярлык родителю, зачем?! Чтобы батяня отдал одну из сестер за этого вечно скалящего зубы Микулу, а другую, видно по всему, прочил за сосунка Дмитрия и сам — сам! — поднес на блюде москвичам владимирский стол?! За который дед бился всю жизнь! Который по праву должен будет наследовать он, Василий Кирдяпа! Распоряжал бы своим, ин добро! Но он за весь род, то есть и за меня, и за моих детей, внуков, правнуков грамоту подписал! Что ж, я и не князь уже? Али я не воин? Али не я добыл ярлык на великое княжение владимирское?! Шел бы в монахи, старый дурень, стойно Андрею-покойнику, коли уж рати водить не замог! Да и Борис хорош! Туда же! Монаха устрашился! Воин ср...ый! Да я б на его-то месте ни в жисть не ушел из Нижнего! Так! Сговорили за моею спиной! Дак вот же вам, не будет того!

Свои слухачи доносили Василию обо всем, что сотворялось в Нижнем. Знал он и о посольстве боярина Василья Олексича. В воспаленном мозгу сам собою составился замысел перехватить послов, сорвать переговоры и тем, огорчив Бориса до зела, взострить его на брань с родителем-батюшкой... А там... Там начнется такое, что, может, и великое княженье снова наше будет!

В эти дни он нежданно сошелся с младшим братом Семеном, на которого ранее как-то мало и вниманья обращал. Рос, бегал, играл в рюхи и в лапту... А тут вытянулся, похорошел, лицо обнесло первым юношеским пухом. И на него, Василия, отрок глядел во все глаза, считая героем после ордынского похода.

Кирдяпа еще колебался, кипел и гневал, когда произошел этот решивший дальнейшее разговор с Семеном. Младший брат, встретя его на гульбище теремов, вдруг вопросил нежданно: почто батя медлит с походом к Владимиру?

Василий ответил, ворчливо заключив:

— Всю нашу судьбу перечеркнул... Под ноги Москве!

— И ты стерпишь? — выдохнул Семен.

Тут вот, увидя эти ждущие глаза подростка, почуяв нерассудливую готовность к действованию, окончательно порешил Кирдяпа, что во что бы то ни стало порушит отцов уговор с московитами и, более того, будет всю жизнь резаться с Москвой. В ушах у него долго еще стоял страстный шепот Семена:

— Брат! Я не ведаю, что ты задумал совершить, но — делай!

И вот теперь Василий сидел на своем дворе в Суздале и ждал верных вестей.

Над Опольем висело горячее фаянсовое небо. Вечера не приносили прохлады. Такая жара помнилась ему только в Орде. Василий нервничал. Он, не веря отцу, ни в кого уже не верил. Даже юного Семена порою подозревал в измене. На закате повелел вынести постель в сад. Лежал и слушал, как беззвучно разговаривают над головой звезды. Тихий свист долетел из-за ограды. Он поднял голову, потом вскочил, хрустя ветвями, пошел, не разбирая дороги, напрямик к дальней калитке сада. Откинул теплую, так прогрелась за день, сухую до щекотности щеколду. По жаркому дыханию, по смутному очерку лица угадал своего соглядатая. Твердо схватив за руку, поволок за собою. Конь, привязанный за огорожею, уже с торбой на морде, хрупал овсом.

— Испить бы! — попросил истомленный гонец.

Василий, никого не будя, зажег свечу от лампады, достал поливной кувшин из поставца, налил медовухи в серебряный достокан. Гонец пил и пил, захлебываясь и вздыхая, пока не опорожнил почти весь кувшин. После, по знаку Василия, свалился на лавку. Глядя

в недобрые, суженные очи молодого суздальского князя, сказывал о думе, о согласии Бориса, о послах... Кирдяпа вопросил строго:

— Поедут через Владимир?

Гонец кивнул.

— Когда?

— Выехали уже!

Послов следовало задержать. Немедленно. Еще до Владимира. Ах, батюшка, ждешь суда владычня! Милости ждешь от Москвы! Вот он, твой суд!

Василий ударил в серебряное блюдо, подвешенное на стене. Вбежал чумной со сна сенной боярин.

— Буди всех! Дружину! В оружии! — И, держа того за отвороты летнего зипуна, близко притянув к оскаленному, искаженному лицу, прошипел грозно: — И чтобы ни одна гадина, ни один пес в Суздале не сбрехал!

В хоромах началось торопливое шевеление. Василий сорвал со стены саблю, скинул мягкие сапоги, вздел дорожные. Оглянул на гонца — тот спал, уронивши голову на стол. Не стал будить. Скоро явились стремянный с конюшим.

Василий, уже переодетый, прошел в повалушу. Кмети собирались, кто спросонь, кто, видать, и не ложился еще. Разбудили гонца. Собралась ближняя дружина.

Когда Василий повестил, что хочет имать послов дяди на владимирской дороге, заспорили было. Но скоро (бояре были почти все молодые, под стать князю, и думали так же, как он) порешили согласить с Кирдяпою.

Суздаль еще спал, еще мглился передрассветный час и небо зеленело над кровлями, когда вереница вооруженных всадников, ведя за собою поводных коней, выехала в поля. В поникших травах сухо и часто верещали кузнечики. Едва увлажненная дорога глухо отзывалась на осторожный топот коней. Василий то и дело беспокойно поглядывал на светлеющее небо, на котором уже проступали первые шафранно-розовые полосы близкой зари. Скоро перешли на рысь. Отдохнувшие кони шли весело, поматывая головами. Миновали, несколько сонных деревень. Какие-то странники дремали, прикорнув на траве у самой дороги, подложив армяки. Кто-то спросонь поднял кудлатую голову, проводил недоуменным взглядом череду оружных всадников. Посторонь лежал, раскинув руки, седой старик

и не пошевелился. Может, умер? Многие нынче, застигнутые «черною», умирали вот так, при пути.

Ополдень устроили короткую дневку, поели всухомятью, покормили коней. Пересели на поводных. Уже низило солнце, когда, вброд перейдя и переплыв Клязьму, достигли наконец большого придорожного села. По сказкам, нижегородцы тут еще не проезжали, и Кирдяпа в нетерпении решил ехать встречь.

Солнце утонуло в лиловой дымке и большая желтая луна встала над полем, когда, миновав сосновую рощу, всадники на загнанных конях подъезжали к торговому рядку, в котором обычно ночевали проезжие и прохожие — гости ли торговые, вестоноши или боярская чадь.

Василий, сам спавший с лица от целодневной скачки, с запозданием понял, что надо было сожидать, а не скакать встречу невесть с какой страсти,— дорога-то всяко одна! Всадники клевали носами, никли в седлах. Он склонился к оконцу крайней избы, постучал по колоде рукоятью татарской плети. Скоро хлопнула дверь, послышалось:

— Чево нать?!

Подошел, оглядывая конных и поддерживая спадающие порты, босой раскосмаченный мужик. Икнул. Спросонь сперва долго кивал, потом взял в толк, затараторил резвее, показывая пальцем туда, где высил в сумерках обширный господский дом:

— На конях вси, на конях! И по платью видать — бояре, а обоза нетути, нету обоза с има! Кабыть и послы! Ужо гости торговы так-то не ездиют!

Мужика посадили на круп лошади. Бабе своей, что любопытства ради с запозданием выползла на крыльцо, мужик махнул рукой:

— Пожди, я мигом! Показать тута просют!

— Просют, просют... Шастают неведомо кто! — ворчала баба, вглядываясь в темень ночи, откуда только глухо доносило многочисленный конский топ...

Старший Борисов боярин, Василий Олексич, уставши за день, долго не мог уснуть. С завистью слушал храп молодших. В хоромах было жарко, душно. Старику не хватало воздуху. Он спал одетым, скинув только ферязь и сапоги. Многажды вставал, в потемнях нашаривая кувшин, пил квас. Наконец вышел за нуждою на двор и, справив что надо, остоялся, с удовольствием вдыхая нагретый за день, пахнущий садами, пылью и чуть-чуть хвоей вкусный ночной воздух. Подивился полной луне.

В делах да в хлопотах и позабудешь эдак-то подивить божьему миру! Он подвигал пальцами ног, поерзал босыми пятками по дереву, пощупал кожаный кошель на груди, с коим не расставался и в ночь, и, уже поворотя было назад в терем, уловил старческим чутким ухом топот многих копыт на владимирской дороге.

Кабы это ехал купеческий караван, скрипели б возы, слышалась молвь, а тут — одни комонные топочут, и тишина, не глаголют! Рать? На кого? И какая?

Василия Олексича вдруг охватил страх. И по страху тому больше, чем по чему иному, понял старый боярин, что угадал. Ринул в терем, с треском откинув дверь, крикнул: «Беда!» И сообразил: не успеть, не поднять никоторого! Те уже скакали, окружая терем.

Перемахнув перильца, боярин, как был босиком и без ферязи, заскочил под навес, где дремали нерасседланные кони (это и спасло!). Ощупью нашарив, затянул подпругу, ухватив жеребца за храп, вздел удила́, сорвал повод и, вытащив упирающегося коня из-под навеса, взвалился в седло. Сзади раздался крик, визг, хрип. Кто-то заорал заполошно: «Держи!»

Василий Олексич, пригнувшись вплоть ко гриве коня, рвал скачью сквозь сад. Ветви яблонь ломались о грудь коня, хлестали его по темени. Конь с разгону счастливо взял невысокую огорожу и поскакал куда-то вниз по темной луговине к близящей тонкой полоске воды и темному сонному лесу сразу за полупересохшим ручьем. Две стрелы пропели в вышине у него над головою. Кто-то скакал сбочь, стараясь отбить боярина от леса.

Старик бил пятками бока скакуна, уродовал удилами конские губы. Первым ворвался в чащобу кустов, едва не вылетел из седла, опять распластавшись по конской шее, проминовал путаницу протянутых встречь ветвей опушки и, уже попетляв и проплутав по раменью около часу, проскакивая какие-то перелески и выбирая самую глухомань, понял, что ушел. Тут он удержал коня, опять ощупал сохраненную калиту на груди и, стараясь утишить бешено скачущее сердце (стар уже для таковой гоньбы!), стал выбираться на глядень и соображать, как ему безопаснее достичь Владимира.

Василий Кирдяпа первым ворвался в разбуженное сонное царство, кого-то бил, хватал, кто-то (выяснилось потом, что из своих) засветил ему от усердия такого леща по уху, что князя шатнуло и он мгновеньем

оглох... Но вот вздули огонь и начали выводить перевязанных, расхристанных нижегородцев.

— Один, кажись, утек! — повестил вынырнувший из тьмы ратник. Кирдяпа, опоминаясь от оплеухи, только покрутил головой. В толк взялось позже, что ушел-то самый главный боярин и грамоту уволок с собой!

Связанных посажали на коней, привязали к седлам. Давешний мужик так и простоял всю схватку у плетня, поддерживая спадающие порты, и уж потом только, покачивая головою, под заливистый брех проснувшихся деревенских псов побрел домой, дивясь и сочиняя на ходу, как будет заутра сказывать соседям-ближникам о ночном деле.

Дмитрий Константиныч встретил сына в великом гневе. С глазу на глаз последними словами изругал. Нижегородцев велел развязать, накормить и отправить назад к Борису.

Семена, влезшего было, не спросясь, в отцову хоромину, вышвырнул, как щенка.

— Знал?! — рыкнул грозно.— Вон!

Он бегал по горнице, не зная, на что решиться в толикой трудноте. Мысли метались: не то взять сына в узилище, выдать владыке Алексию на суд, не то согласить со всем содеянным и рвать договор с Москвою.

— Кабы ты грамоту ту добыл! — выговорил с останним, угасающим гневом (невесть о чем и уряжено меж ими!).

Василий молча, надменно глядел на отца. Выждал, когда родитель утихнет и перестанет голенасто мерить горницу взад-вперед, сказал:

— Ты забыл, отец, что я тоже князь и тоже теряю право на великое княжение владимирское!

— И ты на меня! — взревел Дмитрий Константиныч.— Вон! Моли Господа, что сын мне родной! Вон! Вон! Вон! И слушать тебя не хочу!

И когда уже Кирдяпа, набычась и засопев, хлопнул дверью, князь вновь забегал по горнице, чувствуя себя загнанной крысой, окруженной врагами со всех сторон. Нет, слать на Москву, к митрополиту, к племяннику, слать за помочью! Сейчас, немедленно! Сразу! Упреждая грубиянство сына!

ГЛАВА 43

Василий Олексич, измученный до предела, подъезжал к Владимиру. Когда с низменной луговой стороны стал перед ним город с чередою соборов на круче, он мысленно обозрел себя и застыдился. Крестьяне любопытно оглядывали косматого старика, босого, расхристанного, исцарапанного, с прутьями и хвоей в волосах и бороде, в одной нательной, располосованной во многих местах рубахе, что, сидя на дорогом, но тоже измученном до предела коне и поддавая ему под брюхо голыми пятками, ехал, сутуля спину и покачиваясь: не понять, не то пьяный, не то вор, не то раненый или болящий какой?

Раза четыре его окликали, прошали, кто таков. Он хрипло отвечал что-то невразумительное, отмахиваясь, и продолжал трудно глядеть меж ушей коня воспаленным, чуток ошалелым взором.

Являться в таком виде на владычный двор явно не стоило. Подумав, Олексич вспомнил, однако, про знакомого владимирского купца, с которым имел дело, продавая хлеб, да и так — не раз займовал у гостя серебро по срочной надобности. «Этот выручит!» — решил и уже резвее погнал шатающегося скакуна.

В городских воротах его едва не остановили. На улицах, пока искал хоромы Якова Нездинича, мальчишки забросали его камнями и катышками сухого навоза. Может, приняли за юрода.

Якова не случилось в дому, а хозяйка Маланья не вдруг и признала боярина. Уразумевши, кто перед нею, ахнула, крикнула девку. Вдвоем оттащили от Олексича цепных псов, преградивших было дорогу диковинному гостю. Выскочивший на хозяйкин зов мальчишка отвел коня к стае, разнуздал и, кинув сена, схватил бадью.

— Погодь поить, запалишь! — только и крикнул боярин ему вслед. Самого, как слез с седла, повело, не устоял бы, да бабы подхватили.

— Батюшко, батюшко! Как же етто тя угораздило, али уж лихие злодеи покорыстовались? — причитала Маланья, затаскивая боярина в терем, поднося квасу и укладывая старика на лавку. Сама живо спроворила баню, и к тому часу, когда Яков Нездинич, закрывши лавку, пришел обедать, боярин уже сидел в горнице выпаренный, расчесанный, в хозяйской холщовой руба-

хе и с вожделением сожидал, когда купчиха поставит на стол кашу и щи.

Ели с разговорцем. Купец, взяв в толк боярскую нужду, тут же сгонял парня подручного в суконные ряды, Василия Олексича переодели в новую ферязь, обули в тимовые зеленые сапоги. От разговора о расплате Яков попросту отмахнул рукой.

— О чем речь, боярин, свои дак! Не последний раз... Когда и ты мне... И в ум не бери!

На владычном дворе Василию Олексичу, узнавши, что боярин везет важную грамоту «самому», тут же сменили жеребца, выдали поводного коня, кошель с серебром, снедный припас и двух комонных провожатых в придачу. И боярин поскакал по дороге на Москву, уважительно усмехаясь в бороду, любуя тому, как резво снарядила его в путь владычная челядь при одном только митрополичьем имени. «Держит! Хозяин!» — повторял он, покачивая головой.

К Москве подъезжали утром четвертого дня. Ехали сквозь дым. Горели болота. Небо было мутным, пахло гарью. По дорогам брели нищие, голодающие. Больные умирали тут же, в придорожных кустах, и над трупами, которые вдали от городов никто уже не погребал, вилось разжиревшее воронье. Василий Олексич только вздыхал: погинет мужик — и боярину не уцелеть!

В одной деревне узрели у ограды крохотного детеныша, не то мальчонку, не то девоньку, в долгой опрелой рубахе, до того тощего, что и не понять было, в чем душа держится. Боярин придержал коня:

— Мамка твоя где?

— Тамо! — ребенок махнул рукою в сторону избы и прибавил тоненьким голоском: — Мертвая она, не шевелится, и тата мертвый. Хлебца нетути?

Василия Олексича аж прошибло слезой. Вынул ломоть, подал. Видя, как ребенок жадно вцепился в корку, примолвил:

— Да ты не вдруг!

Тот покивал головою — разумею, мол! — не переставая жевать.

Завидя остановившегося боярина, вылезла на крыльцо ближнего дома какая-то словно ополоумевшая жонка. Завидя ломоть в руках у дитяти, крикнула, словно прокаркала:

— Хлеб! Хлеба дай! Дай!

С этой, понял боярин, сговаривать было бесполезно.

Прибрела старуха. Тоже — ветром шатало, но взгляд был осмыслен и беззубый рот твердо сжат. Спросила дитятю:

— Манькя, матка-то померла, што ль?

— Возьмешь девочку-ту? — спросил боярин, как можно строже сдвигая брови.

— Куды ж ей! Ни отца, ни матери...

— На! — Он вынул из калиты обрубок серебряной гривны, подал старухе.— И вот! — Вытащил целый круглый хлеб, подал тоже. Хлебу старая обрадовалась больше, чем серебру.

Владычные кмети немо смотрели на причуду нижегородского боярина. Видно, навидались всякого. Впрочем, один вымолвил, уже когда отъезжали:

— Дорога... Разорёно дак! Там-то,— он кивнул в сторону Мещоры,— за болотами, и «черная» обошла, и с хлебом живут! Иной год у них вымокает, а нынь родило дивно!

Впрочем, глядя на то, что творилось вокруг, ни в какую Мещору уже не верилось.

Когда подъезжали к Москве, встал сильный ветер. Чаялось, разгонит наконец дымную мгу, даст вздохнуть полною грудью. И хотя ветер был тоже горяч, все же повеяло хоть какою-то свежестью. Боры глухо и ровно загудели по сторонам, а когда въехали на пригорок, ветром разом перепутало гривы коням.

Но что-то мрачное чуялось в горячем воздухе, и кони стали невесть с чего сторожко навостривать уши. Со стороны Москвы доносило ровный глубокий гул, небо было в багровых отсветах, и вдруг началось что-то невообразимое: со всех сторон на дорогу стали падать обгорелые птицы. Птицы летели оттуда, встречь — вороны, галки, воробьи, сороки, грачи, голуби, летели с каким-то смятенным заполошным ором и падали, падали, то оставаясь недвижными комками, то с писком отползая в кусты и траву. Пахло паленым пером. Конь под боярином начал уросить, привставал на дыбы, грыз удила, и понадобилось несколько раз с силой огреть его ременною, с тяжким наконечником плетью, покамест жеребец, прижавши уши, не взял наконец в опор.

Скачью миновали лог. Поднялись на угор. Гул все нарастал, распадаясь на отдельные заполошные звоны и рокот — словно бы сильный шум бегущей водопадом воды. По небу ходили дымно-розовые столбы, и еще

ничего толком не понимая, все трое, малость побледнев, погнали коней опрометью.

Ветер дул в спину, почти нес всадников на себе. Дорога вилась меж холмов и вдруг выскочила на маковицу высокого берега, на самый глядень над Яузой, и всадники, невольно оцепенев, сбились в кучу. Перед ними лежала Москва, вернее, то, что было ею. Весь город пылал, как один огромный костер. По дымному небу мотались багровые сполохи. В реве пламени тонул гул человеческих голосов и отчаянное ржанье и блеяние гибнущей скотины. Набатно звонили колокола, замирая один за другим: колокольни, пылая, как свечи, рушились в костер. Кремник стоял на горе весь объятый пламенем. Огненные сверкающие языки, вспыхивая и опадая, опоясывали городовые стены. Башни выбрасывали из своего нутра водометы раздуваемого яростным ветром огня. Гибнущими мурашами суетились по склонам Боровицкого холма сотни людей. Заречье тоже пылало. Пылал весь Подол, и посад, и Занеглименье — огонь уже зримо охватил весь город с загородьем.

У Василия Олексича временем начинало кружить голову. Он переставал понимать, где он, что с ним, зачем он тут вообще, и не пришел ли конец всему, что с таким трудом и прехитро изобретали князь Борис, владыка Алексий и десятки иных мужей, вельмож и бояр, и не рушится ли на его глазах в ничто все это, дабы остались вновь одна лишь дорога да умирающее давешнее дитя, и уже не только Москвы, но и Нижнего, ни Владимира, ни Суздаля — ничего больше не обрящет он, озрясь и сотворив крестное знамение. Все исчезнет в небылом, в огне, и не зрит ли он наставшее окончание света?!

Один из владычных кметей вдруг, оставя боярина, косо поскакал вниз по склону, крича что-то одному из бегущих на той стороне. У второго кметя — оглянув, увидал Василий Олексич,— не было в губах ни кровинки, лишь в расширенных от ужаса, остекленевших глазах играли багровые сполохи. Ратника пришлось несколько раз торнуть под бок концом плети, чтобы он прочнулся и кое-как пришел в себя.

Съезжая с холма, они попали в толпу бегущих, обожженных, ополоумевших людей, и их закружило вихорем общей беды. Все сущее тут уже перестало казаться апокалиптическою сказкою. Называли причину

пожара: загорелось, баяли, у Всех Святых, и просушенный небывалою сухменью город вспыхнул костром. Головни и бревна метало бурею за десять дворов; гасили один двор, а загоралось в десяти иных местах. Кто не успел вымчать из города, потеряли в един час имение и товар, все огнь взял без утечи...

Все это говорилось вперебой, с плачем, воплями. Выкликали своих, громко оплакивали погоревших на пожаре. Редко можно было сыскать не потерявшего разум мужика. К одному такому Василий Олексич подъехал, вопросил. Тот поднял светлый внимательный взор. Вслушался. Вдруг натужно закашлял, выплюнул черный сгусток мокроты, тут же повинился:

— Варно! Обгорел малость, не продохнуть...

Одежа на нем истлела во многих местах и еще дымилась.

— Князь-то? Митрий Иваныч? Во граде, бают, был, а не то на Воробьевых горах! Тысяцкой в Кремнике сейчас, добро спасает, ежели не погиб! — Только того и узнано было.

Ринувшею внезапно толпою их разделило со вторым кметем, закружило, и боярин остался один. Он выбрался из толпы встречных и, поминутно понукая упрямящегося коня, въехал в почернелые, поникшие сады. Дымились догорающие развалины. Огонь уже схлынул отсюдова, оставя пепел и трупы, ушел вперед.

Василий Олексич наконец выбрался к берегу Москвы-реки. Здесь уцелело несколько хором и лабазов. На самом берегу высились груды спасенного товара, и суета купеческих молодших, кметей и иноземных гостей торговых выглядела осмысленней и деловитей.

Над Кремником, на горе, еще металось рваное пламя. Дым то взмывал, то стлался по самой воде, и тогда становилось трудно дышать.

На все вопрошания про тысяцкого люди то кивали куда-то туда, в сторону огня, то пожимали плечами.

— В Заречье он! — повестил один из кметей.

— А владыка?

— В Переславли!

— На Москве был! Из утра в Кремнике видели! — раздалось сразу несколько голосов.

Василий Олексич уже было подумывал переправиться как ни то на ту сторону, но решил еще проехать берегом: авось кто объяснит погоднее, где тут какая ни на есть княжеская али владычная власть.

Наплавной мост поверху тоже обгорел, но еще держался. Видать, тушили, не дали воли огню. По нему, подтапливая колеблемый настил, туда и обратно тянулась непрерывная череда пеших и верхоконных горожан, жонок с дитями и выведенной из огня скотиною, монахов и воинов. Редкие, там и сям, падали головни. Конь пугливо шарахал от огненных гостинцев, шумно дышал, заполошно поводя боками. От воды вдруг достиг Василия Олексича голос:

— Ето што! Час назад тута целые бревна по небу носило!

На телеге, по ступицы утонувшей в воде, сидел невеликий ростом, но подбористый темнокудрявый мужик, уже и не так молодой — виделось по седине в волосах. Рядом с ним двое нахохлившихся пареньков, лет десяти и восьми, одинаково, не в масть с отцом, белоголовых. Две лошади, коренная с пристяжной, тоже загнанные в воду, вздрагивали, накрытые с головами рядинной попоной. Скудный крестьянский скарб на телеге был весь подмочен, курились, просыхая, свиты на парнях и зипун на мужике. Впрочем, под расстегнутым суконным зипуном виднелась расшитая шелками, хоть и вдосталь замаранная рубаха, и на ногах незнакомца были не лапти, а сапоги, востроносые, явно не крестьянского обиходу.

Василий Олексич подъехал близ. Остановился, не слезая с коня, поздоровался с мужиком. Вскоре по разговору понял, что перед ним не крестьянин, но кметь, а быть может, и повыше кто. Говорили урывками. Волны жара, накатывая с высоты, порою не давали вздохнуть.

— Закинь коню морду-то! — посоветовал незнакомец. Василий Олексич спешился и укрыл коня попоною.

— Гля-ко!

Невдали от них подоткнувшие полы подрясников иноки и послушники вперемешку с ратными носили большие и малые книги, укладывая их в ящики и рогожные кули.

— Побогатела Москва! Вона сколь книг! Ищо и не в едином мести! — похвастал незнакомец.

— Все спасли книги-то? — поинтересовался боярин.

— А как! В перву голову ето уж, как водитце на пожаре! Иконы и книги таскать! Я, вона, аж руку повредил! — Он показал замотанную тряпицею длань.— Ранетая, дак и не спроворил... А славная была работа!

Иконы выносили, книги да казну... А знойно, варно! Иногды не вздохнуть! А бревна аж над самою головою вьются, пра слово, што голуби! — Он усмехнул, присвистнул, покачал головой.— Я ищо тот пожар помню! При князь Семене! Сам тогды на пожаре ратовал! Вота, как я с тобой, с има стояли тамотка вон! — Кудрявый кивнул куда-то за Боровицкую гору, над которой уже спадало высокое пламя и только долгие языки горького дыма сползали, то густея, то истончаясь, по скатам горы.

— Не в дружине ли княжой? — вопросил на всякий случай Василий Олексич.

— Не! Владычный я! — отверг ратник, слегка поскучнев, и примолвил: — Был когда и в княжой дружине, под тысяцким... Старшим был! — похвастал, не утерпев.

— Не поможешь тысяцкого найти али митрополита? — решился боярин.

— Етто можно! — легко согласился бывший старшой.— А сам-то ты отколе?

— С Нижнего Новагорода! Боярин я, посольское дело у меня!

— Вишь ты, один?! — удивился кудрявый.

— Были двое провожатых, да растерял тута! — возразил боярин и примолвил, не утерпев: — Парни-то твои?

— Племяши! — ласково выговорил ратник.— Из деревни везу! Братню семью «черная» зацепила, вишь, четверо померло, да и хозяйка тово... Брат-от как словно умом тронутый стал. Ну, я пареньков забрал, пущай поживут с моею хозяйкой! Деревня у меня,— пояснил-погордился, отводя глаза, словно о неважном,— от владыки дадена...

«Посельский! — догадался боярин.— А на холопа-то не похож! Хотя — как етта дадена? Може, вотчинник был, да задолжал, по обельной грамоте, значит...» Прошать об этом было неудобно, и Василий Олексич вновь перевел речь на дела семейные.

— А самого-то брата почто оставил?

— Да и самого взял бы, да как? — возразил бывший старшой.— Пчелы, скотина... Брат у меня хозяин справной! Отойдет, отдышит — и парней ему возверну...

— Звать-то тя как?

— Никита я, Федоров по деду. А тя?

— Васильем Олексичем.

— Митрия Кстиныча али князя Бориса? — уточнил Никита Федоров.

— Бориса Костянтиныча!

— Ну и што, отдает князь Борис город-от брату?! — Светлые разбойные глаза озорно вперились в смущенный лик нижегородского посла.

— Как ить сказать! Потолковать надобно! — раздумчиво возразил Олексич.— Пото и послан!

— Ага! — заключил Федоров, кивая чему-то, понятому им про себя, и, соскочив прямо в воду, начал одною рукой отвязывать пристяжную.

Василий Олексич, смéтя скорую ухватку бывшего старшого, помог ему вытащить седло, наложить просохшие потники и зануздать лошадь.

— В реке спасались! — пояснил Никита Федоров.— Я, как дело-то постиг, загнал коней в воду по самые холки. Лопоть, правда, подмочил, да не сожог! Парняков мокнуть оставил, а сам вот по старой памяти... Мой батя покойный Кремник рубил при Калите, а енти вон костры уже и я ставил с дружиной при старом тысяцком... Все дымом взялось! Нету уже на Москве такого князя, каков был Семен Иваныч! — воздохнул он. Подумав, примолвил: — Ноне у нас митрополит всему голова...

На коня всел Никита ухватисто, легко коснувшись стремени носком сапога, и конь под ним пошел красиво, мелко перебирая копытами, круто сгибая шею, чутко слушаясь своего седока. Видать было, что всадник лихой, даром что правил одной рукою.

Со знающим провожатым дело у боярина пошло много резвей. Вопросили одного, другого, третьего. Никита окликал, здоровался, его узнавали порою, кивали в ответ. Скоро вызналось, где был тысяцкий, устремили туда. Дорогу им то и дело заволакивало дымом, кони кашляли в дыму, пятили, не хотели идти.

Василий Василич, обожженный, с копотью на лице, вынырнул нежданно встречь и тоже узнал Никиту. Поздоровался как с равным и, узнавши дело, тотчас оборотил к послу. Смерил боярина взглядом, изрек:

— Челом!

Кивнул вынырнувшим из дыма дружинникам. Василия Олексича окружили кмети, и вновь все поскакали к реке, к наплавному полуобгорелому мосту. Когда перебрались по шатким лавинкам в Заречье, вздохнулось свободнее. Назади, то заволакиваясь дымом, то

обнажаясь во всей своей убогой наготе, догорал город.

Скакали дорогою мимо обугленных дымящих хором, после въехали в лес и стали подыматься на гору. Издали, уже с урыва, с высоты, промаячил вдали огромным почернелым пожарищем бывший город, затянутый лентами и прядями белого в солнечных лучах дыма, со вспыхивающими там и сям язычками останних пожаров.

— Ждали! — немногословно говорил тысяцкий, рыся рядом с послом. Выслушав о дорожной пакости, склонил тугую шею, подвигал желваками скул. Уточнил: — Ищо за Владимиром?! — Про себя подумал: «Неужли сам Борис?! Али Митрий-князь передумал чего?» Он едва заметно пожал плечами. Сваты сидели в Суздале. Не мог Дмитрий Кстиныч таковой пакости совершить, не мог!

В загородных палатах московского князя Василия Олексича встретили по полному чину. Наспех расставленная стража из «детей боярских» стерегла путь. Посла накормили, дали умыться и переодеть платье. Дума собралась тотчас, не стряпая.

Юный Дмитрий, посаженный на резной столец в гостевой палате, вспыхивая от гордости и смущения, наклонением головы приветствовал нижегородского посла. Бояре, тоже, видать, наспех собранные, кто с пожара и переодеться еще не успел, рассаженные рядами по правую и левую руку от князя, чинно, из рук в руки, приняли грамоту.

Из начавшейся толковни Василий Олексич уразумел, что от Бориса хотят твердого и скорого согласия на все предложения Москвы. Он должен подписать отказную грамоту на великий стол и соступиться нижегородского стола, вернув ярлык Дмитрию, не обращаясь при этом ни за каким третейским судом к хану.

Василий Олексич, при виде нищих на дорогах и сгоревшего города подумавший было, что московиты будут сговорчивее, тут только уразумел, что перед ним — стена и власть, которая не намерена шутить. (Он не ведал еще о поражении Тагая и о том, что московиты поимели возможность теперь снять полк с коломенского рубежа для помощи князю Дмитрию.)

Сразу после заседания думы Василия Олексича провели к владыке Алексию, который был извещен своими слухачами о том, что нападение на посла

совершил Василий Кирдяпа, и уже отправил гонцов в Суздаль и Нижний.

Смущенный несколько лицезрением мальчика на троне, нижегородский боярин тут только, глядя во властные, прозрачно-темные и неумолимо-умные глаза под монашеским клобуком с воскрылиями, на крепкие сухие руки старца с большим владычным золотым перстнем на одной, слушая этот негромкий отчетистый голос, понял, что перед ним подлинная власть Москвы, а то, что было перед тем, токмо внешняя украса ее, и что на престоле мог быть посажен и младенец сущий, дела это не пременило бы никоторым образом. Пока этот старец жив и здесь, дума московская будет в едином жестком кулаке и владимирский великий престол не выйдет из-под власти государей московских.

В глубокой задумчивости отправлялся назад нижегородский посол в сопровождении выделенной ему оружной охраны и обслуги и уже не подивился, узрев, что на пожоге, где там и сям еще вставали медленные клубы остатнего дыма, уже суетятся тысячи народу, скрипят возы, чмокает глина, летит земля из-под лопат и первые свежие дерева тянут конные волокуши по направлению к сгоревшему Кремнику.

ГЛАВА 44

Пакость, учиненная Василием Кирдяпою, дала-таки свои плоды. Узнав о погроме посольства, Борис вскипел и, прервав всякие переговоры с братом, начал собирать полки. Оставив позади город с опечатанными храмами, он выступил ратью к Бережцу.

Впрочем, Борисом руководило скорее отчаяние, чем какой-либо здравый расчет. В Суздале собиралось нешуточное воинство, подходила московская помочь, и силы оказывались слишком неравны.

У Алексия, когда собиралась дружина в подмогу суздальскому князю, произошла первая размолвка с юным Дмитрием.

Выросший, сильно раздавшийся в плечах отрок обиделся вдруг, что его не берут на войну. Он стоял перед Алексием пыжась, постукивая носком сапога, смешной и гордый, бормоча о княжеском достоинстве своем. Алексий внимательно разглядывал юношу (да, уже вьюнош, не отрок!). Угри на широком лице,

голодный блеск глаз, запавшие щеки, широкий нос лаптем, широкие, огрубевшие в воинских упражнениях кисти рук...

— Иван Вельяминов рать ведет, Микула ладит свадьбу править, а я? Я великий князь владимирский!

— И хочешь идти на удельного князя суздальского войной? — вопросом на вопрос ответил Алексий.

Дмитрий, не зная, что рещи, нахмурил чело. Ему упрямо, невзирая на все, что скажет владыка Алексий, хотелось идти в поход, скакать верхом впереди ратей, озирая полки и указывая воеводам, и чтобы те стрелами неслись по полю, исполняя княжеские приказы.

«Пора и женить! — думал меж тем Алексий.— Шестнадцатый год молодцу!»

Мгновением он ощутил себя старым и даже дряхлым, точно неведомое, что гнало, держало и подстегивало его изнутри, дало сбой в этот миг, и разом почуялись годы и тяжесть господарских трудов, взваленных им на себя. Дмитрий учился трудно, особого прилежания к наукам не оказывал. Понимание людей и событий приходило к нему больше от живого общения с боярами и дворней, чем от книг. Учить княжича греческому Алексий вовсе не стал. Понимал: не осилит! И от этого широкого в кости, грубоватого подростка в юношеских угрях зависит грядущая судьба Руси Великой, судьба всего прехитрого устроения власти, которое Алексий возводил год за годом, не ослабевая в трудах.

— Князю должно выигрывать не сраженья, а войны! — строго отверг Алексий, справясь с минутною слабостью.— Пусть Вельяминовы одни сходят в этот поход, в коем не произойдет ни единого сражения!

— Что ж, князь Борис и драться не будет? — невступчиво возражает отрок.

— Не будет! — твердо отвечает Алексий.— Коими силами драться ему? Татары — не помога, с нижегородским полком противу всей суздальской земли да наших ратных Борису и часу не устоять! А Василий Василич воевода опытный!

— Да-а-а...— протянул Дмитрий, начиная понемногу сдаваться.— А Володьку-то взяли с собой!

Алексий усмехнул, мысленно осенив себя крестным знамением: юношеское упрямство, раздуваемое гордостью, очень опасно в князе и может с возростием привести ко многому худому в отроке...

— Помнишь, о чем тебе с Владимиром сказывал

игумен Сергий? — произносит он елико возможно мягче.— Владимиру водить рати, тебе — править землей! Поверь, управлять княжеством гораздо труднее, чем рубиться в сечах!

— Ну а что я должен делать теперь? — спросил Дмитрий все еще упрямо.— Коли вы все решили за меня!

— Не за тебя, а для тебя! — назидательно поправил митрополит.— Оба князя подпишут грамоту, по коей отрекаются навсегда, сами и в роде своем, от великого княжения владимирского! Для тебя отрекаются, сыне мой духовный! Для твоих грядущих детей!.. Мыслю, пора тебя и женить! — высказал наконец Алексий, откидываясь к спинке кресла.— Садись!

Дмитрий, привскочив, забрался в высокое кресло, предназначенное ему в покоях митрополита. Положил руки на подлокотники, стойно Алексию, так же выпрямил стан. Алексий сдержал чуть заметную улыбку при виде стараний юного князя.

— Мыслю женить тебя на младшей дочери князя Дмитрия Костянтиныча! — произнес Алексий торжественно.— И сим навсегда укрепить мир с суздальскою землей!

Дмитрий вспыхнул, побледнел, опять вспыхнул.

— А какая она? — вопросил вовсе по-мальчишески.

— Вот Микула, приятель твой, воротит, он расскажет тебе,— пообещал митрополит.— А теперь скажи, что ты будешь вершить, когда мы замирим суздальского князя?

— Отстрою Москву! — гордо изрек Дмитрий.

Алексий чуть склонил голову.

— Еще?

— Пойду войной на Ольгерда!

Алексий отрицательно потряс головой.

— Неверно, князь! Идти в поход надобно только тогда, когда ты уверен в победе. Думай еще!

— Ну, Новгород...— неуверенно протянул Дмитрий. Ему так нравилось воображать себя на коне перед полками, что вопросы Алексия сбивали его с толку.

— Прежде всего, князь, надобно тебе совокупить всю землю Владимирскую! — твердо произнес митрополит.

— Значит, Тверь? — догадался Дмитрий.

— Значит, Тверь! — отмолвил митрополит.

— Но Василий Кашинской...— начал было Дмитрий.

— Кашинский князь стар, а после него тверской стол отойдет князю микулинскому! — договорил Алексий.

— Значит, мне надобно вести полки на Михайлу Лексаныча?! — вопросил отрок, вновь загораясь.

— Не ведаю! — вздохнув, отозвался Алексий.— Попробуем обойтись без того.

Уже выходя из покоя, князь не утерпел и вопросил:

— А она красивая?

— Да! — ответил Алексий.

— Очень?

— Очень!

Дмитрий прихлопнул дверь и вприпрыжку побежал по лестнице.

ГЛАВА 45

Микула, накоротко возвращавшийся под Москву, прискакал в Суздаль со своими поезжанами, с дарами для молодой, честь по чести.

Это была немного странная свадьба, ибо жених прибывал с полками великого князя московского и сразу после венца должен был выступать с ратью противу Бориса. Однако обряд, хоть и в краткие сроки, учинен был по полному поряду, начиная со смотрин и до девичника. Так же закрывали молодую, так же везли к венцу в сопровождении целой свиты верхоконных поезжан, так же теснился в улицах народ и текло рекой даровое княжеское пиво. А наличие множества ратных воевод только придало сугубой торжественности заключительному свадебному пиру.

Сват чин чином снял надкусанными пирогами плат с головы молодой, и Маша-Мария, впервые близко-поблизку узрев очи вельяминовского добра молодца, задохнулась и, прикрывши глаза, вся отдалась первому — под крики дружины и гостей — прилюдному свадебному поцелую.

Потом они кормили друг друга кашею, привыкая к новому для обоих ощущению неведомой близости, и Мария благодарно чуяла сдержанную властность его руки, ощущала его дыхание на своем лице и чла в глазах строгую мужественность молодого Вельяминова, постигая, что не ошиблась в выборе и брак этот будет на-

верняка и благ, и разумен, и муж станет ей подлинным хозяином, защитой и обороной, а потому не стыдно, не зазорно ни перед кем и вовсе неважно, что он — не князь.

В эту ночь Микула, скрепив себя и соблюдая древний и мудрый стариковский завет, вовсе не тронул молодую, отвергнув все намеки свахи, которой не терпелось вынести гостям брачную рубаху. Под гул голосов продолжавшей пировать за столами дружины они лежали рядом полуодетые, и Микула, бережно лаская девушку, вполгласа сказывал о себе, о братьях, дядьях, о всем вельяминовском роде. И уже только перед тем как пришли горшками бить о стену повалуши, «будя» молодых, они обнялись крепко-крепко, и выписные очи суздальской княжны, почуявшей силу молодых рук Микулы Вельяминова, замглились истомою жданной, но отложенной до возвращения из похода брачной ночи...

Он уже сидел на коне и чалый жеребец играл под ним, грызя удила, когда Марья, запоздавшая, вышла, смущаясь, проводить супруга. Впервые в головке замужней женщины, она неловко потянулась к нему, приникла, пряча лицо, когда Микула обнял ее, наклонясь с седла.

Когда полк уже выступил за городские ворота, Иван Вельяминов подъехал к брату, вопросил:

— Что, словно девка ищо она у тебя?

— Девка и есь! — отмолвил тот, сплевывая и щурясь на струящийся впереди путь и череду верхоконных, ощетиненную остриями копий.

— Али оробел? — вымолвил с ленивой усмешкой Иван, подкусывая брата.

— Баял уже тебе! — возразил Микула со сдержанным гневом.— Порода в ей! Мы с тобой ухари посадские, што ль? Вельяминовы ныне стали князьям равны! Должно к тому и вежество иметь княжеское! Власть христьянину дана токмо на добро. Иначе — зачем она? Зачем тогда мы с тобой, Москва, великий стол, поход нонешний? Должно иметь к ближнему, к смерду — любовь по завету Христа! К земле — рачительность! К семье — береженье и жалость! Я так понимаю себя. Свой долг! Что же я, разбегусь, как тот кобель, абы на постелю вспрыгнуть? Пущай привыкнет ко мне. И не с пьяного пира нам с нею дитё зачинать!

Иван глянул чуть удивленно на брата, покачал головой, не нашелся что сказать-молвить и молча поскакал

вперед, догоняя родителя-батюшку. Микула чуть надменно усмехнул вослед Ивану. Сам он гордился собою, своим решением и намерен был и впредь не изменять гордости своей. Он ехал, с удовольствием чуя, как ходят под атласной кожей коня мускулы, и, разгораясь лицом, представлял себе скорую встречу с женою и их первую, взаправдашнюю брачную ночь. Ликующая радость переполняла его, и он готов был порою соколом взвиться с седла и лететь аж на крыльях впереди ратных полков.

Боя, как и предвидел Алексий, не произошло. У Бережца рати встретились и, постоявши полдня друг против друга, смирились. Борис подписывал грамоты, оставлял Нижний старшему брату; ему, в свою очередь, возвращали захваченный было суздальскими войсками Городец, и все возвращалось на своя си. И как-то не почувствовано, не понято осталось никем, что впервые за полтора столетия большое государственное дело было решено владимирскими князьями без воли ханской и помимо Орды.

...Когда уже все было счастливо окончено, возвращаясь из Нижнего в Троицкую обитель, Сергий на пути под Гороховцем основал новую пустынь, которая, как и все заводы преподобного Сергия, не погибла, а продолжала жить два или три столетия, ибо о ней еще в 1591 году сообщалось как о существующей в грамоте царя Федора Ивановича.

ГЛАВА 46

Пушистый снег взлетает струями из-под копыт и серебристым облаком висит в воздухе, искрясь на солнце. Ковровые сани летят вослед друг другу длинным разукрашенным поездом. С хохотом, свистом, песнями скачет дружина, пригибаясь в седлах. Крашенный лазорью, обитый узорною кожей и серебром возок на алых полозьях скользит, взлетая и опадая на раскатах. Могучий коренник под узорной расписною дугой пышет жаром, атласные пристяжные вьются по сторонам, сбруя в жарком серебре, мчат, развеивая гривы, не мчат — летят, рвутся вперед, так часто работая копытами, что ноги коней сливает в одну стремительно крутящуюся карусель.

Встречные возы загодя сворачивают прямо в снег.

Бабы от колодца, забывши про ведра и взяв руки лопаточкой, долгим взором провожают разукрашенную, в лентах и бубенцах змею княжеского свадебного поезда.

Избы стоят по сторонам, загаченные соломой, курясь, точно овины осенью. Тени от белых колеблемых столбов печного дыма в морозном воздухе шатаются по земле.

Уносится поезд, замирают в отдалении клики, и бабы, прежде чем поднять коромысло, вздыхают так, что вышитая цветною шерстью по краю шубейка едва не лопает на груди. Приговаривают с сожалительной завистью:

— Нашу-то Овдотью московскому князю повезли! Песельниц, бают, по всем ближним деревням собирали, самых голосистых, значит! — Бабам немного завидно, что свадьба не у них, не в Нижнем, а где-то в Коломне, у князя московского.— Ну, так уж, видно, и надлежит!

Краше праздника, чем свадьба, почитай, и нет на селе! Загодя варят пиво. Сваху, когда идет, вздев разные валенки, выглядывают изо всех дворов. На сиденье к невесте девки сходятся с ближних и дальних починков, сидят в лучшей, казовой сряде, с песнями ходят по улице, провожая невесту с «угора» на «угор», где она причитает, поносят чужу дальню сторонушку и выхваливая свою. Все родичи, сколь ни есть, уж и из дали дальней приедут поздравствовать невесту перед венцом.

Коней для поезда выбирают самолучших, сбруя у кого и в серебре, а уж в медном наряде у всякого, без того жениху стыдно и ехать! Гривы разубраны лентами, расписная дуга где вапой, где и твореным золотом крашена — знай наших! Дру́жки в шитых полотенцах, жених в ордынском тулупе, выхвалы ради, в казовом зипуне, в сапогах узорных: как же, «князь»! Всякого жениха на свадьбе «князем» зовут, так и в песнях величают...

А уж пиво варят задолго до того, на всю деревню чтобы хватило. Мочат, проращивают рожь, сушат, мелют. Наводят солод в деревянной огромной кади, воду нагревают раскаленным каменьем. Хмель с осени запасен! Отлив сладкого сусла для девок, переваривают сусло уже с хмелем, после разливают в лагуны, ставят доходить.

А сколь гостей наедет! Сколь красива невеста в венечном уборе! Вымытая водой с серебра, в парче и жемчугах. Уж хоть бы и оплечья рубахи парчовые, уж хоть бы и тафты на распашник! Это у самой бедной из краше-

нины сарафан, да и то серебром обшит, да и то звончатые круглые пуговицы от груди до подола, старинные, еще с прапрабабкина саяна, до татар до ентих деланы владимирскими мастерами... Те-то были всем мастерам мастеры!

И уж на столе тут и пироги, и студень, и всяких заедок — это еще у невесты, на смотренье. А как повезут поездом в храм, да с оберегом, с молитвою от колдунов-нехристей, тут и семя льняное сыплют, и иголки в подол, и ворожба. (У иных кони станут — ни с места, хоть убей!) А там, как косы переплетут по-женски, и повойник наденут, и в дом к молодому отвезут, отведут ли, коли рядом... Тут уж пир — всем пирам пир! И белых рыбников со стерлядью наготовят, и аржаных, и рыбное тут, и мясное из свежей убоины, и кисели, и каши... В хорошей-то свадьбе после первой каши, что молодым подают, тридцать — сорок перемен на столе! Ешь — не хочу! Тут и всякого нищего, сирого-убогого накормят, тут и песельницам надеют и шанег, и пирогов, и пряников, а побогаче кто — и серебром дает за хорошу-то песню, за «виноградие»! Тут уж и пиво всем подносят, кто ни набьется в избу, а что песен, песен!

А потом молодых ведут в холодну клеть, и уж тут сваха рубаху кажет али сам жених алу ленточку навяжет да вынесут... И назавтра еще гуляют гости! А всей-то свадьбы — неделя, то и две! Так вот у мужиков, у смердов. Ну а у боярина али князя — дак тут и пересказать не перескажешь всего-то! В котором городе княжеска свадьба, так, почитай, весь город кормят и поят в те-то поры!

Потому и завидуют, глядя вослед улетающему поезду, бабы. Так бы уж не постояли, сходили бы али съездили в Нижний-то, хоша песен послушать да у крыльца княжеского постоять!

Толкуют почасту, что свадьба великого князя Дмитрия затеивалась в Коломне ради норова суздальского князя Дмитрия Константиныча. Мол, не в Нижнем или Суздале, дак хоть и не в Москве! Вряд ли стесненный и утесненный суздальский князь, выдавший недавно старшую дочь за сына московского тысяцкого, получивший свой город только при деятельной помощи московита, мог бы так уж чваниться перед зятем, как-никак великим князем Владимирской земли и «старшим братом» по лестнице княжеских отношений! (Хоть по родству и приходил ему юный Дмитрий Иванович четверо-

юродным племянником.) Вряд ли! Споры тут ежели какие и были, то только того свойства, каких песельниц на свадьбу выбирать. Тут уже суздальцы никак не хотели уступать своего московитам, а те тоже уперлись, едва до брани дело не дошло. И коломенские бабы голос подняли: «У нас-де свадьба, дак!» Так три хора и набрали в конце концов, чтобы никого не обидеть, и уж песельницы разбиться готовы были, абы соперниц перепеть!

Но слишком еще печально выглядела выгоревшая целиком и едва-едва восстановленная Москва. Еще черными закоптелыми остовами высили каменные церкви в сиротливом обрамлении пожоги и груд только-только навезенных и едва ошкуренных бревен. Слишком не к свадьбе гляделась деловитая стукотня топоров, ряды саней и разъезженные, в навозе и черной угольной грязи улицы. И Кремник (Кремль, как называли его гости-сурожане, генуэзские фряги) еще весь был в развалах и осыпях рухнувшей испепеленной стены, в деловом кипении древоделей, что возводили пока амбары, житный двор, бертьяницы, конюшни и погреба, не трогая выгоревших теремов и двора митрополичьего. Словом, город рос, возникал, но не был еще готов к тому, чтобы править в нем княжескую свадьбу. Ну а во Владимире (стольном городе как-никак!) не захотели московские бояре: Вельяминовы, Бяконтовы, Акинфовы воспротивились, а за ними и вся дума. Так и выбрали ближнюю Коломну.

Пятнадцатилетний подросток, с первым еще юношеским томлением по ночам, еще ни разу не изведавший «этого», Дмитрий, ожидаючи нареченную свою, извелся совсем. Все уже стало неважно: и зависть к Ивану Вельяминову, спокойное превосходство которого приводило его то в отчаяние, то в неистовый гнев, и подогреваемая многими юношеская жажда повелевать, править, двигать полки (хотя он и доселе не мог бы сказать внятно, какие полки, куда и зачем), и успехи в верховой езде, в стрельбе из лука и рубке саблей, и отроческое упрямство перед учителем, когда нечего противопоставить взрослой мудрости наставника, а возражать хочется до зуда во всем теле,— упрямство, все чаще испытываемое им по отношению к Алексию (почему он и братьев митрополита, всех Бяконтовых начинал безотчетно сторониться и избегать), и ревность к двоюродному брату Владимиру, слегка лишь умеряемая возрастом — Володя был двумя годами младше и еще маль-

чик,— и многое, многое другое, чего и не пересказать, все отошло посторонь, отодвинулось, потеряло остроту и вкус, позабылось перед тем, что ожидало его теперь, ныне, вот уже в считанное количество дней. Свадьба должна была состояться на Масленой [1].

Уже в Коломну съезжались многочисленные гости из Москвы, Рузы, Можая, Юрьева-Польского, Дмитрова, Костромы, Переяславля, Владимира, Ростова, Стародуба, Нижнего и Суздаля, даже из Рязани, уже три хора песельниц, ревниво гадающих, кто из них лучше, собрались в коломенских хоромах и вполголоса пробовали свое мастерство, уже пекли, варили и стряпали, а Дмитрий все еще не ведал облика невесты своей. Глядел на молодую жену Микулы и приходил в отчаяние. Княжна Марья была и строга и холодна на его мальчишечий погляд, и окажись он с такою вместе, не ведал бы, как и поступить.

Микула утешал молодого князя, как мог. Наедине как-то выспросил, сумеет ли тот не сплоховать с женою. Дмитрий, отчаянно, пятнами краснея, признался, пряча глаза, что не ведает точно, как это происходит, и Микула спокойно и внятно объяснил ему, в чем тут люди отличны от быков и коней, случки коих Дмитрию приходило наблюдать неоднократно.

Так вот оно и подходило и подкатывало, пока наконец не подошло и жениха не помчали в таком же облаке морозного сверкающего вихря с Воробьевых гор в Коломну, и дру́жки — молодая холостежь из виднейших боярских родов, перевязанные полотенцами, с гиканьем и свистом поскакали впереди и вослед кожаного красного расписного княжого возка, в котором бешеные выстоявшиеся кони несли к брачной постели надежду Москвы.

Перед самой Коломной жених потребовал гневно, чтобы его выпустили из возка и подали верхового коня. А то — словно девку везут! И лихо поскакал впереди своей разряженной молодой дружины. (Скакал и чаял: скакать и скакать бы еще, не то слезешь с седла — и оробеешь вдруг и сразу до стыдноты.)

Но вот и коломенские рубленые городни, и толпы народа, и золото облачений духовенства, и клики. И — эх! — разгоряченные всадники врываются в город, в свалку раскидывают загату поперек пути, Дмитрий кидает

---

[1] 18 января 1366 года.

серебро горстями — путь свободен! Они скачут к терему. Слезая с седла, он чуть было не падает, нога запуталась в стремени, но дружки подхватывают со сторон, едва не вносят, от лишнего усердия, на крыльцо. Федор Кошка с Иваном Родионовым Квашней первые понимают свою промашку, ставят князя на ноги, отпихивают других, и вот он подымается по ступеням, по венецейским сукнам, чеканя шаг, и краснеет, и бледнеет, и мурашки бегут по коже, и пот промочил уже всю нижнюю, хрусткого шелку рубаху на спине.

Дальнейшее — как в тумане. Громкие голоса, хор, «здравствование». Дружки стягивают с него дорожный опашень и зипун, кто-то соображает переменить князю рубаху, вытирают вином лицо, шею, спину и грудь. И вот свежая рубаха холодит плечи, и Федор Кошка на коленях хлопочет с тканым поясом, подносят зипун цареградской парчи, застегивают праздничный золотой с капторгами пояс, причесывают костяным новогородским гребнем непослушные, торчащие врозь волосы, ободряют, подмигивают, натягивают на ноги тонкие красные сапоги... За стеною, в столовой горнице, уже запевает хор:

А-ох, у нашей свахи, а-а,
Золотой кокошник
Головушку клонит, а-а,
Жемчужныя серьги
Уши обтянули, а-а,
Бобровая шуба
Плечи обломила, а-а...

Слышится рык свадебного тысяцкого, великого боярина Василия Окатьича. В горницу вступают Дмитрий Зерно и Андрей Иваныч Акинфов, кланяются, зовут князя ко столу. Он идет, мало что соображая и видя, его сажают, расчищая дорогу, гремит хор:

Налетали, налетали ясны сокола,
Ой рано, ой рано, ой рано моё!

В горнице жарко от множества гостей, от целых пучков восковых изукрашенных свеч в шандалах. Близит вывод невесты к столу (чин кое в чем нарушен, в Нижнем уже было первое застолье, но — без жениха), и вот ведут, ведут! Его подталкивают, он встает, неживыми руками мнет бахрому расстеленного по краю стола полотенца.

Евдокия, четырнадцатилетняя суздальская княжна, уже развившаяся, с высокою грудью, огромными голубыми глазами, завешенная до бровей густою бахромой дорогой шелковой шали, отчего виднее становится нежный обвод круглящихся щек и белой шеи, охваченной бирюзовым наборочником, останавливается посреди горницы. Румянец вспыхивает у нее на лице, ходит волнами, и Дмитрий густо, облегченно и благодарно краснеет. Невеста куда проще микулинской жены, проще и краше, на его погляд. Он видит близко-поблизку испуганно-любопытный взгляд, сочные губы, не ведая в сей миг, что любуется в девушке тем, что нравилось когда-то его прадеду и что будет принято на Москве и века спустя как первый признак истинной женской красоты (о чем Иван Грозный когда-то напишет английской королеве, требуя найти ему невесту «попухлявее»).

Ничего такого не мыслит московский князь, он и вовсе ни о чем не в состоянии ныне путем помыслить, но невеста ему нравится — до сладкого жара в теле, до румянца, и он едва не роняет чару густого меду, которую подносит ему на серебряном подносе суздальская княжна, поддерживаемая со сторон двумя вывожальницами. И первый, через стол, поцелуй — не поцелуй, а лишь тронули губами друг друга... Оглушающе гремит хор коломенских песельниц, и вот она обернулась, уходит...

Там, в задней, когда ее разоболокают подруги, Овдотья, смеясь, крутит головой, говорит:

— Красный, красный какой! Как рак! Ой, подружки, не могу! И нос лаптем! — И закатывается счастливым, заливистым смехом.

Закусок, которыми уставлен стол, почти никто не трогает, не до того. Все уже торопятся в сани.

Отец невесты, Дмитрий Константиныч, трясущимися руками благословляет ставших перед ним на колени на расстеленном тулупе московского князя и младшую дочерь, не столь понимая, сколь чувствуя, что с этим браком окончательно отрекается от великого стола владимирского и гордых надежд покойного родителя своего и теперь остается ему одна только услада — что его внуки от дочери и этого неуклюжего отрока наследуют все же вышнюю власть в Русской земле! А ему, ему хоть это вот утешение, подготовленное дальновидным Алексием, что он как-никак тесть, родич, а не боярин служилый в московской думе, каковыми становятся

ныне все новые и новые мелкие удельные князья, и что было бы уже и вовсе соромно, прямо-таки непереносно ему, вчерашнему великому князю Залесской Руси! И потому еще дрожат сухие, утратившие властную силу руки князя и икона, которой он обносит троекратно головы жениха с невестою, вздрагивает у него в руках... Не кончены, далеко не кончены еще спор и злобы, и аж до царя Василия Шуйского, до Смутного времени дотянется ниточка трудной борьбы служений и измен князей суздальских дому московских государей... Но сейчас здесь старый человек, благословляющий дочерь с женихом, навек отрекается высшей власти, и не потому ли еще так увлажнены его глаза и предательская слеза, нежданно проблеснув, прячется в долгой бороде Дмитрия Константиныча?

Невесту выводят закрытую. «Дети боярские» — оружие наголо — берегут путь. Гомон толпы. (Мор схлынул, и все уже будто забыли о нем!) Громкая самостийная «Слава». Только что в палатах московки пели «Разлилось, разлелеялось», а тут уже запевают свою, коломенскую, рязанскую «Славу».

Невесту усаживают в сани. Жених, как и прежде, взмывает в седло, раз и навсегда решив, что верхом ему ехать достойнее. И вот церковь, паперть, жарко пылающая свечным блеском внутренность храма. Тесаные стены отмыты до чистоты янтаря. Венчает молодых красивый рослый коломенский протопоп Дмитрий, Митяй. Митрополит Алексий говорит им напутное слово. И хотя до Дмитрия мало что доходит в сей час, но в церкви он опоминается, чуточку приходит в себя и уже к большому столу храбро решает не робеть. А потому, когда сват, скусив концы ржаных пирогов, снимает наконец шаль, открывая молодую уже с переплетенными косами и в повойнике, Дмитрий по зову всех гостей крепко и неумело берет ее за уши и прижимает, притискивает сочные губы девушки к своим губам. Оба задыхаются, не ведая, что делать дальше, и долго не садятся на расстеленную для них мехом наружу овчину.

Хоры песельниц поют по очереди, соревнуясь, и коломенские зычат всех громче, оглушая гостей.

Уже проникшие незнамо как в палату (Алексий был против потешников) скоморохи пляшут, дудят и выделывают головокружительные прыжки на том конце столов, уже молодые откормили друг друга кашей, уже полупьяны гости, а Дмитрий с Евдокией ждут, украдкой сцепив

руки пальцами,— два почти ребенка, для которых сейчас, кроме любви, нет уже ничего на свете, и тотчас подымаются, заалев, когда их зовут вести в холодную горницу, на высокую постель из снопов.

Дмитрий — никогда не бывал серьезнее — запрыгивает на постель первый. Овдотья, наклонясь, стаскивает с него сапоги, собирает раскатившиеся иноземные золотые кругляши. Они раздеваются, не трогая друг друга, в скудном свете одной тоненькой свечи, наконец тушат и ее. Дмитрий ощупью находит девушку, затаскивает неловко через себя на постель, пугается, и это спасает его от грубости. Они долго лежат рядом под легким собольим одеялом, ласкаясь и привыкая друг к другу. Потом Овдотья ложится на спину — верно, тоже подружки учили,— крепко прижмуривает глаза. Ей почти не больно и скоро становится легко. После они лежат, обнявшись и жарко дыша, ни тот ни другой еще ничего толком не понявши, но им хорошо и будет хорошо всю жизнь, двум детям, узнавшим любовь впервые и только после освятившего ее венца, в чем была (Дмитрий, конечно, ни днесь, ни после не задумывается об этом), помимо всех политических расчетов и интриг, житейская мудрость владыки Алексия.

Скоро придут швырять горшки в дверь, пир будет вестись своим побытом, будет здравствовать князя Дмитрия протопоп Митяй и до того придет юному князю по нраву, что будет позже князевым духовником и едва не станет — годы спустя, по князеву хотению — митрополитом всея Руси... Много чего еще будет на княжеской свадьбе и после нее!

А совершитель всего сего стоит сейчас на молитве в моленном покое своем и, отвлекаясь от священных слов, прикидывает, когда возможно сказать Дмитрию о сугубых надобностях государства, и первой из них — строительстве взамен сгоревшей крепости каменного Кремника. Ибо он ждет иных, грозных событий и хочет приуготовить к ним заранее новую столицу Руси.

ГЛАВА 47

На углу Рядятиной строили новую церкву. Осиф Варфоломеич постоял, задравши голову, не мог не постоять!

День был тепел, мороз отдало, протаяли кровли, и с бахромчатой стеклянной череды сосулек звонко опадала

частая капель. Птицы уже дрались меж собой, выхватывая клочки шерсти и ветоши — ладили гнезда.

Мастеры вздымали камень на своды — хранящий еще холод зимы ржавый рыхлый ильменский известняк. Вмазывали рядами плинфу.

«По-старому кладут!» — радуясь невесть чему, думал боярин. Он стоял, уперев руки в боки, ферязь с откинутым алым воротом, застегнутая у горла костяною запоной и распахнутая, свободно свисала с плеч. Задирая голову, едва не сронил щегольскую, с бобровым околышем высокую шапку.

Подошли двое шильников, весело, чуть нахально окликнули боярина:

— Наше — Олфоромеицю! Слыхали, молодчов наймуешь?

Мужики стояли вольно, обнявшись. В одном боярин узнал красавца Птаху Торопа, другой был ему неведом.

— Чо ли в поход, на Волгу? — уточнил Тороп.— Слыхом земля полнитце!

Осиф Варфоломеич недовольно свел брови, пожал плечами, словно бы говоря: не знаю, мол!

— Да брось ты, боярин! — отверг Тороп, лениво поигрывая голосом: — Уже весь Новый Город на дыбах! Полтораста никак альбо двести ушкуев готовишь! Цего там! Ай ненадобны стали? Словно бы нас, таких, нынце и не берут?

Осиф Варфоломеич сопел, не решивши пока, что рещи.

— Видал меня в дели! — напирал Тороп.— За Камень с тобою ходили, ну!

— Ладно! — вымолвил наконец Осиф Варфоломеич.— Приходите ко мне во двор, потолкуем!

— Дозволь тогда каку серебряницу на разживу! — обрадованно продолжал Птаха, торопясь закрепить успех.

Осиф Варфоломеич порылся в кошеле, достал было несколько стертых кожаных бел.

— Да уж не жадничай, боярин! — возразил Тороп, глядючи на него с прищуром и словно невзначай загораживая проход. Осиф Варфоломеич, ворча, достал рубленую половину гривны. Отмотавшись наконец от мужиков, пошел берегом.

Широкая промоина посереди Волхова расширилась, съедая береговой припай. У низкого моста, у лодей, возились плотники. Густо тек дух смолы, смолили все, почи-

тай, торопились выстать до чистой воды. Он глазом нашел свои ушкуи, там тоже густо копошился трудовой люд. Вступил в нутро ворот. Миновав сплошное нагроможденье амбаров, лабазов, основательной рубки деловых палат, вышел к Борису и Глебу. Отсюда, минуя Софию и владычный двор, сквозь Неревские ворота вышел к началу Великой. Сенька, холоп, догнал, запыхавшись:

— Баяли, будут у Онцифора!

— Ин добро!

По Великой прошел вдоль высоких тынов, за которыми проглядывали только верха теремные. Впрочем, в отверстые ворота и здесь было видимо деловое кишение: готовились к весне, к торгу, к первым торговым лодьям, к орамой страде. Обросшие кони чесались о вереи ворот. Пробегала челядь.

Боярин шел опрятно — не замочить бы дорогих тимовых сапогов, обходил лужи, налитые на бревенчатом настиле там и сям (непротаявший лед не давал уходить влаге). Весной пахло, весной! Он взглядывал вдаль, где нежною, в дымке, голубой лазорью светило весеннее прозрачное небо, приманчиво далекое над уже потемнелыми, сбросившими иней и снег прутьями садов. И виделись высокие медноствольные боры на ярах, синяя вода рек, чужие города, Камень со сбегающими с оснеженных вершин потоками, с настороженной чащобою, откуда могла прилететь вогульская оперенная стрела... Весною и старого старика тянет вдаль!

Василий Федорыч с Александром Обакумовичем уже ждали припозднившего боярина. Александр соколом стоял в воротах Онцифоровой усадьбы, выглядывал, а Василий был в тереме. Поздоровались.

— Рад старик, цто к ему зашли! — сообщил Александр, усмехаясь невесть чему, а больше своему здоровью, весне, молодости.

Поднялись на высокое двоевсходное крыльцо. Онцифор Лукин сидел на лавке, беседуя. Привстал. Хитрые морщинки побежали от глаз.

— Вняли? — сказал. Пошел встречу. Обнялись, перецеловались все трое. Расторопная девка тотчас внесла кувшин, чарки темного серебра и закусь: хорошую рыбу на деревянной тарели, грибы, брусницу, заедки. Налили белого меду, выпили.

— Не будет того, как с нашими молодчами пять лет тому? — прищурясь, спросил Онцифор.

— Того не будет! — весело отверг Александр.— Да ведь не всякую рвань берем с собою! Эко, рты раззявили: бражничали под самым Нижним да Костромой... А бесермен подвинуть давно надобно! Да и нижегороцки купчи зачванились: с той поры, как Митрий Кстиныч на великом столе сидел, нашему новогороцкому гостю торговому и вовсе пути не дают!

— Хоцешь, Олександр, дам тебе молодчов из той самой «рвани»? — прервал Онцифор.— Про Еску Ляда и Гридю Креня слыхал? Из ихней ватаги мало кого и спаслось!

— Мне Еска ведом,— отозвался Василий Федорыч, доныне молчавший.— На Мурман ходили с ним. Каку беду — за неделю чует мужик! Шли с Груманта. Всем нисьто, а Ляд: чую, мол, норвеги тута, чую, и всё! Заставил moристее взять и оборудиться всема. Ну и прошли, миновали! А те, после вызнал, на Пялице-реке стояли, наших стерегли, так-то!

Онцифор только кивал:

— Ну! Дак он и от Митрия Кстиныця ушел! Накануне поднялси, чуяло сердце, бает! И тех-то хотел упредить, в главной ватаге, да их уже всех повязали и повезли молодчов!

— Никоторого хан не помиловал?

— Никоторого! Остання горсть уж вырвалась, когда Хидыря зарезали! Гридя Крень началовал има, да и те еле живы до дому добрались!

— Ну, звери-бусурмана, отольютце вам новогороцки протори! — пообещал Александр.

— Нижний брать будете? — вопросил Онцифор.— Город-от тверд!

— Город на цьто нам! Торг возьмем, у самой воды! — отверг Александр Обакумович. Василий с Осифом согласно склонили головы.

— Одно скажу вам напутное слово,— молвил Онцифор.— Не пейтя! Бесермены завсегда тверезые, дак перережут пьяных-то!

— Мы ить не всех берем! — возразил Василий Федорыч, деловито сдвигая брови.— Боле житьих, молодых молодчов, которы к порядку послухмяны, да хожалых, навычных к той страде.

— Послухмяных-то послухмяных... Меня вон многие просют! — сказал Осиф Варфоломеич.— Народ зол да и к прибытку жаден, татары нонь не угроза ему!

— Дак кликну Ляда-то? — предложил Онцифор.

— Погодь! — остановил Александр.— Ну, вот ты, Лукич, поболе нас всех тута в деле понимаешь...

— Ну-у-у! — протянул Онцифор.— На Волгу-то не хаживал, господа бояре...

— Погодь! — Александр, отстранив сотоварищей, стал решительно объяснять Онцифору свой умысел.

Старик слушал, прихмуря чело, потом покачал головою:

— Не! Не то, други! Такова-то, скажем...— Он поискал глазами, достал кусочек бересты, писало, стал чертить.— Вот, ежели вымолы у их...— Скоро все четверо лежали локтями на столе, разглядывая рисунок и споря. Онцифор глядел вприщур, потряс головой и твердым ногтем показал на чертеже: — Отселе! — И хитро, мелко рассмеялся старческим смехом, видя, как задумались враз воеводы.— Эх! — выдохнул он, отваливая на лавку.— Эх!..

— А то — в долю с нами? — предложил было Осиф.

— Стар, детки, стар! — сожалительно отозвался Онцифор Лукин.— Каку промашку содею, сына Юрья опозорю, осрамлю! Нет, как ся закаял, дак уж слова не переменю. Да и стар! Одышлив стал! Да хворь... Тута надобна молодость! Оногды по трои дён не спишь — и греби али пихайсе... И ницьто! Како-то все, вишь, преже легко было! К вам кто в долю-то?

Троица переглянулась, несколько смутясь.

— Да уж знаю! Василий Данилыч с Плотников! Сам-то на Двину нынче ладит... Поцто не вместях? Весь ить конечь Плотничкой в руках держит, а посадницять, дак братьев! И братья-те не худы у его!

В горницу засунула любопытный нос востроглазая егоза в жемчужном очелье, в палевого персидского шелку летнике. Высунула нос, скрылась, после сызнова высунула лукавую рожицу.

— Ну, егоза! Залезай уж в горницу-то! — ободрил Онцифор.— Внука моя! — Похвастал.

Девушка, почти девочка еще, зашла, чинясь, опустив разбойные глаза, которыми исподлобья так и стреляла, разглядывая гостей. Тонкая шейка в янтарях в три ряда. На руках — серебряные браслеты. Видать, приоделась к выходу.

Бояре, оторвавшись от обсуждения ратных дел, все трое с удовольствием и улыбками разглядывали дедову баловницу. Уже теперь виделось, что года через два-три станет писаною красавицей.

— Кому только растет? — не утерпел спросить Александр Обакумович. Девушка вся вспыхнула, зашлась темным румянцем, отемнели глаза. Гордо вскинула подбородок.

— Женихи есчо не подросли для ей! — возразил Онцифор, сам привлекая к себе тонкий стан внуки, посадил рядом, огладил, вопросил заботно:

— Цего ти?

— А я думала, ты, дедо, один...— начала она, смущаясь и краснея уже до клюквенной краснины. Не договорила, потупилась: — После, потом! — Легко взлетела с лавки, перепелочкой порхнула, только и видели ее.

Онцифор, улыбаясь, глядел вослед, покачивая головой:

— Вота, други! Кака на старости утеха у меня! То все суетисси, а годы пройдут, и уж себе-то нищего окроме доброй домовины не нать! А все для их да для их! Ты, Олександр,— поднял он омягченный взор,— не усмехайсе, того! Годы прокатят, и не увидашь их! А тамо и сам будешь во внуках свою прежню младость лелеять...— И, осурьезнев ликом, прихлопнул по бересте: — Так вот! И боле иного протчего — в горсти держи молодчов! Быват, на первом суступе одолели — и пустились порты одирать да лопоть, а тут свежая ватага нагрянет, и переколют их, болезных, как куроптей! Товар бери весь зараз на лодьи и под крепки заставы. А делить — потом. Иначе толку не добудешь и беды не избудешь! Ну, созову Еську-то с Кренем! — прибавил Онцифор, ударяя в край подвешенного медного блюда.

Вбежала прежняя девка и по знаку хозяина ввела сивого, в полуседой бороде, с лицом в морщинах, но крепкого еще телом молодца. Ляд сдержанно поклонился. Принял предложенную чару. Гридя Крень вступил в покой опосле. Боярину Осифу Варфоломеичу кивнул как равному. Приглашенные сели не чинясь, но сидели молча, ждали, что спросят, а бояре сперва как-то и не знали, о чем прошать. Наконец Онцифор, видя смущение вятших, подсказал, молча подвигая ушкуйникам тарель со снедью:

— По Волге пойдут! Проводник нужен добрый. Ты-то, Ляд, знашь те места, от смерти уходил, дак!

Ляд усмехнулся едко, краем губ, приобнажив желтые клыки.

— Молодчи погинули,— сказал Гридя Крень,— никто и помнит теперь! — И словно овеял холодом погреб-

ным. Да тут и тучка нашла, и в окошке небольшом, отокрытом в сад, к Волхову, затуманилось.

Александр Обакумович первый нарушил нужное молчание, начал выспрашивать. Ляд отвечал на диво толково. Гридя приговаривал изредка, выплескивая годами копившуюся злобу. И зачванившиеся было слегка бояре скоро почуяли неложное уважение к предложенному Онцифором поводырю.

Василий Федорыч на прощание вынул две серебряные гривны в задаток. Ляд опять усмехнулся натужною, недоброй усмешкою, но серебро забрал не чинясь. Столковавшись, молодцов отпустили, и когда те ушли, вздохнули с облегчением. В путях, в дорогах, в лодье, в напуске ратном — незаменимые будут мужики, но зреть их в тереме рядом с собою как-то и неловко словно!

— А с Васильем Данилычем сговоритя, сговоритя, господа! — напутствовал старый Онцифор троих бояринов.— Он пущай степенному глаза закроет, без новогороцка слова идете, дак!

На улице всех троих вновь обняла пронзительная свежесть и тот неясный томительный восторг, который охватывает человека самой ранней порою, когда еще снег, еще крепки утренники и все еще может переменить на снег и на холод, но уже идет, журчит подспудно, наливает красниной ветви тальника и зеленью голые стволы осин, уже кричит победным птичьим заливистым граем, уже сияет неодолимо промытыми небесами и бредущими из дали дальней барашковыми стадами белосиреневых облаков, уже шумит гудом крови в жилах, вспыхивает очами красавиц, вскипает хмелевою удалью в сердцах разгульной новогородской вольницы, звенит капелью, стукочит денно и нощно молотками лодейников на Волхове, зовет и манит неодолимо в земли незнаемые шальная торжествующая весна. И бояре, затеявшие поход на Волгу без «слова новогороцкова» (то есть как там еще повернет, а Новый Город нам не защита, не оборона — сами пошли, дак!), все одно были счастливы и полны веры в себя и в молодых, жаждущих растратить себя сил.

Спустясь к неревским вымолам, они тут же кликнули перевоз и, запрыгнув вместе с холопами в долгоносую лодью, поплыли наискосок к тому берегу. Онцифор был прав. С Василием Данилычем стоило переговорить еще раз и не стряпая, а боярин, как они вызнали, был ныне за Онтоном Святым, где под его доглядом готовили

лодьи к дальнему пути на Двину. Потому и не возвращались к Великому мосту. Перевозчик, отпихнув шестом пару льдин, вывел лодку на стремнину чистой воды и, сильно гребя, погнал ее наискось и вниз к тому берегу.

В сильные зимы неревляна пешком ходили через лед прямо отсюдова в Плотницкий конец, но нынче Волхов не замерзнул даже к Крещенью, а теперь и вовсе разошелся широкою стремительной промоиной в серо-голубых заберегах припайного льда.

Лодочник скользил вплоть с наледью, и величавая груда Святого Онтона проплывала мимо них, близкая и все еще недоступная: лед у воды был тонок. Но вот показалась пробитая пешнями протока. Лодочник, мало черпнув, заворотил туда, и скоро бояре, кинув гребцу несколько зеленых бусин, гуськом подымались в угор на близящий сплошной перестук мастеров-конопатчиков.

Василия Данилыча нашли скоро. Боярин стоял, расставя ноги в узорных сапогах, в распахнутой куньей шубе до полу и, хмурясь и сопя, строжил дворского, которому велено было заготовить смолу и дрова еще с вечера, а он и доселе не доставил ни того ни другого. Оборотя гневный лик — лезут тут иные! — узрел бояр и, забыв про дворского, улыбаясь пошел встречь. Тот в сердцах пихнул в шею молодшего, свирепо прошипев:

— Мигом! — И, пользуясь ослабою, побежал торопить возчиков: ворочали бы побыстрей, пока сызнова не влетело!

Все четверо постояли еще немного, глядя на уже готовые, заново проконопаченные, кое-где в белых полосах замененной свежей обшивки, вытянутые из воды и оттого необычно высокие, с резными драконьими мордами, лишенные оснастки и потому похожие на каких-то сказочных животных лодьи.

— На едаком солнце токо и смоли! Токо и смоли! Снег сойдет, дожди пойдут, уже смола таково льнуть не будет! — разорялся еще, отходя, Василий Данилыч. Вокруг лодей кипела деловитая толковая суета. Мастера, поглядывая на боярина, вершили свое. И когда бояре пошли, разговаривая, посторонь, мастер с вершины корабля прикрикнул, словно своему подручному, деловито и строго:

— Смолы вези, боярин! Не то работа станет, а протор твой!

И Василий Данилыч, покивав и не огорчаясь, крикнул в ответ:

— Мигом! Сам впрягусь, коли! — И только уже оборотясь к спутникам, негромко, но яро договорил про холопа-дворского:

— Шкуру спущу с подлеца, умедлит ежели!

Он царственно шел, топча расшитыми сапогами мокрый, перемешанный с сором снег, волоча по земи подол дорогой шубы. На вопрос, пошлет ли на Двину одного Ивана с Прокопием, отмолвил твердо:

— Сам с има иду!

Только тут, поглядев боярина в деле, понял Александр Обакумович, почему Василий Данилыч не рвется посадничать, предоставив власть братьям, а себе взявши то, без чего и власть не стоит,— дело. Уж и в матерых годах боярин, и сын взросл, а вот — сам едет на Двину с хозяйским доглядом, поведет дружину, нагонит страху на непокорных двинян, заглянет на Вагу, на Кокшенгу, на Уфтюгу... Будет пробираться переволоками, страдать от комарья, с шестопером или саблей в руке вести молодцов на приступ какого-нибудь чудского острожка, вязать и ковать в железа ростовских и прочих данщиков, забравшихся не в свои угодья, спать по лесным охотничьим берлогам, есть обугленное над костром мясо и грызть черствые сухари, пить воду из ручьев, строжить холопов, дабы не промочили дорогóй меховой рухляди, собирать ясак с самояди да дикой лопи и с прибытком, с набитыми до верхних набоев лодьями, везя лопоть, скору, сало морского зверя, рыбий зуб и серебро, отправив и отослав в Новгород лодьи с хлебом со своих кокшенгских росчистей, воротит поздней осенью к Господину Великому Новгороду и будет вновь в дорогой шубе бобровой высить тут, строжить слуг, гонять дворских, а к старости, воспомня о душе, затеет каменный храм у себя на Ильиной улице...

Боярина ждал возок, достаточно просторный и для четверых. Кони поволокли его по протаявшей бревенчатой мостовой и скоро, пересекши Никитину улицу и Федоровский ручей, выкатили к вздымавшемуся нагромождению хором и теремов, тут, на горе, казавшихся богаче и сановитее окраинных, посадских, и уже в виду усадеб и храмов Славенского конца заворотили в Ильину улицу.

Въехали во двор. К возку кинулись слуги. Коротко осведомясь, повезли ли уже бочки со смолою к вымолам, и покивав согласно, Василий Данилыч тяжко и твердо начал восходить по ступеням. В сенях, расстег-

нув резной, рыбьего зуба запон, бросил, не оглядываясь, шубу в руки прислуге. Поведя широко рукою в парчовом наруче с массивным золотым перстнем на безымянном пальце, пригласил бояр в хоромы. Все вослед хозяину скинули верхнее и посажались за стол.

— Слыхал, слыхал! Ладите ушкуи! Молодчов не с три ли тысячи набрали? Али поболе того?! — возгласил трубно, раздвинувши улыбкою могучую бороду.— У Онцифора были? Живет старик! — Усмехнулся, покачал головою, подумал.— А и прав! Я вон тоже не лезу... Как ноне стало по-новому, дак и лады. Боюдраки меньше, ето Онцифор на добро обустроил! Ето он прав! Совет посаднич и степенной, и свои дела теперь, плотницьки, при нас, ето все так! И цто на Волгу собрались, так! Ведаю! — Он не ударил, уложил кулаки на стол, подумал, сощурясь.— Велик Новый Город, а тесен стал! — Примолвил, утупил чело. Подумал, сказал: — Серебра дам. И струги дам. И молодчов подошлю. А «слова новогороцкова» не достану вам, господа! На стол не выложу! И не прошайте! Ноне опеть с великим князем, с московським теперь, розмирье не розмирье, а неведомо цьто! И тут мое слово последнее: степенному рот замажу, а уж какой быть беды дорожной — сами берегитесь, бояре! Воротите здравы — тута Новгород вам помога опеть!

— Колготы б не было...— нерешительно проговорил Осиф Варфоломеич. Василий Данилыч покосился на его, отмотнул, будто муху отогнал:

— Не будет! «Слова» не будет, а так, чтоб... Ни приставов, ни позовниц на вас не пошлю, ни городецьким не дадим никоторой вести... Так вот! — решительно изрек, приканчивая разговор.— Довольны ли?

Все трое кивнули согласно. Большего и не ждали от «Господина Великого Новагорода». С ханом в открытую и доселева спорить не приходилось, а и великому князю владимирскому Великий Новгород — не указ!

— Ну а довольны — прошу не побрезговать, отведать нашего сига разварного! — изрек Василий Данилыч и хлопнул в ладоши. Двери отокрылись, вбежала прислуга. Начали накрывать на столы.

ГЛАВА 48

Всю зиму на Москву из Мячкова возили белый камень. Мужики, согнанные из деревень на городовое дело, ругались:

— Добро. бы лес! Там всего и знатья — топор да руки. А тут эко: не знай, как и подступить к ему!

Плиту ломали железными клиньями, загоняя их в сырой известняк. В сильные морозы долбили дыры, наливали водой. К утру породу разламывало льдом. Грубо отесанные тут же четвероугольные глыбы вздымали на массивные, из цельного дерева, короткие волокуши и в два, а то и в три коня — ежели большой камень — волокли к городу. По всей дороге на Москву тянулись и тянулись друг за другом эти волокуши, и возчики шли рядом, похлопывая рукавицами и погоняя бредущих шагом коней, не дозволяя себе вставать на задок волокуши даже на спусках. Камень был нов. Бревно оно бревно и есь! Его известно и как везти, и сколь потянет, и как вязать вервием. А эти неподъемные отломы порой не ведали, как и укреплять. В ином месте хозяин стоял, почесывая в затылке, а камень, сорвавшись с перевернутой волокуши и разорвав вервие, лежал посторонь, косо и глубоко уйдя в снег, и незнамо было, как его и здымать теперя! Подъедет боярин, будет почем зря материть, после скликать народ...

Точно в таком положении был Услюм, когда его наехал Никита, торопясь с владычным поручением в Бяконтово село. Никита сперва не признал брата. Бормотнул было, скосив глаза: «Раззя...» — да узрел жалкий, беззащитный взгляд возчика и, разом признав, без слова спрыгнул с седла в снег. На напарника Никите пришлось прикрикнуть. Привязали коней, вырубили ваги. Возились поболе часу в рыхлом снегу, взмокли, переругались, доколе наконец подняли морозный, шершавый, искрящийся инеем квадр на волокушу и вывели коня на утоптанную дорогу. У всех троих тряслись руки. Присели передохнуть, жадно жевали, передавая друг другу, краюху хлеба.

— Эко дело неподъемное князь затеял! — качал головою Услюм, отогреваясь душою от братней помоги. Напарник Никитин, откусывая в очередь хлеб, важно изрек:

— Будет теперича Москва белокаменна! — И все

трое молча склонили головы уже не впервой услышанному речению. Слово было изречено — и как прилипло, пригодилось, по-люби пришло до того, что в песнях позднейшая краснокирпичная Москва упорно продолжала называться белокаменною.

Услюм коротко сказывал о новой жене: порядливая, обиходная, жалимая — для него это были главные бабьи добродетели, повестил о детях, с прежнего быванья не чужих теперь и Никите. Никита молча кивал головою. Уже садясь на коня, вымолвил:

— Не князь и затеял! Митрополит! Наш владыка далеко чует: быть может, Ольгердово нахождение! Так что, браток, нам с тобою тоже у этого дела негоже спать. Ну, бывай! На спусках-то силом не держи лошади. Она сама почует, как ей способней!

ГЛАВА 49

Алексий мог торжествовать. Задуманное им строительство каменного Кремника было утверждено в январе прилюдно и достойно, соборным решением всего боярского синклита. Юный московский князь сидел на резном золоченом стольце в шапке Мономаха и был очень горд собою. Широкое лицо князя то вспыхивало, то бледнело. Он сам — сам! — правит думою. Владимир сидел на другом стольце, пониже, то и дело взглядывая любопытно на двоюродного старшего брата. Бояре собрались все: и великие думные бояре, и те, от кого Алексий чаял хоть какой благостыни — серебром ли, людьми, конями, снедным припасом или какою иною справою.

Вельяминовы были все четверо: тысяцкий Василий Василич, Федор Воронец — боярин княжой, Тимофей, на днях утешенный титулом окольничего, и Юрий Грунка — младший из четырех братьев. Для них строительство Кремника — дело чести.

Четверо братьев Алексия: Феофан, Матвей (оба — думные бояра), Константин и Александр Плещей сидели кучно, неизменною опорою владыки во всех его заводах и замыслах.

Акинфичи явились тоже всем кланом: Андрей Иваныч, ныне старший в роде, боярин княжой, Владимир, этому боярство обещано днями, без того Акинфичей было и на дело не своротить, Роман Каменский и

Михаил — вечные соперники Вельяминовых (ныне, слышно, обвиняют Василия Василича в сговоре с Олегом Рязанским!). С ними двоюродник Акинфичей, Александр Иваныч Морхинин, тоже боярин, и старший сын его Григорий Пушка (прозванный так за бешеный нрав). Все многовотчинные, богатые, настырные, и склонить их на совокупное дело Алексию было труднее всего.

За ними Зерновы (а за Зерновыми — торговая Кострома!). Дальше — Кобылины, все пять сыновей покойного Андрея и среди них — входящий в силу московский посол в Орде Федор Кошка, с которым Алексий уже советуется подчас, как с равным.

Приглашен и Иван Квашня, сын покойного Родиона и Клавдии Акинфичны. Молод, но за ним волости Родионовы и дружина, да и Акинфичи за него.

Тут и старые бояра московские: Василий Окатьич, Дмитрий Минич, Афинеевы, Сорокоумовы, Редегины — Семен Михалыч с Елизаром и Иван Мороз.

Тут и обоярившиеся княжата Фоминские, через разведенную вторую жену Симеона родичи московскому княжескому дому. Их тоже четверо, и двое — Михайло Крюк и Иван Собака — уже заседают в думе. Этим боярство обещано вскоре как награда за постройку каменной крепости.

Сидит тут и другой потомок смоленских княжат, Александр Всеволож, выехавший на Москву, когда его вотчину захватил Ольгерд, и ставший тут боярином. Приехал и Дмитрий Монастырев с Белоозера, по сложным семейным связям через ярославскую княгиню, дочь Калиты, тоже родич московских князей.

Из радонежских вотчинников, почитателей Сергия, приглашены Федор Беклемиш с Фролом — и тоже ради возведения белокаменного Кремля...

Сколько поездок, речей, уговоров! Сколько упрашиваний, стыденья и угроз! Ведь каждый из председящих состоит в доле и обещался строить своим коштом кто башню, кто прясло стены, кто хоть возить камень под основания стен... И все это труд владыки Алексия, коего здесь нет, как нет и многих иных, кого он тоже уговорил, принудил, застращал, заставил, как, например, вдову Симеона Марию. Ибо только он знает до конца, на что идет и на что толкает князя Дмитрия и как нужна в нынешней, уже недальней трудноте каменная крепость Москве!

Всесвятский пожар премного помог Алексию. Будь старый Кремник жив, толковали бы еще до морковкина заговенья. Но тут — все одно надобно подымать город наново! Заставил. Содеял. И вручил князю на блюде златом. И не скажешь, что дар! Во владычном летописании записано: Дмитрий князь с братом Владимиром и боярами, посидев и подумав, решили... Ничего бы не решили без него! Акинфичи насмерть поругались бы с Вельяминовыми, юному князю стали нашептывать в два уха каждый свое — и, дай Бог, великого княженья не истеряли бы!

И что долит? Что неволит к ссорам? Что мешает им всем, забывши себя, мыслить токмо о Руси Великой? Верно, зажиток, дети, род, родовое добро. Но и без того неможно! Он может. (Но он — монах!) И вот еще почему надобны обители общежительные и мудрые иноки, отрешившие от себя всякую собину, всякий зажиток и повинные нести смелое слово к престолу силы, указуя вельможам и князьям!

Святая Русь! Возможна ли она? Но вот же он, Алексий, строит ее, возводит не токмо каменные, но духовные стены! И вот еще почему надобен Сергий. Без него и он, Алексий, становится из пастыря духовного всего лишь наместником княжеского престола, мужем, в миру сущим и мирскою прелестью одержимым.

В час, когда происходило заседание думы, решившей возведение каменного Кремника, Алексий стоял на молитве у себя в иконном покое новоотстроенных владычных хором...

И вот теперь по слову его на Москву возят камень. И уже навожены горы. И в оттаявшей земле роют глубокие ямы под основания каменных костров и стен. И Кремник вновь — словно татарский стан.

Волокуши тянут по грязи квадры камня. Телеги, телеги, телеги с глиною и землей. Тысячи мужиков в посконине, в лаптях, в суконных зипунах. Часто летит земля, ворочаются в грязи измазанные до глаз глиною землекопы.

Мастеры, созванные аж изо Пскова, ходят, глядят, меряют, прикидывая что-то свое. Им тут тоже впервой и — жутковато. Во Пскове стена стоит, почитай, на скале, на известняковой плите.

Иван Вельяминов молча, надменно переведя бровью, сам идет в суконном простом зипуне, высокие сапоги

в глине до колен, на лбу — приставший шмат грязи. Тяжело дышит: копал.

В Иване уже начала сказываться вельяминовская порода. Пошла осыпь, и он сам, распихав оробевших мужиков, взялся за заступ и не уходил, пока не вычерпали весь обвал и не укрепили жердями и кольями стену раскопа.

Сейчас, отряхивая руки, взмокший, шумно дыша, он, измеряя глазом глубину, прошает мастера: скоро ли? Тот мычит, медлит. (Эх, набольшего, как на грех, нетути, а сыну тысяцкого неможно не отвечать!) Начинает осторожно:

— От великой тягости камня...— И машет рукой (пошто врать!).— Не ведаю, боярин! — Честно говорит: — Набольшего нать! Глуби вроде с избытком хватило, дак осыпь-от не крепка... (Он говорит якая, по-псковски, и получается у него «крепкя»).— Думает и решает наконец: — Дубовые слеги ежели? Едак ряд, и едак-то! — Решившись и охрабрев, мастер машет мужикам в раскопе: — Приканчивай!

Иван Вельяминов сам идет вдоль рвов искать набольшего плесковичей. Но тот в толпе машет руками, объясняя что-то. Оборачивает к Ивану слепое, со взвихренною бородою лицо. Видно, весь в мыслях иных. Слушает, склонив голову набок, подставя ухо, кивает, не понимая ничего. Переспрашивает, начиная наконец вникать. Давешний мастер, углядевши Вельяминова, уже бежит следом от раскопа.

— Дуб, дуб! — кричит набольший.— Кто ни та тамо! Ты, Твердята? Дуб!

— Знамо, я и сам смекнул, тово! — торопится обрадованный мастер.

— На врубки кладовай,— поясняет старшой, живописуя на пальцах, как надобно, и, оборотясь вновь к боярину, трясет кудлатою головою, кричит: — Ищо два дни, и по всему раскопу учнем слеги класти! — И, махнувши рукою, забыв и Твердяту и боярина, бежит вновь в толпу работных, углядев новую замятню.

Иван, понявши, что он более не нужен, обходя кучи камня, перешагивая бревна, пробиваясь средь груженых возов, достигает наконец своего коня, которого уже давно держит стремянный, молча принимает повод, легко и красиво подымается в седло и, удерживая жеребца удилами, сверху, прищуря глаза, озирает еще раз тьмочисленное кипение работного люда. Пахнет

глиной, потом, землей, погребной свежестью каменных куч, пахнет весной, и он глядит на все это, что придет вершить ему вослед за отцом — ибо он наследственный московский тысяцкий, иначе уже и не мыслит себя (и так же мыслят, встречая Ивана Вельяминова на улице, тысячи московского люду),— и вздыхает широко, с гордым сознанием своей причастности и неотделимости ото всего, что вершится ныне на Москве.

О молодом князе он не думает. Когда-то насмешливо взирал на потуги толстого подростка, теперь смирился, принял по слову отца. Принял, понял, что тот — князь, и тем словом все отрублено. Его князь. Тот, под которым когда-нибудь и он вослед отцу будет великим тысяцким на Москве!

Алексий в этот час сидел, сгорбясь, у себя в моленном покое и не молился, не писал — думал. Он смертельно устал. Этим летом Кремник (как он втайне сперва надеялся) не свершить. Надобна еще одна зима и еще одно (последнее!) лето. Тогда можно... Он не произнес даже про себя слова «Ольгерд», но подумал именно о нем. Ныне заботила Тверь. Стесняемая все эти долгие годы, теперь, с последнего мора (а мор не престает и с началом весны опять усилился на Москве!), она ощутимо, на глазах уплывала из рук. И началось это с той поры, как мор истребил всех Александровичей, кроме одного Михаила. Того самого! Господь подает ему, Алексию, знак, и он, митрополит всея Руси, не ведает, как прочесть указание Господне.

Теперь вот покойный Семен Константиныч оставил свою вотчину, мимо сводного брата Еремея, князю Михаилу. Михаила все любят в Твери. Это опасно! Он повелел епископу Василию рассудити по правде князя Михаила с Еремеем. И вот вчера пришла весть, что Василий оправил Михаила, оставив Семенову вотчину Дорогобуж за ним. И надобно вновь спорить, убеждать, гневать, приказывать... Быть может, даже совлечь сан с владыки Василия! Нет, это крайняя мера. Достаточно было грозы с покойным суздальским епископом... Как бы то ни было, церковные доходы с Нижнего и Городца пока идут в его, митрополичью казну, а там... А там он поглядит и помыслит...

Епископа Василия надобно заставить оправить Еремея! Иначе вся Тверь еще при живом Василии Кашинском откачнет к Михайле Микулинскому. Передают, он в Твери для всех — словно великий князь!

На миг, на долгий миг Алексий ощутил тяжкий груз протекших годов и желание уйти в потаенную обитель, куда-то в затвор, в келью, как содеял прежний тверской епископ Федор, удалившись от дел в Отроч монастырь, как содеял владыка Моисей в Новом Городе... Он закрыл лицо руками, помотал головой. По звуку шагов догадался, кто вошел в келью. Позвал негромко:

— Леонтий!

Долго глядел в лицо верному помощнику своему почти беззащитным, почти не от мира сего взором.

— Како мыслишь о князе Дмитрии? — вопросил.

Станята тревожно поглядел в очи наставнику. Узрел, понял внутреннюю муку Алексия, тихо ужаснулся про себя. Без владыки жизни своей уже и не мыслил.

— Князь? Бают, не злой! Бояр слушает... Иных...— И убежденно докончил: — Без тебя, владыко, не сдюжить ему!

Алексий вздрогнул, сжав руки на подлокотниках кресла.

— Но ведь не было кого иного! — прошептал. И его, его он, Алексий, мыслит содеять великим князем всея Руси! Так, впрочем, в последние годы свои подписывал грамоты князь Семен. Но Симеон мог! Имел право на то! А он, Алексий, хочет право это содеять наследным правом... Всякого, кто по рождению своему займет владимирский стол. Всякого! Добр! Его брат Владимир куда добрее! Слушает всех! Не всех, а Акинфичей, тех, кто льстит и вадит его молодой спеси! Но я еще жив, Я должен... Должен и буду!

— Леонтий! — произносит он негромко и ждет, когда тот, понятливо уразумев дело, сядет к налою и разогнет вощаницы.— Надобно вновь писать к епископу Василию в Тверь! И кашинскому князю такожде! Пусть удерживает племянника, елико возможет! Пока не достроен Кремник, войны начинать нельзя.

ГЛАВА 50

Михайлу Александровичу помогло выжить в мор то, что он совсем не думал о собственной гибели. И не думал вовсе не оттого, что верил в бессмертие свое, а напротив, положил в душе, что смерти не миновать, неважно, ныне или потом, и усилием воли заставил себя отодвинуть посторонь всякую ослабу и всякий страх перед

черною немочью. Он мыл руки, переменял и окуривал платье, воду пил только ключевую — делал все то, что и делать надлежит, но не плакал, не прятался, а, схоронив матерь, а невдолге и братьев своих, мотался по Твери, подбирал и приказывал хоронить мертвых, привечал умирающих, развозя им кислое питье (больных мучила страшная жажда), и эта последняя отрада, подаваемая гибнущим — хоть и выполняли ее холопы и дружина микулинского князя, а не он сам,— паче многого иного привязывала к нему сердца. Мор, и это было самое страшное, иссушал души. Родичи, подчас дети умирающих родителей или даже родители гибнущих детей, страшась заразы, не дерзали приблизиться к ближникам своим и, слушая жалкий стон умирающего, Христа ради просящего его напоить, только молились и плакали, жадая одного — скорейшей смерти заболевшему... А князь Михайло развозил по домам питье! Это стало к исходу зимы уже почти легендою. Передавали, что микулинский князь сам сидел у постели некоей вдовицы в Затьмацкой слободе и даже сам поил болящую, и та будто бы, умирая, осиянная светом, благословила Михайлу, нарекая его великим князем тверским. Баяли и иного много, всего-то не пересказать!

Михаил, хоть и не сидел у постели вдовы, в самом деле не покидал чумного города. Его коня видели всюду, в Кроме и на посаде, в слободах и на вымолах. Он сам разводил дымные, якобы отгоняющие заразу костры, под его доглядом жгли лопоть и порты умерших, окуривали избы, пекли хлеб, ибо к мору присоединился голод — частью от неурожая, а боле оттого, что с начала «черной» почти прекратился снедный привоз. Михаил велел открыть все княжеские амбары и житницы, не считая, свое ли то или дядино (и Василий Кашинский после очень гневал за это на Михаила), он спасал гибнущую Тверь, сжав зубы и почернев от недосыпу лицом, почти падая в обмороки от устали, ежечасно убеждаясь, что ничего не может и мора ему не перебороть, но уже и себя самого не мог остановить тоже. Смерть всей семьи не то что надломила, а что-то новое, иное выковала в нем. И проезжая мертвыми улицами своего города, он, видя очередной труп, к которому уже принюхивалась одичалая кошка, только указывал концом плети, не убирая строгой поперечной складки со лба, и кмети бросались стремглав, приученные к бесстрашию своим господином.

Звонили колокола. Кто-то уверял, что звон отгоняет заразу. Впрочем, даже ежели было и так, само скопление гробов у храмов делало посещение церквей опаснее во сто крат. И храмы все равно были полны, и почему-то никто не падал, не умирал во время службы. Умирали в домах, на стогнах и улицах. Видимо, неистовая, возрастающая с каждым месяцем вера держала людей, отвращая гибель от храма хотя на час, хотя на то краткое время, которое надобно, чтобы выстоять богослужение и отпеть мертвых.

Мор уходил медленно и трудно. Утихнул к осени, и тут только и начались вновь княжеские споры и ссоры.

Еремей не заявлял своих прав на Семенов удел и не являлся на очи, отсиживаясь в загородном поместье все время, пока по Твери ходила смерть. Но вот наступила новая зима, милосердно укрывшая снегами потишевшие, выморенные посады, увеличившиеся кладбища, ряды скудельниц, куда сваливали без гробов, общею кучею подобранных на улицах мертвяков. Мор утих, и вновь начались владельческие перекоры и кляузы.

Еремей по совету дяди Василия послал жалобу на Москву владыке Алексию, а тот повелел рассудить спор тверскому епископу Василию. Василий, однако, решил дело в пользу князя Михаила. В таком положении были дела в начале лета этого [1] года, и ежели князь Дмитрий сооружал каменную крепость на Москве, микулинский князь деятельно укреплял свой удел, наводил порядок на мытных дворах, наказывая лихоимцев, усиливал острожки и рядки, затеяв строить на Волге новый городок (с таковым же прозванием), крепостцу, которая предназначалась как против Литвы, так и москвичей. Михаил тоже знал, что добром дело не окончится, и не очень подивился тому, что Алексий потребовал пересмотра епископского решения.

Как бы то ни было, на дворе стояло полное лето, хлеб был посеян в срок, покос уже отходил, и Михаил хлопотал в краткую пору, оставшуюся до жатвы, чтоб успеть довершить свой новый город.

...Парило. Лето стояло на переломе. Желтела рожь, и Михаил, едучи берегом Волги от Твери, уже ловил навычным ухом далекую стукотню секир в Городке и едва ли не впервые за год радовался, просто радовался теплу, свету, солнцу, птичьему щебету, кажется, только

[1] 1366-го.

теперь начиная понимать, что он не погиб, и живы его жена и сын, и скоро будет еще сын или дочерь, и страшное, самое страшное, такое, где и сила бессильна и можно уповать токмо на Господа, позади! И как славно изгибается река, и как красивы эти крутые берега, эти холмы и росчисти меж ними, как хорош край и как не хочется думать о всем том жестоко-злобном и упрямо лезущем, что ползло во все стороны от Москвы! Упрямого города, города-выскочки, обскакавшего ныне (самому себе возможно и признаться в том!) уже, почитай, все грады Владимирской земли, кроме... Кроме Твери!

Михаил подымает чело, встряхивает головою; он едет без шапки, и ветер свободно ласкает и треплет светлые вихры князя, задувает вбок его негустую легкую бородку. Он сейчас кажется со стороны опять совсем юным, молодой микулинский князь, находящийся меж тем в самом расцвете сил, в возрасте Христа (князю тридцать три года), и он пробует, хочет рассмеяться, закидывает голову, но смеяться не может, разучился со смерти матери, и только широко улыбается солнцу, прикрывая глаза.

Плывущая походка коня, запах конского пота, запахи травы и цветов, запах липы от рощи, и все ближе и ближе стук топоров, и вот уже сверкающие на солнце бело-желтые рубленые городни показались за грядою леса... Город строят! И город почти свершен! Уже везут — он прислушался, придержавши коня, и учуял далекий скрип тележных осей,— уже везут щебень и глину для засыпки городень! А вот и дорога, и долгая череда груженых телег виднеется в отдалении.

Князь издал горловой, подавленно-радостный звук — оклик не оклик, и поскакал наметом, далеко опередивши дружину, торопясь скорее узреть плоды своего труда.

ГЛАВА 51

«О, красно украшенная земля Русская!» Сейчас, когда читаешь эти дивные слова, коими зачинается «Слово о погибели Русской земли», и потом следующий за ними перечень красот Руси: рек, озер, источников, дубрав, зверей и птиц, и храмов, и «честных и грозных» кня-

зей,— одно останавливает внимание и даже как бы изумляет и заставляет задуматься, это слова о том, что земля «украшена городами». Мне, во всяком случае, когда-то было странно читать это. С детства помнились городские окраины: свалки, изрезанная, изувеченная земля, канавы, проволока, грязь, какие-то склады, сараи, автобазы, все, быть может, и нужное большому городу, но такое, увы, непоэтичное! И сквозь мазутные лужи и осыпи антрацитовой пыли, ржавых труб, обломков бетона и кирпича, старых покрышек, жеваной бумаги и прочего городского мусора, среди этого всего жалко выглядывающие листочки какой-нибудь захудалой, сто раз переломанной рубчатым катком колеса веточки тальника или тополевый побег среди бурьяна и грязи. И уже там, за путаницей проводов и путей, рельсов, асфальта, грязи заводской и просто грязи, там уже где-то начинаются поля, и за ними лес синеет, а назади, над городом, висящая шапка дыма, особенно видная в погожий весенний день... И сладкий, приторно-тошнотный дух гниющих свалок, и запах гари и бензина... И век было такое, словно город — гигантский злокачественный нарыв на земле, а вокруг полоса омертвевшей, гниющей и гнилостной ткани погибающей земли. (Ведь она живая, наша земля, и гибнет так же, как и всякое живое существо.) И только там, в центре, в скрещении, за нагромождением безликих новостроечных многоэтажек стоят — несколько! — дворцов и соборов, и властная Нева течет в граните своих берегов, и Летний сад, и «оград узор чугунный», и тоже покрытое копотью, но все же золото Адмиралтейской иглы... (Я родился и вырос в Ленинграде.)

И так вот, сопоставляя и сравнивая (да и повидавши прочие окраины наших градов, тем паче — промышленных), странно мне было читать эти слова о земле, «украшенной городами»! И только уже теперь, многое узнавши, понял, понимаю я всю правоту древнего писателя и что не преувеличил, не приукрасил он, выдавая желаемое за действительное. И почему? И где я узнал, увидал, понял это?

Во-первых, скажем то, что как-то мало приходит в голову нам теперь. Было чище. Дым печной, от дров — совсем не то, что заводской дым. В некрупном древнем городе было, как в деревне. К тому же все наши древние города (и это отличало Русь от Запада) утопали в садах. Воздуху, неба, зелени в них было больше.

Потом, те древние города совсем не имели свалок. При натуральном хозяйстве, когда все добываемое в поле целиком шло в дело — что в корм себе, что скоту, что на подстилку, что на кровлю,— выкидывалось очень малое. И тара была хорошо усвояемая почвою: мешковина, рогожа, береста и прутяные корзины, бочки и ящики. Все это, ежели не сжигалось в печах, перегнивало тут же на участке, подымая с каждым столетием «культурный слой». Тогдашнее производство не производило тех ядовитых отходов, что современное, а из рукотворных изделий не усваивались почвою одни лишь глиняные черепки, но и они, в отличие от стекла и полиэтилена, не губили почвы, не мешали корням растений. А не было отходов — не было и свалок загородных. Не было гнусных развалов бетона с торчащей из него арматурой, не было груд ржавеющего металла — металл был дорог и весь шел опять в переплав. Частично и потому еще считалась счастливой находка конской подковы на дороге...

Словом, город только ввозил, не выбрасывая ничего, а строился в основном из дерева. На Печоре, путешествуя по старым деревням, я видел картины, подобные древним, когда ни одного дощатого сарая, ни жести, ни шифера, а стоит какой-нибудь амбар, срубленный из солидного, вершков двенадцать в обрубе, леса, и уже постарел, и покосился, углом сгнил на четверть, и зеленою плесенью покрыт, и кровля поросла мхом, и, наклоняясь, как бы тонет, как бы уходит в землю, а все одно — красив! Был бы художником, так и сел бы, кажется, писать не тот вон мощный дом-дворец, а этот с «празеленью» амбар, до того в нем много цвета, и мысли, и даже чувства какого-то, неизъяснимого звуками речи...

Все тут даже в гибели красиво, и такими вот прекрасными во всем были, конечно, и все наши древние города, сдержанные и опоясанные стенами, с огородами и полями сразу же вплоть за городским рвом, с садами, с близкою опушкою леса, тоже береженого, не изломанного, не изувеченного трелевочной техникой, с белокаменными или рублеными, вознесенными ввысь соборами, с золотыми, зелеными ли или серебристо-серыми чешуйчатыми главами, тающими в ясном небе. И были эти сооружения, вместившие всю мыслимую для нашего племени красоту, самыми казовыми, самыми сановитыми, не прятались за стенами кирпичных коро-

бок, как ныне, а — царили окрест. Воистину украшена городами была земля Русская!

От Новгорода отходили в полночь, таясь. В призрачном свете северной весенней ночи растаяла за кормою Перынь, и вот уже только одни липенские огоньки посвечивают в сумраке да блестит тусклым отсветом рыбьей чешуи широкий, уходящий за окоем Ильмень. Ушкуи идут темные на светлой воде, негромко плещут весла, мужики молчат, оглядывая невысокий берег слева, с тянущим по нему хвойным лесом, и бескрайнюю, сливающуюся с небом в серо-сиреневых прядях облаков громаду воды справа от долгоносых, легких, удобных к переволоку лодей-ушкуев, по названию которых и самих молодцов новогородских прозывали на Волге ушкуйниками. Мужики гребут молча и сильно. До свету нужно пройти Ильмень и стать на устье Полы. Воеводы решили выходить к Волге Серегерским путем, минуя Мсту и Торжок.

Лесная, едва тронутая людьми за протекшие тысячелетия земля! Явится росчисть, луга, в которых пасутся кони или стадо красно-бурых коров, изба на высоком подклете. И снова лес, подходящий к самой воде...

На устье Полы собрались все полтораста ушкуев. На берегу раскинули шатры, варили кашу. С лишком четыре тысячи оружного люду шли из Нова Города грабить поволжских бесермен, и стан раскинулся по всему берегу реки, уходя за поворот, вплоть до опушки леса.

Выверялась и проверялась справа — снедь, оружие, уключины, весла, топоры и всякая иная рабочая снасть. Мужики — тут уже не разобрать было, кто смерд, горожанин, житий ли, боярский сын,— все в рабочей, не казовой лопоти, суконных, овчинных ли зипунах, рубахах, дорожных вотолах и опашнях (справная сряда: ночью и постелить, и укрыться хватает!), в простых яловых сапогах али поршнях, в суконных шапках с околышем. Оружие уложено в лодьи, скрыто. С виду и не поймешь, что за люди. Вон несут хворост от леса, там вбивают колышки, натягивая грубый рядниннный шатер; курятся дымки многих костров, в медных больших казанах булькает варево. Из Новгорода прихвачены корчаги с медом и пивом. Тут, на устье Полы,— последняя гульба. Последняя и выпивка, дальше пойдут тверезые, о том уже озаботились воеводы.

Воеводы идут от костра к костру, проверяют справу и лопоть. Вроде бы народ подобрался добрый, толковый

народ: кого бы и отослать отселе со Христом Богом назад, так нет, все вроде справны! Кто и подгулял излиха — держатся, блюдут себя, не позорят мир. Загребные и кормщики деловито готовят шесты: Полою идти — пихаться надо! Осматривают придирчиво ушкуи. Где-то варят смолу, где-то стучит колотушка. В суете кончается, изгибает день. Заполевавшие двух лосей дружинники волочат к костру ободранные туши, делят свежатину по котлам. Опускается ночь, первая ночь похода. Стан уже спит. Вставать — до света, и целый день, пока не стемнеет, до соленого поту пихаться шестом.

Меркнет ночь. Завороженные, стоят во сне повитые туманом деревья. Журчит река. Тихий говор и заливистый храп доносит от шатров. Иные, те, которым впервой, не спят, беседуют вполгласа... Не первый это ушкуйный поход, не первые «молодчи новогорочкие» рискуют головой ради наживы в чужой стороне. Гридя Крень, лежа на спине в шатре, негромко сказывает, как громили Жукотин, как погинули опосле мужики в Сарае... Сотоварищи сопят, супятся, слушают, мотают на ус...

Было — торговали, ходили собирать дань с северных инородцев, а так вот, чтобы попросту грабить, этого исстари не велось! Но ослабла Орда, и умножились грабительства на Волге. Обобранные до нитки новогородские купцы, ворочая домой, плакались на торгу, материли поганых бесермен и суздальского князя. Ушли в небылое времена Джанибековы, и стало — у кажного вымола, кажному князьку ихнему давай да давай! И повелось так, что и самим приходилось грабить.

И другое было: Новгород богател, росли боярские дворы, но росли и толпы голытьбы, шильников и ухорезов, вышвырнутых со своих дворов, бездомных, готовых на все. В каждом пожаре вскипала разбойными грабежами эта низовая бражка! Куда девать? Ну и уводили — за Камень, на югру, на Двину, на Белое море, на Грумант, где гибли непутевые головы, пропадали горлодеры и крикуны, а деловой, толковый добывал и добра, и зажитка, и лопоти, ворочал в Новгород хозяином, а то и оседал на новых местах. Не то, наскуча неволею, рассоря с Господином Великим, бежали в Вятку, в Великую Пермь. Ну а иные, воротя с прибытком, тут же и пропивали все и бродили вновь по улицам, толклись в торгу, разведывая, кому нужны свободные,

навычные к веслу и оружию руки, отчаянные, готовые на все головы.

Начинали ходить в разбойные походы и молодые житьи, боярчата из статочных домов. Не всем доставало собирать дань да строить острожки по слову новогородскому, а зажитку, славы, широты (тесно становилось в Новгороде Великом!) хотелось всем. И вот началась Волга, знаменитые, на столетье почти растянувшиеся походы за зипунами и славою, походы, вконец сокрушившие волжские города, без того уже измученные ханскою резней и моровыми поветриями, и ничего-таки не давшие Господину Великому Новгороду!

Ибо все-таки грабеж — не торговля. А торговлю, как и всякое прочее устроение на земле, делает труженик, купец, что бестрепетно везет товар за тысячи поприщ, доставляя его оттоле, где много, туда, где мало или нету совсем, а с тем вместе разносит по свету и знания о землях далеких, неведомых. Купец — «гость торговый». Пото и гость, пото и встречают его с почетом и приветом в землях чужих! Купец, но не перекупщик (по-новому сказать, спекулянт), который, не выходя с базара, скупит по пятаку, а продаст по гривеннику, который не перевозит товар, не перемещает добро из земли в землю, из княжества в княжество и из страны в страну, а, напротив, вздувает цены, порождая нищету и разруху.

Купец, гость торговый, надобнейший человек на земле, труженик. Купец строит рядки, ставит амбары и лабазы, сооружает вымолы, гонит коней из степи, везет хлеб по Волге, скупает глазурованную посуду в Сарае, доставляет фландрские сукна и лионский бархат в Новгород, Тверь, Смоленск, Владимир, Москву и Ростов; везет воск и сало в западные страны; таится от норвегов на Мурмане, опасится разбойных викингов на Варяжском море, уходит от турецких и арабских пиратов в Греческом море; волочит лодьи и ведет караваны. Он побывал и в Индии богатой, и в Персии, и в странах полуночных, знает остяков, вогулов, франков и фрягов, ормен и бухарцев — и все то купец, гость! А к старости на свои капиталы строит храм в родимом городе или селе, и так накопленное им на торговле возвращается миру.

Но и то скажем, чтобы уж всю правду сказать, что торговля роскошью, драгоценностями, рабами или, как в наши дни, теми товарами, что можно бы и дома

произвесть, создавая огромные города, собирая воедино тьмочисленное население, возбуждая спрос на редкости, из иных земель привозимые, тоже разоряет, тоже губит землю, и тут уж что купец, что перекупщик — все едино губитель! И что, скажем, в те же средние века крестьяне, оплачивавшие роскошества знати, аравитские благовония, китайские и персидские шелка и греческие аксамиты, что они-то получали взамен? И не на той ли чисто грабительской торговле выросли ордынские города на Волге? А ныне и вовсе подумать не грех, когда консервы или картошку ту самую из-за моря везут, запустошив земли у себя под боком: надо ли такое, к чему оно, и почему вдруг произошло, и какова тут вина торговли заграничной, заморской?

И все-таки в купца-землепроходца не бросим камня, ибо без него не состроилось бы сложное здание культуры, которая есть всегда и творчество и обмен в двуедином и нерасторжимом своем бытии.

Куда же плывете вы, удальцы новгородские?

— А грабить гостей-бусурман! Оттоле, с Волги, кто не погиб, все с прибытком!

Пышный закат, растянувшийся еще на столетие, закат Новгородской вечевой республики полыхает над спящим станом весеннею прозрачною ночью, невестимо переходя в рассвет иного, чуждого им и враждебного дня. Спите, молодцы! Еще не раз пойдут и не раз воротят оттоле удальцы-ушкуйники, еще не раз и погибнут на просторах великой реки! Не вам пало означить ее грядущее величие, не вы построите грады и храмы на кручах, не ваши беляны и расшивы поплывут по ее просторам! Спите, весенняя ночь коротка...

ГЛАВА 52

Дивно видеть и теперь, как пихаются шестами навычные к тому далекие потомки новгородских землепроходцев — северные поморы. Несколько мужиков стоя, не в лад и не враз, а вразнобой, кто как попадя и вроде неспешно тычут шестами в дно, а лодка идет против течения порожистой быстрой северной реки Варзуги, будто на невидимом канате, споро и ровно, тянет ее какая-то незримая сила. Не шевельнет носом, не вильнет, и берег бежит, торопится, уходя назад. С та-

кою скоростью шла бы, пожалуй, моторка, не с чем боле сравнить. А в ту пору, как не было моторов и знатья о них никоторого, в ту пору и сравнить не с чем было ровный и быстрый ход новогородских ушкуев вверх по извилистой капризной реке. Долгой змеею, след в след идут и не дрогнут на струе, не отстанут смоленые долгоносые лодьи. И мужики с шестами в руках, без оружия, мирные с виду мужики! Не скажешь, что на войну, так и на пожню плывут где ни то в глухом лесном углу Новогородчины. А там — накосят горбушею да покидают сено, завернутое в круглые мешки из старых сетей, в лодку, наложат горой и — к дому. Нелегок на севере труд! Да где он легок? Там, где легок, поди, и не трудятся вовсе...

День за днем, день за днем... Втянулись, строже и строже слушают наказы воевод, загорели, обветрились на весеннем солнце, на воде. Подтянули брюха, ели впроголодь, торопились, пока высокая вода, пройти речные завалы да мели. Вот наконец миновали Демон, где пополнили запасы крупы и хлеба. По прошлогодним, кое-где подгнившим каткам возились до Серегера, перетаскивая ушкуи один за другим. Тут уж была работа не то что до соленого поту — до дрожи, до темени в глазах. Зато впереди — красивейшее в мире, все в лесных островах рыбное озеро, и можно отъесться ухой и не пихаться, а грести, а то и поднять паруса. А там — новый переволок и Волга, и уже до Нижнего, до Камы путь чист.

Мало замечали красот вдосталь умученные, изъеденные комарьем мужики. И только иногда, разгибая натруженную спину, обрасывая пот со лба, когда в очи, привыкшие к ровным низменным берегам, к болотистым равнинам Приильменья, бросится вдруг высокий холм, ощетиненный лесом, и яркое небо над ним, и, означенные взгорьями, перетекут взору отверстые дали в синеве лесов,— вспыхнет взор, и долго-подолгу смотрит молодец, переживая и впитывая в себя эту вздыбленную землю, на которой виднее простор, и небо синей, и далеким счастьем, маревом удачи в землях иных пахнет воздух!

Лето шло им навстречу, и они нагоняли лето. Уже пахали на росчистях мужики, слышался издалека крик ратая, а там уже и сеяли. Доносило порою далекую песню, и где-то на зеленой траве цветами цвела праздничная сряда одежд — девушки вели хоровод. И взды-

хали молодцы, а те издали из-под ладони тоже высматривали долгую череду плывущих по реке ушкуев.

Начинались тверские пределы. Гуще и гуще пошли деревни, рядки, села, уже и города, отыненные стоячею, из заостренных бревен городьбою, и всадники в дорогом платье, остановя крытого попоною коня, высматривали плывущий караван.

Под Зубцовом, остановившись в поле, повстречались с княжеским разъездом.

— Вы чьи?! — вопросил без особого вежества подъехавший боярин в дорогом зипуне. Шелковая ферязь свободно свисала с плеч, прикрывая седло. Оружная дружина теснилась следом. Ряды костров, шатры, толпа молодых мужиков, кое-где поблескивающее оружие, на купцов не похожи, уж не грабежчики ли? Боярин озрел стан. На глаз прикинув, подивился, покачал головою. Дружина, тоже сметя силы, плотнее окружила своего боярина. По вечереющему полю спокойно шел встречу человек в суконном платье, но по обличью, по зраку видать было — не из простых. Подошел без робости, поздоровался.

— Из Нового Города идем! — сказал.

Боярин на коне не ведал, что вершить. Лодок новогородских, долгих, узконосых, приткнутых к берегу, было не сосчитать.

Вдруг из темноты (уже опускался вечер и солнце, проблеснув напоследях, ушло за острую бахрому леса) раздался топот коней. Подскакали иные. Александр Обакумович, живо опоясавши саблю и мигнув молодцам, скорым шагом шел на выручку Осифу Варфоломеичу, углядев трудноту оступленного чужою чадью боярина. Подскакавший — перед ним расступились почтительно — соскочил с коня, и Александр Обакумович очутился глаза в глаза перед молодым, в легкой бороде, ясноглазым воином (и еще не ведая, не начав говорить, понял, что князь). Незнакомец повелительно отстранил своих, вопросил негромко, но твердо, кто такие, отколе и куда. Александр, неволею подчинясь власти взора и голоса, отмолвил, что молодчи новогорочкие, идут на Волгу, на Низ... Почто — не сказал, но тот, усмехнувши, показал, что понял и так. Боярину бросил, как о привычном:

— Ушкуйники! В моих-то угодьях не наозоровали?! — вопросил. И стало ясно, что да, князь!

«Кто же, кто? — думал Александр Обакумович, идя

рядом с незнакомцем вдоль стана.— А некому быть иному, окроме микулинского князя Михайлы Лексаныча!» Понял и, поняв, охолодел и напружился весь. Не дай Бог какой замятни тута! Не ждали, не готовились ни к чему такому! Но князь был мирен. Внимательно выглядывая, обошел стан, сметил силу, сметил, что не было ни полоняников, ни баб или девок, набранных дорогою, успокоил себя.

— На татар? — уточнил.

Александр Обакумович кивнул неохотно. Про Нижний Новгород подумали оба, и оба согласно промолчали. Михайло усмехнулся, отмолвил:

— Вести на Москву посылать не буду, не боись, боярин!

Тоже догадал, что перед ним не простой муж, хоть и был Александр в дорожной сряде. Постоял, не страшась совсем, что один, почитай, с немногою дружиною среди целого стана оружного люду. Хозяином постоял. Оглядел кругом.

— Не озоруйте! — строго сказал и, мягче, для боярина: — Бывал я, живал в Новгороде Великом! У владыки Василия отроком... Как звать-то тебя, боярин? — перебив сам себя, спросил. И Александр Обакумович, назвавшись, уверился, что да, перед ним — сам микулинский князь! И от уверенности острожел. В Новгороде тоже ведали, что во Твери всякий смерд ждет теперь, когда великое княжение тверское достанется князю Михайле. Но об имени не спросил боярин, только пригласил было к костру — поснидать. Но князь, отрицая, повел головою:

— Недосуг! Извиняй, боярин! Назад по Тверце пойдете? Через Торжок? — вопросил, и Александр, подчиняясь вновь властной силе голоса, ответил согласно, кивнув головою:

— Ежели Господь поможет!

— При умных воеводах и Господь не попустит! — возразил князь. Подумал, склонивши голову, помолчал. Не его была беда, скорее князю Дмитрию с Алексием стоило тем себя озаботить! А для него... Для него этот поход — еще одна отсрочка неизбежной сшибки с Москвой! Высказал:

— Ин, добро! Отдыхайте, други! Одно прошу: на Тверской земле не пакостить!

— Следим! — отмолвил Александр, понявши правоту князевых слов и не обижаясь. Молодцов, идущих за

зипунами, уже теперь приходилось силой оттаскивать от иных беззащитных деревень и набитых товаром рядков. Пото и станы ставили вдали от житья, в поле.

Князю подвели коня, он всел в седло, помахав рукою, ускакал в ночь. Не ведали ни князь, ни новгородский боярин, что через немногие годы доведется им столкнуться друг с другом в смертном бою под Торжком...

Разбегались холмы, уходили посторонь кручи. Волга полнела. Над берегами там и тут подымались рубленые городни, островато рисуясь дощатыми кровлями на весенней голубизне небес, у вымолов кишели лодьи, учаны и паузки в разноцветье парусов, муравьино копошились люди. Города предпочитали проходить ночною порой. Так, ночью миновали Тверь. Шли по самому стрежню реки, не отвечая на оклики с лодок, следя жадными глазами бесконечные ряды амбаров основательной рубки с навесными, на выпусках, гульбищами, плотных клетей и магазинов вдоль того и другого берега.

Разворачивалась, мощно изгибалась великая река, обнимая и прорезая страну, и красные стояли боры на берегах, и красные высили храмы со взлетающими там и тут новоизмысленными шатровыми навершьями, и суета торговых городов проходила и уходила посторонь день за днем, а они плыли и плыли, мерно подымая и опуская весла, запевая в лад и уже не раз подымая на голоса ту волжскую, которую пели новогородцы всегда, поминая ушкуйные походы:

Ой ты Волга, ты мать широ-о-окая,
Молодецкая доля моя-а-а-а!

Прошли Белый Городок. Промаячили алые, желтые, голубые сарафаны девок на яру по-над берегом. Кснятин прошли.

— Здеся сворачивали наши-ти деды-прадеды,— сказывали бывалые ратники.— Нерлью проходили на Клещин-городок и дале до Клязьмы.

— А Ждан-гора тамо?

— Тамо!

И умолкали. Давно то было уже, очень давно, еще до татар задолго. Был тогда разбит и убит в битве на Ждане-горе посадник новогородский Павел. И в память о том на торгу, близ Николы, воздвигнут храм, один из самых больших в Новом Городе. В память о гибели

славы новогородской, в память о той поре, когда в здешнем лесном краю они, новогородцы, одни, почитай, основывали грады, рубили рядки и ставили памятные кресты на кручах... А с той битвы на Ждане-горе захватили край суздальские, потом владимирские князья. И теперь платит торговый гость новогородский у каждого мыта, на каждом переволоке здешним князьям мытное да лодейное, а на Низу дань дают татарскому даруге. И они уже не как володетели проходят тута, а отай, крадучись, минуя чужие, княжеские города.

Варили уху из волжской дорогой рыбы. Обтрепались, отерхались. Огрубели загорелые до черноты лица. Прошли Углич. Волга тут делала огромную петлю, поворачивая на север. Потому встарь и проходили волжскою Нерлью, спрямляя путь. Но вот миновали и это. Опять поворотили к востоку, минули Ярославль, что стоит «на красы великой», как поется в песнях. Близила Кострома, и уже чаще и чаще встречались им иноземные купеческие караваны. Но Александр с Василием строго-настрого постановили: первого, кто тут сблодит, в куль да в воду! Кмети ярели, копили злость. Злость и надобна была! Там, на Низу... Воеводы уже теперь, для всякого случая, вздевали на себя брони.

Кончилась, сокрывшись за выступами берегов, Кострома. Широко и привольно текла великая река, океан воды, плещущей, сверкающей на солнце, то суровою синью темнеющей под косым налетевшим летним дождем. И снова сияло солнце, и высили боры на осыпях гор, и жилы рук налились силою, и ушло все лишнее из поджарого, облитого мускулами тела. Зубы с хрустом грызли дорожные сухари. Разварную рыбу клали на ладонь и, подмигнув соседу, нижнею губою и языком снимали целиком весь рыбий бок, а потом, подкинув, обернув в воздухе и вновь поймав на ладонь, так же, в один глоток, поступали со второю половиной. Только хребтина с головой и хвостом летела посторонь. Сети волокли за собою по воде. К роздыху набиралось рыбы — иногда враз и не поесть было. Мяса почти не видели, раз, правда, заполевали медведя — так тощий он, весенний медведь! Били лосей, косуль, вепрей, что по ночам выходили к водопою. И все одно на такую ватагу где там было набрать мясов! Тем паче — торопились, шли без роздыху. Но вот уже прошли Юрьевец, прошли Городец...

За Городцом остановили татарина. Лодью утопили тут же, без жалости покололи гребцов — не дал бы вести своим который. Самого долго мучили, выведывая безобманные новости. Выведав надобное, прирезали и его. Кого-то из новичков стошнило после расправы. Песни кончились. Подступала кровавая страда.

На последнем привале воеводы обходили разом осерьезневший стан, оглядывали худые лица с блестящими, голодными глазами, катающиеся желваки скул. Собрали круг. Велели кметям разобрать и начистить оружие.

— Колоть всех! Баба ли там, дитенок — все одно! Не жалеть! Наших молодчов хан Хидырь тоже всех резал, никоторого жива не оставлял! — закончил Александр короткое и жестокое напутное слово.— Колоть всех, и весь товар — в лодьи! А ихнюю посуду — рубить и топить, погони б не было!

— За чем шли, мужики, того не робей! — примолвил Василий Федорыч, посопел, добавил:— Устрашится который, сами убьем!

К Нижнему подходили, обернув весла тряпками, в глубокой тишине. Знали уже, где ряды гостей иноземных, бесермен ордынских и иных — персиян, ормен, жидовинов, сарацин, где их пристанища, магазины и домы. Ушкуи выстроили долгою цепью, дабы враз охватить все вымола.

Колдовски светила вода. Город на горе, повитый понизу туманом, словно висел в темном воздухе среди звезд. Спали паузки и крутобокие учаны, широкие плоскодонные кербаты, струги и лодьи, огромные неповоротливые мокшаны, крытые двускатною кровлею, и узкие долбленые бафты, приткнутые там и тут. Недвижный лес щегол с опущенными или поднятыми райнами, с повисшими парусами загораживал весь берег. Редко на котором судне пылал смолистый факел, роняя в воду длинные золотые искры, да порою долгим горловым криком перекликались сторожевые на татарских судах.

Воеводы разделились. Осиф Варфоломеич должен был выйти со своими на берег и обойти вымола со стороны города, а там — хватать и резать всех, кто побежит спасаться к крепости. Василий Федорович взялся ударить по вымолам, Александру достались стоящие на якорях купеческие мокшаны и кербаты.

К первому большому речному судну, стоявшему

в стороне от других на якоре, приблизили в полной тишине. Александр, пройдя на нос лодьи, измерил на глаз высоту вражеского борта. Было почти не запрыгнуть. Благо молодцы подхватили, подкинули вверх. С засапожником в зубах Александр вскарабкался на корабль, пробежал вдоль дощатой беседки. Сторожевого шатнуло встречь. От факельного пламени бесермен ничего не узрел, не поспел и выкрикнуть. Дело решили мгновения. Александр сгреб стража за ворот и глубоко погрузил, поворотя в ране, нож ему в горло. Фонтаном, обрызгав лицо и грудь боярина, брызнула кровь. Пихнув тело, глухо булькнувшее за бортом, Александр мгновением обтер и вдвинул в ножны нож, выхватил саблю и ринул с глухим рыком к беседке, где уже началось шевеление и какие-то в белом начали было выскакивать спросонь. Сзади топотали по палубе запрыгивающие один за другим новогородцы. Одного белого Александр срубил, развалил от шеи до пояса на полы, иные вспятили. Мимо боярина ринули во тьму, в задавленный зык и стоны ратники, кого-то резали, кто-то бежал, крича, словно блея, и был тут же убит; какая-то жонка, раскосмаченная, в рубахе одной, ринула под клинок. Александр срубил и ее, досадливо морщась (не навык убивать баб). Все еще не было ни шума, ни заполошного крика, на судах орудовали беззвучно, только то там, то здесь вспыхивал сдавленный и тут же оборванный вопль да тяжко шлепались в воду мертвые тела.

Но вот с берега долетело далекое: «Ала-ла-ла-а-а-а!» То пошли на приступ молодцы Василия. Теперь следовало не зевать. Оставя троих на судне: «Кто еще жив, в воду!» — Александр первым прыгнул назад в лодью. Вспеня веслами воду, рванули в гущу судов. Снова лезли, оскльзаясь, на высокий борт мокшаны, снова кололи и резали, лязгала сталь. Захваченные спросонь, не чающие никоторого зла бесермены почти не сопротивлялись. Часа через три резня уже подходила к концу.

Светало. Весь забрызганный кровью, со слипшейся бородою Александр вылез, пошатываясь, на вымол и, перемолвив с Василием (тот тоже был в крови, но от вида Александрова лица его шатнуло), начал собирать людей. Убивали уже просто так, балуясь, всех подряд. Какой-то купчина ползал в ногах ратников, орал благим матом:

— Не убивайтя! Свой я, свой, русицы! — И Александру пришлось приобнажить саблю, чтобы остановить молодцов и оставить в покое купца. Своих, русичей, резать и грабить было не велено.

Бой утихал, но теперь завязывалась перестрелка из луков на горе. Из города выходила княжая помочь, и в дело вступали молодцы Осифа Варфоломеича.

Александр начал, хватая за шивороты, отбрасывать молодцов от недорезанных жалких полоняников: «Скорей! Скорей!» Опомнившиеся кмети яро потрошили лавки, таскали тяжелые поставы сукон, волочили бочки, кули с утварью, несли кожаные кошели с серебром. То же творилось на судах: хлопали с треском двери беседок, распахивались корабельные недра, товар, что поценнее, переваливали в ушкуи, прочее, прорубив днища кораблей, топили тут же у берега. Скоро начали рубить всю прочую бесерменскую речную посуду. Сверкали топоры. Какой-то недорезанный армянин кидался от одного к другому, хватал за руки, его отпихивали, дюжий новгородец саданул купца в грудь рукоятью секиры, тот с маху сел, держась за сердце, вытаращенными глазами следил, как рубят в куски его учан, потом опустил голову и заплакал. Никто не обращал на него внимания уже. Не убивши враз, не хотелось никому теперь пачкать об него руки. Когда отбегали к лодьям (с того конца уже пылало: отступающие ушкуйники запалили торг), кто-то, хлопнув плачущего купца по плечу, прокричал:

— Ницьто, отечь! Жив остался, расторгуесси! Мотри, сколь тута добра! — И тот, растерянно оглянув на отбегающих молодцов, впервые понял, видимо, что остался жив.

Дружина Осифа Варфоломеича отступала, деловито отстреливаясь. Мертвых молодцов уносили с собою. Вымолы были покрыты кровью и трупами. Вот женщина, разметавшая волосы, слипшиеся от загустевшей крови; ребенок, почти перерубленный пополам; страшно задравший крашенную хной бороду, с почти напрочь перерезанным горлом, в покрытом кровью халате персиянин, рука в перстнях — второпях не сняли даже — недвижно лежит, откинутая, на бревнах; сверкает рубиновый камень, и мухи ползают по мертвому лицу и отверстым глазам...

Немногочисленные княжеские ратники, кое-как притушив пожары, вступили на вымола ближе к вечеру,

когда все суда, учаны, лодки, лодьи, кербаты и иная посуда были уже изрублены в щепы или затонули близ берега, а длинная череда новогородских ушкуев, багровых в низящем вечернем солнце, уходила вниз по реке.

Потом от перепуганных татарских гостей дошла весть, что новогородские грабежчики поднялись вверх по Каме, воюя и разбивая все пристани и станы подряд, дошли до самих Булгар, разграбили и разорили край и, тяжко ополонившиеся, никем не остановленные, поворотили назад, к дому.

В Нижнем не видели их возвращения, да и некому было в те поры останавливать на реке более четырехтысячную рать новогородских головорезов. Воеводы рассчитали правильно и возвращались в Новгород с прибытком и честью, с ничтожными потерями, «вси здрави и невережени» — как записывал позже софийский летописец. Возвращались почернелые, усталые, вымотанные вконец, ибо гребли день за днем и неделя за неделею теперь уже против течения великой русской реки, в тяжело груженных судах, опасаясь вести лодьи бечевой ввиду возможной великокняжеской погони. И устья Тверцы достигли только к осени. Тут-то новогородским воеводам полною мерою дано было понять, почто прежние ушкуйники предпочитали зимовать под Нижним и Костромой, распродавая товар и полон на Волге.

Но как волк не бросает добычу свою, из последних сил упорно волочит за собою, уходя от погони, так и они из последних сил гребли и гребли, на привалах валясь в траву, мох ли, засыпали, от устали не поставя шатров, и опять гребли, стирая ладони в кровь, с черными, запекшимися ртами, из которых уже не песнь, а натруженный хрип да неподобная брань раздавались порою. И благо, что ушкуйное воинство не остановил тверской князь, который легко мог бы отобрать и товар, и полон, и оружие у истомленных до предела новгородцев.

Опоминались уже в Торжке. Тут три дня дико пили, пели, плясали и дрались, и воеводы не удерживали разгулявшуюся дружину. Осиф Варфоломеич все три дня проспал. Просыпаясь, сминал кус горячего пирога или шмат мяса, запивал чашею меда и валился опять в сон. Александр с Василием перемогались, обходили рать, растаскивали особо жестокие драки, отгоняли

зарвавшихся ратников от торжковских девок и баб — не хватало только во своей земле пакостить!

Уже выйдя на Мсту, уже отдавшись долгому ее прихотливому течению среди лесистых холмов, в изножьях которых высили новогородские рядки и починки, бродил скот, тоже новогородский, свой, полоскали белье на мостках свои, новогородские жонки,— только тут начали приходить в себя и возвращаться в облик человеческий, шутить и смеяться. Но еще все было далеко до позднейшей выхвалы, когда станут воспоминать в подпитии, как брали Булгары или резали купцов под Нижним, и бахвалить собою, и привирать, позабывши труд, и слезы, и кровь, и зной, и стертые веслами до дикого мяса ладони... И учнут задумывать новый поход, куда ни то опять на Каму или за Камень, на югру...

Только в Новгороде воеводы вызнали о том, что по приказу великого князя московского в отместье за нижегородский погром на Вологде был задержан плотницкий боярин Василий Данилыч с сыном Иваном, с Прокопом Куевым и дружиною, возвращавшиеся с Двины.

ГЛАВА 53

Это случилось еще зимой, вскоре после возвращения Сергия в Троицкую обитель.

За те годы, что он отсутствовал, монастырь сильно расстроился. Стефан, надо отдать ему справедливость, хозяином оказался хорошим. А главное, вблизи Маковца появились первые крестьянские росчисти. Радонежский край, обойденный последним мором, заметно люднел.

Возвратившийся из Нижнего Сергий навел жесткий общежительный порядок в монастыре. Он по-прежнему не ругал, не стыдил. Что и как надобно делать, показывал больше примером. Но твердо взял за должное каждодневно обходить кельи, и где только слышал неподобный бездельный смех или толк, легонько постукивал посохом по колоде окна. Провинившегося брата Сергий вызывал назавтра к себе и заставлял — и это было самое трудное — самого, без вопросов рассказать свою вину. После такого урока охота бездельничать и точить лясы пропадала почти у всех. Он содеял ошибку тогда,

с самого начала (и теперь Сергий это уже понимал): инок не должен иметь ни минуты роздыха. Самое грешное дело — сидеть в келье и ничего не делать! Мужик в дому никогда не сидит просто так, а то режет какую посудину, то ладит лапоть или тачает сапог, то сети плетет, то корзины. Язык работает, а руки при деле всегда. Тем паче иноку непристойна леность! И нынче в монастыре у каждого схимника в келье какой-то свой труд, какое-то дело свое, ожидающее его после молитв и общих работ монастырских.

Сергий стал с годами, и особливо после возвращения своего, приметно строже. И строгость нынешняя давалась ему так же без труда, как и прежнее терпеливое смирение. Одно присоединялось к другому, выстраиваясь в череде лет и трудов в стройный поряд его единственной, такой простой с виду и такой удивительной по внутреннему наполнению судьбы.

А виноватым в том, что его начали считать святым, Сергий не был. Больше того, противил тому изо всех сил.

Зимою же произошло вот какое, почти что рядовое житейское событие, никак не сопоставимое с громозвучными деяниями тогдашних воевод и князей, битвами и осадами городов. В исходе зимы, в пору февральских злых метелей один из богобоязненных крестьян привез в монастырь больного ребенка, надеясь излечить его с помощью Сергия. Добираться, верно из-за заносов, пришлось не быстро. Вымотанная косматая лошаденка, тяжело поводя боками, стояла у крыльца. Мужик, подняв, как большое полено, занес замотанного ребенка в келью.

— Где батюшко? — спросил у Михея, вышедшего к нему. Мужик был весь в снегу, борода в инее, на усах крупные сосульки.— Болящий, болящий он! — бормотал невнятно, разматывая младеня. Вдруг с деревянным стуком уронил сверток на лавку. Разогнулся, разлепив набрякшие, слезящиеся глаза.— Не дышит! — хрипло выдохнул.

Сергий был на службе и скоро вошел, едва только кончилась литургия. Ему уже повестили о приезде крестьянина. Мужик, стоя на коленях перед телом сына, причитал, размазывая слезы по лицу, винясь, что повез младеня с верою, что преподобный излечит болящего — единственного сына в семье! И вот... Лучше бы дома помер!

Он поднял несчастный, залитый слезами, мокрый косматый лик встречу Сергию.

— Вота! Вот! — закричал, ударяя себя по лицу.— В тебя верил! Волок по снегу, в мятель... Как хозяйке на глаза покажусь теперя? О-о-о! Лише бы, лише бы в дому помер во своем! О-о-о! — стонал, раскачиваясь, мужик. Сергий стоя ждал, пока тот придет в себя хоть немного и устыдится своих укоризн. Мужик действительно перестал рыдать. Со смешанным каким-то чувством страха, ужаса и подобострастия поглядел на Сергия, встав, зарыдал снова: — Един же он у меня! Един, батюшко! Как же так! — Он замолк, кивая головой, о чем-то трудно соображая.— Домовину надоть! — растерянно высказал наконец. Дернулся забрать трупик, но Сергий склонением головы разрешил оставить мертвое дитя в келье, и мужик вышел, шатнувшись в дверях и задев головою о притолоку.

Сергий опустился на маленькую скамью, потрогал лобик ребенка, приник ухом ко груди. Сердце вроде бы не билось, и дыхания вовсе не было.

— Воды! — приказал он Михею.— Горячей!

Скоро затрещала растапливаемая печь. Сергий осторожно разматывал дитятю. Окоченевший мальчик лет четырех лежал перед ним недвижимо.

Полный горшок с теплою водой стоял в печи с вечера, и потому вода согрелась быстро. Сергий снял рубашонку с мальчика. Велел Михею налить кипятку в корыто и холодянки в другое. Младенцев переворачивать ему было не впервой (когда-то купал и пеленал Ваняту), и Михей невольно залюбовался ловкими точными движениями рук наставника. Надобно было вернуть дыхание окоченевшему ребенку. Ежели не поможет это, то и ничто не поможет!

Сергий с маху окунул мальчика в горячую воду, потом в холодную, затем снова в горячую, повторив это несколько раз. Потом, уложив на лавку, на чистую ветошку, начал растирать сердце. Михей глядел со страхом, не шевелясь. Действия наставника над мертвым телом казались ему почти кощунственны, и ежели бы то был не Сергий, давно возмутили бы его.

Меж тем младенец как-то странно икнул, потом еще раз. В неживом синеватом личике, показался бледный окрас, и наконец явилось дыхание. Сергий, достав мазь, замешанную на барсучьем сале, сильно и бережно растирал ею ребенка. Острый аромат лесных трав и смол на-

полнил келью. Тут же прополоскал опрелую рубашонку, отжал, молча велел Михею вывесить перед огнем. Дитятю пока укутал ветошью и замотал в старый зипун. Окончив все и напоив мальчика горячим целебным отваром, стал на молитву, шепча святые слова.

К тому часу, когда мужик воротился в монастырь с домовиною и погребальными ризами, мальчик, переодетый в чистую, высохшую рубаху и порты, накормленный и напоенный, лежал успокоенно на лавке и слабо улыбался Сергию.

Мужик вошел, постучав, заранее сдергивая оплеух, успокоенно-мрачный, и, увидя живого младеня, остоялся. У него медленно открывался рот, отползала челюсть. Потом, глухо возрыдав, он рухнул на колени, обнял, стал космато целовать сына, после повалился в ноги Сергию, бормоча и вскрикивая:

— Оживил! Оживил! Оживил! Молитвами! Милостивец! Заступник ты наш!

Он бился в ногах преподобного, не вставая, винясь и мотая головой, все вскрикивал и все говорил быстро и горячечно, только одно вразумительно произнося раз за разом:

— Оживил! Оживил! Оживил! Заступник ты наш милосердный! Чудотворец божий!

Сергий слушал его, слегка прихмурив чело. Наконец положил ему руки на плечи, заставил встать. Пальцем указал на икону:

— Молись!

Тот, плача, начал сбивчиво произносить слова молебствия. Сергий молился вместе с ним. После, когда отец немного успокоился, сказал твердо:

— Прельстился ты еси, человече, и не ведаешь, что глаголеши! От хлада застыл отрок! В пути застыл, чуешь? А в келье, в теплоте, отошел! Прежде общего воскресения не может воскреснуть человек! Никто не может! — повторил Сергий громче, ибо тот внимал, не понимая и не веря Сергию. И, выслушав, вновь повалился в ноги, страстно повторяя:

— Единое чадо, единое! Спас, воскресил!

Сергий слушал немо, понимая, как и в тот раз, когда наставлял скупого, что перед ним — стена. Изрыгавший укоризны отец теперь, обретя сына выздоровевшим, ни за что не поверит, что чуда тут не было никакого, и станет упрямо повторять, что игумен Сергий может, елико восхощет, воскрешать мертвецов. В конце концов он,

положив твердую руку на голову мужика, велел ему умолкнуть и, сосредоточив волю, утишив обезумевшего от счастья отца, произнес твердым, не допускающим возражений голосом:

— Аще учнешь о том проносить по людям или кому отай сказывати — и сам пропадешь, и отрока своего лишишися! Внял? Понял, что я тебе реку, человече?! — повторил он громко несколько раз, пока мужик, подчиненный его воле, действительно не внял и не склонил голову.— Замкни уста! — напутствовал его Сергий.— А дитятю держи в тепле и в чистоте телесной. Есть у тебя трава зверобой? Вот, тем пои! И малиной пои! И мази тебе дам, хозяйка пущай растирает! И молись! Много молись! Без молитвы, без веры никакое лекарство не помога!

Михей видел все это и, видя, зная, почасту наблюдая, как Сергий лечил людей, все же и сам, стойно крестьянину, склонялся к тому, что без чуда воскрешения тут не обошлось все-таки. Как постиг мудрый Сергий, глядя на синий трупик, что дитятю возможно оживить?

Михею велено было молчать тоже. Сергий совсем не хотел, чтобы в монастырь нахлынули толпы жаждущих исцеления и чудес. Сколько усилий требовалось Христу, дабы изъяснять верующим в него, что не за тем сошел он в мир, дабы воскрешать и подавать исцеление, что излечить может и простой лекарь, даже баба-ведунья, даже знающий травы колдун,— а затем, чтобы передать людям Слово Божие, слово любви, научить истине и терпению в бедах, а не избавлять от бед! Ибо когда дух мертв, мертва и плоть, и даже того страшнее: здоровая плоть, лишенная духа живого, ведóма бывает силою зла и на зло, на погибель себе и ближнему своему.

Михей молчал. Молчал и напуганный мужик. И все же слух о том, что Сергий творит по желанию своему чудеса, распространился в народе.

О том шепталась и братия монастырская, тем паче что чудеса действительно происходили. Или, вернее, то, что почиталось тогда (да и теперь!) за чудо и что изъяснить возможно лишь невероятно усилившим за годы подвижничества гипнотическим воздействием Сергия на окружающих. Впрочем, зачем, к чему объяснять? Что было — было!..

Сергий, свершая литургию, в тот час, когда, припадая к алтарю, священник творит молитву свою, старался каждый раз воспроизвести мысленно всю реальную последо-

вательность евхаристического преображения вина и хлеба в тело и кровь Христову. Это отнимало у него много сил, порою он с трудом, на дрожащих ногах подымался от алтаря, но продолжал делать так, и так творил всякий раз, когда сам служил обедню. И уже прошел слух, что кто-то из братии видел единожды младенца Христа в причастной чаше и ужаснул тому. И было предивное видение Симону, назначенному незадолго до того екклесиархом.

Симон (позднее основавший, по благословению Сергия, Симонов монастырь на Москве) как-то служил вместе с Сергием. В тот раз Сергий чуял в себе особый прилив духовных сил, что невольно ощутил и Симон, пребывавший рядом. Нет, ему не было страшно, но что-то как бы сместилось, подвигнулось в нем в некий миг, и он, смаргивая, стараясь не дать себе ужаснуть или вострепетать, узрел, как по жертвеннику ходит беззвучное синеватое пламя, окружает алтарь, собираясь колеблемым венком вокруг святой трапезы. Дивно казалось то, что огнь был, по видимости, холоден и беззвучен. Даже не огнь то был, а скорее свечение самого алтаря, свечение антиминса и причастной чаши. Свет то пробегал, яснея, тогда бледно-желтые язычки как бы огня показывались над алтарем, то замирал, и Симон стоял, завороженный этим колдовским пламенем, божественным светом, которому, как он понимал, причина и вина сам Сергий, приникший к алтарю. Пламя росло, колебалось, взмывало и опадало, не трогая ничего, не опаляя и не обугливая разложенный плат антиминса, а когда Сергий начал причащаться, свернулось и долгим, синим по краям и сверкающим в середине своей языком ушло в чашу со святыми дарами. Сергий причастился божественного огня! Так это и понял Симон и только тут почуял слабость и дрожь в членах и звон в ушах — первый признак головного кружения.

Сергий, отходя от жертвенника, внимательно взглянул на него, вопросил негромко:

— Чадо, почто устрашил ся дух твой?

— Видел... Видел...— отвечал Симон с дрожью, обращая к Сергию недоуменно-вопрошающий взгляд.— Огонь... Благодать Святого Духа! — выпалил он наконец, во все глаза глядя на наставника.— С тобою!

Сергий глянул измученно. На мгновение прикрыл глаза и приник лбом к столбу церковному. Повелел кратко:

— Молчи! — Примолвил: — Пока не отойду ко Господу, молчи о том! — И, справясь, добавил вполгласа: — По скончанию литургии подойди ко мне, да помолим с тобою Господа!

И это, несмотря на старания Сергия, становилось известно в монастыре, тем паче что некое свечение, пусть и слабое, исходящее временами от лица Сергия во время литургии, видели многие. Иные же, прослышав о том и сопоставляя со сказанным необычайную белизну лица Сергия во время молитвы, сами догадывали, что прозревали свет, токмо не явленный им, а скрытый, потаенный.

Словом, то, чего добивались в своих затворах в горе Афонской иноки-исихасты, начинало как бы само собою происходить с Сергием. И вместе с тем и помимо того росла его слава. Все более начинали узнавать о радонежском подвижнике в иных градах и княжествах. Среди тех, к кому шли на поклонение, прикоснуться, узреть, причаститься благодати, имя его, ранее мало известное, произносилось все чаще и чаще.

В этом году осенью совершилось и еще одно малозаметное событие: с Сергием познакомился схваченный на Вологде новогородский боярин Василий Данилович Машков.

ГЛАВА 54

Обо всем, что творилось в Новгороде Великом, доносили на Москву городищенские доброхоты великого князя. Отношения с Великим Новгородом еще не были уряжены, хотя старый союзник вечевой республики суздальский князь был ныне укрощен и перекинулся на сторону Москвы.

Погром нижегородских бесермен, гостей торговых, нарушивший налаженную, а теперь, с подчинением суздальского дома Москве, весьма прибыльную торговлю с Персией (разом встала дороговь на восточные товары в московском и коломенском торгу), тоже был своеобразным отместьем московитам, и великий князь Дмитрий (а точнее — владыка Алексий) почел себя обиженным и тотчас потребовал от Господина Новагорода возмещения убытков. К войне, однако, были не готовы ни та, ни другая стороны.

Мысль схватить важного плотницкого боярина, свя-

занного с ушкуйниками и, по сказкам, снабдившего серебром и припасами волжский поход, опять же принадлежала Алексию, хотя грамоты с вислыми печатями исходили только от великого князя.

К делу был привлечен Монастырев, поместья коего находились под Белоозером, и Дмитрий Зерно. Московская застава прибыла в Вологду вовремя. Машков не ждал поиманья, не ведал, что створилось на Волге, и ехал открыто, без бережения. Новогородцы были перевязаны после короткой сшибки. Мало кто и утек. Василия Данилыча, Ивана, Прокопия Куева и десятка два дружинников великого боярина в железах повезли на Москву.

Василия Машкова с сыном Иваном везли поврозь от других и посадили особо, в укреп, за приставы, в Переяславле, не довезя до Москвы.

В Москве, где вовсю шло строительство стен, держать боярина было бы и негде. Тюрем в ту пору еще не существовало. Ежели простого ратника, смерда или купца можно было всадить в погреб, в яму, запереть в амбар, то знатного боярина или князя держали обыкновенно на чьем-нибудь дворе, возлагая на хозяина охрану вельможного пленника. А там уж — кто как! Обычно и за стол сажали с хозяевами вместе, и священника позволяли иметь своего, и слуг давали для выезда. Хоть и были те слуги одновременно охраною полоняника, стерегли его, чтоб не сбежал, а все же!

Машков с сыном были посажены на монастырский двор в Горицах. Боярину была отведена келья, выделен служка и двое холопов для подмоги. В Новгород меж тем отправились послы, и завязалась долгая, почти на год растянувшаяся пря, в конце которой Новгород уступил великому князю, принял московских наместников на Городище и дал черный бор по волости. После чего Машков с сыном были выпущены и вместе с освобожденной дружиною уехали к себе в Новгород.

Оказавшись в Горицах, в келье, боярин, с которого только тут сняли железа, затосковал. Не перед кем было спесивиться, и хоть не было ни нужды, ни голода у боярина, но само лишение воли, а паче того — власти, бессилие приказать, повелеть, невозможность содеять что-либо пригнетали его. Василий Данилыч помногу молился, простаивая на коленях в красном углу своей кельи. На божницу утвердил он среди прочих икон крохотный походный образок Варлаамия Хутынского,

возимый им с собою во все пути и походы, и молился ему беспрестани: да смилует над ними главный заступник Новгорода Великого, свободит из узилища!

Иван грыз ногти, тихо гневал, поглядывая на отца. Являлся молчаливый служка, бояр вели в монастырскую трапезную. Ели тут под чтение молитв и «житий святых отец». Боярин устал от постной пищи, устал от бездельного душного сидения. На улице была грязь, слякоть. Клещино озеро покрывалось от ветра сизым налетом, словно выстуженное, и дальние холмы, скрывавшие истоки волжской Нерли, казались голы и пустынны. Далекие соломенные кровли тамошних деревень наводили тоску. В Переяславль, проездиться, боярина пускали с сильною охраною и не вдруг. Каждый раз игумен посылал к митрополичьему наместнику за разрешением и подолгу, порою по нескольку дней, не давал ответа. Рукомой, божница, отхожее место на дворе за кельями, две-три божественные книги, ведомые наизусть с детства (благо читать учили по псалтири),— вот и все, доступное боярину, по слову коего еще недавно тыщи народу творили дело свое: пахали, рубили, строили, торговали, ходили в походы! Василий Данилыч хирел, замечал печати скорби и злобы на лице сына, вздыхал, вновь молился, иногда писал челобитные великому князю, не ведая даже, доходят они или нет.

О подвижнике Сергии он уведал тут, в монастыре, сперва безразлично — не ему, новогородцу, жителю великого города, где были свои прославленные святые угодники, где велись церковные споры, творилась высокая книжная молвь, и зодчество, и письмо иконное, где иерархи сами сносились с византийским патриаршим престолом,— не ему ревновать о каком-то московском схимнике, прости Господи, почти что и мужике-лапотнике! Не ему... Но недели слагались в месяцы, подступала и наступила зима, и боярин окончательно затосковал. Тут-то и привиделось ему, что должен он, обязательно должен повидать этого Сергия, перемолвить с ним и, быть может, от того сыскать утешение в днешних обстоянии и скорби. Просил неотступно, раз за разом умоляя игумена. Тот сперва лишь усмехался в ответ, но вот единожды, видимо, получив весть от Алексия, нежданно согласился после Рождества доставить его с сыном в Сергиеву пустынь.

Боярин очень волновался невесть чему, когда наконец подошел многажды отлагаемый срок и его с Иваном

усадили в простые крестьянские розвальни между двух дюжих служек с рогатинами в руках, и добрый косматый гнедой конь понес их по дороге на Москву.

В пути перемерзли, ночевали в какой-то избе, в дымном тепле неприхотливого ночлега, ночью слышали волчий вой за околицей. Дорога на Радонеж была наезжена, но от Радонежа свернули по узкой, едва промятой дровнями и ногами паломников тропе. Высокие ели в зимнем серебре нависали над самою дорогой, и казалось порою, что она вот-вот окончится, конь вывезет на какую-нибудь поляну, где притулилась под снежною шапкою одинокая копна сена, а дальше и вовсе не будет пути. Но дорога вилась, не прерываясь, конь бежал, отфыркивая лед из ноздрей, а боярин, кутая в мех долгого своего дорожного охабня нос и бороду, с любопытством поглядывал на угрюмо-красивый, засыпанный снегом еловый бор, на волчьи, лосиные и кабаньи следы, пересекающие дорогу, и ждал с разгорающимся нетерпением, когда и чем это закончится.

Уже в сумерках раздвинулся, разошелся по сторонам лес и открылась в провале вечернего, густеющего, с загорающимися по нему лампадами звезд неба пустынь с церковью, словно висящей над обрывом горы, с грудою монастырских островерхих кровель и рядами келий за невысокою скитской оградой. Одиноко и звонко взлаял сторожевой пес, послушник, завидя путников, ударил негромко в деревянное било, конь перешел с рыси на шаг,— приехали!

Сергий в эту пору обходил кельи, где слушая под окошком, где и заходя внутрь — ободрить, поглядеть работу, подать совет. Иноки плели, резали, готовили всякую потребную монастырю снасть, скали свечи, переписывали книги или живописали иконные лики, повторяя старинные византийские и суздальские образцы. Он как раз вступил в сени Симоновой хижины и остоялся, слушая. Сказчика ему не похотелось прерывать. Шла речь о том, како украшать книги, и Сергий ухватил конец изъяснения из Дионисия Ареопагита:

— «...самым несходствием изображений возбудити и возвысити ум наш так, дабы и при всей привязанности некиих к вещественному, тварному показалось им непристойным и несообразным с истиною, что существа высшие и божественные в самом деле подобны сим изображениям, заимствованным от вещей низких!» — Речь шла, конечно, о книжных заставках и буквицах,

которые исстари и доднесь изображались в виде плетеных зверей, трав, птиц и скоморохов.

— Зри! — говорил изограф Матвей (Сергий по голосу признал недавно поступившего в обитель книжного мастера).— Синий цвет — цвет неба, живописует духовное созерцание, знаменуя мысленное, умопостигаемое в изображениях. Зеленый знаменует весну и вечную жизнь; красный — божественную силу огня и самого Искупителя, яко являлся верным на горе Фавор в сиянии нетварного света! Что же касаемо до зверообразных подобий некиих, то — зри! — продолжал рассказчик, с шорохом перевертывая страницу кожаной книги.— Птица — душа человеческая; древо жизни — древо мысленное, знаменует райское житие или пребывание души в лоне церковном. Ежели птица клюет плоды, то, значит, душа приобщает себя к познанию истины и добродетели. Петух возвещает воскресение верных, а павлин и феникс — бессмертие и паки воскресение души. Голубь — Дух Святой, кротость, любовь духовная. Змий — мудрость, по слову Христа: «будьте мудры, яко змии, и кротки, аки голуби». Орел — птица царская, возносящая нас горé. Лев — образ величия и силы. В образе грифона все сие совокуплено воедино и наличествует в одном... Тáко вот и смотри! Здесь знаменуются два рыбаря с сетию, и один другому глаголет: «Потяни, корвин сын», а другой ответствует: «Сам еси таков!» Для невегласа сие токмо грубая пря мужицкая, но для имеющего ум возвышен рыбари суть апостолы Петр и Андрей, а прозванье намекает на тельца, жертву причастную, и «сам еси таков» к тому сказано, что тот и другой принесут себя не в долгом времени в жертву, скончав живот свой на кресте за истинную веру християнскую!

Слушали Матвея не шевелясь, тихо было в келье, значит, добре внимали сказанному, и Сергий не почел пристойным разрушать божественную беседу, вышел неслышно из сеней, тихо прикрывши дверь. Сухой щелчок колотушки услышал он уже на дворе.

В отверстые ворота обители въезжали сани, полные народу. Сергий неспешно подошел. Какой-то дородный боярин, издрогший в пути, неловко вылезал из саней. Другой, молодой, уже стоял, постукивая востроносыми сапогами — разминал ноги. Знакомые переяславские иноки повестили, что боярин — новогородский полоняник княжой, приехал поклониться ему, Сергию.

Сергий молча благословил прибывших, подошедшему учиненному брату велел вызвать эконома и отвести прибывших в истопленную гостевую избу.

Сергия Василий Данилыч даже и рассмотреть хорошенько не смог. Рослый, подбористый, широкий в плечах настоятель, отдав негромко наказы и благословив прибывших, поворотил и пошел к своей келье, уже не оборачиваясь.

В гостевом покое находилось двое богомольцев, и тоже отец с сыном, богатые крестьяне, пришедшие в монастырь по обету пешком. Сергий явно не делал особого различия между своими паломниками. Сопровождавшие боярина иноки ушли в другую келью. Скоро молодой послушник принес припоздавшим гостям чашу разведенного, сдобренного постным маслом толокна и хлеб, поставил на стол кувшин с водою. Крестьянин, обозревши непростые наряды Василия Данилыча с Иваном и подумав, достал из торбы сушеную рыбину, предложил проголодавшимся боярам. Василий Данилыч, крякнув и зарозовев, рыбу взял и неволею пригласил смерда с собою за стол. Ели вчетвером, запивали водою, торопясь вовремя окончить трапезу: завтра всем четверым предстояло причащаться, а полночь, когда становит неможно есть и пить, уже близила.

Улеглись по лавкам. Мужики и сын скоро заснули, а Василий Данилыч лежал и думал, и понемногу глупая обида на Сергия, оказавшего ему столь суровый прием, таяла в нем, проходила, заменяясь спокойствием от окружавшей монастырь лесной потаенной тишины. Он еще выходил под звезды, постоял, прислушиваясь к неживому морозному молчанию леса,— так одиноко и тихо не было даже на Двине! — и заснул только под утро, всего часа на два, а с первым ударом тяжелого монастырского била был уже на ногах.

Билом служила большая железная доска, и каждый удар словно отлипал от железа, а потом уже исходил нутряной стонущий звон, замирающий в еще дремотном, еще повитом ночною темнотою лесу. Но небо уже леденело высоко, звезды меркли, и первые розовые полосы робко чертили небосклон. Монахи неспешно, но споро двигались в сторону храма. Крестьяне уже поднялись, уже пошли к церкви. Припоздавший Иван, второпях натянув сапоги, выскочил из кельи последним, догоняя родителя.

Вот ударил колокол — оказывается, в обители был

и колокольный звон, за ним вступили подголоски, и скоро воздух наполнило веселым утренним перезвоном. Уже восходя на высокое церковное крыльцо, Василий Данилыч умилился: что-то было тут такое, чего в Переяславле, в Горицком монастыре, он не зрел. Быть может — ширь лесного окоема, открывшаяся с верхнего рундука церковного крыльца? Хотя и там, в Переяславле, взору являлась даль еще сановитее и шире (но и та была ничто для боярина, привыкшего к неоглядным просторам Северной Двины!). Быть может — истовость, с какою подымались на крыльцо и входили в храм все эти лесные иноки, иные из которых были и вправду в лаптях, хотя на самом Сергии оказались на этот раз кожаные поршни (лапти он обувал, как выяснилось потом, главным образом при работе в лесу и в дорогах). И одеты были иноки не так уж бедно: от богатых жертвователей Радонежской обители нынче отбою не было. И все же чем-то незримым монастырь Сергиев отличен был от иных. И от малых хозяйственно-уютных новогородских обителей был он отличен! И опять боярин так и не понял: чем?

Началась служба. Василий Данилыч давно уже не молился так истово, и давно уже не было у него так легко на душе. Когда пели, невесть с чего даже и прослезился. И потом, подходя к причастию, не заметил, не понял даже, что давешние смерды, отец и сын, причастились впереди него. Впервые это не показалось ему ни важным, ни обязательным при его-то боярском достоинстве. Да и какое достоинство у полоняника!

Сергий пригласил новогородцев к себе после службы, и Василий Данилыч был тому несказанно рад. В келье игумена, решительно отстранив сына, сам распростерся на полу, являя вид полного смирения, тяжело встал, опять склонился, отдавая поясной поклон. На вопрос игумена немногословно изъяснил свою трудноту.

У Сергия был очень светлый взор, кажется — голубой, рыжеватые густые волосы, заплетенные сзади в небольшую косицу, худоватое лицо аскета и легкая, чуть заметная, чуточку грустная улыбка, словно бы (это потом уже пришло Василию Данилычу в голову) он из дальнего далека глядел, соболезнуя миру и мирским страстям, мрачившим тот высокий покой и тишину, которые были в нем самом, в Сергии. Невесть с чего устыдил боярин говорить о своих горестях, а

начал — о церковных нестроениях в Новогороде Великом, о ереси стригольнической, об отметающих таинства и хулящих Троицу, яко невнятна малым сим троичность божества.

— Того же ради Бога Саваофа именуют единым и нераздельным, а Христа почасту посланным от него, а не превечно рожденным...

— Постижение Господа — в сердце! — возразил Сергий, мягко прервав боярина.— Наша обитель посвящена Святой Троице, и для меня сызмладу в божественности ее заключена была главная тайна православной веры.— Он очертил руками круг в воздухе, примолвил: — Нераздельность! — Подумал, присовокупил: — И самопостижность, ибо в Троице — триединая ипостась: причина, творящая любовь и духовное на ны истечение!.. Не могущие вместить мыслят Господа тварным, смертнорожденным девой Мариею, забывая о том, что речено в символе веры: «Прежде всех век»...— Сергий вдруг улыбнулся и смолк.— Все сие ты и сам ведаешь, боярин! — проговорил иным, простым и добрым голосом.— Надобно созерцать сердцем, не умом. Надобно зрети очами духовными. И надобно работати Господу! Иного не скажу, не ведаю да и не нуждаюсь в том. Скорби же наши — от живота, от тленных и преходящих богатств стяжания и от гордыни, не обессудь, боярин! Повиждь в Троице смысл и образ божества — и все глаголемое противу стригольниками само отпадет, яко шелуха и тлен. А теперь,— извини, мне надобно нарядити братию по работам и иную монастырскую потребу исполнить — игумен есмь!

Он встал, уже откровенно улыбаясь, и вновь благословил боярина, упавшего ему в ноги, и его сына, который, подумав мгновение, тоже стал на колени рядом с отцом.

— Егда водишь рати, мысли по всяк час о мирном труде пахаря! — сказал Сергий, благословляя Ивана в черед за родителем, и это была единая его чуть заметная укоризна разбойному походу новгородских ушкуйников.

«Троица!» — думал Машков, выбираясь из настоятелевой кельи. В Новгороде Великом была более в почете София, Премудрость Божия, и как-то не думалось о Троице до сего дня.

С сыном, оставшись наедине, заспорили. Иван, оказывается, много внимательнее слушал Сергия, чем ожи-

дал родитель. Давно ли, сидя на монастырском дворе в Горицах, не ведали, о чем баять, как одолеть скуку и злобу, а тут и слова нашлись, и пыл, и жар, и живая страсть к духовному деянию!

Растекаясь мыслию, помянули и Василия Великого, и Златоуста, и Ареопагита, и нынешние послания Григория Паламы. Многое было наговорено меж сыном и отцом, и самим себе казались они очень мудрыми тою порой, а Сергий оставался сам по себе, будто бы и не затронутый потоком словес ученых, с этою своею улыбкою, с округлым движением рук, обнимающим мир. Троица! Мысленный образ нераздельной троичности, потому только и способной постигнуть самое себя, ибо один не может даже догадать о своем существовании, должен быть второй, в коем зришь отражение свое. Но истина постигаема токмо при наличии третьего, при наличии суждения со стороны, знаменующего правоту и зримую бытийность спора.

— Вот и толкуют наши-ти невегласы-стригольники, меньше ли Сын Отца али нет! Сын — дак рожден, стало — меньше родителя! — говорил Иван.

— Нет, Иван, нет! Не то, не то баешь! — Василий Данилыч тряс головою, ловя ускользающую мысль, рожденную в его голове только что.— Вот тебе: полоса, мысленная черта! Без конча и без краю! Внял?

— Ну!

— Так! И ты ее, ету черту, режешь посередке, на полы, значит. Отселе — одна половина, оттоле — другая. А тот-то конечь, противуположный, у кажной половины опять же имет кончя! Бесконечен, значит! Так?

— Так!

— Ну, вот те и ответ! Половина, а поди-ко, равна целому! Так и Сын, от Отца рожденный, единосущен Отцу, а не подобосущен! Внял тому?

— Ну, внял...— с неохотою отвечал Иван, неволею постигая правоту слов родительских.

— Ну! А Сергий сердцем все то понимат, цьто мы с тобою тута наговорили! И токмо руками едак-то проведет по воздуху, а уже мысленно являет суть вещи той!

— Святой он! Вота цьто! — хмуро отозвался Иван, подумавши и покачав головою.— Пото и может... И свет у его от личя белый!

— Ну уж и святой! — с сомнением вымолвил

Василий Данилыч.— Святые, они... В древности... В земле египетской!

— Святой! — уверенно повторил Иван.— Пото и вадит московитам Господь, цьто у их свой святой есь! Не то бы давно на цем ни то да оборвались!

Долгий плен новогородского боярина был этим посещением премного скрашен, и когда он, уже освобожденный, отъезжал в Новгород, очень хотелось ему вновь повидать Сергия. Но не сложилось того, не сумел. Только послал серебро обители на помин души родителей своих. И слова Сергия о Троице надолго, навсегда, почитай, приложил к сердцу. Почему и возникла позднее в построенном Машковыми храме Спаса на Ильиной — одном из лучших новогородских храмов XIV столетия — изумительная, только уже Андреем Рублевым превзойденная композиция «Троицы», написанная знаменитым византийским художником, приехавшим на Русь всего десятилетие спустя, Феофаном Греком, с которым Василий Данилыч, заказывая храм и роспись к нему, премного и с великою теплотою говорил о московском подвижнике.

И так пролилась, пробилась еще одна малая струйка духовного истечения из множества незримо растекавшихся из Сергиевой обители по всей Великой Руси, одна из тех невидных, но живительных струек, более важных, при всей незаметности своей, для духовного подвизания нации, чем сражения ратей и кровавые подвиги воевод.

ГЛАВА 55

«Кир Алексие! Далекий мой собеседник и брат, а ныне — водитель духовный Руссии, зовомой некогда «дикая Скуфь», но с тех пор вот уже четыре столетия просвещенной светом истинного божественного знания и ныне горящей, яко светоч веры, в землях полуночных, озаряя тьму варварам, окрест сущим!

С несказанною радостью прочел я послание твое, коим сопроводил ты, как пишешь, «скромный и ничтожный» дар, врученный нашей мерности, каковой потратил я, едва ли не весь целиком, во избавление от гибели православных христиан, утесненных ныне со всех стран и отовсюду гонимых.

Просишь ты, дабы я подробнее и с бóльшими изъяс-

нениями описал гибельное разорение, постигшее в прошедшем лете Святой град Господа нашего и окрест него сущие земли. С радостью исполняю просьбу твою, с радостью, но и с горестным сокрушением, ибо, воспоминая и рассказывая, вновь начинаю плакать и стенать, как при первом известии о несчастье, постигшем Антиохийскую патриархию и христиан, тамо сущих!

Виною тому, или же бедою, послужило жестокое нападение, совершенное латинским государем, князем Кипрским Петром, попленившим град, нарицаемый Александрия Египетская, и избившим вся живущая в нем: сарацины и бесермены, аравиты и армены, турки и фряги, черкасы и жиды... Сей Петр, именующий себя королем Кипра, жесток и немилостив на кровь, как и все католики, почитающие доблестью убивать как можно больше неверных, коими они считают не токмо последователей Магомета, но и — увы! — православных, схизматиков!

И то узнав, царь египетский, нарицаемый салтан, разгневался яростию великою, собрал вои своя, воеводы и ипаты и послал рать на град Антиохию и на Иерусалим и во все области и пределы иерусалимские, и сотворил брань лютую, и воздвиже гонение великое на христиан, не разбираючи, латиняне ли то или православные. Святые церкви разграбил и одрал вся многоценная: иконы и ризы, и покровы, и сосуды изнесе, и воспретив службу христианом,— храмы затвори и двери их камением заграды, а иные колодьем завалив снаружи... О, печальное позорище! О, вопль бесчисленный! Христиан, тамо сущих, хватали, примучивая многоразличными муками, и казнили, не щадя ни юности, ни седин, ни кроткой жены, ни нежной девы, ни инока! Но всех вкупе, во многих томлениях, смерти предавая и имение их отнимая... А монастыри синайские все разорены, жилища и пребывалища черническая и пустынническая разрушены, игумены и попы избиты и расточены и разогнаны. А епископов всех, мучив, ввергли в темницу, а Михаила, антиохийского патриарха, распяли, яко Спасителя нашего! Такую жестокую беду претерпели мы от агарян ради вины латинян, которые и нас-то не считают за истинно верующих во Христа!

И тогда солнце погибло, месяца августа в седьмой день, на память святого преподобного мученика Демен-

тия, на завтра по Спасове дни, по утру, в три часа дня. Осталось его — аки трехдневный молодой месяц бывает. Щербина бе ему с полуденныя страны и омраку, аки синю, от Запада приходящу. И пребысть тьма с час един, дондеже обратися солнце щербиною к земли, и тако начало паки, по малу, свет свой припущати, дондеже солнце исполнися и свет свой паки яви и обычною лучами светлостию сияше. Зри! Солнце само оплакало напрасную гибель нашу, за грехи насылаемую!

Что еще реку тебе аз, недостойный Феофиле? По убогому настоянию моему благоверный повелитель ромеев, Иоанн Палеолог, слышав, коликое зло сотворил салтан правоверным христианом, священникам и церковникам и всем епископам и митрополитам, паче же и самому патриарху Михаилу антиохийскому, сжалился о сем и умилосердись зело, печалуя и промышляя, паче же добро творя и помогая христианом, послал послы своя к салтану египетскому о миру, со многими дары. Он же, мир сотворив, патриарха и митрополиты и прочая епископы отпусти восвояси, а церкви им паки предаст, и взял у них двадесять тысящ рублев серебра, кроме иного узорочия и многих даров. Вот на что, как некогда на выкуп плененных гераклеотов, ушло присланное тобою серебро! О том пишу тебе, дабы ты ведал и знал, куда употреблено все доставленное тобою.

Вот каковы наше горе и наша печаль! Вот в коликом обстоянии мы пребываем, семо и овамо утесняемы, оттоле католиками, отселе мусульманами, чая уже скорой гибели православному христианству! О, сколь несмысленны правители стран православных, не ведающи гибели своей, дондеже не съединятся вкупе и не восстанут с оружием противу неверных!

Я здесь прилагаю все силы свои с тех недавних пор, как Господь вновь утвердил меня, недостойного, на патриаршем престоле священного града Константина, дабы исправить все преждебывшие обиды и злобы, разделившие на ся церковь православную, по неразумию свершенные ныне покойным патриархом Каллистом, и тщусь вновь совокупить церкви Сербскую и Болгарскую с Греческой, ибо чрез то надеюсь и верую составити союз всем православным христианом, ныне утесняемым католиками и истребляемым неверными!

И уже теперь могу поведать тебе грядущую великую радость! Недалек день, когда учитель наш, скименлев, первым подъявший меч духовный противу хуля-

щих исихию, святой и великий Григорий Палама, будет воистину прославлен церковью! И зри,— пишу тебе здесь «святой» не как фигуру некоей поэтической гиперболы или панегирика, но в твердом знании, что в скором времени уже будет свершена канонизация златоустого Паламы, про которого должно сказать не так, что утверждение имени его в святцах прославит преподобного, но, напротив, сам он, создавший себе при жизни венец сияющий, прославит собою ряды праведников, славящих Господа! И с тем, мню, окончательно ересь Варлаамова будет посрамлена и отринута нашею православною церковью!

Преклони духовное ухо твое и прослушай вместе с нами днесь составленный или же, вернее, снизошедший с небес кондак отпустительный преславному Григорию Паламе:

Как высокий и святой орга́н Премудрости,
Как трубу богоглаголанья звенящую,
Воспеваем мы тебя, святый Григорие!
Но как ум, к уму начальному приближенный,
К нему наш направи ум, да воспоем тебе.
  Радуйся, благодати наставниче!

Равно с этою радостью сообщаю тебе и о горестях наших: о том, что неразумие василевса Иоанна Палеолога, которого великий муж оставил по себе восприемником, простерлось до того, что идут переговоры двора с Папою о принятии унии, чему я, патриарх Филофей, как пастырь и глава греческой церкви, воспротивлюсь всеми силами власти, мне данной, равно как и силою убеждения. И для того, льщу себя надеждою, канонизация Паламы послужит важным подспорьем наших несовершенных стараний.

О просьбе же твоей прислать на Русь изографа нарочита, прославленна паче иных: приложу все старания, дабы сыскать такого и не ошибиться, приняв медный блеск и свинец за золото и драгоценные камни...»

Алексий отложил грамоту патриарха Филофея Коккина на аналой и задумался. Мало того, что Русь платит ордынский выход! Теперь русское серебро пошло уже на оплату военных расходов султана египетского! Эдак и все мусульмане скоро учнут жить за счет христианской Руси!

Мелкие мысли лезли ему в голову, мешая помыслить о главном. Поймал себя на том, что не так быстро

переводит с греческого, как в бытность свою в Константинополе. Вспомнил и про себя повторил слова Иосифа Ракендита:

«Любой вид речи состоит из восьми частей: смысла, слога, фигур, метода, канонов, сочетания, перерыва и ритма.

Смысл во всякой речи бывает либо риторическим, либо философским, сиречь возвышенным... Впрочем, у многих новых писателей слог смешанный, средний, таковы Фемистий, Плутарх, Григорий Нисский, Иосиф Флавий, Прокопий Кесарийский, Пселл...

Одушевленность речи придают обработанность и украшенность ее... В письмах же весьма уместны изречения мудрецов, так называемые апофтегмы, а также пословицы и даже что-либо сказочное... Образцы для себя найдешь в письмах Великого Григория, Великого Василия, Синесия, Либания и других...»

Да, риторику он еще, кажется, не позабыл!

Он пощадит патриарха Филофея, не станет говорить ему о сущей невозможности похода русичей на турок, доколе не сокрушена Орда, доколе не побежден Ольгерд, доколе не подчинена Тверь и, с тем вместе, не собрана воедино Владимирская Русь...

Он сидел согбенно. Он еще весь был там, в великом умирающем городе Константина, среди его выщербленных мозаик и колонн из разноцветного мрамора... И ежели бы он мог... Ежели бы имел в руках силы всей Великой Руси!

Цареградские святыни не защитит ни краль сербский, ни болгары, ни влахи...

— И русичи ныне не защитят! — с горечью вымолвил он вслух, позабывшись, запамятовав даже присутствие Леонтия, который слегка кашлянул, напоминая о себе. Алексий протянул ему грамоту:

— На, прочти!

«Когда у людей нет воли к борьбе, они принуждены становят платить за самое право жить на земле! — присовокупил он про себя с невольною горечью.— И не расплатятся все равно, ибо богатства можно отобрать, ничего не давши взамен! Да, он должен смирять и подчинять князей и княжества! Он прав! Он не может поступать иначе!»

Тяжкий гнев колыхнулся у него в душе. Сколько можно оплачивать робость, предательство и бессилие? Кантакузин платил — доплатились! Теперь Филофей

платит, плетет паутину, которую запросто сметает любая грубая сила! Доколе Русь будет искупать своим серебром пакости католиков, захвативших византийские земли? Когда нужны оружные полки, железо и мужество, а не серебро и византийская риторика! Дабы вымести тех и других с православного Востока!

«Невозможно,— остудил он сам себя.— Теперь невозможно! Но...»

Необычная мысль пришла Алексию в голову: кто же из них дальше видит вперед, Филофей Коккин, обнимающий умом судьбы всего православного мира, Византии и Ближнего Востока, Болгарии, Сербии, Влахии, Армении, Грузии, Литвы и Руси, или он, Алексий, упершийся в одно крохотное, по сравнению со всей христианской ойкуменою, место — в междуречье Оки и Волги, где и ведет яростную борьбу за преобладание одного — московского — княжества? Кто из них более прав? И не постигнет ли Русь судьба Иерусалима и Антиохии, которые захватывают и грабят все, кому не лень?

И еще одно проникло в сознание, как льдинка, попавшая ненароком за ворот, на разгоряченное тело: а друг ли ему Филофей? Или, что вернее, будет ли ему другом всегда?

Припомнились страдающие семитские глаза Филофея Коккина, «бурного и свирепого», по выражению Григоры, но превосходно умеющего отступать и уступать, применяясь к силе обстоятельств и норову власти.

Друг, да! Но и византиец закатной поры. «Друг тем и отличается от льстеца, что последний говорит, чтобы сделать приятное, а первый не останавливается и перед огорчением»,— напомнил он себе слова Василия Кесарийского.

— А ежели Ольгерд предложит патриарху Филофею ратную помочь противу турок? — вопросил, нарушив молчание, Станята, дочитавший грамоту Коккина. И Алексий вздрогнул, настолько вопрошание Станяты легло вплоть к тому, о чем подумал только что он сам. И что будет тогда? Этого он даже Станяте не мог бы высказать... Не знал!

Алексий встряхнулся, сильно потер себе переносицу и надглазья. Отпустивши Станяту, позвонил в колокольчик.

Скоро, переодетый в дорожное облачение, он в сопровождении архимандрита Павла и нескольких

служек вышел на сияющий, залитый весенним солнцем двор. И было до того радостно, голубо́ и синё, что на миг расхотелось лезть в тесный обиходный одноконный возок, где двоим было только-только поместиться. Но приходило лезть, ибо среди строительных развалов и сора, полонивших Кремник, передвигаться своими ногами, не рискуя быть покрыту грязью с головы до ног, было попросту невозможно.

Шагом медленно ехали, огибая огромные кучи белого камня, от костра к костру, и всюду кипела работа, и всюду уже на уложе́нные в глубину дубовые плахи было положено основание из дикого камня и щебня, и уже залито раствором, и уже выведено кое-где вровень с землей, и виделось, как невдолге станут расти каменные костры и прясла. Теперь же, лишенный прежних стен и уже отстроенный, Кремник стоял, как сказочный дворец, вынутый из ларца и весь открытый солнцу и ветру. А с площадок — оснований будущей стены — далеким-далёко зеленели и синели замоскворецкие дали, луга и леса, и дымы далеких деревень.

Не признаваясь сам себе, владыка чуял в сей миг, что помимо премудрых речений он попросту любит все это, любит и будет защищать и спасать «до живота своего», и иного пути у него нет!

Путаницей межулков от митрополичьих хором, за храмом Успения, мимо палат Вельяминова, мимо Богоявления выбрались к Троицкому мосту. Оттуда вдоль конюшен и оружейных палат, мимо Спаса-на-Бору и княжеских теремов проехали к Боровицким воротам, также открытым, несуществующим. И странно было видеть крутой склон холма, не защищенный покамест ничем. Но и ту̀т трудились сотни мастеров и уже клали основание и стены нижних камор каменной проездной башни. За житным двором и бертьяницами стену отодвинули подальше, несколько приспустив вниз по склону, дабы ближе была вода, и возок владыки покатился, колыхаясь на мягкой, ископанной земле, вдоль срытой до основания стены Калиты, от костра к костру, к водяной башне, к хоромам князя Владимира Андреича и приказам, мимо соборной площади, мимо Благовещенского и Архангельского соборов. Тут, за приказами, стену решительно и намного отодвигали далее, захватывая значительную часть окологородья, почему вовнутрь Кремника попадали церковные дворы, дворы

гостей иноземных, хоромы многих бояр, новопостроенный монастырь Чуда Михаила Архангела в Хонех. Здесь возводились новые, Фроловские ворота,и отсюда стена шла прямиком вдоль Красной площади до следующих, Никольских ворот и до угловой башни над Неглинною, откуда вновь круто заворачивала к Троицкому въезду и Богоявлению...

К нему подходили, поминутно останавливали возок измазанные глиной, радостные бояре, мастера, старшие строительных дружин. Прошали, скоро ли будет освящение города. (Освящать решили, когда будут выведены все погреба и нижние подземные каморы и начнется возведение верхней, надземной части стены.) Всем было внове и потому непривычно радостно. Алексий глядел, как любовно подгоняют камень к камню, как проливают раствором, дабы не осталось и малой щели. Слушал веселые оклики, взглядывал назад, на ступенчато вздымавшуюся груду новорубленых теремов, кровель, гульбищ, вышек, смотрилен, шатров, маковиц, изузоренных, крытых чешуею, лемехом и дранью, на позолоченные прапоры княжеских палат, возвышенные крыльца, повалуши и сени, на белосияющие среди всего этого бревенчатого громождения каменные храмы, на то, как споро копают ров вдоль новой части крепостной стены, по которому вода должна будет пойти из Неглинной в Москву-реку, окружив город сплошным водяным заслоном, на бревенчатые мосты, на толпы и толпы весело снующих людей, благословлял и привечал то наклонением головы, то словом; приметил и обоих князей, Дмитрия с Владимиром, что стояли в толпе боярчат над обрывом к Москве-реке и тоже что-то делали, распоряжались, а Владимир, видно, и сам не вытерпел: копал или клал камень и был перемазан теперь глиной от головы до пят.

На время Алексий забыл даже, зачем поехал, что хотел выяснить и уяснить для себя, и только проехав вдоль всех стен и снова оказавшись под стеною Богоявления, измеряя глазом воздушный простор отсюда и до дальнего берега Занеглименья, где тоже шла работа, стучали топоры — смерды строились, залатывая последние следы всесвятского пожара,— только тут понял, что хотел уразуметь для себя и что уразумел, понял, обозрев дружную работу москвичей: теперь, ныне, можно было остановить князя Михайлу, дав ему почувствовать твердую руку Москвы. И, значит,

пришел черед Твери отречься навсегда великого княжения владимирского!

Нынче Василий Кашинский с Еремеем должны будут подать повторную жалобу на незаконное завещание князя Семена. Ему жалобу, митрополиту всея Руси!

И юный князь Дмитрий, ежели надобно, должен будет теперь вмешаться в дела тверские!

Он, Алексий, должен и будет создавать сильную Московскую Русь. Иначе не стоять ни Русской земле, ни вселенскому православию. Тут его спор с Филофеем Коккином, и он, Алексий, этот спор выиграет. Должен, обязан выиграть!

Быть посему!

ГЛАВА 56

20 марта[1] умер прежний тверской владыка Федор, удалившийся от дел в Отроч монастырь. Хоронили его просто и торжественно. Прах Федора был положен в храме Введения Богородицы, в едином гробу с владыкою Андреем. Покойного пастыря, прославленного своими добродетелями, храмоздательством, честностью, добротой и вниманием к людям, а также теми непрестанными стараниями, с коими он по вся лета утишал ссоры Александровичей с кашинским князем, любили и знали. На похороны собралась едва ли не вся Тверь. Плакали, и неложно, многие. И эта всенародная, никак и никем не подготовленная скорбь была лучшим венком на гроб печальника Тверской земли.

Нынешний тверской владыка, Василий, после похорон посетил опустелый княжеский терем, совсем недавно вмещавший всю многочисленную семью замученного в Орде Александра. И внове и дико было не видеть княгини Настасьи, не слышать тяжелых шагов Всеволода и уверенных — Владимира с Андреем. Терем померк, запустел, как-то вдруг и разом постарел, словно боясь или не желая пережить хозяев своих.

Микулинский князь почти не жил в Твери, и семья его была нынче в Новом Городке на Волге, он только прискакал на похороны Федора, намерясь назавтра же ехать обратно.

---

[1] 1367 года.

За столом, непривычно пустынным без прежних князей, сидели ближние бояре князя, тверской тысяцкий, несколько игуменов соседних монастырей. Однако у каждого из председящих в душе было то же самое чувство — пустынности, оброшенности гордого некогда терема, и потому в молчании поминальной трапезы взгляды то и дело обращались в сторону микулинского князя, нынешней единой надежды Твери.

Михаил сидел во главе стола, на месте, на котором сидела обычно покойная мать, и то отринутое им, отогнанное на время, что долило и жгло в родимом дому, вновь подымалось в душе, подступая к глазам горячею, жгучей волною. Но и слез не было. Был долг. Перед всеми собравшимися ныне за этим столом и теми тысячами, что с надеждою ждут от него подвигов одоления на враги, ибо с ним одним связывают теперь веру в высокое назначение своего города в череде веков грядущих.

— Не хотел баяти допрежь того! — с видимою мукой лица сказал епископ Василий, опуская глаза.— Дабы не омрачать светлоты горестного днешнего торжества, с коим мы все провожали владыку Федора к престолу Господню. Но должен повестить тебе, княже, что митрополит Алексий зело недоволен решением моим о вотчине княж-Семеновой. Мыслю, возможет и поиначить поставленное мною!

Епископ Василий произнес это тихо и скорбно. Новость еще не была известна никому, и стол замер. Все поглядели друг на друга сперва, а потом молча на князя. И был миг страшной, растерянной немоты. Ждали. И тут — грохнуло. Со звоном отпихнув серебряное блюдо и вскочив на ноги, боярин Матвей выкрикнул задушенно, хватив по столу кулаком:

— Доколе? Княже! Вся Тверь за тебя!

И все поглядели на Матвея строго. И боярин сел, тяжко свесив голову. И тогда все председящие вновь и молча уставились на Михайлу Микулинского.

Михаил сидел бледный, напряженно-спокойный. Оторвал наконец глаза от серебряной чары, украшенной по рукояти жемчугом, которую крепко сжимал в руке. Вопросил, поискав глазами тысяцкого, Константина Михалыча Шетнева:

— Сколько можем мы ныне выставить рати противу дяди Василия и великого князя московского? (Нарочито не назвал Дмитрия «владимирским»: о великом

столе владимирском спор меж Москвою и Тверью еще не решен! И так это все и поняли.)

Но задумались бояре, а Шетнев опустил голову. И Захарий Гнездо, брат тысяцкого, отмолвил хмуро:

— Не выстоим, княже! Обезлюжена Тверь! Люди не поправились ищо...— И замолк. И досказал за него Микула Дмитрич:

— Надобно тебе искать помочь, княже! Как уж братец твой покойный Всеволод...

И слова не сказано было, ибо всем яснело и без того: без Ольгердовой, без литовской помочи ныне не сдюжить Твери!

Уже когда расходились гости, трое бояр, избранных, самых ближних, укромно подошли к Михаилу.

— Поезжай, княже! — молвили.— Суда владычня не сожидай! Доброго не будет, а нынешнего худа без Ольгирдовой помочи нам не избыть!

Отъезжая в Литву, не ведал Михаил, не верил и все-таки не представлял, какую пакость содеют без него во Твери и Микулине дядя Василий с Еремеем и московской ратью... Добро, что он накануне отъезда нешуточно укрепил свой новопостроенный Городок.

Сразу после его отъезда в Тверь прибыл владычный пристав, вызывая в Москву на суд епископа Василия и князей Василия Михайловича Кашинского с Еремеем Константинычем, сводным братом покойного Семена. Епископ Василий ехал с тяжелым сердцем. Судилище не обещало ему ничего доброго.

Алексий не допустил епископа до себя, не дал оправдаться келейно и сразу назначил суд, созвав синклит архимандритов и игуменов московских и переяславских монастырей.

За узорными свинцовыми переплетами окон слышались крики, ржание, скрип телег, стонущие тяжкие удары по камню. Строилась каменная Москва. А в полутемном покое горели свечи и собравшиеся клирики, кто в креслах, кто на скамьях, строго взирали на тверского епископа, дерзнувшего спорить с всесильным митрополитом. Читал даниловский архимандрит:

— Почто нарушил еси уложение русское: «Яже кто, умирая, разделит дом детем своим, на том же стояти. Паки ли без ряду умреть, то всем детям, и на самого часть дати по души».— Чтец перевернул с шорохом страницу, потянулся за другою книгою. Прочел из «Номокануна», потом из «Мерила праведного»...

Василий пытался оправдаться, указывал на ясное завещание умирающего...

— В скорби, во мраке души, ревнуя об обидах своих,— перебил его доныне молчавший Алексий и строго поглядел на епископа Василия,— возможет умирающий обойти завещанием ближняго своего! Но мы, пастыри, о чем должны ревновать первее: о воле предсмертной грешного и часто пристрастного людина или же о законе, установленном трудами святых отец и князей древлекиевских?!

Темный взор Алексия, когда он говорил, глядя чуть исподлобья на тверского епископа, был замкнут и сух. Глаза как бы глядели и не глядели вовсе или, вернее, проникали сквозь, упираясь в нечто, видимое одному Алексию. И потому слова его укоризн казались особенно безжалостны. Все, что говорил Алексий, было верно, и все не имело жизни, разумелось за словами совсем иное. И это иное было — сан Василия, рукоположенного Алексием и потому обязанного всегда и всюду выполнять волю Москвы, невзирая на право и правду. И потому Василий трепетал и негодовал одновременно, пытался возражать, спорить, но ему не давали говорить, тыкали в нос то одною, то другой статьей, и выходило, что они правы по закону, а он — по душе. Ибо прав был, по душе, Семен, ненавидимый при жизни мачехою и сводным братом, права была ремесленная и торговая Тверь, не желавшая видеть на престоле своем кашинского князя, правы были бояре, прав Михаил, взваливший крест на рамена своя... Но для утверждения его правды тверские полки должны были сокрушить упрямо растущую Москву.

Василия подвергли епитимье, заставили заплатить судебные проторы и убытки, заплатить митрополиту и паки заплатить князю великому... Тверской летописец писал после, что владыке была «истома и протор велик».

Оправленные Василий с Еремеем тотчас собрали рать и двинулись сперва на Тверь, а после в пределы Микулинского княжества.

В Твери Василий Михалыч, став на княжом дворе, применил свою излюбленную меру: начал выяснять, кто из тверичей доброхотствовал князю Михайле, и тех всех подвергать продажам и облагать вирами. Княж-Васильевы молодцы потрошили посадские сундуки, ходили по улицам, метя домы, выгребали серебро,

меха, порты, узорочье. Плакали испуганные дети, визжали, цепляясь за выносимое родовое добро, жонки. Отцы семейств провожали княжеских сбиров закусив губы, с побелевшими лицами. Не впервой налагал князь Василий руку на Тверь, но чтобы сбор дани превращался в открытый грабеж — такого еще, кажется, не было.

Не в редкость являлись такие картины: кашинский ратник несет на плече мешок нахватанного барахла, среди коего и порты, и одежонка, и скрута женская, а сзади бежит ребенок лет шести-семи и пронзительно кричит:

— Дядечка, отдай мамкин саян, дядечка, отдай, отдай, дядечка! — Пока наконец ратник не поворачивается и не пинает ребенка изо всей силы сапогом под дых и уходит, не оглядываясь на распростертого в пыли скорченного дитятю...

Тверь глядела на все это из-за калиток, по-за тынами, из окошек верхних горниц, глядела и запоминала, так что с каждым разоренным домом, с каждым обобранным горожанином и с каждым выпотрошенным сундуком, с каждою ограбленною лавкою в торгу у Василия Кашинского все меньше оставалось в Твери сторонников. Задумывались даже те, кто доселе стоял на том; что Василий, по лествичному счету, должен занимать тверской стол после Александра с Константином. Теперь, пожалуй, Михаил сумел бы и в Твери набрать ратную силу против дядюшки своего.

Василий не то что приказывал все это творить, он попросту, как это уже было не раз, «возвращал свое», а тут к тому же требовалось собрать Семеновы дани-выходы, то, чего не получил в свое время Еремей из наследства брата и что должна была заплатить нынче упрямая Тверь. Ну а уж коли пошло на такое, едва ли не каждый из ратников спешил набраться, хватая все, что «плохо лежит».

Справив свою тризну в Твери, дядя с племянником, Василий с Еремеем, и с московской помочью двинулись вверх по Волге, громя и пустоша волость князя микулинского. Не миновали даже церковных сел Святого Спаса. Мычал угоняемый скот. Бояре набирали полон, обращая свободных смердов в холопов. За ратью двигался все распухающий обоз крестьянских разномастных коней, телег, колымаг, сноповозок, даже волокуш, шли, тяжко мыча, недоеные коровы, блеяли овцы, брели за телегами повязанные полоняники.

Рати подступили к Новому Городку, окружили. Дуром, не очень веря в отпор, густо и дружно полезли на приступ. Однако с заборов часто и метко летели стрелы, на головы осаждающих полились кипяток и смола, лестницы, полные лезущими по ним ратниками, раз за разом спихивали шестами под стену в ров. У ворот вышедшая встречу идущим на приступ московитам тверская рать ударила в ножи. Резались осатанев, грудь в грудь, катались в обнимку по земи, добираясь до горла: хрип, мат, ор, в ход пошли кистени, раненых, озверев, добивали сапогами. В конце концов московская помочь, теряя мертвых, откатила назад. Вслед за нею отступили и еремеевские молодцы с кашинцами. Ночью делали примет из хвороста, из утра снова пошли на приступ. Но тверичи опять вышли встречу и подожгли примет. К счастью, ветер был со стороны города и рубленые городни не загорелись, хотя и обуглились с внешней стороны. Третий, уже недружный приступ был тоже отбит, после чего воеводы, посовещавшись, сняли осаду.

Вся правая сторона Волги — все села, рядки и деревни — была разорена и испакощена. В полях потравлен хлеб, потравлены и разорены копны сена. Жители, разбежавшиеся по лесам и буеракам, возвращались к расхристанным избам, вели, собирали по перелескам уцелевшую скотину. Скрипели зубами: не Литва, не татары — свои, русичи! Не было исхода гневу, и прощения не было.

Во Твери Василий Михалыч, как ему казалось теперь, уселся прочно. Тверь молчала, и нравный, самолюбивый и ограниченный старик не ведал никакого худа в этом молчании.

Московская помочь ушла, поскольку на южном рубеже вновь зашевелились татары. Но и без нее кашинский князь чувствовал себя прочно. Проезжая на коне по тверским улицам, спесиво задирал бороду: великий князь тверской! Не ведая, что молчаливая Тверь уже бесповоротно и твердо высказалась за князя Михаила...

Событием, оттянувшим московские силы, явился набег булгарского хана Булат-Тэмура на Нижегородскую волость.

Булат-Темирь, как его называли русские, был глуп и спесив. Захватив в пору ордынского междуцарствия Булгар, он засел в нем, уверовав в свои воинские талан-

ты. Набег ушкуйников, ограбивших всю Каму, набег, коему он не сумел противустать, разъярил хана. И теперь, не очень разбираючи, кто нападал и кто виноват (громили татарских гостей в Нижнем — значит, нижегородский князь виноват! У хорошего князя гости под защитой всегда!), решил отплатить всем урусутам. Он ограбил княж-Борисову отчину, перешел Волгу и начал пустошить все подряд.

Соединенные рати Дмитрия Константиныча, Василия Кирдяпы и Бориса с московским полком выступили встречу ему. Булат-Темирь, сметя силы и оценив строй русских полков, струсил и начал отступать, внеся смятение в собственное воинство. Татар нагнали за Пьяной. Множество их утонуло в реке. Иных избивали без жалости, избивали по зажитьям, мало кого брали и в полон. Резня была жестокая, и Дионисий, приветствуя и благословляя возвращающееся воинство, уже верил, что началось неизбежное и давно призываемое им «одоление на супостаты».

Полки, пропыленные, усталые и веселые, шли и шли под звуки труб и рожков, вели захваченных, вьюченных лопотью лошадей, вели полон. Бежали, смешно переставляя ноги в долгих портках, испуганные татарки, шли бритоголовые, скованные вереницами ясыри...

Для русичей эта победа обернулась счастливо, ибо хан Азиз, вместо того чтобы отмстить за набег, решил воспользоваться случаем и покончить с независимостью Булгара: Булат-Тэмур был по его приказу схвачен и убит.

Тем же летом, в конце июля, прибыли на Москву новогородские послы и «докончаша мир», вызволив захваченных на Вологде новгородских молодцов и боярина Василия Данилыча.

Тем же летом умер в Новгороде Онцифор Лукин, с которым окончилось прежнее новогородское народоправство... Москва шла к монархической власти, а Новгород неодолимо скатывал к боярской олигархии. И ни те, ни другие не ведали, что за плоды это им принесет впоследствии.

Михаил Александрович Микулинский вернулся на родину 23 октября.

ГЛАВА 57

Все лето Михаил пробыл в Вильне. Ожидал Ольгерда, упрашивал Ольгерда, ездил к Кейстуту, пытаясь через него воздействовать на брата, уговаривал сестру Ульянию помочь ему. Ольгерд молчал, разглядывал шурина своими голубыми непроницаемо-твердыми глазами, что-то прикидывая в уме.

Михаил чувствовал себя то гостем, то почти что пленником. Гонцы доносили ему о митрополичьем суде, о походе, осаде Нового Городка. Все же, как выяснилось потом, размеры ущерба он плохо представлял себе в отдалении.

Ольгерда тревожили немцы, неспокойно было на польском рубеже, и его можно было понять, но Михаил чуял, видел — дело не в том. Порою он догадывал даже, почему Ольгерд не торопится с помочью для Твери. Не казался ли ему он, Михаил, слишком умным и потому слишком самостоятельным в грядущем? Не боялся ли Ольгерд, сокрушивши Москву, нажить себе в тверском князе более сильного соперника?

Во всяком случае, литовский великий князь писал в Константинополь, требуя особого митрополита для епархий Черной Руси, Волыни, Киева, а также Новгорода Великого, Смоленска и Твери. Не числил ли он уже про себя Тверь и Новгород литовскими волостями?

Ольгерд отлично ездил верхом. Скакать рядом с ним было одно удовольствие. Михаил участвовал в охоте на зубра, видел, как взъяренный зверь, мотнув огромною косматою головой, поднял на рога и кинул через себя лошадь со всадником; следил, как этот рослый литвин в холщовой сряде с непроницаемым лицом немногословно отдает приказания и как такие же рослые белобрысые воины, выслушав и склонив головы, не тратя лишних слов, тотчас садятся в седло и скачут исполнять приказ. И по той решительной посадке, с какою садятся в седло, и по тому, как скачут, виделось: приказы исполняют тут точно. И ежели Ольгерд прикажет, допустим, схватить и зарезать его, Михаила, то его схватят и прирежут с такими же спокойными, деловитыми лицами, не смутясь и не поколеблясь духом даже на миг. Он слушал рассказы о том, как ведут себя немцы в захваченных литовских хуторах, как вспарывают животы женщинам и травят собаками детей, и понимал, что в этой суровой земле выстоять можно только

так и только с таким князем во главе. Кейстут, худой, со сверкающим взором, угрюмою и краткою речью, почти не понимавший по-русски, порою казался ближе и душепонятнее Ольгерда.

Кейстут был рыцарь с высоким понятием о благородстве и чести, но кто был Ольгерд?

Ульяна признавалась Михаилу в те редкие мгновения, когда они оставались одни, что, родивши столько детей, до сих пор не понимает и порою боится своего мужа.

— Я только раз видела, как он смеется ото всей души! — сказала она.— Это когда разбили татар и захватили Подолию. Мнится, брате, ему власть дороже и меня, и детей, и просто всего на свете!

Ульяния говорила по-русски с едва заметным, правда, отзвуком литовского говора. И это паче возраста и прожитых здесь лет отдаляло ее от Михаила. И смерть матери... Она без конца поминала Настасьин приезд, радовалась и плакала, уверяя, что мама предчувствовала свой конец заранее, потому и приезжала гостить, потому и гостила у нее столь долго...

Ниточки, те тончайшие сердечные струны, что паче слов и уверений связывают ближников, то и дело рвались меж ними, и Михаил все терял, все не находил того давнего, когда он таскал Ульянию на руках или бегал с нею наперегонки по переходам тверского терема. Дети все время облепляли ее, отрывали от брата, не давали побыть вдвоем, воспомнить старину — да и желала ли она того слишком сильно? И то было неведомо Михаилу!

Иногда он приходил в отчаяние. Хотелось все бросить и скакать на Русь. Но куда? В разоренный дядею Микулин?

Ольгерд никак не показывал виду, что понимает мучения Михаила. Когда Ульяния пробовала заговаривать с ним о братних делах, отвечал с мягкою твердостью:

— Оставь, жена, нам с Михаилом самим решать наши мужеские дела!

Уже на исходе лета они с Ольгердом выехали встречать рать, возвращавшуюся с Волыни. Полки проходили долгой змеею, огибая холм, на котором стоял, высясь на белом коне, Ольгерд. Михаил держался на пол-лошадиной морды позади великого князя литовского, понимая, что иначе рассердит властитель-

ного зятя. Дружина осталась в изножии холма. Литвин смотрел задумчиво, как выливается из леса и снова тонет в дубовых чащах долгая верхоконная змея, сказал, не поворачивая головы:

— Алексий мой ворог! Ежели его не остановить сегодня, он завтра захватит Брянск! — И уже намерясь съехать с холма, уже подобравши поводья, добавил: — Я дам тебе воинов!

...И вот теперь Михаил ведет на Тверь литовскую рать. Правда, это в основном русичи, набранные под Полоцком и в Черной Руси, литвинов едва четверть и те, почитай, все крещеные, православные христиане. Ратникам строго наказано не зорить волости и обещана денежная награда. Михаил едет, приотпустив поводья, а кругом — оранжевая осень, золотая осень! Чистый, как вино терпкий воздух, сиреневое небо, золотые пожары берез и красное пламя осин, бронзовые дубы и пламенные клены,— и как он соскучал по своим, по дому, по родимой, родной стороне!

Все померкло, едва только вступили во свою отчину. В Городке с гордостью сказывали, как отбились, трогали платье, седло, узду, теснились, заглядывая в глаза: князь ты наш светлый! Жена, старший сын Иван — спасенные, целые, живые! Он целует, схватив в охапку, обоих, он счастлив, радостен. Он ночует и не спит всю короткую ночь; между ласками, судорожными, отвычными, говорит, говорит, говорит... Дуня всхлипывает: «Узна́ешь, узнаешь сам!» Боится высказать... Думал, о своем, бабьем, оказывается, нет — о том, что совершилось с волостью.

Он выходит на глядень. Горят костры. Ратники не поместились в городе, и весь луг заставлен теперь шатрами. Ночь холодна, терпка, благоуханна, но ему нечем дышать. Рассказанное между всхлипами женою не вмещается ни в какие христианские пределы. У него каменеют скулы. Так!

Дальше он видит сам. Сам едет через разоренный, поруганный край. Молча подъезжают на разномастных конях кое-как оборуженные мужики. Рать растет. К Твери подходит почти удвоенный полк.

К столице княжества подъезжает он уже другим, иным человеком, каким не был до того еще никогда в жизни. Город перед ним, отцов город! Город, который ему предстоит, быть может, брать с бою.

Михаил остановил рать, сделал знак рукой и один,

поднявши забрало шлема, подъехал к воротам. Окликнул ратных, что, свесившись из заборол, разглядывали воина в дорогом зеркальном колонтаре с воеводским шестопером в руке и граненом шеломе, украшенном по краю золотым письмом, с белым орлиным пером в навершии.

Михаил властно повторил сказанное. Наверху молчали, стрел не было. Михаил отстегнул запону и снял шелом, рассыпав по плечам светлые кудри. И была минута тишины. Вдруг ворота с треском распахнулись, раскатились тяжелые створы: кого-то, сбив с ног и оглушив, оттаскивали посторонь. Он узрел только бессильно раскоряченные ноги в сапогах,— верно, волокли кашинского ратника или городового боярчонка... К нему бежали встречу, окружали, радостно вздымая копья. Михаил кивнул своим — впрочем, свои были теперь все,— и, так и не надевая шелома, въехал в город.

По сторонам бежали мальчишки, жонки бросались к калиткам, висли на заборах... Ропот, гул, переходящий в радостный стоустый вопль. Тверь встречала освободителя, встречала своего князя.

Дальше он ничего не приказывал, все совершилось само собой. Кашинцев хватали по дворам и на вымолах, сопротивляющихся вздымали на копья. Дядя ускакал, сказывали, в одном сапоге. Еремеева княгиня не успела выехать и была схвачена ратными.

В иную пору Михаил сам бы проводил (как-никак свойка, братнина жена!) Еремеиху за ворота, отослал к мужу. Тут — только глянул и велел замкнуть на ключ в горницах. Пусть Еремей охолонет чуток да и в ум войдет!

Холопов и дружину дядину, битых и повязанных, развели, обезоружив, по погребам и амбарам.

Он уже соскакивал с седла на своем дворе, куда густо въезжали попарно литовские всадники, когда из горниц послышался новый визг и на крыльцо выволокли упирающуюся толстую сановитую жонку, которая, властно раскидав девок, ринула встречу Михаилу. В раскосмаченной, красной от гнева бабе он узнал не вдруг Елену Ивановну, жену дяди Василия.

— Что ж Василий-то утёк? — вопросил он строго, не давая великой княгине опомниться и что-либо сказать ему в ответ.— Сказывают, в едином сапоге?! — Михаил усмехнулся, недобро обнажив зубы, и, видимо,

таков был князев лик, что Елена попятилась, обвисая, точно опара.

— Толковала, баяла старому дурню! — в забытьи бормотала она.— Етот вот нас и погубит!

Михаил перевел бровью, знаком указал, ни слова не говоря. Княгиню увели наверх, в укреп, в затвор к Еремеевой жене.

— Стеречь! — бросил уже в спину, когда княгиню утащили в терем.

Отовсюду вели схваченных кашинцев, челядь и бояр. Кто-то из думцев Васильевых зачванился было. Михаил поглядел на него прозрачно, ясно так поглядел, рек задумчиво:

— Казнить?! — И боярина облило холодом.— За обиду мою, пожалуй, и казни мало! — примолвил. И боярина увели, пихнув древком копья в спину.

Михаил вступил наконец в обесчещенный терем. Распорядил выставить сторожу у бертьяниц и погребов. Распорядил, чтобы из захваченного товара, кто сметит свое, приходили б на княжой двор и забирали. Распорядил накормить ратных, выставить сторожу у всех ворот и оборужить тех смердов и кметей, что пристали к нему одной душою без брони и оружия. Василий ничего не поспел увезти, и можно стало уже теперь частично расплатиться с литовской ратью. Себе он дал роздыху всего на два-три часа. Еще до зари полки потянулись по сонным улицам в сторону Кашина. Дяде нельзя было дать времени собраться с силой.

До боя не дошло и на этот раз. Владыка Василий, который был вне города, бросился к кашинскому князю. В Андреевском селе воинство Михаила повстречали кашинские послы. Дядя отступался всего, уступал Тверь, возвращал награбленное, полон и скот, давал выкуп и молил через владыку Василия токмо унять меч и не пустошить Кашинской волости.

Михаил не вдруг и не сразу внял уговорам своего епископа. Не в силах смотреть на униженные лица посольства, на эту раздавленную спесь, разом перешедшую в самое тошнотное самоуничижение, он вышел на крыльцо, в ночь. Было опять трудно дышать от гнева. Горели костры. Хрупали овсом кони. Глухо гомонил ратный стан. Мысленно он довел их до Кашина, приступом взял город и, отдав его ратным на трехдневный грабеж, немо глядел на насилуемых жонок, сорванные с подпятников двери, расхристанные укладки и сундуки,

зерно, рассыпанное по улицам, мокнущее в лужах крови, трупы, трупы и трупы... Увидел, насладился бешенством и — отверг.

Постояв еще, дабы унять сердце, воротился в избу и хмуро повестил, что принимает дядины условия и тотчас, получив выкуп, воротит из Твери княгиню Олену.

Утром литовские ратники получали серебро и корм. Это уже была не рать, готовая к бою, а хозяйственные, довольные собою мужики, коим не пришло и ратиться. Через день литовские полки уходили, сворачивая стан.

А назавтра уже шли спасенные радостные полоняники, вели коров и лошадей, везли лопоть. Не распуская воев, Михаил доправил на кашинцах все награбленное и только после того двинулся назад сам.

Шел густой снег. Полоняники, голодные и разутые, нуждались хоть в какой справе, скотина — в корме.

Двоюродный братец Еремей примчался тотчас, как услышал о переговорах. И тоже все обещал и возвращал и ото всего отступался, равно как и от присужденного ему митрополитом княж-Семенова удела. Укрепленный грамотою Еремей тоже получил назад свою княгиню и целовал крест служить Михаилу честно и грозно.

Зимой, уже о Крещении, прибыл в Тверь послом от отца князь Михайло Василич, сын кашинского князя, и заключил мир. Василий через сына окончательно отступался великого княжения тверского. Мир удалось после переговоров через послов заключить и с князем Дмитрием Московским. Как будто бы все складывалось к добру.

Михаил в первые два зимних месяца буквально не вылезал из своей разоренной волости. Смерды и дружина рубили лес, ставили новые клети взамен сгоревших, везли сено и хлеб из неразоренного Заволжья, неимущим, ограбленным войною, раздавали княжеский скот. И только уже к Рождеству Михаил воротил в Тверь, перевез семью в город и начал приводить в порядок княжой двор.

В это-то время, уже после утверждения договора с дядей Василием, князь Еремей сложил с себя крестное целование Михаилу и убежал на Москву. То ли подговоренный московитами, то ли сам решив, что такто будет лучше. Михаил того не ведал, но понял одно: все, по-видимому, и тяжба и ратный спор, начиналось сызнова.

ГЛАВА 58

Алексий сам чувствовал временами, что его, духовного главу Руси, начинает одолевать, засасывать в себя мирское, что он из иерарха церковного становится едва ли не князем со всеми греховными помыслами земного володетеля. Так, он начинал страшиться не успеть при жизни своей совершить все задуманное. Годы шли, и падали силы, и он забывал, что никто из володетелей земных не успевал при жизни своей свершить замысленного, а ежели успевал, то было сие отнюдь не ко благу земли и исчезало, разваливало после его смерти, как распалась тотчас после смерти героя великая держава Александра Македонского «Двурогого», покорившего мир, но не сумевшего даже охранить от гибели собственное дитя, зарезанное вскоре после похорон повелителя ближайшими сподвижниками царя...

Только этою жаждой скорейшего, при жизни своей исполнения предначертанного и можно объяснить совершенное Алексием преступление, ввергнувшее страну в десятилетнюю братоубийственную резню.

Год этот, печально знаменитый 1368 год, начался событиями на западных рубежах земли. Немцы напали на Псков, совершив много пакостей и мало не захватив города. Новгород, связанный купеческими обязательствами и многими иными труднотами, не мог или не восхотел помочь вовремя младшему брату, и вмешаться пришлось Москве, доказавшей тем самым, что великое княжение — не звук пустой и московский князь, как это было при Симеоне Гордом, вновь становится хозяином и заступником Русской земли.

Вслед за тем лихим набегом молодого Владимира Андреича (с тех еще юных пор и получившего свое прозвание «Храбрый») была вновь отбита Ржева. Впрочем, чтобы не осложнять отношений с Ольгердом, захваченных литвинов без выкупа попросту выслали из города.

И в исходе весны умер кашинский князь Василий Михалыч, последний из сыновей Михаила Святого. В пору жизни своей вершил он много обид родичам и много зла принес родимой земле, но умирал князь Василий хорошо. Почуявши смертный свой час, созвал жену и сына на последний погляд. Лежал на высоко поднятом ложе, трудно дыша, задирая бороду вверх уже не от спеси, а оттого, что не хватало воздуху.

Всю жизнь дрался, ненавидел сыновца Всеволода, но вот Всеволод в могиле, и некого ненавидеть теперь. Елена Ивановна склонилась над постелью мужа, поливая слезами одеяло и руки Василия. Сын и духовник сидели немо, ждали конца.

— На кого теперь... Погинем без тебя! — бормотала по-детски, по-женски потерянно толстая, грозная для дворни и слуг женщина, ныне ошеломленная и раздавленная близкой кончиной супруга.

— Кашин... Оставит... Ты, Миша, Мишук, где ты? Ты... с князь-Михайлой не спорь, тово! Ен тя передолит... Все одно передолит... Ему теперича княжить! По лествичному праву так... По правде! Пущай... А шубу глазатую, аксамитову, на помин души, и деревни, что отписал, не трогай... Пущай мнихи молят о гресех моих! Прочее все тебе, сын! Матерь, гляди, не обидь! Ну, все, подьте оба теперь... Тамо ужо, тамо свидемси, в мире том!

Он задышал тяжко, хрипло, трудно и часто вздымая грудь, закашлял, затих. Елена, склонившаяся к бессильным, сложенным на груди рукам мужа, и сын, стоявший в изножии, не поняли, не почуяли конца. И только духовник, вовремя углядев, надавил пальцами на веки, закрыл стекленеющие глаза князя и держал, шепча молитву, сожидая, доколе последний трепет не отойдет от тела и не упокоится, вытянувшись и охолодев, эта смертная плоть.

Посыл от владыки Алексия пришел ко князю Михаилу в Тверь сразу после известия о смерти Василия Кашинского. Митрополит и великий князь Дмитрий вызывали Михаила Александровича Тверского в Москву на новый пересуд с князем Еремеем.

Алексий торжественно, грамотою, обещал Михаилу личную неприкосновенность на время переговоров.

— Чего они хотят от тебя? — Дуня качала маленького Васька на коленях.— Ну, поехали:

По ровной дорожке, по ровной дорожке,
По лесу, по лесу, по лесу, по лесу,
По кочкам! По кочкам! По кочкам! По кочкам!
Бух в овраг!

Васек хохотал, снова, сопя, лез на колени, просил повторить. Боря пыхтел, разбирая буквы по Псалтыри.

Тихий уют, душноватое тепло спальни, полога, лавки, киот, деревянные кони на колесах, раскиданные по полу свистульки... Все это бывало неисчислимое

количество раз в любом (и его тоже!) княжеском детстве, было и будет, доколе не пременится сам строй жизни русичей.

— Саша поехал кататься верхом! Не убился бы...— прибавила Дуня с оттенком вечного материнского страха.

Михаил повел плечом. Кто сыздетства не ездит верхом? Бывало, и убивались. Дак без той потехи конной нету ни князя, ни боярина!

— Князь! — сказал и задумался. Неведомо было, чего хотят от него московиты.

Он сидел на лавке сгорбившись, в расстегнутом шелковом зипуне, уронив руки в колени, и немо глядел на возню детей. Вернется Саша, румяный, радостный, весь пропахший конским потом; приедет завтра из Отроча монастыря, где учат пению, риторике, философии и богословию, Иван — и вся семья будет в сборе. И уже не так пустынно становит за княжеским столом, звучат в тереме вновь молодые звонкие голоса. Тем паче Дуня на сносях и, верно, опять обрадует, принесет ему отрока...

— Ежели будет сын,— говорит он ей вслух как о давно решенном,— назовем Федором! (Федором — в память старшего брата, замученного вместе с отцом в Орде.)

Дуня понятливо кивает. Нянька, ворча, подбирает игрушки, укладывает в коробью. Васек, завидя зеленую глиняную свистульку, тянет ручки, просит. Когда ему подносят ко рту поливную птицу, старательно дует, обильно пуская слюни, свистулька хрипит и сопит.

— Гляди! — Бориска ловко выхватывает свистульку у брата и, отерев рукавом, пронзительно свистит. Стрельнув глазами в сторону отца, отдает игрушку Ваську и снова утыкает нос в замусоленную Псалтырь, разбирая по буквам: — «Бо-же, суд твои ца-ре-ви да-ждь, и правду тво-ю сыну ца-ре-ву... Суди-ти лю-дем Тво-им в пра-вде, и ни-щим Тво-им в су-де...»

— Да восприимут горы мир людем и холмы правду! — досказывает Михаил наизусть слова семьдесят первого псалма.— Явно хотят опять удоволить Еремея за мой счет! — отвечает он жене, откидываясь к стене и потягиваясь: с утра в седле, объезжал пригородные села, словно бы и устал немного.— Ежели Алексий думает и меня уговорить отказаться от прав на престол владимирский, не имусь по то!

— Да уж! — отвечает Дуня, поджимая губы. (Брат Дмитрий отрекся и теперь выдал дочерь за Дмитрия

Московского, а их чем думает удоволить владыка Алексий?) — Не ведаю, ехать ли тебе! — осторожно доканчивает, кося тревожным глазом в сторону мужа.

— Бояре советуют наразно! — отрывисто замечает Михаил.

Овдотья глядит на него молча и значительно. Оба думают.

— Ну не татары все-таки! — отвергает Михаил, хмурясь и встряхивая головой.— Владыка Алексий слово дает!

— Всеволод ездил... а што выездил? — возражает жена. У нее свои заботы, женские: четверо на руках да пятый на подходе, а старшему, Ване, одиннадцатый год всего! Как без мужа, ежели, не дай бог, чего совершат с Михайлой на Москве? А после лонисьнего разоренья как и поверить московитам!

— Владыка Алексий единственный муж на Москве, слову коего можно верить! — говорит Михаил строго, словно бы убеждая самого себя.

— Дак ить он и правит на Москве! Не Митрий же! — взрывается Овдотья.— Четверо за подол держат, куды я без тя?! — И в голосе звенящем близкие-близкие слезы.

— Не ехать — ратиться придет! — хмуро возражает Михаил.— Земля устала, мор повыел людей. Мне хошь и дай ноне великое княжение владимирское — не возмогу! Не поднять!

— А Ольгерд?

— Что Ольгерд! — пожимает плечами Михаил.— Ему великая Тверь не нужнее, чем князю Дмитрию!

Он опять сидит, опустив голову. Думает.

— Едешь? — с надеждою ошибиться спрашивает жена.

— Еду...— не вдруг и не сразу сумрачно отвечает он.

Дуня плачет.

— Сон нехорош видела ныне! — поясняет она свои слезы, вытирая тафтяным платом глаза.— Выхожу словно, а кровля без кнеса на тереме и покосила на сторону вся... Не к добру!

Она снова промокает глаза платком, вздыхая покорно. Знает: того, что решил Михаил, не переменить.

На княжом дворе возки, кони под седлами, суета и кишение челяди. Князь выходит на крыльцо, проща-

ется, взмывает в седло. Бояре, кто постарше, лезут в возок. Картинно удерживая на туго натянутых поводьях крутошеих коней, попарно выезжают со двора дружинники.

Михаил еще раз, с коня, прощается с княгиней, вышедшей на крыльцо вместе со всеми детьми, целует, подымая к стремени, Сашка, кивает Ивану, который, тоже верхом, провожает отца, машет рукой, улыбается солнечно всей столпившейся на дворе челяди и в опор вылетает за ворота, рассыпая кудри. День жаркий, и князь без шапки. В полях уже косят, и за градскими воротами князя охватывает горячий сухой и полный ветер. Он летит наметом, и косцы, и бабы в полях, остановясь и разогнув спины, сложив руку лодочкой, провожают, любуя взглядом, своего князя, поскакавшего в проклятущую Москву...

Заночевали уже в Дмитрове, выехали чуть свет и ополдень подъезжали к московскому Кремнику.

Новые каменные стены, поднявшиеся уже до верхних забор, издали не показались ему особенно мощными. Каменные костры, недостроенные, еще без верхнего боя, без кровель и прапоров, тоже были неказовиты. Но по мере того как подъезжали ближе и ближе, стена все росла, и вот уже означилась нешуточною. Неприступно и прямо вздымались ровные ряды белого камня, по которым не полезешь, как по осыпи, и которые не зажжешь никакими кучами хвороста.

«Знатно! — думал Михаил, подъезжая близ и невольно задирая голову.— Знатно!» — думал он с горькою обидою за свою Тверь, лишенную покамест каменных стен, слишком дорогих для его разоренной родины.

Тверского князя встречали. Когда кони протопотали в узкой и гулкой каменной арке ворот, началась долгая церемония. Подъехал Вельяминов на саврасом коне, еще какие-то бояре и клирики. Князя с дружиною отвели в терема. Было богослужение, после — трапеза. Все сотворялось пристойно. Еремея Михаил различил в толпе встречающих. Двоюродный брат принужденно подъехал к Михаилу, произнес какие-то слова, и по соединению смущения с развязностью во взоре и голосе Константиновича Михаил почуял, что опасения его, пожалуй, небезосновательны...

Но все было очень пристойно! Пристойна встреча. Юный Дмитрий, заносчиво вскидывая голову, тоже встречал, волнуясь заранее, назовет ли его Михаил

князем великим и старшим братом, и, только выслушав уставную формулу: «Брату моему старейшему, великому князю володимерскому»,— улыбнулся широко, с детским довольствием на юношеском, еще не устоявшемся, не отвердевшем лице. Широкий и неуклюжий, с крупными кистями рук, московский князь похож был на рослого меделянского щенка, еще не заматеревшего до взрослой собачьей стати.

Все, однако, было вполне благолепно. И ночлег приготовлен им был достойный, княжеский. И сказано, в каком часу завтра в присутствии митрополита начнется тяжба с князем Еремеем. И все-таки все было не то и не так! Лежа без сна на бумажном ордынском тюфяке, откинувши душное пуховое одеяло, думал Михаил, переживая весь сегодняшний день, думал и не находил ответа.

В дверь поцарапались. Он вскочил, не будя холопа, прошел босиком по ковру. Пугливо засунулась в дверь смуглая мордочка невеликой ростом татарки. Зашептала:

— Князь, князь? Михайло, князь?

Он кивнул:

— Да, я — князь Михайло!

— Сестра твой! Марья, твой сестра, послал! — настойчиво прошептала татарка, поведя испуганными глазами. Холоп (слава богу свой, не москвич) спал на тюфяке на полу, разбросав руки, и храпел вполне правдоподобно.

— Ты князь?! — еще раз вопросила татарка, настойчиво заглядывая в глаза Михаилу.

— Я, я! — нетерпеливо отозвался он.

Татарка оглянулась опять, как мышонок, туда-сюда, достала из-за щеки крохотный кусочек свернутой в трубку бересты, всунула в руку князю и, мгновением насторожив ухо, исчезла за дверью. Михаил подошел к аналою, затеплил от лампады свечу, не без труда развернув слипшийся комок, прочел всего два слова, начертанных, вернее, выдавленных твердым новогородским писалом: «Уезжай скорей». Ни подписи, ничего... Он безотчетно сунул клочок в пламя свечи, береста, душно навоняв, вспыхнула и с легким треском, сворачиваясь, сгорела.

Князь уселся на постель. Потом задул свечу, лег. Бежать было нельзя и некуда. На дворе — стража, ворота Кремника заперты или загорожены, не уйти! Он

понял, что это сестра Мария предупреждает его о чем-то, ведомом ей одной и крайне важном. Но уехать, бросив бояр и дружину, даже ежели б ему теперь подали коня и открыли ворота, он не мог. Приходило ждать и верить в судьбу и в слово, данное ему митрополитом. Сестра в конце концов могла и ошибаться, и поверить слухам, без которых исстари не стоит Москва... Все было не то! Но уехать он все одно не мог. Только под утро князь забылся тревожным коротким сном.

Его разбудили раньше колоколов звонкие удары по камню. Начинался трудовой день, и пока его будут судить и неведомо что решат и чем кончат, мастера будут выкладывать камень за камнем, и стена вырастет еще на аршин, еще на ряд камней, ряд, который придется брать с бою, кладя головы и жизни под этой стеной.

Алексий в эту ночь не ложился вовсе. Он стоял на молитве, прося Господа укрепить его дух в задуманном деле или склонить тверского князя к приятию всего, что ему повелит Москва, на что, впрочем, у Алексия было очень мало надежды.

Дмитрий зашел к нему перед утром один, без свиты, с которой наповадил ходить последние месяцы, без этого своего Митяя, которого вытащил из Коломны, повелел носить княжую печать и который сразу же «не показался» Алексию.

Князь был растерян, и его чуть-чуть трясло. Он с надеждою взирал в очи своему соправителю и наставнику и, видно было, трусил, трусил до заячьей дрожи в ногах. Впрочем, трусил скорее от возбуждения, чем от страха.

— Будем брать? — спросил с надеждою, не ведая, по-видимому, еще сам, чего больше хочет: ять или отпустить тверского князя.

Алексий глянул сурово, насупил брови:

— Будь тверд, княже, и никогда не переменяй решения своего!

— Через слово? — хрипло вопросил Дмитрий.

— Слово давал я, и грех на мне! — ответил митрополит.

Дмитрий, потоптавшись, вышел, а Алексий вдруг и разом почуял такое опустошение внутри, такую жестокую усталость, что прикрыл глаза и все-таки, не устояв, опустился на колени перед божницею. Но он не молил-

ся. Молить Господа было грешно. Думал о том, что ежели бы Кантакузин поступил с Апокавком и василисою Анной так, как он намерен поступить ныне с Михаилом Тверским, гражданской войны в Византии не приключилось бы и империя была бы спасёна. Но разум подсказывал ему в ответ, что так же поступил и Ольгерд с ним, с Алексием, в Киеве и что так же поступали многие и по многим поводам, и лица их, выпитые, бледные подобия теней, проходили в сером сумраке перед его мысленными очами: рязанского князя-братоубийцы Глеба, наглое и жестокое лицо Юрия, непреклонный, обреченный гибели лик убийцы Юрия — Дмитрия Грозные Очи... «Я не убиваю! Я не хочу его убивать!» — кричала, корчась в огне совести, Алексиева душа. Но разворачивались фолианты древних книг, с шорохом опадали страницы, выпуская новые и новые рои призрачных полководцев, кесарей, василевсов, сатрапов, иерархов церкви и ересиархов, демагогов, диктаторов, князей, и все они спорили и кричали в гулкой, оглушающей тишине, и все — об одном и том же — о поборании зла злом. Ведь есть же войны, рать! И куда хуже, егда гибнут тысячи за вину единого, нежели погиб бы сей единый (или хоть был бы ослеплен, пленен) и тем спасены тысячи невинных людей! Но зло порождает зло, и никто из покусившихся на предательство ничего не выиграл и ничего и никого не спас... «А крестный, а Калита?» — кричала совесть... Мысли текли, сражались, падали, сталкиваясь одна с другою, мысли неможно было согласить, и он едва превозмог себя, едва поднялся с колен.

Утрело. Раздались первые звоны московских колоколов. И уже ничего нельзя и неможно было бы изменить в задуманном...

На судилище, назначенное тверскому князю, Алексий восходил, как на Голгофу.

ГЛАВА 59

Бояре того и другого князя садились рядами по лавкам друг против друга. Алексий занял свое кресло, князь Дмитрий свое. Московские великие бояре с беспокойством поглядывали то на великого князя, то на владыку. Не часто доселева судили князей на Москве!

— Ты, Еремей, целовал крест ко мне в то не всту-

патися и нелюбие отложить! — твердо отверг Михаил после первых же притязаний двоюродника.

Началась долгая пря. Вновь, как в суде над епископом Василием, изнесли древние книги законов, своих и византийских. Бояре высказывались в свой черед.

— Почто,— спрашивал Михаил, сузив глаза и глядя то на Еремея, который начинал уже ежиться и прятать взор, то на князя Дмитрия с митрополитом,— почто московский князь Данила Лексаныч не отверг дарения ему Переславля князем Иваном Дмитричем?

Вопрос был в лоб. Шкоды Юрия были еще у всех на памяти. Зашевелились на московских скамьях, но Алексий предостерегающе поднял сухую руку, отягощенную владычным перстнем.

— Переславль даден был князю Даниле по завещанию, понеже князь Иван не имел наследников, да! Но позже на совете княжом переведен был все-таки в волость великого княжения, как и надлежало по закону! И князь Дмитрий Костянтиныч, шурин твой, по решению тому владел Переславлем, егда был на великом княжении владимирском!

— Вернее, доходами с него! — поправил вполгласа владыку кто-то из тверских бояр, рискнув возразить Алексию.

— И рать еговая стояла у Переславля! — спокойно отверг Дмитрий Зерно, с укоризною глянув на не в черед молвившего тверича.

После еще двух часов спора Михаил понял, что ему, дабы уйти отселе подобру-поздорову, часть княж-Семеновой вотчины придет-таки отдать. И он уже было согласился с этим, но тут москвичи высказали нежданное: Городок, построенный Михаилом на Семеновой земле, от него требовали отдать тоже. И отдать даже не брату Еремею, а москвичам. Кровь бросилась Михаилу в голову.

— Быть может, и Тверь уступить Еремею? — грозно произнес он, сдвигая брови, забыв на миг, где сидит и с кем ведет спор. Но как будто бы этого от него и ждали великий князь с митрополитом. Они переглянулись, и Дмитрий ломающимся юношеским баском потребовал от Михаила — не Твери, нет,— но подписи под грамотою, удостоверяющей, что великое княжение владимирское — его, Дмитриева, московская отчина навек. Михаил встал:

— Сего не подпишу! — Слово сказалось разом, без раздумья.

— Тогда объявляю тебе, князь Михайло,— почти выкрикнул Дмитрий, привставая в кресле,— что ты поиман мною! Ты и бояре твои!

Лязгая оружием, в палату вступила стража. Верно, стояли наготове уже с утра. Сумасшедшая мысль ринуть в сечу молнией промелькнула в мозгу Михаила, рука рванулась к поясу... Оружия не было при нем. И ни у кого из бояр тоже. Он выпрямил стан, отвел рукою подступивших стражей, грозно поглядел на Алексия, вопросил, перекрывая голосом восставшую молвь:

— Где слово твое, русский митрополит?!

Алексий продолжал, насупясь и пригорбив плечи, сидеть в кресле.

— Слово даю аз, и аз же разрешаю от слова! — ответствовал он, помедлив, пристальным темным взором глядя прямо в глаза Михаилу Тверскому.

Шум усиливался. Тверские бояре, которых хватала стража, вырывались, пытаясь сгрудиться около князя своего.

— А совесть? А Бог?! — выкрикнул Михаил вновь, отшибая от себя ратников.— Не пастырь ты больше граду Твери, ни мне, великому князю тверскому! И ты, Дмитрий, попомнишь неправду свою! — выкрикнул он еще перед тем, как его наконец взяли за плечи и силой повлекли из покоя.

Все это было безобразно и мерзостно так, что Михаилу порою казалось, что он видит страшный сон. Его отвели сперва в какую-то горницу здесь же, во дворце, приставив к дверям стражу. Он приник к окну: далеко внизу был сад, дальше — стена, за которой подымались купола храма. Даже ежели он сумеет выбраться из окна, дальше сада ему не уйти.

Бояр своих он больше не видал, потом, много позже, узнал, что их всех развели розно. Даже своего холопа ему не вернули.

Ночью в горницу вступили молчаливые хмурые ратники. Князю дали его верхнее платье и повели к выходу. У крыльца стоял поднятый на колеса возок. Михаила всадили внутрь, и за ним, гремя оружием, влезли несколько стражей, «детей боярских», уселись молчаливо по бокам и напротив него и всю дорогу

сопели, готовые молча схватить князя и начать крутить ему руки.

Михаил ожидал худшего. Но привезли его все-таки не в укреп, не в башню, не в земляную тюрьму, а на боярский Гавшин, как он узнал тут же, двор, и это уже было каким-то смягчением участи и какою-то надеждой. Сам хозяин, четвертый сын покойного великого боярина московского Андрея Кобылы, скоро вышел к нему. Поклонился, сказал:

— Гостем будешь у меня, княже! — Добавил негромко: — Не посетуй, все мы верные слуги господина своего! Велено держать тебя неотлучно. Теперь поснидай, княже! — продолжал он просительно, заглядывая Михаилу в глаза.— А там и спать ложись. Утро вечера мудренее!

Михаил вдруг почуял дикую, тупую усталость во всех членах. Покивав, прошел вслед за хозяином в предоставленную ему келью (так мысленно окрестил небольшую горницу в боярском доме с единым забранным кованою решеткою крохотным оконцем). Сел за трапезу, заставил себя есть и пить, не разбираючи блюд, не чувствуя вкуса пищи. Слуга, убрав со стола, принес в горницу ночной горшок с крышкой, принял ферязь, стянул с князя сапоги.

Михаил едва донес голову до взголовья и рухнул в тяжелый, полный кошмаров сон... Его преследовали, за ним скакали, неслись, конь под ним превращался в дракона с крыльями и, скаля зубастую пасть, поворачивал в сторону князя свою змеиную сплющенную голову. После он лез куда-то, обрываясь и раз за разом падая в яму. Проснулся утром в жару и в поту. Вошедшему слуге велел выставить оконницу — в покое было не продохнуть. К счастью, тот послушал князя (да и решетка все одно оставалась на окне!), и стало можно хотя бы набрать свежего воздуху в грудь...

ГЛАВА 60

Потянулись часы, страшные своею неправдоподобною одноцветностью. Его кормили, поили, выносили горшок. Через четыре дня сводили в баню, устроенную тут же на дворе, внутри усадьбы.

Единожды явился княжой боярин. Михаил встретил его гневно.

— Не подпишу и не отдам! — отверг все попытки уговорить себя.

Он, как зверь в клетке, ходил взад-вперед по тесной своей горнице, пытался молитвами отогнать ярость и тоску и не мог. Горько думал о том, что Алексий, сам сидевший, говорят, в яме в плену у Ольгерда, мог бы лучше других понять, во что ввергает его, Михаила... Или его замыслили убить? Или идут рати на Тверь, и весь его удел будет, пока он сидит здесь, завоеван московитами?! Вырваться, бежать!

Выходя во двор, куда его стали наконец выпускать к концу недели, Михаил оглядывал молчаливую сторожу у ворот, измерял на глаз высоту тына. Через тын можно бы и перемахнуть, но кто поможет, кто будет ждать с лошадью?

Гавша заходил к нему, сидел, вздыхал, приносил тяжелые книги в кожаных переплетах — все божественные, иных, видимо, в Гавшином дому не держали. Единожды повестил, оглядываясь:

— Сестра твоя, князь, семо пришла! Княгиня Марья Семенова. Я допущу, дак ты уж, княже, тово, не молви о том...

Сестра! Он, бегая по своей темнице, почти забыл про нее, почти забыл про тоненький кусочек бересты, осмотрительно спаленный им на свече. Маша вошла, и он тихо ахнул, так постарела, огрузнела, увяла сестра. Перед ним стояла старая женщина, из-под повойника выглядывали повитые сединою волосы. Стояла и смотрела на него со страхом и надеждою, и только по этому взгляду, робкому и гордому одновременно, узнал он ее, Марию, Машу, которую сам когда-то уговаривал идти за князя Семена.

Они обнялись и разрыдались оба. Михаил скоро справился с собою, сестра же все всхлипывала, вновь возрыдала, уронивши голову на стол, и он гладил ее по плечам, как когда-то, давным-давно, еще в той неправдоподобно далекой счастливой жизни.

— Упреждала! Почто не сбежал! — вопросила она, справясь наконец с собою.

— Не мог. Не уйти было уже! — коротко отмолвил Михаил.— Помочь можешь? Кони, люди, побег? — деловито вопросил он. Марья отрицательно потрясла головою:

— Не можно! За мною тоже следят!

Он сразу поверил ей, не стал настаивать. Сестра

бы помогла ему, и ежели отказывает, стало — не может пособить вовсе.

— Что на Москве? — хрипло вопросил он.

Высморкавшись и утерев глаза, Мария начала сказывать новости. Он слушал и не слушал, пока не понял, что она толкует о каких-то важных татаринах, днями прибывших на Москву. Звали их, кажется, Карачай, Ояндар и Тютекаш. Все были незнакомые, верно — из Мамаевой Орды.

— Постой! Князья ихние, говоришь? — перебил он сестру и уже внимательнее выслушал все, касающееся татарского посольства. Похоже,— по тому, как принимали ордынских гостей,— посольство было важное. Татары... Быть может, это и есть спасение! В голове у него лихорадочно слагались замыслы, один другого чуднее. И вдруг простая мысль ожгла, словно удар хлыста.— А обо мне знают? Ведают обо мне?! — повторил он настойчиво и страстно...

— Не... Не знаю...— протянула Мария, еще не понявшая толком ничего.

— Послушай, сестра! — сдерживая рвущийся голос, заговорил он. — Можешь ты сообщить, токмо сообщить, сказать, передать с кем угодно! Что ныне на Москве схвачен великий князь тверской, что Дмитрий замышляет все княжества забрать под себя и потом перестать давать дани Орде! Сможешь ты это сказать? Только сказать?

Мария ведала, о чем просит брат, и понимала, что, известив татар, вонзает нож в спину Алексию. Но с братом поступили так бесчестно, и так жутко было думать, что его в конце концов просто убьют, что она решилась.

— Скажу! — после долгого молчания отмолвила она.

Невесть, от одной ли Марии вызнали татары о пленении тверского князя. Дела такого скрыть было неможно на Москве. Ведали гости торговые, ведала челядь в Кремнике, а значит, ведал посад, а там и до ордынского подворья недалеко! Во всяком случае, посоветовавшись друг с другом, татарские князья, как записал позже летописец, «усомнились». Чем могло окончиться невольное заключение тверского князя — они понимали по многочисленным ордынским примерам слишком хорошо, лучше даже самого князя Дмитрия и владыки Алексия, который казнить тверского князя

все-таки не хотел, надеясь попросту сломить его волю, а затем — укрепить грамотой.

Татары сидели у себя на подворье и ели, когда к ним ввели прежнюю доверенную княгинину татарку, что передавала записку Михаилу.

Тютекаш как раз облизывал жирные пальцы и тихо срыгивал, приканчивая трапезу. Ояндар, развалясь на подушках, грыз мозговую кость. Кожаные и серебряные блюда и тарели с мясом и пряностями громоздились перед ними на низеньком ордынском стольце, стояли узкогорлые кувшины с вином и медом. Закон Магомета, запрещающий вино, знатные ордынцы все еще не научились исполнять, особенно будучи на Руси.

Татарка затараторила по-своему, быстро, словно сыпала горохом. Проведший ее русский слуга только глазами хлопал, почти ничего не понимая. Третий татарин, Карачай, слушал, кивая головой и приговаривая по-татарски: «Так, так, так!»

— Ешь! — предложил он, когда татарка выговорилась.— На, бери! — Он протянул ей жирную кость, и пока та, присев на корточки, торопливо грызла мясо, озираясь на важных ордынских гостей, послы молчали, переглядываясь и покачивая головами. Наконец татарка кончила есть, поклонилась, припав на колени и лбом коснувшись ковра, и вышла, пятясь задом.

— Дмитрий возьмет Тверь и станет сильнее хана. Тогда он опять потребует сбавить дань! Ежели мы не поможем теперь тверскому коназу, Мамай будет сердит! — сказал Тютекаш.— Дмитрий и так мало платит дани!

— Дмитрий забрал себе очень большую власть,— подтвердил, кивая головой, Ояндар.

— Надо пригрозить коназу Дмитрию! — сказал Карачай и потянулся за чашею и кувшином меда.— Мамай ведет переговоры с Ольгердом, это можно сказать! — докончил он и начал наливать мед.

— Да, это можно сказать! — согласился, снова покивав головою, Ояндар.

— Это надо сказать! — уточнил Тютекаш.— Коназ Дмитрий не захочет войны сразу с Литвой и с Мамаем!

Татары явились к великому князю назавтра, и растерянный Дмитрий тотчас бросился к Алексию. Началась мышиная возня боярской растревоженной господы. Дума разделилась на ся, и сперва Акинфичи, потом Редегины, Зерновы, князья Фоминские, а там и

едва ли не вся дума высказались за то, чтобы Михаила отпустить, удовлетворясь тем, что отбирают у него Городок и часть княж-Семеновой волости.

Ничего этого Михаил не знал, не ведал и был очень удивлен, когда, еще через день, за ним пришли и повезли его, причем не в возке, а подав верхового коня, прямо во дворец.

Снова заседала дума. Тверской князь знал, что надо соглашаться на все. Он уступал Еремею, уступил с болью и задавленным гневом Городок. Ему обещали выпустить бояр из узилища и отослать их в Тверь. Он должен был, обещался, но не теперь, а позже, подписать клятую грамоту, отдающую великое княжение владимирское навечно московскому князю. Ему воротили холопов. Провели по Кремнику в виду у татарских гостей...

Он не стал заезжать к сестре, не стал останавливаться нигде по дороге и, только миновавши Дмитров, уверился, постиг, что его не схватят на пути и не воротят назад, в затвор. Он скакал, чуя сперва бешеную радость освобождения, и только когда загнал третьего по счету коня, на подъезде к Твери, в нем родилась злость... Холодная, твердая, как проглоченный острый камень.

Никаких грамот он не подпишет! Городок (шут с ним пока — с Еремеем и с Семеновыми селами), но Городок он Дмитрию не отдаст! И он не успокоится до того часу, пока не отомстит властолюбивой Москве!

Москвичи, по-видимому, и сами ведали (или догадав, или вызнав) о дальних замыслах тверского князя. Очень вскоре на него двинулась собранная Дмитрием московская рать. Городок, сметя силы, пришлось-таки отдать на этот раз без бою. Укрепив Тверь, Михаил ускакал в Литву.

ГЛАВА 61

— Помоги мне, сестра! Я прошу тебя, ибо больше мне некого попросить! Вот я весь тут, перед тобою: князь без земли и дружин! Один! Вспомни отца, мать, братьев — они все в земле! Тверь вот-вот будет осаждена Дмитрием, а земля наша разорена и испустошена! Наш святой дед, брат отца, отец, Федор, которого ты не помнишь, погибли в Орде по наущению Москвы!

Город, по праву стоящий во главе Руси Владимирской, город — украшение земли, скоро будет взят москвичами, святыни наши опозорены, домы разбиты, сильные преданы гибели, смерды уведены в полон! Запустеет наша земля! И Русь, вся Русь, лишась этой жемчужины городов, осиротеет и оскудеет! В ней воцарит зло, воцарят ордынская воля и злоба людская; учнут вадить один на другого, клятвопреступничать и предавать! Упадет книжная молвь, и гласы церковные угаснут, исчезнет художество иконное, и храмы наши падут во прах! Я ведаю: здесь твой дом, супруг, дети — все... Вспомни то, чего уже нет! Наши игры, нашу детскую радость! Как бегали мы с тобою по терему, как прятались на чердаке, как пробирались тайком в людскую и слушали сказки! Вспомни все! Воспомни матушку: разве ей в том, горнем мире, глядючи оттоле сюда, на землю, не горька станет загробная радость, егда узрит всеконечное крушение дома нашего?! Разве батюшка наш там, в выси, сопричтенный сонму блаженных, не мыслит и ныне о сохранении родимой земли? От тебя, Ульяния, от тебя, от супруга твоего Ольгерда зависит ныне судьба Твери и Руси Великой. Помоги, сестра!

Он плакал. И Ульяна со страхом и с жалостью глядела на его жестокие, мужские, неумелые слезы. Горечь, гнев, страдание поднялись в ней ответной волной.

— Что ты, Михаил, Миша, родимый мой, что ты!

Она гладила его по волосам, утирала слезы с этих мужественных щек, с этого лица, на котором доднесь видела только улыбку или разгарчивый образ мужества.

— Я помогу тебе, помогу! — шептала. И верила, и знала, и надеялась, и хотела верить, что поможет, заставит, принудит Ольгерда помочь брату своему...

Ольгерд, выслушавши взволнованную Ульянию, пригласил Михаила к себе, в тот тесный верхний покой, куда ходил один и где хранились его самые тайные грамоты.

Он был необычайно мрачен и хмур. В нем боролись досада с возмущением. Тверской шурин сумел до того возмутить Ульянию, что ему, Ольгерду, не стало отдыху даже в супружеской спальне.

— Меня теснят немцы! В конце концов это ваши, русские дела!

— Князь! Я сидел в заключении на Москве! — отвечал Михаил, бледнея ликом.— Я чудом оказался на

свободе! Я не прошу тебя о том, о чем должен, могу и имею право просить: о помощи родственнику своему. Я даже не прошу помочь союзнику! Я прошу тебя об одном — помыслить! Строго помыслить, и вот о чем: кому платит дань Новгород? Кто помогает Пскову? Кто нынче снова взял у тебя Ржеву? Кто сегодня — не завтра, нет! — сегодня, ныне, сейчас! — жадает захватить Тверь и с тем утвердить свою безраздельную власть в Руси Владимирской?! И кто завтра, вкупе с Ордою, обрушит полки на твои волости, Ольгерд?! Ты идешь от победы к победе, Ольгерд, но церковь православная вновь в руках Алексия и Москвы! Но северские князья держат руку Москвы! Но Мамай согласил с тем, чтобы великое княжение владимирское считалось вотчиною Москвы, хотя об этом и мало кто знает! И уже Суздаль подчинен князю Дмитрию, уже Белоозеро, Галич Мерской, Вологда в его руках! Пока ты станешь ждать, дабы русские князья ослабили друг друга, не останет ни единого русского князя, не подчиненного воле Москвы! И что тогда, Ольгерд? И где будет твой хваленый ум пред волей владыки Алексия? Я говорю правду! И Тверь ныне не соперник тебе! Ты ведаешь это, Ольгерд, и медлишь, и ждешь нашей гибели!

Ольгерд, намеривший было тянуть, медлить и взвешивать, давно уже сидел, исподлобья глядючи на этого настырного русского родича и убеждаясь все более, что тот — прав! Союза с Ордою, на который втайне рассчитывал он, может и не быть, и надобно нынче, теперь, пригрозить князю Дмитрию и упрямому русскому митрополиту. Теперь... И тут уже не хватит нескольких полков, врученных Михаилу! В этом он опять прав...

— Уговори Кейстута! — мрачно отозвался он наконец.

Михаил, зверем бегавший по каменной сводчатой клетке, остоялся, поворотя чело к Ольгерду, отвел рукою со лба клок развихренных волос, ответил просто, негромким, обычным голосом, показавшимся почти шепотом после давешних пламенных укоризн:

— Я уже уговорил его! Дело за тобою, Ольгерд!

В этот раз великий князь литовский уже не медлил. Были разосланы грамоты. Повсюду стали скапливаться войска. Но о цели и направлении похода ведали пока только трое: Михаил Тверской, сам Ольгерд и Кейстут.

Кейстут должен был идти с молодым сыном — Витовтом. Ольгерд тоже подымал сыновей из Полоцка и Брянска. Михаил тайно послал в Микулин и Тверь, чтобы там тоже копили силы. К походу был привлечен даже смоленский князь, прежний соперник и нынешний союзник Ольгерда.

Союзники готовились наступать на Москву с трех сторон: с юга — от Оки; со Смоленского рубежа — на Можай и Рузу и с северо-запада — через Волок-Ламской и Ржеву, где с литвою должны были соединиться тверские силы.

На Москве не ведали ничего и совсем не ждали нападения всех Ольгердовых ратей. Слишком просто добытый успех часто кружит головы победителям.

ГЛАВА 62

Никита Федоров вышел во двор. Остоялся. Холодный воздух был печален и терпок. Волокнистые сизо-сиреневые облака низко бежали над порыжелой, пожухлой, кое-где присыпанной снегом землей.

— Ну-ко, слазь! — прикрикнул он на сына, громоздившегося по самому коню кровли холодной клети.— Поедешь по соломе, на вилы грянесси — тут же и конец! Слазь, говорю!

Не сожидая, когда первенец слезет с крыши, Никита обернул хмурый лик к мужикам:

— Как так — недостало! В едакой год — и зерна недостало! Сам видал, ржи каковы! Не омманывай, тово! Мне тоже не первый снег на голову пал! Раменские не довезли? А мне с.... на то! Хошь из порток вытряси, да подай! Сам скачи теперь в Раменье! Скажи, к вечеру не довезут, тогды сам к им приеду! Хуже будет.— И уже когда староста, выпрягший пристяжную, садился охлюпкой на коня, прокричал вслед: — Скажи, коли не довезут, на тот год всех на повозное дело не в черед наряжу!

Староста порысил со двора. Никита тяжело оглядел возчиков, раздул ноздри, хотел ругнуться еще — раздумал, пошел проверять возы.

— Хуже рогожи не нашлось? — обругал одного.— А засиверит дорогою?.. А ты чем тянул, чем тянул, спрашиваю? На первом ухабе весь воз... Мать твою... Перевязывай!

Еще раз обошел телеги. Потыкал, проверяя, мешки. Придраться боле было не к чему. Поглядел на серое влажное небо, на терпеливые морды лошадей, внимательно-укоризненные лица возчиков. Кивнул, примолвил:

— Ладно, ребята, езжай! Дожду раменских, поскачу всугон. Ежели што, застряну ежели — зараз на митрополичий двор везите, отца Гервасия спросить тамо! Ну, с Богом!

В нонешнем году справились! Рожь была добра, а гречиха уродила даже и дивно. И обмолотили в срок. Он стоял в воротах своего уже привычного, уже и не нового терема, обстроенного за эти годы множеством клетей, амбарушек, прирубов, с ледником, с баней, с конюшнями, стоял и смотрел на дальний останний ярко-желтый березовый куст на всхолмье, на возы, что, подымаясь, заваливают за угорье и начинают пропадать с глаз... «Самому, что ли, проехать в Раменское?» — думал Никита, гадая, подействует или нет его угроза на тамошних нравных мужиков.

Холоп вышел с дубовыми ведрами, прошел в конюшню. Потом — Наталья, замотанная по брови в простой плат, с подойником в руке. Поглядела издали на мужа, позвала негромко:

— Никиш! — Он глянул вполглаза. Она соступила с крыльца, ежась, прошла по двору.— Али недоволен чем?

Он, ощутив близкое тепло ее раздавшегося тела и душевное участие жены, мотанул головою, хотел отмолвить о раменских мужиках, помолчал, посопел, сказал ворчливо:

— Да так! Осень... Зима на носу...

Она пощекотала ему холодными пальцами за воротом, ничего не отмолвила, пошла доить. Никите чего-то стало совсем муторно и сладостно-горько, словно взял в рот и зажевал кусочек осиновой коры. Ветер холодил лицо. Пахло могилою, вспаханною землею, грибною сыростью осенних лесов, близким снегом.

Сын подбежал, мало не испугав, повис у него на руке.

— Батя, бать, побори меня, ну, одной ручкой только, одной ручкой!

Усмехнувшись, подкинул сына. Усадил на плечо. Тяжелый стал сын! Десятый год, на руках уже и не поносишь!

— Любава што делат? — спросил про младшую дочерь.

— А, вяжет! — ответил сын с нарочитою «мужскою» небрежностью к бездельным бабьим делам.

Нынче сын на покосе добре воротил. Изо всех силенок. Уже и косит, и мечет! Все же уточнил (не задавался б перед сестрой):

— Не тебе, случаем, носки вяжет-то?

— А не... матке...— ответил сын смутясь, понял тотчас отцово стыденье — умен!

Донеся сына до крыльца, Никита примолвил: «Прыгай!» — а сам, решившись, пошел к конюшне седлать коня. Владычное жито надо было доправить в срок.

Он вывел Гнедого, взнуздал, наложил потники и седло. Конь осторожно, играя, хватал его зубами за плечо.

— Н-но-о, балуй! — прикрикнул на него Никита.— Подкова одна болталась вечор! — окрикнул он холопа.

— Моя подковала, хозяин! — отмолвил холоп из хлева, скребя лопатою по тесаным бревнам настила. В конских хлевах у Никиты было чисто всегда, коней он берег особенно, холил, а Гнедого и чистил, почитай, завсегда сам.

Он затянул подпругу, вложил, взяв коня за храп, удила в конскую пасть, подумал, постоял, накинул повод на верею калитки, пошел за шапкой и ферязью. В терему глянул на дочерь, на маленького Федора (второго паренька назвали по прадеду), нашарил шапку на полатях, снял ферязь со спицы. Зачем-то еще раз оглядел весь свой обжитый, теплый уют, вспомнил об Услюмовых молодцах, что год жили у него, да и нынче опять гостили с месяц. Услюм его обогнал, сыновья уже, почитай, в полной силе, работники! Вспомнил новую бабу Услюмову, старательную кулему: «Где едаких-то и берет!» Влез в рукава ферязи, нахлобучил круглую свою алую, отороченную куницей шапку (по шапке издали признают!), бухнув дверью, вышел из дому. Наталья еще доила, слышалось, как струи молока с шипением наполняют подойник. Крикнул:

— До Раменского проедусь! — Всел в седло. Както вот, пока ногу заносишь в стремя, и годы чуешь, и все такое прочее, а как всел да взял крепко поводья, словно бы молодой вновь!

Гнедой перебрал копытами, ржанул коротко и, без слова понимая хозяина, разом взял с места и пошел ровным наметом, слегка подкидывая крупом, больше,

чем нужно бы для хорошего верхового коня. И все равно Никита Гнедого любил. Верный был конь, понимал хозяина, как собака.

Порывистый ветер свистел, овеивая лицо. Холодный простор небес с беспокойными вытянутыми облаками над дальним лесом тревожил сердце и очи. Пожухлое великолепие багряных осин было как прожитая жизнь или минувшая юность. Девка посторонилась, хоронясь от комьев из-под копыт, безразлично оглядела всадника, не зарумянилась, не вспыхнула взором, как взглядывали на него когда-то давным-давно, далеким-далеко! А он-то с какою небрежною гордостью отворачивал взгляд! И все казалось: молодость будет до самого конца, до смертного часа самого! А вот и окончило, и прокатило... На пятом десятке лет не в обиду уже и признать! И поверить этой осенней молочной белизне небес, облетевшим листьям, ровному бегу коня по подстылой земле, который один лишь — и то вот так, в одиночестве осенних небес,— дает обмануть себя, дает почуять, что ты словно бы все еще молод, и удачлив, и смел, и счастье по-прежнему там, впереди, а не за спиною твоей!

Никита перевел взопревшего Гнедого в спокойную рысь, поехал обочью, огибая бледные осенние, уже кое-где совсем застывшие лужи. Все шли и шли по небу тянутой чередою серые волглые облака. Невидимое за ними, садилось солнце, окрашивая в палевый цвет холодную белизну далекого окоема. Густели сумерки.

Возчиков из Раменского Никита встретил уже в глубокой темноте, изматерил, отводя сердце. Остановив возы, начал считать кули. Все было в справе. Он умолк, тяжело влез на коня, поскакал, опережая обоз: возчиков надо было устроить на ночлег, хотя в клети им постлать, и накормить ужином.

Утром, еще в потемках, Никита встал, стараясь не будить беременную, на сносях, Наталью: пущай поспит! Девка уже ворочала ухватом в русской печи.

— Тише ты, корова! — прошипел он, затягивая ремень.

— Ники-и-иш, поехал уже? — пробормотала спросонь Наталья. Он склонился к ней, она обняла его за шею горячими со сна руками.— Не гуляй тамо, на Москве! — сказала, расцеловав.

— Спи! — Он укутал плечи жены, пошел будить возчиков. Девка следом за ним понесла, схватив тря-

пицею, горячий еще чугун со вчерашними щами. Ночью крепко примерзло, оглобли возов и рогожи были покрыты инеем.

Пока снидали, обувались, оболокались — зарассветливало. И Никита, прикрикнув на возчиков (подумал часом: зайти ли? Но махнул рукою, не стоило тревожить Наталью лишний раз), сунул пальцы под подпругу, натужась, затянул посильнее конский ремень, всел в седло. Брать с собою ничего не стал, уверен будучи, что ежели не завтра, то уж к послезавтрашнему дню воротит к дому. И, отъезжая, тоже не поглядел, не подумал. Мысли не было у него, что может не воротить домой.

ГЛАВА 63

Нещадно погоняя раменских возчиков, Никита сумел под Москвою догнать свой давешний обоз и, успокоенный, ополдень другого дня подъезжал к Москве, предвкушая заранее похвалу владычного эконома.

Смятение, крики, колгота на улицах Москвы мало задели Никиту. С годами городской шум долил, и все больше к сердцу ложились тишина и деревня. Так-таки ничего и не понял до самого Кремника, до растерянной стражи, что приняла Никитин обоз за первый из тех, что должны были спешно везти в Москву хлеб из пригородья, и потому его сперва пихнули было ко княжеским житницам, а потом обложили матом, и тут только понял он при криках «Ольгерд, Ольгерд!», что дело неметно и что подолох в улицах не иначе, как к литовскому набегу. Он и вновь не понял ничего, ибо подумал, что Ольгерд опять отбивает Ржеву у москвичей.

Бежали, гремя оружием, ратные. Трусили верхами бояре. Кто-то в кольчатой броне, но без шелома стремглав ворвался в ворота на запаленном коне и слепо и тяжело, едва не сшибая встречных, поскакал ко княжому терему. Промаячила высокая фигура Ивана Вельяминова на боевом коне.

Сбившиеся в кучу возчики не ведали, что вершить. Едва доправили до митрополичьих хором. Тут тоже творилось неподобное кишение, как в развороченном муравейнике. Бегали иноки, служки, владычные бояре и кмети. Эконом всплеснул руками, засуетился, потом

вдруг страшно обрадовал обозу, кого-то ловил, хватал, заставляя по-быстрому таскать мешки с житом в подклет. И тут только, торопясь, тормошась, вскрикивая, поведал, что Ольгерд всеми силами вкупе с тверским князем напал на окраины Москвы и пустошит волость, что убит оболенский князь, пытавшийся его остановить, что без вести пропал Семен Дмитрич Крапива-Стародубский, а полк его на Холохле вырезан едва ли не полностью, что великий князь разослал повсюду грамоты, созывая ратных, но время упущено, полков не собрать; где основная Ольгердова рать — никому не ведомо, и теперь спешно сбивают полк из москвичей, коломенчан и дмитровцев, дабы выступить встречу Ольгерду и задержать его, елико возможно, пока не соберут инших ратей.

Никита, выслушав и покивав, дождал, пока эконом отметит в вощаницах привоз и что за ним, за Никитою, не значится никаких недоимок, отпустил возчиков, наказавши передать Наталье Никитишне, что задерживает на Москве, и пошел искать владычного оружничего — добывать себе бронь, саблю и шелом. Скакать за своею боевою справою до дому и возвращаться назад — можно было и не успеть.

Густо пошел снег. Облепленные снегом, суетились, по-прежнему бежали куда-то миряне и ратные. Никита отчаялся кого-то найти, хотел было уже идти на двор Вельяминова — тысяцкий по старой памяти не отказал бы ему в оружии,— но тут наткнулся на Станяту. Они почти столкнулись на переходе, сперва не узнавши друг друга. (Станята очень изменился с тех пор, как ходили в Царьград, стал важный и словно не от мира сего: монах и монах!) Друзья крепко обнялись, и Станята тут же, вызнав Никитину трудноту, поволок его за собою. Сперва отвел покормить в трапезную, а там и разыскали оружничего. И Никита оказался во владычной оружейной, где глаза у него разбежались от великолепия броней, зеркал, куяков, панцирей, колонтарей, байдан, шеломов простых и литых, граненых, клепаных, фряжских, арабских с золотым причудливым письмом, татарских плоских мисюрок, рогатин, копий, саадаков, сабель, мечей, боевых палиц и топоров. Ему тут же выбрали удобную бронь, нашли литой шелом с подшлемником. Саблю к руке он выбирал придирчиво и долго. Запасся татарским луком и полным колчаном стрел, прихватил и топорик, и нож для

всякого ратного случая. Оружничий, видя жадность, охватившую Никиту, тихонько вспятил друзей к выходу.

— Ночуешь у меня! — бросил ему Станята, как о решенном.

Глубоким вечером, в келье, когда они оба, разложив тюфяки и накрывшись, один рядниинным одеялом, а другой — ферязью, улеглись, Станята примолвил, вздохнув:

— Не по нраву мне ето! Полк собирают из кого попадя, абы близко жил. Воеводами, слышно, поставлены Дмитрий Минич — ты его знаешь! — и Акинф Федорыч Шуба, етот из бояр Владимира Андреича. Не дай Господи, перессорят на рати! А где Ольгердов большой полк — неведомо. Доносят, что и там и тут. Посылают на Волок, а может, Ольгерд уже и Волок прошел! Или от Оки ударит им в спину... Я бы и тебе не советовал в ето бучило лезти. Лучше в Москве сожидать! Ну, а тамо уж — как знаешь!

Никита промолчал, всею кожею чуя правоту раздумчивых слов друга. Все же не смог бы заставить себя отступить, отсидеться за каменными стенами... А как же Наталья, дети? Тогда уж скакать в деревню, выручать их! Впервые подумалось, что ведь и до его села могут добраться — не литвин, дак Михайло Тверской. И холодом овеяло враз: что же будет тогда с Натальей? С сыном? (Подумал почему-то про одного старшего.) Пошевелился на твердом ложе, пробормотал:

— Воин я...

Станята понял, не стал настаивать.

Утром Никита долго тыкался по Кремнику, разыскивая воевод, сто раз проклял и себя, и раззяв бояр: уж коли выпустили князь-Михайлу да утек в Литву, дак смотри в оба!

Дмитрия Минича он наконец нашел. Сказали, что боярин находится на княжом дворе, прискакал из Коломны. Но пробиться на двор, перемолвить с боярином он никак не мог. Сторóжа, осатанев, никого не пускала внутрь двора. Меж тем туда и назад то и дело проезжали верхоконные, и Никите хотелось крикнуть:

— Сволочи! Ведь на бой прошусь, не на пир!

Наконец его заметил и узнал Микула Вельяминов. Тут для Никиты, как по волшебству, отворились все двери. Нашелся и Дмитрий Минич, который был в мо-

лодечной, сидел за столом и отдавал наказы младшим воеводам. Он оборотил слепое захлопотанное лицо в сторону Никиты, но, узрев сына тысяцкого, разом разулыбался, встал. Дело створилось в три минуты. Никита был зачислен в полк, ему указали «своего» боярина и велели быть готовым и со справою к послезавтрему утру.

Снег шел, не переставая, два дня. Все замело. Поля и дороги укрыло белою пушистою пеленою. Брести по этому снегу было невозможно, и когда долгая змея окольчуженной конницы выступила в поход, то сразу за последними рогатками московских улиц утонула в сугробах. Не обнастевший, не слежавшийся снег был как пух. Кони расталкивали его копытами, кое-где зарывались по грудь, шли медленно. Потом ударила ростепель, снег засырел, стал тяжелым. Едва добрались до Рузы, где отдыхали, кормили коней, устроили ночлег и дневку.

Вновь подморозило. Идти стало легче. Повернули на Волок-Ламской. Беженцы начали попадаться там и тут, скоро заполнили дороги, но никто из них толком ничего не знал, и только одно яснело воеводам: Ольгерд уже миновал, взял или, скорее, обошел Волок-Ламской и вот-вот его передовые разъезды выскочат из-за укрепы лесов.

Был отдан приказ вздеть брони и приготовить оружие. Полк подтягивался, разворачиваясь в боевой строй. Остановились на реке Тростне. Был второй час пополудни. Уже собирались ставить шатры и варить кашу. Дозоры, усланные вперед, не возвращались. Дмитрий Минич ехал вдоль строя полка, распахнув шубу, в роскошном, струйчатом, арабской работы колонтаре. Среди кольчужного плетения горели, как жар, пластины синеватой стали, изузоренной тонким золотым письмом, и многие ратники с завистью провожали его глазами:

— Вот это бронь!

Вдруг от леса начали отделяться сперва одиночные всадники, а потом строй их загустел, и вот уже отовсюду горохом посыпалось с далеким неразличимым воем: «А-а-а-а-а!»

Акинф Шуба проскакал сквозь смутившиеся ряды полка, вырывая саблю из ножон, проревел:

— Полк, к бою!

К счастью, среди ратников новобранцев не было. Ряды конных москвичей подтянулись и сомкнутым строем тяжело поскакали встречу литовской коннице.

Был тот страшный даже для бывалого воина миг, когда рати начинают сближать друг с другом. С той и другой стороны вырастают, сминая снег, готовые к бою комонные, и белое пространство меж вражескими ратями словно бы свертывается, съедаемое половодьем скачущей конницы. В воздухе уже со зловещим посвистом замелькали стрелы. Никита взял поводья в зубы, вырвал лук и, почти не целясь, выпустил шесть стрел в густой вал катящей встречу литовской конницы. Вот на правой руке, куда ускакал Акинф Шуба, уже сшиблись. Вопль пресекся, сник, смытый звоном и треском оружия. Наступило то, слышимое издали как безмолвие, когда воины сблизились и в дело пошли клинки.

Никита не поспел услышать, ни уловить, что там, на правом крыле, потому что уже прямо перед ним явился скачущий на него какой-то рослый литвин, и Никита, весь подобравшись и обнажив зубы, ринул коня вскок, вздынув саблю и примеривая, как лучше срубить врага. Литвин, однако, оказался добрым воином. Он ушел от удара, рубанув Никиту вкось, и тот едва успел прикрыться и отбить удар. Сталь проскрежетала по броне, к счастью, скользом и не порвав кольчугу. Они тут же разминулись. Вокруг уже были морды чужих коней, вздетые сабли, копья, и Никита, рыча, вздымая Гнедого на дыбы, кошкой вертелся в сече, отбивая сыплющиеся удары, сам рубя со звоном и скрежетом, по которому только и понимал, что попадает каждый раз по оружию врага, а не по телу...

Он не видел, да и никто не видел той порой, что уже, перебредя реку, им в тыл заходит иная литовская рать. И когда понялось, почуялось, что окружены, отступать стало поздно. Русский полк, разорвав, истребляли по частям. Бегущим не было пощады, их настигали, рубили, топили в реке. Никита еще раз узрел Дмитрия Минича, уже без шубы, верно, сброшенной в бою, покрытого не то чужой, не то своей кровью. Он, окруженный врагами, вздымал свой воеводский шестопер, гвоздя и гвоздя по головам обступивших его ратников, сверкая своим великолепным колонтарем, но вот грянулся конь, и над телом поверженного боярина началась свалка.

Никита, чудом уцелев, скакал по полю, мысля достичь края леса, но тут встречу вырвалась и пошла наметом новая толпа врагов. Конь уже был запален. Понимая, что не уйти, Никита придержал его за поводья и, пригнув-

шись в седле, стал выбирать себе жертву, намерясь дорого продать жизнь.

Это был литовский боярин, скачущий на рослом, далеко выбрасывающем вперед долгие ноги коне. Никита рванул к нему, сабли скрестились раз, другой, третий... И тут раненная когда-то рука или усталость подвели Никиту Федорова. Сабля со звоном вылетела у него из рук. Последним усилием воли он послал коня вперед и — достал боярина, руками достал, скользя кровавыми пальцами по железу, нащупал вырванным из ножен засапожником щель в литом немецком панцире и туда вонзил, и брызнуло, но убил ли, нет, уже не узнал и не понял. Страшный удар топора ошеломил его. Теряя сознание, Никита начал сползать с седла. Треснувший шелом с разорванною запоной упал с его головы, и тут еще чья-то в пору доспевшая сабля коротко погрузилась в седые Никитины кудри, вмиг заливши ему кровью все лицо. Никита пал в снег. Гнедой остановился около него, фыркая и трогая господина копытом, но чья-то грубая рука схватила повод коня и повлекла, потащила упирающегося Гнедого прочь от хозяина. И чьи-то чужие руки стаскивали с него, бесчувственного, бронь и сапоги.

Смеркалось. Бой затихал. Почти весь полк вместе с воеводами был изрублен и пал костью, не повернув, не побежав. Мало было уцелевших, захваченных в полон. И тех всех увели к Ольгерду.

— Где великий князь? Где московская рать?! — яростно спрашивал Ольгерд каждого русского пленного, иных приказывая обливать водою, колоть ножами и мучать, дабы сказали правду. Он все не мог поверить, что рати не собраны и что Дмитрий — в Москве. И только установив, что это именно так, устремил к городу.

Ночь опустилась на истоптанное кровавое поле. Никита пришел в себя от холода. Попробовал встать, но вспыхнувшая адская боль тотчас опрокинула его в снег. Тогда он пополз, пятная снег кровью и плача, полз на подвертывающихся, слабнущих руках, раздетый и разутый, без шапки. Он полз, теряя кровь и замерзая, и, останавливаясь, замирая, слышал недальний и жуткий волчий вой. Тогда он снова полз и почти уже дополз до опушки леса, но тут силы его окончились. «Все!» — подумал Никита, подумал совершенно ясно, словно бы и не был ни ранен, ни ошеломлен, полез рукою за пазуху, с усилием вытащил нательный крест, приложил к губам. Движение это совсем лишило его силы. Кровь снова поли-

лась, и он знал, чуял, это — последняя кровь. Сознание мглилось, мглилось... Когда волки подошли к телу и начали осторожно, постанывая, обходить его кругом, Никита уже не пошевелился. Он был мертв и не почуял последнего пира, разыгравшегося над его телом.

ГЛАВА 64

Услюмово трудно собираемое столько долгих лет хозяйство рухнуло в один день. Он как раз тесал колья для загаты и ведать не ведал ни о какой литве, когда на двор ворвались верхоконные с саблями наголо и, соскакивая с седел, кинулись за поживой. Кто-то из ратников, выбив дверь мшаника (правильно решив, что, где пчелы, там и мед), начал расшвыривать и колоть ульи с сонными пчелами.

Услюм бежал, крича:

— Пчелы тамо! Не смей! — Он ничего еще не понял, не взял в толк, чьи и зачем, он только одно видел: то главное, на чем покоилось все его нажитое горбом и потом хозяйство, то, чем он гордился, как лучшим достоянием своим,— пчелы сейчас будут уничтожены, поморожены, выброшены в снег. Он бы и сам дал меда ратникам, он бы... В руке, позабывшись, Услюм продолжал сжимать топор, тоже не думая о том, не понимая даже, что что-то держит в руке.

— Мшаник! Не смей! Меду...— И не поспел сказать: «Дам».

Вида бегущего мужика с топором достаточно было литвину, который сбоку, вкось, рубанул Услюма, почти отделив ударом голову вместе с правой рукою от тела русича. Срубил и, черпнув снегу, начал обтирать лезвие сабли.

Прочие уже потрошили усадьбу, тащили то и другое, дрались над добычею. Услюмовы отроки, которых мачеха напоследях сообразила-таки выпихнуть из сеней, крикнув: «Бяжитя!» (ее тут же схватили, связали и повели), без шапок и сапогов влетели в хлев, где старший успел закидать младшего прелой, приготовленной на подстилку кострицей и навозом, а сам тут же был схвачен и связан ворвавшимся в хлев воином.

Разорив избу и клеть, выгнав скотину, привязав полоняников арканами к седельным лукам, ратники посажались на коней и погнали полон и скотину.

Младший Услюмов отрок лежал в хлеву, постепенно застывая, до вечера. Вечером не стало уже мочи терпеть. Он, дрожа, пробрался в выстывшую избу, кое-как подтащил двери и затопил печь. До утра другого дня он ютился под грудою ветоши на глиняном лежаке печи, слушая вой волков, какие-то уханья и далекие крики. Как ободняло, разыскал старые валенки, набил их сеном и тряпками, нашел вытертый овчинный зипунишко и старую шапку. Грабители брали, что поновее и подороже, и, к счастью для мальчика, забыли и не поспели запалить дом. Роясь в раскиданной лопоти и всхлипывая, он разыскал и рукавицы, собрал рассыпанное зерно, сварил себе кашу. Ополдень, почуя шевеление в кустах и смертно перепугавшись, он,— когда понял, что то не волки и не люди,— пошел-таки поглядеть и нашел своего телка. Верно, ратные, когда гнали скотину, потеряли дорогою, а несмышленыш и побрел обратно к дому. Обняв кроткую добрую морду с белой звездочкой на лбу, мальчик вновь горько расплакался, целуя бычка в лоб. Потом завел его в хлев, не ведая, чем теперь и кормить. Но погрел-таки воды, сделал болтушку из муки и кое-как накормил проголодавшегося малыша. Только после этого, посидев на лавке и отдохнув, он, перекрестившись, со страхом подошел к телу отца и попытался заволочь его в клеть. Тело не гнулось и было страшно тяжелым и холодным, а полуотрубленная голова с рукою волочились по земле. И он прикрывал глаза, борясь с тошнотою и ужасом, и все же волок, волок и доволок, и заволок-таки, и боле не знал, что ему делать. Он уложил отца, попробовал сложить ему руки на груди, но не сумел. И тогда, решившись, попросту закрыл плотно дверь клети, прижал ее колом и, подумав, начал заваливать дровами и снегом. «Пока морозы, волки не учуют, а учуют, не замогут раскидать дрова»,— думал он, понимая, что отца ему в одиночку все одно не схоронить, а соседи, видимо, все либо разбежались, либо были уведены в полон.

Он еще раз истопил печь и понял, посидев на лавке, что надо уходить к дяде Никите, не то ему тут одному — пропасть будет! Мальчик заплакал вновь. Потом встал, нашел топор и начал неумело, но старательно вставлять сорванную дверь в подпятники. До вечера справился-таки и, поевши давешней каши и накормив телка, снова полез на печь. Надо было идти, и идти было нельзя: чем он станет кормить телка в дороге?

Так они и жили, бычок и мальчик, и ежели бы не

пугающе-мертвое тело отца в клети, и жить бы можно было. В добром хозяйстве всего запасено, а литва, пограбив и напакостив, разбив лари, рассыпав зерно и муку, раскидав в клети мороженую рыбу, все же не забрала всего, и мальчик постепенно начал обустраиваться. Варил по-прежнему бычку мучную болтушку, давал мягкого сена, себе варил кашу и щи, и потому, что не было льзя присесть ни на мгновение, что требовалось с утра до ночи одно чинить, другое поправлять (он и дверь мшаника вновь навесил, собрав уцелевшие ульи), мальчик держался до той поры, пока недели через две не явился сосед, уцелевший и отсидевшийся в лесу. И, завидя его, завидя первого взрослого невраждебного человека, отрок вновь заплакал, теперь уже облегченно, навзрыд.

Услюму долбили могилу, отогревая землю костром. Нашелся прохожий монашек, прочитавший молитву. Литва уже схлынула, и уцелевшие жители разоренных деревень возвращались из лесу по домам.

В один из дней, оставив пчел, бычка и уцелевшее добро на попечение соседа, мальчик, туго перепоясавшись, обув ноги в лапти и прихватив мешок, в котором были валенки, узелок с холодной вареною кашей, хлеб, тяжелый туесок с медом (литовцы, разбивавшие ульи, так и не нашли погреба, где был у бати мед) и несколько мороженых рыбин, простился с приветившими его сябрами и вышел в путь, намерясь добраться до дяди Никиты и рассказать ему всю ихнюю беду.

Выйдя на большую дорогу, он влился в бесконечную череду сирых и бездомных погорельцев и беженцев, направляющихся в сторону Москвы.

— Куды бредешь-то? — спросила его какая-то сутулая, но еще крепкая на вид старуха без зубов, с поджатым к носу, выступающим острым подбородком. Она шла, подпираясь клюкой, шла споро и наступчиво, не отставая, и только уж перед самою Рузой спросила:

— Хлебца не дашь ли? Два дни не ела старая!

Мальчик молча развязал мешок, достал нож, отрезал ломоть и подал старухе. Подумав, отколупнул кусок застывшего меду и подал тоже. Старая ела жадно, перетирая хлеб беззубыми крепкими деснами, а когда какой-то старик, остановясь рядом, потянулся было тоже к мешку отрока, подняла клюку и с криком и руганью отогнала старого посторонь.

И снова они шли, и шли, шли, заночевали в каком-

то сарае в старом сене, и старуха, умащиваясь рядом с ним, попросила опять:

— Ты-ко дай мне, отроче, еще хлебушка, приветь старую!

И он опять отрезал ей хлеба, и отсыпал каши, и отломил кусок рыбины, памятуя только, что ему надобно еще идти и идти и донести мед — без гостинца, считал он, являться к дяде Никите было непристойно,— и ночью, засыпая, думал, как будет угощать медом дядину малышню и сказывать дяде и тете Наталье про то, как убили отца...

Старуха встала раньше него и унесла, вытащила из мешка туесок с медом, оставив ему полхлеба и две рыбины. Поплакав и поругав старую, мальчик погрыз рыбы, заел снегом и побрел опять один, затерянный в толпе странников, ни с кем не заговаривая и ни о чем не спрашивая, и брел, пока вдали не показалась каменная Москва.

Он еще и представить себе не мог, что ожидает его в дядиной деревне, куда добрался только через неделю, трижды ограбленный, голодный, тощий, без мешка и даже без зипуна, замотанный в какую-то подобранную в пустой клети, потерявшую вид и цвет полусгнившую рвань.

ГЛАВА 65

Наталье весть об Ольгердовом набеге принесли воротившие из Москвы мужики. Они толпились во дворе, со страхом и надеждою взирали на госпожу, не ведая, что делать. Бежать ли загодя али сожидать вестей?

Наталья выслушала их сурово, кутая лицо в плат. Из сбивчивых многоречивых объяснений уведала в конце концов истину. Поняла, что не собраны рати, что великого князя Ольгерд с Михаилом захватили врасплох и теперь неведомо, когда Никита воротит домой и воротит ли вообще... И что сказать этим людям, которые ждут от нее правдивого, верного слова и надеются, и верят, а она? Сказать им, что князь великий разобьет и отгонит литву, что нечего страшить и надобно оставаться дома?

— Раменские где? — спросила.

— Дак они-то, они... Они ходом, бают — в лес надоть, отсидетьси!

— Ну вот, мужики! — сказала. — Скотину отгоняйте зараз в лес и сами уходите от греха!

Повеселевшие мужики засуетились, начали заворачивать коней.

— Хлеб-то, хлебушко-от как?

— И хлеб увозите али зарывайте в землю! — напутствовала Наталья.

— Дак ты-то как же тута? Без хозяина свово? — спохватился на выезде один из мужиков.— Давай с нами в Проклято́й бор! Туды никакая литва не сунетси!

— Коров моих захватите! — возразила Наталья.— А сама ждать буду! Коли што — кони у меня есть!

Холопу, проводя мужиков, Наталья велела рыть яму в клети, обкладывать берестою и хоронить мешки с рожью. Зарыли тяжелый ларь с лопотью. Укладку с серебром и Никитину бронь Наталья спрятала сама. Назавтра, подумавши, созвала старосту и уговорила его послать трех-четырех парней верхами в сторожу, дабы упредили, когда покажется враг...

А в душе все не верилось. В голове не умещалось: как это? Ждала — вот появится Никита, грязный, в крови, ведя в поводу чужого полоненного коня. Спрыгнет, шатнувшись от устали, скажет: «Баню топи!» Мальчишки повиснут у отца на руках, и станет спокойно и ей и дитяти, что шевелится тамо, внутри... Но пуста была дорога, пугающе пуста! Не ехал Никита, и никто не ехал по ней. Только снег шел, густой, закрывающий все своею мутною, мертвой пеленой...

Литовская конница появилась нежданно, хоть и стереглись, как ни стереглись... Ночью парень-сторожевой постучал кнутовищем в окно, прокричал:

— Бяда! Скачут!

Едва успели запрячь лошадей, одеть и покидать в сани детей. По темному полю уже скакали трудно различимые во мраке всадники. Холоп Сенька то ли с умыслом, то ли так в первые сани бросил узел с барахлом и мешок хлеба, покидал своих сорванцов и посадил жонку, Натальину рабу, вторые же сани остались самой Наталье Никитишне с детьми, которых она второпях закинула всех трех Никитиным тулупом.

Теперь Сенька, стоя, полосовал жеребца, уходя все дальше и дальше во мрак, а Наталья, сама схватившая вожжи и отстранив сына, чуяла, сцепив зубы, что вот-вот произойдет непоправимое: их настигнут, и тогда — всему конец!

Конь с хрустом ворвался в кусты, проминовал стог сена, и тут Наталья, по счастью, надоумилась круто свер-

нуть на зимник, перескочив реку по едва застывшему, тонкому льду. Назади, как вымчали на тот берег, отокрылась широкая полынья, и скачущий всугон литвин вспятил коня. И уже теряя сознание от подступившей изнутри боли и все же не бросая вожжей, Наталья ворвалась наконец во мрак леса, в узкую щель зимника, только тут почувствовав, что ушла, спасла детей и себя, потерявши, впрочем, и добро и холопа...

Боль снова подступила к самому сердцу и вновь отошла. И тут Наталья ужаснулась и поняла, что рожает. Она остановила коня, передохнула, дождав, когда отпустит схватка, прошептала хрипло:

— Вези, Ванюшка!

Они плутали по зимнему лесу, переходя с зимника на зимник, съезжая в сугробы и поворачивая, пока не показалась из-за зубчатого края леса желтая, объеденная по краю луна. Испуганные дети, Федя с Любавой, молчали, сжавшись под тулупом. Иван, необычно серьезный, бледный в свете луны, погонял и погонял измученного коня. Приступы шли все чаще и чаще, почти беспрерывно, и Наталья начала понимать, что не доедет уже никуда.

— Ваня, Ванята, Ванюшка! Хоть стог сена найди, что ж это... О-о-о!

Федя заплакал тоненько. Наталья, нашарив потной рукою головенку сына, сама корчась от боли, стала его утешать.

Стог сена явился во тьме, как спасение. Стог и огромная ель на краю поляны. Ваня, сопя, разгреб снег у нижних, опущенных долу ветвей ели, натаскал туда сена, помог матери доковылять и заползти под мороженый навес ветвей. И сразу же, как только она оказалась в этой берлоге, ребенок, будто ждавший того, пошел. Ивану, заглядывавшему к ней, со страху стучавшему зубами, велела:

— Любаву позови!

Дочерь, хоть и маленькая, обыкшая видеть роды у овец и коров, пробралась к матери, приняла склизкий от крови и слизи комочек. Не было чем обтереть дитятю, живого, несмотря на преждевременные роды (послышался тоненький писк). Наталья зубами отгрызла пуповину, вырвав шерстинку от платка, перевязала кое-как, ничего не видя в темноте и каждую минуту ожидая, что малыш умрет: голый на снегу, на морозе! Нечем было обтереть, завернуть. Наталья растопила снегу во рту, кое-как обтерла родильную слизь. Оторвав широкую ленту от подола рубахи, завернула маленькое, уже словно бы и нежи-

вое тельце, засунула подо все одежды ко грудям, остро чувствуя, что ежели Никита погиб, то этот малыш, сын,— последний у нее и потерять его то же почти теперь, что потерять Никиту... Слава Богу, угревшись, ребенок зачмокал, и молоко было у нее... Она стала есть снег, кое-как обтерла себе ноги...

Ванюша все продолжал и продолжал таскать сено. Заложил весь верх, устроил почти теплую глухую берлогу, перенес Федю из саней, тулуп. Припустил коня к стогу, освободив его от удил. Наконец, окончив все, залез и сам под кров елового шатра, заложив дыру сеном.

Натянув кое-как на себя тулуп, угревшись, семья задремала. Дети сопели, вздрагивая во сне, а Наталья то проваливала в дрему, то слушала — не подошли ли волки? На месте ли конь? Но конь хрупал сеном, потом подошел к норе, нюхнул, сунув морду в сено, унюхал своих и замер, прожевывая, опустив морду к теплой дыре, откудова шло человечье тепло и знакомый запах хозяйки, смешанный с тревожащим запахом крови...

Младший к утру сомлел, то сосал, но как-то несильно — не сосал, мял губами сосок,— то вовсе замирал, и тогда на Наталью наваливало глухое отчаяние. Когда рассвело, они выбрались, издрогшие,— все тело ломило, болела поясница и голова,— и, набив сани сеном сколь только можно, поехали искать своих. Оставаться тут было нельзя: могли подойти волки, и у них не было ни крошки хлеба.

Когда на третий, четвертый ли день голодные и полумертвые, на измученном коне добрались они до Проклято́го бора, до первой засыпанной снегом, кое-как слепленной из едва окоренных бревен охотничьей избушки, крытой жердями и корьем, Наталья держала на руках уже охладелый, давно потерявший всякую искру жизни трупик, в безумной, уже полубредовой надежде, что, добравшись до какого ни есть жилья, младенец еще оживет.

Выбежавшие бабы силою отняли у нее труп дитяти, затащили в дымную, темную нору, где ползали и пищали малыши, сомлевших, полумертвых детей, завели под руки ее саму и занесли Ивана, который все время правил конем, а тут, завидя наконец людей, посунулся носом вперед и потерял сознание. Им влили в рот горячей воды, дали пожевать хлеба...

Наталья назавтра была в жару и не узнавала никого. У нее началась горячка. К счастью, нашлась старуха-

травница, которая, осмотрев боярыню, сказала твердо: «Жить будет!». И начала ее растирать и поить каким-то вонючим отваром. Жар, действительно, спал, и на четвертый или пятый день Наталья очнулась и сразу спросила о детях. За эти четыре дня умер, сгорел, истаяв на глазах, Федя, но ей не сказали того. Иван с Любавой были живы и испуганные сидели молча близ матери. Только еще через ночь, когда Наталья уже начала привставать, ей повестили про Федора.

«Что я Никите скажу?» — думала она, раскачиваясь в забытьи на жердяной постели своей, где все спали вповал, вплоть друг к другу, не думая уже ни о чистоте, ни о вшах, ни о чем ином, кроме самой жизни... Жить ей совсем не хотелось и было незачем. Но Любава с Ваней жались к ней со сторон, и ради них, таких еще слабых и маленьких, надо было продолжать эту жизнь, надо было встретить Никиту и смочь поглядеть ему в глаза, если он только жив и придет, а не уведен в полон и не убит (но об этом думать было неможно, нельзя). Надо было жить, и она жила. Встала, начала в очередь топить, стряпать и таскать воду от ручья.

Мужики стерегли дорогу и однажды прикатили веселые: «Уходит литва!» Тогда только стали выползать, тянуться к дому...

От деревни осталось три дома да боярский двор — уцелевший, хоть и был весь разорен. Хлеб разрыт, вырыт и ларь с лопотью, лишь укладка с серебром и дорогой кованью, схороненная Натальей, уцелела. Видимо, холоп перешел опять к своим, к литве, и указал, где зарыто боярское добро...

Но надо было начинать жить! Уцелела одна из коров (двух других съели, пока сидели в лесу), уцелел конь. Дрова так и лежали в круглых кострах в глубине двора, и даже несколько стогов сена уцелели на задах — видно, литвины, ограбив деревню, скоро ушли в иное место.

Наталья старалась вызнать хоть что-нибудь: уцелел ли Никита, где Услюм? Но что можно было выяснить в этой одичалой, сорванной со своих мест, мятущейся человечьей скорби?

По дорогам брели нищие, потерявшие дом и кров, отчаявшиеся люди. Просили хлеба, но их было нечем кормить. Добро, мужики поделились с нею спасенным житом. И когда однажды в горницу взошел, постучав, тощий паренек в рванине и остановился у притолоки, Наталья хотела подать печеную репину да проводить

со двора, но мальчик заплакал, и тогда Наталья признала в нем Услюмова сына. Охнула, обняла, повела мыть и обирать вшей. От него и узналось о судьбе деверя.

Дни шли за днями, а от Никиты не было по-прежнему ни вести, ни навести.

ГЛАВА 66

Ольгерд был очень осторожен всегда, хоть и не труслив. Только вызнав от пленных, что князь в городе, а сил, могущих нежданно напасть на него, не собрано, он стремительными переходами, стягивая рати в единый кулак, двинулся к Москве. Город встретил его пожарами. По приказу воевод выжигали окологородье, чтобы не дать противнику возможность сделать примет. Ольгерд стал под самым городом, перестреливаясь с московитами, стоявшими на заборолах, отнюдь не пытаясь, однако, штурмовать каменную крепость. У него не было ни осадных орудий, ни потребных к делу мастеров, а сверх того, несобранные рати, как он понимал и сам, могли быть собраны при распорядительности боярской очень быстро, и тогда он со всею своею конницей окажется на чужой земле, в кольце вражеских войск. Да и еще было одно недоброе соображение у великого князя литовского. Михаил Тверской, заставивший его выступить в этот поход, страшил Ольгерда своею невероятной настойчивостью. Иметь противу себя ратную Тверь с князем Михаилом во главе вместо этого сосунка, неспособного в срок собрать рати (каким он считал Дмитрия), ему вовсе не улыбалось.

Поэтому, постояв три дня под городом, разорив и пожегши все, что он мог разорить и пожечь, Ольгерд при первом известии о том, что москвичи готовы пойти на мировую, начал отводить рати...

Шел, то сеялся, то припускал сплошным белым покровом, так что в пяти шагах трудно было уже различить человека, пушистый звездчатый снег. Михаил подъехал к обширной бревенчатой поварне чьего-то разоренного боярского гнезда. Спешился, околачивая снег с шапки, пролез внутрь. Тут горел костер, бросая багровые сполохи на черные, покрытые сажей стены и потолок из круглого накатника. У костра, на разложенных попонах и седлах, сидели литовские воеводы; худой Кейстут, высоко подобравший колени и выставивший вперед ост-

рый подбородок,— серая борода его лежала на скрещенных руках; сын его, молодой Витовт, растянулся рядом на попоне, глядя в огонь. Ольгерд расположился царственно, откинувшись на возвышение из седел, покрытое попоною, и выставив вперед увечную ногу. Ольгердовичи, Андрей Полоцкий и Дмитрий-Корибут Брянский, сидели рядом. Оба крупные, сильные, спокойные. Добрыми детьми наградила Ольгерда судьба! По другую сторону костра устроился в окружении воевод смоленский князь. На вертеле над костром жарился вепрь. Сновали дружинники и слуги.

— Уходим,— скосив глаза, ответил Кейстут на немой вопрос Михаила. Ольгерд тяжело поглядел на тверского князя.

— Садись, родич! — сказал.— Московиты прислали гонца. Они просят мира!

Михаил сел, ничего не отвечая Ольгерду. Ежели литовская рать уйдет, не довершив мира, все начнется сначала. Но говорить ни о чем не стоило, доколе воеводы не поужинают.

Он сидел и ждал, пока тушу снимут с огня и слуги начнут разделывать мясо. Уже когда каждый, протянувши руку, взял по куску и сосредоточенная работа челюстей замедлилась, показав, что первый голод утолен, он вымолвил, ни к кому не обращаясь:

— Дмитрий с Алексием могут отказаться подписать мир, ежели все уйдут!

Ольгерд шваркнул недоеденной костью по деревянной тарели, почти выкрикнув:

— У меня конница завязнет в снегах!

— Он прав, Ольгерд! — примирительно произнес Кейстут, продолжая грызть мясо. Он потянулся за новым куском хлеба, поставленного в большой корзине прямь огня.

Пили воду и квас. Упорно не употреблявший хмельного Ольгерд приучил к тому, по крайней мере в своем присутствии, и ближайших сподвижников.

Дружинники, присев позади господ, тоже грызли мясо, обсасывая кости. Жир тек по рукам, гора мяса и хлеба быстро уменьшалась.

— Чего хочешь ты от князя Дмитрия? — вымолвил неохотно Ольгерд. Московит был устрашен, и ему, Ольгерду, больше не требовалось ничего.— Городок он тебе отдает и вотчину князя Семена, из-за которой у вас восстала рознь, тоже!

— Он должен подписать ряд со мною, признавая, что мы оба — великие князья в землях своих,— насупясь, ответил Михаил,— что я полный хозяин в своей волости и сам буду давать выход татарам!

— Он прав, Ольгерд! — снова произнес Кейстут.

— И он должен выпустить князя Еремея из города! — твердо договорил Михаил.— Пусть едет к себе и возобновит ряд со мною! Хозяин ему я, а не великий князь владимирский! А полон пущай выкупают серебром!

— Он прав, Ольгерд,— в третий раз промолвил Кейстут.— Это будет справедливо. Ведь победители — мы!

— Ты обещаешь не казнить князя Еремея? — вопросил Ольгерд (хотя кому-кому, а не ему бы задавать подобный вопрос).

— Да! — твердо и просто ответил Михаил. Он и сам не собирался уничтожать родственника, преступая тот незримый, нигде не записанный, но достаточно твердо соблюдаемый во Владимирской земле ряд, по которому враждующие князья все же старались не убивать друг друга, отличаясь в этом и от татар и даже от соседней Рязани.

На Москве растерянность первых дней, могущая перейти в хаос, была решительно пресечена совокупною волею воевод, и к тому дню, когда Ольгерд показался под городом, ратные были расставлены по стенам, конница готова к вылазкам, ремесленный люд из окологородья «забит в осаду» — город готов был достойно встретить врага, ежели бы Ольгердовы рати отважились на приступ.

Юный князь Владимир Андреевич без конца скакал от костра к костру, лазал на стены, сам брался за лук, пуская стрелы в слишком близко подъезжающих литвинов, тормошил Вельяминова — весь был в упоении войны, осады, близкого боя. Дмитрий, растерянный и гневный, стоял на заборолах в тяжелом панцире и броне, стоял и глядел, все еще не понимая, как и почему это произошло, на разъезжающих среди обугленных бревен окологородья литовских всадников. Уступив Орде и выпустив князя Михаила, он ежели и ожидал пакости какой, то только от Азизовых татар. А тут пленена и разграблена вся земля, подобного не было от самой Федорчуковой рати!

Митрополит Алексий тоже раздавал приказы (вла-

дычный полк был весь на стенах города), успокаивал ослабших духом и молился. Для него свершенное Михаилом Тверским и Ольгердом было, увы, тоже неожиданностью.

Уступив Городок и княж-Семенову волость, он думал, что Ольгерд тотчас уйдет. Но тот, оттянув войска, потребовал ряда с Михаилом, и Алексий, понимая и свою вину в днешней беде, распорядил подписать грамоты и через бояр урядить о мире. Князя Еремея, побледневшего, упирающегося, выпроводили из города. Сам Алексий смотрел с заборол, как князь выехал из ворот, как сблизил с литовским разъездом, как его, уже вдали, встретили какие-то новые, видимо, княж-Михайловы всадники и после недолгой толковни, выстроившись в два ряда, поскакали следом...

Только после того литовские полки начали наконец уходить.

ГЛАВА 67

В ближайшие дни и недели творилось невообразимое. В Кремник прихлынули толпы страждущих, разоренных людей, и всех надобно было кормить, одевать, устраивать и лечить, дабы не нажить иншей беды — глада и мора.

Не хватало зерна, муки, масла, неведомо было, где достать лопоть, хоть каких-то коней и коров. Скот вели из Ростова, покупали на князево серебро в Нижегородской волости. Великим постом татарские купцы пригнали на Москву табун лошадей и распродавали в торгу. Совсем неимущим посельские выдавали коней бесплатно, под будущий урожай. То же делали и все бояре. Земля без рабочих рук не стоила ничего. Это понимали хорошо все, а о той человеческой тесноте, которая позволяла в последующие (ближайшие к нам) века небрежничать жизнью сотен тысяч смердов, тогда еще и не помышляли.

Среди всей этой хлопотни Станята все же находил время выспрашивать об участи друга. Когда выяснилась гибель передового полка, были посланы мнихи и ратники — собрать и погрести трупы. Никитина тела не нашли, да и многих не досчитались, сокрытых во глубине снегов или растасканных волками и вороньем. Станята надеялся еще, что Никиту увели в полон, но среди вы-

купленных ратников его тоже не было. Он съездил — надо было осмотреть Селецкую владычную волость — в Никитину деревню. Нашел (и ужаснулся) Наталью Никитишну, поседевшую, постаревшую лет на десять, вызнал о гибели детей. Посидел на лавке, немо глядя, как сиротливо тычутся по горнице двое оставшихся в живых ребятишек. Тут с улицы зашел паренек с охапкою дров. Станята подумал: с деревни какого взяли? Но Наталья пояснила:

— Деверя сын! Отца убили у них и старшего-то в полон увели. А етот уцелел. Сам добрался. Теперь работник есть в доме! — невесело пошутила она. Холоп, как вызнал уже Станята, ушел, ограбив дом, вместе с литвой.

Станята выхлебал молочную тюрю, пожевал репы. Обещал вызнать о судьбе старшего Услюмова отрока. Подумал еще, что теперь на деревню пошлют нового данщика и Наталье с детьми придет переезжать к себе в Островое.

— Та-то деревня не разорена? — спросил он.

— Не ведаю,— отмолвила Наталья Никитишна.— Вестей нет! — прибавила как-то безразлично, словно ей и не надобны кормы с той деревни, словно днесь, в разоренном доме, где едят пареную репу и болтушку из сорной, собранной по поду разоренного сусека муки, не надобны были бы греча, сыр, масло и убоина.

Она присела на кончик лавки, всматриваясь огромными, все еще прекрасными, обведенными страдальческою тенью глазами в подсушенное временем строгое лицо владычного писца, вопросила с тоскою и безнадежностью в голосе:

— Может, еще жив?

И Станята не посмел ни соврать, ни ответить правды.

— Не ведаю! — сказал.— Ищо не весь полон выкупили. Веры нет уже и у меня, а — не ведаю!

Он строго, возможно строже поглядел на вдову. Она поняла, потупилась.

— Божья воля на всё! — досказал.— У тебя дети еговы!

А самому подумалось с горечью: хорошо, что он-то не завел ни жены, ни семьи! Куда больней отрывать от себя живое, провожая в могилу любимых и юные, еще не свершившие предназначения своего жизни!

Отводя глаза, он повестил вдове, что в деревню

пришлют нового данщика, что ей на прожиток владыка оставляет дом, пашню и огород, но что лепше ей пока переехать к себе в Островое, про которое он обещал вызнать, как там и что. Впрочем, пока, до весны, а быть может, и до осени, трогаться с места им все одно было неможно.

Уже на Троицу сумел Станята, исполняя тем взятый на себя долг перед Никитою, вызнать про судьбу Услюмова полоненного семейства. Жонка, по слухам, погинула в пути, а сына, уведенного в далекую Литву, так и не сумели ни сыскать, ни выкупить.

А Никитины останки нашли по весне, когда объеденный волками костяк вытаял из земли. Богобоязненный крестьянин, обнаружив мертвяка с серебряным крестом в полусгнившей руке, не стал крестик тот забирать себе, а повестил братии соседнего монастыря. Мертвого погребли и отпели, а крестик настоятель оставил во своей келии и, случаем коснувшись в разговоре минувшей беды, показал владычному писцу Леонтию, явившемуся проверять монастырь.

Станята глянул сперва безразлично, а потом (что-то задело его) и внимательнее. Был крест у Никиты не простой, редкой новогородской работы, и Станята, все еще колеблясь (но найден-то был мертвяк как раз на Тростненском побоище!), забрал у настоятеля крест и, много спустя, показал его Наталье Никитишне, охнувшей и признавшей мужев тельник.

По тому и узналось, как погиб Никита.

ГЛАВА 68

В налаженном хозяйстве, несмотря на самый жестокий урон, всегда остаются «скрытые резервы», говоря современным языком, позволяющие сравнительно быстро оклемать, отстроиться, встать на ноги. Во всяком случае, тою же зимой Владимир Андреевич с ратью ходил на помощь псковичам против немец, на следующее лето был заложен и срублен город Переяславль (старые валы и стены зело обветшали, а город стоял как раз на возможном пути тверских ратей), а весною другорядного, 1369 года москвичи с волочанами уже громили смоленские волости, отмщая князю Святославу участие в Ольгердовом походе на Москву, и еще через год, в начале 1370 года, посылали рати на Брянск, на Дмитрия Ольгердовича, другого участника того же похода.

Но от Твери и тверского князя Михаила приходилось пока отступить, позволив тому обустраивать свою волость, укреплять городки и приводить в свою волю родичей.

К весне 1369 года, когда поток беженцев начал иссякать, налаживалась жизнь и мужики уже пахали новую пашню, Станята как-то повестил владыке о гибели Никиты Федорова и о том, что он своею волею позволил вдове с детьми остаться пока во своем доме, в деревне.

Алексий, заметно постаревший в последние месяцы, выслушал, склонил голову, знаменуя, что не прекословит Станятину решению. Вопросил вдруг, остро поглядев на своего секретаря:

— Ты тоже мнишь, что я был не прав, задержав через клятву князя Михайлу?

Станята повел плечом. Князя схватили точно что несправедливо! Но владыка не об этом и прошал его. А ежели бы удалось? Вот в чем вопрос! Побитые всегда не правы! Теперь и все случившиеся смерти, и гибель передового полка, и разоренье земли, и смерть Никиты Федорова — все это на совести побежденного.

А ежели бы удалось? И князь Михаил сидел до сих пор в затворе, а Тверь стала бы волостию великого княжения? Ежели бы удалось! Прав ли — и всегда ли прав — победитель?! И не есть ли закон превечной правды, коему служил он до часа сего, единый действительный закон на земле?!

— Не ведаю,— ответил Станята.— Прости, владыко, но я не дерзаю мыслить о сем! Никиту жаль! Друг был он мне... И тебя спасал в Киеве!

— Хорошо, ступай! — отмолвил Алексий, и когда Станята выходил, потянулся было за ним, так страшно вдруг стало ему остаться теперь наедине со своею совестью.

Он превозмог себя, допоздна работал, вечером стал на молитву. Стоял и молился строго и долго, воспретив кому-либо тревожить его, но покой не снисходил к душе, и что-то, словно белые перья, реяло вокруг в воздухе, мешая внимать Господу и мыслить.

И вот, уже в исходе третьего часа непрерывных молений, явился к нему опять Иван Калита. Явился незримо и стал рядом с ним на колени перед божницею:

— Здравствуй, крестник!

— Здравствуй, крестный! — покорно отозвался Алексий.

— Стало, не может быть безгрешной мирской власти, крестник? — вопросил Иван.— И, стало быть, прав Христос, возгласивший: «Царство мое не от мира сего»? А мир сей,— продолжал Иван Калита,— игралище Сатаны, и люди токмо выдумывают себе оправдания мысленные, но живут по похоти своей, и побеждает тот, кто сильнее и кто хочет больше, аки и прочий зверь!

— Ежели так,— трудно возразил Алексий,— зачем тогда существуют честь, совесть, правда, понятия воздаяния и греха? Зачем даны нам заветы Господней любви?

— Но ты сам все это и разрушил, крестник! — живо перебил Иван.— Ты сам преступил клятву свою! Скажешь, ради счастья грядущих поколений? А ведаешь ты, в чем оно состоит и чего захотят и возжаждут грядущие за тобою?

— Единой власти, охраняющей смердов, их добро и зажиток и мирный труд...— начал было Алексий.

— Признайся,— перебил Иван,— что не ради смердов грядущих ты деешь все это, а потому, что ты таков и не возмог бы иначе, как и я иначе не мог! Я хотел власти, да, и не лукавил пред Господом! И живем мы отпущенный нам срок, постоянно творя усладу этому смертному телу своему, этой плоти. А смердам тем несносны усилия твои, лишающие их крова, зажитка и жизни, и лепше им было бы жить, не думая ни о чем наперед, яко птицы небесные по слову Христа! Ибо там, куда мы все уходим в свой черед, там все иное, там нет плоти и нету страстей, и даже памяти нет!

— Но тогда — кто ты?!

— Я, быть может, твоя совесть! Или же память твоя смертная. Когда же ты сбросишь эту ветшалую плоть, то и память плоти с нею вместе останет на земле.

— Ничто, Господом созданное превечною волей и из вечности, не может исчезнуть без следа! Как и душа человеческая! — сурово отверг Алексий.

— Ошибаешься! Ох, как ты ошибаешься, Алексий! — зудел тоненький голос над ухом.— Созданное — конечно, ибо оно — созданное. Превечно токмо несозданное, нетварное. Все же тварное подвержено гибели! И ты, говоря о бессмертии души, хочешь токмо собственного бессмертия, хочешь избежать гибели этого

твоего бренного и греховного естества, этой ежели не плоти самой, то памяти плоти! А готов ты признать Господа и поклониться величию его, ежели он не сохранит твое смертное «я», но раздробит и разрушит? Не скажешь ты тогда: «Ежели нет бессмертия душе моей, то зачем мне Господь? Тогда и его нет!»

— Без Господа человек зверообразен суть!

— Но ты сам доказал, что человек зверообразен всегда! По твоей воле спасителя твоего сожрали волки, а ты жив и злоумышляешь далее! И мнишь себя князем земным! И не потому создаешь единую власть и прямое наследование власти, что это надобно Дмитрию или детям его, а потому, что это надобно тебе, тебе самому! Ибо ты митрополит «всея Руси» и хочешь создать власть княжую по образу и подобию власти, сущей в церкви Христовой! И в том именно и чрез то сохранить нетленным себя на земле! Постой! Ты хочешь возразить мне, что ежели ты грешен, то жертвуешь душою за други своя, а есть рядом с тобою и праведник — твой Сергий, игумен радонежский. Ты будешь грешить, а он — отмаливать, обеляя и себя и тебя. Как и я хотел, дабы ты, Алексий, отмаливал грехи мои! А теперь что получилось на деле? Ты принял грех мой и стал грешнее во сто крат, ибо нарушил слово, данное духовным главою Руси! Ты нарушил не лишь слово, но и нарушил саму идею духовной власти! Ты ниспроверг своими устами Святую Русь и мнишь Сергия молитвенником себе?

Ладно, пусть ты мыслил о грядущих веках, о людях иных, но что ты, смертный, дал тем, кто погинул в снегах, кто умер от ран и заеден хищным зверьем? Ты погубил малых сих ради тех, грядущих, но уведают ли и они хоть о том? Поклонят тебе или изрекут хулы и скажут, что вотще трудился есть, гордынею обуян, и прочая многая... Изглаголаху неподобь памяти твоея и хулению предадут духовное твое!

— Христос вручил нам свободу воли! — глухо ответил Алексий.

— А ты веришь, что он, а не диавол?

— Великий Палама рек: лицезрение света фаворского знаменует истинность существа Божия!

— Свет? — возразил Калита.— Или образ света в уме своем? Уверен ли ты, что Варлаам не прав, а прав Григорий Палама? Да, он канонизирован, он признан

святым! Ты еще не знаешь сего, но послание в пути, и скоро ты уведаешь о сем! Но свершенное свершено все равно не Богом, а людьми, и по их людской волевой похоти, и токмо потому, что власть предержащая, земная не возмогла восстать противу! Мыслишь, что ты спас Родину? А уверен ты, что без воли моей и твоей, без воли государей московских, погубивших Тверь, Русь погибла бы? Что тверские князья не содеяли бы лучшее и крепчайшее нашего с тобою и Русь воссияла бы в веках ярчайшим светом?

— Я мню... Орда... Литва и латины...— начал было митрополит.

— Ох, Алексий! Ответь мне теперь токмо одно: в чем есть истина? Когда ты был в монастыре и удален от мира, ты был непорочен и свят. Быть может, токмо в бегстве от мира, в полном отвержении всего земного и есть истина? Быть может, прав был токмо Христос, а все, кто привержены мирскому,— что бы ни говорил и ни писал твой Палама,— уже грешны?

И ежели принимать мирское, то надобно разрешить всем всё и принимать кишение твари должным, пока она не уничтожит самое себя, и смерть — должною, должным воздаянием твари! И не судить о Божьем предначертании, ибо оно неведомо нам и не будет ведомо никогда. Тем паче, что возможно и такое, что Божье произволение как раз и предначертало людям их грешный и временный путь... И тогда грешнее всего тот, который бежит этого пути, спасается в лесах, умерщвляет плоть, отказываясь от продолжения рода, в коем токмо и положил Господь бессмертие племени человеческого?

— Крестный, это ты или дьявол говорит со мною? Тогда — изыде, отметниче!

— Крестник! Вот я стою на молитве рядом с тобою! Видишь, чуешь меня? Разве враг рода человеческого станет молиться честному кресту? Ты опять впадаешь в грех неверия и гордыни, крестник! И потом, очень просто отвергнуть сказанное, повторив: «это дьявол», или «этого нет», или «об этом не сказано в мудрых книгах», или по любой другой причине, измышленной для себя людьми... Но ты вникни в сказанное! Возрази, ежели способен на то, ибо по воле твоей нынче погибли тысячи и впредь погибнут, ибо ты не престанешь творить волю свою! Не престанешь, крестник? — переспросил Калита, заглядывая в лицо Алек-

сию.— Не престанешь?! — повторил он настойчиво, и холодная испарина выступила на Алексиевом челе.

— Не престану, да! — с трудом разомкнувши уста, отмолвил он.

— Так ответь мне теперь, что это: твое произволение или замысел Господа?

— Наша свободная воля! — с трудом ответил Алексий.

— Стало быть, Господь не всесилен?

— Господь всесилен, но сознательно ограничил себя, ибо иначе ни к чему была бы дана человеку власть разумения и понимание причин и следствий!

— Так, так! Значит, всё едино, есть Бог или же его нету вовсе! И как люди понимают их — эти «причины» и «следствия»? Или же бесконечно выдумывают всякий раз по-иному, на потребу себе?

И опять тихонький мерзкий смешок раздался над ухом Алексия.

— Ты не крестный мой, ты дьявол! Или упырь! — убежденно сказал Алексий, крестя пустоту.

— Да, я не крестный твой,— ответила пустота,— но я крестный всякого, рожденного во гресех, и, значит, всякого, рожденного на земле!

Голос смерк, и повеяло погребной сыростью.

— Повиждь и помоги, Господи! — сказал Алексий, опоминаясь.— Помоги, ибо я слаб и не в силах человеческих без тебя, Господи, одолеть нечистого!.. Уходи, крестный! — сказал он в пространство.— И не надо тебе приходить больше! Аз уже старее тебя и сам ведаю, что творю. И не говори, что я взял твой грех на рамена своя. Грех этот — мой. Так, Господи! И — «избави ны от лукавого!».

— Да, крестный! — вновь произнес он вслух.—Всё так! Но по-прежнему повторяю: нет жизни вне Господа! Да, я слаб, нетерпелив, лукав и жалок, и гордынею обуян. Но по-прежнему повторю: нет жизни вне Господа! Да, и всему сущему, всякой плоти живой! А без тебя — нет надежды. И тогда мы все — гробы повапленные, и жизнь наша не надобна ничему на земле, ибо в нас — разрушение и зло!

Он сказал это, веря и не веря себе, и, сожидая горняго знака о том, что он и ныне прощен, склонился долу.

В дверь осторожно заглянули. Владыку ждали важные грамоты, только что прибыло послание из Царе-

града, но Алексий был недвижим и распростерт пред иконами. И служка, убоявшись прервать молитвенный покой владыки, закрыл двери.

ЭПИЛОГ

Прегрешение верного наказуется более тяжко, чем деяние грешника. Ибо с познанием и властью возрастает и вина за грех.

За клятвопреступление владыки ответила вся земля.

Увы! Наши замыслы редко сбываются, а еще чаще производят не те следствия, коих мы ждем, ибо не волен ум человеческий предусмотреть вмешательство всех воль и результаты всех действий, из коих слагается грядущее.

Объединение Владимирской земли, столь надобное нации, не ускорилось, а задержалось, и Русь обрела нового врага, пострашнее Орды.

Отодвигаемая волею Симеона Гордого в предбудущие веки, неизбежная в шествии времен, но зело тяжкая для юной, неоперившейся Москвы, наступила пора ратного спора с Великой Литвою.

Перевернулась еще одна страница в книге судеб, начался новый период времени, и тяжесть его пала опять на плечи Алексия.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА 1

Наталья потому не могла оставить мужеву деревню и переехать к себе в Островое, что, никому не признаваясь в том, все еще верила, что Никита, быть может, жив. Ну, тяжко ранен, изувечен даже, уведен в полон, ну, без руки, без ноги ли... Убогий воротит сюда на костыле, а она?

Нового наместника все не присылали, а меж тем подходила весна, надо было собирать владычный корм, надо было готовить разоренные деревни к новой страде, добывать коней, упряжь, ладить сохи и бороны, везти откуда-то недостающее семенное зерно. И единожды Наталья, крепко замотав голову в серый пуховый плат, посадя сына на коня и прихватив с собою старосту и двоих мужиков, отправилась объезжать мужевы деревни.

На дорогах стоял стон. Жалкие нищенки в лохмотьях канючили: «Хлеба!» Все сущее взывало к милосердию, и ей было стыдно себя самой.

Трясясь на телеге, Наталья с сомнением оглядывала свое «воинство»: смурых крестьян, по-мужицки, неуклюже, сидевших верхами, мрачного старосту, что правил лошадью, поминутно, без нужды, дергая ременные поводья и понукивая Карька, который бежал резво, иногда лишь, заботно навастривая уши, полуоглядывал на возницу, не понимая своей вины.

Ваня вскоре умчал наперед и теперь сожидал своих, стоя на бугре и нарочно горяча коня, готовый вновь пуститься вскок. Ему — развлечение, ныне матка ни в чем не зазрит, не остановит, не до того ей!

Дома за мужика оставлен Услюмов отрок, Лутоня,

и Иван успел уже погордиться перед двоюродным братом, что взяли с собою его одного.

«Как-то совладают с хозяйством?» — думает Наталья, вспоминая построжевшее лицо дочери и растерянное — девки-сироты, взятой недавно со стороны. На них троих оставлены дом и скотина, а лихого отчаянного люду по дорогам нынче не считано! Впрочем, свои мужики, со деревни, обещали приглядеть...

По мере того как тянулись промороженные кусты по сторонам дороги, хрустел снег под копытами и открывались с увалов лесистые розовые зимние дали в сиреневых дымах далеких деревень, заботы домашние отходили посторонь и близило истомною тревогой неслыханное дело, за которое она взялась, ни у кого не спрося. Помнилось, как щурил безразлично глаза Никита, отъезжая за «полюдьем»,— этим древним словом любил он называть сбор даней и владычных кормов,— как иногда взвешивал в руке саблю, то кидая ее вновь на постелю, но небрежно перекидывая перевязь через плечо, и значило это, чаще всего, что ладо ее милый правит путь в Раменское, куда и ей нынче дорога нужная, ибо оттоле поднесь ни вести, ни навести, словно вымерли все, и ни куля ржи, ни коробья овса не вывезено доселе.

(Со своими мужиками Наталья сговорила так: зерном, благо вовремя зарыли его в землю, разочлись сполна, а заместо порушенной скотины — не бить же останних, чудом сохраненных коров! — мужики порешили заполевать несколько вепрей, да и пару лосей свалить в Горелом бору, где и нынче всякого зверя не считано. Тем и разочлись с владыкой за мясной корм.)

Зябли ноги, холод заползал за шиворот. Наталья куталась и куталась в Никитин тулуп, тот самый, в котором хоронилась с детьми в лесу, неистребимо пахнущий дымом и гарью, и все не могла согреться. И было страшно, и, чтобы не дать страху воли над собой, она все вспоминала и вспоминала Никиту, пока не замеченные самою слезы не обморозили ресницы и стали залеплять глаза. Впрочем, в первой же деревеньке, в первой избе, Наталья позабыла про страх.

В скудном огоньке светца, в худо вытопленной горнице с земляным, присыпанным соломою полом грудились вперемешку скотина и дети. Теленок, стоя

посреди горницы, облизывал шершавым языком девчушку лет трех, а та отмахивалась и скулила. В полутьме сновали бабы, вылез потерянный, со смятым, в копоти, лицом и лохматою бородою мужик. Крепко пахло мочой, пустыми щами, заношенным платьем, потом и грязью давно не мытых тел. (Бани и половина хором, как выяснилось, выгорели, и в горнице сейчас пережидало зиму разом восемь семей погорельцев.)

На лавке, в ряд, сидели три нищенки в худой дорожной сряде, и в их обтянутых скулах, в голодном мерцании глаз, разом устремившихся на боярыню, прочлось, паче молви, невысказанное: «Хлеба!» — так что Наталья, едва не забыв, зачем прибыла сюда и с какою надобностью, уже было открыла рот приказать вынести голодным из саней береженый хлебный каравай.

— За кормами мы! — спас Наталью, сурово отмолвив, староста.

— Никитиха? — вопросил мужик-хозяин, переводя взор со старосты, знакомого ему, на госпожу.

Староста кивнул и первый уселся на лавку. Наталья тут только опамятовала и тяжело опустилась на лавку тоже, скинув платок на плеча. Ваня забежал, хлопнув набухшею дверью, разгоряченный скачкою, розовый с холоду, разбойно, знакомыми до беды Никитиными глазами любопытно озирая избу.

Собрали мужиков. Начался трудный, нерадостный торг, при котором Наталья, впервые познав меру мужевых трудов волостелевых, мгновеньями умолкала и прикрывала вежды, едва справляясь с мукою и стыдом (не с них требовать, им давать впору!). В конце концов сошлись на половинном оброке (довезти недостающее мужики обещали с новины), и староста — когда уже вновь взгромоздились на розвальни и в сереющих сумерках зимнего вечера погнали дальше — стал ругательски ругать давешних мужиков (а с ними, разумелось, и Наталью), у которых хлеб спрятан и скот уцелел, а что хоромы пожжены, дак лесу навозить да к весне поставить — не велик труд, и что ежели госпожа будет так-то мирволить кажному, дак и не стоило б с тем и соваться по деревням, сидели б дома да ждали навести и какого ни есть данщика с Москвы...

До Владычных Двориков добрались глубокой но-

чью. Наталья что-то хлебала, тыкалась в полутемной, смрадной, набитой народом и скотиною избе, с облегчающим стоном ткнулась наконец в сноп соломы, закинутый мерзлою попоною, с головным уже кружением натягивая на себя дорожный тулуп, и снова напомнилось бегство, то, давешнее, роды в лесу под елью, и слезы, неловкие, бабьи, увлажнили глаза... Едва сдержалась, чтобы не всхлипнуть, и, уже когда, чуя ломоту во всем теле, вытянулась, и начала согреваться, и в густой храп и стоны переполненной клети вплелось тоненькое посапыванье Ванюшки, поняла вдруг, что не уснет; от устали, верно, сон не шел, лежала, отдыхая телом, а все мрело, кружилось то, давешнее, тревожное, ночное, и мертвые дети вставали перед очами, и тот, маленький, так и не окрещенный, что умер безымянным, но словно вновь теперь призрачно и бессильно трепал, чмокая, полузамерзший, ее грудь, и Федя приходил, сгоревший, пока она валялась в бреду; и Наталья плакала молча, вздрагивая плечами, и молила, и каяла, повторяя ему, Никите, призрачному, неживому: «Не виновата я! Не сумела, не смогла...» А детские трупики реяли перед глазами — беззащитные, немые, горькие...

За стеною что-то возилось, топотало, стукало, кто-то сторожко вылезал в дверь, и все было мимо сознания, пока саму не потянуло встать за нуждою. Пробравшись меж спящих тел, вылезла, разом издрогнув, в зимнюю серо-сизую тьму и, глядя на недальнюю смутную зубчатую бахрому леса, пошла, проваливаясь и оступаясь, на зады.

Она еще постояла, еще обтерла руки и лицо снегом, и вдруг задавленный мык и хруст снега под многими копытами заставил ее насторожить слух. Упираясь рукою в намороженные бревна сельника, Наталья обогнула клеть, и прежде по теплому скотинному духу сообразив, потом уже учуяла в темноте, что гонят, отай, стадо. И то было не враз понять, почему в ночь, в морозную тьму, от дому куда-то? А когда поняла, ринула впереймы, не чуя снега, что набился разом в чуни. Резкою горечью обиды за него, покойного, охватило всю:

— Куда?! Стой!

Рогатая тяжелая морда быка качалась прямь ее груди. Наталья хлестнула по широкой морде рукавом, и бык, не успев боднуть, отпрыгнул в сторону. Кто-то

вполгласа произнес неподобное, кто-то перекрестил кнутом скотьи спины...

— Стой! Кому реку?! — кричала Наталья, обеспамятев. Затрещал факел, и косматый, поднеся сыплющий искры огонь к самому ее носу, узрев огромные, неумолимые в этот миг глаза, выдохнул:

— Боярыня...

— Никитиха? — вопросили.

— Она! — отмолвил голос из темноты.

— Гони назад! — высоко, с провизгом, выкликнула Наталья, не узнавши своего голоса. Стадо стеснилось по-за заворами. Обочь кто-то, нахлестывая, рысью угонял трех, не то четырех коров в близкие кусты. Но уже остоялись, уже затоптались на месте останние, неуверенностью повеяло, и это спасло Наталью. Хлестни который сильнее — тот же бык стоптал бы под ноги себе, а там — ищи виноватого!

Вышел Натальин староста. Спросонь клацнул зубами, лениво, но крепко дал в ухо косматому мужику, бросил слово-два. Скотину завернули. Пересчитывая, загоняли в хлева. Потревоженная, сбитая с толку животина совалась по сторонам, налезая друг на друга и застревая в воротах.

В избе, куда зашли после, стоял ор и мат, уже никто, кроме детей, не спал, причитали жонки. Натальин староста, большой, в свете сальника, встал, расставя ноги, громко произнес слова мужицких укоризн, добавил:

— А Сысойку до утра не воротишь, и с коровами, сам за ево корма выдашь, мать...

С бранью, ором, стихающею руганью, под плач пробудившихся детей вновь повалились спать. Двое, узрела, перепоясавшись, вышли в ночь. Поняла — ворочать беглеца с коровами.

На заре, в серых потемнях зимнего утра, почти безо споров разочли, что и сколько тут давать на владычень корм, и уже не сбавляли, не мирволили мужикам Наталья со старостою, обретшим голос и власть, обязав и хлеб и скотину додать полностью.

Уже когда отъехали и когда околица полувыжженной деревни скрылась из глаз, староста сказал, кивая через плечо и сплевывая:

— С тех-то, пережних, жаль, не взяли! Хлеб у их уцелел, есть у их хлебушко-то!

— Возьмем! — холодно и жестоко отозвалась Наталья, кутая руки в долгие курчавые рукава, и староста, кивнув чему-то своему, веселее подогнал коня.

Так они посетили еще пять припутных деревень, всюду строжа, уговаривая и вымогая, и Никифор (так звали старосту) совсем уже обдержался, войдя во вкус власти, сам уже покрикивал, сам баял про владычную нужу и великого князя Дмитрия. Впрочем, когда подъезжали к Раменскому, призадумался и он.

Раменские мужики были век нравны и поперечны, самому Никите, бывало, подчас не вдруг совладать с има. К Раменскому подъезжали поэтому засветло, бережась всякой пакости, и на подъезде еще услышали стук топора.

Тут тоже было выжжено литвою, но мужики, видать, по первой пороше навозили лесу и сейчас строились. Двое хором стояли подведенные под крышу, мохнатые от курчавого заиндевевшего моха, что висел из пазов повдоль свежеокоренных смолистых бревен. Третью клеть рубили теперь. И когда Натальины сани приблизили, с жердевых подмостей соскочил похожий на медведя могутный мужик и пошел встречь, не выпуская из рук топора. Натальин староста приветствовал его, заметно сбавив спеси.

— Чево нать? — хмуро отозвался тот. Впрочем, тяжко озрев боярыню в санях и помедлив, передал топор подбежавшему подручному.

Натальины мужики, как подошел раменский древоделя, разом охмурели и смолкли, а тот, слегка покачиваясь, шевеля крыльями широкого разлатого носа, словно бы нюхал воздух и, в заранышенной холодной ярости подрагивая тугими мускулами щек, обратил взор прямо к Наталье, глядя — не глядя на нее, и вдруг заорал, закидывая голову и белея от ярости взглядом:

— За данями, поди, за кормом?! Оголодали! Мать вашу! Да за сей год пущай владыко сам-ко нам заплотит! Хоромы пожжены, люди угнаны, ср... воеводы не могли землю оборонить, отсиделись сами за камянной стеной! Непошто было, непошто было, мать вашу, тогды и князь Михайлу имать! Оба... и с князем своим! Каку пакость сотворить, дак то твой владыко ср... напереди! А как платить за разбиты горшки, дак то мы, смерды! За што вас кормим? Мать-перемать! Што-

бы на Москве отсиживались? Порты на полатях сушили опосле литовского быванья? За то?! Да за таку службу вота! В рот! Бога благодари, што мы вси теперя ко князю Михайле не убегли!

Вокруг саней огустело народом. Уже кто-то начинал пятить коня, уже и ослоп явился в руке буйного мужика, услужливо поданный подручным, и уже и вовсе сник староста, хоронясь за спиною боярыни.

Холодея нутром, с расширенным, гневно отемнелым взором, Наталья соступила в снег, пошла грудью, волоча по земи долгие полы распахнутого тулупа. («Убьет!» — где-то промельком колыхнулось в сердце.) Но тут, заступая путь матери, вырвался наперед, грудью коня отшвыривая мужиков, Иван, Ванюшка. Высоким мальчишеским голосом, готовым сорваться в визг и всхлип, он заорал, и староста, спрятавшийся было от греха, устыдясь (не за спиною же отрока прятать себя!), тоже выстал встречь злому плотнику.

— Тятя, може, жив, возвернет с Литвы, дак он вам тута всем рыла своротит на сторону, а тебе первому! У-у-у, пес! — кричал Ванюшка, налетая на косматого великана. Детская рука подняла плеть, и, сметя горящий, почти исступленный взор боярыни и сумрачную решимость федоровского старосты, мужик, косолапо потоптавшись и сугорбя плечи, отшвырнул ослоп. Спорщика взяли за плечи, принялись уговаривать. Какой-то ясноглазый, с хитринкой в очах, подсказал, заходя обочь:

— Ехала бы ты, боярыня, от беды! Зол народ!

Но Наталья только отмотнула головою, словно муху отогнала, решительно пошла к ближней хоромине.

В клеть набились густо, и в жарком колыхании соединенного дыхания многих гневных людей опять повеяло давешнею непогашенною бедою. Но уже приняли, уже пустили в хоромы, и Наталья, чуя в себе, словно бы летит по воздуху и то ли сорвется в раздрызг, то ли воспарит, но уже и останова не чуя, решившись на все самое страшное, до конца, рассеянно то тиская, то отпихивая Ванюшкины плечи, когда отрок вновь и вновь лез молодым соколком в варную, злую мужицкую молвь, начала требовать владычных даней. Иначе не стоять земле, а их, дурней, угонют в Литву, а жонок попродадут кафинским нехристям.

— Ну, ето так, ето конешно! Спиря со зла изрек! Дак у его, вишь, литвины сына увели!

— У меня двое сынов померло! — перебила, уродуя губы, Наталья.— И ладо мой, невесть ищо, придет ли... Дак без того, без обороны, и вовсе загибнем!

— Ваши ти умны головы! — вновь и вновь прошали ее, напирая, мужики.— Пошто было Михайлу имать?! Ему ведь даже не князь, а сам владыко опас давал!

— А уж коли б порешили — да и тово! С концами! — выкрикнул из толпы тот, молодой. Но старики враз закачали головами:

— Куды! Грех! Слово ить дадено! Владыкою! На кресте, поди, присягал, с иконой, тово!

— Ладно! — молвил другой, высокий, рыжебородый, что недавно лишь вступил в избу и теперь стоял, почти касаясь головою черных потолочин наката.— Отпустили, грех произошел, утек Михайло-князь в Литву, думать-то надо было головой али коим иным местом? Покойный Семен Иваныч, царство ему небесное, Ольгирда тово век умел в страсе держать! Ходили мы с им и к литовскому рубежу! Русской силы было — што черна ворона нагнано! До мора до ентово ищо! А нонешний князь? Али владыко? Тот-то, Митрий, положим, молод, а уж владыке-то сором! Сам никак в литовском нятьи сидел!

— Ну и воеводы с има! — подхватили, загомонив, мужики.

— И Василь Василич! — вновь выкрикнул молодой.

— Стратилат!

— В Бога-душу-мать!

— Отсиделись за каменной стеной, а нам тут...

— Взялси за гуж, не стони, што не дюж!

Едва утишила на сей раз Наталья разбушевавшееся самозваное мужицкое вече.

Уже когда сказано, и не по разу, было все, что скопилось, накипело в душе, уже когда хозяйка, сметя наконец, что резни не будет, начала подавать на стол отвычную для Натальи еду — пряженцы, саломат, варенец, разложила, скупо нарезав, куски хлеба, когда разлила в большие глиняные мисы жирно дымящие щи и отмякшие, отошедшие от страха Натальины спутники с облегченною благодарностью, едва перекрестя лбы, взялись за ложки, беседа продолжалась,

хоть и все о том же, но уже без угроз и обещаний откачнуть к Твери.

— Матушка боярыня, самим забедно! Княжесьво большое, хорошее. И при князь Иване Данилыче, и при Семене Иваныче никакой пакости не видели от Литвы! Що тако?!

Наталья объясняла вновь и вновь, сама в душе плохо веря и не понимая, как могли столь обмишулиться воеводы, как и почему сам Василь Василич не вызнал загодя о литовской грозе, почто владыка Алексий не сумел догадать, раз уж действительно выпустили из рук Михайлу Лексаныча... Здешние мужики глядели в корень, и объяснить им что-то было очень трудно. Помогло, и то не враз и не вдруг, что у самой Натальи совершилась беда еще горшая, что и она умирала и хоронилась в лесной чаще, что и ее хозяин, заступа и оборона, погиб, пропал ли, в полон ли уведен при той литовской беде.

К вечеру мужики, нехотя и не враз, начали, покряхтывая, собирать семенное зерно. Хлеб, впрочем, у раменских был. Первые, загодя, сумели зарыть в потайные ямы рожь и лопоть и отогнать скот в непроходную дебрь, огородясь засеками, куда литва, и ведая то, все едино не добралась бы. И лишь некоторые, грехом воротясь за мелкою надобью в родные избы, угодили в лапы набежавшей с наворопа литвы. Даже и сено тут, частью, не было пожжено, и потому, пожалясь и поспорив досыти, раменские владычень корм обещали собрать полностью.

Этою ночью, лежа на лавке в чужой избе, Наталья тихо приходила в отчаянье, впервые понимая, от скольких бед и трудов оберегал ее Никита, и с молчаливыми слезами каяла, что когда-то недовольничала про себя, встречая его злобного, хмурого, большею частью после поездок к тем же раменским мужикам, и теперь с глухою болью поминала, как входил, как шваркал и швырял сряду, кидал плеть в угол, и готова была — вошел бы тот, прежний, грязный и гневный,— руки ему целовать, ноги омыть слезами... «Ники-и-и-тушка!» — кабы одна была в избе, в голос завыла бы в тоске последнего и вековечного бабьего одиночества своего.

Мысли шли, засыпая, прерывистою неровною чередой, и, уже успокаиваясь, Наталья вновь, вспомнив давешний Ванюшкин порыв, горячо и благодарно запла-

кала. Все же у нее остался сын, его сын, вот этот! И ради него, ради будущего Никиты Федорова, она станет вновь и опять собирать дани, спорить с мужиками, пробираться сквозь тьму и холод из одной ограбленной деревни в другую, спать по случайным починкам, в дымном простудном тепле убогих изб, собирать рожь, говядину, портна и шерсть, создавая основание той пирамиды власти, на вершине которой бояре, недосягаемый днесь Василь Василич Вельяминов, князь и выше всех митрополит Алексий, который, конечно же, не уступил и не уступит ни тверичам, ни Ольгерду и коему для дальних его замыслов надобно собираемое ею тут, с трудами и насилием, обилие... «Никиту-шка!» — позвала она шепотом, почти про себя, проваливаясь наконец в желанный и чаемый сон.

Изба храпела разнообразными заливистыми свистами, ворочались телята в запечье. Тут, как и в иных порушенных деревнях, в каждую клеть набивалось по три-четыре семьи. С шорохом и вознею бегали и суетились тараканы, доедая случайные остатки человечьей трапезы, пахло дымом и смрадом нечистых человечьих тел, кусали блохи, и было уже все равно. Подумалось лениво, что, воротясь, надо будет тотчас выжарить вшей из платья. Сон навалил наконец, чумной и тяжелый, и снова на нее шел медведем мужик с ослопом, страшновато посверкивая белыми от ярости глазами, вновь гнали скот и, распахиваясь в промороженную бездонную чернь ночи, текло, медленно поворачиваясь над головою, ночное небо, полное голубых сверкающих звезд.

Наверно, ежели бы Наталья знала наперед, как это все будет бесконечно трудно: доставать лошадей, сани, упряжь, строжить и уговаривать за разом раз (и не вздынешь саблю, как, верно, не раз деял Никита,— да и не перед этими жалкими глазами, пепелищами деревень, трясущимися бабами с дитями во вшах и в жару, не перед ними саблю здымать!), верно, ежели б знала зараз, заранее,— отступилась, ушла, уехала туда, в свое Островое, говорят, непорушенное, уцелевшее, вести о чем рачением Станяты-Леонтия доползли до ихнего разоренного гнезда. Туда бы, туда бы и уехала, бросив все, есть говядину и свой, свежеиспеченный, вкусный что пряник хлеб, а не сухари и волокнистую старую репу... Кабы знала-ведала всю немыслимую трудноту взваленного на себя подвига! Но уже взявшись и по-

миная Никиту, не могла отступить. И бабьим упорством, отреченною волей своею перемогла, сумела, хоть и смертно устав за те три недели, что объезжала Никитину волостку, в которые и распоряжала, и умаливала, и лечила скот и детей, и оделяла лопотью, и ободряла, и срамила, и, паче всего, собирала, выбивала, вымучивала из крестьян владычный корм.

Уже воротясь наконец, обмороженные, обветренные, они сидели отвычно в родном терему, и Услюмов отрок с дочерью и дворовою девкою, перемывшие избу, отскоблившие добела стены и лавки, опрятно подавали еду, во все глаза взирая то на мать, то на повзрослевшего разом брата, то на старосту, что тоже сидел на равных рядом с госпожою за, почитай, праздничным столом. Когда сидели и ели, и говорили, воспоминая, и староста похвалил Ванюшкину дерзость,— многое, от чего ужас был, теперь поминалось со смехом, и Наталья отмякала душой,— Ваня вдруг, уронив ложку, круто вышел, выбежал из-за стола. Наталья глянула недоуменно: вроде бы похвалили сына, напомня, как кинулся в Раменском вперейма? Любава, получивши Натальин разрешающий полувзгляд, побежала за Ванюшкою.

— Ваня, Вань! — долго окликала она его, тыкаясь по клетям, и уже в конском хлеву обрела брата. Он стоял, прислонясь к изгороже в пустом стойле отцова Гнедка и глухо рыдал, уткнувшись лицом в холодную конскую упряжь.

Оробев, Любава подошла к нему, тронула ладошкою за плечо.

— Ты что, Вань?

— Я... Я...— Он давился слезами, наконец выговорил сурово: — Я в Раменском мужикам баял: тятя придет, пристрожит их! А он не придет, никогда больше, никогда!

— Може...— начала сестра, еще не понимая до конца.

— Нет! — Он яростно покрутил головой, поднял залитое слезами лицо, выдохнул со взрослым, неисходным отчаянием: — Тятя бы в плену не осталси! Он бы украл коня и прискакал! Вот! Я знаю, а мамке не говорю... И ты молчи! — повелел он сестре, растерянно кивнувшей головою.

Прошлою ночью, когда только вернулись и, выпарив-

шись в бане, повалились спать, мать вымолвила Любаве, оглаживая и прижимая к себе худенькое детское тельце:

— Батя убит наш, на борони убит! Ванюше не молви того, он чает, ждет... Да и я жду, а только... Был бы жив, весть подал какую-нибудь, не простой ратный все же, мне от Вельяминовых был бы непременный посыл.

— Може, може, мамо...

— Нет, нет! — замотала головой Наталья.— Спи, доченька! Спи! Ванюше не скажи!

И вот теперь то же самое говорил ей брат и тоже велел молчать, не баять матке. Батя был далекий, иногда — страшный, почти чужой. Когда он приезжал из путей, она боялась отца, медлила подходить. Ванята давно висел на шее у родителя, а она, все еще робея, пугливо выглядывала из запечья. Но он был. Всегда был. Большой, сильный. Сильнее всех. И все его слушались. И теперь бати нету. И матка, и брат — оба бают в одно. И Любава тоже заплакала. Впервые, кажется, осознав наконец всю неисходную глубину потери.

Плачущих, их обоих разыскала мать и молча, ни о чем не спрашивая, расцеловавши сына и дочь, повела в дом, где уже оттрапезовали и теперь велся толк: где достать лошадей и как успеть до распуты вывезти все собранное на Москву?

ГЛАВА 2

Наверно, не всякий мужик решился бы на то, на что решилась она, баба. В числе разномастных одроз, запряженных кто в ременную, а кто и в веревочную сбрую, было две пары волов, был «смиренной», по выражению крестьян, полуторагодовалый белый бык и несколько яловых коров. Они пугливо дергали упряжь, недоуменно поводя рогатыми головами и жалостно вытягивая шеи из самодельных скотинных хомутов. Санки, дровни, волокуши и хлеб, хлеб, трудный, оплаченный слезами и едва ли не кровью, собранный с натугою и «насилием великим», но собранный-таки ею, Натальей, не ради дела и не ради земли, и даже не Господа ради,— ради памяти погинувшего лады своего, о коем нет-нет да и вскипала где-то в тайная тайных души

сумасшедшая надежда: а вдруг?! Сына, Ванюшу, и племянника, Лутоню, обоих на этот раз взяла с собой. Для догляду и так — теплилась надежда на ласку, на участие к ней, вдове, гордой родни вельяминовской. Лутоне обещала после Москвы навестить его покинутое на соседа жило, себе самой — поездку в Островое, наследную деревню свою, о которой о сю пору не было у нее ни вести, ни навести.

И вот разномастный, диковинный обоз тронулся в путь. Коровы и быки брели шагом. Лошади, одна другой плоше, тоже едва тянули, поминутно останавливаясь, нюхая весенний, с теплинкой уже, с горьким запахом тальника воздух. Над полями реяла, словно незримый пар, сияющая солнечная истома. Острова леса истаивали в молочной голубизне, пахло подтаявшим навозом, землею, могильною сырью, и Наталье хотелось, все бросив, так вот, как та старуха с котомкою и батогом, побрести куда-то ко святым местам, ночуя то в дымной избе, то под скирдою в поле и отрекаясь от себя, от плоти своей, от памяти сердца, ото всего, что долило и жгло, выжимая слезы из глаз, с одною лишь этою горькою радостью последнего отречения.

Сын примолк, верно чуя материну душевную трудноту, нерешительно протянув ладошку, стер бережно мелкие слезинки со щеки матери.

— Батя вернется! — молвил упрямо и безнадежно, лишь бы успокоить ее, и от неловкой ласки сына стало еще горше, еще печальнее, и совсем уже похоронно звучал над дорогою резкий птичий грай, голос новой, чуждой весны.

Возчики брели обочь саней, жуя припасенный из дому хлеб. Наталья, подумав, тоже достала краюху, отрезала по ломтю Ивану с Лутоней. Самой есть не хотелось. От солнца было жарко. Наталья распахнула тулуп, приспустила плат на плечи, солнечным просверком заблистали узоры парчового повойника. Москвы ради пришлось приодеться. Достала, почитай, лучшее из сбереженной укладки. Так и сидела, в золоте и жемчугах, с глазами, обведенными синевою и тенью, отрешенно огромными бездонными очами, почти иконописными в этот миг, вбирая весеннее небо и дальние заставы лесов за лесами, холмов за холмами — темно-зеленых, синих, голубых...

Разбрасывая копытами мокрый снег, встречу обозу

прошла на рысях верхоконная княжеская дружина. Сытые, ражие ратники весело хохотали, оглядывая запряженных в сани одров и рогатых пеструх. Белозубый охальник перстатою рукавицей почти ткнул в морду шарахнувшую вбок корову, глянул бегло и весело на жонку в дорогом повойнике, что сидела в санях с двумя подростками, и лишь едва взглянула, едва вскинула строгие очи на озорных ратников, боярчонок, поймав ее неотмирный взгляд, поперхнулся смехом, осуровел. «А ну!» — прикрикнул на своих и поскакал, вновь и опять оглянувшись на чудную жонку, верно боярыню (понял!), тронутую, как и иные многие, литовской бедой.

Заночевали в маленькой однодворной деревушке. Скотину завели в огорожу, кинули сена, напоили, сами поснидали сухомятью. Спали вповалку, все вместе, в холодной клети. Еще до зари снова тронули в путь.

Лишь на четвертый день истомно-медленного движения приблизилась Москва, отвычно показавшаяся Наталье огромным городом. Окологородье кишело людом, звенело громкою песнью топоров. Плотники возводили новые хоромы и клети взамен сгоревших на пожаре, торопясь заделать последние следы давешнего литовского нашествия.

Уже схлынули толпы беженцев, нищих и побирух, и тем жальче, тем убожистее казался ихний обоз тут, среди этого шума, гама и толчеи, среди принаряженных посадских, смердов и жонок. Будто бы и ненадобны они тут, будто бы и лишние среди гордой городской толпы, ежели забыть, что и хлеб, и мясо, и сыры, и масло, и мороженую рыбу, и корм для коней не от инуду, не от земель заморских привозят сюда и кормит город Москву деревня, та самая, ограбленная и полусожженная литвинами.

Станяты-Леонтия, найти которого она втайне надеялась, не случилось во граде. Но на владычном дворе обоз, впрочем, встретили с нескрываемой удивленною радостью. Келарь тут же захлопотал, принимая и сосчитывая кули, на Натальины повинные слова о том, что убоину за скотьей скудотою заменили дичиной, даже руками замахал:

— Ведаю, ведаю! Иные и того не доставили! Все ить разорёно!

Возчиков приняли, повели кормить на поварню. От-

давши последние наказы старосте и отказавшись от трапезы, Наталья с отроками взвалилась в сани и тронула сквозь густоту московских узких улиц к терему Протасия. Впрочем, ехать почти и не пришлось. На въезде во двор у Натальи ненароком подступило к горлу, едва сумела отмолвить настырному холопу, кто она и зачем. Мгновением подумалось: не пустят, не примут, стыд-то какой! Но нет, пустили. Протолкавшись в толпе посадских, холопов, слуг, дворовой чади, теремных прислужниц, сновавших взад-вперед, поднялась по широкой знакомой лестнице. Отроки жались к ней, окончательно оробев от многолюдства и гордой роскоши вельяминовских хором. Кто примет ее, кто приветит? — подумалось со страхом и робкой надеждой. (Шура Вельяминова, великая княгиня, могла бы и припомнить, и приветить, так та умерла.) И вдруг, на счастье, когда уже она истеряла силы душевные и замедлила шаги, почуявши себя окончательно чужою и ненужною здесь, послышалось:

— Ахти, никак Наталья Никитишна?!

Старая холопка вельяминовская узнала, бросилась к ней. И тотчас, а может, и не тотчас — да, вроде куда-то шли, кого-то еще звали — все уже замельтешило и спуталось в голове:

— Натаха! — в голос раздалось у нее над ухом, и Наталья оказалась в объятиях Тимофеихи, жены окольничего, по счастью случившейся в бываньe у деверя. И тут уже, почуя неложную ласку и участие, расплакалась на груди у великой боярыни московской навзрыд.

Их провели, усадили, накормили отвычною дорогóю едой, отроков отослали в горницы, под надзор дядьки; и часа через два, выпарившись в бане, переменив сорочку и даже похорошев, Наталья предстала пред очи супруги самого Василья Василича, Марьи Михайловны.

Предстала, и скоро с облегчением, но и с грустью (обиды не велела себе принимать в сердце) поняла, что теперь, вторично овдовев, стала она опять ближе к семье великого тысяцкого Москвы, ибо то отстояние, отдаление, в котором пребывала она, выйдя замуж за Никиту Федорова, окончилось с его смертью, и она опять стала — пусть младшая, пусть небогатая,— но не чужая, своя, и принимать ее в тереме владыки Москвы стало вновь никому не зазорно.

Марья Михайловна и отроков призвала пред очи свои, обозрела Услюмова сына бегло, а насупившегося Ванюшу пристально, вопросила о том-другом, узнавши, что уже разумеет грамоте, удоволенно покивала головой, огладила вихрастую макушку. Отпустивши отроков, кликнула мамку, долго отбирала, что поновее да поцелее из детских одежонок младшего сына, наконец подала Наталье целую стопу боярской лопоти — пусть носит, не чужой! Уселась вновь в круглое цареградское креслице, украшенное резным рыбьим зубом и разноцветною вапою, сложила руки на коленях, воздохнула.

— Поживешь у нас? — Словно бы прошедшие годы, жизнь с Никитою, были одною долгою, зело затянувшеюся причудою, и теперь ей предлагали, почти предлагали, вернуться под хлебосольный кров и доживать тут среди многочисленных приживалок, балуя госпожу разговорами, подбирая шелковые нитки для очередного «воздуха» да выслушивая рассказы о многочисленных племянниках и внуках.

Наталья отрицательно помотала головою.

— Недосуг! — Про себя не задумалась даже. Слишком далеко отошла она от жизни такой, слишком увел ее Никита в свой, обнаженный всем ветрам, невыдуманный, суровый мир, слишком близки были дымные ночлеги, глухо взъяренные мужики, грязь, и труд, и холод дорог, и терпение, дети (и трупы детей!), и тяжкий долг взрастить, воспитать их, оставить, продолжить Никитин след на земле, хотя бы в этом едином отроке! И не здесь, не среди боярской дворни, не в душном воздухе обожаний и завистей, милостей и остуд, искательств и величания друг перед другом, растить ей сына своего!

Марья Михайловна, впрочем, не огорчилась отказом Натальи, быть может, и не почуяла внутреннего молчаливого ее отпора. Спокойно отклонилась в кресле, уронив старческие пухлые руки в узлах вен на колени. Удоволенно озирала гостью. Сказывала неспешно про смерть деверя, боярина Федора Воронца. («Были заедино всегда с Васильем моим! Годы идут, а вот уже и двое их осталось у него, братьев, Юрко да Тимоха!») И опять про внуков, про старшего сына, Ивана, что ныне заменяет отца в делах и такой стал рачительный хозяин! Купцы, посад только на него и молятся! В голосе Марьи Михайловны прозвучала гордость. А На-

талья вспоминала высокого, гордого недоступною лепотою красавца, молодого Ивана Василича Вельяминова, дивясь про себя, что этот величавшийся когда-то паче князя муж стал теперь таким заботным в делах и внимательным к людям, каким его описывает мать.

— Ныне уехал к Олегу, на Рязань, за помочью! Его и затея была! — со значением добавила Марья Михайловна, утверждая в упрек кому-то, кто, верно, не принимал вельяминовских замыслов. На немой, полувзглядом выраженный вопрос Натальи Марья Михайловна выдохнула, поджав сухие губы твердого старческого рта:

— Акинфичи всё! Нейметце им! Славу нашего рода перенять хотят! — сказала, глянула, и взгляд потускнелых, окруженных морщинами глаз отвердел, стал сух и враждебен. Точно суровым холодом повеяло в горнице.

И в Наталье всколыхнулось все разом. Далекое уже и вновь ставшее близким убийство Хвоста, и Никита, молодой, ярый, перепрыгивающий через тын и кошкою лезущий на гульбище, и он же после убийства великого боярина здесь, в тереме... Как давно это было! Сколько прошло событий и горестей с той поры! Как она стояла у печки и горловым грудным голосом раненой лебеди бросала злые и горькие слова; и тайное, почитай, венчанье в домовой церкви Вельяминовой... Нет, никогда не зачеркнуть, не забыть этих тревожных и трудных лет, этого счастья, подаренного ей судьбою вместо тихой теремной жизни или монастыря! И не было бы вихрастого, лобастого ее Ванюшки, не было бы жизни самой...

Она потупилась, едва удержала слезы. Марья Михайловна молча придвинула к ней блюдо с заедками. Греческие орехи, сваренные в меду, тягучие восточные сласти в виде витых коричневых палочек вываренного виноградного сока, плетеные косицы вяленой дыни, изюм. Ничего этого не видала, не пробовала даже Наталья за все двенадцать пролетевших над головою годов! Не ступала по хитрым узорам персидских ковров, не пила мед из узкогорлого серебряного восточного сосуда, украшенного драгими каменьями и травчатою прехитрой резьбой...

По тяжелым шагам за дверью догадала, что идет «сам». Встала, вошедшему в горницу Василию Васильи-

чу поклонила, подобрав руки ко груди, в пояс. Он посопел, потоптался, шагнул, привлек ее к себе, мохнато поцеловал в лоб. Легонько подпихнул,— садись, мол! — сам свалился на лавку, налил и опружил во единый дух чашу легкого меду, рассеянно пошарил в блюде с заедками, да так и не взял ничего. Тяжелая длань с драгим перстнем (Наталья узнала камень в высокой оправе, древний, вельяминовский), забытая, осталась на столе.

За прошедшие годы Василь Василич сдал сильно. Голову обнесло сединою, еще раздался вширь, но уже не по-доброму, уже и тяжесть носимой плоти сильно означилась под рубахою и зипуном цареградского узорного шелку со звончатыми, сканой работы серебряными пуговицами. Выстал живот, нездоровою багровостью оделись щеки, очи заволокло красною паутиною старости, и тяжелый взгляд тысяцкого, еще по-прежнему твердый, стал уже не столь грозен, усталью прожитых лет веяло от него, когда он молча озирал Наталью, дивясь и ужасаясь переменам в ее иконописно-высохшем, истончавшем лице.

— Слыхал, с дитями в лесе пропадала?! — вопросил, сочувствуя. Посупился, покрутил головой.

— Никита-то! Сам ить и напросился в передовой полк! — выговорил с запоздалым раскаяньем. И тут же повторил сказанное давеча супругою: — Хошь, переселяйсе к нам! Сына в городи воспиташь!

— Прости, Василь Василич! Не смогу теперь! — тихо отмолвила она.— Не уйти мне от родимых хором!

Тысяцкий свесил голову, подумал, воздохнул. И жена, заботливо взглядывая сбоку, и Наталья, обе ждали, замирая, его слов.

— Може и так! — вымолвил-выдохнул Василь Василич.— Тут, вишь, колгота у нас! С Ольгирдова разоренья переругались вси! Под меня копают теперь — почто не устерег! Вершили все, а я един в ответе! И самого владыку в покое, вишь, не оставят!

— Снова литовская рать? — догадывая и робея, вопросила Наталья. Василий Васильич сумрачно кивнул:

— Не с Литвой, дак с Михайлой Лексанычем, а ратитьце придет! Пото и сына послал на Рязань! Без Олеговой помочи не выдюжить! Дак и за то дело корят! Ворога, вишь, призываю на Москву! — Он усмехнул невесело, и по усмешке той, по мгновенной муке лица, по отечным мешкам подглазий поняла Наталья, что не

все столь гладко и хорошо в высоких хоромах тысяцкого и что беды тут, почитай, труднее ее собственных, видимых всем и всеми понимаемых бед.

— А что государь? — вопросила, впервые задумавшись о том, что возмужавший Дмитрий ныне возможет и на такое дерзнуть, чего от него прежде не было ожидано.

— Да, вот! — тяжко полупризнал Василь Василич нонешнюю свою трудноту.— Меня не станет, не ведаю, как они с Иваном...

— Ладо! — возвысив голос, остерегла Марья Михайловна мужа от излишних признаний, и Наталья опустила взор, дабы не дать виду, что поняла семейную зазнобу вельяминовскую, возраставшую с каждым годом, ибо детское нелюбие князя Дмитрия к наследнику власти великого тысяцкого с годами возрастало все более.

— Баяли, обоз привела? — вопросил Василь Василич, уводя разговор от опасного рубежа. Наталья молча кивнула.— Куды теперь правишь?

Узнав, что она хочет посетить Островое, Василь Василич задумался на минуту, свел кустистые брови, пробормотал что-то невнятное, тяжко привстав на лавке, коснулся рукою подвешенного серебряного блюда. На трепетный звон вбежала сенная девка. Василь Василич кратко распорядил, и вскоре пред ними предстал ключник, отдал поклон, внимательно обозревши Наталью и почтительно — господина своего.

Из разговора Наталья скоро поняла с замиранием сердца, что ее Островое захвачено кем-то из великих бояринов, чуть ли не самими Акинфичами, и, дабы очистить деревню и вернуть доходы ее владелице, потребны немалые труды.

Отпустив ключника, Василий Васильич поднял на Наталью тяжелый, сверкнувший прежнею сумасшедшинкой взгляд.

— Не хозяин я стал в волости Московской! Коломенски собаки што хотят, то и творят! Нать бы тебе опосле разоренья тово, враз...— И, не дослушивая робкие Натальины возражения, махнул рукою: — Ведаю! А все едино теперь к владыке идти, к дьяку, ко князю самому...

Посетовал, покачав головою:

— Была бы Шура жива, и делов бы тут не было никоторых! А теперя, вишь, смекай: у государя в силе

коломенский поп. Митяй, печатник евонный, через Митяеву волю никому ноне не переступить! Ну, свои, коломенски, тем и пользуютце... Деревня в забросе, земля добра, кто не подберет!

Наталья, ничего подобного не предвидев, готова была расплакаться. То все и не думалось, и не тянуло, а теперь обидою стиснуло сердце: кто-то на рати живот кладет, кто-то по лесам с дитями, а тут — вдовиное добро... Как не в стыд!

Порешили на том, что Наталья съездит пока под Рузу, отвезет племянника поглядеть родимую хоромину, а Василь Василич через княжого дьяка вызнает вести погоднее. Ибо ехать ей в Островое без государевой грамоты теперь явно не имело смысла.

Хозяин Москвы тяжело поднялся с лавки, приказал:

— Отрока покажи!

Ваня потом всю жизнь вспоминал грузного осанистого боярина в дорогом зипуне, его тяжелую старческую руку с перстнем, которую его заставили поцеловать, взгляд грозных глаз откуда-то с выси — таким запомнился и таким помнился ему годы спустя последний великий тысяцкий Москвы.

Ночью, уложив детей на полосатом тюфяке, на полу, под стеганым одеялом, Наталья помолилась, задула свечу, сняла саян (отвычно было и спать раздетою на господской постели в тепле и холе богатого терема!) и, провалясь в немыслимые вельяминовские пуховики, молча заплакала. Обо всем: о погибшем муже и детях, потерянной деревне, вдовьем одиночестве своем, о том, что труды ее, не видные никому, обычные в круговерти селетошней трудноты, превышают ее слабые бабьи силы, и не к кому приклонить голову, нету сильного заступника, и сам Василь Василич, бывший некогда каменною стеною, приблизил, почитай, к пределу своему, и как одинока она, Господи, в этом трудном, в этом жестоком мире!

В слезах и уснула. Видела вновь Никиту во сне. И утром, в потемнях, слушая здоровое посапыванье детей, долго не могла встать, собрать себя, так разломило все тело давнею усталью, так разморило и обессилило ее теплом и уютом чужого житья. Все ж таки встала, умылась холодной водою, разбудила отроков.

Уже когда собрались и поснидали с молодшею челядью, вышла Марья Михайловна, милостиво расцеловала при всех, вручила гостинцы на дорогу.

Мальчики были тихи, пока выезжали из Москвы, смотрели затуманенными глазами на каменные стены Кремника, на высокие боярские терема, молчали, испуганные и укрощенные градским, не виданным доднесь велелепием.

ГЛАВА 3

Наталья кутала лицо в кудрявый мех обжитого ею Никитиного тулупа. Вспоминала, все ли наказы дала возчикам, которых отпустила сегодня утром. Сытый, отдохнувший на овсе конь весело бежал, пристяжная, тоже повеселевшая, играя, вскидывала задом, и тогда Ванята, как заправский ямщик, крутил над головою кнут, протяжно и смешно выкликал (ему самому казалось, что грозно), укрощая разрезвившуюся кобылу.

Лутоня сидел притихший. На заботные Натальины вопросы отмалчивался. По этой дороге брел он, ограбленный и голодный, чая застать дядю Никиту в живых, а теперь — что ожидает его дома? Может, вернулся старший брат? Угнали ведь, не убили! Но сердце молчало, сердце не давало веры, впереди ожидала его одна лишь могила отца.

Сани то и дело проваливали в водомоины. Солнце гигантскою мягкой рукою прижало снега, и те оседали прямо на глазах. И, поглядывая в напоенные солнцем гари и раменья, Наталья с беспокойством думала о том, что ежели так пойдет, доберутся ли они и до Острового?

Спешили, сколь мочно было. Ехали дотемна, и в потемнях, покормив коней, тотчас пускались в путь. Когда, попетлявши по проселкам, нашли едва промятую редкими санями тропу, Лутоня и вовсе примолк, застыл в немом горестном ожидании. Вот взъехали на угор, вот показалась кровля соседской избы...

Лутоня первым соскочил с саней, пробежал, увязая в протаявшем снегу, к двери своего дома, начал, бестолково растаптывая снег, соваться туда и сюда, от дверей избы к дверям холодной клети, от нее — ко мшанику.

Пробив конем снег, подошли к могиле Услюма. Наталья рассыпала птицам прибереженную кутью, трижды поклонилась могиле деверя. Лутоня уродовал губы, расплакался, не сдержав себя. Разом слетелись желтые сойки; синичка, произнеся свое «чив-чивик», повисла

перед ними на тоненькой веточке. Покоем и миром дышала одинокая, укрытая в тени крупноствольных сосен могила. Так же негромко, как жил, успокоился Услюм в родимой земле. И Наталья, подумав о том, что от Никиты у нее не осталось даже родной могилы, тихо всплакнула тоже, утерев краем плата увлажненные глаза.

Сосед сожидал их на пороге своего дома. Расхмылился, увидав Лутоню.

— Бычок твой живой, живой! Красавец стал! — без вопроса отозвался он на немое вопрошание.— И ульи, поди-ко, целы! — Он потянул скрипнувшие створы ворот. Мотанув рогатою головою, бык выступил, щурясь, на свет. У него уже наливался загривок и в глазах явилось тяжелое, нравное. Обнюхал Лутоню, недоверчиво всхрапнув, но, видимо, что-то понял, дух ли уведал знакомый, и потому, когда Лутоня, обняв и лаская рогатую голову, прижался лбом к морде быка, заплакав вновь, бычок не отшатнулся, но замер и, спустя миг, долгим шершавым, схожим с теркою языком начал облизывать руки отрока.

— Признал, признал! — радостно возгласил сосед. Жонка вылезла тоже вослед ему на крыльцо, с поклонами зазвала в горницу.

— Батька евонный хозяин-от доброй был! Нам по первости без еговой помочи и не выстать было! — тараторила улыбчивая хозяйка, собирая на стол.— Дак уж и мы берегли! Терем-от! Тута шатущего люду до беды бродило!

На немой вопрос Натальи Лутоня, когда уже восставали из-за столов, отведав хозяйской каши с пареною репой, повел плечом, примолвив сурово:

— Останусь! Хозяйство не бросать же! Ульи, да...

— А и пущай, и не сумуй, боярыня! — живо подхватила хозяйка.— По первости и у нас поживет! А там весна! Бык-от доброй! Да ульи! С медом, што с серебром! К осени каку и коровенку спроворим!

— Весной на одном луке прожить мочно! — подхватил хозяин.— А там грибы, да репа, да морковь...

— Пахать-то как? — слабо сопротивлялась Наталья.

— И конь есь! — радостно воскликнул хозяин.— Я уж не кажу, сведут! Есь, есь конь! У нас хошь и на троих хозяев один конь, а есь! Вспашем!

— Може, лето-то проживешь у нас, Лутонюшко? — ненастойчиво попросила Наталья наутро, когда уже собирались в обратный путь. Но отрок, твердо сведя

губы, молча отмотнул головой. Для него детство окончилось в этот час, в этот день, или, точнее, вчера, в давешний миг ослабы с последними беспомощными слезами на шее отцовского быка. Он уже думал о том, как начнет поправлять испакощенные литвою хоромы, как впервой сам-один, без отца, станет рассаживать рой, как по осени повезет мед на базар, и, быть может, тогда и воротит из Литвы старший брат, и они вдвоем подымут вновь отцово хозяйство?!

Наталья воздохнула, поняла, не стала настаивать. В сердце себе положила: послать сюда хотя куль ржи из Острового. Отроки, неважно, что дома зачастую и ссорились и дрались, тут крепко, по-взрослому, обнялись, и Ванята, осуровев взором (в подражание отцу, как с болью опять узрела Наталья), вымолвил:

— Наезжай! Завсегда рады! И помочь кака...— не домолвил, махнул рукой.

За ночь подстыло. И, пока не выбрались на торную дорогу, конь (пристяжная тесноты ради бежала сзади, за санями) резво нес розвальни по извилистому лесному пути, минуя редкие, наполовину заброшенные росчисти,— литва нахозяйничала тут до беды. На большой дороге перепрягли коней, покормили, и уже, почитай, не останавливали до самой Москвы, куда въехали глубокою ночью, едва упросивши сторожу открыть ворота.

Прислуга провела вдову с отроком в ту же горницу, с тою же пуховой постелью, поставила на стол горшок теплых щей и хлеб. Ванята заснул с ложкой в руках. О хозяине терема служанка только и высказала одно:

— Гневен!

Впрочем, измученная дорогою, Наталья заснула как убитая, не ведая и не думая ни о чем, положась на то, что утро вечера мудренее.

ГЛАВА 4

Утро вечера оказалось и мудренée и мудрёнее. В грозовом облаке взаимных боярских покоров неловкая история с захваченной под себя Миниными крохотной деревенькой под Коломною, принадлежавшей какой-то вдове, по сказкам, бедной родственнице Вельяминовых, послужила последнею каплей, поднявшей бурю.

Не добившись от государева дьяка за два протекших дня ни ясного «да», ни вразумительного «нет», Василь

Василич вскипел и совершил то, чего не должен был делать ни при каких условиях. Из утра отослал Наталью в Островое в сопровождении ратных, наказав своему посельскому силой вышибить из деревни Мининых холуев, отобрать обилие и вернуть землю и корм Никитиной вдове.

Наталья, так толком ничего и не поняв, только радовалась, когда вослед ее розвальням поскакали, разбрызгивая снег, шестеро насупленных молодцов во главе со старшим, чем-то неуловимо напомнившим ей молодого Никиту. Да и было ей радостно — хоть и не выспалась, хоть и истомилась в дорогах — в этом пути. Сияло солнце, пахло хвоей и степью, из дали дальней наносило тонкий неведомый аромат иных трав и земель — или так чудилось ей? Или напомнились рассказы бывальщиков из Великой орды, из земель заморских, приносивших смущающие душу сказанья о чудесах, о Строфилат-птице и Индрике-звере, о нагомудрецах и богатой Индии за песками пустынь, за снежными вершинами никогда не виданных ею гор? И уже и елки, и сухой дубняк с прошлогодним, не сбитым зимними ветрами бурым листом казались преддверием далекого сказочного чуда... Или радовало то, что едет она во свое, родовое, неотторжимое?

В Островом, куда домчали к вечеру, с трудом разыскали ночлег. Вконец испуганные мужики не хотели спервоначалу и пускать свою прежнюю госпожу.

— Не наказано! — отвечали, смущенно отворачивая лица.

У старосты выяснили толковее. Оказалось, что корм уже собран, лежит на господском дворе, и крестьяне боятся до беды вторичных поборов.

Наспех поснидав, тут же, в ночь, устремили в «гости» к захватчикам: упустишь — не поймаешь! В ворота боярского двора вломились с громом и треском, обнажая оружие. Мининого посельского выволокли за шиворот. В сшибке растерянные холопы Александра Минича почти не оказали сопротивления.

Тут же, в потемнях, с руганью грузили возы. Обезоруженных холопов заставили таскать в сани Натальино зерно. В пляшущем трескучем огне факелов творилась скорая расправа. Связанному посельскому тыкали в нос подписанную Вельяминовым грамоту, тот отругивался, грозил. Наталья, вспыхивая и бледнея ликом, подошла прежнею госпожой, повелела развязать. Посельский

дернулся было, разминая руки, ткнулся в глаза Натальины, услышал ненавистное «Гад!», вскипел, размахнувши дланью. Ванята подошел сбоку, обнажая нож. Вопросил с тем сдавленным, недетским спокойствием, которое страшнее звериного воя:

— Мамо, зарезать ево?

— Гад! — твердо повторила Наталья.— Счас все отдай! Сам отдай! Холуй, змей подколодный! У кого берешь?! — крикнула она в голос и стала, раз за разом, бить посельского рукавицею по морде. Тот, вздергивая голову, точно конь, отступал, зверея и робея разом.— Гадина, гад, гад! — в забытьи повторяла Наталья, пока холоп, отступая, не споткнулся о грядку приготовленных с вечера саней. (Пожди Натальины кмети до утра, снаряженный обоз ушел бы с добром на Москву.) Упавши, посельский вскочил и, освирепев, выдернул было саблю. Но лязгнула сталь, вельяминовский старшой, выбив оружие у него из рук, сказал односложное:

— Будя!

И — кончилось. Наталья тяжко дышала, отходя. Ванюша, не раздвигая сведенных бровей, молча убрал нож в ножны. Чужие холопы быстрее забегали, вытаскивая из подклета кули и коробьи и нагружая их в свои же сани, которые, однако, теперь стали для них вовсе не свои, а вельяминовские.

Набранные посельским из Острового возчики молча и немо ждали, чем окончит боярская пря, и только уж когда вывели из ворот нагруженные возы, когда потянулись по дороге в сереющих передрассветных сумерках, загомонили с веселым облегчением, уважительно поглядывая на старую госпожу, о которой уже и думать было забыли, положив, что навек отошли к Миничам.

После короткой дневки, не задерживаясь более того, что надобно было, дабы накормить лошадей, обоз устремил дальше. Натальины сани, тяжело нагруженные дареною снедью, следовали в самом хвосте.

Чужой посельский подъезжал утром с наспех собранными и оборуженными молодцами, требовал грамоту, ругался, грозил, но в драку, сметя, что островские мужики, пожалуй, встанут теперь вместе с вельяминовскими кметями за свою госпожу, не полез. Погрозя напоследях татарской нагайкой, ускакал в Москву.

Всю дорогу береглись, сожидая нападения. Но — обошлось. Так и въехали в стольный град с отбитым хлебом, который Наталье насоветовали продать за

серебро (благо цены на рожь в торгу стояли высокие), забрав с собою только то, что надобно на прокорм и семена. И то дело Натальино совершилось, почитай, мигом. И уже назавтра уезжала она к себе на трех санях. Конь был один из Островото, другой одолжен Вельяминовым. И будущее виделось ей ежели и не в сиянии счастья, но — и не столь беспросветно черным, как давеча. Ванята правил, и, глядя на его сбитую на лоб шапку, на вихрастый затылок, вспоминая, как деловито, стойно Никите, взялся он в Островом за нож, Наталья тихо оттаивала, отходя душою, и уже не смерть, не гибель от свыше силы взятых на себя трудов, а неведомое, но живое грядущее, трудная судьба, пусть уже из единого отречения составленная, но судьба, живая жизнь, маячила перед ней в отдалении грядущих лет. Пока он жив, несмышленый малыш, коего, с его ножом, могли враз, не воздохня, тут, в Островом, и прирезать, пока надобен ему материн неусыпный догляд,— вырастить, сберечь, оженить, быть может, дождаться внуков... Ох, Никитушка! Трудную ты мне заповедал участь на грешной земле!

О том, что совершалось в тот час на Москве, Наталья, слава Богу, не знала.

ГЛАВА 5

Двор Мины в Кремнике стоял на самом Боровицком холме, за княжеским дворцом, близ оружейных палат, недалеко от ветхой деревянной церкви Рождества, на древнем месте, чем гордились все представители рода. Место как бы само говорило за себя, подчеркивая, что полузабытые предки Мины жили здесь еще прежде князей-Даниловичей, еще при Юрии Долгоруком, и даже до Юрия; чуть ли не от времен Кучковичей тянуло семейное предание историю рода — не подтвержденную грамотами, сгоравшими в многократных пожарах, но упорно передаваемую дворней,— что и до Юрия был, стоял тут, на самом взлобке Боровицкого холма, терем далеких пращуров и что приземистость, широкоскулость, темный волос и скорость на гнев Мины, когда-то громившего Ростов по приказу Калиты, а затем и убитого на Тростне Дмитрия Минича происходят от мерянского князя, который сидел тут когда-то «с родом своим».

Про мерянского пращура, впрочем, бояре Минины вспоминать не любили. Гордились службою первым Рюриковичам, величались тем, что без них не обошлось укрощение Великого Ростова...

Гордость гордостью, но возрождать раз за разом родовые хоромы, отстраивать, не роняя себя, высокие гульбища, светелки, смотрильную вышку, что вздымалась и теперь выше городовой стены, выше соседней Конюшенной, или Оружейной башни (называли так и сяк, ибо и то и другое было не в великом отдалении), становилось все труднее и труднее. Сыновьям Мины, спасая родовую честь, уже пришлось поступиться частью сада, проданного великому князю, и все одно тянуться за неслыханно богатыми Вельяминовыми или за Акинфичами, воздвигшими терем за житным двором, доходов с московских вотчин уже не хватало.

Грабежом Ростова Мина поправил было родовую казну, но годы текли, а в доме, у Александра, росли дочери, и за каждой, чести ради, в приданое давались вотчины, блюда, стада, порты дорогого веницейского и лунского сукна, бархаты, жемчуга и лалы. А у Дмитрия Минича возрастали трое ражих молодцов-сыновей, и у тех уже явились на свет дети...

В хлопотах и заботах об умножающемся потомстве, потерявши брата в горестном Тростненском бою (где не токмо Дмитрий Минич погиб, погибла и его драгая бронь, отобранная когда-то у ростовского боярина Кирилла и стоившая, по сказкам, целого состояния), Александр и решился на дело, подсказанное ему посельским: забрать под себя пустующую, как уверял тот, деревеньку в Коломенском стану и тем округлить владения даже и не свои, а сыновца, Степана Дмитрича.

И еще сказать: гордость гордостью, а ни Дмитрий, ни Александр, ни даже Мина великокняжескими боярами не были, оставаясь в чинах стратилатских и уступая тут не одним лишь Вельяминовым, но и Акинфичам, и Зерновым, и Бяконтовым, и новонаходным Всеволожам, гордым родством с великокняжеским домом, и Ивану Морозу, и Кобылиным. И потому давно уже в поисках сильного покровителя держались Минины за Акинфичей и вместе с ними враждовали с Вельяминовыми. В давней замятне, когда власть тысяцкого перешла было к Алексею Хвосту, Минины поддержали Босоволковых и теперь тихо злобствовали на новое усиление гордого вельяминовского рода. Гибель Дмит-

рия Минича еще увеличила в их глазах родовой неоплаченный счет.

И потому, когда из Острового прискакал на шатающейся лошади ограбленный посельский, грязный, со ссадиною на щеке, и рассказал, что деревню отбивали не кто иные, а вельяминовские молодцы, без княжой, Дмитрием утвержденной грамоты, гнев сыновей покойного Дмитрия Минича был ужасен. Василий со Степаном уже были на конях и собирали дружину — скакать вперерймы обозу с отбитым у них обилием, но вовремя сообразивший дело Александр Минич, накинув шубу прямо на нижнюю рубаху и даже не застегнув ворота, выбежал к племянникам.

— Слазь! — пристукнув посохом, рявкнул он.— Слазь! Кому говорю?!

Василий, закусив губу, темный и страшный, свалился с седла, не разжимая кулаков, шагнул к дяде. Дергая плечом, вскидывая голову, стойно деду посверкивая белками глаз, прорычал:

— Не воины мы? Не мужи?!

Но Александр — ярость Василия его как раз и успокоила — твердо отмел:

— И ты слазь! — И, дождавшись, когда и Степан, тяжко дышащий, стал против него рядом с братом, выговорил: — Сами на ся остуду куете, дурни! Разбоем на разбой ответите? А потом? Василий-от тысяцкой! С тем и великому князю в ноги падет! И будете оба в вине, еще и епитимью от владыки принять придет, ежели не головой Василью Вельяминову выдадут вас!

— Что же делать-то?

— Что, что! Не ведаю, что... А только...— Он поежился, ощутив холод раннего утра, пожевал сивый ус, подумал.— А не иначе — к Андрею Иванычу Акинфову в ноги пасть!

Изрек — как припечатал. Молодцы не дураки были, все же поняли, повелели дружине слезать с коней. (По той причине Натальин обоз и достиг Москвы невредимо.)

Александр, воротясь в терем и отодвинув кинувшуюся к нему супругу («Недалёко мы, до Акинфича!»), вздел выходные порты, твердыми пальцами, покряхтывая, долго всовывал в петли нового черевчатого зипуна костяные резные пуговицы. Племянники, изготовясь, уже ждали его верхами, горя нетерпением. Скоро все четверо в окружении слуг последовали мимо Рождества

и житных дворов, шагом пересекая разъезженную дорогу, что подымалась от Боровицкого въезда к терему Акинфичей. (Угловую каменную башню Кремника невдали от своего терема Акинфичи возводили на свой кошт, и строил ее старший сын Андрея, Федор Свибло, уже теперь боярин княжой, и башня та нынче в народе начала прозываться Свибловой.)

День смерк, солнце ушло, позолотив кровли теремов, и тоненькая ниточка верхоконных, что приближалась к расписным воротам терема Андрея Иваныча Акинфофа, совсем не казалась со стороны тем, чем была — началом грозной лавины, едва не обрушившей всевластие Василия Васильевича Вельяминова, признанного хозяина Москвы.

Андрей Иваныч, когда прибыли гости, стоял на молитве. Чаял уже отходить ко сну. Недовольно поморщился, услышав царапанье под дверью моленного покоя.

— Кто тамо?! — Не любил, когда тревожили вот так, не в пору, не вовремя.

— Прости, Ондреюшко! — донесся голос супруги.— Потревожила тебя, да гости, вишь, скорые! Александра Минич с сыновцами!

— Што у их? — не вставая с колен, оборотясь и весь сморщась ликом, вопросил Андрей.

— Деревню ихнюю, слышь, отобрали вельяминовски молодцы!

Андрей живо поднялся с колен, торопливо кинул широкий крест, доборматывая слова молитвословия Макария Великого:

— Посли ми ангела мирна, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит мя от враг моих...— Вновь осенил чело и плеча широким крестом, а в уме уже творилась суетная мирская забота: «Василий Василич отобрал деревню! Как? Зачем? Почему?»

Гости сидели на лавке в столовой горнице, встали все четверо, поклонились враз. Андрей Иваныч, в мягких домашних чеботах, в накинутом только что на плеча узорной тафты домашнем сарафане, остро прищурясь, оглядел Миничей, сел на перекидную скамью, уперев руки в колени и пригнувши голову. («Неужели Василий таковую стыдную пакость учинил?! Ето при его-то доходах!»)

Дело, однако, оказалось отнюдь не простым. Деревенька-то была спервоначалу захвачена самими Миничами, и тут следовало раскинуть разумом погоднее.

— Княжой грамоты, баешь, не было? — переспросил и въедливо вновь озрел Александра. Тот предложил было созвать своего посельского, Андрей слегка повел дланью — не надо, мол, верю! — Кто та вдова?

— Свойка вельяминовска! Была за послужильцем, за владычным данщиком, никак. Тамо и жили, во своем мести! Мужики бают, и носа не казала в деревню досель!

Дело запутывалось еще на одну петлю: митрополит Алексий! Но князевой, князя Митрия грамоты не было! Или была? Он вновь, вприщур, оглядел жалобщиков, которые и сами являлись похитителями чужого добра. Но ежели... Раскидисто обмысливая дело, Андрей понял одно: по первости надобно вызнать, чья та была деревня! Что там за данщик? Холоп ли, послужилец, и в коей чести был у митрополита, и где убит?

Поднял очи, твердо повелел племянникам Александра выйти на миг малый. Те, прихмурясь, встали, покинули палату. Александру, дождав, когда молодцы уйдут, высказал, не обинуясь, что думал о деле. Велел вызнать потонку все возможное о владелице. Сам обещал завтра же созвать свою и морхининскую родню, усмехнувши краем губ, добавил:

— А то как бы нам с тобою самим ся в виноватых не остать!

И, уже отпустив Александра, один, вновь усмехнул, тряхнул головою, выговорил в пустоту хоромины:

— Поспешил ты, Василий! Не отрок, ведь! Пошто было безо князева слова суд вершить?! — И потянулся сладко, похотно.— Ежели б удалось свалить Василия! Пущай не свалить, дак хошь овиноватить пред князем Митрием! А то ведь — надо всеми занеслись! Всюду пролезли! И Иван Вельяминов туда же, скор! Вишь, на Рязань поскакал! А мы, може, и не хотим Рязани-то! Може, мы о себе мыслим у Олега Лопасню отбить! А, Василий? Чего смекаешь на то?! — произнес он с угрозою в голосе и вновь повел плечьми с хрустом, с истомною прежнею силой.

Вступившей в горницу жене, не глядя, повелел:

— Квасу подай! И дворскому накажи, пущай из утра родню созовет!

— И Григория Пушку? — уточнила жена.

— Григория Саныча беспременно! Его первого! — живо возразил Андрей.—И к тетке Клавдии сошли

позовщиков, пущай Иван-от Родионыч прискачет! — договорил он в спину супруге.

Андрей Иваныч хоть и созывал к себе родню, но истинной веры в успех дела у него не было. И даже зело колебался он, вступаться ли за обиженных Миничей, вся обида коих заключалась в общем-то в том, что у них отобрали украденное ими добро. Хотя, с другой стороны, кто не округлял своих владений за счет маломочных соседей?! Да и выяснить следовало, чья та, в самом деле, вдова? Ежели данщик — человек митрополита Алексия, то и деревнею должен владеть митрополит! Но при чем тут тогда Василий?! Владыка и без помочи тысяцкого своего добра никому не отдаст! А ежели не так, то почему?

Изворотливый ум, доставшийся Андрею от покойного родителя-батюшки, Ивана Акинфова, подсказывал боярину, что не все столь просто в этом деле и сугубая горячность Вельяминова имела свои, пока скрытые от него причины. Но как ухватить? За что уцепиться?

— Федоров, Федоров, Никита Федоров...— Прозвание мужа вдовы он уже вызнал от своего ключника. Что-то шевелилось в памяти, далекое... Или не столь уж и далекое? Кто же такой?! И почему при имени этом тотчас вспоминается пресловутое дело Алексея Хвоста?

Александр Минич, несколько укрощенный после быванья у Андрея Иваныча, отослав с очей сердитых племянников, созвал постельничего, ключника, стремянного — вернейших своих холопов, и велел вызнать все возможное и невозможное о Никите Федорове и его вдове. И, как это часто бывает, тайна, которую при жизни Никиты не сказывали никому, кто и знал, тут, после смерти старого вельяминовского старшого, перестала быть тайною. Один из ратников проговорился о том поваренной девке, полюбовнице своей (дело, мол, прошлое, Никита все одно убит, кому с того какая беда?), та — подруге-портомойнице, эта баба — свойке с Минина двора... Известное дело: жонке скажи — всему миру повестит! И вскоре Александр Минич уже выслушивал сбивчивую речь сенной прислужницы, испуганной уже тем, как пристально и с какою недоброю усмешкою внимал боярин бабьим пересудам, байке, расцвеченной вымыслом до полного неправдоподобия.

Родичи начали собираться к Андрею — как-никак после смерти родителя старшему среди них — к пабедью. Из троих братьев Андрея лишь Романа Камен-

ского не случилось во граде. Владимир и Михаил прибыли оба, и с сынами. Явились и Романовы сыновья, Григорий Курица с Иваном Черным. И все семеро сыновей Андрея были тут: осанистый, уверенный в себе (как же, строитель Кремника!) старший сын, Федор Свибло, Иван Хромой, Александр Остей, Иван Бутурля, Андрей Слизень, Михайло Челядня с юным Федором Коровою — видные, сановитые мужи, будущие родоначальники знатных родов московских, по зову отца готовые в едином строю, плечом к плечу, сокрушить любого соперника родовой чести. Вскоре подоспел глава Морхининых, двоюродник Андрея, Григорий Пушка, сухой и горячий, готовый вспылить, вспыхнуть от любой обиды (за что Пушкою и прозван был!), во главе целой рати родовичей. И с их приходом обширная столовая палата Андреева терема разом наполнилась гомоном, шутками, возгласами и смехом.

Минины давно уже сожидали, парились на лавке в углу. И уже сердитою говорей, рокотом, шумом потекла по рядам Акинфичей весть об учиненной тысяцким пакости (на владыку Москвы все они имели зуб, и не малый). Но Андрей пока не начинал толка. Ждал. Слуги стремглав носились с питьем и заедками. Наконец вестоноша сунулся в палату, возгласил:

— Иван Родионыч!

Сын Клавдии Акинфичны, прямоплечий, бело-румяный, в русой своей бороде, почти еще не тронутой сединою (ладного сына родила Клавдия на старости лет!), вступил в терем. Вновь все занялись троекратными поцелуями и поклонами, соблюдая ряд и чин сложных степеней семейного, родового и служебного достоинства. И наконец, долгожданный, вступил в горницу Дмитрий Васильевич Афинеев, без которого даже Андрей Иваныч не решился бы противустать воле великого тысяцкого Москвы. Приняв поклоны и славословия, уселся, сощурил взор, оглядел со снисходительною лукавинкой многолюдное боярское застолье, внял тому, что собрались, почитай, все Акинфичи, воздал особый поклон Родионову сыну, вопросил того о матери. Клавдия Акинфична, ныне перейдя на девятый десяток лет, редко покидала родовой всходненский терем, но памятью была светла до сих пор, и родовитые бояре московские, наезжая к Ивану Родионычу, почасту выспрашивали Клавдию о семейных преданиях, которые, едва ли не все, помнила единственная оставшаяся

в живых дочерь Акинфа Великого, имя коего уже почти утонуло в легендах, ушло с минувшими поколениями, и только через Клавдию Акинфичну то далекое прошлое продолжало оставаться живым. Ибо прошлое становится истинным прошлым, историей только со смертью последнего живого свидетеля своего.

— Господа бояре! — начал, наконец, Андрей, воззвав и движением руки и гласом к тишине и вниманию председящих. Кратко повестил о грабеже и самоуправстве тысяцкого, обиде, нанесенной детям убитого героя безо князева слова и грамоты.

— Сором!

— Грабежчик!

— Тать!

— Вельяминовым вовсе закон не писан! — возвысились возмущенные голоса.

Рассказ Александра Минича, не пожалевшего красок, подлил масла в огонь. Но тут Андрей Иваныч, переглянувшись с Дмитрием Афинеевым, вдругорядь утишил готовых взяться за оружие мужей:

— Всё так! Но ты того не досказал, Олександр, откудова деревня сия стала твоею. Возможет доказать на суде Василий Василич, яко забрана тобою деревня та под себя такожде без князевой грамоты? Возможет! — Поднял руку, воспрещая слово Миничу.— Возможет! — повторил.— И будет прав! Ведаю, скажешь, не бывала вдова во деревне своей, жила в мужевой, в Селецкой волости владычной; дак не бывала, не значит — не володела! Сведал ли ты, Олександр, кто был мужем сей вдовы и не митрополичье ли то володение? А то как бы и нам впросак не попасть!

— Ан нет! — вскричал Александр. Но Андрей вновь утишил его мановением длани.

— Ведаю, что нет! Но тут и соблазн великий! Почто?! Сам ли владыка отписал деревню на Федорова, Василий ли, тысяцкой, тут руку приложил? И почто не жили в ней? Доходы, бают, и те брали не полною мерой! Постой, Олександр Минич, постой, пожди, тово! Дай все до конца высказать! Чаю, коли тут владельческое право сумнительно, дак и тебя оправить мочно, и Василия овиноватить! А иначе — одна лишь зазноба тысяцкому, почто безо князева слова вершил, оба вы будете в той вине виноваты! Вызнал ты, како там с грамотами, кто есть володетель истинный?

— Иное я вызнал! — возгласил Александр Минич,

давно уже порывавшийся перебить Андрея.— Вызнал я, кто есть, вернее, кто был тот самый Никита Федоров! По сказкам — убийца Алексея Хвоста! И потому...

В восставшем шуме потонули последние слова Александра. Григорий Пушка, словно только того и ждал, вскочил на ноги, возопил:

— И деревня, поди, за ту службу дадена! Пото безо князя и суд вершил Василий! Дружья, братие! Убийцу вознаградивший — сам убийца есть!

— Ко князю! Ко князю! Нынче же!

— Охолонь! Холопы доводили! — возражали рассудливые.— Холопью речь ить в совет княжой не доведешь! Портомойную бабу противу боярского слова не выставишь!

Андрей Иваныч сидел откинувшись на скамье, полузакрывши глаза, ничему не возражая, и вдруг, воссияв лицом, хлопнул себя по лбу. Как же он мог забыть такое! Ведь на том полузабытом суде сам владыка изрек и наименовал убийцу Хвоста! И имя было сказано, да, было сказано, вспомнил! Никита Мишуков, внук Федоров!

— Господа! — возгласил он.— Винюсь! Прав Олександр!

Стихла палата, жадно выслушивая рассказ Андрея Иваныча.

— И ежели владение то не в волости владыки,— докончил свою речь Андрей,— то и верно: дано Васильем за грех убийства Алексея Хвоста! Пото и вершил он суд своею волею!

Громом, обвалом, ударами голосов ответила палата. Иван Квашня, бледнея, глядел семо и овамо. Не верилось, все одно не верилось, что тысяцкой Василий был убийцею Алексея Хвоста, но тут были все свои, родовичи, и честь была обчая, родовая, а потому, чуял, и ему придет пойти противу Василь Василича на суде княжом.

Дмитрий Афинеев, неслышный в общем шуме, приблизил к Андрею, сказал на ухо:

— Думаешь скинуть Василия, а кем заменить?

Андрей медленно покачал головой:

— Скинуть не мыслю, пото и замены ему не ищу! А токмо... Ведаешь, яко ныне Иван Вельяминов ко князю Олегу за помочью поскакал? Ежели они и те дела, посольские, вершить учнут, дак и мы с тобою тогды губками не щелканем, так-то! Един Вельяминов господин на Москве али совет боярской?!

И Афинеев, посупясь и помолчав, медленно склонил голову, признавши сугубую правоту Андреевых слов. Передавать власть, которая надлежит великому князю, в единые руки тысяцкого, этого не мог допустить никоторый из соревнующих меж собою великих бояринов московских.

— Кого думашь на свою руку перезвать? — деловито вопросил Афинеев. Шепотком они перебрали всех великих бояр, соглашаясь, что тот-то пойдет, а тот — станет за Вельяминовых, а иные порешат по владычному слову. Воздохнули, помолчали, глядя, как разоряется и кричит Григорий Пушка, как шумят, гневая, бояре за столом.

— Кабы всема! — мечтательно протянул Андрей.— Всема — значит совокупной боярскою думою! Так и Василья живо бы скинули, и князь в единой нашей воле ходил!

Иван Родионыч вечером того дня, прискакавши к себе на Сходню, хмельной от усталости, речей застольных, от совокупного решения пойти с жалобою на тысяцкого к великому князю, отдал коня конюху, бросив короткое: «Поводи!» Вступил в сени, скидывая на ходу на руки прислуге дорожный грубошерстный вотол.

Клавдия, подсохшая, уменьшившаяся по сравнению с далекими годами своей зрелости, чуть сутулая, с сухими трепетными руками в синих венах, встретила сына в горнице, подставила щеку для поцелуя. Вопросила, раздвинув в улыбке лишенный многих зубов рот, все еще молодым, хоть и не сильным, чуть дребезжащим голосом:

— Ну, что порешили? Сказывай! Теперь вы все, значит, в оружии, уставя копья, пойдете на Василья Вельяминова? И Андрей напереди? Али тебя пошлют?

— Отколе уведала, мать? — хмуро возразил Иван.

— Давеча Тишка прискакал! Сказывал, что все наши собрались, и Минины, и Афинеев. Это значит — уже заговор целый!

— Дак, думашь, зря затеяли? — Иван и гневал и размышлял, вновь начавши сомневаться в принятом было решении.

— Дядя твой покойный, Иван Акинфич, был мастер на такие дела. А ты любим князем Митрием, пото и призвали! — отмолвила мать с усмешкой, как когда-то, когда журила за детские шалости и давала понять, что

все неуклюжие ребячьи увертки ей внятны и притворство отрока ни к чему.

— С Васильем Васильичем вам, конечно, не совладать! — заключила она твердым «господским» голосом.— Но Ивану Вельяминову жизнь испортите! Ну, садись, ешь, нынче у нас щи и пироги с вязигою! — добавила она, разом отодвигая посторонь все эти докучные мужеские заботы, не такие уж и важные здесь, перед величием и долготою прожитых ею лет.

ГЛАВА 6

Великому князю Дмитрию шел нынче девятнадцатый год. Он выровнялся, стал коренаст, широк в груди и плечах, тяжелорук. Крупное, точно топором вырубленное лицо опушилось светлою бородкой, все еще по-юношески мягкою.

Война и отцовство очень повзрослили московского князя. Сожженные деревни, убитые бояре и ратники, кровь и толпы беженцев, переполнившие Москву, и среди всего трудно появившийся на свет первенец — Данилка. Все это заставило бы задуматься и более легкомысленного, чем он, володетеля. Дмитрий к тому же имел пред собою всегдашний пример в лице своего соправителя, старого митрополита. Уезжая вскоре в Орду, он сам распорядил вписать в наказ боярам знаменательные слова: «Слушали бы отца нашего духовного, владыку Олексия», а непременные указания на митрополичье благословение и печать присутствовали на всех грамотах великого князя — вплоть до самой кончины владыки.

В посмертной летописной похвале Дмитрию говорится (и с похвалою!) об уважительном отношении московского князя к боярам, никому из которых великий князь не сотворил зла, никого не разграбил и не избесчествовал, но всех любил и держал в чести: «вы бо нарекостася у меня не боляре, но князи земли моей».

Возможно, пред картиною позднейших опал и казней сказанное в летописной хвале являлось истиною, но, однако, не все так просто и не так однозначно творилось с боярами у юного князя Дмитрия, которого враждующие вельможи буквально разрывали пополам, особенно когда он не хотел слушаться своего вечного наставника Алексия. И, ежели бы не всегдашняя воля

последнего, невесть, сотворилось бы или нет его, славное в памяти потомков, княжение.

О приходе Андрея Иваныча сообщил князю Бренко.

Дмитрий явился от ранней обедни ублаготворенным. Служил опять Митяй, и служил, как всегда, превосходно. Густой глас возлюбленника своего до сих пор стоял у него в ушах. Красота службы церковной — это было то, в чем Дмитрий воспитался стараниями Алексия с детства; значения каждого молитвословия и обрядового действа были прилежно затвержены им на всю жизнь. Напевая под нос стихиру, князь поднялся к себе, ополоснул руки и лицо, сменил выходной зипун на домашний. Девка поднесла серебряное зеркало. Глянул, провел гребнем по густым светлым кудрям, прищурил глаза «гордо» — остался доволен.

Трапезовали с молодшей дружиной. Было много шуток, смеха, веселья застольного. Ничто не предвещало беды. В делах государственных в канун Пасхи наступило благодетельное затишье. Война полыхала на дальних рубежах земли — на окраине Новогородской волости, где свея опять поставила град Орешек на Устье (и новогородцы все не могли выбить их оттуда), во Пскове, вновь подвергшемся набегам орденских немцев (и туда был услан с дружиною двоюродный брат Дмитрия Владимир Андреевич, чему втайне великий князь очень завидовал). Но Ольгерд опять утонул в борьбе с «божьими дворянами», захватившими у него город Ковно, отбивал рыцарей, позволяя Владимирской земле залечивать раны недавнего разорения.

Коротко выслушав от своего дьяка о делах, Дмитрий поднялся в светлицы, прошел на женскую половину, к жене, уже чуя в молодом сильном теле тоску по Дуниной близости.

Евдокия сидела, тытышкая малыша, вдвоем с Анютою, младшей сестрою великого князя, на которую он как-то никогда не обращал особого внимания — была и была — до смерти матери, почитай, и видал редко. Лишь в последний год, подросши и как-то сразу похорошев (Нюше шел двенадцатый год), она зачастила в княжеские горницы, близко сойдясь с Дуней, и сейчас они обе взапуски ласкали и щекотали маленького Данилку.

Дуня сидела, расстегнув рубаху, с открытой грудью (кормила малыша), и Дмитрий, чувствуя смущение и неудобь оттого, что при этом присутствует кто-то

третий, залился жарким румянцем. Нюша, смеясь, стрельнула глазами в сторону своего важного брата, всунула младеня в руки Евдокии, выскочила, вильнув подолом распашного саяна,— легко простучали новогородские узорные выступки.

— Невеста уже! — подсказала Авдотья, углядевши полусердитый взгляд супруга, брошенный вослед сестре. Дмитрий присел на лавку, попросил негромко:

— Грудь прикрой, сором!

Евдокия взглянула лукаво. (С родов раздалась вширь и еще похорошела, прежняя застенчивость ушла, и теперь она часто, завидя его невольное смущение, нарочно поддразнивала Дмитрия.)

— Сейчас! — отозвалась. Поднесла ко грудям Данилку. Наевшийся младень только мял сосок беззубым ротиком, таращил глазки на узорные пуговицы родителева зипуна. Нарочно подержала Данилку на руках, помедлила, пока румянец на щеках Дмитрия не стал из алого темно-вишневым, тогда только, вручив теплый живой сверток отцу, медленно любуя мужа взором, застегнула косой сборчатый ворот сорочки костяною пуговицей, оправила саян на пышной груди.

Кликнули девку. Пока Дмитрий с неуклюжею боязливою заботой держал и передавал Данилку прислужнице, а та переворачивала обмочившегося малыша, молодые супруги перекидывались незначащими словами. Великий князь и улыбался и хмурился, стараясь не уронить достоинства в этой обиходной домашней суете, а Евдокия вспоминала, каков хорош был князь на минувших Святках, когда сам правил изукрашенною, в серебряной сбруе, тройкой, стоя в рост в ковровых расписных санях.

Наконец Данилушку унесли, и юные супруги остались в опасной близости. Любовь в этой семейной паре только что входила в полную силу, и на постные дни, среды и пятницы, Дмитрий, дабы не стало греха, уходил спать в иную горницу.

Дуня болтала, поглаживая Дмитрия по руке и часто взглядывая своими голубыми, огромными точно блюдца глазами на мужа, а у него от ее прикосновений уже начинало пересыхать во рту, когда раздался спасительный стук в дверь.

В светелку сперва опасливо заглянул — не застать бы супружескую пару в неподобном виде,— потом проник Миша Бренко, сотоварищ и возлюбленник кня-

зя, неразлучный спутник Дмитрия на княжеских выездах и охотах, его однолеток, чем-то неведомо похожий на самого великого князя, только что покруглее ликом. С ним вдвоем шатались они ряжеными по беседам, с ним же стояли бок о бок на городовой стене, следя опасные полеты литовских стрел и дымы дальних пожаров.

Миша, подмигнув, поклонил великой княгине, для которой еще в начале поста приводил в княжеский терем захожих скоморохов-игрецов, разбойно глянул в очи князю, выговорил чуть хрипло (простыл, искупавшись недавно вместе с конем в полынье на Москве-реке):

— Дело есь! — И уже выходящему из светелки Дмитрию на ухо докончил: — Андрей Иваныч к тебе, Акинфов, с жалобою!

Дмитрий пожал плечами, прихмурил чело. Прошел переходом, мысленно отсчитывая мелкоплетеные, прорубленные «домиком», украшенные вставками из цветной слюды оконца, вступил в «свою» горницу, которую устраивали когда-то, дабы князь мог на покое читать и писать (чего Дмитрий, однако, никогда не делал, предпочитая слушать чужое чтение, а книги свои полностью переуступил печатнику Митяю).

Боярин, не присевший ради чести княжой, так и ждал, стоя на ногах. Засуетился, низким поклоном приветствовал «князя-батюшку», рукою почти коснувшись пола. Дмитрий вскарабкался в креслице, скрипнувшее под ним, помедлив, наклонением головы отослал Бренка: «Ты постой тамо!» Тот понял, вышел на галерею постеречь князя от лишних ушей.

Вскинувши подбородок, Дмитрий пригласил боярина говорить. Все дети Андрея один за другим вступали в великокняжескую службу, и Федор Свибло, старший, уже был боярином, получив звание в награду за строительство Кремника. На подходе было боярство следующих детей Андрея: Ивана Хромого и Александра Остея, с чем, впрочем, как баял Алексий, торопиться не следовало отнюдь — обиделись бы многие, кому боярство по местническому счету следовало первее. Дмитрий и думал, что речь пойдет не об ином каком деле, а потому нахмурил брови и принял елико возможно неприступный вид.

Сожидая пресловутой просьбы, он даже не понял

враз, о чем и речь. Переспросил недоуменно, уже гневая.

— К дьяку иди! — вырвалось первое, что пришло в голову, но Андрей Иваныч мялся, взглядывал коротко и зорко в лицо князю и уходить не думал.

— К дьяку посылано! — возразил.— А только, вишь... Минины-то тоже неправо совершили...

Дальнейшие объяснения Андрея окончательно запутали в голове у Дмитрия все. Получалось, что дядя был прав, отобрав деревню и воротивши ее вдове! Дак пущай дьяк доправит грамоту, и дело с концом! Но дело и на том не кончалось. Закусив губу, выслушал Дмитрий о том, что покойный супруг вдовы был убийцею боярина Алексея Хвоста, ворога Вельяминовых, что деревня та невесть кому принадлежала и Васильево своеволие имеет зело подозрительный толк: не он ли и посылывал убить Хвоста-Босоволкова? Что Василий Василич слишком много творит по-своему, а не по князеву слову, возбуждая ропот и огорчение в боярах... Дмитрий выслушивал теперь молча, все более хмурясь (мелькнуло: «Суда княжого не избежать!»), и думал с раздражением и обидой, почто дядя не пришел к нему сам, не повинился, не доправил иска в государевом приказе?

— Разве я виню Василия? Властитель Москвы! — развел руками Андрей Иваныч, воздев очи, воздохнул. Проверил боковым сорочьим поглядом: каково слушает князь великий? Осторожно добавил: — Василь Василич, дядюшка твоей милости, годами преклонен, а по нем двоюродный братец твой Иван власть великую подымет на плеча своя, дак ежели учнет, минуя князя... Бояра вси, вишь, в сумнении...

— Что?! — разом охрипнув, переспросил Дмитрий.

Андрей Иваныч, издрогнув, словно бы в забытьи и словно бы ему это токмо теперь пришло в голову, выпуча глаза, заранее сам ужасаясь, выговорил:

— Гедимин Литовский, бают, конюшим был у Витеня, а уморил опосле господина своего...— И, выговоривши, замер, точно невольно споткнулся о незримую преграду.

Дмитрий сам вздрогнул, ужаснувшись волне дикой ненависти, возникшей в душе при имени Ивана Вельяминова.

Нет, не хотел, не хотел он иметь старшего сына дядиного тысяцким своим!

А Андрей опять журчал и журчал голосом, все до-

водил и доводил — и про нынешние переговоры с князем Олегом:

— Вишь, слабы стали московиты невесть с чего! Да Иван Родионыч един хотя, чем не стратилат?! И дружина у Квашни крепка, в бронях вси! Князь Олег помочь-то поможет, коли Ольгирд ратиться учнет, а учнет ли, невесть ищо! А Лопасня, вишь, так ся и останет у рязанов? — спрашивал Андрей, вбивая гвоздь за гвоздем в пылающую княжескую голову.

— Дяде своему верю! — глухим голосом отверг Дмитрий, невольно выдавая Андрею тайную вражду к вельяминовскому двоюроднику.

Андрей воздохнул, огладил бороду, решивши бить наверняка, раздумчиво покачал головою:

— Все мы невемы часа своего! Живет смертный, до часу живет... А потом, опосле? При таких доходах и власти такой — кто и что возможет предугадать? Все мы слуги твои, вишь, по чинам, по местам, а Иван Вильяминов превыше всех! Уже, почитай, теперь, во след отцу, тысяцкой! И с государями иных земель толк ведет! Умрем, вси умрем, а далее што? Скажем, Иван-от Кантакузин был Андронику из верных верный, и жену его берег, и сына не тронул, а заставили его, сами греки заставили царскую корону принять! И сына короновал, Матвея... Ну, не сотворилось у ево, дак ить могло ся и сотворить! А Иван-от братец тебе хошь и двоюродный, дак всяко тут...

— Такое штоб?! В нашей, в русской земле?! — вскричал Дмитрий раненым пардусом, отметая отравленное жало сплетни, уже смертельно уколовшее ему душу.

Андрей Иваныч потупил очи, пришипился, возразил вполгласа:

— Не о том реку, княже, что будет, но о том, что возможет быти, и даже хошь о молве единой!

— Ладно! — оборвал досадливо Дмитрий.— Будет суд! Назавтра, в думе. Пущай! Иди!

Андрей Иваныч, выполнив все, что хотел, и тихо радуясь, выпятил вон из покоя.

Дмитрий, стоя, слушал, как ходит кровь в разгоряченном сердце, потом произнес негромко, с угрозою:

— Ладно, Иван Вельяминов! Не станешь ты Иваном Кантакузином все равно! — И слепо глянул в зимнее неяркое оконце. В неровных пластинах слюды дро-

билась улица, верхоконные, нелепо кривляясь, въезжали и выезжали со двора. И уже свет померк, и не стало покоя. К кому кинуться? К дяде? К владыке Олексию? Вельяминовы... Воля... Власть... Но Дуня — сестра Микулиной жены, а Микула — свой, близкий человек и брат Ивана! И оба — сыновья дяди, Василь Василича... Все разом спуталось в голове, и князя бросило в холод и жар. Он выбежал, выскочил — Андрея уже не было, успел уйти старый лис! Минуя Бренка, сбежал по ступеням. На сенях нос к носу столкнулся с Федором Свиблом, старшим сыном Андреевым.

Боярин, румяный с холода, восходил по ступеням, явно не ведая еще ни о чем. Дмитрий рванулся к нему, схватил за плечи, близко заглядывая в глаза. (Сейчас исчезло, что был Федор более чем десятью летами старее великого князя, бешенство уравняло число лет.) Горячечно возгласил:

— Батяня твой приходил! Ты... тоже... веришь... в измену? — Кого, чью, не выговорилось словом. Но Федор — понял, знал ли? — не выдирая из сведенных пальцев Дмитрия отворотов ферязи и твердо глядя в глаза великому князю, отмолвил:

— Я ни о чем не ведаю и не мыслил ничего такого! Все мы твои слуги! Успокой себя, князь! Нас — семеро! Мы, ежели что, с саблями станем здесь, у этих дверей, и будем драться за князя своего, пока последнего из нас не убьют! И — охолонь! — добавил он тихо, коснувшись пальцем сведенных дланей Дмитрия. — Холопи б того не видали!

Дмитрий опомнился, разжал персты. Правда ведь: вернейшие паче верных! Что я, зачем? Понял вдруг, заливаясь жаром стыда, что трусил, трусил в душе все эти долгие месяцы, что не прошло даром ему Ольгердово нахождение и что теперь всего боится: Ольгерда, Олега, Михайлы Тверского... Даже родной дядя становил ему подозрителен, ибо, усвоивший с детских лет идею высокого предназначения своего, постиг он этою осенью, стоя на стене Кремника, всю опасную мнимость величия власти и даже жизни властителя... Андрей Иваныч Акинфов понимал своего «хозяина» Дмитрия Иваныча много лучше, чем понимал себя сам юный московский князь!

ГЛАВА 7

События завертелись затем с оглушающею быстротой. Наталья еще только выезжала из Москвы, а слух о самоуправстве тысяцкого обежал уже весь город.

Дума в этот день обещала быть многолюдной. Проходя сенями и раскланиваясь с боярами, Василий Василич узрел стоящего в углу Александра Минича с племянниками и прихмурил брови. Неужто по княжому зову приволоклись? Он кивнул брату Тимофею и замер, остраненно и враждебно вслушиваясь в гул голосов, подобный гулу пчелиного роя.

Наконец бояре начали по очереди заходить в думную палату. Как-то так получалось уже не впервой, что Вельяминовы, Бяконтовы, Зерновы садились по одной стороне и за ними обычно подсаживались Кобылины и Александр Прокшинич с Иваном Морозом, а на противоположных скамьях — Акинфичи с Морхиниными, Иван Родионыч Квашня, Окатьевичи, Афинеев, Редегины, перетащившие к себе нынче княжат — Александра Всеволожа и Федора Красного. Минины, не будучи думными боярами, остались за порогом.

Последним вступил в палату Федор Кошка, только что воротившийся из Орды, и, уже почти опоздав, в думу проник вослед за ним бледный Иван Вельяминов. Замучивая коней, он нынче в ночь прискакал из Переяславля-Рязанского, успев лишь кое-как смыть дорожную грязь, опружить чашу горячего меду и переменить платье. Для Акинфичей его приезд был полнейшею неожиданностью. В дверях он столкнулся с Федором Кошкою, и тот вполгласа остерег Ивана, шепнув:

— Колгота в боярах! На батьку твово донос!

Сидели в шапках — уже утвердившийся обычай думы государевой,— и потому шапки были из лучших лучшие, соболиные и бобровые, как и выходное платье бояр — парчовые и бархатные зипуны, шелковые ферязи; цветные, зеленые и красные сапоги были из мягкого тима и восточного сафьяна, шитые шелками и жемчугом; в руках стариков — драгоценные посохи резного рыбьего зуба, усыпанные камнями, яхонтами и бирюзою. На невысоком раззолоченном резном стольце восседал Дмитрий в шапке Мономаха и в подобии византийского императорского саккоса с золотыми бармами на плечах. Из-под парчового, усыпанного жемчугом подола едва выступали загнутые носы сапожек,

пурпурных — в подражание обуви цареградских василевсов. Он глубоко вздыхал, озирая бояр — гордился собой.

Спасский архимандрит благословил собрание. Поднялся Тимофей Василич Волуй, повестил об укреплении города Волока, куда решением думы предлагал послать воеводою опытного воина, князя Василия Иваныча Березуйского. Великие бояре согласно склонили головы, возражений ни у кого маститый, прославленный в боях воин не вызывал.

Феофан Федорыч Бяконтов слабым, но отчетистым голосом повестил о переговорах с князьями Оболенским и Тарусским. Имени тверского князя пока никто еще не называл, но оно чуялось, висело в воздухе, особенно когда встал Федор Кошка и начал сказывать ордынские новости.

Мамай пока отвлечен боями с Урус-ханом, тщится вновь отобрать Сарай; Орда потеряла Хорезм; Абдулла нетверд на престоле, слух идет, что Мамаю он надоел и тот мыслит его заменить Мамат-Салтаном; в степях за Аралом появился какой-то Тимур Аксак, и, словом, можно покудова не ждать пакостей от Орды, не до того им! Хотя и прискорбно, что Мамай все не понимает, кто ему враг и кто друг, и что лепше бы ему с Москвою навечно мир поиметь добрый! Последнее Кошка, усмехнувши, добавил сам от себя и сел под одобрительные перешептыванья бояр.

В черед взявший слово Александр Прокшинич повестил, что, поскольку у Ольгерда немецкие рыцари отняли град Ковен, он теперь со всею силою литовскою, как уже вызнано, отправится его отбивать, а, значит, похода на Русь или на Северские княжества в ближайшие месяцы ожидать неможно.

— Един раз уже прождали!

— У Ольгирда родны братья не ведают, куды он повернет!

— Не сожидаем, а...— грозно зашумела дума.

— Волок послали покрепить! — подал голос Василий Василич.

— Ты нам не Волок, не Волок давай, а изъясни, Василий, как таковая поруха вышла? У меня ить терем сгорел в волости, и с зерном, с портами, со всем! Ничо не поспели вывезти! Твой, тысяцкой, недогляд! — Григорий Пушка аж с места вскочил.

Дмитрий Василич Афинеев важно склонил голову;

дождав, когда задохнувшийся от гнева Григорий Морхинин сел, в свой черед подал голос:

— Заставы опять путем не поставлены, слухачей дельных не посылано, ратям незнамо сколь дён надобно до Москвы брести... Повести нам, Василь Василич!

— И почто,— подхватил Андрей Иваныч Одинец,— один тысяцкой зерно раздает нуждающим из княжьих анбаров? Кто счел, кому и сколь пошло того зерна? Который раз молвим: пущай будет обчий боярский догляд, не то, хоть и не сблодит Василий, а поруха кака, все будет на ём!

Андрей Иваныч тут именно, углядевши Васильеву тру́дноту и то, как забегали глаза у юного князя при упоминании государевых житниц, поддерживаемый сыном, поднялся с лавки, сложив руки на навершии посоха, изрек:

— Княже! И вы вси, бояре! Жалобу возлагаю на Василья, тысяцкого града Москвы, яко самоуправец есть и выше себя, окроме Бога самого, никого же веси на свети сём! Дозволь, князь-батюшка, выслушать холопа твоего верного, Лександру Минича, сыновцы коего, дети витязя, честно сложившего главу свою за ны в сече с Литвою, преизобижены кровно Васильем Васильичем, понеже выбиты из деревни с ругательством многиим, и деревня та отобрана у их...

— Не отобрана, а возвращена законной владелице! — не выдержав, рыкнул Василь Василич, привставая с места и наливаясь темною краскою гнева.— Крестьянское пепелище и то до двадцати летов не займуют! Може, воротит домовь али родич обретется! Родовая земля неотторжима! На том стоим все! Русь на том стоит! Порушь право на землю, и Руси не станет!

— Постой, Василий! — остановил его Андрей Акинфов, прикрывая глаза.— Твое слово будет впереди! Дозволь, княже! — И, уловивши легкий кивок Дмитрия, махнул рукою в сторону двери. Александр Минич с племянниками ворвались в палату и дружно упали на колени.

— Суда твоего просим, княже! — возгласил Александр.— Почто не дьяк твой, не по грамоте, почто сам Василий над нами насилие учинил! Боярскую вину князю ведати! От тебя, княже, суд и исправа, в чем повинны, дак повинны тебе, а не тысяцкому!

— Иное реку, бояре! — продолжил свое Андрей, утишая мановением длани поток Александрова красно-

речия.— Пущай виноват Минич, пущай доподлинно заехал деревню ту! Но и то спрошу, а кто та вдова, чья она, чей кус перехватил сын героя, убиенного на рати Ольгирдовой? Ведомо ли вам, бояре, кто есть сей? Вернее, кто он был? А я скажу, скажу всем, и тебе, Василий! Сей владелец был некогда послужильцем Василия Вельяминова, и, изменою поступив в службу к Алексею Хвосту Босоволкову, мыслил убить нового господина своего, и убил, зарезал на площади, чем сугубую услугу учинил тысяцкому Василию!

Братия, бояре! Вот он тут, Василий Вельяминов, много глаголал о вотчинных правах наших! Но не забудем и то разглядать, кто и за что получил земли свои! За кровь ли предков, в честных боях пролитую на рубежах земли в споре ратном с врагами, али, как тут, за убиение единого из нас, за зло, в ны вносимое, за раздор и смуту и прямое преступление противу всех божеских и человеческих начал? Кто есть насильник и кто злодей?! И почто Василий Вельяминов, утаясь князя и думы государевой, своею волей возвратил сей дар крови рекомой вдове? Не оттого ли, бояре, что и сам был в замысле том и убиении невинного?! Рано забыли мы зло, учиненное меж нас на Москве!

По скамьям покатился ропот. Многие углядели смятение молодого князя. Иные сурово поджали губы. Иван Родионыч, хмурясь, опустил голову. Семен Жеребец недоуменно вглядывался в лик тысяцкого, точно видя его впервые. Княжата усмехались, переглядываясь меж собой.

Василий Василич стоял, каменея ликом и сжимая ненужные кулаки, а Андрей, обретя пущую силу голоса, добивал его:

— И то вопросим, почто с Рязанью, с князем Олегом, супротивником нашим, и о чем ведет переговоры нынче Иван Вельяминов, опять же не спросясь думы и князя самого?! Коею благостынею задумал он вознаградить град Московский? Ведомо всем, как в тоя же Рязани спасался Василий с родом своим опосле убиения Алексея Хвоста! Дак вопрошу теперь: нам ли, государю нашему, князю ли Олегу мирволит тысяцкой града Москвы?!

Думная палата уже вся шумела глухо и грозно. Дмитрий, в пятнах лихорадочного румянца на лице, закусив губу и опустивши очи долу, вцепясь побелевшими пальцами в подлокотники, сам слушал Андрея

не прерывая. Давешнее напоминание о Гедиминасе, погубившем Витеня и захватившем литовский престол, мешая думать, не шло у него из головы.

Иван Вельяминов сидел сгорбясь, с запавшими от устали глазами. Хоть и предупрежденный Кошкою, он все же такой поносной клеветы от Андрея Иваныча не ожидал. Во все время речи в мозгу у него лихорадочно прокручивалось одно и то же: «Кого, кого вместо меня? Тысяцким! Самого Андрея? Стар! На ладан дышит! Ивана Мороза? Всеволожа? Зернова? Афинеева? Ни один не пойдет противу отца! Кто же, кто? Не Григорий же Пушка! Или Федька Свибло? Возлюбленник княжой! Нет, молод, бояре не примут!»

Опоминаясь, едва не пропустил конца речи Андрея Акинфова. Лукавый старец уселся, так и не предложив никого взамен.

Тогда Иван, решась, поднял голову:

— Можно мне?!

Дмитрий вскинул мрачный взор на младшего Вельяминова, мгновением стукнуло — запретить! Но, встретив смелый взгляд Ивана, уступил. Помедлив, неохотно кивнул головою.

— Скажи, княже! — рек Иван Вельяминов, претворив ропот думы в мгновенную тишину.— Лепше ли было бы Олегу Рязанскому ныне с Михайлой Тверским и Ольгердом Литовским дружбу вести, нежели с нами, московитами? Супротив всей земли русской, господа бояре, да еще и Литвы, не выстоять нам!

Сказал и сел. И тишина взорвалась бурею яростного спора.

Дмитрий, по-детски приоткрывши рот, все еще обмысливал сказанное Иваном, не в силах зараз перейти от одной мысли к другой, но уже чуя, что молодой Вельяминов опять, как и многажды до того, оказался по-своему прав, и, доведись до дела, сам Алексий не выскажет чего иного...

— У вдовы той,— негромко и устало выговорил Василий Василич, дождав тишины,— деревня своя, родовая. Вотчина, а не даренье мое! А что касаемо Никиты Федорова,— он приодержался, проглотил тугой ком, подступивший к горлу, закончил сумрачно: — убитого в том же бою, на Тростне, в том же полку Дмитрия Минича, честно живот свой сложившего за русскую землю, что касаемо его...— Василь Василич вдруг махнул рукою и сел, договоривши безо всякой

связи: — А зерно — пущай! Пущай думою делят, слова не скажу!

— Правду ли баял ты нам, Василий? — выкрикнул вдруг Афинеев.

— Правду! — раздался хорошо всем знакомый старческий голос.

По проходу между скамьями шел легкою походкою в темном монашеском одеянии своем и в белом клобуке Алексий. И по мере того как он шел, смолкала молвь, обнажались головы и лица склонялись к благословляющей руке митрополита. Для всех председящих владыка Алексий был и о сю пору паче князя самого.

Алексий уселся в поставленное для него рядом с княжеским кресло, благословил Дмитрия и, склонив лоб, оглядел собрание. На темном сукне его облачения ясно и строго горел золотой крест и осыпанная жемчугами панагия, знаки высшей власти церковной.

— Василий Вельяминов изрек вам правду! — отчетисто и властно повторил он.— Да, я сам, как ведают о том старейшие бояре, поял убийцу Хвоста в дом церковный, и нелепо тебе, Андрей, ворошить то, о чем надлежит забота токмо мне, отцу твоему духовному! Василья же по розыску, учиненному в те поры, не овиноватил никто! Прекратите прю, бояре, и помыслите соборно о защите града Переяславля от возможного нахождения ратного!

Тимофей Василич Волуй нарушил стыдное молчание боярского синклита, предложив:

— А детей героя, Василья со Степаном Мининых, за кровь отца, честно пролитую во брани, чаю, возможно удоволить со временем боярским званием, коли вы, господа, о том порешите и великий князь повелит!

Дума зашумела облегченно. Минины, все трое, кланяясь и пятясь, обрадованные, покинули покой. Тимофей Василич что-то говорил, неслышное в общем шуме, на ухо князю, и тот кивал, хмурясь и запоминая, потом поднял голову, предложив от себя возвести в бояре второго сына Андреева, Ивана Хромого, удоволивая тем самым нынешних противников тысяцкого. Вслед за тем, радостно устремясь в новое русло, дума начала обсуждать, кто, как и сколькими силами будет охранять костры и прясла Переяславской крепости от возможного Михайлова нахождения.

После заседания думы Вельяминовы, отец и сын, вышли вместе, посажались на коней.

— Погубит меня когда-нибудь Андрей Акинфов! — в сердцах молвил Василь Василич, отъезжая от княжеского терема. Иван сплюнул, сузив глаза:

— Еще один боярин на нашу голову!

Повторил наконец вслух то, что сверлило мозг:

— Кого из вельмож возможет Дмитрий нарядить во твое место?

Василий скоса глянул на сына, пожал плечом, ответил погодя:

— Не ведаю!

Князь Дмитрий, почуявший вновь, что произошло какое-то «не то», последовал за владыкою.

— Пуще всего, сын,— говорил Алексий наставительно,— блюди лад и ряд в боярах! Каждому поручай дело по силам его и по возможностям, дабы и празден не был, и утешен работою, и не растил в сердце своем зависти к иным! Надобно привлекать все новых мужей брани! И потому твой долг — мирить! Больше бояр — боле силы ратной!

— Тяжко мне! — возражал Дмитрий с детским прежним упрямством.— Владимира послали Псков стеречь, а меня — охотиться на волков!

— Не един раз молвлю тебе,— терпеливо ответствовал Алексий,— ты пастух стада своего, а не воин! Тебе надлежит смирять и вознаграждать! Вот когда худшая беда нагрянет, тогда и ты встанешь во главе ратей!

— Мыслишь, Михайло не прекратит брани?

— Нет, не смирился его дух! И, чую, минувшая беда — токмо начало великой при с Литвою и Тверью! Все мои слабые силы употребляю теперь, дабы святыми глаголами задержать беду! Ныне пишу в патриархию. Верю, Филофей Коккин преклонит слух к молениям нашим!

Они остановились в узком проходе к вышним горницам, где надобно было распрощаться, и Алексий, заглядывая глубоко в очи и душу Дмитрию своим темным всепроникающим взором, повторил:

— Я уже стар, князь! Молю тебя, не допусти свары в доме своем и в волости великого княжения Московского! Зла не имей в сердце!

И Дмитрий опустил глаза, опять не посмев сознаться в ненависти к Ивану Вельяминову.

Расставшись с князем, Алексий вышел, сел в свое закрытое креслице, носимое прислужниками, и молча дал себя нести, поглядывая семо и овамо в слюдяные окошка на суетящихся в улицах Кремника москвичей,

а те, завидя крытые носилки митрополита, снимали шапки и кланялись.

Скоро приблизили хоромы митрополичьего двора. Алексий нетерпеливо выглянул. Он сожидал Леонтия, посланного им во Владимир, с часу на час, и был несказанно рад, завидя во дворе знакомого, заляпанного грязью и снегом коня, которого вываживал молодой служка. Леонтий прискакал! Прискакал и вскоре, приведя себя в порядок и оттрапезовав, пожалует к нему.

Он поднялся к себе. Отпустил прислужников. Сидел, полузакрывши глаза и пригорбясь. Свара в думе утомила его. Утомила не сама по себе даже, а теми мыслями и опасениями, что всколыхнулись в душе.

Возможет ли князь Дмитрий без него, Алексия, собирать и съединять все это прегордое скопище вельмож, с их местническим счетом и опасениями, как бы кто кого не «пересел» и не «заехал»? А принимать надобно и иных — многих! В сем одном преграда Литве! А ежели не возможет сего князь? И что тогда?

Что-то надо решать и с должностью тысяцкого. Василий Вельяминов стар, уже стар! А ежели меня не будет? Как, чем закрепить надобное земле единение вятших с меньшими и друг с другом? И чем объединить, помимо порядка и счетов местнических?

Дьявол ходит в миру, дьявол огорчает сердца, вызывает резню, зависть, укоризны и злобы, и надобно ежедён, ежечасно побеждать его, раз за разом, день за днем! Поперечных друг другу — даже и умных, талантливых — погубит любой враг, и тогда уже не стоять земле!

Единая скрепа — любовь! Христианская любовь ко Господу и к ближнему своему! И пока русичи будут по случаю каждой малой зазнобы «вонзать нож в ны», дотоле не утвердить власти!

«Господи! Я грешен! Я принял на себя злобы мира сего! Изнемогаю! — хотелось выкрикнуть ему в звенящую пустоту.— Господи, помоги мне! Ради земли и языка, вверенных мне Тобою, помоги! Пошли мне заступника здесь, на земли, ибо не могу я один!»

Скрипнула дверь.

— Леонтий, ты? — произнес он сорванным, жалким, как послышалось самому, голосом. Тишина подсказала ему, что он ошибся. Алексий медленно повернул голову. На пороге владычной кельи, улыбаясь, стоял игумен Сергий.

ГЛАВА 8

Лось, матерый бык, черный горбатый великан, всхрапывая, ринул сквозь ельник прямо на Онисима. Пырька — верная животина! — с долгим воем взвился со всех четырех лап и повис, вцепившись в ухо быку, но остановить зверя уже не мог. Онька едва успел вздеть рогатину и приготовиться к встрече, как уже почти над ним, над головою, взметнулись смертоносные копыта, от одного удара которых не то что волк, медведь подчас падал с раскроенным черепом, и огромная, страшная от разлатых тяжких рогов голова затмила ему свет.

Принимая лося на рогатину, Онька мгновением утвердил рукоять и вдруг почуял, как опора, казавшаяся прочной, подалась под древком и стала погружаться в снег, не встречая более твердой преграды. Все произошло в такой срок, что только глазом моргнуть. Пыря, так и не выпустив лосиное ухо, пролетел по воздуху у него над головою и взвизгнул от удара о дерево, разомкнувши клыки. В тот миг, когда верный кобель отлетел в сторону, Онька успел перехватить древко и сам, проваливая в предательский мокрый снег, едва уйдя от смертоносного удара, пронесшегося вблизь его головы, мимо виска, сумел напряжением всех сил всадить рогатину под ребро лесному богатырю, и, чуя под широким острием хруст живой жилистой плоти, еще посунул, еще вдавил рогатину, и упал, сбитый в снег рухнувшею на него тушей. Лось, поливая снег кровью, бился и храпел. Видно, рогатина не достала-таки сердце. Острый дух и горячее дыхание зверя обдали ему лицо. Лось бился, пытаясь встать и вминая Оньку в снег. Жуткие лопаты рогов крушили валежник, и он знал, что одного удара их достанет, чтобы уже больше не встать.

Все-таки Онька успел вырвать нож и, обнявши зверя за шею, мотаясь вместе с ним вверх и вниз, утеряв шапку, вонзил-таки засапожник в горло великана, по счастью попав в становую жилу. Кровь хлынула струей, окатив ему все лицо и грудь. Онька продолжал цепляться всеми силами за шею зверя. Только не дать встать! Не дать бросить себя под смертоносный удар рогов или лосиного страшного копыта! Только бы, только... Он сам рычал, зубами вцепляясь в пахучую шерсть, боролся из последних сил, все больше угрязая во вспаханный снег и какую-то мерзлую кучу сухостоя,

которую, почитай, сам и навалил тут по осени. Засапожника и того уже не было в руке. Потерянный, ушел куда-то глубоко в снег, и опосле, придя в себя, Онька искал его, разгребая наст и ветви, едва не час.

Но вот тугие струи крови стали опадать, судорожные попытки подняться, встать на ноги, становились все беспорядочнее, все короче, и зверь наконец, всхрапнув еще раз, посунулся мордой в снег.

Онька, едва разжав сведенные судорогою пальцы, кое-как выполз из-под косматой туши, ужасаясь теперь проминовавшей его смерти, близко глянул в дикие, тускнеющие глаза лесного красавца и, отвалясь к стволу ели, сцепив зубы, дабы унять колотун, чуя, что весь мокр от головы до пят от усилий и страха, чуя слабость в ногах, и тошноту, и возникшую дрожь в руках, начал медленно приходить в себя.

Углядев в стороне лежащего на боку, слабо повизгивающего кобелька, он встал, качнулся, но снова сел (голову, ушибленную-таки лосем, так и повело), потрогал зачем-то крест на груди под рубахою — крест был цел, и это немного успокоило. Пырька подлез, волоча по снегу задние лапы, стал облизывать, жалобно повизгивая, ему руки, словно бы просил не бросать его теперь, увечного, в лесу. Онька потрогал спину и лапы кобеля: кость была, кажись, цела. «Отойдет!» — подумал. Он вновь приблизил, разыскивая шапку, к зверю. Пока искал нож, пока свежевал, нарезал тушу, отемнело. Далекая песня волков заставила его вздрогнуть: нападут — ему с увечным кобелем и не оборониться будет!

Он погрузил то, что мог, на волокушу, посадил сверху Пырю, который благодарно тянулся мордою, норовя вновь и вновь лизнуть ему руку, подобрал рогатину, приладил лямки и пошел, чуя ломоту во всем теле, боль от ушибов, но и довольство, растущее с каждым шагом. Перемог-таки! Совладал!

За долгую жизнь — ему уже перевалило за сорок — Онька уложил не один десяток и медведей, и лосей, бил вепрей, но такой оплошки, кажись, еще и не случалось с ним — чудом остался жив!

Волчий вой восставал все ближе и ближе. Онька с сожалением думал о том, что назавтра на месте боя найдет уже разве крупные кости зверя да рога, все остальное обожрут серые тати, и, подгоняемый настойчивым волчьим воем, прибавлял и прибавлял шагу.

Лесная избушка вынырнула наконец из сумерек бора, и крохотный багряный огонек в оконце (скорее щели меж двух бревен), закрытом пластиною льда, показал ему, что Ванчура не спит и ждет отца. (Ванчуре, третьему по счету сыну Онисима и Таньши, шел десятый год, и отец уже не впервой берет парня в лес, на охоту, вместе с собою.)

Сынишка вышел, не тратя лишних слов обнял и затащил в избушку кобеля, потом начал заносить мясо в клеть. Отволокли туда же и шкуру. Кровавую волокушу Онька обтер снегом, приставил к стенке плоско крытой накатником охотничьей избы. Только опосле всего, тем же снегом оттеревши кровь с лица и рук и, сколь мочно, с одежды, Онька вступил, пригнувшись, в низкую лесную хоромину, где пляшущий огонек сальника освещал грубую, из валунов и глины, черную печь, полати и развешенные и распяленные по всем стенам сохнущие шкуры зверей.

Сын, заботно взглядывая на отца, доставал деревянную мису, ложки. Онька бросил на лавку кусок печени. Наткнувши на прут и скупо посолив, сунул в горку горячих углей. Сытный дух жарящегося мяса наполнил избушку. Ели молча. Только уж приканчивая трапезу и срыгнув, Онька выговорил безразлично:

— Седни чудом жив остался! Бык под себя подмял. И кобеля покалечил, вот! — И усмехнул, завидя опасливое восхищение, вспыхнувшее в сыновьих глазах. Знал бы ты, сын, как твой батька струхнул ноне!

Укладываясь спать, перед тем как притушить сальник, Онька, покряхтывая, достал барсучьего сала, смазал все свои ушибы и ссадины, натер и кобелька, где мог. После повалился на полати, на старую лосиную шкуру, обнявши одною рукой Ванчуру, а другою натягивая на себя овчинный зипун.

В темноте слышнее стал ветер, шевеливший вершины огромных сумрачных елей, и волчьи всхлипы, визг и рычание невдали от избушки, над лосиными останками. Вновь, тихою жутью, напомнился давешний бой со зверем. Федьку альбо старшего Прошку взять с собою на друголетошнюю путину? А кто будет ладить упряжь, готовить дровни, сохи и бороны к весне, к страде?! — окоротил он сам себя. Подумалось еще, перед тем как окончательно провалить в сон: «Неужто старею?» Какой-то, верно, запоздалый волк завыл совсем

близь, почитай, под окошком избушки, и под его голос Онисим уснул.

Старший сын с лошадью должен был приехать через неделю, и, подумавши наутро ладом, Онька задавил вчерашнюю ослабу свою, раздумав тут же устремить домой, как ни болело тело после драки с лосем.

Назавтра, покряхтывая, он обошел силья, собирая задавившихся в волосяных петлях глупых куроптей. Двух-трех объела лиса. Онька ругнулся про себя, потом, подумав, насторожил капан и разбросал приманку. Лисьи шкуры хорошо шли у волжских гостей, на них почасту и соль давали, так же, как на бобра или соболя.

Пырька вечером, вновь накормленный мясом и растертый, благодарно ластился, повизгивая.

— Не брошу, не брошу тя, не боись! — приговаривал Онька, почесывая кобеля за ушами.

Дым тянуло по-над головою, сын топил печь. Было тихо, волки, справив вчера свою кровавую трапезу, отошли. Ванчура начал жарить лосятину. Помощник! Шестеро их — четверо сынов да две дочери,— и старший, Прошка, который приедет в конце недели на коне забрать шкуры и мясо, уже женат. Ему по осени порешили ставить отдельный терем. Таньша все не ладит с независимой остроносой снохой, Проськой, женою старшего сына.

Онька стал вспоминать, немногословно сказывая сыну, как горбатились тут поначалу, схоронив деда, вдвоем с Колянею (Коляня сейчас тоже во своем тереме, выделен, жена, три дочери, сын — все как у людей!) И третий подселился к ним, Недаш. Недашевых, никак, одиннадцать душ. Вот поставим терем Прохору, и станет в деревне четыре двора, как было когда-то, до разоренья етого, до Щелкановой рати...

— Батя! — просит Ванчура, усаживаясь на пол рядом с отцом и заглядывая ему в глаза.— Расскажи, как тебе князь Михайло терем срубил!

Онька улыбается, ерошит волосы сыну. Пырька торопится, спешит и Ванчуру лизнуть своим теплым, трепетным языком. Сто раз рассказано! Уже, поди, каждое слово затвержено наизусть! И как вышел молодой князь в цветных сапожках во двор, и как прошал: «Хошь, оженю? Невеста-то есь ле?»

— Так и сказал? — в сто первый раз переспрашивает сын.

— Так и сказал! А я-то подумал...

— Про матку нашу! — подсказывает Ванчура.

Таньша сейчас плотная, заматерелая баба, с двойным подбородком, тяжелая на руку, когда подшлепнуть которого, а тогда была... Как мылись в первой бане своей, и стояла голая и желанная у каменки, выжаривая вшей из ихних, просоленных потом портов... Того сыну не расскажешь! И как он, схоронив непутевую мать, сидел в бане, ожидая черной смерти, того тоже лучше не сказывать детям!

Во Твери Онька бывал раза два. Спервоначалу огромность и многолюдство города совсем было подавили его. А князя не видал с тех самых пор. Только на княжой двор и поглядел в отдалении.

— Ну дале, дале, батяня! — торопит сын.— Как он молвил: «Неуж не поставим, столько рыл!» И бояре рубили?

— Все рубили! И сам князь тоже.

— А князю Михайле сколь тогды было летов?

— Да лет едак... четыренадесять...

— Как нашему Феде?

— Пожалуй что и так!

— А сколь ему сейчас?

— Сколько летов сейчас князю Михайле? К сорока, поди уж! — нерешительно прикидывает Онька, всегда путавшийся в счете лет. Время виделось по подрастающим детям, по новым хоромам, по меняющемуся лицу жены... Хоша, вон! У Прошки уже и сын народился, Якуня, двухгодовалый сейчас, а у Таньши младшему, Степке, тоже два лета. Вместях играют внук и сын, дядя с племянником!

Потратили, потратили они с Таньшей силушки! Однако вон они стоят, терема! Высят над речкою! За добрым князем, да без ворога, да на своей земле жить мочно, мочно жить!

— Батяня, а князь тебя узнает, ежели узрит когда?

— Не ведаю,— раздумчиво отвечает Онька, глядя в огонь,— не ведаю... У его ить тыщи народу! Поди-ко, всех и не упомнить ему!

Прохор приехал с Федей на двух санях и на день раньше, чем было обещано. Повестили, что в деревню нагрянули данщики и торопят, боятся застрять в распуту.

Онька, посварчивая, начал собирать снасть. Парни споро и опрятно грузили сани, увязывая шкуры, укладывая в рогожные кули мясо и потрошеные тушки куроптей. Кобеля, что уже начал привставать на задние ноги («Отойдет!» — окончательно поверил Онька), уложили в лыковую коробью, тоже привязали к возу. Ванчуру усадили возчиком на первые сани. Онька с сыновьями, одев широкие, подшитые лосиною шкурой лыжи, шли следом вторых саней, и было славно, радостно было от румяных рож сыновей, от их ухватистой поступи, от смеха, шуток, звона молодых голосов.

Когда выбрались на зимник и кони пошли резвей, Онька присел сбоку на второй воз. Прохор с Федюхой бежали следом, стараясь догнать друг друга. Лес стоял в серебре своих драгоценных уборов, в голубых сверкающих жемчугах, недвижный, но уже как бы и приготовивший себя к бурному таянью снегов, когда рухнут пути и вскроются реки, к чуду новой весны, к радости пробуждения.

Когда показались по-над рекою знакомые кровли, дрогнуло сердце. Тысячи раз подъезжал он так вот к родимому дому, созданному им из ничего, на пепелище пустом! И тысячи раз отепливало радостно сердце: свой дом! Пашня, свое место жизни на этой земле!

Пока парни возились во дворе, сгружая возы и распрягая коней, Онька взошел в горницу. Данщики, двое, встали, поклонили ему. Онька потоптался, посопел, излишне долго вешая шапку и зипун на спицу. Потом присел к столу. Таньша, поглядывая на хозяина своего со значением, стала вместе с Мотрей, старшею дочерью (давно пора замуж отдавать девку!), доставать из печи и ставить на стол мясную уху, кашу и рыбники.

Скоро взошли сыновья. Помолясь, все взялись за ложки. Отъев, запив квасом, обтерев пальцы о рушник и срыгнув, Онька возвел глаза на данщика, ожидая слова.

— Нам бы поскорее, хозяин! — выговорил тот.— Сам знашь, дорога падёт и не выбраться тогды!

Была и еще труднота, и тверской данщик выговорил ее наконец: князь просил мужиков серебром («Или шкурами!» — торопливо подсказал второй данщик) рассчитаться за князев корм до конца года, а к осени созывал смердов на городовое дело во Тверь.

— Вота как! — нахмурился Онька. (Шкуры были,

но как жаль отдавать их, почитай, за бесценок сейчас данщику, когда мочно бы было свезти в торг и продать по хорошей цене ордынским гостям!)

— Ратиться, что ль, опять надумали? — снедовольничал Прохор.

Отец кинул на сына остерегающий взгляд. Сам подумал о том же самом. Теперича, после Ольгердова нахожденья, великой князь московской едва ли успокоится! А и не дай Бог, коли ратны на сю сторону Волги перейдут! До сей поры от ентой беды миловал Господь!

— Ты, Онисим, тута староста! — просительно выговорил данщик.— Как ты, так и вси...

Онька трудно склонил голову. Мочно было, конечно, потянуть, покуражиться... А! Князю Михайле виднее! Може, и верно, что без ихнего даванья не устоять земле!

Начался торг не торг, а вроде того. Крепко сбрусвянев, Онька слазал в клеть, отрыл береженую серебряную гривну-новогородку, несказанно удивив данщика, приложил пару бобровых шкур (соболей зато сумел-таки оставить до купеческого быванья).

Вынесли, погрузили в сани скотинную полть, куль хлеба. Онька поглядел на хлеб со всегдашним сожалением — жальче всего было ему отдавать рожь! Была бы своя воля — весь князев корм отдал бы мороженым мясом да шкурами! Таньша с тем же чувством досадливой жалости (получаешь чужое и на время, а отдаешь свое и насовсем!) таскала с Матреной сыры, холст, выкатили кадушку топленого масла. Все было уже давно припасено, отложено, изготовлено к приезду данщиков, а все одно — жаль было отдавать!

— А на городовое дело когда? — прошал Онька, провожая данщиковы тяжелогруженые возы.

— По осени! Как с хлебом справисси, дак и езжай, не жди! Двоих надоть от вашей деревни! — Он подхлестнул коня, плотнее запахнул суконный вотол. Возы скоро исчезли за поворотом дороги.

Онька, вздохнув, взошел в терем, словно бы ограбленный данщиком. Сел на лавку. Младшая из дочерей, Лукерья, Луша, поминутно спотыкаясь и пыхтя, волокла двухлетнего увесистого Степку в угол, где были у нее разложены немудрые игрушки (глиняный конь, куклы, какие-то тряпочки) и где сидел, дожидая малолетнего дядю с теткой, толстый Якуня, Прохоров сын. Глянув на батю, Лукерья торопливо обтерла маленькому

подолом нос. Скоро в избу посунулся Коляня, присел рядом на лавку, поглядывая на старшего брата, словно бы не решаясь о чем-то спросить.

Таньша сновала по избе, властно поджимая губы. Ни за что ни про что подшлепнула подвернувшуюся под руку Лушку, пихнула телка, вылезшего на качающихся ножках из запечья, рыкнула на тотчас огрызнувшуюся Просинью, присела наконец противу двух братьев, разглаживая крепкими, потемневшими от работы руками на коленях крашенинный сарафан.

— Сам пойдешь али Прошку пошлешь заместо себя? — Подняла на мужа строгий взор.

— Сам пойду,— отмолвил, подумавши, Онька.

— С Колянею? — уточнила Таньша.

— Не! — отверг Онька.— Недаш пущай ныне пойдет!

Таньша вздохнула, приподнявши вздохом жирную грудь, склонила шею — подбородок сложился тугими складками.

— Сюда б ратных не нать! — произнесла.— Дочерь понасилят, хоромы пожгут, скот угонят, ежели и сами-то мы живы останем...

— На Манькино займище скот отгонишь! — возразил Онька.— Я там и клеть поставил, и засеки мы с Прохором поделали на путях. А хлеб, лопоть — загодя надо в яму зарыть! Так-то, Коляня! — заключил Онька, хлопая брата по спине.— Коли меня тут не будет тою порой, ты и поможешь бабам добро схоронить и самим в лес поховаться! А хоромы пожгут, что ж! Новые срубим!

Сказал бодро, а самому, как вообразил такое, дак до беды, до смертного ужаса не похотелось той проклятущей войны с Москвой!

ГЛАВА 9

Весна приносит тысяцкому города Москвы не меньшие заботы, чем пахарю.

Привезли ли сухие дубовые дрова на государев литейный двор, что стоит на спуске к Подолу, прямо за стеною Кремника, и сам, как крепость, окружен валами, башнями и горотьбой из сосновых срубов, доверху наполненных утолоченною глиной да еще обмазанных

изнутри — не вырвался бы наружу жадный до всякого дерева огонь, не попалил бы город...

На вымолах чинят лодьи, готовят амбары к привозу новых товаров. Вот-вот пойдет лед, а там, провожая последние жемчужные льдины, поплывут по синей воде в далекую Орду и в море Хвалынское купеческие корабли. И на тысяцком опять все заботы гостей торговых, зело непростые, ибо русичи косятся на жадных и оборотистых сурожан, греки спорят с нахрапистыми фрягами, надобно удоволить также и немецкого гостя, что ведет крупную торговлю с Двиной, небезвыгодную великому князю, не давая, впрочем, немцу слишком залезать в русскую мошну... Всем им нужны льготы, «опасные» грамоты, подтверждения прежних прав, выданных еще Иваном Иванычем и даже Калитою, и надо у кого отобрать, кого и поприжать, не раздражая ни кафинских фрягов, ни Орды, ни государева дьяка, что то и дело, почуяв повадку князя Дмитрия, перечит вельяминовским распоряжениям...

На тысяцком и благоустройство города, и мостовые, и бани, и пригородные монастыри, получающие ругу от великого князя, на тысяцком повозное, весчее, конское пятно, служба мытных дворов, на тысяцком починка городовых стен, ремесленный посад, снабжение Москвы дровами, сенами и обилием...

И все это нынешнею весной свалилось на одного Ивана. Отец лежал больной, свалили простуда и гнев на Акинфичей, который, не имея выхода, разрушал могучее некогда здоровье великого тысяцкого Москвы. Василь Василич катался в жару и в поту по постели, мокрый, со слипшимися волосами, страшный. Иногда, скрипя зубами, бредил. Опоминаясь, пил квас и целебное питье, дико взглядывал на жену, костерил Андрея Акинфова с Алексашкой Мининым и вновь проваливал в беспамятство и жар. Кабы не старший сын, все дела московские пришли бы в расстройство.

Иван Василич вступал в сороковое лето своей жизни. Высокий, выше отца, с огневым взглядом умных, властных глаз (в гневе Ивановы очи темнели, и были тогда — как грозовая туча, застилающая голубой небосвод, а брови сдвигались суровым излучьем). Юная горделивая спесь, нарочитая небрежность посадки, когда молодой тысяцкий сидел на коне, взираючи сверху вниз, прищур — давно ушли, отсеялись с умножением дел и обязанностей, возложенных отцом на широкие

плечи Ивана. Он нынче не чванился ни перед гостями торговыми, ни перед смердами на посаде, ни перед боярскою чадью, давно понял, что то — лишнее и не пристало и не пристойно будущему хозяину Москвы. Марья Михайловна, гордясь старшим сыном, отнюдь не преувеличивала его заслуг.

За строгую внимательность к делу, за неизменную, умную последовательность решений Ивана любили все, весь посад. Все, кроме врагов вельяминовского дома, коим Иван тем паче стоял костью в горле, что права его в будущем на место тысяцкого оспорить нынче было бы трудно.

Иван, въевшись в отцовы заботы, и сына Федора, восемнадцатилетнего рослого, под стать отцу, молодца, приспособил к делу. В разгоне были все холопы и слуги, ключники и посельские, свои и отцовы.

Река ломала свой синий панцирь, и скоро надо было снимать мосты. Непрерывною чередою текли и текли из заречья возы с обилием, везли жито и рыбу, сено и дрань, и уже страшнее и страшней было переводить тяжкогруженые сани через потрескивающую, неверную опору весеннего льда с уложенным по нему рубленым настилом. Сюда Иван поставил сына и старшего посельского. Холопы и дружина сотворили под его доглядом два новых временных перевоза — успеть бы только до ледолома!

По всему берегу стучали топоры и колотушки лодейников, крепко пахло смолой и тою веселой весеннею свежестью, что манит в далекие земли, к неведомым городам, туда, вослед белым барашкам облаков, плывущих по чистому, промытому досиня весеннему небу.

Иван полюбовался широким озором заречных лугов и слобод, вдохнул полною грудью голубой, талый, пахнущий хвоей и дымом далеких деревень воздух, соскочил с коня. Стремянный подхватил брошенные господином поводья. Давя красными востроносыми сапогами рохлый, влажный снег, крупно прошагал к лавкам. Купцы встретили его поклонами и дружным гулом голосов, подобно пчелиному потревоженному рою. Иван, щурясь, привыкая к полутьме лабаза после сияющего солнцем дня, прошел к узорной скамье, здороваясь кивком головы с именитыми гостями, бросил соболиную шапку на стол, откинул долгие рукава («воскрылия», как он их сам называл) охабня, вы-

простав руки в палевого хрусткого шелку рукавах, схваченных в запястьях шитыми серебром наручами. Усмехнул краем губ, вопросил твердо и молодо:

— Ну, господа, гости торговые, о чем колгота?

Фрязин Николаи, бритый, сухопарый, с лицом из одних желваков и скул, беспощадным лицом генуэзского морского грабителя, выступил наперед. Спор шел о вымолах, отобранных фрягами у греков, в чем было и русичам утеснение. Иван выслушал фрязина, пристальным взором сокращая витиеватую речь торгового гостя. Перевел взгляд на черноглазого востролицего Некомата, как прозвали некогда хитроумного фрязина греки, да кличка так и прищепилась к нему заместо имени,— богатейшего из гостей, чьи села в Сурожском стану, данные ему еще Иваном Иванычем, не уступали княжеским. Выслушал и того, покивал головою, вроде бы соглашаясь. Вопросил вновь, сколь будут смолить и принимать кораблей, прикинул тут же в саженях потребную долготу вымолов. Легко вскочил на ноги, не застегивая охабня пошел к выходу, бросивши незаботно на обиходном греческом языке, коим изъяснялись и в Суроже и в Кафе даже и сами италийские гости, несколько слов, приглашая следовать за собой.

Гурьбою вышли. Гурьбою спустились к вымолам. Иван шагами измерял долготу пристани, прикидывал в уме. Николаи уже пыхтел, поджимая к носу крутой упрямый подбородок. Некомат морщил лицо, хитро поглядывая на сына тысяцкого.

— Вота здесь! — сказал наконец Иван, ткнув в землю носком красного сапога. Примолвил по-гречески: — Ты что, Некомат, сотни бревен не достанешь в селах своих?! Протянете вымол! — (Выругался по-русски.) — Протянете вымол,— продолжил, вновь переходя на греческий язык,— и хватит вам тута мостов за глаза и за уши! А греческие вымола очищай! Тамо и наши лодьи чалятся. Счас очищай!

Николаи, брызжа слюною и размахивая руками, начал было спорить, но Иван пристально глянул в глаза фрязину. «Охолонь!» — сказал и уже на фряжском добавил, что назначит днями переверку товаров на фряжском дворе. И ежели найдет утаенный от мытника скарлат...

Некомат, отпихнув Николаи, кинулся на помощь

сотоварищу. Первый почуял, что зарвались, и надобно отступить.

Дождав, когда фряги начали очищать захваченный вымол, Иван кивнул, принял плеть от стремянного и легко, красиво всел в седло. Греки и русичи кланялись, благодаря. Он отмахнул кудрями, принял шапку, еще раз проговорил по-фряжески Некомату свое предостережение. И вечером совсем не удивил, получив от неведомых дарителей постав алого италийского бархата с просьбою погодить с переверкою хотя бы до конца недели. «Распродадут!» — подумал. Принос был не скуден и, пожалуй, несколько извинял фрязинов. Конечно, серебра в князеву казну они опять недодадут, но лучше так, чем совсем уж мирволить им, как это повелось на княжом дворе, где позволяли фрягам вытеснять иных купцов с вымолов, а после вздувать цены в торгу на свои товары...

«Была бы моя воля! — с досадою подумал Иван.— Все эти прежних князей грамоты пересуживать пора! Волк этот, немчин, какой торг ведет! А даней с него — сущие слезы! Одна слава, что на Москве гостям легота! Налетело их, что черна ворона! Да уж пора и поприжать иных! Казне великокняжеской от того великая сотворилась бы благостыня! Нынче не разбегутся, в Тверь не уедут, не та корысть!

А в Цареграде какую власть взяли! Поди-ко, весь торг в Галату перевели! У их, у фрягов, с веницейскими фрязинами война... Дак и Кантакузин не сумел генуэзцам окорота дать! Теперь и сюда пролезли, и тут жмут! А и в Орде Мамаевой у их сила! Так-то вот, поглядеть пошире, дак и понятно станет, почто такой вот бритый фрязин у нас, в русской земле, самоуправствует... А надобен, надобен им окорот!»

Сразу от вымолов Иван поскакал на литейный двор, к бронникам. Тут он все знал и его все знали. Не задерживаясь во дворе, не петляя среди старых опок и холмов шлака, проминовавши сараи, где, скосив глазом, узрел непотребно пустые провалы вместо куч древесного угля, и тихо взъярясь (в уме уже сложилось, как, кого и куда послать, дабы построжить углежогов и, главное, возчиков: оставят уголь в Заречье — литейный двор остановят!), Иван нырнул в темное жерло входа, проминовал грохочущий тяжкою музыкою кузнечных молотов второй двор и устья литейных, откуда порою вырывались сполохи багрового пламени, толкнул дверь

оружной палаты и еще одну, внутреннюю, очутившись наконец в широком покое, где хранилось оружие и отдыхали сменные мастера — пили квас, толковали о своем. Двое, позабывши про все, играли в шахматы.

Ивану Василичу кивали, кланялись, узнавая. Пожилые мастера с достоинством протягивали смуглые от въевшейся несмываемой копоти длани, жали руку боярину. Он сел не чинясь, плеснул себе терпкого квасу в железную кованую чару, выпил. Огладил русую красивую бороду, глянул соколом, приглашая к разговору.

Скоро мастера, столпясь вокруг стола, кто и почти утеснивши плечами сына тысяцкого, вперебой толковали о своих бедах, а Иван, достав и раскрывши вощаницы, писал костяным, новгородской работы писалом с головкою сказочного зверя в навершии, твердо процарапывая на восковой, темной, многажды исписанной и вновь затертой кленовой дощечке: «Уксусу два пуда осьмнадцать фунтов, да селитры полтора пуда, да яри, да масла постного, да серебра волоченого, да твореного золота сорок золотников...»

— Чеканы не пиши! Чеканы свои поделам! — подсказывали ему, теснясь у него за плечом и заглядывая в вощаницы, бронники, вперебой называя составы и вещества, надобные для воронения, наведения мороза, сини, черни, для протравок, серебрения и золоченья шеломов, зерцал, куяков, пансырей, поножей и налокотников, боевых топориков, широких рогатин и узких копейных наконечников. Оружейный снаряд готовили нынче, в предведении новой войны, нешуточный, и литейный двор работал в полную силу. Прошли затем в амбары. Иван ворочал якоря, брал в руки крюки, пробои, скобы и скрепы, наральники, подымал связки подков, пересыпал в коробья кованые гвозди. Один, ловко подхватив клещами, загнул, проверяя, не пережжен ли металл, не хрупок ли гвоздь. (Коней ковал сам не хуже любого кузнеца, и потому тут оглядывал все умным взором мастера.)

— Угля! Угля! — просили все мастера. Паче недоданных кормов, паче платы серебром, о чем возгорелась целая тяжба с княжеским казначеем. Без угля двор обещал встать уже в ближайшие дни. И Иван тут же, в литейной избе, сжевал кус хлеба и, запивши его

квасом, сам поскакал во главе горсти холопов на ту сторону, дабы уже в эту ночь по неверному, грозно гнущемуся весеннему льду доправить из Заречья застрявшие где-то на путях возы углежогов.

Уголь не довезли, оказывается, прослышавши о болезни тысяцкого. Кому-то очень хотелось напакостить отцу!

Ему пришлось с руганью и угрозами забрать из припутных деревень крестьянских коней и возчиков (которым, впрочем, была обещана плата железной кованью), пришлось вызвать на себя гнев и угрозы владельцев, обещавших пойти с жалобою в государеву думу, чтобы уже в полной темноте, измученному, в мокрой, заляпанной грязью сряде, сорвавши голос и не выпуская замаранной кровью татарской плети из рук, на спотыкающемся коне, доправить обозы с углем до Москвы-реки и тут же, в холодной передрассветной, дрожью пробирающей теми, распихивать возы по всем наведенным загодя переправам, не позволяя возчикам ни часу, ни минуты передыха.

И уже когда ледяное небо окрасил сиренево-розовый свет, отраженный быстро бегущими, словно струистые дымы, рваными облаками, и последние груженые возы, засорив черными струями угольной пыли ноздревато смерзшийся за ночь снег, уходили на тот, московский берег, и еще тянулись запоздавшие, и уже правили к единому зимнему мосту, ибо прочие держались неведомо как, частью уже и плавали в воде, и отдельные бревна, засасываемые упорной стихией, начинали вставать дыбом, знаменуя начало ледолома, лишь тогда, доправив-таки на восставшем, словно меч Михаила-архангела, сиянии утреннего светила последние возы через переправу, Иван шагом, на шатающемся, покрытом пеной и грязью скакуне, миновал мост и умученно кивнул кинувшимся к нему мостникам, повелев крючьями вытаскивать на берег ненужные теперь мостовины. С верховьев, от Черторыя, несло далеким гулом и шорохом. Река вскрывалась, оттуда шел лед.

Иван достал плат, обтер потное, грязное и мокрое чело, внезапно и смертно устав, оглядел, уже остраненно, опасную работу крючников. «Эй! Тамо! — крикнул.— Не утопни, дурень!» И поехал берегом, шагом, на шатающемся коне, сопровождаемый спотыкающимися, валящимися с седел от устали стремянным и

холопами, все повторяя и повторяя про себя неведомо как пришедшие в ум строки древнего греческого певца Омира, повествовавшего некогда о войне Троянской, строки о виноцветном море и неведомой розоперстой заре... Всходило солнце.

Во дворе терема Иван, свалившись с седла, обнял и поцеловал коня в лоб, кинул повод сбежавшимся слугам, шатаясь, полез по ступеням, на ходу непослушными пальцами расстегивая мокрый насквозь охабень, который, не глядя, стряхнул с плеч на руки подхватившей его прислуге. Выпил, плохо понимая, что пьет, горячего медового сбитня с греческим вином. Сияющей взглядом жене, отдавая чару и глянув обрезанно, только и высказал:

— Довезли! В баню пойду! Стремянного созови тоже!

Баня, выстоявшаяся, протопленная загодя, сожидала мужиков. Иван аж со стоном, отделавшись от останних заскорузлых портов, нырнул в банный жар. Свирепо плеснув квасом на каменку, полез на полок. Скоро боярин и стремянный, господин и холоп, голые, лежали рядом на полке, охаживая себя и друг друга добрыми березовыми вениками, плескали еще и еще, стонали от удовольствия, ухали, сваливаясь от жара на пол, снова и снова лезли на полок. Наконец, почуяв, что уже проняло до нутра, до костей, Иван сгреб кусок булгарского слоистого мыла, подставил спину холопу, густо мылил потом голову с бородой.

В предбаннике, опоминаясь, утирая лица рушниками, долго пили малиновый квас. И уже в чистой рубахе и свежих портах, накинув на плеча белополотняный, шитый травами домашний зипун, Иван прошел на половину родителя.

Немногословно, любуя взором хворого Василия Васильича, повестил, что доправил уголь и литейному двору не грозит останов.

— Вот, Иван, служба наша с тобою! — с растерянною горечью вдруг вымолвил отец, глядя на сына беззащитно и жалобно.— А умру, не ведаю, тебе ли передам тысяцкое во граде Москве! Какой-нибудь Андрей... Али сын еговый...

Иван усмехнул весело и грозно:

— Не сумуй, батюшка! Сам сказывал, яко мы, Вельяминовы, Даниловичей всадили на престол! Михайлу

Ярославича отбили, Юрию помогли, Дмитрию, почитай, купили владимирское княжение! Каменный храм у Богоявления кто строил? Дедушко твой! А стены Кремника кто клал? Все здесь вельяминовское, наше! Гляди, весь посад — гости торговые, смерды, ремесленники, чуть что — к нам на двор! Того и князь Митрий не переможет, а уж Акинфичи... Не сумуй, батюшка, выстоим!

Старый тысяцкий молча поглядел на сына и, ничего не ответив, вздохнул.

В этот день Василий Василич сам поднялся к трапезе.

В просторной повалуше сидели за столом своею семьей с немногими слугами. «Сам», Марья Михайловна, Иван с Оксиньей и сыном Федором и младший брат Ивана, Полиевкт. (Микула, женатый на суздальской княжне, жил особо, своим теремом.) За стол были приглашены духовник боярина, старший ключник с посельским, сокольничий и Иванов стремянный, ради того, что разделял только что господские труды,— всего дюжина председящих, и обширная палата, способная принять до сотни гостей, от того казалась пустынною. В открытые окошка вливалась весенняя свежесть, и со свежестью — сплошной, рокочущий шелест и гул: по Москве-реке шел лед и взбухающая вода уже заливала Заречье.

Ели неспешно, хлебали уху из дорогой рыбы, черпали узорными ложками гречневую рассыпчатую кашу, протягивали руку за пирогом или моченым яблоком, отпивали квасу, удоволенно вели попутный хозяйственный разговор, нет-нет да и оборачивая ухо в сторону отверстых окошек и взглядывая затем уважительно на Ивана, успевшего опередить ледоход.

Когда уже вставали из-за столов, Оксинья заботно потянулась к супругу:

— Соснешь теперь?

Иван прижмурил очи, повел плечами, усмехнул.

— Не! На Неглинную съезжу! Мосты б не снесло невзначай.

Взявши в сопутники другого стремянного и немного гордясь собою, Иван уже через полчаса, на свежем коне, выезжал со двора.

«Не, Митрий Иваныч! — мысленно выговорил он, направляясь к Фроловским воротам Кремника (про себя никогда не называл юного Дмитрия князем).—

Без Вельяминовых не сдюжить тебе и никоторого из бояр ты на мое место не поставишь!»

Думы его от мельниц и запруд на Неглинной перенеслись дальше. В распуту Ольгердова нахожденья, да и тверских ратей, можно было не ждать, а затем? Как повернет в Мамаевой Орде после смены нового хана? Как Иван Мороз справится в Переяславле, где надобно срочно разметать ветхую горотьбу, срубить наново и поставить, засыпав землею, новые прясла стен и костры, углубить рвы, пополнить оружейный двор, послать дозоры до Семина озера и на Усть-Нерли, ко Кснятину... Ну, Иван Мороз справится! Представил себе строгого немногословного боярина, десятью годами старше его, Ивана, который и с родителем, Семеном Михалычем, в разных землях бывал, и на ратях стоял, и городовое дело ведал, как никто... Этот выдюжит! Поболе б таких слуг московскому князю! Представил себе Переяславль, верхи тамошних монастырей, княжой двор, митрополичьи палаты, посад, рыбацкую слободу, Клещино, с его широким озором на дальние леса за Весками, и синюю атласную гладь озера, и рыбачьи челны на ней... И как сейчас где-то у Берендеева валят лес, и как по Трубежу, по полной весенней воде, учнут плавить его до Переяславля, и как закипит тотчас после пахоты и сенокоса веселое мельканье посконных мужицких рубах на валах, как потянут сотни коней окоренные стволы и волокуши с землею и глиной...

С легкою завистью даже к Ивану Морозу вообразил все это, не ведая сам, что мыслит сейчас стойно самому князю московскому, вернее, как надлежит мыслить истинному хозяину Москвы, и что именно этого хозяйского, властного дозора за всем, что творится на Москве и в пределах княжества, и не может простить ему великий князь Дмитрий.

Самодержавие было бы лучшей формой правления, сказал один умный историк XIX столетия, ежели бы не случайность рождения. Если бы, добавим мы, самодержцы различных мастей не рассматривали зачастую превосходящие таланты подданных как угрозу собственным благополучию и власти.

Микулинский, а ныне тверской князь Михайло Александрович понимал сам, как понимали и все прочие тверичи, что так это не окончит, что Ольгердова нахожденья Москва ему ни за что не простит и предстоят новые тяжкие бои с великим князем Дмитрием. Поэтому он и укреплял города, готовил и закупал оружие, потому смерды дружно давали серебро, собираемое на полгода вперед. Серебро требовалось прежде всего для ордынских подкупов.

Чтобы оторваться от великого князя Дмитрия, Михаилу надобно было прежде всего стать великим князем тверским, вполне независимым володетелем, ответственным данями и выходом лишь перед Ордою, право на что мог дать один лишь Мамай, у которого за русское серебро покупались и воля, и власть.

Безошибочно угадывая грядущее наступление Москвы, упорный тверской князь решил по примеру своего великого деда прежде всего укрепить столицу княжества. Все лето, пока москвичи укрепляли Волок и ставили по насыпу новые городни Переяславля, в лесах на верховьях Волги не умолкала яростная песня топоров. Готовые ошкуренные стволы высокими кострами высили у всех вымолов, ожидая часа своего, дабы плывом плыть в Тверь. Мастера загодя начерно вырубали пазы и метили бревна, дабы собирать прясла стен на месте уже из готового.

Русские плотники еще и в XV—XVI веках изумляли своим искусством, чистотой и быстротою работы. Когда осаждали Казань, целый город, Свияжск, с укреплениями и башнями, вырос, как в сказке, супротив Казани за считанные недели. Это было возможно в стране, где каждый житель был плотником, каждый, от смерда до великого боярина и до самого князя, мог взять в руки топор и срубить клеть. Петровский вельможа Меншиков, сосланный в Березов, уже в преклонных годах сам себе поставил избу. А мужики разучились рубить в обло и в лапу, в крюк и впотай (и еще до пятидесяти видов рубки знали уже в XV веке!), мужики, повторяю, разучились рубить и начали класть дома из бруса только уже в наши, самые последние дни. (Последние. Ибо страна плотников превратилась ныне в нацию неряшливых лесорубов, умеющих только

валить да губить леса — украсу и единственное спасение нашей земли.)

И все-таки умение предков возводить в считанные дни целые города изумляет. Тверь осенью 1369 года была окружена новою крепостною стеною из основательной рубки клетей, поставленных по насыпу надо рвом вплоть друг к другу и обмазанных снаружи глиною от огня, а изнутри забитых утолоченною землею, стеной со многими башнями, окружившей весь город и, как показало будущее, неприступной — пусть из готовых срубов, пусть силами всей Тверской волости, — но поставленной всего за две недели!

Князь Михайло поднял на ноги всех бояр, заставил раскошелиться купеческую старшину и сам все лето почти не слезал с седла. Тверь, свою Тверь, намерен он был не отдавать никому.

Князя видели в верховьях, где он, неведомо как, в сопровождении всего двух-трех послужильцев вдруг выбирался из леса, разбойными светлыми глазами оглядывал свежий лесоповал, проезжал верхом сквозь разворошенный людской муравейник, улыбаясь потным мужикам. Конь, мотая головою, отбивался от мириадов слепней, облепивших его атласную шкуру и сплошным потоком — морду коня, бил хвостом, ярился, а Михайло, тоже вдосталь искусанный, только небрежно обмахивал себя сорванной березовой ветвью.

Присев на корточки, он глядел, как сработаны покаты, измерял расстояние до воды, подсказывал и хвалил, совал нос и в котлы с варевом, тут же учинял разгоняй поваренным мужикам, ободрял, шутил, необидно подзуживал, так что мастера с удвоенным пылом наваливались после того на работу. Вновь исчезал, вусмерть загоняя свою дружину, чтобы вынырнуть нежданно уже за шестьдесят верст под Городком, где распоряжал кузнецами, измерял кованые крючья, коими волокли лес, опробовал новые, с многослойными лезвиями секиры и тоже ободрял, торопил и строжил мастеров.

Его по-прежнему любили все. И бояре, ни разу не изменившие ему в эти годы сумасшедшей, отчаянной и последней борьбы с Москвой, и купеческая старшина, и ремесленники великого города Твери, и смерды, вынесшие на своих плечах череду кровавых битв и разорений. Любили еще сильней, еще неистовее, потому что так сложилось, что только в этом яснгла-

зом, словно выкованном из стали князе сосредоточились все надежды, вся слава великого города, который не мог расстаться с прошлым своим и чаял возможным вернуть потерянное первенство в русской земле, когда вновь восстанет тверская громозвучная слава и гордые торговые караваны поплывут без опаса во все края, за степи и по морю Хвалынскому, и дальше того, в земли незнаемые; когда, обретшая своего главу, подымется Тверь, как выставала не раз и не два, после Шевкалова разоренья и поборов Калиты, после пакостей кашинского князя, пожаров и бедственных моровых поветрий... Все равно! Восставала, росла и ширилась, и не хотела тверская земля уступать никому своего золотого величия!

Михаил временами всею кожею, нервами, как натянутую струну, ощущал эту веру в себя и жажду во что бы то ни стало выстать. И это укрепляло, держало, помогало устоять и ему самому в любой трудноте, уцелеть, выдержать. Он уже услал послов и киличеев в Орду хлопотать о великом княжении тверском, и ему было обещано, что с переменою хана Мамай непременно уважит его просьбу. Беспокоило, что Ольгерд снова увяз в борьбе с немецким Орденом. Зримо, паутинною дрожью, проходила через него судьба земель и народов. От Хорезма, потерянного Ордой (даже еще от Чина, потерянного монголами!), прокатывались волны многоразличных бурь и крушений. Ссоры ак-ордынских ханов с Мамаем и владыками Сарая сумятицею цен отражались в тверском торгу. Ослабление Мамая — а с ним и Дмитрия,— казалось бы, на руку Твери? Хотя ежели Мамай повернет на Москву?! Издыхающая Византия и грозное наступление Литвы на Северские княжества; Новгород и Псков, вновь склонившие к Москве; прекращенный на время, но отнюдь не угасший спор о митрополии... Гибель или победа православия в Литве? Вот вопрос! С победою и утверждением там воли Алексия Твери приходит конец! Но Ольгерд ненавидит Алексия! С победою православия в Литве, со своим, враждебным Москве, митрополитом, все, все еще можно переменить! А Смоленск? А Борис Городецкий, зять Ольгердов, далеко не смирившийся, как передают слухачи? И дети Дмитрия Костянтиныча, тот же Василий Кирдяпа... И натиск немцев, и борьба Венеции с Генуей за наследство греческой империи... И ежели бы

выстроилось в этом мятущемся море единое, скованное согласною мыслью действование от Сарая до Вильны, дабы сокрушить Москву! А потом, а после? Рано или поздно ему, Михаилу, придет столкнуться с Ольгердом... Понимает ли это Ольгерд? И чему верить, чего ждать, ежели в Литве одолеют католики?

Паутинной дрожью текло, замыкаясь в воспаленном бессонницею мозгу тверского князя, напряжение сцепленных судьбами языков и земель, государств и правителей, князей, ханов, королей, императора, василевса, греческого патриарха и папы римского... И в сердцевине всего — эти вот веселые, яростные, как и он, мужики, что рубят лес и, засуча рукава, вагами скатывают к воде тяжелые смолистые бревна. И — гигантский, неправдоподобный, пустивший всюду щупальца свои нарыв на теле русской земли, который надо выдавить, вырезать, выжечь,— Москва.

Он прискакал в Тверь, где не был уже пятую неделю, запыленный, поднялся по ступеням, крепко и торопливо, невзирая на оступившую их прислугу, расцеловал Евдокию. (Как странно, что у них с Дмитрием и жен зовут одинаково, а его Евдокия — родная тетка Дуни, жены князя московского!)

Евдокия подняла вопрошающий взор. Он наказал созвать к обеду бояр, тысяцкого, посадскую старшину. Рассеянно потрепал по головкам Сашу с Борей (старший сын, двенадцатилетний Иван, надежда отцова, был сейчас с боярами в Микулине), строго глянул на слуг. На загорелом лице со спутанной бородой глаза в покрасневших веках светлели особенно ярко.

— Рожь сожнут, и почнем ставить город! — сказал твердо, как о решенном. Свалился на лавку.

Евдокия вышла наказать, дабы готовили баню князю с дороги и трапезу для гостей, и, воротясь в горницу несколько минут спустя, хотела повестить, что явился боярин Захарий Гнездо, но застала князя своего свесившим руку и уронившим голову на стол. Сердце у нее захолонуло и ухнуло вниз. Она всплеснула руками, отчаянно бросившись к супругу. Но Михаил был цел и невредим, он попросту крепко спал, заснув, едва только ноги донесли его до лавки, а всклокоченная светлая голова коснулась столешницы. И Евдокия, едва сдержав слезы, остановилась над спящим супругом, не ведая, как ей быть: будить ли его теперь али попросту, созвав холопов, донести князя до постели?

ГЛАВА 11

Онисим, созванный, как и другие, по осени на городовое дело во Тверь (велено было явиться с конем и телегою), не ведая, как и чем будут кормить на князевой работе, подумав, прибрал с собой провяленной медвежатины и сухарей. Сухари оказались ни к чему, так и пролежали до самого конца работы, а медвежатину в охотку всю подмяли сябры — пригнанные, как и он, на городовое дело мужики, что спали в одной обширной клети вповал на жердевых нарах, покрытых соломою и устланных старыми попонами.

Кашеварили чаще всего на дворе под навесом, и вечером после трудов все сидели, тесно обсев котел с горячею кашею, черпая в очередь друг за другом князеву вологу и крупно откусывая от толстых ломтей хлеба. Пили кислый ржаной квас, а наевшись, развесивши около нарочито истопленной каменки онучи, непередаваемым смрадом наполнявшие всю хоромину,— начинали разливанные байки. Тут и бывальщины шли в ход. Рассказывали про нечистого, который путал сети, про лесовиков, про баенную и овинную нечисть, про «хозяина» — домового; сказывали, кто ведал и знал, про князей, про Орду поганую, и о том, как татары в походах жрут сырое мясо, размяв его под седлом, и о том, как полоняников продают восточным и фряжским гостям на базарах в Кафе и Суроже, и про Персию, и про Индийское царство... Всего можно было наслушаться тут! А то принимались петь, и тогда строжели лица и песня, складно подымаясь на голоса, наполняла хоромину, уводила куда-то вдаль — от истомных трудов, от грязи и вшей, от портянок,— в неведомые дали, где кони всегда быстрее ветра, а девицы краше солнца и ясного месяца...

О князе Михайле гуторили много. Онька тут-то как раз и не выдержал. Дернула нелегкая похвастать, что сам князь ему терем ставил на дворе... Не дали договорить, грохнули хохотом мужики:

— Ой-ей-ей-ей-ей! Ты, паря, ври, да не завирайсе хошь!

Его мяли, тискали, пихали в затылок, дергали за вихор.

— Да знаешь ли ты еще, каков он, тверской князь? Ён, ежели хошь, единым взглядом и вознаградит и погубит кого хошь! Даве мужики сказывали: силов

уж нету,— бревна спускали на плаву,— и тут князь Михайло, сам! Отколь и силы взялись! А он поглядел так-то, глаз прищурил — глаз ясный у ево! «Сдюжите,— грит,— мужики,— не будет и Тверь под Москвой!» Негромко эдак вымолвил... Мы, сказывают, пока плоты не сплотили да не спихнули на низ, и не присаживался боле никоторый. А уж потом, где полегли, тута и... значит... Не выстать было и к выти, ложки до рта не донести...

Онька плотничал не хуже других, и сила была в плечах. Работою брал. На работе, пока клали бревна, пока рубил углы, таскал глину, над ним не насмешничал никто. Но вечером становило невмоготу. Только и ждал уж, когда сведут городни да отпустят домовь. Хошь в лесе спрятаться со стыда!

Стена уже подымалась до стрельниц — невысокая еще, лишенная возвышенных костров, кровель и прапоров, но уже грозно-неприступная; и тысячи копошащегося народа в ее изножии, сотни лошадей, телеги с глиною, мельканье заступов и блеск топоров — все мельчало, низилось перед твердыней, воздвигнутой ими себе самим на удивление за немногие дни сверхсильного, схожего с ратным, труда.

Боярин, что отвечал за ихний ряд городень, почитай, целый день не отходил от работающих, но князя Михайлу мужики видали редко, и все как-то издали. Но единожды он и к ним пожаловал. Озирая уже почти готовую стену, рассыпая улыбки, что-то говоря спутникам, он шел, перешагивая через бревна и кучи земли (коня вели в поводу, сзади), в одном холщовом зипуне, без ферязи, единой белизною одежд да шелковым шитьем по нарукавьям отличный от простых мастеров.

Мужики, шуткуя, подтолкнули Онисима сзади.

— Вона! Твой князь! Созови, слышь! Али оробел?

И верно, оробел Онька и совсем уже негромко позвал:

— Княже!

Михаил оглянул вполголовы, вприщур, на столпившихся мужиков, улыбаясь, шагнул встречу устремленному на него взгляду, еще ни о чем не догадывая.

— Не узнал, князь? А это я, Онька...— сказал Онисим и растерянно замер, увидя, что Михайло не узнает, не вспоминает, и с таким детским отчаяньем,

просквозившим в голосе, досказал почти шепотом: — Терем... На Пудице...

Михаил вдруг, прихмурясь на миг, замер, вспоминая, и улыбнулся широко, молодо, по-мальчишечьи.

— Онисим! — вымолвил. Шагнул к нему и, раскинувши руки, небрегая заляпанною глиною Онькиной справой, обнял и крепко расцеловал в обе щеки, от чего у Оньки разом полились радостные слезы из глаз.

Мужики, что, похохатывая наперед, сожидали Онькина срама, тут замерли, округливши глаза. Не верили, никоторый не верил ведь россказням этого лесного увальня! Думали — брешет, и брешет-то безо складу и ладу.

— Где стоишь? — вопросил, трогаясь в ход, Михаил.— Ну, я пришлю! — вымолвил легко, как о должном: — Как городню кончим, бывай у меня в гостях!

Вечером Онисиму долго не давали спать, выспрашивали о каждой мелочи: как, да что, да в которое время? Вызнав, что был князь тогда еще юн, четырнадцатигодовалый, качали головами:

— Ну, тогды понятно, ты бы, паря, враз повестил о том! Отроку-то чего не придет в голову!

— Не, други! — раздумчиво прогудел доселе молчавший пожилой мужик, что сидел на нарах, кочедыгом подплетая прорванный лапоть, и, дождав тишины, продолжил: — Ён князь! И тогды, значит, понимал! Ведал, што быть ему князем великим!

— Ну, и чего? И што тут — быть...— раздались голоса.

— А то! — значительно отверг мужик.— Може во едином, ну, одному хошь Онисиму содеял, а мыслию — для всех! Озаботил, значит, себя! Хозяин! Ты-то вот тоже какого там кутёнка не бросишь во хозяйстви своем, потому — свое! Князь по нас, и мы за князем! Так-то, мужики! И зря галились над Онисимом!

— Дык што, и в гостѝ взаправду созовет?! — не веря еще, протянул кто-то из недавних обидчиков.

— И созовет! — убежденно отозвался мужик, откладывая готовый лапоть и берясь за второй.— И не пото, што, скажем, Онисим всех нас лучше, а — единого за всех! Кажного ему не пригласить, понимай сам, мы ить и на княжой двор не влезем! А единого из нас, тружающих,— не из бояр-купцей, а из нас, смердов! Хошь тебя ли, меня, хошь Онисима...

— Дак почто Оньку-то?!

— Почто?! — строго вопросил спорщика пожилой.— Пото, что сам же ему некогда и помог! Пото!

И все одно не верили, и самому не верилось, пока, и верно, в исходе второй недели не явился в мужицкую клеть князев посланец. Оньку сряжали всем гуртом. Заставили вымыть погоднее рожу и руки, дали чистые лапти, и чью-то запасную рубаху вздели на плеча. Посланец торопил и почти бегом поволок Онисима за собою ко княжому двору. Тут Онька еще не бывал ни разу и, восходя на высокое резное крыльцо, совсем уже перепал. Оставили б одного — дернул в бег. Но посол вел его за руку, и убежать было немочно.

Его провели сенями, второй лестницею, где разряженные холопы любопытно озирали работного мужика в холщовой сряде, наконец ввели в обширную палату, где стоял шум и гам, и в глазах у Оньки зарябило от пестроты одежд и роскоши стола.

Михайло легко встал со своего места и пошел встречу Оньке. В тумане словно Онисим шел вместе с князем, кланял княгине и какому-то боярину, коему князь напоминал о той давней затее с теремом. Оньку, сбрусвяневшего до корней волос, усадили в конце стола середи молодших, но прямь князя, подали серебряную тарель, узорную ложку. Он ел, плохо понимая, что ест, скупо отвечал на вопросы боярской чади, с горем понимая, что ему вроде совсем и не место на этом пиру, выпил предложенную чару густого красного пахучего напитка, от коего ему враз закружило голову. И уже совсем изнемог, когда, наконец, гости начали восставать из-за столов и Оньку, решившего было, что на этом все и окончит, вновь подвели ко князю.

Подталкиваемый Михайлою, он очутился за порогом небольшого, но очень богато уставленного покоя. Узрел детей-княжичей, со смятением принял из рук самой княгини Михайловой подарки: красную шелковую рубаху и кованный в пять слоев харалуга неизносимый топор, бухарский плат жене, тканый пояс, серебряные серьги для старшей дочери, а потом поряду подарки для всех домашних, начиная с брата Коляни, коему достался пояс, отделанный серебром. Прохору досталась опять же рубаха из узорной тафты, Феде — сапожки, малым — расписные кони и кулек с заедками — узорными пряниками, изюмом, грецкими орехами и прочими городскими лакомствами.

— Садись, Онисим! — сказал просто Михаил, сам

усаживаясь и усаживая гостя на лавку.— Не боись, я наказал, отвезут тебя на коне. Вот! Ожидаю рати с великим князем московским!

— Выстанем...— начал было Онька.

— Ты выстанешь! — перебил его князь.— А другие?

— Видал ить, каково рьяно работали! — раздумчиво возразил Онисим, не желая высказать князю неправды.— Ратитьце никому не в охоту, хошь и до меня коснись! Ну, а придет беда — дак за свово князя как не выстать? И серебро давали наперед...

— И ты давал? — перебил, улыбаясь, Михайло.

— А как же! — рассмеялся Онька.— Гривну целую вырыл из земли!

Михайло шевельнулся было, но Онисим, понявши движение князя, острожев, покачал головой:

— Того не надобно, княже, не обиды! Не то и даров не приму!

И Михайло, поникнув головою, повинился, как равный равному:

— Извиняй, Онисим! Устал я, вишь... Нелепое слово едва не молвил...

Они еще посидели вдвоем (княгиня вышла, чего Онька не вдруг и постиг). Острожев лицом, князь выговорил:

— Московиты меня николи не простят! А и я Дмитрию Тверь не подам на блюде! Быть войне!

А мужик ничего не ответил. Воздохнув, также острожел ликом, глянул слепо куда-то вдаль, за стены гордого терема. Подумалось: «С Прохором да с Коляней втроем выступим... А то и с Федюхой... Жаль парня, тово!» И еще помыслил: «Спасли бы наши коров только! Успели бы отогнать на Манькино займище, ежели какая беда!»

Князь налил чары. Выпили. И Онька, понявши до слова, что надлежит уходить, встал, поклонил князю. Неловко было так уходить. Глянул, улыбнулся Михайле:

— А город стоит! — сказал.

— Стоит! — отмолвил, осветлевши лицом, князь.

За полночь всё не спали мужики. Прошали, как там и что, мяли, разглядывали княжеские подарки. Давешний строгий мужик оглядел топор, потрогал, даже понюхал зачем-то лезвие. Протягивая топор Оньке, выговорил:

— Етот тебе самый дорогой дар! Износу ему нет!

И топор пошел по рукам, и уже заспорили, как да из чего надобно ковать такие. А Онька вдруг устал и, едва собрав подарки, отвалил на солому, заснул, уже не чуя, что там толкуют про него мужики.

Он еще побывал назавтра у тележного мастера, поправил свою вдосталь-таки разбитую телегу, выпарился в городской бане, закупил в торгу два круга подков, наральник, гвозди, насадку для новой рогатины, цапахи и гребни для жонок, капканы, кованый медный котел, веревку, несколько больших и малых лихо расписанных глиняных обливных корчаг, бочонок соли, связку сушеной рыбы и, уже когда вконец опустела мошна, тронул в обратный путь.

Мужики, кто еще не отбыл, провожали его уважительно, тискали ладонь. Над его дружбою с князем уже не смеялся никто.

ГЛАВА 12

Глубокою осенью, уже по первому снегу, конные рати москвичей и волочан двинулись громить Смоленскую волость, отплачивая князю Святославу за давешний поход смолян вкупе с Ольгердом на Москву. Начиналось мщение.

Ольгерд, повязанный немцами, не мог помочь смоленскому союзнику. Быть может, и не хотел?

Московские полки возвращались на Святках — с победою, радостные, волоча полон и скот. Ряженые, песни, проходящие с музыкою ратники, крупный, пуховой, звездчатый рождественский снег — все смешалось в суматошную праздничную кутерьму.

Владимир Андреич прискакал ликующий, едва не бросился в объятия Дмитрию. Великий князь встретил двоюродного брата со строгою властностью старшего, и Владимир померк — понял ли нужное отстояние, обиделся ли поступком брата... Дуня спасла: на сенях, поднеся чару, звонко расцеловала «победителя». (Походом руководил, и все это знали, опытный воин — березуйский князь, а юный Владимир еще только учился ратному делу.) Впрочем, Владимир по природной доброте своей негодовал недолго, принял и важный вид брата, принял и новый, непростой, церемониал встречи, только косился на Митяя, громозвучно возглашавшего здравицы победителям, гадая: он или Алексий настоял на византийских, зряшных, по его мнению, славословиях? Но — обошлось. На этот раз обошлось.

Поход на смолян остался без последствий. Война не

возгорелась, ибо все — ждали. Ольгерд ждал мира с немцами, Михаил — вестей из Орды.

А в Смоленске со смертью князя Льва не утихали неурядицы, да и слишком ясно становило, что одному Смоленскому княжеству уже не под силу противустать Москве.

И потому весело летели ковровые сани, сражались кулачные бойцы на Москве-реке и лихо окунались в ледяную иордань в канун Крещения прославленные московские ухари.

Разливанное святочное веселье катило по всем градам и весям Руси Владимирской, не миновав и Твери. Почему с князем Михайлою едва не сотворилась смешная ошибка.

На княжой двор кудесы являлись десятками с утра и до вечера — и свои, и посадские. Бояре и купцы приходили в личинах и харях; в хоромах плясали, обрядясь медведями и чертями; один оделся водяником: обмотался пахнущей рыбою рыболовной сетью, подвязал бороду из бурых, достанных из-подо льда водорослей; другие рядились оленями, козами, свейскими немцами и лопью. Хвостатые и рогатые — каких только не было на дворе! И поэтому, когда на княжой двор вкатили с гиканьем сани с людьми в татарском платье, подумалось всем, да и самому князю, что то новая ватага, решившая подурить. Ан нет! Оказалось, татары-то были самые подлинные. Глядельщики прихлынули кучей катать гостей по снегу, но скоро разобрались, услышав подлинную, сердитую татарскую речь.

Олекса Микулич свалился с коня прямо в объятия князя. Серые глаза при татарских крутых скулах обличали в сыне боярском смешанную кровь.

— Едут! Скоро и батько с послами! — выговорил Олекса скороговоркою.

Гонцов отряхивали от снега. В теремах спешно готовили горницы, стелили постели. На поварне стряпали, варили баранину и конину гостям, когда сани послов и свита на низкорослых широкогрудых лошадях, в мохнатых лисьих шапках с хвостами, в бараньих долгих тулупах, заполнили двор.

Знатных татар, Каптагая и Тузяка, выводили из саней под руки, те щурили рысьи глаза, кланялись князю. Микула тяжело — начинали сказываться годы — слезал с коня. (Нынче проделал полтораста верст почти не передыхая.)

Еще при Михаиле Святом, после того как Узбек железом и кровью обращал Золотую и Синюю Орду в Мехметову веру, в 1315 году, пришел в службу к Михаилу, тогдашнему великому князю владимирскому, из Синей Орды крещеный татарин несторианской веры, Жидимер, с сыном Дмитрием. Привел дружину, принял православие, получил села на прокорм. Сын того Дмитрия, Микула, правил теперь посольское дело в Орде и сегодня привез долгожданный ярлык на великое княжение тверское, окончательно освобождающий Михайлу от всякого подчинения Дмитрию Московскому.

Радостное святочное торжество дополнилось торжеством княжеским. Избранные граждане нахлынули во двор, Михайлу поздравляли всем городом. Самостийный хор пел здравицу князю.

Татар кормили и поили, дарили соболями и куницами, едва не засыпали жемчугом. Упившиеся русским медом послы ходили вполпьяна.

Посад ликовал, ликовали улицы, веселье гремело на вымолах и в торгу. Подымалась, вновь подымалась торговая и ратная Тверь, великий град, сердце Руси Владимирской, град Михаила Святого, мученика, погибшего за ны!

Умученный всмерть Микула Дмитрич, только что выпарившийся в бане и отсидевший за княжеским столом, в тесном особном покое княжеских хором сказывал, как сотворилось дело. Все трое Шетневых — тысяцкий Константин и его братья Григорий Садык и Захарья Гнездо, Василий Михалыч, Викула, Дмитрий Пряга, Дементий, Петр Окунь — почитай, вся дума тверская, плотно усевшись, жадно слушала Микулу, обсев стол и почти подпирая плечами и тесня своего князя.

В Орде творились дела невеселые. Все разваливает, процветают взятки, власти никто не слушает, эмиры каждый со своим войском что хотят, то и вершат. Ежели есть где порядок, дак токмо в Белой Орде, у Урус-хана!

Мамай, посадив Мамат-Салтана, ищет ныне поддержки где может, заволжские ханы ему не подчиняются никоторый, Сарай потеряли опять, в Орде хозяйничают фряги и осильнел московский посол Федор Кошка, идут переговоры с Дмитрием, и — по всему — склонить Мамая к походу на Москву теперь вряд ли удастся. Ярлыком Мамай скорее откупался от тверского князя, чем помогал ему.

— Ну, хоть то! — вздыхают бояре. Земля, все еще

обезлюженная недавним мором и предыдущими погромами, нуждалась хотя в недолгом мире...

О Пасхе пришло письмо от Бориса Константиныча Городецкого. Борис сообщал, что готовится, по сговору с Мамаем, объединенный поход московских и суздальских сил на Булгары, против князя Асана, и что во Владимир уже прибыл посол царев, именем Ачихожа. Рати поведут сам Борис и его племянник, сын Дмитрия Костянтиныча Василий Кирдяпа, как только сойдет лед.

Мамай силами своих русских улусников укреплял окраины ханства, приводя к покорности мятежных володетелей.

Позже, уже когда кончали пахать, дошли вести, что поход был удачен, что Асан не выстал на рать, а, принеся дары и челобитье, ушел из города, и там посадили теперь Салтан-Бекова сына.

В те же дни стало известно, что московские рати, пользуясь Ольгердовой труднотой, повоевали Брянскую волость, устрашая второго участника Ольгердова похода на Москву. Отмщение продолжалось, и очередь неодолимо приближалась к Твери.

ГЛАВА 13

Рождественским постом упокоился Феофан Федорович Бяконтов, старший из четверых братьев владыки Алексия. Провожали великого боярина московского в путь, уготованный каждому смертному, просто, как того требовал духовный сан умирающего, но и торжественно. За год до смерти Феофан, чуя телесную ослабу, постригся и пребывал под именем старца Давида в Богоявленском монастыре, в той же чтимой келье, в которой некогда жил его прославленный старший брат. В этой же келье, на простом деревянном ложе, застланном соломенным тюфяком и рядниною, укрытый до пояса тканым домодельным одеялом, он и умирал теперь. И у ложа отходящего света сего на раскладном холщовом стульце сидел в простом монашеском клобуке, слегка пригорбив плечи и внимательно глядя в лицо умирающему, сам митрополит всея Руси, владыка Алексий.

За дощатою перегородкою, отделяющей сени от горницы, на лавках сидели все три младших брата Феофановы: Матвей, Константин и Александр Плещей, уже немолодые, седатые мужи, а с ними дети Матвея и

Александра, игумен Богоявленского монастыря, келейник. Двое сыновей умирающего были тут же, но старший, Данило, сидел сейчас вместе с Алексием, у ложа отца. В самом углу поместились дети Данилы Феофановича — тридцатилетний Константин и юный Иван, еще отрок. Константин сидел, сдержанно супясь, Иван, с детскою пылкостью любивший дедушку, боролся с собою, но порой не выдерживал и, клоня голову, тихо всхлипывал, роняя на колени горячие юношеские слезы. На него взглядывали молча, с тихим извинительным осуждением. Тут, в келье, полагалось молчать, не выказывая наружно чувства излишней скорби, ибо инок прощается с миром уже при постриге, как бы «умирает» для мира, и ничто мирское не должно смущать его последних минут.

Ждали великого князя Дмитрия.

Алексий вполголоса читал молитву. Замолкая, слушал прерывистое дыхание брата. Вот Феофан-Давид поднял плохо слушающиеся веки, затуманенно поглядел на старшего брата, пред коим преклонялся, коего всю жизнь чтил, яко отца и духовного главу своего, и только теперь разглядывал его высохшее лицо, твердые закаменевшие морщины щек бестрепетно и остраненно. Смерть уравнивает всех. Вопросил шепотом:

— В Константинополь, патриарху, грамоты...

«Готовы!» — отмолвил Алексий беззвучно, одним чуть заметным наклонением головы.

— Море... зимнее... погоды злые... Моего Данилу пошли! — Он, уже не в силах повернуть голову, жалко выворачивая белки, поискал глазами, и маститый, рослый, с прядями седины в волосах и бороде сановитый боярин, сын, тотчас подступил к ложу отца.

— Вот! — прошептал умирающий.— Вот... честь великая тебе, сын... князю скажи...

В этот-то миг в сенцах почуялось шевеление, заскрипели двери, и в келью быстрым решительным шагом, распрямив плечи, вошел Дмитрий. У него хватило чутья одеть свое самое простое платье, и все же здесь, в монашеской келье, наряд князя был вызывающе богат.

Великий князь хотел было, подготовив заранее, произнести несколько ободрительных речений, но, встретив неотмирный взор умирающего, споткнулся, покраснел и построжел ликом. С братьями своего отца духовного, Алексия, Дмитрий часто не ладил и сейчас к ложу Феофана прибыл скрепя сердце, токмо из уважения к владыке. Алексий вывел князя из затруднения, повестив,

что умирающий просит, дабы с грамотами в Цареград, к патриарху, был послан не кто иной, как его старший сын Данило.

Дмитрий глянул скоса на поклонившегося ему пожилого боярина, кивнул головою согласно. Затея писать патриарху Филофею, дабы силою власти духовной подкрепить пошатнувшиеся государственные интересы Москвы, целиком принадлежала митрополиту, и Дмитрий о сю пору не верил, что из того что-либо получится. Однако в днешней трудноте пренебрегать не следовало ничем. Алексий же очень верил в проклятие, наложенное на враждующих князей патриархом, и только в одном не мог ручаться твердо: послушает ли его Филофей Коккин. Дружба, установившаяся меж ними некогда в Цареграде, подвергалась сейчас самому серьезному испытанию.

Князю поставили кресло прямь смертного ложа, и он, не ведая, что делать теперь, прихмурился и начал покусывать губы. Уйти тотчас, он понимал, было нельзя, а Алексий не давал ему никакого знака. К счастью,истратив последние силы на этот столь важный для него разговор, Феофан, вновь смеживший глаза, задышал тише, тише, начал слепо шарить пальцами, обирая себя.

По знаку владыки в горницу, стараясь не шуметь, вступили все родные: братья, дети, внуки, племянники; игумен с подошедшим келарем, двое сопровождавших Дмитрия бояр. В покое сразу стало тесно и торжественно.

Вот, углядев нечто, видимое ему одному, Алексий протянул сухую длань, дабы закрыть глаза умирающего, произнося сурово и твердо святые слова:

— Благословен Бог наш!

Многие из присутствующих в этот миг, повторяя вслед за владыкою: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!», опустились на колени. Князь встал, осеняя чело крестом и по-прежнему строго глядя на ложе смерти мимо лица отходящего. Наклонением головы отмечал, вслушиваясь, слова, весь смысл коих ему, полному сил и жизни, был еще непонятен.

«Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти: возведи от тли живот мой, многомилостиве!»

Алексий отчетисто и твердо выговаривал слова молитвы на исход души от тела:

— Человеколюбивый Господи, повели, да отпустится от уз плотских и греховных, и прими в мир душу раба

Твоего Давида, и покой ю в вечных обителех со святыми Твоими, благодатию единородного сына Твоего, Господа Бога и Спаса нашего, Исуса Христа, ныне и присно, и во веки веков!

В келье стояла тишина, только редкие всхлипы не могущего справиться с собою Ивана, внука Феофанова, нарушали келейное благолепие, словно мелькание ласточкиных крыл на темно-сизой стене надвинувшейся на окоем грозовой тучи.

Произнеся разрешающее «Аминь», Алексий обратил взор ко князю и сделал знак глазами, позволяя ему покинуть покой. К ложу смерти подступили монастырские иноки.

Думал ли Алексий в сей миг, что и он уже ветх деньми и может воспоследовать за братом, оставляя все свои труды и заботы мирские, господарские и многотрудные дела княжества неведомо на кого в тяжкий час нависшей над Владимирской землею беды? Или не думал, не давал себе воли на то, ибо должен был довести до брега утлый корабль, брошенный им в бурю мирских страстей,им же самим вызванную давешним заключением в затвор князя Михаила Александровича Тверского? Поколения уходят в тот — надеемся — лучший и неведомый нам мир. Остающиеся на земле продолжают их труд.

Алексий отправлял Данилу Феофановича (вкупе со своим послом Аввакумом) в Константинополь сразу же после девятин по родителю. С ним уходили грамоты к патриарху, обвинившие русских князей, поднявшихся вкупе с Ольгердом противу Москвы. Алексий просил, нет, скорее требовал патриаршего отлучения противников московского князя от церкви, бросая на весы политической судьбы разом и давнюю дружбу с Филофеем и авторитет верховного пастыря русских земель. С просьбами и грамотами отсылались нескудные дары, зело небезразличные нищающей греческой церкви. И теперь надобно было токмо ждать далеких вестей да молить Господа о сохранении в напастях зимнего пути жизней московского княжеского и владычного посольства.

В день отправления послов Алексий беседовал с глазу на глаз со своим старым секретарем. Леонтий недавно принял полную схиму. Это последнее разлучение с миром он совершил после смерти Никиты Федорова, точнее, после того, как он, отыскавши следы гибели друга, передал вдове Никитин нательный крест, разорвав этим

последнюю ниточку, еще связывающую его с мирской суетою, и теперь его заботы остались одни церковные.

— Веришь ты, что патриарх преклонит слух к нашим отчаянным глаголам? — вопросил Алексий.

Леонтий поднял строгий взгляд на владыку.

— Мыслю, судьба Руси решится все же здесь, у нас, а не в Константинополе. Монастыри, создаваемые преподобным Сергием и его учениками, важнее посланий патриарха! — высказал он.

Алексий поглядел умученно.

— Возможно, ты и прав! — произнес со вздохом.— И все же, не могущая опереться на мощь армий церковь тоже... Земные мы... Здесь, в этом мире! И надобно лишь беречь себя, дабы мера эта, мера земного, не стала роковой, превысив ту грань, за которой начинается забвение Бога и заветов Христа... После чего народ уже не спасти никакому иерарху...

Леонтий промолчал в ответ. Нятьем князя Михайлы владыка нарушил меру сию сугубо.

ГЛАВА 14

Московское, зело потрепанное зимними штормами посольство приставало в Галате. Уже здесь вдосталь наслушались о похождениях нового императора Иоанна V Палеолога, который, сменив Кантакузина и одолевши Матвея, теперь радостно распродавал, вернее даже — раздавал направо и налево обрывки империи, весь свой досуг обращая на охоту за хорошенькими женщинами. Постельные подвиги василевса, о чем на Руси стыдно было бы и говорить, были ведомы всей Галате и обсуждались без особого порицания в каждом доме.

Среди спутников Данилы Феофановича было двое владычных бояринов, один из которых, Иван Артемьич Коробьин, пошел по стопам отца (престарелый Артемий, когда-то возивший на поставленье Алексия, нынче по хворости остался дома). Иван был столько наслышан о Константинополе, что первую ночь, проведенную в Галате, не мог спать и, невзирая на холодный, с мелким моросящим дождем ветр с Пропонтиды, выбрался из палаты и, завернувшись в дорожный суконный вотол, пошел один по темным улицам генуэзской крепости, когда-то — пригорода, теперь почти поглотившего прежнюю торговую славу столицы византийских императоров.

В чернильной южной темноте скупо светили окошки каменных хором. Улица горбатилась неровными щербинами камня. Он лез куда-то в гору, к подножию генуэзской башни Христа. Несколько раз едва разминулся с фряжскими дозорами. Спасало хорошее знание греческого, да еще — владение тем обиходным фряжским наречием, на котором объяснялись в Кафе. Генуэзцы, принимая Коробьина за сурожского гостя, оставляли его в покое. Русское платье тут ни для кого не было в диковину.

Наконец он выбрался на урывистую высоту, ощутил соленый морской ветер. Низкие рваные тучи, смутно посвечивая краями, шли над головою, и сырость была какая-то не своя, полная далекого (верно, принесенного из пустыни) тепла и чуждых запахов. От нее до костей пробирала дрожь, но не было, все одно не было в ней острого запаха снега, ледяной ласки и свежести зимнего ветра, неразлучных с родными, русскими ростепелями. Смутно — за тускло сияющей ширью Золотого Рога, уставленного темными очерками кораблей — громоздился неведомый огромный город в редких огнях, и Коробьин угадывал, вспоминая бесконечные рассказы отца, где должна быть София, где храм Апостолов, где Влахернский дворец — все, что он узрит уже завтра и что теперь гляделось воспоминанием, смутным видением былого величия, утонувшего в ночных, окончившихся веках...

Назавтра в легкой лодье русичи переправились через Золотой Рог (где качало и заплескивало волнами) и наконец ступили на священную землю города.

Данило Феофаныч уже бывал в Цареграде и теперь, подозвавши к себе Ивана Артемьева, показывал ему то и другое, неспешно поясняя и отмахиваясь от нищих побирушек, что целою толпой бежали вослед послам. Так дошли до Софии. Предупрежденный заранее, их встретил патриарший клирик.

Филофей Коккин нашел минуту перед богослужением, чтобы встретить русичей, благословить и дать им облобызать свою руку. Быстрыми черными глазами он оглядел-ощупал каждого с головы до ног, улыбнулся бегло, вопросил о здравии кир Алексия. Данило Феофаныч ответил ему по-гречески, с хорошим произношением, что вновь вызвало ответную улыбку патриарха.

В Софии объяла огромность. Иван прямо кожею чувствовал то, что говорилось многими русичами, воротившимися из Царьграда,— что под куполом Софии воз-

может уместиться весь Кремник московский. Весь не весь, но грандиозность и высота храма, а также как бы висящий в дробном ожерелии света из опоясывающих его окон купол Софии — подавляли.

Как и все прочие прибывающие в Царьград русичи, они обошли все святыни храма: железные лестницы, столбы, орудия страстей Господних, вериги знаменитых святителей, чтимые чудотворящие образа.

Прямо из храма их провели в патриаршьи покои. Послы подымались по узким каменным лестницам, шли под сводами из плит тесаного камня, миновали палаты с резным, в камени созижденным, обрамлением дверей.

Хоромы патриарха, расположенные тут же, на катихумениях, опоясывающих Софию почти на уровне подпружных арок самого храма, оказались и невелики и тесны. Филофей успел уже снять верхнее торжественное облачение, в коем служил, и переодеться в обычный, хотя и шелковый монашеский гиматий, щеголяя теперь нарочитою простотою облика. Несколько клириков, видимо чины секретов патриархии, сидели рядом. Русичам предложили виноградное кислое питье, сыр и фрукты. Иван Коробьин взял кусочек вяленой дыни и долго жевал, удивляясь чуть вяжущей влажной сладости, совсем непохожей на вкус тех крепко засушенных дынных плетей, что привозили на Москву армянские гости из Герата, Казвина и Бухары.

Данило Феофаныч с Аввакумом передали послания Алексия и князя Дмитрия. Молодшие внесли увесистый сундучок с новгородскими гривнами, при взгляде на который лица председящих вкупе с Филофеем заметно оживились. Вослед за тем Данило, а за ним Аввакум долго и обстоятельно изъясняли княжеские и владычные трудноты, говорили о тверских и Ольгердовых пакостях и о том, что торжество Литвы послужило бы к умалению веры православной...

Прием был закончен после того, как Филофей Коккин обещал, приняв все сказанное к сердцу, помыслить и в скором времени дать ответ, который будет, как он надеется, угоден кир Алексию.

Снова спускались по долгим каменным лестницам и тем же пешим ходом шли к месту своего ночлега, расположенного на другом конце великого города, в Студитском монастыре. Так что удалось пройти по всей Месе, от форума к форуму, разбегающимися глазами ухватывая то статуи, то полуобрушенные портики древних дворцов,

то открытые лавки ювелиров, ткачей, оружейников, выставлявших свой товар на обозрение разноплеменной и разноязычной толпе, невзирая на слякотную сырь, заполнявшую улицы столицы православного мира.

Ночевали в каменной, сырой по зимней поре келье и долго кутались во все теплое, что взяли с собой. Молодые русичи не спали, делясь вполгласа цареградскими впечатлениями. Иван Артемьич расспрашивал отца Аввакума о константинопольских святынях, меж тем как уходившийся за день Данило Феофаныч уже давно храпел и высвистывал носом, вытянувшись на тощем тюфяке твердого деревянного ложа своего.

ГЛАВА 15

Вечером этого дня, обсудив и паки обсудив с начальниками секретов московское ходатайство, Филофей Коккин остался один и тяжко задумался. Он велел вызвать Киприана, ставшего за эти десять лет его правою рукой, и пока тот не пришел, все сидел и думал, полузакрыв глаза, иногда чуть вздрагивая, хотя в келье от принесенной со двора жаровни, полной углей, и было тепло.

За шесть лет, протекших со дня его вторичной интронизации на престоле византийских патриархов, содеяно было немало. Состоялась, невзирая на сопротивление Палеолога, канонизация преподобного Григория Паламы. Отлучен от церкви Прохор Кидонис, сторонник западной латинской ереси (ибо ничем иным нельзя назвать то, что вершат римские папы, мнящие себя поставити на место Господа!). Устрояется вновь и уже близок союз с сербскою и болгарскою церквями, о чем деятельно хлопочет все тот же незаменимый Киприан Цамблак. Проклятия, наложенные на братские православные церкви недальновидным Каллистом, сняты, и недалек день, когда вновь объединенные его рачением православные митрополии и патриархии понудят своих неразумных монархов сплотиться и противустать грозному натиску мусульман, захватывающих область за областью и уже угрожающих самому существованию Сербии с Болгарией. Нынче он учредил в западной части Валахии вторую митрополию во главе с преданным ему Даниилом Критопулосом (нынешним митрополитом Анфимом), поелику глава первой валашской митрополии, Иакинф, подчинялся

больше своему князю, нежели патриарху константинопольскому.

Но все портил и портит Палеолог! Распутный василевс, суетно мечтающий подчинить себя Риму, дабы бремя несносных для него государственных забот спихнуть хоть в чьи-то иные руки! Нынешней осенью, восемнадцатого октября, он подписал в Риме (страшно подумать!) символ унии — объединения западной и восточной церквей, иными словами, полного подчинения восточной православной церкви богоотметной западной! Того ли добивался великий старец Палама?

Спасибо Кантакузину (нынешнему старцу Иоасафу), который, сидя в горе Афонской, рассылает по всем городам послания, призывающие склонить слух к учению почитателей исихии, и тем укрепляет паки и паки истинное православие в землях империи ромеев... Благодаря ему и мне (да, да, и я приложил свой слабый труд к тому великому делу!), благодаря нам обоим в Риме с Иоанном Палеологом при подписании символа унии не было ни одного византийского священника. Ни одного! И, значит, народ пошел за нами, а не за сторонниками латинской ереси...

Но на какой тоненькой ниточке все сие держится до сих пор! Стоит легкомысленному Иоанну V захотеть... Или захотеть его недобрым советникам, или захотеть генуэзской Галате... Боже мой! И весь измысленный им столь премудро союз православных народов и государей обратится в ничто!

И теперь! Алексий требует от него ни более ни менее, как отлучить от церкви противящихся московскому князю володетелей!

Поможет ли сие отлучение? Или паки воздвигнет нелюбие в русской земле и оттолкнет от патриархии столь надобные ей союзные силы? И как поведет себя Ольгерд, суровый Ольгерд, во владениях коего истреблена власть татарского царя, Ольгерд, уже захвативший Киев и всю Подолию, почти добравшийся до моря?! Ольгерд, коему стоит только принять православие, и страна его станет сильнейшей православной державой среди всех ныне существующих на земле!

Он, Филофей, уже раз предал Алексия. Предал друга. И друг его простил, не упоминая о том никогда и ни по какому поводу. Предал в тот час, когда мысленно (о, только мысленно! Но Господь читает и в душах!), мысленно оставил его умирать в киевской яме, из коей

токмо чудо и воля московитов спасли его, охранив от неминуемой смерти... Неужели надобно предать Алексия во второй раз?!

Киприан вошел сдержанный, неправдоподобно спокойный пред тою бурею чувств, что бушевала в душе Коккина, с расчесанною, волосок к волоску, бородою, в строгом опрятном облачении схимника. Поклонил, сел в предложенное креслице. Замер, глядя строгими глазами в страдающие очи патриарха.

— Будь мне не советником, не помощником в делах, как доднесь! Будь мне другом! — воззвал Филофей с душевною мукою.— Я должен, должен ему помочь! Владимирское княжение станет со временем оплотом православия в землях полуночных...

— Или Литва! — спокойно возразил Киприан. И Филофей вздрогнул, ужаснувши тому, что Киприан повторил словесно запрятанное в тайная тайных его души.— Ежели литовских князей удастся крестить!— твердо докончил Киприан, не опуская взора, и, помолчав, тихо добавил:— Чего, чаю, никак не возможет свершить кир Алексий!

— Да, да, ты прав, ты, конечно, прав! Да, да...— жарко заговорил Филофей, водя глазами по спокойному лицу помощника и инквизитора своего.— Да, ты прав! И уже король польский, Казимир, требует поставить особого митрополита на западные, подчиненные ему епархии, угрожая в противном случае обратить тамошних русичей в католичество...

— Было послание?! — Киприан поднял бровь, что у него служило знаком скрытой обиды.

— Будет! — возразил Филофей.— Мне донесли... Я не успел о том поведать тебе...

Киприан легким кивком принял извинение Филофея. Уже давно все дела патриархии проходили через его, Киприановы, руки.

— Но я не могу, понимаешь, не могу предать Алексия! — горячо, убеждая и себя самого, возразил Филофей.

— Для торжества православия даже престолы, а паче того отдельные лица, хотя и облеченные высоким саном,— ничтожны! — отверг Киприан, все так же строго и настойчиво взирая на мечущегося в огне уязвленной совести Филофея. Он сидел выпрямившись, легко уронив на подлокотник руку с перстнем-печаткою. Сидел, ухоженный и строгий, полный скрытых, контролируемых

разумом сил, и ждал единого истинного, как полагал он, решения, отдающего далекого московского митрополита в руки судьбы.

Филофей затряс головою:

— Нет, нет! Я исполню просимое Алексием! Я должен сие совершить! И потом, кто знает, примет ли православие Ольгерд?

— Половина его потомков крещены! И старший сын — крепкий страж православия! — чуть надменно возразил Киприан.

— И все-таки, ежели они, Ольгерд с тверским князем, не сумеют враз покончить с Москвой, греческая патриархия потеряет для себя навсегда Владимирское княжество! — возразил, обретая силу голоса, Филофей.— Нынче мы должны помочь кир Алексию! — Он приодержался и сумрачно поглядел на сожидающего конца патриаршей речи и пока еще ничем не убежденного Киприана.— Но затем... Ежели грамоты мои не возымеют успеха... Затем — и невдолге, может быть, уже теперь! — я пошлю тебя, сыне, в Литву, дабы ты возмог содеять там то, чего никогда не содеет кир Алексий, смертно ненавидимый Ольгердом!

— Повелишь ли ты мне, отче,— медленно вопросил Киприан,— вернее скажу, разрешаешь ли ты мне испытать всякие и любые средства для достижения великой цели: приобщения к православию княжества Литовского?

Филофей судорожно сглотнул внезапно пересохшим ртом и вымолвил:

— Да!

— Когда же?! — вновь с неотвратимой настойчивостью вопросил Киприан. Филофей поставил локти на стол, закрыл лицо руками.

— Не сейчас, сыне! Молю тебя, только не сейчас!

ГЛАВА 16

Филофей Коккин писать умел и любил, подчас испытывая глубокое физическое наслаждение от работы. Вот и сейчас, когда он сел за послание к московскому великому князю, его объяло блаженное состояние уверенности в себе и непогрешимости начертанных на александрийской бумаге слов:

«Благороднейший великий князь Всея Руси, во святом Духе дражайший и возлюбленный сын нашей мерности,

кир Дмитрий, молим Вседержителя Бога даровать твоему благородию здравие, душевное благорасположение, крепость и благосостояние телесное, жизнь мирную и многолетнюю, приращение и продление дней твоих...»

Филофей сменил перо, опустив использованное в бурый раствор железных чернил, продолжил:

...«Грамота твоего благородия дошла сюда, к нашей мерности, благополучно вместе с твоим человеком Даниилом. Я узнал о том, что твои дела и правление идут хорошо... Да, я молюсь о вас и люблю вас всех предпочтительно перед другими, но всего более люблю твое благородие и молюсь о тебе, как о своем сыне, за твою любовь и дружбу к нашей мерности, за искреннюю преданность святой божьей церкви, за повиновение и благорасположение к преосвященному митрополиту Киевской и Владимирской Руси, во святом Духе возлюбленному брату и служителю нашей мерности, ибо я узнал, что ты уважаешь и любишь его и оказываешь ему всякое послушание и благопоклонение, как он сам писал ко мне,— и я весьма похвалил тебя и порадовался о тебе... И впредь поступай так! Ибо настоящий митрополит — великий человек!» — писал Филофей, вдохновенно перекладывая на Дмитрия заботу об Алексии, коего он опять почти предал... Нет же, нет! Не предал, но токмо предостерег и укрепил! (Ибо задачею Киприана будет свести в любовь все враждующие тамо княжества, направив их к совокупному одолению на неверных агарян.)

Филофей вновь перечел написанное, исправил показавшиеся неблагозвучными словосочетания, подумал, воздыхая и хмурясь, дописал:

«По твоему прошению и желанию состоялись грамоты нашей мерности и уже отправлены туда. Ты можешь видеть их и узнать от митрополита Киевской и Владимирской Руси. Сделано так, как ты желал: я тебя весьма похвалил... Напротив, сильно опечалился и разгневался на других князей... Проси чего хочешь, ибо я — твой отец, а ты — мой нарочитый сын; также сын мне и брат твой, кир Владимир, которого я весьма люблю и уважаю за его добрые качества, и пишу к нему то же самое... Да сохранит Вас Бог здравыми, невредимыми и превыше всякой напасти».

Грамоты еще не «состоялись», как не состаивалась запаздывающая нынче весна. Он протянул ноги к жаровне, подумал. Отлучение от церкви потребует синклита иерархов и не может состояться скоро. Два-три месяца

потребуется! Что изменится за это время в русской земле? Здесь — еще кусок империи отхватят турки, еще какую-нибудь красавицу покорит Палеолог... Из империи уходила жизнь, кровь вытекала из ее немеющих в смертной истоме членов...

Он отложил грамоту, взялся за вторую, более трудную для него.

«Преосвященный митрополит Киевской и Владимирской Руси! Пречестный во святом Духе возлюбленный брат и сослужитель нашей мерности. Молим... даровать крепость телесную... благо...»

Он задумался. Повторил, приписав, слова о том, чтобы Алексий и впредь обращался к нему со всякою надобностию.

«А если будет нужно позвать тебя сюда, то не найди это неудобным... Я сильно люблю тебя, считаю своим близким другом, убежден, что и ты любишь меня... Просимое тобою будет исполнено...»

Лгал ли Филофей, сочиняя эти слова? Нет, воистину не лгал, испытывая в сей миг истинную любовь к Алексию!

«Ты еще писал мне о князьях, нарушивших клятвы... Об этом деле отправлены к ним грамоты. («Будут отправлены!» — поправил себя Филофей.) Кроме того, отправлена грамота и к новогородскому епископу, о чем ты узнаешь из ее содержания».

Покончив с ответом Алексию, Филофей посидел, закрывши ладонями слабеющие глаза, растер пальцами подглазья. Подумал о том, что черновые грамоты, столь легко набросанные им нынче, будут паки и паки обсуждаться синклитом, переписываться и перебеливаться и тогда уже, видимо в начале июня, окончательно оформленные, пойдут на Русь.

«Благороднейшие князья Всея Руси! Возлюбленные и вожделенные сыны нашей мерности, молим Вседержителя Бога даровать всем вам здравие и благорасположение душевное, и крепость...»

Слова лились и лились. Патриарх Филофей заклинал своих духовных детей слушаться митрополита киевского и владимирского Алексия, уверял, что если бы смог, то обошел бы все города и веси, но поскольку это невозможно, то посылает пастырей, среди коих досточтимый митрополит Алексий отличен святостью, и ему должны оказывать великую честь и благопокорность...

Следующие, отлучительные, грамоты князьям, не по-

хотевшим принять участие в войне против Ольгерда, и особую — князю Святославу Смоленскому, подтверждающую отлучение, наложенное на смоленского князя Алексием, надлежало сочинить и утвердить соборно, всем синклитом.

Филофей позвонил в колокольчик. И пока не взошел нотарий, сидел, откинувшись в кресле, смежив очи, и вспоминал решительное лицо Алексия, его глубокие, родниковые глаза, лобастую голову, его прямоту и мужественную твердость — все то, чего так не хватало самому Филофею!

ГЛАВА 17

Понудить нижегородцев идти на Булгар оказалось легко. Тут были свои старые нижегородские счеты, и ратники шли в поход с радостью. До боя не дошло. Сметя силы, Асан покорился, выслал дары и сам убрался из города. Еще одна победа, еще одно одоление на враги!

Всего год назад разгромленная, Москва наползала, одолевала, ширилась, словно бы крыльями охватывая тверские пределы. К тому же и патриаршьи грамоты, отосланные в июне и достигшие Руси в середине лета, делали свое дело. Их читали, передавали друг другу. Епископы вручали их князьям, читали в церквах народу.

Пусть со скрипом, пусть не так слепительно ярко и грозно, как хотелось бы Алексию, но меч духовный, благодаря железной настойчивости старого митрополита, обращался в помощь воинскому мечу юного государя московского, князя Дмитрия.

«Так как благороднейшие князья русские все согласились и заключили договор с великим князем Всея Руси кир Дмитрием, обязавшись... всем вместе идти войною против чуждых нашей вере врагов Христа... а они, и в числе их тверской великий князь Михаил, ополчились и выступили с нечестивым Ольгердом противу московского князя, не страшась своих клятв, преступили их... то князья эти... отлучены от церкви преосвященным митрополитом, возлюбленным братом нашей мерности... Мерность наша, со своей стороны, имеет этих князей отлученными, доколе не приидут и припадут к своему митрополиту и когда митрополит напишет сюда, что они обратились к раскаянью».

Михаил в бешенстве отшвырнул пергамент. Жалкие глаза тверского епископа Василия молчаливо проговорили ему, что князь не прав и что христианин не должен швырять патриарших посланий.

— После того, как он преступил крест и нарушил данное слово, Алексий не смеет накладывать епитимью на меня!— кричал Михайло, бегая по палате. Тысяцкий Константин Шетнев с Захарьем и Никифором Лычей угрюмо молчали, пережидая гнев господина. Все же отлучение от церкви — не шутка. Ну, положим, заставят своих попов служить или отпеть покойника. Ну, не станет князь ходить к причастию... Но соблазн! Для холопей, смердов — соблазн велий!

— Я сам буду судиться с владыкой Алексием перед патриархом! — выкрикнул, остановясь, Михаил.

— И кто поддержит тебя, княже, из духовных-то? — поднял глаза Захарий Гнездо.

— Рати мы все одно соберем! — выговорил старший Шетнев.— А токмо...

Он не довершил речи, но Михайло понял без слов. «Да и не соберешь!» — подумалось. Все ратники в разгоне, убирают хлеб и будут убирать до самой осени. Он остановился, оглядел новым зраком просторную столовую палату княжеских хором, немногих соратников своих (прочие тоже в разгоне). А там, в глубине терема, волнуются, ждут, тоже ведая про патриаршье послание, Евдокия и тринадцатилетний Иван, стройный отрок, с таким же, как у него самого в юности, ясным и непугливым взором. Заботно и пытливо взглянет, отыскивая на лице любимого родителя своего печати смятения и скорби... Сашу с Борисом он еще не понимал, не воспринимал как помощников и продолжателей отцова дела и мало задумывал пока об уделах, спорах и дальнейшей судьбе сыновей. Но Ивана уже сейчас готовил в смену себе.

— Преклони, княже, слух свой к глаголу господней любви! — не приказал, но попросил епископ Василий. И потому, что попросил, потому, что в голосе старика была безнадежность веры в княжеское разумие, Михаил устыдил себя самого. Замер, склонил голову. Выговорил:

— Ежели я, ежели мы... решим предложить вечный мир и любовь князю Дмитрию, ты, владыко, поедешь с тем на Москву?

— Поеду, сыне! — просто отмолвил епископ.

— Такие дела думой решать надобно! — прогудел Захарий Гнездо, обиженно склоняя толстую выю.

— Думой и будем решать! — вскинув подбородок, легко и твердо, чуть-чуть побледнев, возразил Михайло. (Знал бы ты, боярин, чего мне, князю, стоит днешнее смирение мое!) Но не выговорилось, умерло в душе. Он почти уверен, что дума решит так, как решит он, князь. Но чего хочет он сам? И подлинно ли жаждет мира? — Михайло не ведал.

«Оньку бы сюда! — невесело подумал он, провожая бояр. Патриаршья грамота, вновь бережно свернутая в трубку, жгла руки.— А Онька бы сказал... Что сказал бы Онька? — вдруг подумалось без насмешки, взаболь.— Онька и тысячи таких, как он, совсем не хотят войны! А московиты хотят?» — перебил он сам себя встречным вопросом.

— Небось грабить тверские волости все добры! — осуровев лицом, выговорил он вполгласа. Резко откидывая крылатые рукава ферязи, прошел переходом, почти отпихнув прянувшего слугу, вошел, ворвался в домашнюю горницу.

Мальчики все разом, бросив книги и игрушки, уставились на отца. Подбежавшую Евдокию бережно поцеловал в висок, скинул ферязь. Боря тут же полез на колени отцу, мамка потянулась было схватить дитя. Михайло отмахнул кудрями — пускай, мол!

— Что порешили? — вопросила Дуня, усаживаясь на лавку, где стояли расставленные большие пяла, и тревожно уронив руки на колени, на тафтяную переливчатую ткань.

— Думу соберем! От патриаршей грамоты просто не отмахнешься.

Он протянул ей свиток, она взяла, опасливо сжала в руке. Иван приблизил к матери, вытянул послание Филофея у нее из рук (такие же получили нынче все владимирские и северские князья), украдкою стал читать, шевеля губами.

— Попробую вновь поклонить князю Дмитрию! — выговорил Михайло устало.— Ежели дума порешит, пошлю владыку с грамотою о любви!

— А Дмитрий Иваныч, Москва... Согласят? — неуверенно вопросила Евдокия, отревоженно глядя на родное замученное лицо.

Михаил провел рукою по лбу, взъерошил, откидывая, волосы, ответил устало и глухо:

— Не ведаю!

Дума порешила, после долгих споров, просить все же великого князя московского о вечном мире и дружбе, согласясь стоять на том, что имеет каждый из них на сей день, и не преступая впредь своих рубежей. Владыка Василий отправился в Москву в самом начале августа.

Шли тягучие обложные дожди. Болота стояли полные до краев водою. Пашни превратились в грязевые озера. По небу волоклись долгие сизо-серые череды беременных дождями облачных куч, и хлеб, вымокая, стоял неубранный. Казалось, хотя бы перед лицом общей беды московский князь должен согласить о мире.

Но Дмитрий Иваныч словно того только и ждал. В ответ на ходатайство епископа сложил с себя крестное целование и послал взметную грамоту Михаилу. Совершилось это на шестой день по Госпожине дни, то есть двадцать первого августа. Москвичи были готовы к бою, их рати стояли на Волоке.

Тверской епископ, отпущенный на сей раз из Москвы невозбранно, тотчас послал гонца Михаилу, и князь узнал о решении Москвы назавтра, глубокой ночью, на четыре часа раньше того, как московские слы со взметной грамотой домчали до Твери.

ГЛАВА 18

Итак, все оказалось напрасным...

В окошках стало совсем сумрачно. Дальнее урчание рассерженного грома откуда-то из Заволжья надвигалось на Тверь.

— Гроза! — выговорила Евдокия. Михаил, что лежал без сна, думал, накинул на нижнюю рубаху ферязь, сунул ноги в домашние сапоги.— Льет и льет!

Пробурчав что-то невразумительное себе самому в ответ на вопрос жены, вышел из покоя. Постоял, прикрыв дверь. Решительно прошел переходом, миновав сторожевого с саблей, что дремал в углу, пихнул створы внешней двери, вышел на глядень.

Туча валом валила, клубясь и пропадая в недоступной черной вышине, и при неживом мгновенном блеске молний обнажались все ее многослойные хребты, громоздившиеся один над другим, среди коих, точно легкая конница, проносились пепельно-белые неживые обрывки

облачного дыма. Сизая громада урчала утробно и глухо, и в зловещих посветах неживыми и распластанными казались крыши заволжской стороны и тускло-оловянной — стремнина волжской воды. Вспыхивающие на миг колокольни и главы церквей тут же и вновь тонули во мраке, и уже в темноте, дорыкивая, урчал, точно гигантская железная небесная колесница, гром.

Дождя еще не было, но все ветви, все листья напряженных от ветра дерев, глухо трепеща, устремились в одну сторону. Ветер, объявший князя на галерее, был упруг и могуч. Михайло почуял, как рвет у него с плеч ферязь, как волосы непокрытой головы, точно ветви погнувшихся дерев, устремили прочь, и даже стало трудно вздохнуть — так мощно вдавливались в грудь тугие воздушные струи. В очередном блеске молний проплыла, точно лунь, по воздуху над Волгою сорванная вместе со слегами кровля овина. Какая-то пичуга юркнула прямо под ноги князю, забиваясь в спасительные щели человечьего жилья.

Удар ветра качнул его, залепил плотным воздушным кляпом лицо и рот. Еще раз блеснуло, и, без перерыва, без всякого промежутка между сиянием и ударом, грянул гром — обвалом, крушащей все и вся лавиною звуков, и хлынул ливень, что летел по воздуху вкось, разом вымочив его всего.

Князь уцепился за узорные перила, открытым ртом хватая воздух, пополам перемешанный с водою. Захлебываясь, ослепнув от летящих в лицо струй дождя, он следил, как раз за разом отверзаются зеницы неба, расплющивая серо-белую, распластанную Тверь; как волжская вода взлетает длинными пенистыми потоками, обрушивая на вымола влажные стремительные удары; как вертит и рвет зачаленные лодьи; как пенистый белый след взбесившейся стихии покрыл весь берег под стенами города; как сами собой начали качаться и вызванивать стронутые ветром колокола... И снова меркнет, и гром, потрясающий, раскалывающий небо и землю, обвалом рушит на город.

У него не было никоторой мысли, ни даже чувства в сей миг. Все внутри умерло, замерло, и лишь дыхание билось с ветряным удушьем, лишь скрюченные намертво пальцы держали перила, как держат тяжелое правило в бурю руки кормщика... Удар, еще удар! Длани мертвы, они — как кость, их сейчас не разожмешь и насильно. Рот яростно хватает воздух, воздуху уже полная грудь,

уже трудно выдохнуть, и можно задохнуться от его изобилия. Неслышно и потому страшно отдирает ветер несколько тесин кровли, и, мелькнув черными птицами в молнийном всплеске, они улетают в ночь. Звуков нет, ибо все заволакивает, заливает, глушит и гробит гром. В небе рвут гигантское полотно. Трах-тара-рара-рах-тах-тах-тах! Облачные башни в дьявольской пляске рушатся и возникают, пролетая над самой головой, так что порою хочется пригнуться, уйти от когтистой лапы летящего черного облака. Тара-рара-рах-х-х! Бум-м, бум-м! — доделывает свое железно катящийся гром. И вновь, и вновь ветвисто, огненными угластыми потоками пламени разверзается небо, и вновь, и вновь закладывает уши неистовым грохотом.

Кто-то трогает его за плечо, тянет. Михайло поворачивает голову, и ратник, посланный Евдокией, отшатывается. В обращенных к нему глазах князя безумие, отблески молнийных сполохов в жути ослепших глаз, в искаженной ярости лица, облепленного мокрою бородою.

— Уйди! — неслышимо кричит Михаил, ибо новый обвал грохота заглушает все звуки, и вновь оборачивает яростное лицо навстречу грозе, навстречу потокам дождя, ветру и огненному небесному пламени.

Он так и простоял, без мысли и почти без движения, все те два часа, пока несся над распластанною Тверью в яростной пляске ветер, пока грохотало и в провалах туч ветвилось небесное пламя, тяжкими ударами сотрясая землю и небесную твердь, пока бушевала ненадобная тугая вода, заливая дворы и улицы, заливая пути и полные влаги поля, на которых неубранный хлеб ходил тяжкими мокрыми волнами.

Только когда чуть-чуть успокоилось неистовство стихий, ослаб ветр и тучи уже не рушились, а бежали торопливою чередою и дождь, принявши отвесное течение, забарабанил по кровле, князь оторвал сведенные пальцы от перил и, вырвав из косяков забухшую дверь, покинул гульбище.

Евдокия молча и споро срывала с него мокрые одежды, боясь вымолвить хоть слово, потому что в глазах супруга все еще мелькало неукрощенное безумие огненных сполохов, с трудом разжимала ему кулаки. Он стоял перед нею голый и страшный, и она обтирала, закидывала его сухим чистым бельем, тащила, увлекала в постель, поила горячим сбитнем. Он глотал, с трудом

разжимая челюсти. Наконец свалился в соломенную упругость ложа, вымолвив только:

— Тверь они не возьмут!

Проснувшийся Иван, всклокоченный, в долгой мятой рубахе и босиком, стоял у притолоки, боясь того, что происходило в сей час с его родителем, и понимая уже, что не одна гроза — и даже не столько она — тому причиной. И потому молча обращал тревожные в пляшущем свечном пламени глаза к матери, без слов вопрошая ее, и она отмолвила знаком, махнувши рукою:

— Спи!

Назавтра, после короткого совещания с боярами, Михайло ускакал в Литву. Рати волочан уже начинали пустошить Тверскую волость.

ГЛАВА 19

Первого сентября, в день Симеона Столпника, вышел в поход с московскими полками сам князь Дмитрий. Конница медленно тянулась по раскисшим дорогам. Чавкали копыта, выбивая фонтаны грязи, затаптывая в лужи оранжевое великолепие осенних лесов.

Князь Дмитрий ехал в роскошном пластинчатом колонтаре и литом шеломе, в доспехах — особенно широкий, кажущийся много старше своих двадцати лет. К нему подскакивали воеводы, он важно кивал опереннным, отделанным золотою вязью шеломом и, почти не слушая, что говорят ему, бледнея и каменея ликом, ждал одного: когда из-за пестрых, желто-красных и бурых кустов выскочат вдруг тверские конные ратники и надобно будет обнажить меч и рубить, рубить и рубить, а затем — гнать и преследовать бегущих.

Но шел дождь, а тверские верхоконные все не появлялись встречу полкам. Уже вели полоняников, гнали захваченный скот. Мокрые коровы, опустив морды, шарахались от оборуженных всадников, совались в кусты, норовя удрать, забиться в чащобу и переждать там нежданную, свалившуюся на них беду, после которой вновь будут хлев и корм и ласковая хозяйка... Но уже сожжен был хлев, и разорен тот дом, и хозяйка уведена в полон, в холопки московскому боярину.

И Дмитрий хмурился и глядел недоуменно (это

была не война!) и, наконец, приказал захваченный скот задешево раздавать московским смердам, пограбленным в прошлое Ольгердово нахождение. И когда к нему подъехали, переспросив, впервые взъярился, накричал, срывая голос и обещая жестоко наказать тех, кто будет присваивать крестьянское добро. (Приказ этот был исполнен, вот почему Наталья получила корову, о которой будет рассказано в следующей главе.)

Двор великого князя московского расположился в Родне. Князю отвели хоромы кого-то из местных бояр, где он мог снять надоевшие доспехи, переменить мокрое платье, вымыться и поесть. К нему пришли за приказами. Война, совсем разочаровавшая князя, продолжалась.

По подсказке старших бояр, Ивана Федоровича Воронца-Вельяминова и Дмитрия Афинеева, он распорядил двинуть полки к Зубцову. Третьего сентября его воеводы обложили город.

Игнатий Гульбин, тверской воевода, содеял все что мог. Вооружил смердов, приказал изготовить котлы с горячею смолой и наволочь груды камней, которые должно было бросать на головы осаждающим, загородил ворота бревнами.

Москвичи, осклизаясь на размокших валах, остервенело лезли на приступ, цепляя арканами за острые верхушки бревенчатой горотьбы, лезли через стену, их сбивали, опрокидывали лестницы, лили смолу. Под тучами стрел с той и другой стороны падали раненые и убитые. В воздухе стояли ржание, звяк железа и гомон ратей. Отбили первый приступ, москвичи тотчас пошли на второй. В городишке от огненных стрел там и здесь загорались кровли, бабы с ведрами тушили пожары.

Игнатий лез на низкие бревенчатые костры, сам долгим крюком спихивал лестницы осаждающих, бился у ворот с лезущими сквозь пролом москвичами, был трижды ранен. Чумные после бессонных ночей, черные от копоти, перевязанные едва ли не все кровавым тряпьем, тверичи держались неделю. На шестые сутки Игнатий запросил мира. Московские воеводы, дабы не тратить людей, позволили тверичам покинуть город и идти «кому куда любо». Опустелый Зубцов сожгли.

Загонные дружины московлян всю неделю грабили деревни и села по Ламе и верховьям Шоши, угоняя полон и скот и почти уже доходя до Твери.

Только после взятия Зубцова, под упорными дождями, превратившими все дороги в полосы жидкой грязи, московские воеводы начали отводить свои вдосталь ополонившиеся рати.

ГЛАВА 20

Михайло Александрович, извещенный о новом московском разорении, умолив Ольгерда выступить противу князя Дмитрия, устремился в Орду, с малом дружины и казною, увязанною в торока.

Скакали, меняя коней, южным, степным путем, дабы не нарваться на заставы дружественных Дмитрию князей. (Скакать в Орду Михайлу понуждал сам Ольгерд, не желавший выступать, пока Мамай будет на стороне Дмитрия.)

Дождливая владимирская осень сказывалась и тут. Все реки, текущие к югу, были полны воды, броды исчезли, темная осенняя влага шла, пенясь, вровень с речными берегами. Люди и кони валились от усталости. Пересаживаясь с коня на конь, Михаил делал по полтораста верст в сутки, и уже не один кровный жеребец, захрапев, валился под ним, издыхая в кровавой пене, замученно глядя на своего сурового седока.

Михайло спал с тела. Костистее и старее сделался лик. Глаза смотрели с яростной горечью. В нем уже совсем не оставалось прежней юношеской улыбчивой светлоты, и, верно, увидь его Маша, сестра, в сей миг, дорогое некогда лицо брата ее ужаснуло бы.

Совершив невозможное, Михайло настиг Мамаеву орду на перекочевке, на реке Воронеже. Верно, тот стремительный порыв, с коим он скакал сюда, еще не перегорел и позволил князю пробиться прямо к Мамаю.

И вот они сидят: жиловатый татарин с хитрым и жестоким взором и русский князь, худой, замученный, со стремительным очерком неистового лица, с запавшими, в глубоких тенях, глазами. Новый Михайло Тверской перед новым Узбеком, христианин перед мусульманином, русич перед половцем, ратай и воин пред кочевником-степняком...

Михаилу помогает знание татарской речи. Толмачи поэтому удалены. Разговор идет не в белой парадной ханской юрте, а в черном походном шатре Мамая, и оба сидят на войлочном ковре, и, забытые, стоят между

ними кожаные тарели с мясом и серебряные блюда с фруктами.

Орда далеко не та, что была когда-то (еще совсем недавно!) в гордые времена Узбековы и Джанибековы. Потеряв богатые города Хорезма и Аррана, на Кавказе отступив за Терек, отдавши Литве Киев с Подолией, теснимая с юга и востока и удерживавшая за собою одно только правобережье Волги, Орда едва ли не вернулась ко временам половецких ханов, тех самых, что ходили под рукою великих киевских и черниговских князей. И ежели бы не поддержка русичей, ежели бы не нижегородские полки, позволившие ныне воротить под ханскую руку Булгар, и не русское серебро, невесть, удержалась бы она под натиском буйных ак-ордынцев...

И потому Мамай боится и не любит своих русских улусников. Он слишком зависим от них! А они стали чрезмерно сильны. Или же так ослабела Орда? Но ныне стал опасен Орде, опасен жадным Мамаевым эмирам сильный урусутский князь, князь Дмитрий, выпросивший себе грамоту на вечное владение владимирским великим столом. Да и мусульманские улемы льют в уши всесильному темнику свой яд: «Не верь урусутам, Мамай, предадут!» А кому верить? Кафинским фрягам? Они тоже против коназа Дмитрия! Поверить этому князю, что дает ныне серебро, много серебра! Всем дает! Подкупил, почитай, уже половину ордынских эмиров! Его руками окоротить коназа Дмитрия? А Дмитрий платит мало, очень мало! Ай, ай, как мало платит коназ Дмитрий! Однако Михайло — друг Ольгерда! А Ольгерд забрал Подолию!

Мамай еще не видит, не понял, что Орда стала продаваться и что решает теперь уже не воля ее властителей, не дальние замыслы мудрых, а днешнее, легко растрачиваемое серебро. (Гарем и эмиры способны поглотить столько, что им не хватило бы и копей царя Соломона!)

Мамай качает головой, улыбается, слушает, маленькими злыми глазками внимательно изучает тверского князя. С Дмитрием у этого коназа вражда не на жизнь, а на смерть! Мамай прячет руки в долгие рукава, горбится. Его взгляд становится подобен взгляду подстерегающей огромной кошки.

— Чем тебе, хан, опасен князь Дмитрий? Разве ты не понимаешь этого сам? — спрашивает тверской князь.

«Понимаю ли я? — думает Мамай, глубже запуская

в рукава зябнущие руки. За войлочными стенами метет мелкий колючий снег.— Понимаю ли я? Да, понимаю, конечно, что мне, моим эмирам, не надобна ныне единая сильная Русь, которая вовсе откажется когда-нибудь давать выход! Что ж! Быть может, и в самом деле этому бешеному урусуту, а не Дмитрию вручить ярлык на Владимир? По ихним урусутским законам прав на великий стол у этого коназа не меньше, чем у московского! И ты станешь мне много платить? — спрашивает мысленно Мамай.— И ты станешь давать мне выход, как при Джанибеке?»

Мамай уже забыл, кто брал для него Булгар. Мамай не может понять, что сейчас, соглашаясь дать ярлык Михаилу, он не ведает, что творит, лишаясь такого союзника, как московский князь Дмитрий, а завтра, изменив Михаилу, не поймет, что лишился на будущее еще и тверской помочи. Не поймет ничего до самого конца, до гибели под генуэзскими коварными ножами, ножами союзников, презиравших в нем невежественного дикаря и освободившихся от него в час беды, как освобождаются от старого платья.

— Я дам тебе ярлык! — говорит Мамай, по-прежнему думая, что он удачно использует спор двух урусутских князей в свою пользу.— Ты поедешь во Владимир и сядешь там на престол! Московский коназ должен будет тебе уступить! — Он протягивает властную длань, принимает из рук Михаила серебряную чару, полную жемчуга, кивает, приказывает составить фирман. Он, нарушивший сейчас свой же прежний ряд с Дмитрием, не понимает, что таким образом окончательно обесценивает силу теперешних ордынских грамот и Дмитрий волен отныне не считаться с ним.

И Михайло скачет вновь. С тою же мизерною, измученной тысячеверстными дорогами дружиной, но с бесценной грамотой и с татарским послом. Скачет во Владимир, не догадывая еще, что так никогда и не доберется туда...

Москва, засыпанная молодым слякотным снегом, встречает победителей. Вызванивают колокола. Ржут кони. Мокрый снег облепляет вотолы, брони, седла, лица ратных и морды коней. Снег валит с тою же неудержимостью, как и давешний осенний дождь. Погода словно взбесилась, а все равно весело — победа!

Москвичи высыпали на дороги, чествуют рать, отомстившую тверичам. Дмитрий въезжает во двор, слезает

с коня, торжественно подымается по ступеням. Он посвежел, построжел, гордится походной усталостью, хотя и жалеет, что не довелось побывать в боях. Дуня, сияющая, выходит на сени с обрядовой чарою. Бьют колокола.

Начинаются пиры, празднества, потехи. И тут — как не отмахнуться от скорого гонца, что на запаленном коне врывается во двор княжого терема? Но бояре поправляют, подсказывают. Федор Свибло бежит к Митяю, Митяй входит, минуя прислужников, рокочет о надобных господарских делах. Он высок, дороден, «напруг» и «рожаист», как будет описывать его Киприан. И, не обинуясь, велит князю собирать думу. Скоро с тем же самым прибегает посол от митрополита. Гонец — из Орды, от Кошки — поясняет: князь Михайло уже там и выпрашивает себе ни более ни менее, как ярлык на владимирский стол.

На сей раз среди бояр споров нет и царит полное единодушие. Андрей Одинец с Константином Добрынским скачут с дружиною к Юрьеву-Польскому. Зерновы шлют своих ратников на Кострому. Гонцы скачут в Нижний упредить княжеского тестя, Дмитрия Костянтиныча. Иван Вельяминов отправляется сам с ратными на Оку, а Иван Родионыч Квашня с Григорием Пушкой и Иваном Хромым — прямиком во Владимир. И все бояре скачут с одним: перенимать тверского князя. Михайлу стерегут на всех путях, и, чудом дважды уйдя от плена, тверской князь, так и не досягнувший владимирского стола, вновь уходит в Литву. Он, проделавший за немногие дни сотни и сотни поприщ, загнавший неведомо скольких коней, отнюдь не сокрушен и не сломлен новой бедой. Для него это токмо начало. Ольгерд должен ему помочь!

То и дело идет снег, но мрачны тяжелые небеса, по которым ходят столбами багровые страшные сполохи, и небо червлено, как кровь, и кровью истекает густой, багряный сумрак, одевающий землю, и земля и снег видятся одетые кровью, и красные отсветы трепещут в глазах коней, и лицо тверского князя, что торопит сопутников своих, когда он оборачивает к ним, словно бы залито кровью. Кровь на платье, на мордах и на попонах коней.

Багряные высокие столбы ходят по небу, предвещая скорбь и беду, нахождение ратей и кровопролитие, «еже и сбыстся»,— как записывал летописец, испуганный сам, как и все, мрачным небесным видением, повторявшимся не раз и не два, а многажды в эту необычайную зиму.

ГЛАВА 21

Для Ольгерда патриаршье послание, в коем упоминался «нечестивый Ольгерд», послужило последнею каплей, или тем, чем служит красная тряпка для быка. В ярости он бегал по кирпичной палате своего виленского замка, не обманываясь нимало в том, отколе исходят все эти укоризны и хулы, грозил раздавить Алексия, лишь тот попадется ему в руки. Садясь писать в патриархию, он в бешенстве сломал перо, взял второе и снова сломал, и уже потом, вызвав секретаря, диктовал тому, временами свирепея до того, что начинало клокотать в горле.

Ольгерд требовал от патриарха поставить на Литву своего, особого, независимого от Москвы митрополита, требовал подчинить ему не только все захваченные Литвою епархии, но также и спорные между ним и Москвою земли, но также и Тверь, и даже Нижний Новгород,— оставляя Алексию лишь пятачок волостей, несколько епископий, непосредственно подчиненных Москве.

Мы приводим ниже Ольгердову грамоту, сохранившуюся в анналах константинопольской патриархии, полностью, без всяких комментариев, достаточно разработанных историками. На наш взгляд, она ярко показывает как норов самого Ольгерда, так и характер его политического мышления.

«Питтакий князя Литвы, Ольгерда, к всесвятейшему владыке нашему, вселенскому патриарху.

От царя литовского Ольгерда к патриарху поклон!

Прислал ты ко мне грамоту с человеком моим Феодором, что митрополит жалуется тебе на меня, говорит так: «Царь Ольгерд напал на нас». Не я начал нападать, они сперва начали нападать, и крестного целования, что имели ко мне, не сложили и клятвенных грамот не отослали! Нападали на меня девять раз, и шурина моего князя Михаила Тверского клятвенно зазвали к себе, и митрополит снял с него страх, чтобы ему прийти и уйти по своей воле, но его схватили. И зятя моего нижегородского князя Бориса схватили и княжество у него отняли! Напали на зятя моего новосильского князя Ивана и на его княжество, схватили его мать и отняли мою дочь, не сложив клятвы, которую имели к ним. Против своего крестного целования взяли у меня города: Ржеву, Жижец, Гудин, Осечен, Горышено, Рясну, Луки Великия, Кличень, Вселук,

Волго, Козлово, Липицу, Тесов, Хлепен, Фомин Городок, Березуйск, Калугу, Мценск. А то все города, и все их взяли, и крестного целованья не сложили, ни клятвенных грамот не отослали. И мы, не стерпя всего того, напали на них самих, а если не исправятся ко мне, то и теперь не буду терпеть их!

По твоему благословению митрополит и доныне благословляет их на пролитие крови. И при отцах наших не бывало таких митрополитов, каков сей митрополит! Благословляет москвитян на пролитие крови и ни к нам не приходит, ни в Киев не наезжает. И кто поцелует крест ко мне и убежит к ним, митрополит снимает с него крестное целование. Бывает ли такое дело на свете, чтобы снимать крестное целование?! Иван Козельский, слуга мой, целовал крест ко мне со своей матерью, братьями, женою и детьми, что он будет у меня, и он, покинув мать, братьев, жену и детей, бежал, и митрополит Алексий снял с него крестное целование! Иван Вяземский целовал крест и бежал, порук выдал, и митрополит снял с него крестное целование! Нагубник мой, Василий, целовал крест при епископе, и епископ был за него поручителем, и он выдал епископа в поруке и бежал, и митрополит снял с него крестное целование!! И многие другие бежали, и он всех разрешает от клятвы, то есть от крестного целования!

Митрополиту следовало благословить москвитян, чтобы помогали нам, потому что мы за них воюем с немцами. Мы зовем митрополита к себе, но он не идет к нам.

Дай нам другого митрополита на Киев, Смоленск, Тверь, Малую Русь, Новосиль, Нижний Новгород!»

ГЛАВА 22

Прещения Филофея Коккина не помогли. Святослав Смоленский вновь выступал вкупе с Ольгердом. Вновь стянутые отай конные силы великой Литвы — братьев, сыновей и племянников Ольгерда с их дружинами, вкупе с тверским великим князем Михайлой — обрушились на московские волости.

Ольгердовы рати, делая, несмотря на глубокие снега, по шестьдесят — восемьдесят верст в сутки, явились нежданно в виду Волока-Ламского в Филиппово говенье,

двадцать шестого ноября, на Юрьев день. Москвичи опять не поспели собрать воедино свои силы. Так началась вторая литовщина.

Впрочем, прежней, до беды, растерянности на Москве уже не было. Ругаясь, матеря друг друга, успели, однако, и город приготовить к обороне, и вестоношей разослать во все концы скликать ратную силу. Но все опрокидывала необычайная Ольгердова быстрота.

Подойдя к Волоку двадцать шестого, он тут же начал штурм города, едва не захватив с наворопа отверстых ворот. Добро, что князь Василий Иваныч Березуйский заранее приготовился к обороне и успел, собрав ратных, отбить первый суступ.

Волок был сильно укреплен, и когда назавтра Ольгерд повторил приступ, волочане вновь отбились с изрядным уроном для литовских ратей.

К вечеру истоптанная, залитая кровью, усеянная трупами земля под валами города была освобождена. Живые отошли, унося раненых. Догорали зажженные хоромы посада и лужи пролитой смолы, по которым пробегали, сникая, с шипом вспыхивающие голубоватые языки огня. Черный густой дым полз в небеса. В городе мерно бил осадный колокол. Редкие стрелы перелетали с той и другой стороны.

Березуйский князь стоял на мосту в своем граненом шеломе, вглядываясь в рассыпанные по снегу, точно мураши, отступающие ряды литвинов и русичей, тяжело опустив четырежды за день окровавленную саблю прадеда своего. Он ждал, зная Ольгерда, последнего нежданного приступа, повестив дружине не уходить с валов и не снимать броней.

И, верно, в сгущающихся сумерках (снова пошел тяжелый мокрый снег) литвины молча развернулись и пошли внапуск. Протрубили рога. Из отверстых ворот высыпалась русская конница. Бой, переходящий в свалку, кипел у самого рва. Сверху, с заборол, в подступающих литвинов били стрелами.

Атака захлебнулась. «Ноне че всё!» — подумал князь, и в этот-то миг спрятавшийся во рву литвин ударил его сквозь мостовины сулицею. Жало копья, пройдя снизу под панцирь, вошло в живот, горячею болью пронзивши тело. Князя Василия подхватили, кто-то прыгнул в ров, кто-то бил остервенело рогатиною сквозь щели настила.

— Сторожу... в ночь...— шептал князь, уносимый на

руках в город. Лекарь, осмотревши рану, беспомощно развел руками. Князь, вздрагивая и теряя от боли сознание, отдавал последние приказания воеводам.

— Два дни... два дни... Не боле! — шептал.— Два дни продержись!

Монахи, оттеснив воевод, начали переодевать князя Василия в схиму, готовя к обряду пострижения, дабы князь вошел в тот мир не воином, а чернецом. Он уже не приходил в сознание. Воеводы и ратники стояли, снявши шеломы, кто и плакал, скупо, стыдясь, по-мужски. Князя любили. Мертвому приносили молчаливую присягу не сдавать города.

Назавтра, после нового отбитого приступа, Ольгерд отошел. Со всех сторон подымались дымы — жгли деревни. На третий день литовские полки, оставив заслон, двинулись дальше.

Ольгерд, подъехавши на полтора перестрела к городу, сумрачно, из-под рукавицы, озирал костры, стрельницы, ощетиненные копьями, и обвод стен. Это была первая и досадная неудача нынешнего похода! Русичи — в этом нельзя не отдать им должного — умеют оборонять города!

Ольгерд спешил, спешил, ибо опытным чутьем бывалого воина понимал, что нынешние его успехи очень легко могут оборотиться поражением, стоит лишь задержаться, застрять, не успеть. Ныряя в косой занавесистый снег, проходили на рысях всадники. Он боялся нынче распускать полки в зажитье, боялся всякого останова и гнал рати, почти не давая ополониться и передохнуть, гадая, успел ли Дмитрий за те два дня, что он напрасно простоял под Волоком, стянуть полки.

В Николин день, шестого декабря, показалась Москва. Упрямо-неприступная, со своею где дубовою, как на урыве над Неглинной, а где и сплошь каменною стеною, с каменными башнями-кострами, увенчанными островатыми, в шапках снега, кровлями с прапорами и мохнатою резною опушкою крыш. Дразнящая, белокаменная, богатая...

Князь Дмитрий, как и прошлый раз, был в Кремнике. Воеводы по городам собирали рати. По слухам, под Коломною и в Переяславле стояли владимирские полки...

Ольгерд, с коня, обозревал Москву. Небо было сиренево-серым. В Занеглименье уже занимались пожары. Воины грабили посад.

Подъехали Кейстут с Витовтом. Брат тяжело молчал, глядя на Кремник. Вдали, по заснеженной кромке поля, обходили город смоленские полки князя Святослава, готовясь к приступу.

— Дмитрий в крепости! — высказал Кейстут и умолк.

Ольгерд медленно покачал головою:

— На этот раз они подготовлены лучше!

Крепость высила на горе, бело-серый на белом снегу тесаный камень ее стен не обещал легкой удачи. Литовские удальцы, подскакивая, пускали в город стрелы. Там — молчали, не отвечая. Видимо, выжидали.

После неудачи под Волоком Ольгерду совсем не хотелось слать своих воинов на каменные стены Москвы. Он тронул коня шагом, чувствуя, как мягко и сильно ходят под седлом мускулы жеребца, поехал встречь смоленскому вестоноше, думая о том, что вновь исполняет просьбу тверского шурина, а Москва все не сокрушена, и не добьется ли он в конце концов лишь того, что вместо сосунка Дмитрия его врагом станет деятельный тверской шурин, который вряд ли допустит столь просто литовские рати под стены своей Твери!

Из утра сделали приступ с напольной стороны, заваля ров кучами хвороста и снегом. Приступ был отбит.

Дмитрий сам стоял на стене, сам долгою пешней под хищный посвист литовских стрел сталкивал приступную лестницу с шевелящеюся на ней сороконожкою человечьих тел. Лестница глухо ухнула в снег. Люди ползли из-под нее, ошеломленные падением.

Князя Дмитрия вдруг что-то сильно и резко ударило в плечо (к счастью, не пробив пластину панциря), так, что отдалось в руку, и он едва не выронил ослопа. Он недоуменно глянул и успел отстраниться. Вторая метко пущенная стрела задела шелом. Оружничий, без всякого уважения к княжескому достоинству, втащил Дмитрия под защиту заборол, и — вовремя! Третья стрела затрепетала, глубоко вонзившись в дубовый опорный столб, как раз в том месте, где только что стоял московский князь.

Приступ был недружен и недостаточно яростен, его скоро отбили. Два-три неубранных трупа, полузатоптанных среди раздавленного ратными хвороста, остались во рву.

Дмитрий, сопя, полез на высокую стрельницу, отмотнув головою на все уговоры оружничего со стремян-

ным. Брат Владимир был услан с Акинфичами в Коломну, и от него не дошло еще ни вести, ни навести. В сереющих лиловых сумерках изгибающего зимнего дня вспыхивали огни. Горели хоромы горожан в Занеглименье, кельи Богоявленского монастыря на сей стороне... Мурашами двигались ратные, оцепляя город, и князь сжал в кулаки руки, одетые в зеленые, расшитые шелком перстатые рукавицы, гневно пристукнул кулаком по перильцам смотрильной башенки. Почти недостижимый для стрел, он и сам был беспомощен перед этою вдругорядь наползавшею на него литовскою саранчой.

«Вывести полки? Ринуть? Бояре не позволят!» — остудил сам себя. Владыка Алексий был нынче в Нижнем Новгороде, а Митяй, в ризах, стихаре, с дорогим крестом, предшествуемый иконою, обходил стены, басовито благословляя ратных на подвиг...

«Все одно и без Алексия не позволят! Надобно сидеть и ждать неведомо чего! Пока Володька одолеет ворога!» — Дмитрий закусил губу, вспомнил погибший на Тростне дворянский полк. Подумал, понял, что бояре правы, и не со старым мудрым волком Ольгердом спорить ему, мальчишке, в ратном-то деле! Приходило ждать, снова ждать! И вновь уступать Михайле Тверскому? (Ольгерду — куды ни шло, но тверичам!)

Князь стоял, тяжко дыша, сжимая кулаки от гнева и обиды. Редкие литовские стрелы с гудением залетали за заборола. Смеркалось. Ярче разгорались в ночной темноте огни пожаров.

Он слез, издрогнув, едва не упал, споткнувшись на предпоследней ступени крутой лестницы, и сразу попал в объятия Микулы Вельяминова. Свояк, не слушая отговорок князя, потащил его за собою пить с дружинниками горячий мед. Легко отмахнувшись от злых упреков князя, вымолвил:

— Конешно, обмишулились! Дак ведь Ольгерд Гедиминович! Сам! А и погоди, княже, не сумуй! Мыслю, и он нас тоже опасится малость! Гляди — рати держит во едином кулаке, не распускает в зажитье! Не опасил бы — давно разошлись по всей земле! Народу православному то было бы хуже во сто раз!

— Иван — Олега встречает?! — сквозь зубы вопросил Дмитрий.

Микула глянул, прищуря глаз. «Без меня,— подумал,— брату и не ужиться будет с Дмитрием!»

— Рязанская помочь идет! — сказал.— Зараз не поспели — дак кто ж его знал?! Ране чем к Масляной и не сожидали, поди!

В улицах Кремника был, не в пример давешнему, порядок. На перекрестьях улиц трещали факелы, вставленные в бочки с песком. Постукивая копьями, проходила пешая сторожа. Неспешно сменялись ратники на стенах.

В княжеской молодечной, куда, спешившись, проникли оба свояка, боярин и князь, их встретили шум, здравицы, гомон. Десятки молодых, полных удали лиц обратились ко князю, подымая чары.

— Здрав буди, княже, здрав буди!

Дмитрий, оттаивая и улыбаясь, принял кубок, отпил под клики дружины. Оглянулся — этих хоть нынче веди в бой!

Лишь позднею ночью, хмельной, князь попал к себе в терем и разом в объятия Дуни, которая весь день была сама не своя, вызнав, что Дмитрий принял участие в бою, и тут, счастливая, торопилась постичь, что ее ненаглядный любимый Митюша и жив и цел. И долго еще ласкала и целовала уснувшего.

Восемь дней литовские рати стояли под городом, осаждая Кремник. Восемь дней продолжался грабеж Московской волости. Меж тем слухачи доносили, что уже собравший полки князь Владимир Андреич стоит в Перемышле, в одном дневном переходе от Москвы, а через Оку уже переправились рати рязанского князя Олега во главе с Владимиром Пронским, идущие на помощь Дмитрию. То, чего опасался Ольгерд, совершалось. Приходило, дабы не потерпеть поражения, спешно заключать мир. Иначе он рисковал очутиться со всем войском в окружении московских сил на чужой и враждебной земле, среди сырых снегов, грозных для конницы при недостатке лошадиного корма.

С Михайлой, требовавшим продолжения войны, Ольгерд едва не рассорился на этот раз.

— Езжай к Мамаю! Пусть выступит он! — кричал, срываясь, Ольгерд на сумрачно-молчаливого на сей раз шурина.— Я не могу погубить всю свою дружину под Москвой! Мне досыти хватило немцев! Спроси Кейстута, легко ли было нам устоять! И кто из русских князей мне помогал? Ты не мог! А кто мог?! Я защищаю не только себя, я и вас защищаю от немцев! Без меня они давно бы уже взяли и Псков, и Нов-

город! Да, да! А что творите вы, что творит твой Алексий? Не твой?! Но и не мой! Почто не помогаете мне поставить своего митрополита на земли Литвы? Я уже написал о том патриарху! Патриарх дружен с Алексием? Тогда я стану просить папу о присыле латинских попов! Мне надоело, что из подвластных Литве княжеств церковное серебро уходит в Москву! Что Алексий подговаривает моих вассалов к измене, что он не оставляет в покое мою жену, что он...— Ольгерд задохнулся, понял, что наговорил лишнего. На лбу у него вздулась и не опадала толстая жила, темная кровь прихлынула к лицу.

Кейстут, третий при этом разговоре, поднял укоризненный взор, остудил брата. Михаил молчал, хмуря брови и низя сверкающий взгляд.

— Бояре Дмитрия,— продолжал Ольгерд уже спокойнее, справясь с собою,— требуют, чтобы ты увел свои войска из захваченных московских волостей и воротил полон. Я согласил на то!

Михаил вскинул очи, пронзив Ольгерда взглядом, и вновь опустил.

— Сюда идет рязанская рать! — пояснил Кейстут.— И Владимир Андреич с полками! Против них, да ежели еще подойдут нижегородцы и владимирцы, нам не выстоять!

Михаил, так ничего и не ответив, резко поворотясь, вышел из покоя.

— Он, по крайней мере, не возразил! — сказал Кейстут, оставшись наедине с братом.

Ольгерд пил воду, пил, вздрагивая, роняя капли на серую бороду, и виделось, что он уже очень стар. Напившись и обтерев усы ладонью, Ольгерд поднял глаза на брата. Выговорил медленно:

— Я не хотел говорить при Михаиле. Пришла грамота из Кракова. Казимир Великий умирает. Близит борьба за польский престол! Надо не упустить Волынь. И... быть может, Мазовию! Нынче нам нужен вечный мир с Москвой. Я предложил Дмитрию выдать мою дочь за его двоюродного брата, Владимира Андреича.

— Елену? — уточнил Кейстут. Ольгерд кивнул:

— Ее! Князь Дмитрий согласен...

Михаил ехал, приотпустив поводья. Мокрый снег, истоптанный тысячами копыт, чавкал под копытами коня.

Объеденный почти до стожара стог, раскатанный на дрова сарай, поваленный, втоптанный в землю тын... Чьи-то чужие кони у коновязей. Везде проезжают, торочат коней, ровняют ряды. Армия готовится уходить, и скоро придут те, кто жил здесь (ежели они живы, ежели это не тот повязанный арканом мужик в криво нахлобученной шапке, не те вон бабы, что тупо ждут, когда их погонят в Литву), армия уходит, и в испакощенные, пустые деревни воротят русичи. Кто-то, натужась, будет подымать забор, кто-то повезет вновь лесины, начнет пахать, сеять... До нового нахождения ратных, до нового раззора. И не окончит сия беда, пока на Руси не станет единый великий князь! И никакие соглашения с Дмитрием ему не помогут. Кто-то один из них должен взять вышнюю власть на Руси!

Михайло подымает голову. Подскакавший вестоноша передает ему свернутую трубкой грамоту. Михайло читает, не слезая с коня. Под Волоком-Ламским тверичи разбили московскую рать, убили воеводу Луку Акатова и многих людей, «которые опроче стяга ходили»,— проще говоря, грабителей, следующих за каждым войском... Надобно отводить полки и вновь начинать все сызнова!

Позавчера снова явилось небесное знамение: кровавое небо, и снег, и люди — как кровь.

Воротясь во Тверь и отдавши наказы воеводам, Михайло тотчас поскакал в Орду.

ГЛАВА 23

Коров по осени московские ратники, и верно, распродавали нипочем, иных не доводили и до Москвы. Вот почему в Натальиной деревне оказались оставлены четыре тверские коровы и несколько телят, которых и разобрали по усадьбам. Правда и то, что брали захваченный скот с некоторой опаскою. Пастух Казя так прямо и сказал:

— Ну вот, мужики! Коров получили? А теперь ройте землянки! Князь Михайло повалит как раз через наши волости!

Маланья Мишучиха, придя к шапочному разбору, получила увечную скотину, раненную в вымя копьем. Вымя сочилось кровью и подсыхающею сукровицей, и когда Маланья села доить, корова, испуганная и измученная болью, взбрыкнула ногами, опрокинув подой-

ник и задев Маланью по лицу. Ну и досталось же ей! Хорошенько привязавши к столбу, прикрутив морду к самому дереву, Маланья схватила жердь и стала охаживать корову по крестцу и бокам. Корова, обезумев, ревела, уже непрерывно вскидывая и вскидывая копытами, и Маланья, уставши, переломав жердь, отвалилась наконец. Дрожащая всем телом, расставив ноги врозь, корова с налитыми кровью глазами следила за своею мучительницей. «Резать? — думала меж тем Маланья.— Куды ее теперь?»

На коровьино и хозяйкино счастье, Наталья как раз зашла в Мишучихин дом переговорить с хозяином-бочаром и, услышав жалобный рев, удары и ругань, взошла в хлев.

Когда она узрела привязанную корову с истерзанным выменем, сердце у нее зашлось, и, не думая даже, а просто — жаль стало избитую скотину до слез, предложила сменять ее на вполне здоровую нетель, доставшуюся ей, Наталье.

Маланья подозрительно скосила злой глаз на боярыню. Жуя запалым ртом, обмысливала, прикидывала, как и в чем обманывает ее госпожа.

Подошел сам Мишук, и после долгой ругани и перекоров, трижды перерешив так и сяк, попробовав вновь подступиться к корове (та стала тут же суматошно и безостановочно взбрыкивать), Маланья наконец махнула рукой:

— Бери!

Испуганное животное кое-как отвязали и выволокли во двор. Наталья достала ржаную горбушку, дала понюхать корове, и так, приманивая и понукая, и повели увечную животину на боярский двор.

Получив и оглядев телушку, Маланья заметно повеселела, сообразив наконец, что обмен далеко не безвыгоден для нее — мясо-то до снегов, да без соли, куды и девать! И скоро-скоро, не передумала бы Наталья, потащила телушечку со двора. А Наталья, заведя и напоив корову, присела около нее, только тут уразумев, за что взялась и что ей предстоит содеять.

Корова мелко дрожала всею кожей, опасливо взглядывала... Год назад она видела дым и огонь, обоняла жуткий для нее запах крови, потом ее гнали, нещадно избивая, куда-то сквозь снега в гурте незнакомых, собранных отовсюду животных, потом какой-то мужик охлопывал ее по бокам, больно раздаивал набухшее,

затвердевшее вымя, вел за собою. Был новый двор, новая хозяйка и новые травы на лугу, и она уже успокоилась было, но тут вновь пришли ратные люди, и железное долгое стрекало ранило ей вымя, и снова ее гнали куда-то, и только что избивали, и что будет теперь, она уже не ведала. Не ведала и того, что прежние, самые первые ее хозяева были Услюм, покойный деверь нынешней хозяйки, и Услюмова жонка, угнанная в полон, и что теперь она вновь попала к своим, к родне хозяина, перейдя из московских в тверские и из тверских в московские руки... И что еще лето спустя, гостя у тетки, Услюмов отрок Лутоня подойдет к ней и скажет:

— Тетя Наталья, гляди! Корова-то — ну точь-в-точь как у нас была! — И станет гладить ее, а она, притихнув и втягивая носом чем-то неведомым знакомый ей дух, будет тревожно и жадно облизывать его языком... И так никто и не узнает истины!

Но это потом, после. А теперь Наталья, подперевши щеку и пригорюнясь, думает. Наконец, повелев дочери принести пойла, идет составлять ведомую только ей мазь, куда входят и редкие травы, и барсучье сало, и пчелиный мед, а потом медленно, дабы не испугать животное, станет, сперва едва касаясь, а потом сильней и сильней, намазывать и растирать вымя, а потом (корова стоит, вся дрожа, на напряженных ногах, но не лягается, не вскидывает задом) начнет разминать залубеневшие соски, выдавливая из них густые творожные колбаски. Подойник пока ни к чему, доит Наталья прямо на землю, да и какой подойник, ежели буренка то и дело дергается, поджимая к брюху то одну, то другую заднюю ногу, и тогда Наталья отстраняется, и долго гладит корову, и чешет ее за ушами, и снова терпеливо разминает тугие соски.

Из трех сосков начинает наконец-то сочиться что-то похожее на молоко, из четвертого — и тут корова вновь начинает бешено вскидывать задом — давится какая-то творожная дрянь пополам с кровью. И Наталья, откидываясь, отирая вспотевший лоб, передыхает и вновь и вновь тянет пальцы к раненому соску, возится дотемна, и только почуяв, что сосок омягчел (измучены вконец и она и корова), подставляет страдалице ведро и выходит, едва не качаясь, из хлева.

— Мамо, а она не издохнет? — спрашивает Любава, подымая на мать невинные глаза.

— Молчи! — срывается Наталья.— Накличешь беды!

Девка достает щи. Иван, обихаживавший коней, деловито смывает руки под рукомоем, подходит к столу. Любава расставляет глиняные миски. Все, стоя, молятся, потом молча берутся за ложки.

— Забивать бы не пришлось! —по-взрослому, подражая Лутоне, говорит Иван.

— Раздою я ее! — устало возражает мать.— Скотина — она ни в чем не виноватая! Это мы грешны!

Этим летом владычный писец Станята-Леонтий передал Наталье серебряный тельник покойного Никиты, по которому и узналась мужева судьба. На погосте поставили поминальный крест. Наталья навсегда стала повязываться по-вдовьему в темный плат и такой же, старушечий, повойник. И в доме нынче за трапезою была вот такая, почти молитвенная, тишина.

Зайдя ночью к корове со свечой, Наталья увидела, что та плачет. Из больших влажных коровьих глаз словно бы и взаправду текли слезы. Вымя вздулось, и от каждого прикосновения к нему буренка вздрагивала. Наталья вновь и густо смазала вымя мазью, укоротила веревку, чтобы та не смогла вылизать себя языком...

Корове наутро стало хуже. Приходил Никифор, староста, предлагал забить. Но Наталья, сама не ведая почему, уперлась. Суеверно казалось ей: стоит выходить эту корову, и тогда отпадут все беды, напавшие на семейство. Поила отварами, ночей не спала. Корова, она и есть корова! К концу недели опухоль стала спадать, уже не так дергалась буренушка, когда Наталья сдаивала ее, по-прежнему на землю, хоть и больно было, терпела, лишь благодарно облизывала хозяйкино плечо и шею шершавым своим языком. Знал бы ратник, походя ткнувший животину копьем в пах, чего будет стоить выходить ее после того! Не ведал, да и не думал, поди! Трупы коров с распухшими животами там и тут валялись вдоль дорог, ожидая воронья и волков...

Когда наконец наступил перелом (и как-то враз наступил: Наталья, в очередную вступивши во хлев, услышала довольное чавканье, буренка впервые в охотку ела и, выев и вылизав целое ведро пойла, попросила еще), когда наступил перелом и дело пошло на поправку, Натальино сердце так прикипело к корове,

что, казалось, и забить ее некак будет, когда придет срок.

Буренка стала прибавлять молоко и оказалась очень удоистой, даром, что не на траве живой, а на сене стоит! И уже не выливали псу, сами пили густое, пенистое, с желтизною, жирное молоко, и Наталья светлела, глядя, как дети дружно приникают к мискам с парною сытной вологой.

Из-за коровы, почитай, Наталья чуть было и не погибла.

Надо было собирать осенний корм, и она собирала корм, и успела отослать обоз в Москву, и уже не вставало нужды кем-то заменять погибшего данщика Никиту Федорова, владычный келарь и эконом молчаливо согласили на то, что в волостке данщиком стала Никитина вдова. Сын-отрок уже подрастал, там, глядишь, и вослед батьки пойдет!

В Островое Наталья выбиралась несколько раз, последний — осенью, отвезя обозы. Минин посельский боле не пакостил. Впрочем, наезжали, приглядывались, да как раз о ту пору, как госпожа была во своем дворе. Уехали ни с чем. Мужики нудили Наталью: «Переезжай к нам!» Она улыбалась молча, отматывала головою. Сама не ведала порой, почто, прикипев ко вдовьим хоромам своим, где каждая спица, каждая слега, крюк напоминают ей Никиту, не может оторваться, уйти, стать сама себе госпожою, вместо того, чтобы продолжать Никитину тяжкую работу, заместо мужа объезжая волостку и «вымучивая» из упрямых мужиков митрополичий корм.

Обоз был отправлен по первому снегу. Из Острового Наталья воротилась к концу ноября, не уведавши, что в тот день, когда она выезжала из Москвы, Ольгердовы рати явились в пределах княжества.

Ежели бы не прискакал вестоноша, ежели бы литвины не застряли под Волоком, невесть что и створилось бы. Наученная горьким опытом прежней войны, Наталья, получив вести, тут же, в ночь, велела всем, разослав верховых по деревням, зарывать хлеб и уходить со скотиною в леса. За считанные дни устроили шалаши, огородились засеками, перегнали крупный и мелкий скот, и, когда подошла литва, в пустых Натальиных деревнях, где оставались, может, две-три древние старухи, сами глядевшие в домовину, только ветер гулял да мелькали тенями кошки, упрямо не же-

лавшие покидать родимых хором, да еще ласки, хорьки и прочая живность, ютящаяся, чая поживу, близ человечьего житья.

Сама Наталья, уже отославши детей в Горелый бор, нежданно для самой себя, когда уже за ней заехал староста (в доме оставалась она одна да излеченная ею корова), вдруг заупрямилась.

— Куда я ее поведу?! — сказала, слепыми, замкнутыми глазами глядя мимо лица ошеломленного старосты.— Езжай! Вот еще эту укладку возьми! Ванюшу, гляди не выпусти, не то сюда прискачет! Езжай! Може, со мною хошь... деревню не сожгут...— сказал она первое, что пришло в голову.

Никифор расставил руки, думая было имать Наталью и валить в сани.

— Не смей! — сказала она, угадав его движение и сурово повышая голос. И староста заюлил, замитусился, начал просить, снимал и мял в руках шапку... Наконец отъехал, так ничего и не поняв.

— Ну, все! — сказала Наталья, проводив его со двора. Зайдя в пустую горницу, оглядела свое жило, села на лавку, разглаживая крашенинный холст на коленях. Повторила тихонько: — Ну, все...— И молча, беззвучно вздрагивая плечами, заплакала.

Литвины явились на третий день. Наталья доила корову. Заслышав шаги, не удивилась, только погладила рубец на коровьем вымени и, уже когда ратник распахнул дверь, неспешно подняла голову. Ратник даже отпрянул сперва — не сожидал увидеть живую душу, да еще и с коровою. Стоял, раздумывая, что сказать, содеять. Наталья поднялась, молча налила молока в берестяной ковш, поднесла ратнику. Тот глянул вытаращенными глазами, дернулся, воровато озрясь, отступил было.

— Пей! — сказала Наталья.

Ратник неуверенно принял ковш — был он высок и белобрыс, уже средних лет, лик имел совсем невоинственный,— начал пить, все поглядывая и поглядывая на Наталью, на ее сухое, с огромными, в черных тенях, очами, иконописное лицо, на тонкие персты потемнелых от работы, но явно боярских рук. Воротив ковш, сказал по-русски:

— Благодарствую!

У Натальи от звука русской речи чуть отлегло от сердца. Подняла бадейку, пошла в дом. На дворе гру-

дились несколько ратников. Литвин в русской броне под суконною расстегнутой ферязью распоряжал людьми. У одного из ратных в руке трепыхался и ронял злые искры смолистый факел.

Наталья поставила кленовое ведерко на крыльцо. С захолонувшим сердцем, точно в холодную воду, подступила к ратным.

— Православные ле? — вопросила отчетисто и твердо. Ратники, видимо русичи из Полесья, закивали — да, мол! — поглядывая опасливо на своего боярина.

— Владычная волость! Нельзя жечь! — остерегающе подымая голос, сказала Наталья.

Литовский боярин глядел на жонку, не решивши пока ничего. Переспросил своих: о чем говорит баба? Ему сказали. Литвин, сам крещеный, задумался.

— Люди где? Где мужики, скот?! — вопросил он, трудно подбирая русские слова и начиная гневать.

— В Москве! В Москву ушли! — громко, как глухому, выговаривала Наталья.— Куда-то туда подались! — махнула она рукою.— И скот увели за собой!

— Нельзя жечь, грех! Митрополичье добро! Господь накажет! — требовательно повторила Наталья.

Литвин раздумчиво глядел на нее, положив руку на саблю. Подумал: увести? Стара, да еще и содеет чего! Зарубить?

— Корова чья? — вопросил.

— Больная корова! — возразила Наталья.— Только-только выходила, увести, так сдохнет! А молоко — вот!

Она обернулась за ведерком и ковшиком (и боярин призднул, вынимая из ножен клинок, все еще решая: не рубануть ли?). Спокойно — чуяла раздумья ворога и заставляла себя сугубо не спешить — воротилась, стала подавать всем полные ковши молока. И по мере того, как пили, и когда выпил-таки и сам боярин, убить жонку стало как-то совсем неможно, да и отобрать у нее корову — тоже.

В доме, даже оставленном, всегда найдется что-нибудь: и порты и снедь. С подволоки достали крепко провяленную чечулю мяса, растопив печь, сварили с Натальиной помочью котел пшенной каши, пили хозяйский квас. Прихватывая кто сверток холста, кто какую иную сряду, портно, один вынес из сарая старые обруди, литвины посажались на коней и поехали вдоль деревни. Догоравший факел был брошен во

дворе. Ратники заходили в избы, шарили по клетям, но жечь деревню не стали. Вечером, возвращаясь с несколькими кулями разысканного где-то зерна, опять напились молока у Натальи и опять литовский боярин думал: не убить ли? Долго на расставании глядел в строгие очи пожилой женщины. Что-то понял. Оборотив коня, ускакал.

Наталья уже после, пережив смертный испуг, покаяла, что не ушла. Доведись до татар, так легко не отделалась, угнали бы в степь! Зачем осталась? Из-за коровы, что можно было и увести за собою? Из-за покойного Никиты, скорей!

К ней еще дважды наведывались отдельные воины, прослышавши про чуднýю жонку, оставшуюся в пустой деревне. Пили молоко, уезжали, так и не тронув ни ее, ни коровы.

Дешевле обошлась селянам вторая литовщина, чем первая. Слишком спешил Ольгерд, разорив вдосталь лишь те волостки, через которые валила его армия.

Иван, уже когда схлынула литва, первым прискакал в деревню, бросился в объятия матери.

— Почто ты, почто, ну почто?! — бормотал, рыдая, тиская Натальины плечи. Поднял залитые слезами глаза.— А погибла бы, увели, мы-то как?!

И Наталья тут только покаяла, что давеча захотела умереть. Было ей для кого жить на этой земле!

ГЛАВА 24

Алексий возвращался из Нижнего в Москву. Война схлынула, оставив, как и в прошлый раз, разоренные деревни и толпы беженцев, бредущих по всем дорогам. В их сердитых жалобах доставалось и князю, и боярам, и самому владыке Алексию. Удивительным образом все эти сорванные со своих мест смерды упрямо верили (нет, не то что верили — знали! Иначе, полагали, и быть не могло), что стоило бы воеводам проявить хоть кроху распорядительности и пораньше собрать войска, и Ольгерда не только остановили, разбили бы в пух!

Под хитрыми изворотами политической грызни, успехами и просчетами князей, за борьбою боярских самолюбий нарастала подспудная волна воли и гнева, готовая вскоре опрокинуть все и всяческие преграды. Даже у этих разоренных, вторично за два года изгнанных со

своих мест, голодных людей не являлось и мысли иной, как о том, что им, ихнему князю, надлежит токмо побеждать.

Сто, нет, еще пятьдесят лет назад при едином имени вражеском все и вся во Владимирской Руси бежало и пряталось. Тогдашние беженцы не виноватили своих воевод, но зато убивали друг друга в голодных драках над падалью и ожидали предательства даже от соседей своих.

Теперь сего прежнего позора не поминали и самые древние старики. Как и когда переломилось? Пламенные ли речи Дионисия? Кропотливый ли труд и несгибаемое мужество Сергия и его учеников? Суровый пример Михаила Святого, гордость Симеона или упорная воля митрополита Алексия? Или не они сдвинули глыбу народной жизни, придав ей текучесть и полет, а сама жизнь на своей незримой волне вынесла на поверхность народного океана этих и многих других деятелей славного четырнадцатого столетия?

Сколько было пролито чернил, сколько споров до хрипоты, до ненависти прошло с тех пор и доднесь на тему «герой и толпа». А быть может (и вернее так!), что и те, и другие не правы, ибо неотделимы от нации герои ее, и, будучи на подъеме, она и рождает, и поддерживает героев, и сама идет вослед им, вослед их пламенному слову и мужеству. Скажем так: подымалась Московская Русь, и явились светочи ее и вожди народа, создавшие страну и нацию и сами созданные ею, неотделимые от своего народа, «земли и языка», как плоть от плоти, жизнь от дыхания, как образ солнца от тепла его лучей, как отречение от любви. И тот, кто сам «полагает душу за други своя», знает это лучше всего.

Нежданное тепло этой необычайной зимы уже почти всюду согнало снега с полей. Странно было глядеть на эту голую землю, на белесую, ломкую, не убранную по осени рожь. В Нижнем накануне его отъезда с горы обрушилась подтаявшая снежная лавина и погребла под собою целую улицу посадских хором на Подоле. Тут же, в голых полях, бабы и мужики жали хлеб. Резали серпами ломкие стебли, связывали, ставили в бабки, и странен был хлеб среди облетевших зимних кустов, в изножьях которых дотаивал грязно-белый снег.

Молодайка в подоткнутой поневе, в коротее, замотанная до бровей в шерстяной плат, распрямила стан. На ее голые, красные как гусиные лапы руки было больно смотреть. Но баба улыбнулась, пошла, покачивая бедра-

ми, не выпуская серпа из рук, к остановившемуся возку митрополита. Склонила голову, принимая благословение, сунулась поцеловать руку Алексия, коснувшись его длани пальцами,— руки у нее были холодны как лед.

— Мы привыкши! — отмолвила на участливый вопрос Алексия. Над онучами, под высоко подоткнутою рубахой, виднелись тоже покраснелые, голые ноги.

— Не осыпался хлеб? — спросил ее старый священник (баба не ведала, что это сам митрополит, думала — просто проезжий батюшка какой).

— Не! — ответила она с беглой улыбкой.— Стоит хлебушко! Нас дождал! На Пасху с калачами будем! Благословилась и пошла, твердо и трудно переставляя ноги в грязных растоптанных лаптях.

Алексий, дабы не мешать тружающим, велел трогать. Возок, скользя и виляя по мокрой мерзлой земле, двинулся, а он, затуманенно, все смотрел на жниц и жнецов, что надумали в великое говенье жать хлеб... И сожнут, и высушат, и уберут в закрома! И еще неведомо, в ком больше мужества: в ратниках княжеских дружин или в этих вот бабах, что жнут среди зимы, на холоде и ветру, а придя домой — не присядут, не обогреются путем, ибо некормленые дети ждут, и скотина ждет, как и дети, помимо корму, хозяйской ласки и участия...

Алексий откинулся на подушки, узрел Леонтия, переглянувшегося с ним значительно и серьезно, двух дремлющих служек. Ощутил нежданную истому и тихую беззащитную радость. Вот, он уже древен и чует в себе угасание телесных сил, а жизнь идет! Идет, несмотря ни на что! Вот — жнут хлеб, не поддаваясь ни ратной беде, ни отчаянию.

И там, в Троицкой пустыне, куда заезжал он дорогой, у игумена Сергия, тоже творилась жизнь. В обители живописали иконы, переписывали книги, шили, скали свечи, чеботарили, строили. Мужики из умножившихся окрест деревень то и дело приходили к радонежскому игумену, и он учил их и наставлял. Сам ведая любой крестьянский труд, давал советы, ободрял; укреплял беседами и прещением неблагополучные семьи. Учил и тому тайному, что должно было знать супругам, дабы не надоесть друг другу, не озлобиться, не превратить домашнюю жизнь в невыносимый ад.

Кто сведал? На каких весах взвесил и учел все те бесчисленные (умерявшие похоть, воспитывавшие понятия долга, жаления, верности) наставленья игуменов и

попов, монахов и проповедников, прещавшие плотскую жизнь в посты и праздники, учившие чистоте и стыденью, послушанию родителям и любви к детям — всему тому, что века и века держало русскую семью, воспитывавшую в свой черед, век за веком, поколение за поколением, воинов и пахарей, верных жен и заботливых тружениц — матерей?

Кто учел? Кто хотя бы подумал об этом в последние лихие века распада семьи и падения всякой нравственности?! Разве для смеха достают нынче «знатоки» исповедальные книжицы, дабы подивиться обилию и разнообразию перечисленных там плотских грехов. Забывая, что не для любованья грешною плотью и ее беснованием, а для искоренения всякой распущенности, похоти и грязи составлялись эти тайные, одному лишь священнику вручаемые пособия и что плотный перечень грехов в книге еще не говорит об их многочисленности в жизни тогдашних русичей...

Алексий думает обо всем этом, полузакрывши глаза, и вспоминает немногословную беседу свою с Сергием, беседу, в которой, как всегда, было мало сказанного и безмерно много того, что выше человеческих речений. Он не спросил Сергия, правда ли, что, когда тот благословил старца Исаакия на подвиг безмолвия, из руки преподобного вышел огонь и окутал Исаакия с ног до головы. Не спросил, не к чему было, и о прочих чудесах, о коих вдосталь рассказывали на Москве. Сергий сам был чудом, и Алексий с каждым годом и с каждою новою встречей все больше его понимал тем не словесным, а высшим разумом, помочью которого только и приходит истинное понимание.

Жизнь шла и, быть может, скоро уже пойдет помимо него, Алексия. Дмитрий, не спросясь у владыки, согласил на мир и предложенное Ольгердом сватовство. Что ж! Князю Владимиру Андреичу пора обзаводиться семьей, и вряд ли Ольгерду воспоследует какая корысть от этого брака! А мир с Литвою он укрепит. И даже то, что везет он Дмитрию как подарок переход в московскую службу волынского князя Дмитрия Михалыча Боброка (переговоры велись через него, Алексия, и владыка обещал Боброку своей властью снять с него присягу князю Ольгерду), даже и это вряд ли нарушит нынешний мир. Беспокоил лишь все еще не одоленный тверской князь, по сказкам, нынче опять укативший в Орду. Но и это ненадолго затмило днешнюю радость

Алексия. А Боброк, опытный воин, впавший в немилость у Ольгерда, очень и очень надобен Москве! Надобен добрый воевода, который сумеет, в противность неповоротливым московским стратилатам, разгадывать литовские воинские хитрости... Жизнь уходила, и Алексий торопился окружить князя добрыми помощниками, дабы не погибло дело, коему он, Алексий, посвятил всю свою жизнь.

В полях жали перестоявший ползимы, выбеленный снегами и стужею хлеб. И все-таки хлеб жали! Жизнь шла, и не так уж важно, что его собственная судьба близила к закату своему. Пахло могилой, сырью, деревья стояли голые, в промороженной мертвой земле еще не началось весеннее движение соков. И все-таки жизнь неможно было убить! Она возродится опять: и тогда, когда он, представ пред престолом Всевышнего, даст ответ во всех грехах и в помышлениях своих (так, Господи!); и тогда, когда угаснет, в свой черед, князь Дмитрий — когда-то единственная надежда московского престола! Угаснет, уйдет, нарожав и оставив, как видится уже теперь, многих детей (и только надо обязать их клятвою и договорными грамотами не нарушать единонаследия московского престола, иначе вновь не стоять земле!), и тогда... И тогда — прав ты, Господи! Прав в смене времен и в смене поколений земных! И Сергий уйдет, но явятся новые держатели горняго света в русской земле. Придут! Доколе народ не исполнит предназначения своего...

Полузакрывши глаза, он впитывал радость, и свет, и сырой запах земли, слишком рано освобожденной от снега, и таинство течения жизни, и таинство угасания, ухода «туда», в лучший, Господом устроенный горний мир...

Леонтий с беспокойством следил за необычайно мягким, беззащитным, почти детским выражением лица старого митрополита и отгонял от себя упрямо восстающий страх. Он так сжился, так слился с владыкою, что с трудом мог вообразить свою жизнь на земле, ежели не станет Алексия.

ГЛАВА 25

Андрей Иваныч Акинфов вернулся из-под Коломны под Рождество. Простуженный, едва живой, но довольный. Парился, пил крепкий настой сушеной малины

с медом, исходил потом. В груди булькало и было трудно вздохнуть.

— Сырь! Такова-то днесь и зима! Встарь рази ж такие зимы были?! Мороз! Любота! Дух легкой! — ругался боярин.

Андреиха хлопотала, прикладывала то одно, то другое, меняла мокрые рубахи мужу. Андрей Иваныч отмахивался, звал старшего сына, Федора Свибла. Федор, ускакавший к Владимиру Андреичу в Серпухов, наконец-то приехал. Отец встретил его необычный: мокрый, всклокоченный и хмельной. Он сидел, закутавшись в татарский халат, укрыв ноги овчиною, пил мед и, веселым горячечным взором глядя на сына, сказывал:

— Добро, прискакал, Федька! Думал, не застанешь! Дак слушай, тово! О болезни — недосуг! И потом, потом! Был я с князем Владимиром Пронским, что рать рязанску привел! Ну, начал обхаживать его — понимай сам! Сперва-то не поддавался, а потом единожды, баяли про Олега, дак Владимир, гляжу, бровь так-то нахмурит, рука — в кулак... Ну, думаю, то-то! И тебе чужая власть не люба! Повел окольные речи, да все — Олег, мол, такой да сякой... Вижу, гневает! Не может тому простить, что Рязань напереди! Ну и бояре пронски с рязанами век не дружны! Я тому, другому... Рать стоит, ждут, невесть чего. Зараз бы на Ольгирда ударить! Я: «Чего ждете?» Мнутся. Владимир Андреич наш уже в Перемышле полки собрал! Упустили каку неделю, может, а не то — был бы и Ольгирду и Михайле каюк! Дык, слух есть, не больно и рвались-то они в бой! То ли Олег чего наказал — не ведаю! А только не любит его Пронский князь, ох и не любит! И, знашь, уже когда Ольгирд уходил, вопросил я его в лоб. Были вдвоем. Прямо-то он мне не отмолвил, а понял я: захоти Митрий Иваныч — токмо захоти! — и Лопасню отберем, и на Переслав-Рязанской кого иного окромя Олега мочно всадить!

— Владимира Пронского? — уточнил сын, заботно вглядываясь в отцов расхристанный, нездорово-веселый лик. («Плох батюшка!» — подумалось с опасливою заботой.)

— Не гляди, не гляди так! Ищо не помер! — подхватил Андрей, заметя тревогу в сыновьих глазах.— Вота! Налей ищо!

Федор поднял тяжелый, завернутый в шерстяной

плат серебряный кувшин с горячим медом. Отогнул крышку, налил. Андрей размашисто опружил чару, крякнул, показал рукой и глазами:

— Прикрой!

Федор вновь закутал кувшин, поставил на низкий столец. Андрей обтер чело полотняным рушником. Высказал, нехорошо блестя глазами:

— Тут-то и Олега прижать, да и Вельяминовым урезать хвоста! Так-то, сын!

Федор кивнул, деловито соображая, что отец прав и ежели настанет размирье с Олегом, то и Вельяминовы пошатнут на своей недосягаемой высоте. Отец был прав, хотя после войны о другой войне как-то не думалось.

— Свадьбу затевают! — отдышавшись, продолжил Андрей.— А ты скажи, скажи князю-то! Митрий Олега тоже не любит, завидует, вишь! Тот-то стратилат! — сощурив глаза, Андрей подхихикнул масляно и пьяно, и Федор невольно прихмурил брови. Себе никогда не позволял даже так шутковать над Дмитрием Иванычем. Пото, верно и любил его юный московский князь.

Отец, и пьяный, узрел остуду сына, засмеялся опять:

— На людях того не скажу, не боись! Ведаю, как со князьями толк вести, не первой снег на голову пал!

И Федор невольно опустил голову: все чуял, все понимал родитель-батюшка! Перед ним и нынче сидишь, как стеклянный... В детстве, бывало, любую шалость уведает и уж поставит: «Говори!» — соврать николи не давал. А и не корил за шалости. Умей, мол, грешить, умей и каяться!

— Перемолви, перемолви со князем! — требовательно повторил Андрей.— Я, коли выстану, тоже ему слова два выскажу, да пущай и другие... Миром и медведя свалят! Поди! — Он неверно показал рукою куда-то вдаль и вкось. Вошла мать с постельничим, начали хлопотать около больного.

Федор вышел задумчивый. Плох был батюшка, очень плох! А какое дело свершил! Лопасню отбить — тамо и наши-то селы были! Ивану Вельяминову дать окорот... Любота!

С приездом старого митрополита события понеслись стремительно. Готовилось посольство в Литву. Порешили пока вечного мира Ольгерду не давать, но заключить перемирие на полгода: от Госпожина заговенья

до Дмитриева дни. Прискакал Владимир. Волнуясь, хмуря брови и вспыхивая, прошал: какова невеста?

Владимир Андреич вымахал в покойного отца: рослый, румянец во всю щеку, пшеничный ус, огонь в очах. Нынче возмужал за считанные дни — как же, сам руководил полками! Задержись Ольгерд, и в бой бы пошли!

Князя успокаивали:

— Хороша! От тверского корня да от Ольгерда уж худого не станется!

Невеста, баяли, по-русски говорит чисто, мать выучила, так что и той трудноты не будет! И православная, кажись. Не то что как встарь бывало: седни крестить, а завтра венчать!

Послами в Литву готовились выехать из княж-Владимировых бояр Иван Михайлович, сын покойного Михайлы Лексаныча, тестя Василья Василича Вельяминова, из великокняжеских — Дмитрий Александрович Зернов и Иван Федорович Воронцов-Вельяминов.

Среди хлопотни, беготни и сборов ждали со дня на день приезда знаменитого волынского воеводы, князя Дмитрия Боброка. Гадали, сколько приведет он с собою ратной силы. И когда донеслось: «Едут!» — глядельщики выстроились аж от Данилова монастыря и до Боровицкого спуска.

Самостийная встреча — словно бы государя иной земли — чем-то задела Дмитрия. Он остановил коня на взлобке Боровицкого холма и глядел, кусая губы, поверх городовой стены туда, в поля, где со стороны Коломны приближалась вереница верхоконных. Ехали телеги с бабами и детьми, шли за ними пешие мужики и ратники. Боброк переселялся со всем своим двором, послужильцами, челядью, холопами. Его воины ради въезда в Московский град изоделись в брони, иные в иноземные кованые панцири.

Федор Свибло шагом подъехал к великому князю.

— Словно владыку какого встречают! — сказал. Дмитрий коротко кивнул, продолжая глядеть из-под рукавицы и все не решив, встречать ли ему князя Боброка на Боровицком спуске или здесь, в самом Кремнике. И как встречать?

— Теперь бы, с ентою силой...— начал Свибло и замолк; дождав, когда князь поворотит к нему вопрошающий взор: — Олега Иваныча окоротить малость! — досказал боярин и, торопливо, дабы не подумал чего

иного князь, пояснил: — Родитель мой, вишь, баял с князем Владимиром Пронским... В обиде тот на Олега! Дак... Ежели... И заменить мочно!

Дмитрий молчал, обмысливая.

— А Лопасня наша будет! — договорил Федор. Дмитрий медленно склонил голову, не то понимая, не то принимая. Ничего не ответил, но погодя бросил на Свибла красноречивый взор. Стрела угодила в цель.

Боброк в сопровождении двух взрослых сыновей-воинов и толпы послужильцев уже въезжал в Боровицкие ворота.

Волынский князь был росл, строен, сухолиц, мужески красив и подборист. Золотника лишнего жира не гляделось в этом теле, свитом из одних тугих сухожилий и мускулов. Он легко сидел на коне, легко, не доезжая шагов двадцати, спрыгнул с седла и обнажил голову.

Дмитрий, подумав, тоже соскочил с седла́ — получилось это у него тяжеловато — и ждал приближающегося князя, ждал поклона, после которого удоволенно поклонил сам.

Княжата, поступающие в службу великому князю московскому, становясь боярами, лишались обычно княжеского звания своего. Боброк его сохранил. Так и писался князем. И прояснело, что будет так, именно здесь, в этой первой встрече Дмитрия Михалыча с князем Дмитрием.

Волынский воевода стоял, на полголовы возвышаясь над Дмитрием, и улыбка, и взгляд его были почтительны, но горды. Дмитрий вдруг почти по-детски озорно, широко и весело улыбнулся в ответ. Подумал: да неужто сей витязь не сумеет одолеть Олега! Боброк принял улыбку на свой счет и решил, что понравился князю.

А Дмитрий так и не понял в этот первый день, по нраву ли ему пришел новый подручник. И в соборе, и на пиру присматривался, скользом изучая твердый очерк княжого лица, благородство осанки и поступи. Было во всем этом что-то чуждое ему, «вельяминовское». [Под словом этим понимал он прежде всего и даже единственно — Ивана Василича, будущего (ненавистного!) тысяцкого своего.] Однако Боброк держался сугубо почтительно, как и его взрослые сыны Борис с Давидом. И Дмитрий постепенно оттаивал, принимая как должное и уже теперь принадлежавшее

ему, а не Ольгерду, достоинство и породу нового московского послужильца. Вскоре прояснело, что и во главе посольства, направляемого к Ольгерду Гедиминовичу, нехудо было бы поставить именно Дмитрия Боброка, среди прочих своих достоинств хорошо знающего литовскую и польскую речь.

За всеми хлопотами, пересылами и пересудами, за торопливым залатываньем прорех, нанесенных войной (вновь раздавали лес, хлеб, лопоть и скотину, вновь привечали нищих и сирот), как-то забылось, отступило то, что творилось в это время в Орде, доколе не грянул гром. Михайло возвращался из Орды, заново получив ярлык на великое княжение владимирское.

ГЛАВА 26

По степи дул низовой ледяной ветер. Ветер нес колючую снежную пыль. Мохнатые татарские кони выныривали из белой мглы, шерсть на их мордах и в пахах куржавилась инеем.

Ставка Мамая, главный юрт, располагалась на среднем Дону, там, где река, сделав крутой поворот, вновь устремляется к юго-западу. Здесь находился царский улус, как его называли русские, Сарыхозин. Сюда сгоняли бесчисленные отары овец и табуны коней. Здесь века потекли вспять, к древним половецким кочевьям, и среди позавчерашних кипчаков-половцев, нынешних татар, стоял станом истинный повелитель Орды, темник Мамай, которого русичи уже теперь, нимало не смущаясь наличием хана, называли царем. Ханов в Орде ставил и смещал Мамай по своему изволению.

Все возвращалось на круги своя! Ордынские крепости и города на Волге были давно потеряны и переходили из рук в руки, купцы вели торг, мусульманские улемы спорили и толковали Коран, а здесь, в диких степных ароматах — запахах полыни, тлеющего кизяка, грудящихся в загонах овец и конской мочи — доживал, дотлевал пока еще мощный, способный к неистовым вспышкам ратного гнева, степной, древний, кочевой мир, «земля незнаемая», неотторжимая от травы, водопоев, кизячных костров и легких переносных юрт. Мир, с коим дружили и ратились великие черниговские князья, мир, помнивший в преданьях своих походы Владимира

Мономаха и лихие набеги половцев на древние киевские города.

Михаил собрал рукавицею лед с усов и бровей; явившемуся пред ним татарину показал серебряную пайцзу («байсу», как переделали русичи). Дружина и холопы кучно грудились у него за спиной, боясь отлучиться и пропасть в этой чужой круговерти кочующих орд, где, казалось, стоит татарину накинуть тебе аркан на плечи, и пропадешь, исчезнешь, как исчезли тысячи тысяч захваченных, уведенных, проданных...

Татарский сотник, гортанно выкликая приказ, поскакал перед ним. Скоро спустились в лощину, где не так пронизывал ледяной ветер. Темными сенными кучами в снежной заверти показались ханские юрты, к которым они приближались, минуя сгрудившиеся стада и дружины вооруженных нукеров.

В конце концов совсем окоченевшие русичи оказались в шатрах и смогли, сидя на кошме перед неровно вспыхивающим и чадящим огнем, согреть руки и поесть татарского мясного варева с лапшою и красным перцем, обжигающего рот. Михаил заботливо проследил, чтобы все укладки и кули были занесены внутрь, разоставил сторожу и только после того сел есть бешбармак, который хлебали ложками (а татары — так прямо горстью), запивая кислым кумысом. Давно уже русичи, даже князья, приезжая в Орду, перестали чураться кумыса и степной пищи, которую живущие рядом со степью русичи и сами научились готовить не хуже татар.

Князь вышел в ночь, отошел, как предписывал еще древний монгольский обычай, на двести шагов от юрты. Ночь дышала одиночеством и древностью. Казалось, люди еще не научились пахать, строить дома, и все их имущество то, что тут: кожи, кожаные бурдюки с кумысом, шкуры и скот, да сабля, да конь, да железный ли, бронзовый котел с непонятными по нему письменами на древнем, много столетий назад угасшем языке... Сарматия! Дикая Скуфь! О которой возможно прочесть только в греческих старых хрониках. Сменились племена, народы, а тут все те же кожи, тот же овечий смрад и едкий кизячный дым, неистребимо вплетаемый в свежесть и холод степных бесконечных просторов.

Зачем он приехал сюда? Чего хочет? Воли? Вот она, тут, бери — не хочу! Власти? И власть покамест здесь, в этих стадах, в этих мохнатых неутомимых

конях, в низкорослых воинах под мохнатыми остроконечными шапками. Где-то здесь... Нет, там, дальше, где на краю степи начинаются горы, погиб его великий дед, Михайло Святой. Чего он хочет теперь, зачем приехал сюда?! Вышняя власть! Почему ты можешь быть только одна, всегда одна, и павший в этой борьбе должен всегда уступить, уйти или погибнуть? Ему, чтобы спасти родимую Тверь, чтобы спасти даже один свой удел Микулинский, надобно получить ярлык на великое владимирское княжение и сокрушить Дмитрия! И — не меньше! И сколько еще мучеников вослед деду, отцу, дядьям и старшему брату взойдут на плаху или погибнут от меча, ножа и огня, прежде чем кто-то один одолеет наконец в этой борьбе и сплотит воедино великую Владимирскую Русь!

В шатре, куда он воротился, издрогнув, уже ждал тверской боярин, кочевавший вместе с Мамаем, и двое торговых гостей, предлагавших князю заемное серебро.

Ночью Михайло, повалясь в теплые кошмы и натянув на себя духовитое овчинное одеяло, лежал и думал. В отверстие юрты вливалась морозная свежесть. Было хорошо, легко и покойно. На миг отпустили его суровые княжеские заботы. Почему-то, даже живя в китайских прихотливых дворцах, среди золота, резьбы, яшмовых украшений и пестротканых шелков, монгольские императоры продолжали ставить у себя в саду белую войлочную юрту. Это был их дом, их далекая родина, память кочевий, память прадедов. И когда окончилось, когда отступили, ушли, исчезнув из Китая, как и из многих иных завоеванных царств, вернулись опять к юртам, к кошмам, к кизячному дыму костров.

Мамай принимал его сперва — сидя на троне, низком и широком, вызолоченном арабскими мастерами стольце, потом — в простой походной юрте, где темник и князь снова сидели на одном войлочном ковре и Михайло, порешив обходиться без толмача, трудно подбирал татарские слова, изъясняя свою беду и нужду, а Мамай по-рысьи настороженно следил за ним, прикидывая, стоит ли вновь помогать этому настырному урусуту.

Мамаю, потерявшему Хорезм и богатые города Аррана, в борьбе за Сарай и Хаджи-Тархан, в борьбе с ак-ордынцами, надобно было русское серебро, много серебра! Серебро надобно было эмирам, не согласным

иначе служить Мамаю, вельможам волжских городов, купцам, что привозили шелка, парчу, оружие, драгоценные камни, рабынь и диковины дальних земель, послам, женам, наложницам, нукерам — всем надобно было урусутское серебро! И коназ Михайло давал, много давал! И обещал давать еще больше, обещал прежний, Джанибеков, выход! Мамай не верил и ему, Мамай боялся всех. Обманывая, он полагал, что и его обманывают тоже. То, что Дмитрий получил грамоту на вечное владение владимирским улусом... Да, у него получил, у Мамая! Пользуясь труднотою тогдашней неверной поры, пользуясь слабостью! И грамоту ту подписывал хан! Не Мамай! Свергнутый им хан! Он, Мамай, волен все поиначить опять! Теперь! Когда власть в его руках, когда покорен Булгар и скоро вновь будет завоеван Сарай!

Тверские князья все были врагами Орды! Так говорят! Но это неверно! Орда сама была врагом тверских князей! Узбек казнил коназа Михаила, деда нынешнего тверского князя, что сидит перед ним на кошме, поджав ноги, и ждет, когда он, Мамай, подобно Батыю, подарит ему владимирский стол!

У Мамая есть своя гордость, о которой он молчит до поры. Люди рода Кыят Юркин всегда враждовали с Чингизидами. Чингизидов, потомков Джучи и Батыя, уже нет. Он, Мамай, станет новым Батыем! Он, его род, возглавит теперь Орду! И вновь станут богатые города платить ему дань, и генуэзские фряги ползать у ног его, и урусутские князья валяться в пыли за порогом его шатра! Будет! Перехитривший столь многих, темник скоро сам станет ханом, повелителем Золотой Орды! И сокрушит их всех! И прежде всего — ненавистного ему Дмитрия! Быть может,— да! — руками коназа Михайлы!

Слуги вносят кольчатую бронь и круглый литой шелом русской работы. Это ему, Мамаю. Бронь хороша. Мамай понимает в оружии, удоволенно кивает головой.

— Я дам тебе ярлык,— говорит он,— но ведь тебя не пустили во Владимир! Как ты возьмешь власть, ежели Дмитрий не послушает тебя? — И смотрит рысьим настороженным взглядом в лицо тверскому просителю, упорно не желающему признавать над собою воли московского великого князя.

— Слушай! — Мамай произносит это слово по-

русски. Он сейчас честен, он (что очень редко бывает с ним) говорит то, что думает: — Слушай, коназ! Димитрий не покорится тебе! — Мамай вновь переходит на татарскую речь.— Он даже не пустил к себе моего посла! Никто не отдает власть просто так! За власть бьются, и бьются насмерть! Я дам тебе два, нет, четыре тумена воинов! Ты сокрушишь Димитрия! Превратишь его землю в пустыню! Мои воины приведут с собою много рабов, скота и урусутских женщин, они принесут серебро, мед, меха соболей и куниц! Димитрий станет пылью у твоих ног, и ты получишь владимирский стол. Решай! Я сказал!

Михаил смотрит, ждет. Видя, что татарин высказал все, глядит на него, думает. Понимает, что Мамай прав. Трижды прав! И ни Андрей, наводивший на Русь монгольские рати, ни рыжий убийца Юрий, ни Калита не отказались бы от татарской помочи! Так поступала Москва каждый раз в споре с Тверью! И горели хоромы, гибли смерды, уводились в степь после Шевкалова разорения тысячи тверичей... И каждый раз не саблями поганых, так серебром пересиливали в Орде, кладя на плаху головы тверских князей, его предков, одного за другим. И вот теперь, возможно впервые и, может быть, единственный и последний раз ему предлагается отомстить за все разом! За смердов, за сожженные города и вытоптанные пажити, за великие тени погибших, за святого деда своего... За всех, всех! Отомстить и покончить единожды и навсегда с междоусобными бранями на Руси. Вырвать, вырезать с корнем разросшуюся московскую язву, что ширится и смердит, отравляя Русь! Покончить, истребить, перемочь, повернуть время, вновь зажечь светоч тверского величия и вручить его грядущим векам! И будет Владимирская Русь Тверскою Великою Русью, будут под рукою у него Новгород Великий и Псков, и суздальские князья — тот же Борис и Василий Кирдяпа тоже станут на его сторону,— и с Олегом он, Михаил, заключит мир и любовный союз, воротив ему родовую рязанскую Коломну. И Ольгерд не помыслит тогда небрегать им, Михаилом! И быть может, он сам остановит тогда на рубежах русских земель литовские полки, и будет Русь, Великая Русь! Будут церковные звоны и украса книжная, будут палаты и храмы, к нему устремят изографы, книгочии и философы, свои и чужие, из иных земель,

греки и фряги, персы, болгары и франки, прославляя его мудрость и рачение. И пойдут тверские лодейные караваны по морю Хвалынскому, аж до Индии богатой, до сказочных восточных земель! И смерды, его смерды, станут ходить по праздникам в жемчугах и парче. И станут стремиться к нему гости из земель полуночных — свея и ганзейские немцы, готы и англяне. И по всем землям пройдет и воспоет себя величественным реченьем красных словес слава Твери! И час придет, и, состарившись, передав власть в крепкие руки сына, предстанет он там, в горнем мире, пред убиенным родителем своим и пред великим дедом и скажет: «Вот я! То, чего не сумели вы, я возмог и сумел! Сокрушил Москву и вознес превыше всех градов земли родимый город! Укрепил Русь и прославил ее в веках! Вот что сделал я в вашу память и в память пролитой вами крови!»

Михайло на миг прикрывает вежды. Сейчас перед ним в облачном зимнем серебре является высокая, выше облаков, фигура изобнаженного донага мужа с колодкою на шее, с отверстою дымящейся раной в груди, из которой ножом предателя вырвано сердце. Руки, скрюченными пальцами вцепившиеся в колодку, так и застыли, словно все еще пытаясь освободить стиснутое горло, а задранный подбородок — в клочьях кровавой бороды — обращенного к небу и к нему, Михаилу, искаженного страданием лица страшен и жалок. «Дедо! — хочется крикнуть ему, позабыв обо всем на свете, позабыв про шатер, про Мамая, про разложенные перед ним на дастархане блюда.— Дедо! Почему ты в колодке! Ты же святой!» И видит Михаил сотни, нет, тысячи трупов вокруг и окрест, и медленно бредущие в снежном дыму вереницы раздетых и разутых русичей, и надо всем над этим — задранный лик князя-мученика, неправдоподобно высокого, неправдоподобно худого, уже из одних только сухожилий и костей, со вздутыми мослами выпирающих колен на худых ногах, тело-призрак, обреченный нескончаемой крестной муке, висящий над снежною бездной, над опозоренной, изнемогшею землей, над трупами павших и дымом сожженных деревень... И где-то там, в отдалении, затихают радостные колокола, еще мелькают, еще раскачиваются их языки, но уже замерла последняя тонкая музыка меди, и только ветер, ордынский, жалобный, степной,

поет и стонет, заволакивая погребальною пеленою видения радостей и скорбей...

Михайло смотрит в огонь, мимо лица Мамая, смотрит ослепшим, обрезанным взором, и в глазах его — или то мнится Мамаю? — трепещет сверкающая влага слез. Он медлит, он ждет, он в бешеной скачке торопит коня, он взывает, он гневает... И — не может. Ему не переступить этой пропасти! О, он сделает все, что в силах, и что не в силах — тоже! Он будет драться на́смерть, насмерть и до конца! Но уступил, отступил он уже теперь, в этот вот каторжный час. Он подымает голову. Смотрит. Медлит. Отвечает Мамаю:

— Я не возьму твоего войска! Справлюсь сам! Дай мне ярлык и пошли со мною посла!

Татарин внимательно смотрит ему в глаза. Не понимает, гневает, кажется, понимает. Удивлен, обижен. Угаснув, острожев и охолодев взором, слегка переводит плечами:

— Как хочешь, урусут! Димитрий бы, думаю, взял у меня ратных на тебя! — И глядит исподлобья. Быть может, тверской князь еще передумает? Но нет, Михаил, медленно покачивая головой, отвечает:

— Может быть. Наверное! Я — не возьму.

Мамай замолкает, больше не уговаривает, незачем. Он понял. И все-таки не понял совсем ничего! Ибо сам он так бы не поступил никогда!

Вечером в шатре, когда Михайло, молча поужинав, укладывается спать, Микула Митрич по праву дорожной близости пробирается к нему, ложится рядом в кошмы.

— Мамай предлагал мне татарскую рать на Дмитрия,— без выражения говорит Михаил.— Я не взял!

Микула вздыхает, чешет пятернею кудрявую шапку волос, ожесточенно скребет затылок. Думает. Отвечает:

— Забедно нам станет без татарской-то рати! Одначе и то сказать: опосле Шевкалова разоренья, опосле такой пакости, наведешь татар — не то что земля, и Тверь может от нас отшатнуть!

— Я попросту не смог,— возражает ему Михайло.— Деда узрел. С колодкою на шее. Дак вот... Потому...

— Повестить дружине? — спрашивает погодя Микула.

Князь лежит; закинув руки за голову, с лицом, поднятым ввысь.

— Повести! — чуть пошевелив плечами, отвечает он.

ГЛАВА 27

В Туле, куда добрались, совершенно вымотав коней,— ранняя весна, с распутицей, заливая дороги, шла по пятам — Михайлу встретил рязанский князь Олег.

Городишко, недавно еще татарское становище, где в жаркую пору лета отдыхала царица Тайдула (ее именем, в сокращении, и был назван город), начал уже превращаться понемногу в русский ремесленный посад.

Князья встретились радостно. Оба загодя уважали друг друга. Не имея общего порубежья, не имели они и порубежных обид, а сверх того, одинаково опасились растущей силы Москвы.

Встретились на дворе, верхами. Михайло тотчас оценил ладную посадку и мужескую стать Олега; Олег — видимые глазу выносливость и упорство тверского володетеля. Оба князя были в самой поре мужества, в расцвете телесных и духовных сил, оба имели трудные судьбы, тот и другой начинали едва ли не от самого истока, своими трудами добиваясь почета и власти, в отличие от их соперника, великого князя Дмитрия, которого «делали» до сих пор митрополит Алексий, Вельяминовы, Акинфичи, Кобылины, да и все прочие московские бояре. И теперь, сойдя с коней, сидя за столом в бедной горнице случайного степного, крытого соломою жила за неприхотливою трапезой, они уверялись в верности первого впечатления.

На столе была уха из мелкой костлявой речной рыбы, пшеничный, грубого помола, хлеб, каша из полусваренного проса и квас. Шел пост, и мясного, добравшись до своих, русичи избегали: не в татарах уже!

Князья ели молча и деловито — тот и другой после целодневной конской скачки были попросту голодны,— изредка поглядывая друг на друга с внимательным одобрением. Враз, одинаковым движением, отодвинули глиняные мисы, положив ложки поверх горбом — сыт!

Предстоял трудный переговор, ибо Олег уже сведал, что тверской князь скачет отвоевывать у москвичей великое княжение и ему надобна ежели не помочь, то хотя бы неучастие рязанского князя. Олег думал тяжело и сумрачно.

— Видишь, князь! — поднял он наконец на Ми-

хайлу тяжкий и властный взор (когда-то мальчишкой, захватив Лопасню, стыдился обожания окружающих; нынче и стать и взгляд выработались в нем повелительные, княжеские).— Я не могу идти на Дмитрия войною, ибо только что помогал ему против Ольгерда, и враг у нас общий — Литва! Но и на тебя, поскольку ярлык ты получил по закону, от хана, а не своею волею идешь на Москву...— Он приодержался, подумал, что следовало бы, быть может, пособить Михайле, как-никак отказавшемуся от Мамаевой помочи, то есть отказавшемуся наводить татар на Русь! Но честь, но данное слово, а слову своему Олег не изменял никогда, но стыд измены — ибо, помогая Михайле, он невольно переходит на Ольгердову сторону... Олег еще помрачнел, потряс головою, высказал наконец: — Но и на тебя, князь, меча не вздыну!

Михайло помолчал, трудноту Олега понимая сердцем (попросту поставил себя на место рязанского князя), не стал настаивать. Достаточно было и того обещания — не помогать Москве.

Договор скрепили грамотою. Олег снабдил Михаила свежими конями. На прощанье крепко обнялись. Что бы там ни было, а тот и другой чуяли неложное уважение друг к другу.

Путь Михаила теперь лежал по землям верховских княжеств, на Вязьму, на Зубцов, к верховьям Волги, в обход земель, подвластных Москве, где его караван могли задержать, не посчитавшись и с ярлыком, и с Мамаевым татарином, Сарыходжой, что ехал всаживать князя на стол владимирский.

Домой, в Тверь, Михаил возвратился десятого апреля. Для знатного татарина был устроен пир. Не обманывая себя нимало, Михайло тотчас распорядил собирать войска. Идти на Владимир, сажаться на великий стол без ратной силы нечего было и думать.

На Москве известие о возвращении тверского князя с ярлыком на великое княжение владимирское произвело переполох, схожий с потрясением земли.

Но вот тут и сказалось то, что отличает молодые, восстающие народы и цивилизации от старых, близящих к своему закату. Вместо печальной растерянности, нерешительных пересудов, опущенных рук, вместо подлого склонения перед силою обстоятельств, перед тем, что «от нас не зависит», вместо жидких речей — что, мол, мы можем содеять теперь? — вместо всего

того, что мы, современные русичи, видим досыти друг в друге, не в силах и пальцем шевельнуть, когда на наших глазах губят реки, уродуют землю, вырубают леса, отравляют, жгут, пронизывают радиацией нашу землю, наши леса, наши пашни и пажити, самую основу нашей жизни, вместо всего этого тут (тогда!) и растерянность была деловая, скорая, гневная.

Дума собралась в тот же день. Взаимные нелюбия и попреки забыты тотчас. Споров, по существу, не было. О князе, что накануне ночью грыз зубами подушку, метался в гневе и ужасе, безуспешно утешаемый верною Дуней, кидаясь мыслью от одной крайности к другой: то — вести рати на Тверь, то — пасть в ноги Михайле, умолять невесть о чем, то посылать к патриарху в Царьград, то — к Ольгерду в Вильну, и тоже неведомо за чем, то — к Мамаю скакать и там валяться в ногах, суля золотые и серебряные горы...— про князя, застывшего на своем резном креслице, бояре словно забыли и думать. Даже Алексий, чей престол стоял нынче чуть впереди княжеского, не мог вполне овладеть расходившеюся думой. Было одно: не пустить, не дать! Не допустить до Владимира, а для того — немедленно, нынче, теперь — собирать и двигать полки!

Василь Василич встал и повестил, что он уже выслал, не сожидая думы, конную дружину к Переяславлю и наказал собирать московское ополчение. Старик Дмитрий Александрович Зерно встал, повестив отдышливо и кратко, что по первой вести послал старших сыновей, Ивана Красного и Константина Шею, крепить Кострому. Дмитрий Михалыч Боброк, дождав своей очереди, тоже немногословно и дельно предложил разоставить сильные сторожи на главных путях. Бояре (все!) давали серебро и выставляли ратных. Большой полк было решено, совокупив его в четыре дня, во главе с самим великим князем Дмитрием, Владимиром Андреичем и воеводами двинуть к Переяславлю, где сходились главные пути и шла ближайшая, по Волжской Нерли, дорога от Твери к Владимиру.

Скорые гонцы наряжались в Ярославль, Галич, Городец, Нижний Ростов, Стародуб — ко всем князьям, так или иначе зависимым от великокняжеской власти. Предложения, одно другого дельнее, подавались всеми, дума и сей раз говорила «едиными усты», и уже Иван Вельяминов готовился скакать во Владимир, а Федор

Свибло — в Ростов. Федор Кошка, бессменный посол ордынский, встал и сказал, что надобно снова скакать в Орду и выведать, нельзя ли перекупить ярлык у Мамая, что он это дело берет на себя, а главное, надобно подкупить, улестить, обадить, всеми силами уговорить, задаривши, ордынского посланца, Сарыходжу («Сарыхозю»,— сказал Кошка), ибо, по его твердому разумению, в нынешней Орде власть зело некрепка, и серебром еще и не то содеять мочно! И тот совет был мудр и хорош. Но — все ждали, что скажет духовный глава и отец Руси Московской, старый митрополит (ныне уже весь посад не иначе называл владыку, как батькой — отцом града Москвы и всего Московского княжения).

Алексий сидел, опустив взор, сгорбясь. Он думал и понимал, что надобное сейчас к совершению от него, владыки Руси, опаснее во сто крат всех замыслов боярских, ибо, ежели сие не поможет, пошатнет сама церковь православная на Руси... И все же он должен, он не может теперь поступить иначе! И владыка подымает загоревшийся прежним темным пламенем взор, на сухопергаменном лице его глаза горят неистово-молодо.

— Поелику тверской князь не склонил слух к прещениям вселенского патриарха, я сам отлучаю князя Михаила Тверского от церкви! — говорит он.— И нынче же велю повестить об этом по всем храмам Владимирской земли!

И это всё. Последнее. Больше ничего и не можно содеять. Князь Дмитрий сидит в креслице выпрямившись и окаменев. Он поведет рать! Быть может, против самого Мамая! Он еще не способен обнять умом всей силы и размаха свалившейся на него беды, но он уже на гребне волны, и его несет неостановимо совокупная воля москвичей, не желающих потерять власть, которую получили они, возведя своего князя на престол владимирский.

— Федор-от Кошка пущай погодит в Орду скакать! — раздумчиво подает голос Иван Мороз.— Ему с Сарыхозей ловчее всех сговорить, его и пошлем к татарину!

И это приняли безо споров. И Федор, сверкнув глазами, улыбнулся грузному сановитому Ивану Морозу, что сидел тяжело и плотно, расставив колени и уперев руки на толстую резную трость. И Иван Мороз

ответил понимающей, с легкой лукавинкою улыбкой подбористому молодому Федору. И никто, ни один из бояринов, в тот час не подумал даже, что едва ли не впервые за полтораста лет дума великого князя открыто, едиными усты, не посчиталась с волею татарского царя. Менялась Русь! И уже изменилась настолько, что начинало высвечивать в грядущей близости лет недальнее теперь Куликово поле.

ГЛАВА 28

Нынче не знай как! Надо пашню готовить, навоз вывозить — без хозяина чего и сделают?! А тут — война! Поход. Эко! Онька ожесточенно скреб затылок. С трех дворов (благо, четвертого не поспели поставить) троих ратников подавай! Ну, старый Недаш второго сына посылает, Фрола. А от них... Ежели Коляню? Так ведь только-только сын народился, Ждан, а второму, Пашке, девятый годок всего! Старшие — одни девки. Отца убьют, матери и не выстать с има! Нельзя! Надоть самому идти! С Прохором. Прохорова жонка, Прося, сразу в рёв: сама на сносях, легко ли?! Да ить не Федюху же брать, сосунка! Али, може, Федюху? Прохор помолчал, подумал. Отстранив Федора, вызвался сам. Жену отвел в терем, строго выговорил ей. Затихла, подвывала тамо, но не в голос.

Князь Михайло с полками валил лесными дорогами мимо их, к Кашину, по пути добирая ратных. Вестоноша заехал и сюда.

Онисим поглядел на небо, на ельник, воздохнул. Снег уже весь, почитай, вытаял, что не обещало обильного лета. Яровое посохнет как пить даты! — думал он.— Опять липову кору придет толочь заместо хлеба! Мясов-то они достанут, мяса набьют, навялят, и соль нынче припасена! (Был и ржи амбарушек, дак то уж на каку последню беду! Того нонеча и трогать не нать!) Навоз возить! Самая пора бы! В руках аж зуд: как подумал, так и похотелось взять кованые, во Твери достанные железные вилы, ими-то и работать любота одна! Цепляешь пласт, дак с треском отдирашь, и ничо! А погнешь коли, зараз распрямить мочно! В любой зато, самый задубелый навоз идут! Не то что деревянной рогатиной: суешь, суешь, инда взопреешь да и ругнешь непутем!

Он еще воздохнул. Великим князем стал Михайло! Эко! А и то болтают: владыка Алексий проклял ево! Дык вот тут и чеши затылок!

Таньша подступила давеча, руки в боки, лицом красна, и тоже хайло непутем отворила: и сам-де сгибнешь, и сына сгубишь с собою, старый дурень! Вот-те и подарки ти, не надобны были! Прожили бы без даров княжеских!

Редко подымал голос Онька на жену, а тут не выдержал, взъярел:

— Дура! Нешь я из подарков иду кровь проливать? Надо князя свово защитить! Вон кака сила собралась! И вси, по твоему глупому разуму, ради какого платка там али рубахи головы класти идут?

— Ты — князя свово, московиты — тоже князя свово! Так и будете друг друга лупить?! Татар бы хошь зорили, что ли, вместях али Литву!

Дура дурой баба, а эко слово молвила! Вместях... Да на татар! И дани той, клятой гривны серебра, давать им не придет, коли одолеть Орду! Воздохнул еще раз Онька, пнул ногою ни в чем не повинного кобеля, крикнул сердито Федьке:

— Коляню созови! Живо! Да гляди, без нас навоз не вывезете — шкуру спущу с тебя первого!

Прохор шел от сарая необычно задумчив и хмур. Точил обе рогатины.

— Бронь бы! — высказал.

Онисим пожал плечами. Окромя топоров да рогатин иного оружия у них не было.

— Где же ее, бронь, возьмешь? Куплять — дак всего нашего хозяйства на одну бронь не хватит... А так... На рати с мертвого какого московита ежели только сволочить!

— Ты, батя, помнишь, сказывал нам, что тебя с дедушкою в Щелканово разоренье один московлянин спас? Ищо рогатину подарил, ту, стертую! Я ее нынче опять на подволоке нашел!

— Ага! — отмолвил Онисим.— Дак... Он-то, Федор, али Мишук Федоров, поди, давно уж и помер!

— Дак с дитями еговыми ратитьце придет! — возразил сын.

Онисим отемнел лицом, провел твердою рукою по задубелым морщинам лица.

— Все мы, Проша, родичи, братия во Христе, и вси православные! А, вишь, и они-то, московляне,

зорили нашу землю в Щелканову рать... Един такой и выискался...

— Хошь и един...— не уступил Прохор.— Как гляну на енту рогатину... Не хотел бы я егового сына убить на рати!

Отец с сыном помолчали. О чем тут баять было!

— Коня которого возьмем? — вопросил Прохор.

— Поглянем давай! — предложил Онька, с облегчением уходя от тяжелого разговора. Оба отправились в стаю. Долго глядели, щупали, исчисляли достоинства каждого из двух жеребцов, и оба мужика старались лучшего, самого работящего оставить дома. Наконец порешили. Проверили сбрую и обруди.

— Телегу брать?! — с безнадежным сожалением вымолвил сын. Отец кивнул молча. Оглядели телегу.

— Навоз им придет волокушею возить! — заключил Прохор.

— Неуж я под навоз такую телегу отдам?! — невесть с чего разъярясь, выкрикнул Онька. Прохор смолчал, и гнев отца как возник, так и остыл. Проверив дорожную снасть, воротились в избу.

В горнице уже набилось — по всем лавкам. Жены, дочери, подростки, старшие с малышами на руках. Старуха Недашева (одна и была пока старуха на деревне!), сам Недаш, его сын, Недашево племя — одиннадцать душ, да Колянины дочери, да дети са́мого Онисима, да Прохорова Прося с округлившимся животом, держащая на коленях трехлетнего Якуню. Гомон, визг, писк! Тридцать душ деревенских, совокупясь воедино, провожают на войну троих своих мужиков.

Они́сим сел во главе сдвинутых столов, тяжело оглядел застолье, поморщил нос — да куды денешь пискунов-то! — выговорил:

— Тебе, Недаш, и Коляне, вот! Старшими будете! По первости — навоз вывезти! И — враз начинай пахать! Не жди ни дня, ни часу. Лето сухо грядет! Зимовое-то простоит ищо, а яровое — не ведаю!

Недаш склонил голову, прокашлял, кивнул. На стол были поставлены мисы с кашею, квашеною капустой и кислым молоком, разложены аржаные пироги, блюдо сушеных окуней, на деревянных тарелях горками моченая брусница. Мужики бережно принимали из рук хозяйки, что уже не ругалась, но супилась, грузно вздыхая, точеные, резаные и плетенные из бересты

чары с ячменным пивом. Прохорова и Фролова жонки заботно и горестно взглядывают на своих мужиков. Только Таньша небрежничает, не отошла с давешней ссоры. Говорят больше о погоде, о своих мужицких делах. Только изредка спросит кто-нибудь из молодших:

— Князь-от сам ведет ратных али боярин какой?

— Сам! — отвечает Онька, хотя доподлинно и не знает того. Но за князем, за «самим», как-то надежнее, крепче, а потому и себя и других убеждает Онька в том, что князь Михайло лично ведет полки. Его рука, корявая, в твердых, не размягчаемых даже в бане мозолях, рассеянно ерошит вихрастую голову Ванчуры, что прилез, приспособился под рукой у отца. Федюха ест молча, взглядывая с некоторой обидою на брата с батей. Тем в поход, а ему, эко, навоз возить! Но — молчит. Родителю, да еще такому, как Онька, не перечат.

Застолье расходится поздно. Онисим уже лежит на полатях, уже горница полна дыханием спящих, одна Таньша при скудном светце что-то там прибирает, скребет. Наконец тушит, сунув в воду, последнюю лучину, стягивает в темноте тесный ей праздничный сарафан, лезет, пыхтя, на печь. Онька уже засыпает, когда Таньша посовывается к нему и, тихо всхлипнув, как девочка, прижимается лицом к его груди.

— Прости, коли...— шепчет.

Он, без слова, обнимает ее, оглаживает ласково, отвечает шепотом, не разбудить бы кого:

— Ничо! Даст Бог, воротим живы и с прибытком! — И оба замирают. Князь, подаривший им некогда право жить, требует теперь ихних жизней для того, чтобы биться за вышнюю власть в русской земле.

Выехали впотемнях. Еще холодом дышало не прогревшееся с зимы частолесье, и дрожь пробирала. Сперва сидели на телеге, потом, когда колеса стали вязнуть в мягкой земле, Онисим решительно соскочил. Мужики последовали его примеру. Освобожденный конь пошел резвей. Еще раз мелькнул позади, над кустами, на зеленом светлеющем окоеме передрассветного неба темный человечий истукан: Таньша стояла одна у жердевых ворот, прогнавши невесток в избу, и вглядывалась из-под ладони, видя и не видя, в далекую чащобу ельника, откуда нет-нет да и долетал до нее пропадающий скрип тележных колес. Потом,

на следующем повороте, промаячила одна кровля терема — всё! Больше не к чему глядеть назад...

Мешки с кормом и снастью подпрыгивали на корнях дерев и выбоинах пути. Насаженные загодя рогатины вытарчивали далеко за задок телеги. Мужики шли молча и разгонисто, а над ними, на легчающем, пепельно-голубом небе, разгоралась ясная золотая заря.

ГЛАВА 29

Лед уже сошел, и стало мочно возиться на ту сторону, но усланная наперед сторожа донесла, что московская великокняжеская рать стоит у Переяславля и что силы там нагнано что черна ворона, «в бронях вси», и Михаил не рискнул переправлять свои полки через Волгу. Усланные наперед киличеи с одним из Сарыхозиных татаринов привезли твердый ответ князя Дмитрия: «К ярлыку не еду, во Владимир, отчину свою, не пущу, а ханскому послу путь чист!»

Михаил глядел с седла на кованную из синей стали полосу волжской воды, по которой, пробиваясь наискось, отчаянно сносимые течением, шли с того берега сторожевые лодьи, и понимал, что ничего не сможет тут содеять и что возиться на тот берег в виду московских разъездов для него — почти верный разгром. Сарыходжа медленно подъехал ко князю. Сыто жмурясь, поглядел на весеннюю шалую воду, покачал головою, почмокал. Степной конь настороженно нюхал воду, поводил ушами. Татарин, сощурясь, вопросил князя русскою молвью:

— Чево твоя делай топэр?

Кровь бросилась в лицо Михаилу, безумный гнев заставил бешено забиться сердце. Он поднял коня вскок, прокричал, с оборота, татарину:

— Идем вперед!

Полки двинулись по прежней дороге, вдоль Волги, мимо Кашина, все круче забирая на север. Василий Кашинский выслал Михаилу кормы, явно с тем только, чтобы тверичи не пустошили Кашинской волости. Михайло яростно гнал все дальше ратников и ропщущих мужиков (надо было пахать, а война без сражений и грабежей не сулила никому ничего, кроме проторей) и так, миновав Углече Поле, дошел до

Мологи, первого города Ярославской земли, столицы удельного Моложского княжества.

В Мологе бил всполошный колокол. Позавчера протопоп Никодим, срывая голос, выкрикивал с амвона слова владычного проклятия князю Михайле, а сегодня сам Михайло Александрович с полками пожаловал под город.

Из слобод валом валили беженцы. Вестоноши на запаленных конях принесли весть Федору Михалычу Моложскому, что рать валит великая, а с нею ордынский посол с «байсою» ведет тверского князя всаживать на владимирский стол.

На площади, сметая заборы, бушевало самозваное вече. Ремесленники, бабы, какие-то юродивые, монахи, купцы... Вопли; на возвышении, поделанном из бочек с положенной на них сорванною створой ворот, мятутся витии. Смерд с расхристанным воротом кричит, требуя, дабы князь выдал оружие и брони посадским и защищал город. Очередного краснобая стаскивают за ноги, на помост лезет купчина. Густо кроет Михайлу Тверского:

— Какой ён нам князь, когды владыка отверг! А токмо — одни мы не выстоим, други!

Оружия требуют, почитай, все, но в истерике воплей сквозит растерянность: ветхий тын по насыпу и низкие костры — город отчаянно не готов к обороне...

Князь Федор Михалыч, утративший всякую власть в городе, сидит у себя в тереме, толкует с боярином. Он мрачен. Ратных горсть, мужики покричат и разбегутся, а с Михайлой рать неисчислимая, и без помочи ярославских дружин ратиться с ним нечего и думать. Он прислушивается к крикам, долетающим сюда с площади, хмурит татарские густые брови, шепчет презрительно:

— Чернь!

Гонцы в Ярославль уже усланы, но разве они поспеют! Со смотрильной вышки, куда князь подымается спустя час, уже видно, как из-за дальних лесов выкатывает полк за полком, «валом валит» тверская рать. Он жует ус, думает, мрачно глядя туда, и все не может решить: выстоят или нет московиты? Хотя приучен годами (еще Калита учил!), что Москва растет неодолимо. Давно ли Митрия Костянтиныча, суздальского князя, сокрушили! И — кабы не отлучение, наложенное владыкою, он бы еще и подумал, не пре-

даться ли тверичам. Но... Покамест князь Михайло не во Владимире...

А всадники все ближе. Перед ними бегут, вливаются в городские ворота толпы слобожан; бабы волокут овец, детишек, скарб. Стоны, гомон... Повернув голову, он видит, как от вымолов торопливо отчаливают груженые лодьи. Купцы смекают по-своему: пока суть да дело, товар спасти от грабежа! Гневая, князь рычит на боярина:

— Кто разрешил?!

Тот разводит руками.

— Тамо такое ся творит! Не пробиться и на кони! Осатанели людишки!

Князь думает, сопит, потом тяжело спускается вниз, под ним стонут ступени. Требует ратную справу, бронь, коня. Он еще ничего не решил и решить не может. События катятся мимо него. Он ловит ухом набатные звоны, крики ярости и страха, растерянность города. Шепчет: «Нет, не выстоят!» Шагом, в сопровождении бирючей и дружины, едет, расталкивая народ, к воротам. Створы уже закрыты. Снаружи бьется и молит толпа не попавших в город. Близко-поблизку подскакивают тверичи, пускают стрелы в город через заборала. Князь оглядывает растерянную толпу, видит безлепицу и срам, тяжко дышит и поджимает губы. Вдруг велит:

— Отворяй!

Скрипят петли. Запоздавшие поселяне толпою врываются внутрь. Мычит и блеет скотина, визжат задавленные жонки. Князь брезгливо сторонится, пропуская бегущих. И — вот тот страшный миг, когда меж ним и «ими» никого. И там, оттуда, скачут вражеские всадники в шеломах и бронях (пусть и свои, русичи, но...). Он, решась, выезжает на мост, дружина, оробев, жмется у него за спиною. Он, поведя глазом, успокаивает ратников:

— Боя не примем! А у теремов,— велит побледневшему боярину,— житного двора и казны разоставь сторожу!

И боярин скачет, радостный, выполнять наказ.

Князь сопит, ждет. Вот тверичи ближе, ближе. По платью, по дорогой броне понимают, что перед ними хозяин города. Шагом, умеряя рысь, подъезжают вплоть. Он тоже не ведает, что творить, подумав, вкладывает саблю в ножны.

— Я — князь! — отвечает.— Повести Михайле Лексанычу! — И шагом едет (напряженные бирючи за ним) прямо на подскакивающих всадников. Ругаться? Грозить? Уряживать? Сам еще не ведает толком.

В Мологу, уговоренные князем Федором, тверичи вступать не стали. Войска остановили под городом. Михайло отдал наказ, запрещающий грабить и жечь дворы слобожан.

Моложский князь после часовой ругани урядил на том, что, пока из Ярославля не воротились гонцы, а Михайло не вступил во Владимир, он как бы ни за кого. Меча не вздынет и кормы выдаст, просит только об одном: не предавать раззору и грабежу его вотчину.

Сарыходжу отвели в город. Поместили в лучших, какие нашлись, боярских хоромах. Михайлу с воеводами и дружиной князь Федор принял у себя в тереме. Полки становились табором вокруг Мологи. Телегой крестьянской, набранной по пути, армии напоминали торг на городской площади. Кое-где зажигались костры. Бабы с поросятами под мышкой шмыгали мимо ратников в слободу, к своим покинутым хоромам. Тверичи варили кашу. Скоро по приказу моложского князя их начали разводить по дворам окологородья и посада. Лучше было так, чем допускать стоянье ратников в поле — все одно пограбят да и пожгут невзначай.

Троица залесских мужиков — Онисим с сыном Прошкою да Фролом Недашевым подошла к городу, уже когда первая сумятица давно окончилась. Недоверчиво оглядывая моложские стены, они таки выбрали по своему почину рогатины из воза ради всякого случая, плотнее натянули шапки и стали сожидать, поглядывая на полуприкрытые створы низких городских ворот, в толпе таких же, как и они, набранных дорогою ополченцев. Темнело. Кто-то проскакал в броне, крикнув повелительно:

— Не грабить!

Онька грабить и не собирался. Дико как-то казалось такое! И тут только оглядывал ряды коней, телег, мужиков в ратной справе с топорами и копьями. У многих-таки были шеломы, у двоих-троих — татарские луки. Редко где посверкивала бронь. Впрочем, иные везли брони с собою, упрятавши их в торока. Толпа не то что мирных, но еще и не подлинная рать, и Михайло, нимало не обманываясь, понимал, что с

такими воинами много не навоюет. Чума унесла тысячи ратников, и выставить достаточное количество воинов для борьбы с Москвою он не мог. Вся надежда была на татарина, который, однако, с каждым днем все больше чванился и проявлял нетерпение, не желая понимать, почему Михаил не переправляется на ту сторону Волги и не идет прямиком к Владимиру.

В то время когда он сидел за вечернею трапезою в тереме, ублажая Сарыходжу и доругиваясь с моложским князем, трое загорян на площади у костра слушали в толпе таких же, как они, новиков рассказы бывалого ратника о летошнем походе на Москву, о том, сколь добра, скотины, лопоти было взято. Удивлялись, завидовали, поглядывая на притихшие очерки бревенчатых слободских хором, там, в темноте, за кругом огня, молчаливых, настороженных. И все же непонятно было: как это так? Взойти, и — что? Взойти, дак поздравствовать надобно, на икону перекреститься, а потом — чего? Волочить добро? После уж иконы-то как-то и в стыд такое!

— Дак, чево! Заходишь — двери настежь, хозяйка — в рев, а ты и в глаза не глядя... А уж с бою, дак озвереешь сам!

— Ну, как я — мужик...— не выдержал один из ратных, перебивая рассказчика.— Ну, как я, скажем... Котел мне надобен... Как я у ево, у такого же мужика, буду котел выламывать хошь из печи? Да и с оружием... Я тут копье отложил, ён меня и ткни, и будет прав!

— Дак поодинке редко кто ходит! — возражал ратник.— Девку там завалить... Визжит! Без дружка тут и не совладашь! — Он нехорошо осклабился, хохотнул.— А боле на страх берешь, уставил рогатину: «Запалю!» Ну, тут, почитай, сами волочат: ослобони только от огненной беды!

Онька молчал. Когда Прохор хотел что-то вопросить, сильно дернул его сзади за рубаху. В ближнюю клеть, хоть и созывали их, загоряна не пошли: не ровен час, коня сведут! Легли спать в телегу, раздвинув мешки. Укрылись зипунами. Ночь была теплая, хоть от земли, еще не прогретой, и сквозило холодом.

— Ратник-то, вишь... девок! — дивуя, полуодобрительно вымолвил Прохор. Фрол фыркнул:

— Поди, врет!

— Вота, парни! — сурово вымолвил Онька.— Поду-

май так, а ежели б твою сестру, или хоть нашу Мотрю, али Колянину Надюху с Оленкой такой вот завалил?

— Ну, я бы не дал! — решительно отозвался Прохор, ерзая на сене, уминая погодней.

— А рать подошла?! Вота и понимай! — строго отмолвил отец.— Лишнего горя не нать! Хошь и вороги, а — свои. Да и те-то, помыслить ежели, татары там, фряги,— у кажного свой толк, коли мирны, дак и зла никоторого нет!

— Ну, а ратитьце придут?! — вопросил Прохор звонко, глядя в звездное небо над головой. С соседних телег, от костра, уже доносился храп прикорнувших мужиков.

— Не ведаю! — отозвался Онька, подумав.— Лося бил, вепрей, медведя брал на рогатину. Смекаю, и ворога комонного снял бы с коня... А грабить? Хошь и на бою... Ну, с мертвого снять справу, ино дело! А чтобы в избу, да на глазах у хозяев добро ворошить — не возмог бы того! И тебе, сын, того не велю...

— Знамо дело...— отозвался Прохор, подумав.

Фрол уже спал. Помыслив еще, повздыхав, отец с сыном, теснее прижавшись друг к другу, тоже заснули. Уже под утро — зипун был весь в росе, и площадь окутал белый туман — Онька, вздрогнув, проснулся с жутким испугом. Показалось, что свели коня. Вскинулся очумело, спросонь, озирая возы, ратных, тлеющие головешки костров, дремлющую сторожу... Конь был цел, хрупал овсом и глянул на хозяина большим преданным глазом: не боись, мол, я здесь! Онька улыбнулся коню и заснул опять.

ГЛАВА 30

Землю заволокло туманом. Издали доносило скрипы коростелей. Небо, легчая, начало отдалять от земли, и первые шафранные полосы уже пролегли по нему, предвещая рассвет, когда к вымолу подошла с той стороны долгоносая лодья, глухо стукнув о бревна причала. Сторожевой окликнул, с лодки ответили:

— Свои!

Вылез какой-то посадский не то купец, судя по платью. С ним выпрыгнули двое слуг. Приезжий, чуялось по походке, был молод и легок на ногу. С лодьи, кинув мостки, вывели коня.

Приезжий, показавши подошедшему сторожевому пайцзу, удостоверяющую его высокое звание, чуть тронув стремя носком, оказался в седле. О чем-то переговоривши со сторожею (ратники были все, на счастье, моложского князя), он, озрясь, потрусил по берегу, явно избегая тверских дозорных. Двое слуг и провожатый из местных торопливо поспешали за ним.

Тверской дозор задержал незнакомца только уже в городе, близ княжого двора. Приезжий, наклонясь с седла, показал пайцзу.

— От хана! К татарскому послу Сарыхозе! — вымолвил он повелительно. Узревши «байсу», тверичи отступили, подозрительно глядя вослед удивительному гонцу-русичу, который, однако, ехал вестоношею от татарского хана.

Так, пользуясь своею посольскою пайцзою, Федор Кошка (это был он) сумел достичь ордынского двора, где почивал Сарыходжа, не потревожив внимания тверичей. Теперь, как полагал он, больше чем половина дела была уже содеяна.

На дворе пришлось-таки подождать. Но он заговорил с нукерами Сарыходжи по-татарски, порасспросил одних о доме, оставленных семьях, других — о добыче, намекнувши на возможные нескудные подарки московского князя, так что скоро на него перестали коситься подозрительно, и, как только Сарыходжа проснулся (уже били в колокол, созывая народ к ранней обедне), сотник тотчас провел Федора Кошку в хоромы посла.

Татарин ел баранину и, сощурясь, поглядел на московского боярина, еще не ведая, кто перед ним такой. Федор решил не заставлять посла разгадывать, кто он, зачем и откуда, сразу и простодушно повестив по-татарски:

— К тебе прибыл, ака! От великого князя Дмитрия!

Оказалось, что Сарыходжа даже и помнил Федора Кошку по ордынским встречам. Это совсем упрощало дело. Скоро Федор сидел по-татарски на кошме, брал руками баранину, грыз, облизывал пальцы, смеялся, блестя белыми зубами, и, мешая серьезный разговор с шуткою (вздыхал, жалобно озирая хоромы: такой ли прием окажет тебе московский князь!), звал Сарыходжу посетить князя Дмитрия, который не ест, не пьет и не спит, а только и ждет приезда к себе дорогого гостя, дабы засыпать его с ног до головы подарками.

Не первый посол московский звал Сарыходжу

к московскому князю. Но этот (к тому же и старый знакомец по Орде!) оказался всех красноречивее:

— У князей свои дела, у тебя твои! Баешь, сам Михайло не взял татарской рати! Ну! Понимай, свои тут дела, може, и тебя водят округ пальца! Потолкуй с Дмитрием! Ты сам потолкуй! Мамай умен, Мамай тебе то же самое скажет! Надобно серебро? Будет серебро! Сам приди! Тебе скажу, как друг скажу! Пущай князья сами ся решают! Ты свое исполнил? Дары получил? Ярлык? Отдай ярлык князю Михаилу, сам езжай на Москву! Лучше раз взглянуть, чем сто раз выслушать! Погляди сам! Того, другого, князя погляди! Мамаю скажешь, Мамай похвалит тебя! Не поедешь, все эмиры подымут тебя на смех: Сарыхозя, скажут, побоялся взять серебро у московского князя! Я не говорю: измени! Не говорю: продай ярлык нам! Того я не говорю! Отдай ярлык Михаилу и поезжай! Ну! Погляди! Что скажешь Мамаю, то и будет! Люди ждут, лодья ждет, кони за Волгою ждут!

Федор ласково и весело заглядывал в очи татарину. Снял и подарил дорогой перстень: мол, ничего не жаль! И Сарыходжа размяк. В конце концов, зачем князь Михайло тащит его через леса и не идет во Владимир, чего ждет? А ежели он не может осилить коназа Дмитрия, при чем тут он, Сарыходжа?!

С такими мыслями татарский посол встретил в этот день тверского великого князя.

Михайло был в ярости. Только что протопоп Никодим не пустил его в храм по воле Алексиевой. Стал в дверях и раскинул руки. Михайло вскипел, поднял плеть, но встретил замученные, полные страха и обреченной решимости глаза старика, явно приготовившего себя к мученической гибели, резко поворотил, взмыл на коня. Не хватало бы ему еще и эдакой славы! Ропот тек у него за спиною, ропот тек по городу, по всей русской земле. Князь, отлученный от церкви, не мог быть великим князем владимирским!

Сарыходжа встретил Михайлу обычными укоризнами. Михайле бы сдержаться, но после срамной сшибки у собора он не выдержал. Впервые князь и посол рассорились вдрызг. Князь кричал, кричал Сарыходжа, брызгая слюною. Кончилось тем, чего и добивался Федор Кошка: Сарыходжа едва не швырнул ярлык Михайле. Бери, мол, а я тебе боле не провожатый, володей, как заможешь, сам! Михайло сбавил спеси, но уже

порвалось, лопнуло. Сарыходжа устал, изверился, да и корыстолюбие одолело (ежели не на Руси, то где и нажиться еще!). На Москве, предвидел он, его, и верно, засыплют соболями и золотом!

— Бери ярлык! — кричал он. — Бери! А я еду о-себе сам! Нынче еду! В Орду еду! Князю Митрию скажу, о тебе скажу! Мамаю скажу! Пускай Аллах рассудит, кто из нас прав!

Михайло вдруг устал. Слепо глядел, как собираются, увязывая добро в торока, татары. Это был конец. Этого следовало ждать еще там, в Орде. Теперь оставалась Литва (вторая неверная опора тверского князя). А с Алексием он будет судиться, он этого не оставит так! Он пошлет в Константинополь, потребует патриаршего суда! И пусть Ольгерд, пусть даже польский король — кто угодно — помогают ему! В конце концов можно потребовать, как уже давно предлагает Ольгерд, потребовать на Тверь и Литву иного митрополита!

Отъезд Сарыходжи для простых ратников прошел почти что незамеченным. Ну, уехал куда-то татарин! С обедни, никак, проезжал на вымола. Уехал, и пёс с им!

Не так думали бояре Михаила, не так думал и моложский князь, заметно повеселевший и поднявший голову. Когда Михайло, проводив Сарыходжу, мрачно и строго повестил моложскому князю, что, не ожидая ярославских послов, сам уводит полки, князь Федор, едва избежавший разорения и грабежей, с трудом сумел скрыть несколько глумливую радость, ибо понимал, что отступлением тверичей обязан целиком отъезду татарского посла.

Ратники вновь запрягали коней, увязывали добро, покидали окологородье. Михайло не стал вести людей по старой дороге, с Мологи двинулся на Бежецкий Верх, воюя московские волости, чтобы дать ополониться своему войску.

Сопротивления почти не встречали. Забирали скотину, добро. Загоряна, хоть и не грабили взаболь, не шарили по избам, но разжились по дороге запасным конем, а в каком-то не то новгородском, не то московском рядке, поспев в пору, когда ратные разбивали купеческую лавку, добыли постав доброго немецкого сукна, что одно уже оправдывало весь поход, и, донельзя довольные собою, уложили его, увязав в рогожи, на телегу. Грабить лавку — не хоромы чьи-нибудь.

Тут, когда целою кучею лезут и волокут, осатанев, почитай, и стыда нет.

Бежецкий Верх брали с бою. Лезли на стены под дождем стрел с заборол. Онька не заметил сперва, как Прохор вдруг, тихо охнув, сел на землю. Опомнясь, подхватил парня, поволок. Оперенная стрела торчала из тела, и Прохор сведенными пальцами хватался и хватался за нее. Пальцы скользили, покрываясь кровью.

Онька донес сына, уложил на телегу, достал нож, вынул, разрезав плоть, из раны наконечник стрелы, намазал барсучьим салом с травами — чем лечил всегда любые раны и что захватил с собою нарочито в поход. Окончив все, перевязал рану тряпицею. Прохора била крупная дрожь. Отец укрыл сына курчавым зипуном.

— Иди, батя! — вымолвил Прохор, перемогаясь. Онька глянул по сторонам, подумал, что ежели стрела отравлена, дак ничто не поможет. Узрел соседа-коновода, попросил:

— Пригляди за парнем!

Тот кивнул. Онька, подобравши рогатину, слепо пошел туда, где то опадал, то нарастал вновь гомон и ор ратей. Город еще держался, еще со стен спихивали осадные лестницы, и Онька, воротясь к своим, молча полез первым по вновь поставленной, дважды спихнутой лестнице. Поймав руками долгий шест, рванул, едва не сорвавшись, его на себя, вырвал из чьих-то рук, размахнувши топором, прыгнул куда-то в гущу ратных, гвоздил, не видя куда и кого, совсем не думая о смерти. Брызгала кровь, кто-то свалился со стоном ему под ноги. Потом мимо понеслись тверские ратные, а те начали спрыгивать со стен. И, углядев, что бой затихает и начинается грабеж города, побрел назад, к возам, страшась и уже ведая свою беду.

Прохор лежал под запуном вытянувшись, какой-то необычайно плоский и бледный, с трудом открыл помутневшие глаза. «Батя!» — прошептал.

— Отравлена, поди, стрела-то была! — вымолвил давешний коновод у него над ухом. Онисим покивал, не глядя. Подумалось: «Как Таньше, как Просе покажусь, ежели сына не уберег?» — На долгий миг захотелось умереть самому.

— Ты... бился... батя? — трудно и хрипло выговорил Прохор, озирая туманным взором залитого кровью отца. Онисим дико глянул на сына. О том, что он только что рубился в сече, он уже позабыл.

— Умираю, батя... огнем палит! — пожалился Прохор и начал скрести пальцами.

— Проо-ша-а-а! — страшно и дико выкрикнул Онька и умолк, согнувшись, охватив руками потную холодеющую голову сына. Он трясся в отчаянии и ужасе и так и держал сына, пока из того уходила жизнь. Пальцы, которые он сжимал, одрябли, захолодели, взор омертвел. Онька не догадал вовремя закрыть сыну глаза. Он наконец, оторвавшись от дорогого тела, трудно поворотил голову. Фрол Недашев стоял рядом с телегою, перекинув через руку чью-то дорогую, залитую кровью бронь, верно, снятую с мертвеца, и растерянно глядел на Онисима.

— Убит? — вопросил он жалобно.

Онька долго молчал, шевелил губами, наконец, поднявши кудлатую голову с серебряными прядями выступившей седины, ответил без гнева, со смертною усталостью в голосе:

— Хоронить домой повезем!

Князь Михайло воротился в Тверь двадцать третьего мая и тотчас отослал грамоты в Константинополь, в патриархию, с жалобою на Алексия и требованьем суда с ним и в Литву, Ольгерду с Кейстутом, с просьбой о помощи. В Орду, к Мамаю, предвидя пакости, которые возмогут ему теперь устроить москвичи, Михайло отсылал, с боярами и казной, старшего сына Ивана. Это был отчаянный шаг, и Михаил понимал это и, провожая Ивана, крепко обнял и долго не выпускал из объятий. Потом, отстранясь, сказал сурово и твердо:

— Помни, кто ты, куда едешь и зачем! Нам с тобою, сын, нету иной судьбы!

Тени убитого Федора, погибшего в Орде отца, дяди Дмитрия, тень Михаила Святого, казалось, реяли в воздухе, и Иван, вскинув длинные, красивые ресницы, побледнел и поглядел гордо:

— Ведаю, отец! — Тринадцатилетний мальчик, он вступал теперь в возраст мужества и, быть может, шел на смерть вослед великим теням тверских князей, погибших в этой жестокой и неравной борьбе.

ГЛАВА 31

Сарыходжу на Москве именно засыпали дарами. Отупев от обильных трапез, от многочасовых застолий, стоялых московских медов (ордынские степные вельможи пили

тайком едва ли не все, успокаивая себя тем, что пророк запретил вино, но не медовую брагу и не русское пиво, о которых в Коране, естественно, как и о позднейшей водке, ничего не было сказано, и, вырываясь из-под надзора мусульманских улемов, напивались до положения риз), ордынский посол, принимая уже безо счету связки мехов, огненно-рыжих пушистых лисиц, соболей и бобров, увесистые кожаные мешки с гривнами, ковши, кольца, достаканы, блюда (с каждого пира дарили ему по серебряному сосуду), принявши дареных коней, отделанную серебром бронь, жженное золотом седло и наборную сбрую, русскую шубу на куньем меху, крытую цареградской парчой, красного кречета, шкуру белого медведя, какие водятся в землях полуночных,— посол не ведал уже, чего еще пожелать. Утешенный ловкими и разбитными холопками, выпаренный в русской бане, провоженный до самой Коломны избранными боярами, Сарыходжа теперь думал лишь об одном: как пристойнее оправдать московского князя и как ловчее охулить тверского. Тем паче, что, выгораживая московитов, он выгораживал заодно и самого себя.

Живи Сарыходжа лет на сорок ранее, быть может, и не сносить бы ему, ослушнику хана, головы. Но нынче в Орде кто из эмиров поступил бы иначе? Кто отказался бы от московского серебра? И кто осудил бы Сарыходжу? Тем паче, что и сам Мамай думал одинаково со своими вельможами. Выслушивая то урусутских, то фряжских наушников, готовый кинуться то на Русь, то на Ак-Орду, запутавшийся в интригах и корыстолюбии, понимал ли сам-то Мамай, в чем была его корневая, главная, а не сиюминутная выгода? Правители эпох упадка всегда бывают поражены слепотой и видят близкое, не замечая того, что таится в отдалении. Так, Мамай проглядел Тохтамыша, не узрел опасности со стороны подымающегося в Азии нового завоевателя, железного хромца Тимур-Ленга, или Тамерлана, как его называли в Европе, дался в обман генуэзцам, для которых этот татарин-выскочка был только средством достижения своих целей, но никак не уважаемым ими союзником, коего надобно поддержать и в несчастии.

Сносясь с Египтом, заключая договоры с монархами христианских и мусульманских земель, Мамай думал, что он равен Узбеку, и ослеплял себя, не видя и не ведая даже того, что единой опорой ему может послужить Московская Русь, еще не осильневшая настолько,

чтобы стать хозяином Восточной Европы, и потому нуждавшаяся в прочном ордынском щите.

Коротко рещи, Сарыходжа не был наказан Мамаем и даже сумел настроить повелителя противу тверского князя. И когда в ордынскую ставку явились тверские послы, приведя с собою сына Михаилова, Мамай, вовсе исполнясь спеси, начал тянуть-пересуживать, вытягивая из тверичей новые и новые подношения и... И в это время к нему явились московские послы с князем Дмитрием.

На Москве, проводивши Сарыходжу, вздохнули было свободнее. (Со дня на день ждали литовских послов!) Но тут дошла весть, что Михайло послал к Мамаю посольство со своим сыном. Дело грозило принять дурной оборот, и на думе было решено перенести спор с тверским князем в Орду, для чего ехать в ставку Мамая надобно было самому великому князю.

Вечером того дня Федор Кошка, необычайно серьезный, сидел у митрополита Алексия, выслушивая последние наставления владыки. В покое было всего несколько избранных бояринов: Бяконтовы, Матвей с Данилой Феофанычем, Зернов, Александр Всеволож и Иван Федорович Воронцов-Вельяминов.

— Чаю, согласим! — говорил Кошка хмуро.— Был бы Мамай умен, в два счета согласил бы я ево: без нашего серебра он ить и с Ак-Ордою не сладит! Хан Урус стратилат — не Мамаю чета! Да и фряги его живо продадут, как они греков продали! И Литва не долго без нас станет ему выход с киевских волостей давать — всё так! Надобны мы Мамаю, да и он нам надобен! Был бы умный... Дак вот какая беда, ён не умен, а хитер! Гляди, сам себя обмануть заможет, того боюсь!

— Серебро...— начал Алексий, но Кошка потряс головой.

— Ведаю! Серебро — само собою! Орду нынче на серебре всю и купить и продать мочно. Дак ить и перекупить тоже! Чести нету, дак и пенязи не помога!

— Как бы еще Мамай с Ольгердом дружбы не завел! — подал голос Александр Всеволож.— Тогда нам и вовсе туго придет!

Тотчас возникло в уме у всех безрадостное позорище: с юга — Мамай, с ним жадные фряги, с запада — Ольгерд, с севера — Тверь и Борис Городецкий с востока. И вот Московская Русь в обстоянии, из коего, ежели еще и Олег Рязанский подопрет,— не выползти

будет! Невольно бояре подобрались, сдвинув плечи. Повеяло совокупной бедой.

Алексий молчал, понурясь. Вдруг поднял проясневший лик:

— Господь не должен оставить нас! — Он не подумал в сей миг о Сергии, но что-то вошло, незримое, в палату, словно бы повеяло с высоты.— Я буду молить Всевышнего о даровании нам одоления на враги!

Бояре, кто с уважением к владыке, кто с верою в Спасителя, кто с суеверной надеждой на чудо, склонили головы.

— Помолим Господа, братие! — вымолвил митрополит, и все встали и начали повторять за пастырем слова молитвословия. Это была, пожалуй, одна из самых горячих и от сердца идущих молитв для каждого из них, ибо на неверных весах судьбы любая песчинка могла перевесить нынче в ту или иную сторону, и только Бог был способен исполнить просимое ими.

ГЛАВА 32

Князь Дмитрий сидел у себя в спальне рядом с Дуней, и та, повалясь к нему в колени, прижимаясь мягкою полною грудью, плакала.

— Убьют тебя тамо!

— Не реви, великого князя московского не убьют!

— Да, а духовную грамоту составляшь! — горестно воскликнула Дуня, подымая заплаканное лицо.

— Без того и в Орду не ездят! — рассудительно возразил Дмитрий, оглаживая плечи жены.

Сам робел немножко. Детское тогдашнее худо помнилось, а нынче... Ну, как, по примеру Узбека, схватит его Мамай? Схватит и будет держать в нятьи, где-то у себя в степи, на Дону. Юрта, косоглазые нукеры у входа, ветер и пыль, полусырая конина и кумыс. Он оглядел покой: расписные укладки, ковры, тафтяной узорный полог княжеского ложа, изразчатую печь... Поежился. И ничего этого не будет! И не будет Дуни. Только заунывная, словно вой ветра, татарская песня да степь... Да еще колодку коли наденут на шею, как Михайле Святому! Он подвигал шеей, представил деревянный, подпирающий горло ошейник, себя, неуклюжего, жалкого в этом ошейнике... Гнев пятнами выступил на широком лице князя. Он задохнулся со

стыда. Броситься бы в битву, рубить! Трус! Все они тут храбрее меня, а я? Стоял с полками у Переяславля, тверичей и не видели! А Михайло Бежецкой Верх взял! Все Заволжье, почитай, нынче у ево в руках! На Новгород одна и надея...

Дуня гладит теплыми шелковыми ладонями его широкое лицо. Любует скорбно. Хоть и воротит ладо милый — долог путь до Орды! Признаётся шепотом, ткнувшись ему лицом в плечо:

— Я снова затяжелела! Думаю, строк!

Он стискивает властно и бережно плечи жены.

— Ежели сын,— продолжает она торопливо и вкрадчиво,— можно, Василием назовем?

— По своему деду? — понимает Дмитрий и кивает, усмехаясь невесело. Первый, названный Данилкою в честь прадеда, не заладился! Пусть хоть этот растет здоровым! Ежели есть проклятье на нашем роде, быть может, хотя так беду отвести... Дмитрий суеверен, и о проклятьи, якобы павшем на князя Семена и весь род московских володе́телей после убиения в Орде Александра Тверского с сыном Федором, слыхал.

— Ладо мой! — шепчет Евдокия.— Я не хочу, чтобы ты уезжал в Орду!

Пятнадцатого июня, через три недели после отъезда тверского князя, Дмитрий Иваныч, великий князь московский, выехал туда же, в степь.

Митрополит Алексий в возке сопровождал своего князя до Коломны. Парило. Жара стояла такая, какая бывает только в августе, в пору уборки хлебов, и уже яснело, что год будет тяжек. Небо мглилось, травы и хлеба приметно сохли, и солнце светило тускло сквозь мгу. Временами на нем являлись черные пятна, как гвозди, и старики толковали небесное знамение к худу. Тревожились не токмо простецы, но и бояре. Поглядывая на небесное светило, значительно качали головами: не стало бы с князем нашим беды!

Возок митрополита подымал пыль, пыль тянулась, восставала волною из-под копыт конницы. Дмитрий ехал верхом в простой холщовой ферязи и весь был выбелен пылью. Он щурился, иногда вздергивал повод, и конь пробовал тогда перейти на скок. Хороший, крепкий конь, послушный и верный, был нынче у князя! Дмитрий не пораз и чистил его, и не того ради, чтобы подражать Владимиру Мономаху, как толковали, посмеиваясь, молодшие дружинники, а попросту нравилось.

Нравился конь, нравился запах чистого денника, нравилось стоять одному рядом с жеребцом и кормить его с рук ломтем аржаного хлеба с солью. С конем не надобно было быть все время великим князем, и он бессознательно дорожил этими минутами побыть самим собою, ощутить теплое дыхание, и густой конский дух четвероногого друга, и мягкие губы, которыми осторожно брал конь хлеб из руки господина своего. Вчера Дмитрий сам придирчиво осмотрел все четыре копыта жеребца, проверил, ладно ли прибиты подковы... Ночью молчал, лаская жену, и Дуня поняла, молчала тоже. Ехать надо было все одно, и не стоило портить жалобами последнюю ночь!

А теперь, морщась от пыли (уже далеко отдалились и толпы провожающих, и звоны московских колоколов), вновь и вновь возвращался он к мыслям о возможном нятьи и поругании, и твердый ворот ферязи, что резал потную шею, казался ему порою деревянной колодкою пленника.

С владыкой Алексием князь распростился у перевоза, на коломенском берегу. У вымола ждали дощаники. Уже дружина и обоз ушли на тот, рязанский, берег. Алексий вылез из возка, остановился на взгорбке, на островке зеленой травы. Бояре и коломенская господа, что провожали князя верхами, стояли в отдалении. Дмитрий опустился на колени, поцеловал сухую, трепещущую, ставшую пугающе легкой руку. Лик Алексия, обращенный к нему и к небу, был просветленно ясен. Он молился. Кончив, опустил добрые усталые глаза на князя, оглядел надежду свою, выпестованного им повелителя еще не созданной великой православной державы.

— Езжай, сыне! Я буду неустанно молить за тебя Спасителя! И преподобный Сергий тоже будет молить! Чаю, верую, услышит он нас с выси горней и сохранит надежду земли! Будь тверд, сыне, и не забывай Господа своего!

Что-то было еще за словами старого митрополита — в беспомощной нежности трепетных рук, в доброте взора,— от чего Дмитрий, круто согнув выю, сморгнул невольно набежавшую слезу. Поднялся с колен. Ждали слуги, ждал у перевоза стремянный с конем. Он шел на подвиг! И, помахав рукой провожающим, князь начал быстро спускаться с горы.

Уже с дощаника, оглянув, узрел он, что старый

митрополит стоял все так же на бугре, благословляя князя, и крест в его вздрагивающей руке сверкал и золотился на солнце.

ГЛАВА 33

В ту самую пору, когда Алексий провожал своего князя в Орду, в далеком Цареграде, утонувшем в благоуханиях пышных летних садов, велась иная молвь, узнав о которой, старый митрополит вряд ли остался бы благостен и спокоен.

Вновь сидели в каменном патриаршем покое двое людей, одного из коих Алексий считал своим всегдашним заступником и другом, а другого не иначе воспринимал при патриархе, чем верного Леонтия при своем лице. Это были: полугрек-полуеврей Филофей Коккин и болгарин Киприан Цамвлак. Филофей, не глядя на Киприана, волнуясь, перебирал и откладывал трепещущими руками грамоты, стараясь не смотреть в глаза собеседнику. Говорил Киприан:

— Ты сам убедился теперь, что прещения, и даже отлучение церковное, наложенное тобою по слову Алексия, не возымели успеха! Смоленский князь продолжает ходить в воле Ольгерда, тверичи не отшатнулись от своего повелителя, война не прекращена.

Теперь тверской князь сам требует суда! Дабы спасти достоинство патриархии и не отшатнуть от себя православного государя, мы обязаны осудить Алексия и снять проклятие с тверичей! Мало того, обязаны заставить того же кир Алексия отложить, отменить, яко ложное, отлучение от церкви, наложенное им на князя Михаила, и это совершится, ежели произойдет суд!

Подумай, какой укор твоей мерности, какой урон патриархии цареградской, какой соблазн для всех, небрегующих тобою! Подумай о том, что и сам Палеолог возможет ныне вовсе отвернуться от тебя, предав в руки латинян твердыню православия!

Не может сей гордый старец возвысить свой ум над суетною приверженностию к единому московскому престолу! Не возможет он понять, что церковь больше и должна быть больше всякого отдельного государства и княжества, даже великого, не говоря уже о столь малом и раздираемом междоусобною бранью куске земли, как Владимирская Русь!

Со скорбью глядел я, как ты растрачиваешь свой ум и труд на предприятие, коему нет благого исхода; ради давней дружбы губишь дело, коему сам посвятил всего себя,— дело совокупления православных государей, дабы противустать неверным!

Сдвинь камень сей с пути, заклинаю тебя, сдвинь, пока не поздно! Ибо уже согласил и ты, и весь синклит, дабы во владениях Казимира польского явился свой сугубый митрополит для православных земель, захваченных католиками! И в том виновен Алексий! Завтра того же потребует Ольгерд, ежели не обратится прямо к папе... Завтра! Быть может, уже теперь! Он уже потребовал второго митрополита на все русские земли, не захваченные московским князем!

Филофей в конце концов выронил грамоты, закрывши лицо руками.

— Да, ты прав, ты прав! — с болью вымолвил он.

— И тогда, настояв на особном, своем, митрополите, Ольгерд вовсе отпадет от совокупного дела православия! — безжалостно продолжал Киприан.

— Да, ты прав! Не можно, не должно делить пополам русскую митрополию! — эхом отозвался Филофей Коккин.— Но что предлагаешь ты? Я не могу теперь сместить Алексия! — почти выкрикнул он.

— Отправь, наконец, меня в Литву! — спокойно возразил Киприан.— Надели полномочиями и отправь. Обещай мне, ежели надобно, дать сан митрополита русского.

— Под Алексием?!

Киприан промолчал. Филофей склонил голову, вновь заметался взором, начал передвигать без нужды порфировую чернильницу, гусиные и павлиньи перья, бумаги на столе...

— Ну хорошо, хорошо... Я постараюсь поладить с литовским княжеским домом, с самим Ольгердом прежде всего. И — с кир Алексием тоже! — твердо договорил Киприан.— Которому как-никак восемьдесят лет! Повторю: пред судьбою освященного православия и самой церкви Христовой все иное ничтожно и должно отступить и уступить!

Филофей поднял черные скорбные глаза на Киприана, вглядываясь в его бесстрастный и бестрепетный лик, удлиненный овал лица, гладкий лоб, расчесанную, волосок к волоску, бороду, гладкую, без всяческих украшений, одежду, казавшуюся меж тем по чистоте

и опрятности своей очень дорогой, голубое нижнее и вишневое верхнее монашеское облачение, серебряный четвероугольный греческий крест на крупного чекана цепи, ухоженные руки с долгими и тоже ухоженными ногтями...

— Иначе мы потеряем Литву! — вновь требовательно подчеркнул Киприан.

— Иначе потеряем Литву...— печально повторил за ним Филофей Коккин. Нет, он не имел ни права, ни сил возразить Киприану, поднявшемуся ради интересов вселенского православия выше своей болгарской родины. А Алексий не может, увы, не может отступить даже от выпестованного им князя Дмитрия! — растерянно думал. Филофей.

— Ты получишь грамоты и... власть,— выговорил он наконец.— Только помоги мне докончить дело объединения церквей сербской и болгарской с греческой! — попросил он глухо. Киприан кивнул. Последнее разумелось само собою. С присоединением Литвы к греческой церкви будет образован мощный союз православных государств (из Сербии, Болгарии, Валахии, Византийской империи, Литвы и Руссии), способный разгромить Орду, отбросить за проливы турок и остановить натиск латинян, чем возжечь новый свет истинного православия! И ежели на пути к сей слепительно-величавой цели стоит один лишь упрямый русский старец, рассорившийся с Литвой (лично неведомый Киприану!)... Мучений. Филофея Коккина он решительно не мог понять!

Положим на миг перо и помыслим. И о том, несвершенном (и могло ли оно совершиться в те далекие от нас и тяжкие для судеб славянства века?), что замыслили патриарх. Филофей Коккин вкупе с Киприаном и что не сумели свершить потомки даже и много веков спустя, и о том, казалось бы, узколобо-национальном, что двигало волей Алексия, и что, однако, удалось и состоялось и породило впоследствии великую православную державу, раскинувшуюся от Карпат до стен Китая и до просторов иных морей на противоположном конце Азии. Почему не состоялось одно и получилось другое? Нет ли тут той строгой закономерности, что даже за многонациональным объединением племен, каким оказалась Великая Россия, должна стоять в истоке и замысле одна национальная культура и одно (национальное!) духовное устремление? Римскую империю

создали римляне, и, когда они исчезли, империи не стало. Великое государство монголов держалось горстью немногочисленных потомков степных батыров; с концом династии государство Чингизидов развалилось на национальные части. Россию создали русские, хотя Великая Россия никогда не была страной-колонией, и народы, ее населяющие, были равны между собой... И все же великие государства, как и малые, растут из одного корня. А связанные с этим корневым народом иные племена и народности возрастают и гибнут уже вместе с ним, ибо единство исторических судеб, раз сложившись, не может быть разорвано по чьему-то велению и желанию. Разрыв тотчас начинает сочиться кровью, и рушащийся колосс погребает под останками своими и тех, кто жаждал и добивался его гибели...

Но все это, сказанное тут, видимым становится только в череде проходящих веков. Люди, творящие политику государств, мыслят обычно лишь пределами своей собственной жизни, и Киприан Цамвлак в этом отношении не составлял исключения из правила.

ГЛАВА 34

Уехал Дмитрий, и руковожение Московским великим княжеством снова легло на плечи одного митрополита.

Когда вскоре после отъезда молодого князя в Орду явились литовские послы, принимал их глава русской церкви. Он же председательствовал в думе, он же скреплял своею подписью перемирные грамоты, ободрял Владимира Андреича, который места себе не находил, заключая помолвку с невестою, никогда им прежде не виданною даже издали, давал наставления боярам, готовил хоромы для приезда сановитых гостей.

Послами и поручителями Ольгерда выступали три князя: Борис Константинович Городецкий, смоленский князь Андрей Иванович и князь Юрий Владимирович, с ними — литовско-русские бояре: Дмитрий Обиручев, Меркурий, Петр и Лукьян. Ольгерду очень нужен был мир, и даже предложенное москвичами перемирье «от Оспожина Заговенья до Дмитриева дни» (до 26 октября) его устраивало, на чем и построил все переговоры Алексий.

Борис Городецкий, извещенный послом, прискакал первый. Восходя по ступеням княжеского терема, на

сенях встретил Алексия, с коим еще недавно, в пору второй литовщины, спорил в Нижнем, поглядел, расширяя вырезные ноздри, трудно склонил шею под благословение этого древнего и такого упрямого старика, глянул в глубокие, мерцающие на пергаменном лице, все еще чистые и полные мысли глаза, поперхнулся, сбрусвянел. Единый из волжских володетелей, готовый стать на сторону Михайлы Тверского, он ничего не мог содеять один, без помочи, и, обреченный на насильное бездействие, тихо изнывал.

Послам литовского великого князя был устроен роскошный пир, а затем начались переговоры, в ходе которых Алексий и бояре московской думы всячески отодвигали тверского князя от участия в перемирных договорных статьях.

«Се яз, князь великий Олгерд, со своим братом, со князем с Кестутьем, и князь великий Святослав Иванович послали есмы своих послов к брату к своему, к великому князю Дмитрею Ивановичю, и к его брату, ко князю к Володимеру Андреевичю...» — так начиналась перемирная грамота. Поскольку договор должен был включать и союзников названных князей, то следующая статья была утверждена в таком виде:

«А в том докончаньи князь Михайло Тферьский, князь Дмитрий Бряньский и те князи, хто будеть у князя у великого у Олгерда в имени его, и у князя великого Святослава тако же.

А князю великому Олгерду... хто будет со князем с великим з Дмитрием Ивановичем... в любви и докончаньи: князь великий Олег, князь великий Роман, князь великий Володимер Пронский... тех князей... не воевати, отчины их, ни их людий».

«А что князь Михайло,— гласила следующая статья,— которая будет места пограбил в нашей отчине, в великом княженьи, а то князю великому Олгерду мне чистити, то князю Михайлу по исправе подавати назад, по докончанью князя великого Олгерда. А где будет князь Михайло вослал в нашую отчину, в великое княженье, наместники или волостели, и тых ны сослати доловь, а не поедут, и нам их имати, а то от нас не в измену. А от сего перемирья... а имет князь Михайло что пакостити в нашей отчине, в великом княженьи, или грабити, нам ся с ним ведати самим. А князю великому Олгерду, и брату его, князю Кестутью, и их детям за него ся не вступати.

А что пошли в Орду ко царю люди жаловатися на князя на Михайла, а то есмы в Божьи воли и во цареве, как повелит, так ны деяти, а то от нас не в измену...»

Под этой дорогою грамотой подписывались с московской стороны: Дмитрий Михайлович Боброк, Иван Михайлович (сын тестя Василь Василича, боярин князя Владимира Андреича), Дмитрий Александрович Зернов и Иван Федорович Воронцов-Вельяминов.

Вечером, после заключительного заседания думы, Алексий сидел у себя в покое, в кресле, полузакрывши глаза, разбитый и вымотанный до предела сил. Леонтий, коротко взглядывая на владыку, прибирал грамоты.

— Со всем согласились! — устало ронял Алексий.— Князь Михайло в грамоте не назван великим ни разу. Послам разъяснено так, что до ханского решения отлагаем! Ольгердовы бояре приняли! Тверской князь, чаю, встанет на дыбы. Но... тем лучше для нас!

— Будет война? — вопросил Леонтий.

— Не ведаю,— ответил, помолчав, митрополит.— Велено к тому же очистить захваченные Михайлой волости!

— Так будет война?! — вновь переспросил Леонтий, внимательно взглядывая на владыку, выжатого, полумертвого, но сумевшего заключить договор на всей воле московской.

— Обязались не помогать Михайле, ежели учнет ратиться! — сумрачно, но твердо пояснил Алексий.

— А что наши пошли в Орду?

— То воля царева! — возразил Алексий.— Так и в договор вписано! Ржеву пока не трогаем,—прибавил он, помолчав.

Леонтий внимательнее вгляделся в сухой, полумертвый лик владыки. Ежели Ольгердовы послы подписали все это, стало, Ольгерд предал Михайлу Тверского... Почему? Или Ольгерд почел князя Михайлу настолько опасным себе? Или послов литовских переубедил владыка Алексий? Но тогда...

Тихо, едва шевеля устами, точно читая мысли Леонтия, Алексий проговорил:

— Перемирие заключаем невзирая на то, будет ли, нет Ольгерду люба сия грамота. Даже ежели он с нею не согласит! Ольгерду надобен мир с нами. Нам с Ольгердом — еще более! Михайло теперь один. Пока один! Мыслю, не будет большой войны...

Старый митрополит замолк, словно умер. И от этого

слабого дыхания, от этого измученного переговорами, полумертвого в этот час человека по-прежнему зависят судьбы народов, княжеств и государств! Леонтий тихо присел, сложил руки на коленях, с ужасом и восторженным обожанием взирая на Алексия. И слабая, чуть заметная улыбка, вернее, бледный окрас ее, явился на пергаменных чертах истинного хозяина Московской Руси.

— Что глядишь? Порою княжеские дела способней решать безо князя, так-то, Леонтий! Ты собрал грамоты? — примолвил он. — Ужинать я не буду. Поди покличь служку, пусть меня приготовят ко сну!

ГЛАВА 35

Алексий все-таки, как ни был мудр, недооценил Михаила Тверского. Получив от своих доброхотов список перемирной грамоты, тот пришел в ярость. Литвин предавал его! Предал, оставив в руках москвичей! Он оказался ненадобен как великий князь ни Мамаю, ни Ольгерду. Ну, а земле? Земле он тоже ненадобен?!

— Ну, это еще поглядим! — пробормотал он сквозь стиснутые зубы, едва не скомкав список перемирной московской грамоты. Пока он — великий князь володимерский, он и будет вести себя и добиваться своего как великий князь!

Евдокия, вошедшая в это время в горницу, отступила со страхом, узревши мужев лик. Столько дикой яростной силы было в его глазах, едва заметивших супругу, едва замечавших уже дорогое некогда семейное тепло. Не было тепла, семьи, дома: на него несло пожаром, и он шел отныне в пламя, в огонь войны! Один. Без Ольгердовой и без Мамаевой помочи.

К июлю, едва отвели покос, по всем градам и весям Тверского княжества начали собирать ратников.

Полки двигались тою же дорогой, как и в прежний раз, но путь их лежал на княжескую Кострому. Михайло рассчитывал, взяв этот город, поднять Бориса Городецкого и с его помочью идти к Владимиру. Замыслу этому не суждено было осуществиться по многим причинам, в частности и потому, что Борис Городецкий, изрядно потишевший за протекшие годы и связанный к тому же Ольгердовым перемирным соглашением, не восхотел или не возмог поддержать князя Михаила

Тверского. Там, где Михаил только надеялся на удачи, умудренный опытом Алексий заключал договоры, связывая возможных противников грамотами междукняжеских соглашений.

Помешала походу на Кострому и необыкновенная засуха того лета, сопровождаемая многочисленными пожарами.

ГЛАВА 36

Онисим похоронил сына рядом с матерью. Прохора оплакали, отголосили жонки. Прося целый день лежала на могиле, билась в рыданьях.

Таньша не стала ни злобиться, ни ругать Оньку, чего он втайне страшился боле всего. Поняла скрытую муку супруга. Все-таки слишком много было и горя и трудов прожито и содеяно вместе, а когда так-то — в истинной, большой беде люди поддерживают один другого, не давая упасть.

Ослепший, молчаливый, тыкался Онисим по дому, вершил то и другое, бросал, недоделывал... Молчал. Прохора не было. Не было его удали, смеха, сноровистых рук, бедовых глаз. Не было его толковой помочи при каждом деле, не брался он за вершину дерева, ежели отец подымал комель, не вострил топора, не сидел на противоположном углу недостроенной клети, ловко, по-взрослому уже, тюкая топором... Прохора не стало! И избыть того было немочно. Не стало, не было больше! Осталось — голос его, трудные последние слова: «Умираю, батя!» — и всё!

Ночами Онька не спал, лежал недвижимо, изредка вздрагивал. Таньша спала, уходившись за день. Спала, всхлипывая, Просинья. Спал Степушка, внук, оставшийся сиротою после смерти отца. А он — не мог. И труд не брал его. От устали гудели руки, ноги, спина, а сон не шел! Князя он не винил, винил себя: надо было поболе беречь парня! Изредка по твердой, морщинистой Онькиной щеке стекала, пропадая в бороде, одинокая, трудная слеза. Иногда вспоминался дед. Раз, в полубредовом видении, подошел, присел рядом с лавкою на сосновый чурбан, на котором Онька мастерил упряжь и все такое подобное, огладил его лицо призрачною рукою.

— Постарел ты, Онисим! — сказал, покачав голо-

вой.— Хорош ли был сын-то? — вопросил. И Онька вспомнил, что дедо не видел его детей, не знал их совсем.

— Хорош! — отмолвил вполголоса: не разбудить бы, не испугать кого из домашних.— Доброй был сын, деловой!

Дедо оглянул терем, кивнул в сторону печи:

— Жонка?

— Ага! Танюха! — удивляясь, ответил Онька, и прибавил: — А матка от черной умерла!

— То — ведаю! — возразил дедо, и Онька догадал, что мертвые — они знают друг друга, не ведают токмо о живых, потому-то и приходят по ночам глядеть да и спрашивать.

— С кем ты? — спросонь хрипло вопросила Таньша.

— А...— Онька, поискав глазами и не узрев более никого, отозвался нехотя: — Дедо тут приходил, прошал...

Таньша молча, вздыхая, слезла с печи. Впотемнях, с распущенными косами, в одной рубахе, подошла, присела на тот же дедов чурак, привалясь, охватила руками голову мужа. Он ощутил на лице мокроту ее слез. Пошевелил головой, трудно стало дышать, она поняла, передвинулась, прилегла лицом на грудь мужу. Шептала что-то, оглаживая его рукой, бормотала:

— Спи, спи! Ладушко мой, Онюшко, да не выдам я тебя, не брошу в никоторой беды! — И что-то еще бормотала, и гладила, гладила, пока впервой за две недели, никак, Онисим задремал, и Таньша тоже прикорнула рядом, полусидя у лавки, проваливая в дрему, и все не отпускала, все берегла мужев сон...

Княжеские вестоноши прибыли в разгар покоса. Онисим выслушал мрачно, кивнул, уразумев, что нынче требуют четверых ратников и хотя бы одного верхового, что князь собирает большой поход и надобно очень поспешать. Выслушал, покивал, поправил для чего-то медный крест на груди под распахнутым воротом холщовой рубахи и отправился вновь косить, никому ничего не сказав. Впрочем, узналось и без него. Вечером, за ужином, непривычно тихие домашние молча, просительно взглядывали на Онисима. Первым не выдержал Федор.

— Батя, рать? — вопросил. Онисим поднял на сына

тяжелые глаза, промолчал. Таньша вдруг побелела лицом, выпрямилась, жалко, по-козиному, выкрикнула:

— Феденька-а-а!

— Охолонь! — рявкнул Онька, ударяя кулаком по столу так, что подпрыгнула и расплескалась братина с квасом.

— Не плачь, мамо! — выговорил Федор твердо.— Все одно идти мой черед!

Онька, сгорбившись, молча, выбрался из-за стола, ушел на сенник, кинулся в колючее прошлогоднее сено. Идти был черед Федору! Но какого святого молить, чтобы ежели зацепило, то не парня, а его, старого Оньку! Глаз бы не казать дома с той беды!

Сряжались в этот раз без него. Ведала мать, ведали всхлипывавшие бабы, что идти нать, раз князь зовет! Ввечеру и Фрол Недашев взошел в избу, и Коляня, отмахав покос, приволокся вослед ему. Четверых! Стало, должен идти и Онисим. Само собой понималось, что Коляня будет при лошади, править телегою. Фрол выезжал в захваченной броне, и отец, Недаш, давал ему нынче коня. Федору доставался конь, захваченный в прежнем походе. Онисим, плоховато державшийся в седле, уступил верхового коня сыну.

Когда прощались, Федор, даром что пятнадцать лет парню, молча, строго перецеловал невестку, сестер, матери поклонил в ноги, Ванчуру обнял, маленьких, Степку с Якуней, подержал на руках. Уходил воин, работник, уходил будущий мужик, без которого ни дом не стоит, ни село, ни государство, ни сама земля русская.

Отъезжали на мглистой заре. Кони шли, фыркая. Пахло недальнею гарью, и утро наступало удушливое, почти не смягченное ночною прохладой. Пока проезжали ближним ельником, все четверо молчали. Только Коляня сиротливо оглянул на родимые кровли да Фрол выговорил громко:

— Посохнут ноне хлеба!

Никто не отмолвил в ответ.

ГЛАВА 37

Тверская рать валила проселками, в сплошных клубах пыли, под золотисто-серым небом, в удушливой гари пересохших, тлеющих от любого неосторожного огня

болот. Вдаль, в поля, было ничего не видать. Ближние дерева словно висели в горячем тумане.

Под Кашином стояли, принимая высланные Михаилом Василичем кормы. Кашинцы были неулыбчивы и строги. Чуялось, что не одно лишь вечное их нелюбие с тверичами тому виною. Михайло потребовал, чтобы двоюродник пустил его в город с дружиною, не желая оказаться в нятьи посреди своего войска. Кашинцы, действительно, были в оружии. Из-за тынов, из дверей молодечной, со всех сторожевых вышек выглядывали острия шеломов и копий, там и тут посверкивала бронь, и Михаил, пока стоял в соборе, сидел за столом у родича, все сожидал узреть московитов и услышать крики начавшейся свалки. Ратникам велено было не расставаться с оружием. Кормы войску (овес, хлеб, мясо, сыры, сушеную рыбу) кашинский князь все-таки выслал. В желтоватой мгле костры тверских ратников казались сплошным пожаром, распространившимся в полях вокруг Кашина и вдоль прихотливых речных извивов Кашинки. Словно город был заклят огненным драконом.

Взрыва, однако, не произошло. Не совершилось и нежданного удара в спину. Видимо, сметя силы, кашинский князь решил не рисковать.

Алексиево проклятие продолжало действовать. Хотя князь и побывал на службе, но в церкви его сторонились, как чумного.

От Кашина полки уклонились к северу, забираясь в леса. Думали уйти от засух, жары и пожаров, но становилось все хуже. Горели моховые болота. Не хватало воды. Кони кашляли и отказывались идти дальше. В клубах дыма кое-где тускло мерцало желтое пламя низовых пожаров. В воздухе висел дым и странная темная мгла. Уже на две сажени вперед было ничего не видать. Сидя на телеге, свесивши ноги на сторону, Онька смутно различал лишь голову своего коня. Парни, Фрол с Федюхой, ускакавши вперед, куда-то пропали. Ехали, рывками напирая на передних, тогда конь топтался в оглоблях, натягивая хомут на уши. Было трудно дышать. Несколько дней такого похода измучили и людей, и коней.

Онька с Коляней оба натужно кашляли. Из-под колес слышался жалобный писк. Коляня спрыгнул с телеги, подобрал куропатку с раздавленным крылом, морщась от жалости, рассматривал ошалевшую пичугу.

Птицы не летали — не видели ничего, а с писком бегали по земле, попадая под копыта и под колеса телег; галки, вороны, сойки, перепела, всякая болотная и боровая птица, ошалев, лезли на дороги, ползали по траве, спасаясь от дыма и огня. Редкая поднявшаяся на крыло ворона тут же резко ныряла вниз и, забывши про страх, забивалась в телегу, даваясь прямо в руки мужикам, хоронилась средь мешков с оружною справой.

То ли от дыма, то ли еще от чего войско наконец встало. Сквозь леса, и верно, было не пройти. И когда, ощупью пробираясь вдоль возов, бояре начали заворачивать ратных назад, мало кто и ведал, что к Михайле дошли вести о том, что городецкий князь Борис не выстанет вместе с ним, а ярославский и тем паче и что Михайло может оказаться со всею своею ратью под Костромой в плену у московских воевод.

Когда измученные, полузадохшиеся ратники добрались до Мологи, моложский князь отказал Михайле и в кормах, и в постое. Это послужило последнею каплей. Почти без приказа, разобрав копья, топоры и рогатины, тверичи пошли на приступ. Город был взят в какой-нибудь час и жестоко разграблен. Когда Михаил въезжал в Мологу, топча копытами коня обрушенные створы ворот, в улицах стоял вой, из дыма выныривали раскосмаченные, спасающие свое добро от озверелых тверичей жонки, а над тынами уже плясало светлое радостное пламя, с треском пожирающее пересушенные хоромы горожан.

Онисим с трудом разыскал своих парней. Федька явился ужасно гордый, раненый, но в чужой броне, захваченной у убитого им моложского ратника. Фрол, пыхтя, волок за собою корову. Коляня и тот стал на себя непохож: соскочивши с телеги, остановил, схватив за шиворот, бегущего посадского и, дав ему дважды по шее, отобрал увесистый мешок с железною кованью, которую и бросил, не рассматривая, в телегу. Онька в грабеже не участвовал, берег коня. Собравшись, все четверо с трудом выпихались из горящего города.

От Мологи рать растянулась вдоль волжского берега, тут было легче дышать и видно было чуть-чуть подалее, однако и здесь, над Волгою, небо висело словно бы пораженное чернотой и смутный лик солнца, изъеденный пятнами, словно черною проказой, едва просвечивал сквозь мутную страшную темь.

Мужики остановились у берега. Несчастную, спавшую с тела корову, кое-как подоив, пустили на зеленую траву. Привычно морщась, Федюха подъехал к телеге:

— Тебе бы еще, батя, бронь! — сказал. Глаза у парня слезились и сверкали. Эстолькой громады народу, ратников и бояр в куяках, бронях, пансырях и колонтарях, самого князя, проскакивавшего здесь и там на легком, подбористом жеребце, крытом алою попоною, зловещего посвиста стрел, приступа к городу, когда лезли по валу и через тын, дрались в улицах и жутью и восторгом наполняло сердце,— всего этого он доднесь никогда не видал, и при всех трудностях похода, при том даже, что могут убить, был счастлив. Про себя даже и так думалось: останься в тот раз Прохор дома, с ним бы, с Федей, ничего не случилось! Он вызвался сам, когда скликали охочих молодцов, плавиться на ту сторону Волги, как ни остерегал отец. И тогда Онисим содеял единственно возможное: наказавши Коляне стеречь добро, отправился вместе с сыном.

В долгоносый волжский дощаник насело столько, что вода шла едва не вровень с бортом. Коней, плывом, тащили за собой. Волга мелела, то и спасло от потопления. Черпанули набоем уже на мелководье и, изрядно вымокнув, выбрались-таки на берег, не растеряв оружия. Здесь тоже стоял тяжелый, пахнущий гарью туман. Город Углич был едва видим, призрачные бревенчатые костры являлись из тумана как бы висящими в воздухе. Онисим шел рядом с конем, положа руку на луку седла, удерживая сына, чтобы не поскакал вперед: погинет сам и коня погубит! На кони на стену все одно не взойдешь! Стрелы уже густо летели из мглы, втыкаясь в рыхлую землю почти у ног, а то и прочеркивая густой, тяжелый воздух. Онька почти не увидел, как Федюха, охнув, начал сползать с коня. «Второй!» — помыслилось. Но руки сноровисто и ловко делали свое, рана, слава Господу, была не смертельна. Только пока сдирал кольчугу, пока искал где,с бульканьем выходила руда. За время, что перетягивал и налагал жгут с мазью, сын потерял много крови и едва не лишился сознания. Оттащил малого назад. Кольчатую рубаху, прикинув на себя, отверг: мала оказалась Оньке, засунул в торока, не то сопрут. Раненые лежали на попонах целою вереницей, и Онька, потоптавшись и поняв, что тут будет за сыном уход, пошел шагом в свой полк. Его самого

убить не должны были, так понимал, и потому шел не опасаясь, с единой думою о сыне: как-то он там?

Когда Онька достиг стены, уже были выбиты ворота и бой, скоро, впрочем, прекратившийся, шел в городе. Споткнувшись о труп какого-то боярина, Онька хозяйственно поднял шелом, перекинул через плечо перевязь с саблей, стянул было зеленые сапоги, но тут набежали, стали пихать, драться, и Онька отступился брони — не сам убил, дак! И побрел, волоча рогатину, растерявши всех своих, дальше по улице. В какой-то показавшийся ему дом взошел, не думая ни о чем, узрел, распрямясь под притолокою, растерянные лица, смятенного старика-хозяина, жонок, старуху, прячущихся под лавкой детей. На столе стоял горшок со щами. Онька сел, положив на лавку боярский шелом, достал из-за голенища ложку. Подвинув горшок, начал хлебать щи. На него глядели. Хозяйка нерешительно протянула горбушку хлеба.

— Не хочешь ли, батюшко? — произнесла, не веря еще, что гость не начнет грабеж. В избу сунулись еще какие-то оружные. Онька махнул рукой: «Занято!» Мужики, понявши, что ратник за столом — княж-Михайлов, перемолвив, не стали и заходить. Что-то ухватили — как загремело в сенях — и выперлись вон.

Онька съел хлеб, насытившись, отвалился от щей, поднял взор на хозяйку:

— Сын у меня! — сказал.— Ранетый!

Старая поняла, засуетилась. Налила в берестяной туес топленого молока, в тряпицу увязала шанег. Онька, одевши шелом, ждал немо.

— Куды ж ты? А то и ночуй у нас! — предложила старуха вдруг. Поняла, видно, что таковой гость лучше иных, что учнут лазать по клетям. Хозяин, дотоле молчавший, подал голос из угла:

— И сына твово принесем, привезем ли!

Он торопливо кинулся запрягать, выводить коня. Онька с поздним сожалением оценил конскую стать. Ну, тут уже грабить не станешь!

На улице останавливали раз пятнадцать. Где-то горело, посадские тушили пожар. От своих вызнал Онька, что князь Михайло намерен оставить тверского наместника в городе и потому жечь не велит.

Поздним вечером сидели за трапезой. Федор был в жару, полулежал на припечке, хозяйка отпаивала его какой-то своей особою травкой. Онька и еще два

ратника — тоже попросились на ночлег — ели кашу, по очереди черпая кленовыми ложками из горячего горшка. Хозяин все суетился: то забегал в избу, то совался во двор и хлев. Верно, больше всего трепетал за коней и скотину. Сам он промышлял извозом, и лишиться коней ему было — смерть.

На расставанье он подарил тверским ратникам по рубахе, хозяйка вынесла Оньке целый большой угличский сыр. Провожая, кланялись, верно, благодарили за то, что загоряне не свели коня. Федора Онька, взгромоздясь в седло, вез перед собою на лошади. У парня голова моталась от слабости, но жар — спасибо угличской старухе — сошел. Даст Бог, оклемает! — думал Онька, отходя от первого ужаса.

Всю дорогу, пока тряслись по дымным колеистым проселкам в туманном мороке, давя ползающих по земи птиц, до Бежецкого Верха и пока снова брали город на щит (здесь тоже князь Михайло поставил своего, тверского воеводу), Онисим думал об одном: довести бы сына живым до дому! В каждой яме с водой стирал ему замаранные порты, поил и кормил, со страхом думая о том, что рана вновь загноится, что хорошую ворожею-травницу тута не сыскать... И — как тогда?

В Бежецком Верху он, когда делили добычу, получил щит и овчинный зипун. Коляня изволок откуда-то куль ржи и связку подков. Тяжелогруженая телега едва шла, скрипя всеми членами своими, колеса качались в осях, выписывая восьмерки. Сам он исхудал, отвердел, весь пропах гарью и дымом и, когда шел домой, рядом с возом, понукая спавшего с тела коня, не думал уже ни о чем. Когда Таньша бросилась к возу, заполошно всплеснув руками, вымолвил только сорванным голосом:

— Жив!

Федюху, в опрелой рубахе, черного — одни глаза на лице да худые мослы бессильных рук и ног — заводили, почти затаскивали, под руки. На добро, нахватанное дорогою, никто и не глядел. Кое-как сгрузили, заволокли в клеть.

Уже когда обрали вшей, выпарились, отмыли и обрядили в чистое парня, а Недашиха поколдовала над ним, приложивши к ране свежие травы, вытягивающие гной, сидя за столом, Онька немногословно повестил о походе. Федюха слабым голосом подсказывал. Спас-

шись от смерти, достигнув дома и чуя, что уж дома-то беспременно оживет, он снова стал счастлив и горд походом, боями, нятьем городов, собственной, как казалось ему, ратною доблестью. Малыши сидели округ него, во все глаза и уши внимая старшему брату. Дом был свой, не порушенный, не сожженный ворогом.

— В Углече Поле стояли у мужика одного,— выговаривал Онька, туманно глядя куда-то вдаль,— вота конь у ево был! Да жалко стало свесть, разорить мужика...

— Ну и добро! — отвечала сурово Таньша.— Б814ват, и нас кто пожалеет когда!

— Хлеб-от посох?

— А на верхнем поле и не жали вовсе! — отмахнула Таньша рукою.

— Так! — высказал Онька и, опустя голову, понуря плечи, повторил с оттяжкою: — Та-а-ак...— Куля ржи, который они привезли с собою, могло хватить самое большее на месяц-два.

— Опять, стало, кору будем толочь! — горько и твердо выговорил он. Таньша отозвалась, не оборачиваясь, от печки:

— Старуха Недашиха говорит: корень один болотный хорош заместо хлеба! Только надо теперь его дергать, до зимы! Я уж девок сошлю своих да Коляниных — позволишь?

— Сошли! — отозвался Онька, думая уже о другом. Пройдя весь путь со княжескою ратью, начал он понимать, что война с Москвою только еще начата и совсем неведомо, чем и как окончит и не явятся ли теперь сюда, к ним на Пудицу, московские ратные, отмщая за погром городов?

ГЛАВА 38

Посольство в Орду с князем Дмитрием отправлялось внушительное. Ехали двое Вельяминовых — окольничий Тимофей Василич и его племянник Иван Федорович Воронец, двое Кобылиных — Семен Жеребец и Федор Кошка, Данило Феофаныч Бяконтов, Иван Мороз и Александр Всеволож — всё великие бояре московские. С ними киличеи и толмачи, десятка четыре «детей боярских», два попа и четыре дьякона, спасский архимандрит со своими служками, сотни две слуг: по-

возники, стремянные, постельники, оружничьи, повара, конюхи, сокольничьи и пардусники. Посольство везло в клетках двух живых медведей в подарок хану. С княжеским караваном отправлялись купцы к ежегодному конскому и скотьему торгу — русичи, сурожане, кафинские фряги. Везли с собою закупленные в московском торгу связки беличьих шкурок, меха горностаев и соболей, бобров, лисиц, зайцев, ласок, а также медвежьи и рысьи шкуры. Московиты везли седла, уздечки, сабли, замки и прочую кузнечную ковань. Везли холст, шерсть, сало морского зверя, воск и мед. В Орде те же возы нагрузят солью, дорогою рыбой, черной икрой, кожами и разноличным сурожским и кафинским товаром — тонким полотном, шелками, бархатами, сукнами и парчой. Опытные табунщики погонят на Москву купленных в Орде степных низкорослых, невероятно выносливых лошадей.

В караване до тысячи разноличного народу. Шум, гомон. Возы растянулись на многие версты. Слышится порою фряжская, греческая и татарская речь. Вечером раскидывают шатры. Длинная змея московского поезда сжимается, возы ставят куренем, вокруг стана, огораживаясь от возможного лихого набега диких, не подчиняющихся хану степных наездников, черкесов или татар. Все меньше прячущихся в логах и приречных долинах русских деревень, все шире поляны, и вот где-то за Красивою Мечью начинается степь, бескрайняя, уже отцветающая. По вянущим серебристым травам проходят волны, горячий ветер клонит долу сухой ковыль. Курганы. Вымытые ветрами кости павших животных. Степные орлы. Дешт-и-Кыпчак — половецкая степь!

Князь Дмитрий был тих и, не признаваясь никому, робел. Пронзительно вглядываясь в лица бояр, гадал: как поступит тот и другой, ежели Мамай повелит его схватить? В ночные часы, просыпаясь в шатре и слушая далекое подвывание волков, вдруг заходился от ужаса, и таким малым казалось дело, затеянное некогда Алексием: вся эта суета сует, борьба за наследственное великое княжение, грамоты и соглашения, тайные пересылы и подкупы, нятье тверского князя... перед возможною кровавою расплатой, перед древнею ширью степей, поглотивших и растворивших в себе тьмы тем языков и народов!

Днем, на людях, было легче. Он выезжал наперед.

Конь шел, расталкивая грудью травы. Сокольничий спускал сокола и, подскакав, передавал князю сбитого соколом селезня. Светило солнце, такое же туманное, в черных гвоздиках пятен; оно все-таки над степью казалось ярче, чем над Русью, небо которой было затянуто мглою боровых пожаров. Реки старались переходить в верховьях, вброд, и Дмитрию так и не довелось узреть татарского способа переправы, когда под возы набивают связки речного камыша, вяжут плоты из сухостоя и, прикрутив их к хвостам лошадей, плывом плывут к тому берегу. Бывалые гости сказывали, что вся Орда таким способом за два дня переправляется через Дон.

Однажды утром Дмитрий, выехав со стремянным наперед, узрел необычное шевеление в траве. Попискивая и обтекая копыта коня, бежали, перепархивая, по степи тысячи птиц; целыми стаями пробирались куропатки, потом показались бегущие дрофы. Ход этих крупных птиц отмечался струистым колебанием трав. Дмитрий придержал коня, не желая давить живность, когда к нему подъехал Федор Кошка и, сгоняя вечную улыбку с лица, изрек одно слово:

— Орда!

Дмитрий поднял недоуменный взор. Федор показал плетью куда-то за окоем.

— Татары валом валят! Ну, и птица бежит! Скоро и еленей узрим!

Верно, там и тут, в отдалении, уходя от встречи с караваном, начали появляться стайки джейранов, а вслед за ними, к вечеру, показался первый татарский разъезд. Подскакали незастенчиво, голодными глазами оглядывая русичей. Узревши пайцзу, отступили, гортанно о чем-то перемолвив друг с другом. Ночью к стану русичей подходили раз пять ватагами по десять — двадцать, а последний раз почти в шестьдесят всадников.

Орда показалась к вечеру второго дня. Разрезая травы, шли табуны коней. Их было много, очень много, по сто, по двести и более голов. Они постепенно заполнили весь окоем. Конские стада обтекали стан русичей. За ними показались верблюды и волы. От глухого гула тысяч копыт дрожала земля. Воздух уже наполнился пылью. Погонщики щелкали кнутами, подъезжали к русскому стану, иные кричали, уродуя русскую речь:

— Купляй!

Потом серым мохнатым одеялом накрыли изломан-

ную, истоптанную степь неисчислимые ряды высоконогих татарских курдючных овец. В их блеянии утонули все прочие звуки, а густой бараний дух перекрыл полынные запахи степи. Там, вдали, за овечьим морем, на гаснущей закатной полосе, явились наконец движущиеся по степи островерхие домики, донесся надрывный скрип осей. Это катились татарские широкие двуколки с юртами, поставленными на колеса. На охряно-желтой полосе заката колыхалась, то сжимаясь, то распадаясь, лавина всадников, и шум, неразличимый, но грозный, растекался все шире по степи.

Ночью лилось и лилось мимо них человеческое степное море, и утром Дмитрий увидал, что их караван стоит на краю широко раскинутого войлочного города, в середине которого подымались круглые шапки ханских юрт, а вчера еще колыхавшаяся травами степь вся вытоптана, сплющена, избита до черной земли и не в отдалении от них уже шумит развернутый базар, с шатрами и юртами, обращенными в купеческие лавки, с выстроенной за одну ночь из привезенных с собою жердей огорожею, за которой плотно, голова к голове, помещался выставленный на продажу скот — в основном быки и овцы.

В едкой, поднятой копытами и уже не оседающей пыли невеликая вереница конных русичей пробралась к ханским шатрам. Здесь было зеленее и легче дышалось. Ханские нукеры приняли у них коней и оружие. Ноги, привыкшие к стременам, плохо слушались, и Дмитрий едва не споткнулся на пороге шелковой ханской юрты. Внутри показалось сперва темно, и он не враз узрел хана и Мамая, восседавшего справа от него на таком же низком позолоченном троне.

Бояре говорили речь, передавали, разворачивая, подарки. Дмитрий склонял голову, низил глаза. Думал: неужели это никогда не окончит? Какое же великое княжение изготовил ты для меня, Алексий! Ежели оно вновь и опять зависит от того, кто восседает пред ним на троне, меж тем как он, великий владимирский князь, стоит, опустив голову, и ждет милости, как нашкодивший мальчишка порки родительской. Да и поможет ли чему его унижение и лесть московских бояр?!

Прием окончился. Пятясь, московиты покинули ханскую юрту. Вечером у него в шатре, за походным, собранным из досок столом, собрались бояре, толковали, спорили, и Дмитрий узнавал с удивлением, что

уже кое-кто видел «Ивашку», сына князя Михайлы, иные успели перемолвить с бесерменами или эмирами хана, и все сходились на том, что «дело неметно», и что кто-то тут «сильно пакостит», как будто бы то, что они своею волею нарушили ханский указ, не пустив Михайлу на великое княжение, не было уже пакостью предостаточной! Кошка после ужина тотчас смотался куда-то, ушли и еще двое-трое бояр из тех, кто бывал в Орде и ведал татарскую молвь.

Тимофей Василич предложил Дмитрию сыграть в шахматы. И, неспешно передвигая по шашечнице фигуры, резанные из клыка древнего, как сказывали, подземельного зверя (клыки эти купцы привозили из-за Камня, променивая у вогулов на соль и железные ножи), сказывал князю неторопливо, в чем тут у них обнаружилась сугубая труднота. Во-первых, отстали. Тверичи успели задобрить кого мочно, и «Ивашка малой» у хана теперь в большой чести. А во-вторых, и генуэзские фряги, видать, пакостят. Рвутся сами на север, в земли полуночные, за мехами, не хотят покупать у нас, на Москве! Ну, а мы не даем, не пускаем...

— Быть может?..— начал Дмитрий, коему поблазнило было, что тут, оказав послабление фрягам, можно выиграть тяжбу у хана. Оба вольно полулежали на кошмах, подперев головы руками. Скудный огонек сальника едва освещал шашечницу, и от резных фигурок метались долгие беспокойные тени.

— Ни-ни! — поднял умные лукавые глаза Тимофей.— Их допусти только, живо и без портов оставят! Нечем будет и Орде выход давать! Ну, а второе, княже... Как бы етто сказать подельнее... Есть и еще зазноба немалая! Чаю, без латынских попов тута не обошлось! Кошка пошел сглядать, быват, вызнает чего! Ладно, давай почивать, княже! Утро вечера завсегда мудренее!

ГЛАВА 39

Тимофей Василич угадал верно Да ведь полдела назвать болесть, а как ее вылечить?

В разноязычной толпе гостей торговых, сопровождавших великого князя московского, ехал и Некомат, московский оборотистый сурожанин, владелец караванов, лодей, торговых вымолов и сел под Москвою, в Сурожском стану. Устроив товар, нагнавши страху на

приказчиков, проследив за тем, чтобы тюки, коробьи и бочки были разгружены и помещены под надежную охрану, он к вечеру того дня, когда князь Дмитрий с боярами пребывал на ханском приеме, разыскал — идучи пеш с одним лишь надежным слугою, стариком татарином,— на краю пестрого и обширного палаточного города неприметную юрту, внешне неотличимую от прочих, из которой, однако, доносились звуки латинского «te Deum» («Тебя, Бога, хвалим!»). Быстро перекрестив чело латинским крестным знамением и склонив голову, Некомат вступил в шатер, бросив придвернику-генуэзцу несколько слов на своем языке.

Внутри шатра, освещенного хорошими витыми, чистого ярого воску свечами в серебряных шандалах, был воздвигнут походный алтарь и человек в католической сутане служил, складывая ладони и обращая лик к большому распятию. Несколько итальянских купцов молились, подпевая двоим юношам-певчим. Некомат (здесь его знали под именем Нико Маттеи), одними глазами поздоровавшись со знакомыми, присоединился к молитвенному пению и больше, пока не кончилась вечерня и пока не был вновь пропет благодарственный канон, не подымал глаз.

— Мессер Маттеи из. Москвы? — вопросил у него над ухом незнакомый голос. Властные глаза человека, привыкшего повелевать, не давали ошибиться, хотя и был незнакомец одет в простой овечий, порядком засаленный казакин. Некомат согласно опустил голову и, быв приглашен, тотчас вступил за занавес во вторую половину шатра, отделенную от первой, где уже ждали несколько генуэзцев, среди коих он узнал кафинского консула, а также мессера Андреотти и Барбаро Риччи, крупнейших торговцев мехами и живым товаром во всех восточных итальянских колониях. Скоро к собравшимся присоединился, сняв верхнее облачение, и патер, бывший, о чем знали немногие, не просто патером, но каноником престола святого Петра из Рима и фактическим папским нунцием в Орде. Была подана очень скромная трапеза: кислое молоко, хлеб, овечий сыр, сушеные фрукты. Присутствующие явно собрались не для того, чтобы пировать.

Бритый человек с властными глазами спрашивал. Некомат отвечал, понявши, что безопаснее не выведывать, кто перед ним, и говорить только правду. Незнакомца интересовало решительно все: цены на меха

в московском торгу, имена и значение при дворе великого князя всех крупных бояр, отношение к каждому из них великого князя Дмитрия, значение митрополита Алексия и его авторитет среди народа и знати. (Тут, услышав, что московиты боготворят Алексия, каноник досадливо нахмурился.) Вопросов о тверском князе и тверичах почти не было. Видимо, все надобное о Твери незнакомец себе уже уяснил.

Мессер Андреотти, вмешавшись в разговор, вновь начал выспрашивать, почем продают меха в московском торгу и за сколькую цену их можно бы было купить на Севере?

— Цену? — возразил Некомат, небрежно пожимая плечами.— Цену, мессеры? Железный котел набивают собольими шкурками, плотно уминая, сколько войдет до краев — и это цена того котла!

Разница была столь велика (в сотни раз!), что генуэзские гости переглянулись друг с другом, почти застонав, с голодною алчностью в глазах.

— Даст ли тверской князь нашим торговцам право свободного проезда на Север?! — требовательно вопросил мессер Андреотти. Но незнакомец в овечьем казакине слегка приподнял руку, останавливая неуместный взрыв купеческого корыстолюбия. Наступила тишина, и подал голос папский нунций. Оглядев собравшихся, он негромко и серьезно отмел враз их имущественные вожделения.

— Неделю назад отсюда, направляясь в Москву, проехал митрополит иерусалимский Герман за милостыней и помочью. Москва становится опорою схизматиков, и пока она стоит во главе союза русских княжеств, греческая церковь будет постоянною противницей римского престола.— Он приодержался, обвел присутствующих внимательным взором строгих глаз, словно бы несколько сомневаясь, что купцы сумеют воспринять всю серьезность сказанного.— Когда Иоанн Палеолог подписывал в Риме символ унии, с ним не было ни одного греческого священника. Уния была сорвана по инициативе патриарха Филофея и при прямой поддержке Москвы! Ежели бы не сопротивление московских схизматиков, не этот старый упрямец, митрополит Алексий, то уже теперь христианская церковь, разорванная гибельным уклонением церкви греческой в схизму, объединилась бы вновь под знаком латинского креста. И престол святого Петра, воздвигнутый первым

из апостолов Иисуса, владычествовал бы над всеми христианскими странами!

— И ваши торговые привилегии, господа,— подал голос бритый,— устроились бы сами собою!

— Ежели бы не противодействие Москвы?

— Да, ежели бы не противодействие московской митрополии!

— Для чего надобно...— начал наконец понимать Некомат,— помочь Михаилу Тверскому?

— Более того! — живо подхватил нунций.— Рим готов временно объединиться с мусульманами! Наши люди ищут связей с Тимуром!

— Но Тимур — враг Мамая?

Вмешался консул:

— Мамай берет у нас деньги, чтобы платить своим эмирам, и не препятствует кафинским купцам покупать русских рабов в Орде!

— Генуэзская республика опасается усиления турок на Мраморном море! — сказал доныне молчавший Барбаро Риччи. Но бритый незнакомец тотчас возразил ему:

— Союз христианнейших государств, вновь объединенных под волею римского первосвященника, возможет сокрушить любую угрозу неверных!

— Но ежели тверской князь получит владимирский престол и объединится с великим князем литовским, не победит ли и там схизма? — вопросил, не уступая, Барбаро Риччи.

— Нет! — прервал его нунций.— У нас есть твердая уверенность, что в Литве победит истинная римская вера! В Вильне католиков не намного меньше, чем схизматиков, а Ольгерд уже стар и не решится теперь утвердить в своей земле греческое православие. Но для того, чтобы этот союз стал действительностью, господа, вы должны напрячь все силы, дабы московский князь Дмитрий не получил вновь великого княжения.

— И помните,— договорил бритый,— нам, не буду называть, кому именно, ведомы не только слова, но и тайные помышления людские!

Расходились в полной темноте и поодиночке. Нико Маттеи уже было достиг середины пути, когда его крепко хлопнули по плечу. Он обернулся, в темноте не сразу поняв, кто это и что ему нужно.

— Здравствуй, Некомат! — весело окликнули его.

Перед ним стоял улыбающийся Федор Кошка.— Гляжу, московский приятель! С нами прибыл? Как я тебя в караване-то не углядел? — продолжал Федор ласково-глумливо, крепко забирая слегка упирающегося генуэзца под руку.— Пойдем, пойдем! Ради такого дела и выпить не грех! — Он силою поволок фрязина к себе в шатер. Некомат, которому вырываться из боярских объятий, памятуя свои дела на Москве, было неприлично да и опасно, подчинился насильному приглашению. Был затащен в шатер и напоен столь крепко, что домой его волокли на руках, и, проснувшись назавтра с раскалывающейся от боли головой, он никак не мог вспомнить, о чем толковал ночью с московским боярином и не проговорился ли ненароком о тайной встрече.

Федор Кошка узнал-таки от Некомата немного и, отослав мертвецки пьяного фряга домой, сугубо задумался. Явно было одно: латиняне готовят какую-то измену, но какую? Он послал за каждым из собравшихся итальянцев по татарину-соглядатаю, но выяснил лишь то, что хуже всех одетый бритый фрязин является самым уважаемым среди них. Выяснил он, день спустя, что среди генуэзцев был кафинский консул. Это уже что-то значило.

Сообразив и сопоставив, посоветовавшись с Тимофеем Вельяминовым, который подсказал ему, что речь могла идти о разрешении фрягам свободного проезда на север для скупки «мягкой рухляди», Кошка в конце концов, призвав на помощь все свои добытые в Орде сведения, понял, что фряги так или иначе будут бороться против возвращения ярлыка Дмитрию. И помочь москвичам могли две вещи — серебро в неслыханных, диких количествах и не ведающие сами о том ак-ордынцы, сведения о движении которых достигли ушей Кошки, но еще не были ведомы кафинскому консулу.

— Ладно! Палеолога Ивана вы в Царьграде посадили, Кантакузина свергли, так? Так! — отвечал он сам себе, лежа на спине в глубине юрты, разославши всех своих послужильцев и нанятых соглядатаев следить за тверичами и фрягами. Федор Кошка поерзал, устраиваясь поудобнее. В отверстие юрты было видать, как по дымно-голубому небу тянули, с курлыканьем, стада болотной дичи с донских плавней. Татары сейчас бьют их кривыми, лишенными оперенья стрелами, которые возвращаются обратно к стрелку.

— Ладно! — повторил он.— К[illegible]кузина сняли!

Дак и что? Ноне и Русь не терпится тем же побытом под себя забрать? А тогда: торгуй — не хочу, полный простор до самого моря Ледовитого! Так? Так! Да, поди, и наш владыка Алексий им нелюб, ежели они унию замыслили! Так? Так! Ну, и что надобно сказать Мамаю? Католиками его не испугаешь... Ольгердом? Ольгердом — мочно! Ну, а ежели Урус-хан с востока нажмет... Самая любота! Тут уж пенязи подавай, и — кто больше! — Он перевернулся на живот, растирая зубами сорванную давеча терпко-горькую травинку. Подумал, прижмурился, легко вскочил на ноги. Упредить фрягов надобно! Голова князя Дмитрия, зело некрепкая еще день назад, теперь, показалось ему, стала держаться чуть-чуть прочнее.

Кого и чем надобно подкупить в Орде? Был взят в оборот Сарыходжа, многие эмиры. Все бояре были в разгоне, один Дмитрий сидел, томясь заложником ханской воли, и не ведал своей судьбы. Впрочем, так же сидел юный тверской мальчик с долгими красивыми ресницами темных гордых глаз и тоже не ведал, чем окончит ордынская пря.

Мамай, которому генуэзские фряги наговорили столько, что он уже переставал верить им, наконец согласился принять московских посланцев келейно, у себя в шатре.

Сидели без толмачей, ибо оба московских боярина — Данило Феофаныч и Федор Кошка отлично говорили по-татарски, а окольничий Тимофей хоть и не говорил, но понимал сносно почти все.

Мамай, пыжась и кутая руки в рукаве, озирал троих рослых русичей, которым он, конечно, откажет (как советуют ему фряги), но сперва выслушает и, быть может, выведает тайности, о коих ему еще не донесли слухачи. Он хитрит, но хитрый разговор все поворачивает куда-то не туда. Молодой московский боярин Федор, похоже, словно бы даже и жалеет его, Мамая, и постепенно, шаг за шагом, почти нехотя, раскрывает ему обман хитрых католиков, замысливших погубить Золотую Орду (уже теперь Синюю) руками белоордынцев, которые из благодарности вовсе не станут тогда брать пошлин с кафинских товаров.

Мамай не верит никому, но москвичи его вовсе и не заставляют чему-то верить, а лишь — подумать путем: почто князь Михайло не взял татарской рати, а воюет меж тем великое княжение и теперь? Взял города

Мологу, Углече Поле, Бежецкий Верх, забирает Волгу, дабы перенять волжский ордынский путь! А Урус-хан? А Ольгерд, союзник Михайлы? Разве не на единой помощи русского улуса держалась доселе Орда? Разве не московские рати сокрушили Булгар, посадивши там царя, угодного Мамаю? В чьих руках немедля окажется Мамай, чуть только кафинские фряги перестанут его снабжать серебром и начнут помогать Тимуру? Дмитрий ему не враг! Князь Дмитрий привез подарки, серебро и жемчуг, меха и оружие. Мамай все это получит от тверского князя? Получит ли? И не поздно ли будет получать?!

Мамай колеблется, думает, отлагает встречу. Русичи подымаются с ковра. Просят принять подарки. Мамай будет думать, и пока он думает, идет бешеный подкуп и перекуп эмиров. Больше всех старается за Москву Сарыходжа, иначе ему не сносить головы!

Орда уже снова свернула стан. Уехали, угоняя купленный скот, купцы. Ушли обозы с солью. Уехал мессер Барбаро Риччи. Бритый незнакомец отправился далее, в Персию. Купцы после его отъезда переругались друг с другом. (Двоих Федор Кошка сумел перекупить обещаньями сказочных барышей на Москве.) На чаши колеблющихся весов ложились все новые слитки русских гривен. Серебро забирали уже по заемным грамотам у купцов. Князь Дмитрий обветрел, загорел, похудел, мотаясь в седле целыми днями. Раза два издали видел Ивашку Тверского. А на востоке вырастала ратная угроза, предсказанная Федором Кошкой, подступала новая битва за Сарай (который на этот раз, и на столь же недолгий срок, удастся захватить Мамаю), она-то и решила дело. На очередном приеме Мамай предложил за неслыханную сумму вернуть ярлык князю Дмитрию. Мамай не думал при этом, что совершает подлость. Мамай думал о другом. Договор, когда-то составленный Алексием об ордынском выходе, оставался не пересмотрен. Конечно, сейчас он получит так много, что победа над Черкесом и Урусханом ему обеспечена. Но потом? Впрочем, о «потом» Мамай думать не очень умел и после пристойной торговли, жирно вздохнув, выговорил:

— Клади серебро, бери ярлык!

Вот на что ушли и вот чем окончились три месяца сидения великого князя Дмитрия в Мамаевой Орде. Увозя медведей в клетках, везли теперь в Москву за

собою и власть. Михаилу же был послан издевательский фирман такого содержания: мол, мы давали тебе рать, а ты не взял, «рекл еси своею силою сести, и ты сяди теперь, с кем ти любо».

ГЛАВА 40

На Москве, помимо неурожая, пожаров и Михайловых погромов произошло множество дел, большею частью неприятного свойства, так что порою казалось, что звезда Алексия начинает изменять ему. Михайло Тверской продолжал удерживать захваченные волости, окраины княжества тревожили ушкуйники, Новгород со Псковом отбивали новый натиск немецких рыцарей.

Впрочем, по-прежнему продолжал сооружаться монастырь на Симанове, и Федор [1], племянник Сергия, деятельно хлопотал, заводя у себя в монастыре иконописное дело и мастерскую по изготовлению книг.

Устная народная память капризна. Она знает только три состояния времени: давно прошедшее (миф), прошлое и настоящее. В каждом из этих периодов события статичны и герои подчас не меняют даже и возраста своего. Течения времени в его последовательной продолженности народные представления не ведают, точнее — ведают лишь в перечнях царских династий или знаменитых родов. Перечни эти во всех древних хрониках попали туда из устного народного предания, а до возникновения письменности затверживались наизусть хранителями родовой памяти. Все же прочее, все то море воспоминаний, которое и есть история племени, отражалось в преданиях и эпосе, упрямо преображавшем их по законам условно-временных и эстетических категорий; так что собственно исторические сведения по логике поэтического творчества превращались в учительные, в памяти славы, но уже не истории (ежели под историей понимать голую истину совершившегося факта), где в событиях свободно участвуют фантастические существа, где летают крылатые драконы, являются мертвецы и оборотни, где боги нисходят на землю, споря со смертными, и герой из реального какого-нибудь древнего Киева или Чернигова свободно

---

[1] Сын Стефана Иван (Ванята) в монашестве был наречен Федором.

попадает в небылое сказочное или даже подземное царство.

И лишь грамота, лишь запечатленные в камне, бронзе, глине или на папирусе, пергамене, бумаге письмена впервые твердо и «навсегда» фиксируют ежели не истину, то во всяком случае то, что люди считали истиною в свою пору. И уже из этих, погодно совершаемых, записей создается явление, коему в устной культуре нет аналога,— летопись. Время становится продолженным, оно приобретает длину и направление, оно становится измеряемым, ибо события впервые выстраиваются в повременной ряд и человеческий ум, начиная сопоставлять цепь событий, умозаключает — впервые! — по принципу, не преодоленному и до сих пор, что совершившееся раньше является причиною, а то, что позже — следствием. (И то́, что далеко не всегда так, а иногда и вовсе не так, что законы истории безмерно сложнее,— до той, новой, ступени мышления человечество в целом еще и не добралось!)

Во все века, заметим, даже наиболее благоприятствующие культуре, на эту вековую работу, схожую с работою пчел, муравьев или даже кораллов, создающих из отмерших оболочек своих целые острова, на всю эту работу, малозаметную современникам, человечество тратило очень немного средств и еще меньше уделяло ей внимания. Много ли получал за исполнение своих гекзаметров слепец Гомер, обессмертивший в «Илиаде» и «Одиссее» древнюю ахейскую Грецию? Что мы ведали бы о ней, не имея Гомера? Несколько камней разрушенных городов, два-три старинных золотых кубка да десяток непонятных надписей... И, бросая певцу за его работу кусок зажаренной свиной ляжки и грубую лепешку, ведал ли какой-нибудь островной басилей, современник Одиссея, ведал ли, что слепой певец дарит ему, царьку крошечного царства, бессмертие? И посмертное восхищение всего мира?! Дары, на истинную оплату которых и всего того царства было бы недостаточно!

Положим, наши князья уже ведали силу и значение писаного слова, и все-таки какое-нибудь отделанное серебром и украшенное бирюзою боярское седло не дороже ли стоило, чем все многолетнее содержание тогдашнего летописца, который жил в бедной келье, сам себе колол дрова, ел грубый хлеб да сушеную либо вареную рыбу, ходил в посконине, молился и писал?

А теперь одни эти его погодные записи, уцелевшие от бесчисленных погромов, пожаров и разорений, а всего более гибнущие от равнодушия и небрежения потомков, одни эти записи и позволяют нам воссоздать тогдашнюю жизнь и события и того самого гордого боярина на коне с изукрашенною сбруей узреть и многое прочее, что без слова писаного онемело бы, осталось в виде разрозненных, потерявших смысл и назначение предметов, когда-то утерянных современниками или зарытых да и забытых в земле. Монеты и те «говорят» прежде всего надписями, сделанными на них!

Ну а навалом гниющие в погребах, истлевающие за ненадобностью горы старинных богослужебных книг? Все эти октоихи, триоди, минеи, праздничные и постные шестодневы, уставы, напрестольные евангелия, молитвенники и служебники? Все эти ежегодные, еженедельные, ежедневные воспоминания о событиях, совершившихся в Палестине в начале первого века нашей эры? Все эти сугубые сакральные переживания всё одного и того же: причащение, повторение символа веры, сложные, разработанные еще в первые века христианства таинства? Какой смысл был (или — и есть?) во всем этом?! А какой смысл в ритуале народных свадеб, хороводов, похорон, поминок, празднества первого снопа, зажинках, в Святках, в ряженых, в обычаях, правилах и приметах?

Когда человек начинает рассматривать себя как конечное, смертное существо, весь смысл бытия коего в нем самом, лишь в этих немногих годах и эфемерных земных радостях, трепете плоти, любовных утехах, в жалкой, собираемой всю жизнь собине,— тогда, конечно, не надобно ничего иного, и со смертью, с концом личности, для нее исчезает все. Но это только тогда, когда люди перестают быть народом, нацией, племенем. Тогда и жизнь племени, весьма скоро, обращается в небытие. Пока же человек живет, понимая себя как частицу чего-то безмерно большего, чем он сам,— семьи, рода, племени, нации, вселенной,— надобен обряд, надобно религиозное, магическое действие, объединяющее живущих с их предками в единое нерасторжимое целое, в стройную череду поколений, продолжающих жить друг в друге, и потому надо похоронить (отпеть, и оплакать, и устроить тризну — наши поминки!), а не просто зарыть в землю родителя своего. И вспоминать и его, и всех его прадедов-

прапрадедов, придя на кладбище в Родительскую субботу. И потому — пышные свадьбы. И потому — торжественное напоминание о страстях отдавшего душу за други своя. Дабы «свеча не погасла», не угасла готовность к суровому подвигу в защиту Родины, Правды и Добра. И потому — муравьиная, ежечасная работа тех, кто творит и сохраняет память народа, кто не дает угаснуть традициям веков, безмерно важна. Без нее умирают народы и в пыль обращаются мощные, некогда гордые громады государств.

Об этом порою и задумывался Алексий, когда Федор Симановский прибегал к нему с очереднoю просьбою о книгах, русских и греческих, о досках, меди, кожах и клее, для сотворения книжных переплетов, о бумаге, пергамене, чернилах, перьях и свечах. Для себя, для братии Федор не просил ничего и, когда митрополит вопрошал, отмахивался: боярскою и купеческой милостынею-де ублаготворены досыти!

— Об едином духовном надлежит ревновать иноку!

Хороших учеников воспитал себе молчаливый радонежский подвижник Сергий! И потому каждое посещение Федора Симановского было тихим праздником для Алексия, прибавляло ему сил и веры в то, что здание, возводимое им, строится все же не на песке и не обрушит, егда сам он уйдет ко Господу.

ГЛАВА 41

Вокруг Москвы горели моховые болота. В улицах было трудно дышать от горького смрада. Солнце едва светило сквозь мутную темь. И когда в этом сраме и обстоянии пришло, доставленное скорым гонцом, послание Филофея Коккина, старый митрополит уже ведал, что не с добром.

Он торопливо вскрыл печать, развернул свиток. Греческие буквы прыгали в глазах, и ему потребовалось успокоиться и выпить воды (и вода была с привкусом горечи!), чтобы наконец приступить к посланию патриарха.

«Патриарший питтакий к преосвященному митрополиту Киевской и Владимирской Руси... Возлюбленный брат и сослужитель нашей мерности, благодать и мир»...— Глаза досадливо пробегали вереницу хвалебных речений, добираясь до сути. А! Вот оно! — «...Огорчает,

что ты заботишься не о всех христианах... Но утвердился на одном месте, все же прочие места оставил без пастырского руководства, без учения духовного и надзора. Вот что огорчило нашу мерность и священный собор...»

А о том, чем окончилась моя пастырская поездка в Киев, Филофей уже не помнит?! И собор ханжески закрывает глаза на истинное течение дел! Да, вот так! «...Король ляшский, Казимир, владеющий Малой Русью, и другие князья... избрали... епископа Антония... Если же не будет... вашего благословения на этом человеке, то не жалуйтесь, мы вынуждены крестить русских в латинскую веру... Что оставалось нам делать?»

И Алексий, уронив грамоту на колени и смежив утомленные глаза, представляет себе Филофея — мятущегося, доброго, полного всяческих талантов и великих замыслов и — такого беспомощного перед грубой силой принуждения!

Что ему оставалось делать?! Почему римские первосвященники дерзают спорить с королями и поучать императоров? Что ему оставалось делать? Что?!

Алексий поднял грамоту, дочел, что новопоставленный митрополит получил епископии Владимирскую (Владимира Волынского), Перемышльскую и Холмскую, что даже Луцка ему не дали, ни другой какой епископии...

Ну, а на другие потребует себе митрополита Ольгерд! — мысленно возразил он Филофею.

Филофей Коккин писал, что посылает на Русь близкого себе человека, Иоанна Дакиана, просил поведать через него о делах. Все это было уже несущественно, как и разрешение не приезжать в Константинополь (все равно без личного присутствия отрешить его от сана по закону они не могут).

Горечь! Горечь была в воде и в воздухе. Горечь измены была в этом письме. И — какое еще зелие ядовитое поднесет ему Иоанн Дакиан?

Алексий в этот день с трудом собрался к служению и, разоболокаясь после обедни в соборе Богоявленского монастыря, едва не упал в обморок.

И все-таки на нем, на этом старце, оканчивающем восьмой десяток лет, держалась доднесь судьба государства Московского!

Благодаря прещению Алексиеву, города по-прежнему не спешили передаваться Михайле Тверскому. Земля

ждала исхода новой ордынской тяжбы, земля раскачивалась медленно и, приученная за десятилетия к власти Москвы, возможно, и потому еще медлила задаться за Тверь.

Михаил опоздал. Он опоздал на целую жизнь. Будь он не внуком, а сыном своего великого деда, быть может, он и сумел бы поворотить историю!

В сентябре пришло очередное послание Филофея, вызывающее Алексия на суд с Михаилом Тверским. В осторожных, но твердых выражениях Филофей Коккин советовал Алексию до суда разрешить тверичей от наложенной на них епитимии. Разрешить самому, ибо: «Я нашел неприличным, чтобы запрещенные тобою получили разрешение от меня».

В той же грамоте Филофей просил не подвергать осуждению архимандрита Феодосия, приходившего ходатаем от Михаилы Тверского к патриарху. Теперь Алексий не удивился бы, даже узнавши, что Филофей позволил Ольгерду открыть свою, литовскую, митрополию...

Впрочем, до этих событий, до невольного, по принуждению патриарха, снятия с князя Михайлы отлучения, на Москву вернулось посольство из Орды.

Загорелые, обветренные, помолодевшие бояре и ратники шумом и гомоном наполнили княжеский двор. Воротились победители.

Дмитрий, радостный, гордый, сверкая взором, взбежал по ступеням терема, принял в объятия округлившуюся Евдокию. Узнав о погромах Михайлы, рыкнул бешено. На Бежецкий Верх конная кованая рать была послана его, княжеским, наказом и воротилась со славою: город был взят, а тверского посадника Микифора Лыча убили в бою.

Михайло в ответ, послав Дмитрия Еремеича с полками, взял Кистьму, пленив воевод Андрея, Давида и Бориса Шенуровых, которых привел в Тверь.

Пока шли безнадежные пересылки, кашинский князь Михаил Васильевич сложил целование к Михаилу Тверскому и передался москвичам. Тут пошли, наконец, долгожданные дожди, дороги, покрытые пылью, разом раскисли, став непроходными, и война остановилась сама собой.

Пошли дожди, за дождями снега. С горем, кое-как, собрали урожай, то, что не выгорело по низинам и речным поймам.

Алексий принял Дакиана, узнал от него о миссии Киприановой в Литве, решив, впрочем, тут не перечить Филофею. И где-то уже Филипьевым постом дошли из Царьграда новые грамоты. Филофей Коккин советовал и Алексию и Михайле примириться, не прибегая к помощи патриаршего суда, «который может оказаться тяжек для вас»,— заключал свое послание Коккин.

Алексий, к счастью для себя, не знал, что то была рука Киприана, который уже начинал втайне собирать свидетельства недовольных Алексием, дабы ходатайствовать в будущем о замене престарелого митрополита другим, более покладистым и ловким, человеком, под коим он разумел самого себя — Киприана Цамвлака, и что суд с тверским князем мог бы действительно стараньями Киприана оказаться тяжек именно для Алексия...

Всего этого Алексий, к счастью, не знал, восприняв грамоту Филофея попросту как дружеское предостережение не раздувать огня, не ведая, чем окончит пожар, и порешил согласиться с Филофеем Коккиным.

Снег таял и падал снова, близилось Рождество, а с ним возникала новая грозная опасность, которую бояре требовали разрешить загодя, не сожидая тяжкого для Москвы исхода. Стало известно, что Михайло Тверской заключил ряд с Олегом Иванычем Рязанским, и все враги Рязани и ненавистники Василья Василича и Ивана Вельяминовых требовали расправы с Олегом загодя, прежде чем он выступит на стороне Твери.

ГЛАВА 42

В будущем было всё: и сражения, и мирные договоры, и совместная борьба с Литвой, но вот этого декабрьского 1371 года похода Олег Дмитрию не прощал никогда.

Поход подготовил Андрей Иваныч Акинфов перед тем, как умереть.

Умирал Андрей трудно. Задыхаясь от удушья и кашляя, он, однако, не покидал Москвы, ибо только тут мог собирать у себя бояр и убеждать, стращать, уговаривать, все об одном и том же: что ежели Михайло вновь приведет Ольгердовы рати на Москву, а Олег Рязанский ударит с тыла, им — конец. И, кажется, уговорил. В конце концов уже и Лопасня стала не

главною в этой игре разбуженных страстей, подлинных и мнимых страхов, вожделений, полупредательств и извращений истины, чем позднее столь часто и столь печально славилась Москва, в которой даже при литье колокола полагалось пускать по городу какую-нибудь лживую пустую сплетню — «чтобы звончее был!».

Мы не знаем, принимал ли участие в организации этого похода Алексий, по-видимому нет. Олег никогда не обвинял в несчастиях своих старого митрополита, а мирил его с князем Дмитрием впоследствии ближайший к Алексию человек — игумен Сергий Радонежский. Скорее, видна тут рука коломенского окружения Дмитрия, того же Митяя и других. Так или иначе, поход бы, возможно, и не состоялся, не появись на Москве волынский князь и воевода Боброк. Новонаходнику требовалось показать, на что он способен, и когда Дмитрию Михалычу было предложено возглавить выступление против Олега Рязанского, он только утвердительно склонил голову и тотчас принялся уряжать полки. На Рязань шла не только кованая конная рать, но и коломенское ополчение. Боброку придавался также московский полк «детей боярских».

Наталья Федорова как раз привела обоз на Москву и по обычаю остановилась с сыном в гостеприимном вельяминовском тереме.

Тут ругмя ругали воевод, отай говорилось о том, что и Олега, ни в чем не повинного, не худо бы предупредить, но одновременно готовились к бою.

Ваня, загоревшись воинским пылом, прибежал к матери: его могли взять вестоношей в московский полк.

— Мамо! Мамо! — Ванюшка прыгал от нетерпения.— Да батя в мои лета уже воевал! — И, поглядев внимательно в глаза сына, Наталья, с падающим сердцем, разрешила ему идти в поход. Что подтолкнуло? Что заставило? Быть может, дух Никиты овеял ее незримыми крылами, повелев отпустить единственного сына-отрока на бранный труд? Быть может, и то прояснело в душе: нелепо сыну героя видеть одно и то ж — обираемых безоружных мужиков (в нынешний трудный год и кормы собирались с насилием великим), пусть узрит перед собою вооруженного ворога.

Последний раз промелькнул-покрасовался он перед нею, румяный, веселый, ловко сидящий на коне, опоясанный, скорее для красы, чем для боя, долгим ясским ножом в ножнах, с легким, притороченным к седлу

копьем. И умчался, ускакал, растаял в падающем пушистом звездчатом снегу, неразличимый в валом валящей, ощетиненной копьями московской рати.

Наталья тяжело взошла по ступеням. Сунулась в горенку, где еще прошлую ночь спал он на полосатом ордынском тюфяке, с воробьиным запахом юных мягких волос... Пасть бы и завыть в голос!

Добро, Марья Михайловна созвала к себе пить малиновый горячий сбитень с медовыми коржами. За столом, крытым тканною на восемь подножек скатертью, в покое и довольстве господских хором, Наталья как-то стеснялась и сказывать, что ныне творилось по деревням, какой стон стоял, когда начали собирать со всех заемное серебро, дабы удоволить бесермен-должников, явившихся на Москву вместе с Дмитрием. Стон стоял и по городам. Перекупленное у тверичей великое княжение дорого далось черному народу, тяжким бременем легло на всех москвитян.

Наталья, сказывая, как снимали колты с жонок, как девки с плачем расставались с серебряными перстнями и кольцами, как мужики, свирепо матерясь, вырывали из земли запрятанные на самый черный день новгородские гривны и московские рубли, диргемы, старинные полустертые корабленики, вычеканенные столетие назад и неведомо как и когда попавшие в московскую деревню из далекого заморья, как с горем отдавали шкурки куниц, бобров, белок, на которые ладили куплять столь надобную в хозяйстве соль,— сказывая все это, держа на пальцах узорную тонкостенную ордынскую пиалу, Наталья даже поперхнулась, закашлялась, скрывая тем невольные слезы, и Марья Михайловна поняла, опрятно утупила очи долу, про себя изумясь, что Наталья, так трудно переживая все это, все ж таки не бросает взятый ею на себя мужеский труд...

— Нам тоже пришлось открыть-таки сундуки! — сурово примолвила она.— Хошь и не последнее отдали, а все одно: в едаком хозяйстве и расходы немалые!

Наталья торопливо кивнула, дабы не обидеть хозяйку. Пока жила сама у Вельяминовых во дому, разве когда умела сравнить ту и эту жизнь одну с другою!

— Не крушись! — высказала Марья Михайловна, углядев, что гостья, устремив взгляд в пространство, застыла с забытою пиалою в руке.— Воротится твой! На первом бою редко кого убивают, примета такая! Мои вон,— воздохнула она,— уж и ратны мужи, а все, как

уходят на бой, в Орду ли, сердце болит и болит! Теперь вот: разобьют Олега, он ли наших побьет — всё моему сыну сором! Ето покойный Андрей такову пакость содеял! Можно ить было как и добром... Не со всема же ратиться! Тута и народу не хватит! — Она сердито пристукнула чашкой, холопке показала глазами: еще налей!

Поздно ночью, уже засыпала Наталья, вдруг привиделся Ванюшка, румяный, живой, в белом серебре падающего снега, в заломленной шапке, в узорчатых рукавицах,— как бы на отъезде,— и что-то говорил, кричал ей неразличимое. «Неужели не увижу боле тебя?!» — подумала, и слезы полились неостановимые. Утром все взголовье было мокрым от слез.

Рать ушла по коломенской дороге и исчезла в снегах. Ни вести, ни навести. Наталья ходила на владычный двор, искала Станяту-Леонтия. Ее едва допустили к нему. Леонтий провел вдову в свою келью, кратко, но твердо осенив себя крестным знамением, усадил в высокое резное кресло с прямою спинкой и плоскими подлокотниками, дал вволю выплакаться. Станята заметно постарел, стали суше и костистей черты лица, заметно одрябла кожа на руках, в остальном же он достиг того возраста, когда течение плотской жизни как бы замедляется в человеке и годы, прибавляя возраста зрелости, почти не меняют оболочину внешнего естества. Он внимательно, не прерывая, выслушал Наталью. О ее страхах за сына сказал просто:

— Грядущего и судьбы своей невемы! Быть может, в том сугубая благость Господня, иначе трудно было бы жить! Я во младости желал многого, бродил семо и овамо, из веси в весь... Был в Царьграде не раз, тонул на море, в Киеве вкупе со владыкою ждал смерти в яме... А теперь осталось одно: довершить объединение Руси и опочить вкупе с владыкой Алексием! Господь премудр! И только он един ведает, для чего существуем мы, смертные, и в чем наш долг и подвиг на этой земле! Единое скажу: в служении своем надо не окосневать, ежечасно прилагая все силы к деянию. Возможно, сын твой и прав, начавши так рано жизненную стезю! Не кайся и веры! Вера помогает во всякой, и даже конечной, трудноте!

О Никите оба молчали. Только уже в конце беседы, понимая, что непристойно долго обременять монаха и владычного писца мирскою беседой, Наталья, поды-

маясь и складывая ладони для благословения, выговорила:

— Я ему надела Никитин крестик, тот самый, не грешно сие?

Леонтий чуть улыбнулся и покачал головой, успокаивая Наталью. О том, трудно ли ей быть волостелем заместо Никиты, Леонтий не спросил тоже, и Наталья в душе была за то благодарна ему. Ибо иначе, не сдержав сердца, стала бы жалиться, и покаяла потом.

Назавтра вечером Наталья повстречала в терему Кузьму, казначея Тимофея Василича Вельяминова — окольничего. Тимофей ведал снедным довольствием ушедших в поход полков и прислал Кузьму к брату о совокупных делах, касающихся и тысяцкого. (Требовались мука и масло, не хватало возчиков и подвод. Василий Василич лежал, и решали дела Кузьма с Иваном Вельяминовым.)

Кузьма, окончив дело, зашел ко вдове едва ли случайно. Строго вопросил, задумался. Сказал отрывисто:

— Не все одобряют сей поход! Тщатся убрать и Олега, зане властителен и в боях удачлив! Не ведают того, что Рязань от Дикого поля обороняет Москву! Мню — лепше учить русичей взаимной любови, нежели спорить о власти! От одного преподобного Сергия боле корысти земле Володимирской, нежели от десяти воевод!

Не разобьют их... С Владимиром Пронским сговорено, да и Боброк воевода доброй. А токмо не по правде деют, не по Христу! Доколе князья грызутся, дотоле не стоять земле! Сыну, воротит, накажи, не столь бы ревновал о подвигах, сколь о правде господней!

Сердитый Кузьма чем-то успокоил, отодвинул ночные страхи Натальины. А назавтра, четырнадцатого декабря, скорый гонец, сменив по пути трех лошадей, донес весть, что был бой с Олегом на Скорнищеве и что москвичи одолели, а Олег бежал невестимо.

На Москве ликовало все. Правду сказать, Олега опасались многие. Передавали — откуда кто и вызнал, — что рязане якобы хвалились перед боем, что, мол, идучи на москвичей, не надобно брать ни доспеха, ни щита, ни копья, ни иного оружия, но токмо ужища, вязать полоненных, понеже москвичи страшливы и непривычны к брани.

Полки возвращались радостные, пронзительно зыча-

ли дудки, ревели рога, тысячи слобожан и посадских оступили дорогу, встречая победителей.

Наталья места себе не находила. Вот уже воротился и московский полк — Ванюшки все не было. В радостной суматохе встречи узнать что-либо было попросту невозможно. Полковой боярин ускакал, а кмети говорили наразно, даже и то, что Ванюшка пропал без вести. И только один старый ратник успокоил ее:

— Малой-то? Да жив, видали, кажись!

Только и всего, что вызнала для себя Наталья. И ежели бы Ванюшка не явился еще день спустя на двух возах с обилием из Острового, неведомо, что бы и содеяла над собою Наталья с отчаяния...

ГЛАВА 43

Московская рать с трудом перевозилась через Оку. Шел снег. Пешнями разбивали береговой припай и молодой, еще некрепкий лед. Тяжелогруженые дощаники шли один за другим к тому берегу, едва проглядывая в метельной круговерти.

Иван, оробев, посматривал то на воду, то на своего боярина, который и сам робел, ища глазами набольшего. Наконец стали грузиться и они. Коней заводили по сходням, и Иван едва не упал в воду, бережась, чтобы конь не наступил ему кованым копытом на ногу. Старики поговаривали о том, что ежели Олег нагрянет на них во время переправы, то быть беде! На середине дощаник завертело было, кони стали биться, вставая на дыбы, и Иван, повиснув на уздечке, едва успокоил своего жеребца, который глядел диким каким-то, не своим взглядом, едва узнавая хозяина.

Вымокший (сряда тут же заледенела на ветру, застыв коробом) Иван едва сумел вдеть ногу в стремя и вскарабкаться в седло. И только уже всев и поймав ногою второе стремя, замог оглянуть назад. Его окликнули:

— Эй, паря! — Иван поскакал на зов, ибо хуже всего было стоять на месте, дрожа от холода. Шестеро ратных отправлялись в сторожу.

— Возьмешь малого! — напутствовал чернобородый боярин в ярко начищенном колонтаре.— Ежели узришь рязанских ратных, пущай скачет сюды во весь опор!

Умеряя невольную, от холода и ожидания встречи

с врагом, дрожь, Ванята порысил следом за комонными московитами. К несчастью, он забывал оглядывать назад, и когда уже к ночи старшой, оборотив к нему мохнатый лик, велел скакать с известием, что путь чист доселева, назвав Ивану деревню, где сторожа надумала стать на ночлег (ратные уже спешивались), Иван, пустив оголодавшего коня вскок, как-то не подумал выспросить точнее, к кому он должен явиться с вестью, ежели не найдет давешнего боярина. Московские ратные встретились ему уже в полной темноте, и иззябший, усталый, голодный Иван с тихим отчаянием трусил от костра к костру, пока наконец ему встречу, к великому счастью для отрока, не попалась вереница ратных в боярских доспехах, на хороших рослых конях и высокий строгий боярин, по всему — старшой над прочими, не принялся расспрашивать юного вестоношу. Услыша название деревни, он кивнул, запоминая, кивнул вторично, когда Иван назвал имя своего боярина, и, обозрев отрока, велѐл одному из комонных:

— Возьми парня с собой да накорми, вишь — оголодал!

Приказавший был сам Боброк, и Ванюшка вскоре ел кашу в очередь с ратными из походного котла, а затем, со слипающимися глазами, сидел у костра в полудреме, слушая, как его конь переступает с ноги на ногу у него за спиною, засунув морду в торбу, и хрупает овсом. Он так и заснул, полусидя на попоне у костра, привалясь к какому-то ратнику и не выпуская из руки конского повода...

Утром все было в инее. Ванята едва разогнул члены, тело ломило, его била крупная дрожь. Конь дремал, понурясь. Ваня погрыз припасенный сухарь, снял торбу с морды жеребца, вложил удила, проверил подпругу. Кругом шевелилась рать. У потухающих костров седлали, взнуздывали коней. Пешцы уже выходили в путь, неся на плечах, как весла, долгие копья.

Давешний ратник, провожавший Ваняту к костру, подскакал, крикнув:

— Твой полк во-о-он тамо! — И, указав перстатою рукавицей в сторону дальней деревни, ускакал прочь. Иван, кое-как вцарапавшись в седло, погнал коня рысью, потом наметом, сообразивши на сей раз, что полки не стоят на месте и он рискует вновь не найти своих.

Он уже проскакал указанную деревню на взмылен-

ном коне,— полки шли и шли, и Ване приходилось то и дело переводить коня вскок, дабы обогнать ходко движущиеся рати,— когда на очередном обгоне его окликнули:

— Эй, паря! Отстал? Сюда вали!

С облегчением узрел Ванята знакомые лица ратников и своего боярина Андрея, в заиндевелой бороде, верхом, отдававшего распоряжения. Иван был тотчас же выруган и определен к месту. Его, оказывается, уже искали, и боярин исходил гневом, вынужденный из-за какого-то боярчонка гонять ратников по всему стану. Вторую ночь Иван спал в густо набитой избе, на полу, забившись в щель между двумя ражими ратниками, и блаженствовал, отогреваясь в их тепле.

О том, что у Олега не было надобного числа воинов, что ему изменил Владимир Пронский и что Дмитрий Боброк, встретившийся Ваняте позапрошлою ночью, сумел выгодно разоставить силы, послав кованую рать в обход, дабы ударить в решительный час боя по рязанцам с тыла,— обо всем этом Ваня не ведал, как и большинство ратников. Он узрел ряды конного рязанского войска, пешцев, ощетиненных копьями, и, поскакавши за своим старшим, вырвался далеко вперед.

Московиты, напоровшись на передовой рязанский полк, заворачивали коней. Сверкало солнце, на снега было больно глядеть. И в этом сверкании движущиеся ряды конницы казались неправдоподобными, игрушечными, что ли. Он подскакал уже близко-поблизку к вражеским рядам и слышал озорные бранные возгласы рязанских воев, угрожавших московитам полоном. Бой начинался с обмена оскорблениями. В какое-то мгновение Иван не поспел справиться с конем, который скакал прямо на рязанский полк. Там хохотали, кто-то, щурясь от солнца, уже сматывал аркан на руку. Опомнившийся Ванята, вздынув коня на дыбы, круто заворотил и вдруг узрел страшное: с той и другой стороны, сминая снег, катились две встречные волны конницы. Крики слились в один сплошной грозный рев, от которого закладывало уши,и просвет меж ратями, в который изо всех сил с отчаянием гнал Ванята коня, сокращался на глазах, угрожая захлопнуться перед ним, словно мышеловка. В воздухе свистели стрелы. Кони, конские морды были уже близко, и с отчаянием думал, нет, чувствовал Ванята, тщетно уходя от гибели, что не ему с его смешным ясским кинжалом и легким копьецом было бы

находиться здесь и что все бывшее и случившееся с ним доселе было скорее игрою, приступом к нынешней, главной, воинской трудноте.

Нет, не доскакать! И, на счастье свое, решивши драться и тем спасшись от гибели, Ваня вновь и круто поворотил взоржавшего коня, подняв его на дыбы, и вот уже перед ним, перед самым его лицом замелькали жаркие рожи рязанских воев, распахнутые в реве рты, ножевые глаза и жутким прочерком смерти сверкающие лезвия сабель. Его едва не сбили с ног. Вырвав копье, Ванята глядел, обеспамятев, как справа и слева от него скачут московские кони и ратники, огибая глупого мальчишку на запаленной лошади, вырывают из ножен клинки.

Что-то сыпалось, ревело, гремело и лязгало со всех сторон, дико ржали, прядая, кони, а Ванята, ничего не видя, не понимая и выронив из рук свое бесполезное копьецо, только лишь судорожно дергал поводья, вздымая и вздымая раз за разом коня на дыбы, почему и оказался в конце концов в задних рядах рати... Почему и спасся от гибели! — как объяснили ему потом бывалые ратники, ибо иначе он был бы ежели не убит в первом своем бою, то обязательно затоптан отступающими, когда московский полк под натиском рязанцев начал заворачивать и покатился было назад.

Оглушенный, испуганный, он выбрался из круговерти скачущих россыпью воев и, переведя коня в рысь, начал, вертя головою, оглядываться, не ведая уже, к кому ему надлежит пристать. Только позднее с удивлением обнаружил он долгую ссадину на щеке, видимо от прошедшей над ухом стрелы, и порванное копейными остриями в двух местах платье. К счастью, оба раза сталь не коснулась тела...

Сзади и сбоку заходил в тыл рязанам новый конный полк. Наученный горьким опытом, Ванята сдержал коня и поскакал сбоку и следом идущей внапуск рати. Он уже не мыслил ни обнажать свой нож, ни ратиться. Понял, что не ему, мальчику, рубиться тут, где убивают друг друга озверелые от крови ратные мужики. И как, и почему воинская удача поворотила к московитам, Ванята не понял тоже. Скакали всугон за кем-то, отступали, пятясь под остриями копий пешего рязанского полка. Крики перекатывались по полю, то вздымаясь, то опадая, волнами, и Ванята уже совсем перестал что бы то ни было понимать, когда какой-то боярин, подъехав

и положив ему на плечо тяжелую руку в железной рукавице, промолвил:

— Гляди, видишь стяг?!

Иван, прищурясь, увидел червленый московский стяг со Спасовым ликом посреди поля и обрадованно закричал:

— Вижу!

— Там Боброк! — продолжал боярин с отдышкою (видимо, только что рубился в сече).— Скачи туда, скажи ему, что я смогу продержаться не боле часу! Не боле часу, слышишь? Да и то, ежели всех ратных здесь положу!

— Львом Иванычем меня зовут! — прокричал он вослед.

Ванята кивнул — понял, мол! Уже не оборачиваясь и сильно пригнувшись к холке, погнал жеребца вскок. В лицо летели комья снега, пот заливал глаза, конь храпел, роняя пену с удил. Кто-то скакал ему вперейму, раза два над головою пропели стрелы. Спрямляя путь, Ванята, сам не ведая того, несся сквозь редко рассыпанный по полю рязанский полк и спасся снова едва ли не чудом: возможно, приняли за своего — по платью в бою трудно отличить русича от русича.

Страшный миг был, когда он, вырываясь из нестройной толпы, пошел наметом по чистому полю, пересекая рубеж двух ратей, и ему вослед полетели стрелы и одно копье, пущенное умелой рукою, оцарапало круп коня. Конь наддал уже из последних сил, и Ванята сквозь слезы и пот, заливавшие глаза, узрел перед собою придвинувшийся близ червленый стяг, под которым, обозревая поле, стоял на коне давешний, встреченный им ночью боярин.

— Княже!.. Митрий Михалыч...— Ванята счастливо вспомнил, как звали Боброка.— Княже... От боярина Льва... Иваныча... боле часу, сказал, не продержаться ему, сказал, боле часу, и то всех перебьют!

У него что-то рвалось в горле, все раскачивалось перед глазами, в ушах стоял звон. Высокий боярин кивнул, отмолвил, глядя вдаль, поверх голов:

— Ведаю! Хорошо, коли час выстоит!

Кто-то из ратных принял из ослабевших пальцев Ваняты повод коня и потянул его за собою. Словно в тумане мелькали лица, конские морды; он медленно опоминался, конь шел шагом, пробуя губами хватать снег, и тогда ратник вздергивал повод, не давая запа-

ленному коню дотронуться до земи. Завидя, что Ванята начинает приходить в себя, ратник отдал ему повод, велев:

— Выводи жеребца, тово! А пить пока не давай, пущай охолонет! Да впредь дуром не скачи сквозь чужую рать, мы ить и сами тебя едва не порешили!

Ваня сунул руку за пазуху, достал горбушку аржаного хлеба, крупно откусил, остальное, поворотив поводьями морду жеребца к себе и потянувшись всем телом, всунул в губы коню. Тот жевал, брякая удилами и роняя крошки на снег. Знамя уходило куда-то вперед, его вели, сменяясь, конные ратники, удерживая в руках древко с развеиваемым ветром тяжелым шитым полотнищем, и Ванята, почуяв, что он опять один и заброшен, поскакал ему вслед.

Вечером он видел, как гнали полоняников, а наутро рать, не снимавшая двое суток броней, торжественно, под звон колоколов, вступала в Переяславль-Рязанский, чтобы посадить на Олегов стол пронского князя Владимира. Этого уже не ведал Ванята, спавший с лица, едва живой, но счастливо вновь разыскавший своих ратников и своего боярина, с которым и трапезовал в какой-то долгой и низкой, крытой соломою хоромине. Ел щи, пироги, кашу и постепенно, неостановимо засыпал, так что в конце концов его вытащил под мышки из-за стола кто-то из ратных и бросил, как куль, в угол на кошмы, где Ванята и проспал, даже не ворохнувшись, до следующего утра.

Уже на самой переправе через Оку, на возвращении, Ванята надумал заехать в Островое, как-никак наследственную деревню свою! И, выпросившись у боярина, поскакал туда. Пережитая жуть и ужас ратной страды нынче казались ему поводом для гордости и величанья перед сверстниками и матерью, тем паче, детская усталь держится до первого сна и первой трапезы. Он громко вопил, погоняя скакуна, пугал сорок на дороге, дурачился сам с собою и так, разгоряченный, румяный, ясноглазый, свалился на шею островскому старосте. Тот не враз признал молодца, но, признав, повел в избу кормить. Иван чванился, хвастал, и староста, любуясь юнцом, чуть насмешливо покачивал головою.

— Матка-то што твоя? Здорова ли?

— На Москве! Меня ждет! — незаботно отозвался Иван. Староста подумал, прикинул. С пу́стом парня отправлять не годилось, а кормы так и так были выве-

зены не все, так что выспавшийся и отдохнувший Ванята оказался, еще через день, владельцем двух доверху груженных возов и хозяином двух возчиков, таких же, как он, желторотых подростков, которые должны были довезти снедное до Москвы и сдать госпоже, а потом пригнать назад порожние сани.

Наталья за эти два дня извелась вовсе, переслушав всех и передумавши все на свете, и, узрев наконец сына во главе груженых возов, гордого тем, что он не просто воевал, но и как хозяин привел снедный обоз, разрыдалась и долго-долго не могла успокоиться, меж тем как смущенный отрок бормотал, обнимая ее за трясущиеся плечи:

— Мамо, мамо! Я же не потому осталси, я же хотел, как лучше, как лучше содеять хотел!

ГЛАВА 44

Христос рождается,
Славите!
Христос с небесе,
Срящите!
Христос на земли,
Возноситеся!
Пойте Господеви вся земля
И веселием воспойте, людие!

Дети пришли со звездой, на улице топчутся в латаных зипунишках, в липовых, березовых ли лапотках, постукивают наморожениыми ладошками, дуют на пальцы. Рождество!

Хоть и голод, хоть и полна Москва убогих и сирых, а в деревнях уже начинают мереть с голоду, все равно — Рождество! Рождество Христово — и боярыня на дворе раздает славщикам печеные козюли, шаньги, аржаные пряники. Дети с голодными глазами суют даренья в холщовые торбы: будет что дать малой сестренке, будет чем угостить лежащую в жару мать.

Христос рождается! Еще один, ничего не решивший год, год ужаса и войны, пожаров, засухи и погрома городов близит к концу (еще не окончен: год мартовский!). Нынче девки ворожат о счастье, смотрят в кольцо, заклинают суженого. Назавтра по городу пойдут в личинах и харях кудесы, будут кружиться и хрюкать и тоже собирать дареные пироги, а то и куски хлеба, где и сухарь подадут — боле ничего у самих нет, и все-таки — Рож-

дество! Празднуют праздник, как и лонись, как и два, и три, и сто лет назад. Празднуют, а значит, земля не изгибла, не утеряла памяти своей, не окончилась (ибо с концом древних празднеств, с концом памяти, предками завещанной, кончается и земля, и язык, в ней сущий).

Дуня спускается во двор, колыхаясь, словно утка. Она в соболиной невесомой шубейке, круглая, точно кубышка, ей вот-вот родить. Сенные девки держат блюда и решета с гостинцами. Великая княгиня оделяет заедками и пряниками славщиков. На нее смотрят во все глаза, теснятся — получить княжеское угощение! Не была бы на сносях, назавтра сама пошла бы по дворам ряженою кудесить. На Святках — все можно!

Не так давно как-то тихо и незаметно угас ее первенец, Данилушка. Дуня рыдала в голос, но и на диво быстро отошла. Муж был рядом, жаркий, заботливый, и внутри себя так ясно уже ощущала она дыхание новой жизни! И теперь беспричинное счастье переполняет молодую великую княгиню — скоро родить! (и по бабьим приметам — сына, Василия, как они уже договорились с Митей). Батюшка приезжал Филипьевым постом из Нижнего, сказывал о своем, привез подарки. А теперь ее Митя Олега Рязанского разбил и согнал со стола! Все будет хорошо!

Она раздает белыми, в перевязочках, пальцами гостинцы детям и радуется морозу, солнцу, тающим на щеках снежинкам. И тот, внутри, сладко шевелится, просится уже! Дуня устает, кивнув славщикам и рассмеявшись невесть чему, уходит, поддерживаемая под руку служанками, медленно восходит по ступеням. На сенях, неверно наступив, она охает, в черевах отдается острою болью. Холопки в растерянности. Дмитрий сбегает по ступеням как есть, без ферязи, без шапки, в одной рубахе, расстегнутой на вороту, подхватывает ее на руки, несет бережно — и так сладко чуять его молодую силу, и так покойно у него на руках!

— Говорил я тебе! — гневает Дмитрий, сидя у постели, на которую уложил жену.— Без тебя бы гостинцы не роздали!

Она протягивает, улыбаясь, к нему руки, привлекает к себе лохматую дорогую голову, берет его руку и тихонько кладет себе на живот:

— Слышишь?

Родила Евдокия сына Василия, будущего наследника

престола, тридцатого декабря, на память апостола Тимона, и великий князь Дмитрий на радостях поил и кормил в Кремнике полгорода. А там подоспело и Крещение с торжественным водосвятием и крестным ходом к йордани на Москве-реке; а там и свадьба Владимира Андреича, коему привезли невесту литовские послы. И снова рекою разливанною лилось пиво и старые меды, и князь Владимир сам, щеголем стоя в рост в изузоренных легких санках, нарушая чин и ряд, прокатил свою невесту по льду Москвы-реки. А она взглядывала из-под ресниц лукаво и зазывно, ничуть не испуганная бешеным ходом коней. Жених с невестою разом понравились друг другу, и эта вторая свадьба в великокняжеской семье обещала быть не менее удачной, чем первая, самого князя Дмитрия с суздальскою княжной.

...Как бы хотелось, забыв обо всем ином, погрузиться целиком в этот сверкающий праздник! В роскошные наряды знати, в золото облачений клира церковного, в масленичные катанья, бег разубранных лентами и бубенцами коней... А кулачные бои на Москве! А торг прямо на льду, под самым Кремником — ободранные мороженые туши стоят на четырех ногах, вороха битой птицы, гуси, тетерева, зайцы, связки сушеной рыбы и бочки солений — рыжиков, капусты, сельдей. А узорные платы и жемчужные рогатые кокошники горожанок! А крашеные ярко-рыжие, черевчатые, зеленые, голубые, желтые полушубки и шубы из узорных, шитых шелками и цветною шерстью овчин! А пронзительные расписные свистульки! А горы глиняной посуды! А бухарские ковры, расстеленные на снегу! А восточные купцы со своим товаром — имбирем и изюмом, грецкими орехами и нугой! А конский торг! А качели! А какие долгие и красивые песни поют, раскачиваясь на доске, девушки! А как вызванивают московские колокола! А разносчицы студня! А пирожницы! А княжеская стража в начищенном до серебряного блеска оружии! А бойкие рожи молодцов, а маковым цветом пылающие щеки красавиц, а шутки, а смех! А скоморошьи игрища на льду Москвы-реки!

Иван Вельяминов, замешавшись в толпу охочих молодцов, уже трижды сходился грудь с грудью с посадскими, и уже троих бросил на снег, пока какой-то кузнец не принял его в медвежьи объятия и в свою очередь не швырнул под необидный хохот в сугроб. Боярин сам хохотал, отряхиваясь, выбирая снег из волос. Ему подали

слетевшую с него бобровую шапку, хлопали по плечам.

— Не горюй, тысяцкой! Коли такие молодцы есь, ничо еще не потеряно на Москве!

Молодой Морхинин настиг Ивана Вельяминова в толпе, по праву праздника приятельски толканул в бок.

— Ну, побили твово Олега! Гля-ко, и стол отобрали у ево! Теперя што речешь, тысяцкой?

— Реку?! — Иван нахмурил чело, отбрасывая нахальную руку хмельного боярчонка, процедил сквозь зубы:

— Олег себе стол воротит! А вот друга себе мы теперь не воротим никогда!

Отстал боярчонок, а Ивану — словно повеяло холодом. Вот так, не ведают, что творят, не желая загадывать ничего наперед! Когда предупреждаешь — виноват, а когда случится беда, опять виноват: знал, да не упредил! На свадьбе у Владимира Андреича он все-таки был посаженным тысяцким, честь немала, но в терем князя Дмитрия его теперь не зовут вовсе, и, пожалуй, батюшка прав! Не стоило так небрежничать с мальчишкой Дмитрием... Дак ноне и исправить того нéкак! Он отмахнул головой, сбрасывая с себя смурые мысли. Праздник! Надобно при народе быть радостным и ему!

Ивана Вельяминова тут же вновь окружили посадские, затормошили, повлекли за собою куда-то к иной потехе. Москва гуляла, не желая ведать грядущих бед и трудов.

— Царь не любит, да псарь любит! — утешил себя Иван, переиначив пословицу, сложенную русичами не у себя, в Орде...

Князь Михайло Александрович Тверской был в это время в Литве.

ГЛАВА 45

Алексий на Святках устроил себе нечто вроде отдыха. Отложив на время господарские заботы, целиком погрузился в дела любимого детища своего — московской митрополичьей книжарни, откуда уже разошлись по Руси многие тысячи переписанных и переведенных с греческого владычными писцами книг.

Там на улице — разгульное веселье ликующей толпы, отложившей на время заботы как прошлого, так и грядущего дня. Здесь — непрерываемый, благолепный, со-

средоточенный труд. Книги. Тишина. Скрипят перья. Пахнет старинною кожей и редькой, да еще постным маслом, коим писцы мажут волосы. Склоненные кудлатые и гладкие, темно- и светло-кудрявые, кое-где и лысые головы. До прихода Алексия о чем-то спорили, даже хохотали, теперь в книжарне сугубая, монастырская тишина.

Алексий проходит по рядам, глядит работу. Тут зримо становит, как возникают книги: как складывают листы, графят острым писалом, как пишут, как прошивают тетради, как переплетают их в обтянутые кожею «доски» с застежками-жуковиньями. Здесь — истоки всего. Пройдут века, угаснет устная память поколений, но то, что творят здесь, пребудет! Переданное, сохраненное, переписанное вновь и вновь с ветхих хартий на новые. От каких седых и древних времен пришли на Русь книги сии? «Лавсаик» — жития старцев синайских третьего, четвертого, пятого веков по Рождестве Христовом, «Амартол», хроника Манассии... А вот и еще более древнее: «Омировы деяния» — из тех изначальных времен, когда кланялись каменным болванам и мнили, что боги, как живые люди, нисходят на землю, гневают, ссорятся, любят смертных женщин и даже зачинают от них детей... Темные, чужие, уже во многом непонятные днешнему уму времена! Иные события, иные повести давно вытеснили их из длящейся памяти поколений. Но их пересказы, как и пересказы Ветхого завета, вошли в византийские хроники и теперь вот они, уже на славянском языке! Вот Иосиф Флавий: «История иудейской войны», а вот Геродотова история, еще не переведенная с греческого... Богослужебные книги: бесконечные минеи, прологи, октоихи, типикон, сиречь устав христианской жизни, евангелия, псалтири. И жития, жития, жития... Все кропотливое устроение христианской культуры, веками создаваемой, здесь, в этих кожаных книгах, под этими деревянными, окованными медью и серебром «досками» переплетов... Ведают ли сами писцы, сколько столетий держат они в своих руках, сколь бесконечно важен их труд, который, единственно, сохранит память о нас в грядущих поколениях и позволит цвести, не прерываясь, древу московской государственности.

Алексий проходит тихими шагами, слегка согбенный, легчающий, но еще крепкий разумом духовный водитель страны. Он не делает замечаний и смотрит остраненно,

как бы издалека, оценивая этот свой труд глазами еще не рожденных поколений... Он устал. И кто-то из писцов, задумав вопросить о некоей надобности Алексия, поднявши взор и узрев обращенные к далекому «ничто» отуманенные очи владыки, вздрагивает и, скорее опустив глаза, начинает с особым тщанием расставлять аккуратные буковки торжественного полуустава.

Алексий отворяет следующую дверь. Тут узорят рукописи, пахнет клеем и разведенной на яйце краскою. И народ здесь иной, более буйный и нравный. Изограф, к коему подходит Алексий, сейчас, намазав клеем сияние над головою святого, накладывает, задерживая дыхание, крохотный кусочек золота, прижимает его утюжком, держит, разглаживает костью, потом, поглядывая искоса на владыку, начинает крохотным веничком очищать лишние закраинки, сметая золотую пыль в кипарисовый ящичек. Отложив лист, откровенно любуется своею работой. В маленьких человечках со священными реликвиями в руках, в выписных «горках», в розово-палевых, сиреневых, белых и голубых дворцах творится своя, непохожая на будничную, жизнь. Жизнь, очищенная от праха земного, вознесенная и заключенная в цветное благостное сияние,— художество, указующее не на то, что есть, а чему следует быть. И даже жестокие палачи, усекающие голову святому мужу, здесь не страшны, не ужасны, ибо они — лишь намек на испытанные святым мучения, они словно тоже исполняют благостный танец и вот-вот и сами обратятся ко Господу, меж тем как страстотерпца уже ждет зримое потустороннее вознаграждение, хоры праведников, жадающих заключить его в свои бессмертные торжествующие ряды...

Алексий смотрит. Чего-то тут еще не хватает — какого-то высшего парения духа, высшего горнего торжества! Он как бы ощущает незримую надобность в ином художестве и в ином изографе, быть может, еще не рожденном, не ведая еще ничего об отроке-иконописце Андрее Рублеве, не познакомясь ни с греческим мастером Феофаном, который токмо еще собирается на Русь... Но мука ожидания неведомого, нежданного чуда уже подступает, уже зримо просит явить себя миру, дабы утвердить конечное торжество Духа над плотью, горней радости — над печалью земного бытия!

Алексий, не высказав ни похвалы, ни осуждения, тихо проходит далее. Отворяет вторую, маленькую дверь, втискивается в узкий проход с крутою полу-

темною лестницей, ведущей наверх. По ней ходит токмо он да еще избранные им немногие клирики: Аввакум, Леонтий, Прохор, спасский архимандрит. Но сейчас ему нужен только Леонтий, ибо Алексий ожидает в гости Сергия, его ежегодного, всегда об эту пору, пришествия на Москву. И, по слухам, Сергий уже в Симонове, у сыновца своего, Федора.

Сергий действительно был там. Проделав нынче путь из Троицы за два дня, он сидел в келье племянника и тихо радовался. Стучали топоры, монахи-плотники что-то продолжали строить, довершать. Федор хвалился изографами, переписчиками книг. Повестил, что изучает греческий, дабы не токмо читать, но и свободно говорить на нем. Развернулся, хозяином стал! И Сергий понимал теперь, что племянник Ваня был прав, не похотевши остаться с ним. Новая, деловая властность взора явилась! Не подавлял ли он Федора? Быть может, слишком любил и тем мешал ему расправить крылья! В немногий срок, протекший от начала игуменства, он стал из ученика соратником.

Скольких уже воспитал он их, устроителей общежительных киновий, у себя в обители! Сильвестр, о котором недавно дошли вести, поставил монастырь на реке Обноре за Волгою. Андроника он сам предложил Алексию и — не ошибся в выборе. Авраамий, молчальник, который жил у него с юных лет, ушел в лесные глухомани, куда-то за Галич, и там деятельно основывает уже не первый монастырь. Дмитрий, так понравившийся великому князю (он был восприемником его первого, ныне покойного, сына), сейчас в Вологде и тоже основал монастырь. Месяц назад у него гостил Стефан, выученик знаменитого Григорьевского затвора в Ростове, этот собирается на Печору, к зырянам, хочет проповедовать там Слово Божие. На расставании они беседовали всю ночь, и Стефан был полон сил, веры и воли к замыслу. Недавно дошла благая весть от Романа, оставленного игуменствовать в монастыре на Киржаче. Успешно справляется с делом и Афанасий. Нелады были у Стефана Махрищенского. Гонимый местным володетелем, он покинул обитель и уже основал монастырь на реке Сухоне, в Вологодских пределах. Ныне князь, как кажется, зовет его назад. Об этом Сергий и хотел поговорить с Алексием.

Посланцы владыки не заставили себя долго ждать.

Сергий, облобызав, распростился с Федором, коего и доднесь ощущал, по сладкому стеснению в сердце, словно бы сыном своим, и вскоре поспешил вослед посланным к недальним башням Кремника.

Его нынче все чаще узнавали в улицах, падали в ноги. Он легко и терпеливо осенял горожан крестным знамением. Посторонился, прижмурясь, когда мимо вихрем, с гиканьем и свистом, взметая снежную пыль, пронеслись богато разубранные сани. Его посох, торба, грубый вотол и лапти — одежда простого странника, даже нищего, не давали виду угадать издали, кто идет. Но вот те же сани, круто заворотивши, уже мчатся вослед, осаживают в опор, и хмельной красавец в распахнутой бобровой шубе, забежав и срывая шапку с головы, рушит перед ним в снег:

— Прости, батюшко! Хмелен! Не признал враз! — И низко склоняет голову, а Сергий благословляет его, слегка прикусив губу, дабы не улыбнуться.

Алексий ждал Сергия с плохо скрываемым нетерпением, и Сергий, с обычной своей проницательностью, понял, что дело тут не в Стефане совсем, а в безмерной усталости митрополита и в безмерном одиночестве, охватившем его после измены патриарха Филофея.

О Стефане разговор был короток. Сергий осторожно, дабы Алексий мог отступить, ежели передумал или что-то изменилось за протекшие дни в мнении Дмитрия, повестил о дошедшем до него желании великого князя воротить Стефана.

— Это и мое желание! — быстро, едва дав ему домолвить, возразил Алексий.

— Владыке должно быть известно, почему Стефан покинул обитель! Бояра, владельцы земли, зело огорчились на игумена, сотворялись безлепые ссоры, пакости монастырю...:

И вновь Алексий не дал договорить Сергию:

— С владельцами земель я уже говорил, и великий князь согласен дать им отступное, но просит, дабы Стефан непременно воротился назад!

Сергий не стал больше возражать, коротко кивнул головою. Знал, что по его слову Стефан тотчас воротит домой. Он сожидал иных вопросов или жалобы о патриархии, но Алексий медлил, и Сергий снова понял, почему — дело было в нем самом, в Сергии, в том, что он пережил недавно и что, конечно, отразилось в его облике.

Алексий угадал, да и трудно было бы не заметить того. У Сергия нынче были необычайные глаза. Взгляд стал таким, как в далекие прежние годы. («Отче! Почему у тебя юные глаза?!» — хотелось спросить Алексию.) Алексий, однако, вопросил осторожнее: не совершилось ли чего-либо необычайного в киновии или с самим радонежским игуменом?

Сергий нынче, чего с ним не случалось никогда ранее, оказался невнимателен. Он едва не признался Алексию в том, что ему воистину было видение: видение света.

Он стоял на ночном правиле, одержимый скорбью, и уже в полудреме услышал, как его дважды окликнули: «Сергий!» Отодвинув окошко, узрел, что все вокруг было залито необычайно ярким светом, ярче солнечного.

— Гляди! — продолжал голос.— Все это иноки твои!

Сергий, как был, без шапки и армяка, выбежал на мороз. Праздничное сияние покрывало каждую хвоинку трепещущим пламенем. Лес был весь словно в сверкающем серебре, и в этом сиянии кружились птицы, множество птиц, переливающихся разными окрасами, точно самоцветы, кто с долгими, словно струящийся шелк, хвостами, кто с хохолками из золотых, увенчанных яхонтами тычинок, иные с рубиновыми клювами или красными лапками. Птицы сидели на деревьях и огороже, порхали в воздухе, словно бабочки. Являлись все новые откуда-то из-за ограды монастыря. Птицы кружились, и ему становилось внятно (где-то изнутри росла ясная, светлая уверенность в том), что этот радостный хоровод — его ученики, настоящие грядущие подвижники, устроители обителей, и что молитва его услышана и ему дано утешение от Господа именно таким вот горним знамением.

— Симон! — закричал он, желая иметь свидетеля (кто-то должен был видеть это вместе с ним!), подбежал, увязая в снегу, к соседней келье, стучал, звал. Но старик Симон по дряхлости долго копошился, не отворял, а птицы все реяли, реяли со щебетом, подобным журчанию, у него над самою головою!

Но вот свет стал меркнуть, меркнуть, и вылезший наконец на крыльцо Симон узрел только гаснущий отблеск, цветные трепещущие полосы, исчезающие во тьме, и не понял бы ничего, не расскажи ему сам Сергий о своем видении. (Как давеча когда-то, при явле-

нии Богоматери, ему и ныне требовался соучастник, свидетель истины, дабы не пасть жертвою вражеской прелести, а паче того — гордыни, чего Сергий позволить себе вовсе не мог.)

А теперь он сидел пред Алексием, полный внутренней радости, и не ведал, баять ли? Едва не сорвалось: рассказать все и владыке. Но что-то неведомое замкнуло уста. Видение было ему одному, даже Симон не узрел птиц, знаменующих умножившихся учеников и продолжателей его дела. И нелепо было рассказывать о том даже Алексию. Или же он, Сергий, не верит горнему знамению? Он смотрел сияющим взором на митрополита, кивал головою и молчал. Только повторял рассеянно, что воротит Степана... (Русичи все, и Сергий не был исключением, с трудом выговаривали греческий звук «ф», меняя его, где можно, на «п». Так и появлялись на Руси Степан вместо Стефана, Пилип вместо Филиппа, Опанас вместо Офоноса или Афанасия, Осип вместо Иосифа...)

Он сидел, слушал, и ему по-прежнему окружающий мир казался таким же ярким, значительным и сверкающим, как когда-то в юности... нет, не следовало говорить о том Алексию и никому иному! Знак был ему, дабы укрепить его в вере и в деянии. Ибо не походы воевод, не сражения, не кровь и пожары городов, а медлительная духовная работа сотен и тысяч подвижников и учителей сотворяет нацию.

Так река, широко катящая воды свои, хоть и несет на себе корабли, хоть и славится причудливою красотою, но густые дубравы и красивые боры на ее брегах питает совсем не она, а незаметное глазу просачиванье воды сквозь почву. А все то бурное, капризно-прекрасное ликование пенистых струй — это только отработанная кровь, и должна она, дабы сотворить пользу, воротиться в виде дождей и влаги воздуха, незримыми туманами и росою осесть на листья и травы, увлажнить мхи, пронизать насыщенную живыми существами землю и тогда уже, в этом виде, поить и растить нивы, пажити и леса.

Такими вот незримыми ручейками, не текущими даже, а сочащимися сквозь толщу народной жизни, были общежительные монастыри, которые неутомимые выученики Сергия и Дионисия Нижегородского распространяли по всей стране, продвигали на Север, и там, где основывались они, являлись не только знак

креста и устное слово пастыря, но и училища, и законы, и правила жизни. Так укреплялась народная нравственность и умерялось животное в человеке. Было куда отдавать детей учиться грамоте, было кому поклониться, с кем хоронить, с кем крестить младенцев, у кого судиться, у кого перенимать опыт хозяйствования.

С течением времени жалкие кельи, земляные норы, дупла, почти берлоги, в коих жили первые основатели, превращались в хорошо укрепленные крепости, опираясь на которые, страна устояла в грозную пору польского нашествия. И в них же, в этих общежительных обителях, в монастырских книжарнях, сохранялась культура, велись летописи, изучали медицину, языки, переводили с греческого, писали иконы, пряли и ткали, чеканили, золотили и жгли.

Все это будет. Всему этому придет (и уже наступает!) свой срок. Незримые ручейки духовной работы пропитывают почву русского народа, дают ей творческое начало жизни. Это грибница, выкидывающая на поверхность, к свету дня, словно грозди тугих, прохладно-упругих грибов, главы храмов, дивную архитектуру монастырей — ни на что не похожие, сказочные творения безвестных и гениальных зодчих, которым когда-то поклонится весь мир. Но все это вырастет на глубоко запрятанной грибнице духовного подвига, а когда начнет портиться, усыхать сама грибница, начнут угасать и храмы, опускаться, делаясь приземистыми и тяжелыми, купола, дотоле свечами пламени взлетавшие к выси горней; будут обмирщаться и темнеть иконные лики, запутываться в сложном плетении словес и сплошной риторике «Жития»... Но это будет не скоро и уже — на склоне народной жизни, а пока еще только рождается пламя, пока купола — лишь шеломы, гордые воинской (и только!) славою, едва-едва начавшие утолщаться, как бы расти и круглиться в аэре. Еще только является духовное пламя над русской землей!

Еще не написана «Троица», хотя тот, кто вдохновит художника, сидит сейчас в митрополичьих покоях на Москве, обещает вернуть Стефана, думает, кивает головою, и в глазах у него все не меркнет неземной слепительный свет давешнего видения.

— Не вопрошай меня ни о чем, отче! — просит он.— Господь замкнул мне уста. Но я могу поделиться

с тобою радостью, ибо это и твоя радость. Мне дано было нынче понять, что труд наш, и твой и мой, угоден Господу!

ГЛАВА 46

С сыном приходилось говорить по-русски. Ягайло ластился к отцу, как котенок, но литовской речи не знал.

— Батюшка, а ты самый сильный в мире, сильнее немецкого императора, да? — спрашивал темноглазый (в кого бы?) длиннолицый худощавый отрок и терся носом об отцовскую большую ладонь. Какое отцовское сердце устоит противу подобных вопрошаний! До какого-то очень еще юного срока каждый младенец считает своего родителя «самым-самым»: самым сильным, умным, большим. С годами разума приходит прозрение, не всегда веселое. Но ежели отец — князь, и при этом великий князь литовский, приобретающий чуть не год по новой волости или новому городу, ежели он действительно, кроме дяди Кейстута, имеет власть не считаться и не советоваться ни с кем, нравно перемещая из города в город братьев, сыновей и племянников, ежели каждый час возрастающее дитя видит всеобщее преклонение перед своим родителем,— то можно и в отроческом возрасте повторить пресловутый вопрос, размягчая этим суровое родительское сердце.

Ежели Ольгерд гневал на кого, бранил заглазно, Ягайло был тут как тут:

— Батюшка, его надобно убить, да?! — и взглядывал преданным ясным взором юного звереныша, бестрепетно готового принять все, что посчитает правильным для себя его родитель, даже смертные судороги и кровь очередной жертвы.

Первыми детьми были девочки, теперь уже выданные замуж за князей Ивана Новосильского и Зимовита Мазовецкого. На Марию уже теперь заглядывается Войдило, Ольгердов постельничий. Из-за этого холопа между ним и Кейстутом прошла первая ощутимая трещина. Дочь князя не должна даже глядеть на раба! Кейстут не одобрял близости Ольгерда с Войдилой. Он был рыцарь, Кейстут. Он ел и пил то же, что и его воины, он носил почти всегда холст и грубой выделки домашнее сукно, в шелка и парчу одеваясь только ради торжественных приемов иноземных гостей, он

один не изменял древним богам своей родины, он был прост и близок со смердами, и вся Жемайтия готова была отдать жизнь за Кейстута. И он, как никто иной, понимал, чувствовал потребное князю отстояние, когда можно спать вместе со смердами на полу,— на той же конской попоне, есть тот же ячменный хлеб и — оставаться князем. А Ольгерд, приблизив раба-наушника Войдилу, поступил, как поступали многие византийские императоры. Ольгерд зазнался, он не желает иметь дело с равными себе!

Ольгерд не мог объяснить брату, почему он так поступает, не мог признаться, не мог поведать всего, ибо тогда надо бы было признаться Кейстуту, что он, Ольгерд, не доверяет решительно никому, даже своей жене Ульянии, не верит старшим детям, страшится племянников (и потому гоняет их из города в город, с Волыни в Подолию), не доверяет боярам — а вдруг предадут? И что ему потому именно понадобился Войдило (точнее, по-литовски, Вайдыло), сперва хлебопек, теперь уже постельничий (и скоро — наместник города Лида), что с Войдилою он может быть откровенен, как бывают откровенны с рабом, что тот его не предаст никогда, ибо для всех иных, не исключая Кейстута, он раб и только раб, и будет со смертью Ольгердовой тотчас убит. И потому Ольгерд позволяет Войдиле играть с сыном, забавлять Ягайлу, возить с собою на охоту и разные потехи, без коих не может обойтись подрастающий княжич. Ольгерд не хочет думать, познал ли уже шестнадцатилетний Ульянин первенец женщину и в чем тут и как помог мальчику Войдила, где и с кем пропадал Ягайло целых четыре дня прошедшим летом во время купальских празднеств, когда пол-Вильны гуляло в священном лесу, у костров. Знать сидела семьями на коврах, чернь — подстелив рядно или дерюгу; палатки и шалаши, расставленные без всякого порядка, заполняли лес, звучала музыка, пиво лилось рекой, от пляса и песен стоял стон, и девушки, избежавшие бдительного родительского ока, сладко вскрикивали в кустах. А на холмах пылали смоляные бочки и целые смолистые дерева, и древний бог Перкунас в виде огненного змея нисходил к своему народу, благословляя поля и награждая женщин плодородием.

Ягайло и прежде ходил за Войдилой хвостом, а тут стали друзья — водой не разольешь. И Ольгерд закры-

вал глаза на всё, не гневал даже, когда от сына попахивало пивом.

Кейстут однажды, сведавши, что Войдило ведает перепиской с орденскими немцами, вспылил:

— Ты даришь холопу Литву! Он когда-нибудь продаст тебя!

И Ольгерд, темнея и стекленея взором, напомнил Кейстуту то, что Кейстут не любил вспоминать — измену его собственного сына Бутава, который шесть лет назад, приняв католичество, пытался захватить Вильну, возглавил вместе с боярином Сурвиллом немецкий поход на Литву, опустошил Жемайтию и две недели осаждал город. Теперь Бутав, перекрещенный в Генриха, поступил в службу к германскому императору, получил ленные земли и титул герцога, покрыв позором своего великого отца.

— Изменяют не только рабы, но и княжеские сыновья! Твой Бутав...

— Молчи! Ежели я встречу сына в бою, я убью его! — крикнул тогда Кейстут. Крикнул надрывно (он бы действительно убил Бутава!) и долго не приезжал после в Вильну, а на Войдилу с тех пор старательно не обращает внимания.

...Детей было много. Пятеро взрослых сыновей от первой жены да вот уже пятеро от Ульянии: Ягайло, Скиргайло, Вигонд, Свитригайло, Коригайло (будут еще двое — Мингайло и Лугвень). И все крещены и носят вторые, христианские, имена. Ульяния опять на сносях. Жена исправно приносит ему через год по ребенку. Но всю скупую отцовскую любовь забрал себе первенец, Ягайло. Забрал до того, что Ольгерду уже не хочется думать, каков сын: хорош или дурен, будет ли неистов на кровь, будет ли, как утверждают, ленивым пьяницею?

Он начинал уставать. Уставать от все еще молодой жены, уставать от власти, от постоянных немецких угроз, от упрямства русского митрополита Алексия, от непонятного (всегда непонятного ему!) поведения верующих. Они с Кейстутом старели оба, и Ольгерд радовался в душе, наблюдая дружбу Витовта, сына Кейстутова, с Ягайлой. Мнилось, дети продолжат союз отцов, удержат и вознесут Литву. Языческую? Католическую? Православную? Об этом тоже не хотелось думать. Деловая переписка в Великом княжестве Литовском давно уже велась на русском языке, а стойко

сопротивлялась крещению, все равно какому, одна Жемайтия. Жмудины, ближе всего знакомые с крестоносными рыцарями, объединяли со знаком креста пожары деревень, трупы младенцев и беременных женщин, привязанных в лесу со вспоротыми животами.

В Вильне, в главном святилище Криве-Кривейта, горел неугасимый огонь и ползали священные змеи Перкунаса и жрицы, вайделотки, хранительницы чистоты и огня (одну из них когда-то похитил Кейстут, сделав своею женою), все еще охраняли алтарь древних литовских богов, проживших столь долгую жизнь, измеряемую тысячелетиями, перед которой даже проповедник из Галилеи выглядел недавним юношей. Ибо с этим огнем, с этою древней верой в священного змея арьи когда-то завоевали Индию и создали европейский мир; из этого огня родился культ Заратуштры и возникли греческие, кельтские, римские боги; об этих змеях поют сказители в былинах, называя имена бившихся с ними богатырей, а ежели возможно было бы заглянуть еще глубже в пучину времен, то, вероятно, это и был самый первый культ, созданный когда-то человечеством, культ змеи и огня, крылатого, восстающего из воды змея и огненной молнии, сложный символ, в котором уместились все тогдашние представления человечества о мироздании и союзе стихий. И ныне, по прошествии тысяч и тысяч лет, только здесь, в сердце Европы, еще живет, еще пылает, еще не угас священный огонь и ползают божественные змеи — коим поклонялись вавилоняне, коих высекали на камнях майя, которым, называя их драконами, молились китайцы и тьмы тем иных великих и малых народов, отринувших культ, но сохранивших память о нем в сказаниях прошлого.

Верил хотя бы Ольгерд древним богам своей родины? Неведомо. Он верил только в себя, забывая, как и тысячи завоевателей до и после него, что человек смертен.

ГЛАВА 47

Послание, отправленное в Константинополь Филофею Коккину, Ольгерд писал в ярости. Ярость утихла за прошедшие месяцы. Прошлогодний разгром на Рудаве, когда литовское войско потеряло до тысячи людей и

в беспорядке отступило с земель Ордена, заставил его поторопиться с заключением «вечного мира» с московским великим князем. Впрочем, рыцарям бой на Рудаве обошелся тоже недешево: были убиты маршал ордена Геннинг фон Шиндекопф и три командора, почему рыцари и не решились преследовать отступавших литвинов.

...Все-таки истинным героем борьбы с Орденом был Кейстут, а не он! Это следовало признать и не ссориться с братом. А из Константинополя, от патриарха, прибывает нынче посол, Киприан Цамвлак, болгарин, и Ольгерд заранее гневно сводит брови: пусть патриарх не тщится мирить его с Алексием! Литве и еще не захваченным, но союзным с нею русским княжествам надобен свой митрополит, и он добьется сего, как добился польский король, не просьбами, так угрозою перейти в католическую веру!

Ольгерд нарочно, дабы не присутствовать на Крещении и не наблюдать пышные шествия христиан, уехал среди зимы в Медники, в свой замок, где жил обыкновенно только летом. Вымороженные хоромы едва успели протопить. Ольгерд швырнул с плеч прямо на пол горностаевый жупан, в ярости, хромая больше обычного, мерил неровными шагами пустую хоромину, пока слуги прибирали платье, разводили по стойлам лошадей и вздували огонь на поварне. В покое от намороженных крохотных окошек была полутьма, свечи, тоже замороженные, как и всё тут, вспыхивая и треща, едва светили неровным желтым пламенем. Он подумал, снял со спицы русский хорьковый опашень, накинул на плечи. Толкнув холодную дверь, вышел на гляденъ.

Здесь еще не был убран снег, навеянный метелью, а сразу же под гульбищем, внизу, виднелись кабаньи следы. Нахальные вепри ночами разбойничали прямо под стеною охотничьего замка великого князя.

Войдило явился большой, сияющий преданной широкой улыбкой, повестил, что осочники с хортами настигли оленя и уже свежуют тушу, так что ежели повелитель пождет малый час, то ему подадут роскошную трапезу, а пока можно закусить сыром с хлебом, запивая все это парным молоком, которое уже принесено и, теплое, ждет Ольгерда на столе, в малой столовой горнице. Ольгерд медленно оглянул Войдилу с головы до ног (нет, не предаст, не прав Кей-

стут!), кивнул, вдохнул еще раз морозный, настоянный на дубовой горечи воздух с чистым привкусом зимнего запаха хвойных дерев. Подступающая к Медникам со всех сторон лесная нерушимая тишина успокаивала. Склонив голову, проследовал за Войдилой.

Супруга дворского с дочерью — рослой, белобрысой, приятной на вид девицей уже хозяйничали за столом. Обе низко поклонились Ольгерду. На столе была уже нарезанная ломтями холодная дичина, хлеб, масло, сыр. Молоко оказалось еще теплым, и Ольгерд, опорожнивши серебряный кубок, попросил налить еще.

Он ел, поглядывая на Войдилу, который, не будучи приглашен, не садился за стол с господином, а на немой вопрос Ольгерда, приподнявшего бровь, ответил все так же радостно:

— Дружину уже кормят на поварне! Мясо, соленая рыба, нашлись пиво и квас...— Он осекся, сказавши про пиво, но Ольгерд лишь безразлично кивнул, прожевывая кусок. Кончив, обтер рот и пальцы рушником, подымаясь из-за стола, бросил Войдиле:

— Поешь и ты!

Уже не глядя, прошел в спальную горницу, бросился в кресло, застланное медвежьей шкурой, слушая, как гудит, разгораясь, внизу большая печь. В горницу вместе с теплом начинали проникать запахи жарящейся на вертеле оленины. Ольгерд сумрачно думал, не понимая самого себя, зачем, с какой радости он бросил жену, детей, виленский замок и прискакал в Медники? Охотиться? Завтра надо будет выехать, поискать вепрей! Но и охотиться он не хотел. Удрал от патриаршего посланца? Нотария, нунция... Надоели эти попы! Пусть этот — как его? — синклитик, референдарий, что ли, сам добирается сюда, в Медники! А он, Ольгерд, еще заставит его пождать, застряв на охоте, а потом накричит, будет картинно топать ногами и гневать, требуя от хитрых греков исполнения своей воли.

Поздно вечером пировали. Рано утром, поев холодной дичины с хлебом и выпив корец парного молока, Ольгерд отправился на охоту. Лес в инее, бронзовая листва дубов и зеленая хвоя сосен под шапками иглисто мерцающего снега, в чистом воздухе особенно громкий зов охотничьих рогов — все это, как и бешеная скачка коней, как и снежные облака, как и снег за шиворотом и заключительная борьба на вспахан-

ной до земи целине с ощетиненным, злобно хрюкающим серым зверем, которому только повисшие на ушах хорты не давали подняться с земли и пропороть князя насквозь, и блеск стали, и кровь, съедающая снежное крошево,— все это развлекло, по-доброму утомило, развеселило и успокоило князя. Затравили двух вепрей и одну косулю. Ольгерд шагом, опустив поводья, ехал домой и уже издали узрел чужие сани. Так и есть, прикатили!

Греков было двое. Они терпеливо дожидались, пока князь умоется и переоденет платье. Затем, благословивши трапезу, чинно сидели за столом, не выказывая смущения тем, что сидят с холопами и дружиной (впрочем, сам князь помещался во главе стола), и уже только в конце ужина сдержанно попросили об аудиенции.

Ольгерд, вздумавший было потомить греков, тут нежданно для себя порешил принять их нынче же, для чего переоделся в голубой, отделанный жемчугом зипун с золотым, в каменьях, поясом и уселся в резное немецкое кресло, предложив послам места прямь себя, на лавке. Войдило и холоп-мальчик, на плечо коего Ольгерд обыкновенно опирался, когда ходил пешком, а не ездил на лошади, стояли по обеим сторонам княжеского седалища. Греки витиевато, впрочем на понятном русском языке, приветствовали князя.

Ольгерд принял свой обычный вид: каменное лицо, серо-голубые большие глаза изучающе озирают собеседника, рот твердо сжат, ни улыбки, ни гнева. Грек, вернее болгарин, Киприан, черноглазый, удивительно спокойный, в столь аккуратно расчесанной бороде, что она порою казалась вырезанною из дерева, тоже, по-видимому, изучал князя. У него было бесстрастное лицо, на коем порою являлось, тотчас исчезая вновь, отдаленное подобие улыбки, и это было единственное, что можно было узреть. Второй грек был понятнее и яснее. Он волновался, впадал в многословие. Когда Ольгерд железным голосом начал выговаривать свои претензии к митрополиту и к Константинопольской патриархии, даже затрепетал, вспотел и начал сбивчиво и пространно изъяснять неправоту князя. Киприан же, чуть улыбнувшись и очень внимательно, глубоко-глубоко поглядев в очи Ольгерду, выговорил:

— Царство Божие вне нас, и земная жизнь есть лишь подготовка к той, вечной, жизни! Иерархи цер-

ковные такожде смертны и такожде могут быть замещаемы иными, удобнейшими, как и земные волостители!

Ольгерд вздрогнул. Второй патриарший посланец, видимо, не понял сказанного и начал вновь и опять оправдывать митрополита. Но Киприан выразительным движением бровей молча выказал князю, что тот не ошибся, угадал правильно, и что от патриархии зависит, будет ли дольше сидеть Алексий на престоле митрополитов всея Руси. Сраженный этою новой для себя мыслью (со времен Романа он уже не считал возможным заменить своего врага Алексия кем-то другим), Ольгерд не высказал грекам и половины своих упреков, достаточно мирно закончив словесную прю и даже разрешив Киприану объехать подвластные великому князю литовскому епископии.

А Киприан, когда посольство расположилось на ночлег и его спутник уже уснул, лежал и думал, что для успешного совершения своей миссии он должен прежде всего и непременно избавиться от патриаршего соглядатая и под любым предлогом удалить сопутствующего себе, отослав его назад в Константинополь.

ГЛАВА 48

О князе Михаиле, пребывавшем в эту пору в Литве (он гостил в Троках, у Кейстута), послы Филофея Коккина не упоминали вовсе, и Ольгерд тоже не упоминал, тем паче еще и сам не решив, что ему делать с тверским шурином. Однако тонкий намек болгарина можно было истолковать и в том смысле, что патриархия впредь не станет поддерживать Алексиевы прещения, тем самым, вольно или невольно, помогая союзникам справиться с упрямою Москвой.

В ближайшие дни Киприан сумел побывать и в Троках. Встретился с князем Михайлой, обещавши со временем приехать в Тверь. Он как-то умел у каждого, с кем разговаривал, оставлять впечатление, что он, Киприан, явный или тайный друг своему собеседнику и намерен поддерживать впредь именно его интересы. Такое же чувство возбудил он и у Михайлы, ободренного в своей пре с Алексием перед патриархией.

Впрочем, Филофей Коккин, не вовсе утративший давней любви к Алексию, почуяв видимо, что Киприан

очень уж круто повел дело, последующими грамотами заставил обоих, Алексия и Михаила, помириться и отказаться от суда, «зане будет тяжек» тому и другому.

Михайло на сей раз сумел близко сойтись с Кейстутом. Странность, присущая обоим, соединила литовского и русского князей, невзирая на разноту верований и возраста. Впрочем, Кейстут, сам безусловно преданный литовской языческой религии, много более Ольгерда умел уважать чужие верования и никогда не допускал насилий над инакомыслящими в подчиненной ему Жемайтии. Религиозные гонения, скажем тут, хоть это и прозвучит для многих ересью, совершаются не тогда, когда люди полны пламенной веры, а, наоборот, на упадке духовного горения, и людьми, для коих мертвая буква начинает заменять дух. Неофиты прибегают к силе убеждения, к проповеди, стремясь утвердить свои принципы, обратить в свою веру. К силе меча прибегают их противники, стремящиеся возразить насилием слову, ибо ничего другого они противопоставить уже не могут. О том, что насилием, даже уничтожением целых племен и народов, духовная победа над ними отнюдь не достигается, говорить излишне.

Ольгерд ехал в Трокайский замок по приглашению Кейстута, нимало не обманываясь, что исходит оно от князя Михаила Тверского. До сих пор Ольгерду нечего было сказать своему шурину. Не мог же он повестить ему, что сильное русское государство во главе с Тверью его так же не устраивает, как и под водительством московского князя! (Дмитрий, впрочем, был молод и, кажется, плохой полководец. Дважды не сумел подготовить оборону своей земли!) Что же изменилось теперь? Явился Киприан, и пришли вести из Орды. Шурин вновь потерял великое княжение владимирское. Ольгерд еще не решил, что он сделает, поможет Михайле или нет, но он ехал в Троки, ехал впервые на переговоры с шурином.

К Трокам подъезжали в сумерках. Озеро замерзло и белым ковром окружало темные башни Трокайской крепости. Тут была еще та, древняя, не имевшая городских поселений Литва, Литва, которая, защищая себя от немцев, начала возводить крепости прежде городов. На башне пылала смоляная бочка, у ворот — воткнутые в железные кольца факелы. Подъемный

мост был опущен, и почетная стража, верхами, выстроилась у въезда. Их ждали.

В сводчатой столовой палате пылал огонь. Дружина усаживалась за столы, гремя оружием, которое оставляли тут же. Отужинавшие кмети пойдут в дозор, через два часа их сменят другие.

Михайло был бледен и необычайно суров. Он только что получил нехорошие вести из Орды. Мамай задерживал у себя его сына, Ивана. Ветер возвращался на круги своя!

После застолья с дружиной князья поднялись в верхнюю башню, куда тепло доходило снизу по нарочито устроенному русскими печными мастерами отдушнику. Круглая комната с каменными стенами, перекрытая тяжелым сводом, исключала всякое подслушивание. Слуги ушли. Они остались втроем.

Князья сидели за столом, на скамьях, застеленных звериными шкурами. Серебряные сосуды с водою и квасом, горсть заедок на блюде, к которым никто так и не притронулся за весь вечер, горы оружия в стоянцах вдоль стен. Истертый войлочный ковер покрывал пол из тесаных, грубо подогнанных плах. В башне стояла застойная, тяжкая тишина, звуки снизу сюда совсем не проникали. Комната, как подумал Михайло, легко могла бы стать и тюрьмой, захоти этого Ольгерд с Кейстутом.

Кейстут взял на себя тяжкое начало переговоров. Повестил, что и он, и Андрей Полоцкий готовы немедленно помочь тверичам, ежели на то будет Ольгердова воля. Михайло молча, упорно глядел в пламя свечи. Все это Ольгерд уже знал, ведал, наверняка обдумал не по единому разу.

— Вечный мир...— неохотно произнес Ольгерд.

— Князь! Ты сам ведаешь, мира нет! — заговорил Михайло, по-прежнему безотрывно глядя в огонь.— Тебе дали только перемирие, и оно кончилось. Гляди! Захвачен Новосиль! Мценск как был, так и остался в руках москвичей! Нынче разбит и прогнан рязанский князь и в Переяславле сидит угодный Москве Владимир Пронский. Ты потеряешь не только Козельск и Вязьму, ты скоро потеряешь все верховские княжества! А за ними последуют Смоленск, Брянск и Ржева, которую москвичи уже не раз отбивали у тебя. Новгород платит дань великому князю московскому. Сейчас там Владимир Андреич. Чего ты достиг? — Михай-

ло поднял замученный взор на Ольгерда и вопросил прямо: — Чего ты достиг, опасаясь меня?!

Ольгерд угрюмо опустил взгляд. Таких слов не говорят великому князю литовскому. Михайлу извиняет только лишь потеря великокняжеского ярлыка! Кейстут поспешил исправить сказанную грубость, но, не умея говорить долго, он только кратко перечислил, кого и когда сможет повести на помощь князю Михайле.

— Мамай задерживает Ивана? — помедлив, вопросил Ольгерд, и эти первые человеческие слова литовского князя лучше всяких иных речей разрядили сгущавшееся напряжение.

— Боюсь, по наущению москвичей! — глухо ответил Михаил, в свою очередь опуская взгляд, чтобы скрыть смятение взора.

— Не убьют? — задал Ольгерд второй человеческий вопрос. Михайло поглядел на него исподлобья. Глубокие тени у глаз на исхудалом лице князя казались пугающе черными.

— Я буду драться насмерть! — воскликнул он.— Но у меня не хватает воинов!

— Когда ты хочешь выступить? И когда сможешь? — сказал и тотчас поправился Ольгерд.

— Хочу до страды! Лишь бы согнало снега! — ответил Михаил.

Ольгерд туманно поглядел на брата.

— Мои воины готовы! — просто отмолвил Кейстут.— Андрея заберем в Полоцке. Но ты должен поддержать нас!

— Я смогу выступить только в начале лета! — задумчиво возразил Ольгерд, значительно поглядев на тверского князя. О своих планах он никогда не любил говорить заранее, и Михайло понял и оценил уступку шурина. Обещаньям Ольгерда, даже таким вот, сквозь зубы сказанным, как ни странно, можно было верить всегда. Литовский великий князь часто обманывал, но никогда не лгал. В этом было его величие, утерянное Ягайлой.

Ольгерд налил себе воды. После жаркого из вепря хотелось пить. Михайло с Кейстутом выпили терпкого, настоянного на лесных травах квасу. Бирута явилась как тень, неслышно отворив потаенную дверь, так что князья вздрогнули.

— Гостям пора спать! — вымолвила она по-литовски. Высокая, все еще необычайно, пугающе красивая,— правда теперь, в старости, уже более строгой, чем когда-

то, почти духовною, неотмирною красотой. В руке она держала серебряный шандал со свечою и, поскольку никто из председящих ей не возразил, произнесла по-русски, склоняя голову так, что на лицо ее легла тень и только неправдоподобные, сказочные глаза сверкнули в темноте, как два драгоценных яхонта: — Я провожу князя Михаила!

Михайло встал и поклонился Бируте. Все главное уже было сказано, о прочем они договорятся завтра. Он не чувствовал, спускаясь по ступеням вслед за княгинею, ни радости, ни облегчающей злобы, ни даже горя. Душа застыла в нем. Ведал только одно: предложи ему Мамай вновь татарскую помочь, он вновь отказался бы от нее. Литвины были свои, хотя и вороги. Приведи он ордынцев, и вся Тверь, не забывшая Шевкалова разоренья, дружно прокляла бы его.

Он проиграл, проиграл еще тогда, в шатре Мамаевом, не решаясь на то, на что Ольгерд решился бы не моргнувши глазом. Но уже не мог остановиться, не имел сил. И вот — начинал третью безнадежную войну с Москвою, третью литовщину.

— Почему ты не помог ему раньше, еще тогда? — вопросил Кейстут, когда братья остались одни.

— Тогда князь Михаил был великим князем владимирским! — значительно ответил Ольгерд, присовокупив, дабы избежать дальнейших вопросов: — Я тоже пойду спать, Кейстут!

И только ночью, оставшись один, отпустив постельничего и затушив свечу, Ольгерд, укладывая поудобнее на мягких шкурах свое большое тело, произнес вполголоса в темноту, ведая, что его не услышит никто из смертных, даже родной брат:

— Я не хочу помогать, Кейстут, никакому — слышишь ты? — никакому великому русскому князю! Я хочу, чтобы и Тверь и все земли Московии отошли к Литве! Я буду драться только за это, Кейстут! И пусть наши с тобою дети доделают то, чего не сумели доделать их отцы! — Он снова вспомнил странно темноглазого, по-кошачьи ласкового тоненького мальчика, и торопливо отогнал от себя подступившую тень сомнения. Пусть он живет и действует иначе, чем я, но пусть совершит главное — возвысит Литву!

В богов Ольгерд не верил. Он верил в земное свое продолжение и обманывался, как почти все любящие отцы.

ГЛАВА 49

Приказано было от князя идти верхами, имея с собой поводного коня. Онька шел один и на одной лошади. Недашевы на сей раз отправлялись двое (Фрол прихватил младшего братишку) на трех лошадях. Недостающих коней загоряна надеялись добыть дорогою.

Мужик не мужик, а, побывавши в двух походах, ежели не убит,— воин. Конечно, той посадки, что у молодых, у Онисима не было. Да и крепче чуял себя на ногах, чем в седле. Однако ноги — в стременах, добытых в прошлом походе, уже не охлюпкой сидит, как когда-то во младости, босыми пятками поддавая под брюхо коню. И справа ратная ладно приторочена к седлу. Волгу переходили еще по льду, боялись утопить коней — лед был хрупок, весь в промоинах и вот-вот готов двинуться ледоходом. В Твери долго плутали по городу, пока их определили в полк, дали место, и порядком оголодавшие мужики (свой запас берегли до последнего!) оказались у котла с горячею кашей. Фрол был в броне, и его взяли в кованую рать. Братишку Недашев утянул с собою, и Онисим остался один. Ночью в переполненной молодечной никак не спалось, взгрустнулось чтой-то. Долго выбирался из гущи спящих тел, долго стоял под звездами, следя легчающее небо над головою. В сорок шесть лет мужику надобно землю пахать, а не ратиться! Его чуть было и не оставили в городе, когда назавтра боярин стал оглядывать свое с бору по сосенке набранное воинство, да забедно показало Оньке — как так? Не увечный же он какой! Подал голос, оставили в полку. Ждали потом дня четыре. Ходили к вымолам, совались в лавки, с пустом в мошне приценялись к товарам. Ратники играли в тавлеи, в зернь, кто спал, кто чинил сбрую или заплетал лапоть. На четвертый день ковали коней. Вышли в поле, скакали по мокрому снегу кучей и россыпью, и Онька боялся только одного: не запалить бы коня! Ратникам выдали копья, кое-кому сабли. Бронями Михайло богат не был.

На пятый день, поварчивая (Христову Пасху справлять пришло в молодечной избе, ето не дело!), русичи встречали литовскую помочь. Там большинство кметей были тоже русичи, из Полоцка, из Белой Руси, так что и перемолвить между собой было мочно. Спрашивали: куда поведут? О том не ведал никто. Литовские кмети тоже были редко кто в бронях, но на конях сидели

хорошо, видно, что обыкли этому делу. Еще назавтра, из утра, причащались, позже поп обходил ратных с крестом. Онисим снял шапку, неуклюже поцеловал холодный крест.

Вечером этого дня накормили особенно сытно, кашею с мясом. Каждому раздали по круглому, только что испеченному хлебу, по две сушеных рыбины. Старшие проверяли справу, поочередно щупали каждое копыто: хорошо ли кованы кони? Князь показался ввечеру, проскакал мимо полка, зорко оглядев мужицкое ополчение. Онька, понимая дело, о своей дружбе с князем Михайлой и не заикался на сей раз.

Их подняли ночью, в сумерках, под зеленым передрассветным небом. Оседлали коней. По улицам спящей Твери молча, сплошным потоком, шла кованая конная рать. Редко взоржет конь, брякнет железо, и только дробный, все покрывающий топот копыт глухо прокатывает, отдаваясь эхом в межулках. Следом вывели ихний полк. И вот долгая верхоконная змея, заполняя всю улицу, устремилась к воротам. Позади слышались отдаленные стоны и удары, словно били по камню кузнечными молотами. Волга вскрывалась. По реке шел с гулом и грохотом, обдирая берега, верховой лед.

Онисим, как и многие, ждал, что их погонят берегом Волги, но полки извивающейся змеею уходили в леса, и к полудню стало понятно, что идут на Дмитров. По наведенным через лед мостам (реку загатили хворостом, сверху уложили двойной жердевой настил) миновали Шошу. Ночевали в поле, возле Клина. Горели костры. Нарубив и набросав лапнику, постелив попоны, ратники дремали у огня. Коней не расседлывали. Это была уже война, хотя и не в виду неприятеля.

Снег дотаивал в чащобах. Дорога, почти освобожденная от него — держались только наледеневшие следы полозьев,— казалась впереди полка нетронуто-чистой, словно завороженной лесовиком. Копыта то ударяли в твердое, то чавкали. Но назади конницы тянулись уже избитые, перемешанные с землею и льдом лужи, и задние ратники, ступая в это крошево, морщились от летевшей в лицо из-под кованых копыт грязи. Весенний лес полнился настойчивым шорохом и гудом: по всем лесным дорогам шла конница.

К Дмитрову подходили, огибая ощетиненные лесом холмы. Когда Онькин полк завидел бревенчатый тын и башни города, там уже шел бой, летели стрелы,

вспыхивало кое-где пламя и метались среди хором разоренного посада жители, которых ловили арканами тверские ратники. Зорить уже, почитай, и нечего было.

Дмитров сдался после отчаянного трехчасового сопротивления, и Онька въезжал в город, так и не обнаживши меча. Вослед прочим кинулся в торговые ряды, хватал, вырывая у других, какую-то зендянь, платки, пихал себе в торбу. Поимел доброе ужище, сапоги из крашеной кожи. В улице, куда выбрался вскоре, опасаясь за коня, стоял плач, вой, ор; по грязи вели боярина с завернутыми назади руками,с подбитою скулой; ратники древками копий выгоняли из домов посадских. Онька взгромоздился на коня, с трудом выбрался из толпы плачущих и матерящихся полоняников, начал было имать корову, что совалась, потеряв хозяина, но на корову кинулось сразу несколько ратных, и Онька отстал, махнувши рукой. Своего боярина Онисим нашел лишь к вечеру. Тот оглядел Оньку придирчивым взором:

— Поводной конь где? — вопросил.

— Нету. Думал из добычи взять! — степенно отмолвил Онька. Боярин пожевал губами, подумал:

— Там на двори выбирай, какой тебе поглянетси, а опосле поскачешь в Переслав!

Онька кивнул обрадованно. На дворе было целое стадо захваченных лошадей, и он растерялся вдруг. Но скоро крестьянская сметка взяла свое. Отодвинув ратника, что сторожил коней («Боярский указ, дак не замай!»), вывел широкогрудого невысокого конька, пощупал бабки, охлопал, огладил по морде. Конь недоверчиво нюхал Онькины руки. Онька достал краюху хлеба, угостил коня. Накинул узду, из сваленной прямо на земи кучи достал седло со стременами, попону. Скоро конь — свой! — шел за ним на аркане, и Онька, разом почуяв себя значительнее, потрусил туда, куда ему было указано прежде боярином. Там и тут подымался дым. Грабеж продолжался, но это уже мало интересовало Оньку.

Дружина, в которую назначили Онисима, выехала назавтра, в ночь. К Переяславлю ушли литовские полки Кейстута и Андрея Полоцкого и немного дней спустя того, как Михайло взял Дмитров, явились под стенами Горицкого монастыря.

Вески были разграблены дочиста. Конная рать обходила город, предавая раззору и огню пригороды. Посланный в Клещино Онисим видел, как свечами пылали церкви Никитского монастыря, как литвины гнали по-

лон — баб с детьми, повязанных арканами мужиков. Коров, овец кололи копьями, и их трупы лежали там и тут на раскисшей земле.

В Клещине-городке русичи остоялись. Ихний старшой долго ругался о чем-то с литвином, потом велел, еще не остыв от гнева, спешиваться и кормить коней. Онька, надумав тут исполнить давнюю свою мечту, выпросился у старшого и, покинув на ратных поводного коня с поклажею, выехал из разоренного города. Куда тут? Слева был заросший лесом овраг, впереди — поле. У какого-то шарахнувшего с испугу в кусты прохожего (видно, спасался от ратных) Онька выспросил, где находится Княжево. Тот, взяв в толк, что его не собираются брать в полон, обрадел и изъяснил толково. Онька поскакал. Деревня уцелела, и он подумал было, что литва сюда не добралась. Но у околицы с поваленными и втоптанными в грязь жердевыми воротами валялась заколотая корова, а в улице было пустынно. Жителей, видно, увели в полон. Уже проскакавши до конца деревни, заметил он старуху, что поспешила скрыться от него в овин. Подъехал, окликнул бабку. Та выползла, дрожа всем телом.

— Слышь, старая! Да ты не сумуй, не заберу тебя! Своя есь! Федор, Федор Михалкич!

Старая все не понимала, но наконец, видя, что и лицо у ратного не свирепое да и за ним никого, осмелела, подошла близ. Держась рукою за стремя, пришепетывая и взглядывая с опаскою, стала внимать.

— Федор Михалкич? Федор-то? Жил такой! Жил! Данщиком был у князя Ивана! Еще сын еговый наезжал... Да... лет сорок тому... Где ни та? Да их нету, нету! В Москву, вишь, перебрались! И терема того нету, ничего нету, родимой! Ты уж меня, старуху, не замай... Погост? Да, здеся, здесь похоронен!

Онисим подвел коня ко крыльцу, усадил старую позади себя. Она опасливо ухватилась ему за пояс. Видно, не очень верила, что не увезет в полон. Сельское буевище было в лесочке, в нескольких поприщах от села. Онька, торопясь вернуться, перевел коня в рысь. Когда доехали, бабка едва сползла с седла, ковыляя, стала искать могилу. Крест над ушедшею в землю, истлевшей колодою был весь покрыт мохом, и надписи невозможно было прочесть. Но старуха уверила, что это именно и есть могила Федора Михалкича.

Онька истово поклонил, осенив себя крестным знамением. Подумав, опустился на колени, поклонил земно.

Такими пустыми показались поход, ссоры князей, грабежи, даже даровой конь!

Когда воротились к ограде, где был привязан Онькин жеребец, он открыл седельную суму, достал, подумав, теплый шерстяной плат, подал старой:

— Носи! В память того Федора, значит... Деду моему (про себя застыдился сказать) еговый сын, значит, жизнь спас, при стой еще, Щелкановой, рати дело было...

Он еще раз перекрестился, всел в седло, подсадил, как ни отказывалась, старуху, довез до деревни.

— Ну, Господь тя спаси! — все повторяла та.— Хоть и тверич, а добрый человек!

— Люди, они вси добры,— рассудливо возразил Онька,— когды не ратятце...— не договорил, махнувши рукою. Сейчас, доведись, и все бы добро раздал княжевецким жителям, да где они!

Распростясь у околицы, поскакал, уже чуя, что запоздал свыше всякой меры, в Клещино.

Его ждали, все были верхами, и, кабы не хлеб за пазухою, Онька бы так и остался не евши в тот день. Старшой, отводя сердце, изругал и изматерил Онисима (у самого отлегло от души: думал уже — потерял ратника!). Онька, не отвечая и не оправдываясь, забрал поводного, и все поскакали к Переславлю, где уже догорали посады и у Юрьевских ворот выехавшие наружу московские воеводы толковали с литовскими боярами, предлагая им окуп с города.

Назавтра ополонившиеся литовские рати, получив отступное серебро, потянулись долгой змеею вдоль берега Клещина-озера к Семину. На устье волжской Нерли была назначена встреча с полками тверского князя, о чем и должен был повестить Кейстуту с Андреем Полоцким боярин Онькиной дружины.

Кейстута, высокого, хищно-худого, на рослом коне, с которым он был словно бы слит в одно целое конечеловечье существо, наподобие сказочного Китовраса, Онька увидал только издали. Литовская рать шла ровною стремительною рысью, и столпившиеся набранные из деревень тверские ратники с завистью смотрели на щегольскую посадку всадников и легкий, наступчивый ход литовских коней.

ГЛАВА 50

По Волге плыли, ныряя в волнах, белые льдины. Кони подступали к берегу, осторожно обмакивая копыта в ледяную воду и, фыркая, пятились назад. Скопившиеся рати (полки все прибывали и прибывали — и от Переяславля и от Дмитрова) заполонили весь берег. Уже стучали топоры, ратники рубили плоты. К челнам, забранным в Кснятине, привязывали вдоль бортов вязанки сухого хвороста. Михаил велел во что бы то ни стало переправляться через реку нынче же.

Онька, скинув зипун и засуча рукава рубахи, махал топором. Плоты срабатывали на совесть. В едакую пору искупаться что утонуть! По-татарски подделывали хворостяные подушки под возы, чтобы гнать их плывом на ту сторону. Всех полоняников поставили к делу — валить лес. Князь Михайло на тонконогом стремительном жеребце проскакивал по берегу, голодными острыми глазами измерял водный рубеж, громаду синей ледяной воды, за которой в перелесках и лугах притаился обреченный его неистовству Кашин. Наконец армада плотов, челнов, связок, колеблясь и крутясь в водоворотах, отплыла от берега. Плоты сносило течением, стукало друг о друга. Кого-то опружило, несколько человек утонуло, свалившись в воду, но все-таки рать перебралась и даже перетащила полон. Мокрые, взъерошенные кони и люди выбирались на берег, отфыркиваясь, со страхом оглядываясь назад, где еще боролись со стихией останние плоты и челны, проносимые стремительным течением мимо спасительного берега, а льдины, крутясь и шипя, ударялись в них, мешая пристать.

Онька чуть не потерял второго коня, но напряг все силы, выволок с помощью мужиков оступившуюся животину на плот, а когда приставали, первый, с концом в руках, прыгнул в воду и добрел-таки, успев зачалить плот за въевшуюся в песок огромную корягу. После долго, стуча зубами, отогревался у разложенного костра, сушил порты и онучи.

Михайло стоял на коне на взлобке берега, удовленно, взирая на могучую реку. Кейстут с Андреем Ольгердовичем, подъехав, остановились рядом.

— Скольких потеряли? — вопросил Михайло, оглядывая худое морщинистое лицо Кейстута со вздутою жилою на лбу.

— Троих! — отмолвил тот, пояснив: — Троих кметей да еще полоняников десятка четыре. Перевернуло плот!

Михайло кивнул головой. В прежние годы его ужаснули бы эти четыре десятка ни в чем не виновных русичей, погибших едва ли не по его вине. Старший сын Ольгердов задумчиво и внимательно разглядывал реку с последними, от отчаянья похрабревшими русичами, что, отпихивая льдины, все приближались и приближались, проносимые стремительным течением воды.

— Татары так переплывают реки? — вопросил Андрей.

— Да. Только у них камыш. Он еще легче! И сами татары раздеваются и плывут. Конечно, не по такой воде! А кони плывут тоже, повозки привязывают за хвосты и тянут вплавь.

Андрей кивнул. Он слышал, но не видал еще подобных переправ, тем паче — в весеннюю пору, во время ледохода!

Блестели секиры. Ратники яростно разрушали плоты, выкладывая и поджигая огромные костры, дабы просушить одежду и сбрую.

— Снедного припаса осталось на один день! — сказал Кейстут.

— Успеем! — ответил Михаил.— Теперь успеем... В Кашине добудем себе корм! — Он оглянул берег весенними, поголубевшими яростными глазами, тронул коня. Кейстут с Андреем послушно поскакали сзади.

Положив между собою и возможной московской погонею Волгу, Михайло всеми соединенными силами подступил к Кашину. Михаил Васильич Кашинский уже не рад был, что, поддавшиеь уговорам, задался за москвичей. Торопясь избавить волость от раззору и грабежа, он сам выехал из города навстречу Михайле и приказал везти корм литовско-тверскому войску: овес и сено, хлеб, рыбу, мясо, масло, сыры и прочую снедь ратникам. Заплатил тяжкую дань серебром и вновь задался в волю Михаила Тверского, порвав московскую грамоту.

Воеводы сидели в палате разграбленных загородных хором какого-то кашинского боярина. Пир был невесел. Кашинский князь молил в душе о скорейшем миновении напасти. Каждый лишний час прибавлял раззору округе. Впрочем, назавтра литовские рати должны были уходить. Кейстут с Андреем и друтский князь прики-

дывали, успеют ли воротить домовь к пахоте да не обезножели бы дорогою кони. Михайло понимал, что все это только начало, что от победы над Москвою он далек по-прежнему и стало даже хуже. Города не хотели задаваться за него ни тогда, когда ярлык был у него в руках, ни теперь, когда он вновь перешел к Дмитрию. Бояре, кто с нетерпением, кто с ужасом, поглядывали на своих князей. На улице гомонила почти уже неуправляемая, жадная до грабежа вольница.

Уходила литва двумя путями. Кейстут от Кашина двинулся на Новоторжскую волость. Андрей Полоцкий шел мимо Твери. Дорогою литвины пакостили, грабили деревни, уводили скот и полон.

Онисим, воротясь домой, узнал, что проходящая литва разорила Загорье. В ихнюю деревню союзники, к счастью, не добрались. Он всю дорогу страшился раззору, пока увидал непорушенные кровли и своих на дворе. Тогда отлегло от сердца. Опустив поводья, Онисим шагом подъезжал к дому. Вот Федя выбежал встречу, девки высыпали на крыльцо. Вышла, всплеснувши руками, Таньша. Он тяжело слез, кинул поводья сыну, примолвил: «Поводи!» Сказал, обнимая уткнувшуюся ему в грудь супружницу:

— Ну, здравствуй, мать!

ГЛАВА 51

У Мефодия, Сергиева ученика, что поселился на Песноше, невдали от Дмитрова, на Фоминой неделе тверские ратные сожгли монастырь. Жечь там, собственно, как и грабить, было нечего. Крохотная часовенка, которую, в подражание учителю, Мефодий срубил сам, да келья с деревенскую баню величиной — вот и все хоромное строение. Правда, осенью к Мефодию подселились два брата-инока и срубили себе вторую келью, более просторную, разделенную на две половины: поварню, с черною глинобитною печью, и молельню, холодную, зато чистую горницу, где братья поместили принесенную с собою икону святителя Николая новгородского письма и крохотный, в ладонь, образ Богоматери.

«Что там было жечь и зачем? — думал Сергий, вышагивая по мягкой от весенней влаги дороге.— Не наозоровал ли местный боярин в страхе за свои

угодья, чая свалить пакость на тверичей?» Он устремился в путь, по обычаю никому и ничего не сказав, только захватив с собою мешочек сухарей, несколько сушеных рыбин и хорошо наточенный плотницкий топор. Мефодию следовало помочь. Будут и еще разорения и поджоги, но днесь, сейчас,— Сергий чувствовал это душою,— Мефодий был в обстоянии и нуждался в дружеском одобрении учителя.

Всюду пахали. Светило солнце, орали грачи, и худые, измученные голодною зимой мужики почти бегом, погоняя таких же худых, спавших с тела лошадей, рыхлили землю. На него взглядывали бегло, без любопытства. Бродячий монах, да еще в лаптях и с топором за поясом, был такою же привычной картиною, как и погорельцы, согнанные со своих мест войной и бредущие с детьми и голодными собаками в поисках хлеба. У иного из мужиков на насупленном лице так и было написано в ответ на незаданную еще просьбу о милостыне ответить угрюмо: «Бог подаст!» Но Сергий милостыни не просил и не останавливал разгонистого дорожного хода. За спиною у него болтались на веревочке сменные лапти, вода была во всех ручьях, и он, присевши на удобную корягу, сосал сухарь, запивая понемногу студеной водой, иногда грыз сухой рыбий хвост, подымался и шествовал дальше.

Один лишь раз, завидя, как пахарь, осатанев, бьет по морде ни в чем не повинную животину, запутавшуюся в упряжи, подошел, молча и властно отстранил мужика (тот поднял было кнут стегануть монаха, но поперхнулся, увидя взгляд Сергия,и, невольно крестясь, отступил посторонь). Сергий успокоил и распутал брыкавшуюся лошадь, поднял ее на ноги, живо разобрался со сбруей, и пока кляча, дрожа всею кожей и расставя трясущиеся ноги, шумно дышала, отходя от давешнего ужаса, он связал порванную шлею хорошим двойным узлом, передвинул погоднее ременные петли на обрудях и, утвердив рогатую соху в борозде, строго и спокойно сказал мужику:

— Никогда не бей того, кто тебя кормит!

Он умело прошел один загон, что-то пошептав лошади такое, что она, тотчас и радостно вильнув хвостом, пошла, натужно и старательно упираясь копытами в еще вязкую землю, красиво повернул, обтерев о землю прилипшую к сошнику грязь, и, вновь приблизив к пахарю, вручил тому рукоять сохи, примолвив:

— И к труду всегда приступай с молитвою, внял?!

Пахарь совсем оробел и, неуверенно принимая из рук Сергия отполированный мужицкими мозолями рогач, поклонил, косноязычно выговаривая отвычными от иных, кроме ругани, слов устами что-то вроде: «Спаси тя Господин Христос»,— перепутав с молитвою господское, боярское обращение. Сергий уже выбирался с поля. Не взглянувши назад, он обтер лапти о сухую прошлогоднюю траву, принял посох, воткнутый им в землю на краю поля, и так же неспешно, но споро устремил далее. Мужик, прокашлявшись, отверз было мохнатые уста, чтобы изречь матюк, но поперхнулся, вымолвив вместо того непривычное для себя: «Ну, ты! Со Христом Богом!» И конь пошел, пошел, на диво старательно и ровно, не выдергивая больше сошников из борозды.

Где-то уже близ Дмитрова (тут беженцы текли по всем дорогам, кто уходя на Москву, кто возвращаясь к разоренным пенатам) Сергий заметил шевеление в кустах и услышал натужные стоны. Навстречу ему выбежал мальчик в огромной шапке, валящейся ему на глаза:

— Дедушко, дедушко! Помоги! Мамка телится!

Сергий, не улыбнувшись, зашел за кусты, сбросил мешок с плеч. Быстро и споро устроив все потребное — у бабы уже отошли воды и начинала показываться головка,— он положил роженицу погоднее, завернув подол, молча, не морщась, принял дитятю, обтер ветошкой (мальчонка, опомнившись, помогал довольно толково), дождал, пока выйдет послед, обмыл бабу, перевязал пуповину и тут же (у него с собою всегда была крохотная посудинка с миром) помазал и окрестил младенца — во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Вымытый и завернутый малыш перестал орать и только помавал головенкою, ища сосок. Опроставшаяся баба, застенчиво взглядывая на старца, расстегнула рубаху и сунула малышу набухшую коричневую грудь.

Сергий кончил мыть руки и платье. Строго, дабы не смущать бабу, расспросил ее (хозяина и старшую дочерь у нее свели литвины), дав отдохнуть, проводил роженицу с сынами до ближайшей деревни, устроил на ночлег, а потом велел добираться до владычной Селецкой волости, где находился странноприимный дом и можно было перебыть первые, самые трудные месяцы, нанявшись хотя бы в портомойницы, ежели ее мужика к

той поре не воротят из Литвы по перемирной грамоте.

Уже распростясь, уже вновь выйдя на дорогу, он вдруг улыбнулся сам себе, помыслив, что ныне совершил для безвестной бабы то, чего, как высочайшей награды, добиваются от него видные бояре московские и даже сам князь, и что малыш сей вряд ли когда узнает, что его восприемником был знаменитый радонежский игумен.

Пахло весной, мокрой хвоей. Повсюду густо лезли из земли подснежники, и солнце, снизившись, почти цепляя за игольчатые вершины дальнего леса, золотило ему лицо.

Речка, раздувшаяся по весне, весело урчала, ворочая коряги и колодины. Прибрежные кусты стояли по колено в воде. Сергий долго искал переправу. Наконец, ловко пройдя по поваленному дереву и замочив лишь лапти, выбрался на тот берег.

Пустыньки не было. На месте часовни и келий валялись головни да высило несколько обугленных, сваленных друг на друга бревен. Он осмотрелся по сторонам, вынул топор, постучал обухом по дереву, будя лесное дремучее эхо, втянув носом, пошел на запах дыма.

Братья-иноки, завидя Сергия, встали и растерянно поклонили ему, не ведая, кто перед ними, но по незаметным для невегласа приметам угадав, что путник — не простой мних, но муж в высоком сане. А когда Сергий, не называя себя, вопросил о Мефодии, почти уже и догадали, с кем говорят.

Часовня для спасенных икон была устроена братьями в дупле дерева. Для себя они соорудили шалаш из лапника и хвороста, куда забираться надо было ползком. Хлеба у братьев не было, питались толченою корой, кислицей и прошлогоднею клюквой, а Мефодий, сообщили они, ушел в Москву за подаянием. Сергий дал братьям по сухарю и одну рыбину на двоих, сам отведал сладкой прошлогодней клюквы и, сотворив молитву, залез вместе с братьями в шалаш. С утра принялись за работу.

У братьев нашелся еще один топор и большой нож-косарь. Сваленные дерева шкурили косарем, ворочали вагами. Сергий работал не тратя лишних слов и остановил помолиться и пожевать хлеба только в полдень. Оба брата были толковые, дельные мужики.

Сергий после дня работы с ними молча одобрил выбор Мефодия. Келью рубили в укромности и ближе к воде, как указал Сергий. Часовню, как он же объяснил братьям, надобно было поставить подалее, бережась от огня. В первый день повалили сорок дерев и устроили катки. К тому часу, когда воротился Мефодий, притащивший с собою два мешка аржаных сухарей, несколько сыров, мешок сушеной рыбы и горсти четыре изюму — почти насильный дар кого-то из сурожских гостей (ему дали коня и провожатого довезти даренья до места), келья стояла доведенная почти до потеряй-угла, ладно и красовито срубленная, опрятно промшенная, хоть и из сырого лесу, а Сергий вырубал курицы и переводы для будущей кровли.

Они троекратно расцеловались с Мефодием. Снедное пришлось-таки кстати, сухари и рыба у них давно уже кончились, а собирать клюкву на дальнем болоте было недосуг. Серебро же Сергий велел убрать в кожаный кошель и больше не разговаривал о том, пока не окончили келью и не одели охлупень на крышу. Вчетвером — это было как раз необходимое число тружающих для всякой плотницкой работы — дело пошло много резвее. Поставивши келью, заложили основание для новой часовни, и тут Сергий, постигнув, что работа теперь будет доведена до конца, повестил Мефодию, что уходит и надеется, что тот ныне успешно довершит устроение обители.

— А серебро, брате, отдай тому, кому оно нужнее! — сказал он на прощанье Мефодию.— В годину бедствий инок сам должен помогать тружающим!

Мефодий только тут понял вполне урок Сергия и, стыдясь, опустил голову.

— Каждый из нас слаб, ежели одинок! — задумчиво изронил Сергий.— Пото и надобен общежительный устав!

Мефодий не спросил, почто тогда учитель, начиная свой подвиг, долгое время жил в лесу в одиночестве и водил дружбу с медведем. Это было искусом, испытанием, долженствующим отделить зерно от половы. Инок обязан жить в стороне от мирской суеты, но не в стороне от мира. Впрочем, о войне, о заботах боярских и княжеских они не заговаривали вовсе. Сергий как-то умел всегда отодвигать суетное от вечного, и в его присутствии многое вроде бы важное оказывалось неважным совсем.

ГЛАВА 52

Почему любовь столь часто обращается в ненависть?

Почему с такой роковой неизбежностью повторяются в поколениях судьбы людей: с дочерью происходит то же, что с матерью, с сыном — то же, что с отцом или дедом? Дети, особенно внуки, наследуют характеры предков, но ведь не события?! И почему тот же странный закон сказывается на судьбе государств?

Почему Новгород в споре Михайлы Тверского с Дмитрием выступил против Твери?

Сейчас, когда читаешь взволнованный, словно бы кровью сердца написанный шесть столетий тому назад рассказ о торжокской трагедии, все равно непонятно, как такое могло произойти?

Да, конечно, Москва сумела показаться мужам новогородским более безопасным и покладистым сюзереном (но она же его и уничтожила столетье спустя!). Да, конечно, союз тверского князя с Ольгердом мог и должен был насторожить новогородцев, не чающих добра от великого князя литовского, погромом Шелони показавшего Новгороду, чего от него возможно ожидать. Да, конечно, и угроза католической экспансии привязывала Новгород к Владимирской митрополии, и тут, конечно, сказалась дальновидная политика владыки Алексия. Да, разумеется, сработали и торговые интересы Господина Великого Новгорода, которым потеря Торжка грозила всяческим ущемлением и раззором, ибо сам собою перекрывался путь на Волгу, на Низ, в богатые восточные и греческие города, перекрывался тот постоянный серебряный ручей, который поил и поил северную вечевую республику, создавая резное и белокаменное чудо на Волхове, в бедном лесном и суровом краю, где только торговля, размахнувшаяся на полмира, и могла породить ту сказочную красоту, скупые остатки которой и ныне, шесть столетий спустя, поражают воображение вдумчивого путешественника...

Михаил Святой споткнулся на Новгороде, вернее на споре из-за Торжка, под которым он наголову разбил отборное новогородское войско во главе с лучшими «вятшими» мужами Господина Великого Новагорода, так и не простившими тверскому герою этого разгрома, как и взятого тверичами на щит Торжка.

Михайло Александрович совершил то же самое и — с теми же последствиями. В грозный час осады Твери

новгородская рать явилась, не умедлив, под стены города, «отмщая обиду новогородскую».

Откуда оно вообще бралось, клятое новогородское весовое серебро?

Новгород много строил и покупал много. Сукна, бархаты, оружие, датская сельдь, голландское полотно являлись в новгородском торгу не от случая к случаю, а как постоянные статьи ввоза. Для того чтобы получать еще и серебро, вывоз Господина Великого Новагорода должен был намного превышать ввоз. Вывозил Новгород и полотно, и посуду, и ковань, и железный товар (замки новгородской работы славились на европейских рынках), но главными статьями вывоза все-таки являлось сырье: воск, сало морского зверя (ворвань, тюлений жир) и меха.

Государство, вывозящее сырье, разоряется. Это истина хоть и горькая, но святая. Разорение при этом происходит двоякое. Во-первых, исчезает, истощается само сырье; во-вторых, падает уровень мастерства граждан, ибо заготовка сырья обычно требует минимальных навыков, а зажиточность государств впрямую зависит от уровня квалификации труженика. По той же причине богатеет государство, ввозящее сырье. Оно не теряет национального добра, а за счет обработки и переработки ввозимого сырья рабочие навыки ее граждан непрерывно повышаются.

Почему же не разорялся, а рос и хорошел Новгород? Во-первых, потому, что имел свое крепкое ремесло. По уровню мастерства новгородские ремесленники долгое время превосходили всех прочих русичей. Во-вторых, потому, что он продавал товар, дорогой сам по себе: стоимость шитья меховой одежды смехотворна по сравнению со стоимостью мехов, так же как и изготовление свечей не намного повышало стоимость новогородского воска. (Русские воск и сало обеспечивали в ту пору главным образом нужду западноевропейских городов в освещении.) А убыль пушного зверя новгородцы до поры восполняли, захватывая все новые и новые пространства русского Севера. И тек ручей из серебра, в условиях XIV столетия, в условиях постоянной выплаты ордынской дани означавший не просто богатство — власть.

Излишне объяснять, почему князь Михайло бросил свои рати под Торжок. Он попросту не мог поступить иначе. Серебряный новогородский ручей надо было

попытаться направить в тверскую казну. Отвоевывая у Дмитрия территорию великого княжения владимирского, Михайло рано или поздно должен был, скажем даже так: обязан был наложить руку на Новгород.

Лунный свет льется в отверстые окошка с выставленными прохлады ради оконницами. Лунный колдовской свет льется, играя по камням, опадая струями, водопадом тяжелых капель с тонким неслышимым звоном — то ли рыбья, сверкающая опалами чешуя, то ли жидкая, в берега налитая лунная влага далекого Белого моря... Капли, сверкая в лучах луны, падают, плющась о камень, отлетают в стороны уже почти затвердевшими лунными кругляками иноземных кораблеников, беззвучно рушатся грудами новогородских серебряных гривен. Лунный свет играет на полу богатой изложни, на ширазском ковре, и прихотливые красные узоры кажутся черными, точно застывшая кровь в зеленом свете луны. Мальчики, княжичи, спят все трое. Спит в далекой Орде старший, Иван, недавно приславший весточку: несколько нацарапанных на куске бересты строк. Спит князь, спит Евдокия, счастливая, несмотря ни на что. Так редко теперь видит она ладу своего, Михаила, в супружеской постели! Он спит, запрокинув голову, складка, прорезавшая лоб, не разгладилась и во сне. Он спит, и в сумраке полураздвинутого полога его лицо с запавшими щеками, с этими новыми залысинами надо лбом, лицо, разучившееся улыбаться, кажется мертвенно-строгим, пугающим, словно это и не он вовсе, а его великий дед, Михайло Святой, спит на княжеском ложе, бессильно уронив тяжелые руки, спит и стонет во сне. Бежит по камням серебряный лунный ручей, застывая гривнами серебра. Плывут лодьи, везут дорогие меха сибирских соболей и куниц, седых бобров, связки-сороковки беличьих шкурок — «мягкую рухлядь». Везут из-за Камня какие-то старинные чаши и блюда с выбитыми на них изображениями чудовищ и древних персидских царей, убивающих стрелами львов и газелей,— «закамское серебро». Везут в лодьях воск, отлитый в большие круги, схожие с иноземными желтыми твердыми сырами. Охочие молодцы пробираются реками, волокут по бревнам сырые, неподъемные насады и струги. Чьи-то жадные твердые пальцы мнут и щупают мех, ковыряют, пробуют на зуб воск, и снова льется и льется серебряный тяжелый ручей, над которым когда-то ворожил старый

московский колдун Иван Калита, властью вымучивая серебро и окупая тем серебром ярлыки на чужие княжества.

Михайло стонет во сне. В споре о вышней власти в земле Владимирской он должен, обязан — и в этом его рок и судьба и настойчивая воля всей тверской земли: думных бояр, нарочитой чади, купцов и даже смердов — наложить руку на Новгород. Он до сих пор избегал этого. Бессознательно для себя щадил город своего детства, город покойного Василия Калики, пока нынче сами же новогородцы не похватали его, Михайловых, бояр, объявив князю войну не на жизнь, а на смерть. И, как всегда, как было еще при дедушке Михаиле Святом, роковой спор вспыхнул из-за Торжка.

Новгород никогда не спешил делиться доходами с великим князем владимирским. Черный бор (поземельную дань с волостей) давал только после ощутимых военных разгромов. Серебро, приносимое походами охочих молодцов и торговлей, Новгород предпочитал тратить на себя, одеваясь в иноземные сукна и бархаты и возводя белокаменные храмы. Не спешила делиться доходами с митрополией и церковь новогородская. А за Торжок — передовой торговый пост Великого Новагорода, откуда шел по Тверце и Волге прямой, уже без сухопутных переволоков путь на нижнюю Волгу, в море Хвалынское, в легендарные земли Востока,— за Торжок у Новгорода все четыре столетия его самостоятельности шла с низовскими князьями почти непрерывная ратная пря. И сколько раз в этих сшибках сгорал многострадальный город, и сколько раз отстраивался вновь!

Под Торжок бросили новогородцы в споре с Михаилом Святым лучшие свои силы. Трагедия (ветер возвращался на круги своя!) должна была повториться при внуке героя, и в этом была роковая неизбежность, возвращавшаяся в поколениях вновь и вновь. Чтобы одолеть в споре о столе владимирском, надо было подчинить Новгород, то есть, прежде всего, захватить Торжок. Но Новгород не хотел подчинения. А Торжок стоял, словно бы в насмешку, под самою Тверью, что делало новогородцев всегдашними врагами тверичей и великого князя тверского, почему и приглашали они к себе на стол князей черниговских, смоленских, нижегородских, московских, но никогда тверских.

Михаил спит. Он видит сейчас омытый весеннею

влагой, сияющий Новгород, город, улицы которого замощены деревом, и нарочитые горожане в цветной узорной обуви, не марая сапог, ходят пешком, толкаясь, как равные, в гордой толпе ремесленников-горожан. Сейчас на Ильиной старый медведь, Василий Данилыч Машков, не пораз хаживавший и на Печору, и на Югру, за Камень, сидевший в нятьи московском во граде Переяславле, строит, помыслив о душе и надумавши послужить Господу, храм Спаса — лучший, как окажется, спустя века, в отдалении лет, лучший по гармонической соразмерности и по чистоте стиля новогородский храм, расписанный вскоре одним из величайших художников древности, Феофаном Греком, дивно изобразившим в палате храма ветхозаветную «Троицу», навеянную Машкову давними, в Переяславле, речами троицкого игумена Сергия Радонежского.

Феофан еще только собирается на Русь. Сергий ныне, навряд воспоминая новогородского боярина, рубит келью взамен сгоревшей своему ученику Мефодию под Дмитровом. Еще не выстроен храм Спаса, еще не написана «Троица», еще инок Андрей Рублев не встретился с греком Феофаном и не создал своей божественной, уже не ветхозаветной, а православной, навеянной тем же Сергием иконы, ныне известной всему миру. Так переплетаются судьбы и деяния людские с путями художества, запечатлевающего то, что важнее сражений и побед — духовное восхождение человечества.

Князь спит. Он не видит во сне ни созданного храма, ни иконы, написанной много спустя. Но он ведает — не смыслом, не памятью, а высшим прозрением души,— что залитый лучами весеннего солнца город, который будет он тщетно стараться подчинить себе (а когда, столетье спустя, московские государи сумеют его подчинить, город умрет, оставив векам лишь несколько случайно сохраненных блесток своей драгоценной чешуи, овеществленного серебряного потока, сгустка усилий и воль, воплотившегося в строгом камне соборов и властной живописи новогородских икон), что город этот должен подарить миру великое, и его, Михайлы Тверского, усилия ныне направлены будут противу того, что должно, что не может не произойти. Князь чует это, хотя ничего не может и не должен изменить в сроках судьбы, ведает, прозревает и мучительно стонет во сне.

Он просыпается, лежит с отверстыми очами, пугая Евдокию недвижностью слепого взгляда, обращенного в ничто. Поход был сегодня днем решен думою. Он не отменит соборного решения тверичей. Его сын, его надежда и кровь, может статься, будет убит в Орде по наущению московитов в отместье за этот поход. И тогда он себе не простит, и уже никогда не простит владыке Алексию.

...Лунное серебро черной тенью лежит на ковре. Дети спят. Трое отроков, коим он должен оставить землю и власть, а не тень власти, даже ежели они убьют его старшего мальчика... Как давно ты был, юный, сияющий Новгород! В каких неведомых, небывалых веках они с Симеоном Гордым пели «Достойно» и Симеон хотел, как сына, погладить его по голове? Где это на Ильиной старик Данилыч с Иваном возводят нынче белокаменный храм Спаса? Здесь ли, у Торга, на горке, или там, подалее, где хоромы самого боярина Машкова? Напишут икону, поди, где вверху будет изображен Спаситель с предстоящими, а внизу — все семейство Машковых, старейшие и молодшие, мужи и жены, с лицами, обращенными горé, с молитвенно сложенными руками... И поместят в храме... И это все, что останет от битв и мятежей, от походов в Югру и за Камень, от пиров и празднеств, братчиных сходбищ плотничан, от любви и нелюбия, от буйной младости и суровой скопидомной старости, ото всего яркого и яростного, что стремительно изгибает в веках, ото всего, что называется жизнью!

Ладонь Евдокии робко тянется к его лицу, трогает словно бы ненароком щеку. Нет, князь не плачет. Наверно, думает! Она боится спросить, потревожить и только робко, легко проводит пальцами по милому, такому суровому нынче лицу любимого.

ГЛАВА 53

Что значит: «решает земля»? Далеко не всегда возможно разуметь под сим бурные вечевые сходбища, ополчения горожан, толпы смердов, вооруженных самодельными рогатинами и топорами. Решение земли может быть незримым во внешних проявлениях своих, и все равно это будет решение, приговор, оспорить который часто не

по зубам полкам дворянской конницы в бронях и под водительством опытных воевод.

Весною, когда литовские рати изгоном подошли к Переяславлю, под другим Переяславлем, Рязанским, появились наспех собранные немногочисленные конные дружины. Кто первый высказал, откуда пронеслось, что это — князь Олег, неведомо. В городе уже били набат. Прончане бежали к стенам, на ходу обнажая оружие, но улицу уже заполонила, сметая ратных, ликующая толпа горожан. Бегущему к воротам ратнику кто-то из посадских подставляет подножку, у другого осатаневшие бабы, порвав на нем сряду и расцарапав лицо, вырывают из рук копье. Уже смерды рвутся к городским воротам и старшой пронской дружины, вздумавший было обнажить саблю, пал в грязь, получивши ослопом по скуле, и был затоптан в короткой яростной сшибке весело озверевшими посадскими, после чего створы ворот размахнулись с натужным скрипом и Ольговы ратники под дружный восторженный ор толпы, хищно пригибаясь к седлам, в опор ворвались в город, устремляясь к детинцу, около которого, на мосту, уже кипит свалка, льется кровь и сам Владимир Пронский, дважды раненный, отмахивается саблею от направленных на него рогатин и дреколья, отступая под натиском горожан, меж тем как его дружинники выводят из терема княгиню и волочат, тороча к седлам, укладки с казной. Потеряв четверть ратников и почти все захваченное у Олега добро, князь Владимир с соромом убрался из города и уже из Пронска, проскакав, залитый кровью, шестьдесят верст, слал покаянно к Олегу, винясь, называя себя по-прежнему младшим братом и прося о мире.

Замог ли бы тот же Олег, скажем, повести своих стремительных конников ну не на Москву, а на Коломну хотя? Или на Владимиров Пронск? И не повел, а и поведя, не добился бы легкой победы, ибо мненье земли в этом случае было бы иным и сопротивление — упорным и долгим.

Земля, народ решает даже тогда, когда он нем и вроде бы позволяет совершать над собою всяческое насилие.

Народ не всегда решает однозначно? И далеко не всегда «едиными усты»? Да! Разумеется! Иначе не было бы и гражданских смут, а войны свелись к защите рубежей страны от захватчиков.

Михаил Александрович Тверской опоздал на полстолетия. Земля, трудно поворачивавшаяся к Москве, земля,

для которой Михайло Святой и ныне был героем-мучеником, не хотела теперь, уже не хотела тверской власти. Великокняжеские города не открывали ворот Михаилу, их приходилось завоевывать с бою, и тверские наместники в них сидели как на раскаленных угольях, ожидая каждый час нятья и мятежа.

В Петрово говенье новгородская конная рать явилась в Торжок. Боя не было. Тверской наместник был схвачен и выслан из города. Тверских бояр били, выволакивая из теремов. На вымолах толпа грабила тверские торговые лодьи. И все это — и всполошный перезвон колоколов, и пестрая мятущаяся толпа горожан в улицах, и вече на площади, и Александр Обакумович, герой ушкуйных походов, картинно, в черевчатом корзне с золотою запоною на плече, в шитых жемчугом цветных сапогах, яростно бросающий в толпу с возвышения гордые слова о воле и «праве во князьях» новогородской вечевой республики, и веселые конные удальцы Господина Великого Новагорода, недавно бравшие на щит Булгар и Нижний, и кипящий у вымолов торг, и грабеж, и клики — все под ярким весенним солнцем, вспыхивающим на алых нарядах горожанок, лезвиях рогатин и начищенном оружии дружин, все под вольным, пахнущим хвоей и влагою ветром, в головокружительном упоении удали, удачи и дерзости.

Тут тоже решала земля, и тверской летописец недаром со скорбью записывал позднее в харатьях, что «люди из городов так и не почали передаватися ко князю к великому к Михаилу», несмотря ни на что: ни на ярлык Мамаев, ни на тяжкую дань, наложенную воротившимся из Орды Дмитрием...

Но у новогородских бояр был свой счет и своя прехитрая политика: каждый раз, в любой низовской замятне, поддерживать того князя, который не осильнел и, следовательно, не позарится на новогородские права и вольности.

Ведали или нет многомудрые мужи Великого Новагорода, что нынче обманули сами себя, что Москва, а не Тверь покончит через столетье с самим их существованием, и что переиначить историю, покончить с Москвою, сменить великого князя московского могут они только теперь, и это их единственный и последний након, иного не будет, ибо после Куликова поля никто уже не посмеет да и не захочет спорить с Москвой? Быть может, и ведали! Ну, а осильней Тверь, не свершила бы разве того

же, что и Москва? Сама жизнь Руси требовала единства власти, то есть в условиях четырнадцатого столетия — монархии. И митрополит Алексий угадал правильно. Монархия же была невозможна без подчинения Новгорода, как и других областных городов, без единой и все подавляющей власти. Так в неизбежных надобностях эпохи подъема были заложены зерна трагических событий позднейших веков.

В истории, как и в жизни, неможно отделить зло от добра. И единственное, что остается нам, что оставляет жизнь и требуют воля и совесть христианина,— постоянно усиливаться и ежечасно побеждать зло добром, ведая, что борьба эта и есть истинная жизнь Духа в его земном бытии и что она — бесконечна, вернее, бесконечно человечество, пока и доколе оно борется со злом, в чем бы оно ни проявлялось: в насилии, во лжи или в преступном уничтожении среды нашего обитания — все равно! Человек жив, доколе борется и ежечасно одолевает зло.

ГЛАВА 54

Тверская рать князя Михайлы явилась под Торжок на третий день. Еще не улегся хмель удачи, еще не утихли восторги новогородского мятежа, а ряды тверской конной кованой рати и посаженного на коней крестьянского ополчения уже оступили город.

Был понедельник, день памяти святого мученика Еремея, пол-обеда. Веселый ветер трепал и развеивал стяги дружин. Мужики, слезая с коней, становились плотною пешею ратью, уставя перед собою рогатины. Вдали строились, посверкивая оружием, новогородские конные вои. Бояре в алых, червчатых, рудо-желтых, пурпурных и золотых корзнах выезжали наперед. Сплошным потоком выливалась из ворот севшая на коней городская новоторжская рать.

Вестоноши, под оглушительный писк дудок, помчались в сторону выстроившегося немецким клином новогородского войска. Михаил в последний раз предлагал новогородцам мир, требуя воротить награбленный товар, выдать зачинщиков мятежа и принять обратно тверского наместника. «А яз у вас не хочю ничего»,— прибавлял князь, заранее отказываясь от полагающегося условиями войны окупа с города и обещая ждать новогородского решения до полудня.

Посланцы вернулись вскоре вместе с новогородскими боярами, Усом и Глазачом, и Яков Ус, смело подъехав ко князю и усмехаясь ему в глаза, повестил, что Новгород требует мира «на всей воле новогородской», а наместника князя тверского не хочет, и братью свою не выдаст. Что же касается угроз, то еще прадеды их говорили князю владимирскому в толикой трудноте: «Паки ли твой меч, а наши головы?»

Михайло глядел, не отводя взора, в гордое, чуть заносчивое лицо новогородца. Вскипевшего было боярина Захарью удержал мановением руки. Он не испытывал зла к гордецу, замыслившему раздразнить его, князя, он не гневал, он даже любил их, новогородских удальцов, и ведал, что победит. Склоненьем шелома он отпустил новгородцев, и те, вздыбив и заворотя лошадей, вихрем понеслись назад. Развевались, жарко пылая на солнце, их багряные корзна, сверкали отделанные серебром шеломы.

Он шагом проехал вдоль строя пешцев, внимательно вглядываясь в лица. Призванные уже не впервой мужики были ныне, почитай, опытные воины и от натиска конной рати не побегут. Ему показалось, что в одном из ратных он узнал Онисима, но задерживаться было немочно. Конный таран новогородцев уже пошел в суступ. Михаил положил руку на рукоять дорогой сабли. «С Богом!» — сказал и, рысью проминовав последних пешцев, въехал в строй своего запасного полка.

Тверские ратники заднего ряда клали рогатины на плечи передним. Онька сам стал напереди, а сына поставил за спиною. Нынче на нем был толстый стеганый тегилей и шелом. Он крепче уперся в землю, слегка расставив ноги в лаптях — не поскользнула бы нога, тогда смерть! Сверкающий железом разноцветный новгородский полк катился прямо на них. Он выбрал красивого боярина на рослом коне и навел рогатину (вспомнился почему-то давний, едва не пропоровший его рогами лось). Тверские лучники через головы пешцев осыпали новогородцев ливнем стрел. Кони вставали на дыбы. Онька рыкнул и с громким выдохом пырнул ратника рогатиною. Конская туша, как давний лось, обрушилась, мало не смяв его копытами. Федор, спасая отца, в свою очередь изо всей силы слепо ткнул копьем в конскую шею. Через поваленного, брыкающегося коня перелетел стремглав второй новогородец. Онька ринул и его рогатиною.

Со всех сторон, падая, но не отступая, словно на

покосе сметывая стога, работали рогатинами тверичи. Хрип, мат, ржание, скрежет и лязг железа. Онька не ведал сам, как оказался рядом с сыном и Фролом Недашевым плечо в плечо. Загоряна отбивали рогатинами крутящийся в воздухе сабельный дождь, медленно отступая. Вот дернулся и сник Фрол, вот Федор, споткнувшись о мертвого, приник на колено — и у Оньки разом ухнуло сердце,— но тотчас встал и яростно ударил рогатиною всадника, вздынувшего саблю над головою отца. Потерянный удар скользом прошел по Онькиному шелому. Еще шаг, еще... Но то, чего не ведали и не зрели тверские пешцы, ведал князь, победивший в этом бою почти так же, как некогда победил новгородцев под Торжком его великий дед. На новоторжскую городовую, неважно державшуюся в седлах конницу он обрушил лучшую свою тверскую конную кованую дружину, смял, погнал и опрокинул новоторжан на новгородское боярское ополчение, почти замкнув вражеское войско в кольцо.

Он еще придерживал коня, озирая поле, еще придерживал запасный засадный полк, и только углядев, что новгородцы вывели и ввели в бой уже все свои силы, ударил сам в тыл новогородскому полку, довершая разгром.

Перед глазами неслось и скакало поле, лязгала сталь, кто-то встречный валился с коня, метались в толпе бегущих алые боярские корзна, и над каждым упавшим боярином тотчас возникала круговерть тел: срывали, выхватывая друг у друга, корзна, доспехи, дорогие порты, перстни и оружие. Битва завершалась избиением. Потерявшие строй, рассеянные и растерянные новгородские кмети стремглав, загоняя коней, уходили в сторону Новгорода. Иные поворачивали к городским воротам. Уже вели связанных арканами спешенных вятших мужей новогородских, уже собирали трупы. Воеводы скликали ратных, поворачивая их в сторону городовых укреплений.

Александра Обакунова, убитого в первом сустуле, принесли на корзне и положили на землю у ног Михаилова коня. Лик новгородского воеводы был суров, отверстые очи слепо глядели в небо, и навозная блестящая муха уже копошилась хлопотливо на мертвой поверхности зрачка.

— Закройте ему глаза! — приказал Михаил и, отворотясь, поскакал в сторону города, где ратные уже поджигали окологородье, выкуривая новоторжцев с заборол.

Онька, когда схлынула конная новогородская лава,

вытащил тяжко раненного Фрола (Федора тоже задело, но скользом), перевязал, потом, натужась, сволок кольчатую броню с убитого им новогородского боярина, подобрал оружие, свирепо рявкнув на мужиков, вознамерившихся было выхватить добычу у него из рук. И уже довершив все, увязав в торока добычу, узрел восстающую вдали огненную метель и услышал низкий грозный гул огня, от которого Онисиму стало страшнее, чем было до того в бою. Единожды побывав в лесном пожаре,— когда медведи, лоси, волки, зайцы и вепри неслись одичалым, потерявшим страх друг перед другом стадом, жар шевелил волосы, с небес падали обгорелые птицы, и не найдись тогда крохотного лесного озерца, где Онька отсиживался вчетвером с тощим испуганным медведем и двумя лосями, не быть бы ему нонеча и под Торжком,— единожды это повидав, страшился с тех пор Онисим низкого, грозного и глухого голоса вырвавшегося на свободу пламени.

Оставив ребят с конями и добром, он, не ведая зачем, споро пошел один в сторону города. Вместе с ним, россыпью, бежали иные тверские ратные. Гул пламени по мере приближения становился все громче, все грознее. Вал огня, пожравший пригородные хоромы, раздуваемый ветром, рванул через городовую стену, и в городе сейчас творился ад.

Вся стена с бревенчатыми островерхими кострами пылала, как единый костер. Пылали хоромы за стеною, из отверстых ворот выкидывались, выбегали с ревом и воплями обожженные горожане. Суетилась толпа, потерявшие строй, уже неподвластные приказу тверские ратные, осатанев, рвали добро из рук горожан. На глазах Онисима какой-то ратник волок по земи жонку с растрепанными, развитыми волосами, без повойника, срывал с нее атласный саян вместе с рубахою, и та, забелев телом, страшно вскрикивая, корчилась в траве, закрывая руками стыд, а мимо бежали, волочили что-то, дрались. Надрывно визжали младенцы, ревела, путалась меж ратными чья-то обожженная корова.

Какой-то тверской боярин метался верхом, тщетно пытаясь навести порядок, а в отверстое чрево пылающих поверху ворот несло утробным ревом и гудом огня, и там, вдали, корчились, истаивая в слепительном пламени, остатние хоромы горожан.

Онька кинулся туда, внутрь, на нем тотчас зашевелилась и начала коробом вставать от огня рубаха и тлеть

волосы. Отпихнув ратника, изволок какую-то жонку с дитем, вымчал, ополоумев от жара, наружу и — остоялся. В ворота уже было не взойти, подгоревшие бревна рушились, пылая, вниз, загораживая проход, а по небу, колеблемые в жарких струях, медленно летели, рдея раскаленными краями, целые куски кровель, взметывалась огненная дрань, ревело пламя, и в пламени бились, звуча и погибая, колокола догорающих церквей...

Князь Михайло подскакал к вымолам. Здесь было также не пробиться от ратных, занявшихся грабежом, и сотен обожженного, ополоумевшего народу. Выбрасываясь факелами из горящих хором, комки еще живой человеческой плоти кидались в воду Тверцы, захлебывались и тонули. Отсветы пламени плясали и колебались в волнах. Кое-где тверские бояре с немногими сохранившими порядок ратными выводили из пламени трясущихся, опаленных горожан. Другие продолжали грабить. И на самых глазах Михаила какая-то жонка, девица ли, без рубахи, без серег, вырванных с кровью из ушей, подбежав к вымолу, ринула вниз головою в кипящую водоворотами воду, решив утопиться со стыда.

Михайло ударами плети остановил двоих ратных, волочивших неподъемный ларь с добром, чувствуя всею кожей свое бессилие. (Город был законною добычею войска и, кабы не огонь, не яростный ветр, раздувший пламя, заплатил бы окуп. Теперь же ратники добывали сами себе причитающуюся им мзду, действуя наперегонки с огнем, и поделать здесь хотя что-нибудь даже ему было немочно.) Он махнул рукою, и ратные вновь поволокли ларь, торопясь уйти с князевых глаз, а уже какие-то всклокоченные мужики, какие-то жонки с детьми и овцами прихлынули к нему, умоляли, протягивали руки. Иные, полураздетые ратными, конфузливо жались, стягивая на груди обрывки рубах, и всю эту жалко лепечущую толпу князь повел прочь от вымолов, сдав с рук на руки одному из своих бояр. И это было все, что он мог тут поделать...

Огонь, сожравши Торжок, утих к вечеру. Несколько черных остовов каменных церквей стояли, наполненные трупами. Кто не сгорел в них, задохся в дыму.

«В едином часе бышеть всем видети град велик, бесчисленное множество людий в нем, в том же часе пожьте его огнь и преложишеться в углие, и потом в пепел, и развея ветр, и всуе бышеть человеческое мятение, только на месте том видети земля и пепел!» —

писал впоследствии инок-летописец, сам чудом избежавший огненной торжокской гибели и убежденный на все предбудущие времена, что присутствует при последних часах человечества, при закате веры и зрит окрест себя «последних людей», коим глад и трус, и засухи, и знамения в луне и солнце глаголют о приближении Страшного Суда.

...Почему так жестоко повторяются в столетьях судьбы людей и государств?!

ГЛАВА 55

В Твери Михаил застал Ольгердова гонца. Надлежало вскоре в великой тайне выступить на соединение с главными силами литовского князя, которые пойдут на Москву мимо Вязьмы по землям верховских княжеств. Мало передохнув, весь еще во власти торжокской трагедии, бегло и как-то безрадостно помыслив о том, что в случае успеха этого похода Дмитрий должен будет поступиться многим, ежели не самим великим княжением, Михайло собрал бояр, повелел скликать кметей, кто уже закончил или заканчивал покос, распорядил движением ратей к Зубцову, услал конную сторожу наперед и, повелев поставить заслон из ополченцев у Дмитрова, сам поскакал вослед уже выступившему конному войску.

Так началась третья литовщина, третий поход великого князя литовского Ольгерда на Москву.

Дмитрий Боброк предложил содеять то, что надлежало совершить с самого начала. Ко всем князьям, чьи владения располагались по пути возможного движения литовских ратей, и прежде всего к володетелям верховских княжеств, так или иначе тяготеющих к Москве,— в Мосальск, Воротынск, Козельск, Одоев, Новосиль, Вязьму, как и в Березуйск, как и в Фоминское, как и в пределы Смоленского княжества — послать конных слухачей с единым наказом: при любом угрожающем движении литвы сломя голову мчать в Москву с упреждением. Опытный воевода, он знал и норов, и воинские обычаи Ольгерда. Боброк не обманывал ни себя, ни князя кажущимся затишьем перед грозой. Два великокняжеских ярлыка и два князя, одинаково претендующих на вышнюю власть во Владимирской земле,— этого одного, без Ольгерда, хватило бы на то, чтобы начать ратиться.

В думе совет Боброка поначалу вызвал споры. Возмутились было иные принятые князья, завидующие нежданно скорой славе волынского воеводы, но затем Зерновы, Бяконтовы, Вельяминовы, Кобылины, рассудив дело, стали на его сторону. Князь Дмитрий долго угрюмо молчал, слушая покоры бояр, но вдруг и сам присоединился к мнению Боброка, это и решило дело. Сторожи были разосланы, конные подставы разоставлены, после чего московская ратная сила почти вся разошлась по волостям: надобно было косить. Впрочем, и тут москвичам нежданно повезло, ибо в южных московских станах все созревало на неделю-полторы ранее, и травы здесь вымахали в рост, и косьба началась прежде, чем на верхней Волге. Откосившихся ратных по требованию Боброка тотчас вновь стягивали в полки. Возвращение Олега и погром Торжка неволею заставляли москвичей прислушиваться к мнению Ольгова победителя.

На Москве меж тем царила праздничная суета. К великому князю Дмитрию приехал в службу ордынский царевич Черкиз, или, как его имя тотчас переиначили русские, Серкиз. Худощавый, мало похожий на татарина (в его жилах текла монгольская и ясская кровь), он, присутствуя на пирах, больше молчал, изредка скупо улыбался одними глазами. Непонятно было, все ли понимает он по-русски из того, что говорилось при нем, хотя обиходную русскую речь Черкиз-Серкиз понимал. Митрополит Алексий с большою пышностью окрестил царевича, наименовав его Иваном.

Передавали, что у Серкиза произошло розмирье с Мамаем, что царевич не угодил всесильному временщику и ему угрожало в Орде лишение жизни. Передавали также, что Мамай гневал за то на великого князя Дмитрия, «зане моего ворога принял». Любопытные сбегались поглядеть на перебежчика (не столь еще часто переходила ордынская знать в русскую службу!). Но Серкиз привел с собою многочисленную конную рать, пригнал табуны коней и овец, и потому князь Дмитрий наделил его волостями и угодьями по Оке, поставив сразу же охранять новую родину от своих вчерашних соплеменников. Ручательством верности нового послужильца являлась его ссора с Мамаем, одна из тех родовых ссор, которые испокон веку решались в Орде только кровью и смертью родовичей.

Второй принятой, поступивший в русскую службу

в этом году (о чем переговоры, впрочем, велись еще лето назад), был грек Стефан, дальний потомок императорской династии Комнинов, а ныне — богатый торговый гость из Сурожа, пожелавший стать московским боярином. О приглашении Стефана хлопотал сам владыка Алексий. Этот потомок греческих императоров был чрезвычайно богат — он сразу откупил место для терема в самом Кремнике, на холме, невдали от Боровицких ворот, рядом с хоромами Акинфичей,— был образован, ибо учился в Константинополе, и был знакомцем самого Филофея Коккина. Сверх того — отлично разбирался в мехах, поскольку торговал ими по всему Средиземному морю, а значит, мог противустать нахрапистому натиску генуэзских фрягов.

О том, чтобы Стефан был принят не как торговый гость, а именно боярином, в княжескую службу, переговоры велись два года и решились в Стефанову пользу в значительной мере из-за его родства со знаменитою императорскою династией Комнинов, хотя бояре московские той поры и не отгораживали себя от богатых гостей торговых непроходимою стеною, как это сотворилось впоследствии.

За торжествами, за пирами и приемами едва не пропустили опять Ольгердов набег. Гонец подомчал ночью и часа два не мог добиться ни до кого из бояр. Иван Вельяминов восчувствовал первый, разбудил великого князя Дмитрия, спешно послали за Боброком и тут же начали собирать городской конный полк.

ГЛАВА 56

Роскошный июль с высокими, тающими в аэре кучевыми облаками стоял на дворе. Клонились долу и уже золотились нутряным золотом поспевания высокие мощные хлеба. И по дорогам, вздымая пыль, отаптывая острова наливающейся ржи, пошла наметом и рысью оружная конница.

Наталья Федорова с сыном была в Островом. Еще ничего не знали, не ведали, через три-четыре дня собирались жать зимовую рожь; и бабы загодя готовили серпы, наголодавшись за прошлое лето, предвкушали нынешнее хлебное изобилие. Наталья ладила сама начать жатву в Островом (ныне засеяли по ее настоянию боярский клин), а потом отправиться к «себе», в Се-

лецкую волость, где жатва должна была начаться неделею позже.

Глухой и грозный топот копыт послышался рано поутру. Наталья вышла на крыльцо. Сын еще спал, разметавшись, набегался давеча, наигрался с мальчишками в рюхи. Комонные появились из-за дальнего увала и потянулись длинною змеей, по двое в ряд. Дробный цокот копыт все рос и рос, и вот уже заполонил всё. Оглянувшись, она узрела, что почти все деревенские бабы выбежали к плетням и калиткам, а там потянулись и мужики, встревоженные, полусонные. Солнце еще не вылезло, сияющий луч его только-только вставал над лесом. В знобком утреннем холоде единственно слышен был глухой непрерывный топот. Передовые уже миновали околицу, а над дальним увалом все вставали и вставали новые и новые ощетиненные оружием ряды. Конница шла на рысях, подрагивали притороченные к седлам пучки легких копий-сулиц, топорщились колчаны, полные стрел. Один из ратных, подъехавши вплоть, попросил напиться. Наталья бегом вынесла кринку молока, берестяной ковшик. Ратник выпил, кивнул, отдавая ковшик, и на немой отчаянный вопрос женщины ответил, уже трогая коня, одним словом:

— Ольгерд!

Она глядела вослед, пока ее не окликнули снова. И снова она поила воина молоком, и опять ратник немногословно, сплевывая сквозь зубы, повторил:

— Опеть на Москву валит!

— Задержите?! — крикнула вослед, опомнившись, Наталья. Кметь повернулся к ней, улыбнувшись сурово, подмигнул, тронув слегка рукоять сабли. «Понимай сама, мать!» — привиделись ей не высказанные вслух слова.

Ванята выбежал вскоре, потерся носом о материну шею, детским, хриплым спросонь голосом вопросил:

— Война, мамо?!

— Ольгерд! — ответила она, и сын примолк, что-то трудно и долго обмысливая. После ушел в дом, и у Натальи схлынуло было с сердца, но тут Ванята явился уже в дорожной справе и сапогах, с волочащейся по земи отцовой саблею.

— Я Карего возьму! — выговорил и, когда Наталья в ужасе бросилась к сыну — не пустить, не позволить,— по-взрослому, стойно Никите, отвел ее руки, сказал, твердо глядя в глаза матери:

— Батя убит! Дядя! Братика два погинуло у нас! И все от Ольгерда!

И она отступила, поняла: удержать — не простит после вовек.

— Погоди, постой! — Кинулась собирать подорожники...

...К полудню ратники стали на дневку. Кормили и поили коней. Сзади подходили и подходили новые, деревня наполнилась ратными до краев. Узревши знакомого сына боярского,— служил в вельяминовском городовом полку,— Наталья кинулась к нему, с трудом объяснила, о чем просит, представила сына. Дружинник кивнул, сощурясь, оглядел подростка — видно, не очень хотелось брать с собою отрока, обещал доложить Микуле Василичу, когда встретит. Сын был счастлив и, когда бесконечная верхоконная змея снова тронулась в ход, весело поскакал со всеми, махнув матери на прощанье рукой. А она стояла — долго, уже давно прошли те, свои. Мимо, не прерываясь, двигались и двигались ратники, и даже ночью, когда прилегла на час, чуя, что уже не держат ноги, все длился и длился глухой бесконечный топот проходящих московских полков...

Иван вымчал на угор, к знамени. Прошедшую ночь спал он в пустой риге, набитой кметями, и все боялся, что чужие ратники сведут коня. Вставал, выходил на глядень. Невыспавшийся, седлал коня. И теперь снова скакал, пыльный, потный и радостный. Давешний боярчонок указал ему, как найти воевод, и вот теперь он, невольно робея, приближался к кучке богато изнаряженных бояр на холме, над Окою. На него оглянулись двое-трое, вопрошая без слов: чего, мол, тебе?

— Микулу Василича! — совсем смешавшись и заливаясь алым румянцем, пролепетал Иван. Рослый боярин в колонтаре и холщовом, надетом сверху, нараспаш, летнике, оборотил к нему румяное, крепко сработанное лицо.

— Натальи Никитишны... Федоровой... сын...— растерянно вымолвил Ванята и, вспыхивая почти до слез, докончил: — Я под Скорнищевым был, на рати!

Бояре — на него уже глядели трое или четверо — расхохотались дружно.

— Ай, врешь? — лукаво вопросил Микула.

— Вот крест! — Иван поднял руку, осеняя себя крестным знамением. Лицо у него от гнева и обиды то

вспыхивало, то бледнело. Боярин кивнул по-доброму, показавши глазами к подножью холма, выговорил:

— Пожди тамо! — А сам, оборотясь к осанистому, плечистому, с широким, словно топором вырубленным, лицом молодому боярину, произнес, продолжив прерванный разговор: — Я мыслю, Оку надо переходить! Наши злее будут!

Молодой, в дорогом, отделанном серебром пансыре с зерцалом и литыми налокотниками, кивнул важно, скользом, без интереса, глянув на отъезжающего подростка с отцовской, не по росту, саблей на перевязи, поднял вновь на бояр повелительные глаза (то был сам великий князь Дмитрий), вопросил:

— Как мыслит о сем князь Боброк?

Ответа боярина Ванята уже не слыхал, но по тому, что скоро вниз по обрыву поскакали опрометью вестоноши и ратные начали поворачивать к берегу, понял, что решено было переходить.

Он держался теперь Микулы Вельяминова, следуя за ним то издали, то близ, наконец был вновь замечен боярином, услан с поручением, толково передал сказанное, и так к концу дня стал вельяминовским вестоношею, в каковом чине, почти на равных, сидел вечером у походного огня — уже на той стороне Оки, которую переходили по сработанному всего за несколько часов наплавному мосту из челноков, бревен и уложенного на них дощатого настила,— ел кашу из общего котла, сушил, как и все, измоченную одежу и заснул на попонах, привалясь к боку бывалого седоусого ратника...

Литовский передовой разъезд встретили, когда уже миновали Алексин, под Любутском. Дело створилось на заре, и Ванята, только что выполнив очередное поручение боярина, заслыша крики и ржание, поскакал, со сладко замирающим сердцем, вперед по полю, на краю которого выныривали из кустов чужие, литовские комонные, сшибаясь в рубке с московской немногочисленной сторожей. Он ощупал саблю на боку, с запозданием подумав о том, что доселе вздымал ее только двумя руками и рубил лопухи и крапиву, стоя на земле, хорошенько расставив ноги, а совсем не верхом и не сидя на скачущей лошади. Представилось, как он роняет клинок под ноги коня, потом теряет стремена... И Ванята, сжав зубы, унимая тем невольную дрожь, крепче ухватил поводья, раздумавши обнажать саблю, и, вертя головою, начал искать, к кому бы пристать.

Литовская конница, приканчивая последних не сбитых с седел русичей, все выливалась и выливалась из леса. Иван словно завороженный скакал и скакал вперед, страшась и не смея отворотить коня, и уже различал лица литвинов, когда с того краю вырвался, обходя литовскую лаву, свой, московский, полк и пошел наметом, посверкивая бронями, с далеким, грозно растущим кликом:

— Москва-а-а! Хурр-а-а!

Москвичи еще были далеко, а литва близко, но, завидя обходящий их полк, литвины начали заворачивать коней ему встречу. Одинокий мальчишка, мечущийся на лошади по полю, не остановил в этот час ничьего внимания. Ваня с запозданием понял, что вновь, как и под Скорнищевым, по отроческой глупости полез куда не следовало и что спасти его опять может только чудо. Чудо и произошло, когда с этой стороны, заходя литвинам в тыл, вымчала новая волна конных москвичей. Не принимая ближнего боя, отстреливаясь из луков, литвины начали отходить. На глазах у охнувшего Ваняты литвин вздынул саблю и снес голову захваченному им только что русскому полонянику, а потом, сорвав с плеч трупа аркан, крупно поскакал к лесу, уходя от погони.

Там, впереди, все-таки сшиблись. Сверкали, колеблясь над головами, лезвия сабель, вздымался и опадал волнами ратный крик, и Иван, закусив губу, снова поскакал вперед, в бой. Ему навстречу мчался на большом коне длиннолицый литвин без шелома. Скорее от ужаса, чем от чего другого, Ванята вырвал из ножен отцовскую саблю и, держа ее нелепо перед собою, закричал с провизгом, тонким детским голосом, в надрыв:

— Сдавайсь! А ну! Москва-а-а!

Литвин метнул недоуменный, ошалелый взор — он, видимо, был ранен,— поднял жеребца на дыбы, приобнажив было саблю, но сзади скакали двое, свертывая арканы на руки, и, оглянувшись, завидя их, литвин уронил поводья коня и поднял руки, показывая, что в них уже нет оружия. Подскакавшие москвичи его живо скрутили арканом и поволокли за собой, бросив с пол-оборота:

— Спасибо, парень!

Иван дрожащими руками очень долго вставлял непослушную саблю в ножны, после чего, ощутив мгно-

венную слабость и тошнотный позыв, согнулся было в седле, но, справясь с собою, выпрямился и поскакал назад, разыскивать своего боярина.

Этою суматошною сшибкой с передовою литовской заставою все и окончило. Литвины отступили за глубокий овраг, перейти который и пешему было бы трудно, а конному вовсе никак. Московские полки, заняв другую сторону оврага, все подходили и подходили. К вечеру стало понятно и Ольгерду и москвичам, что приступа тут не может быть ни с которой стороны. Всю ночь стерегли друг друга, считали костры на вражеской стороне. Утро застало обе рати в той же позиции. С обеих сторон шла ленивая перестрелка. Отправленные в стороны обходные рати сталкивались друг с другом и отступали. Боброк всюду, где были пологие спуски, повелел устроить засеки. Он знал Ольгерда и ведал, что тот долго не простоит. Или решится на бой, или отступит. Он боялся одного, что Ольгерд или князь Михайло, перейдя Оку, ударит ему в тыл. Быть может, руководи ратью Кейстут с Михайлой, оно бы так и сотворилось, но с Ольгердом произошло то, что бывало уже не раз и что он тщательно скрывал от окружающих: он испугался. Остановленный оврагом, лишенный возлюбленной им быстроты и внезапности натиска, он вместо того, чтобы предпринять обходное движение, начал, не распуская воев даже в зажитье, сосчитывать московские полки. Их было не так мало, чтобы решиться на кровавый приступ. Представив себе овраг, полный шевелящейся грудою сверженных коней и ратников, литовский князь почуял истому и даже зубами заскрипел. Меж тем минул еще один день и еще. «Быть может, подойдет Олег, грянет московитам в тыл? — думал литовский воевода.— Тогда тот же овраг можно бы было превратить в ловушку для москвичей!» Но Олег все не шел. (К чести его скажем тут, что он ни разу не выступал вкупе с литвою, как и с татарами, против русичей.) И Ольгерду стало ясно в конце концов, что рязанский князь не придет вовсе.

Вечером четвертого дня Кейстут долго спорил с Ольгердом в его шатре.

— Я не могу ради тверского князя губить здесь, под Любутском, литовскую рать! — кричал Ольгерд, со злостью глядя на непонятливого брата, коему он стеснялся сказать всю правду.— Ты пробовал перейти Оку? Там всюду московские заставы! У них челны, у них наплав-

ной мост, они перейдут на ту сторону раньше нас! Вести полки к Туле? А потом? У наших ратников кончается хлеб! Коней я могу кормить несжатою рожью, но не ратных!

— Зачем же мы сюда пришли?! — мрачно спросил Кейстут, исподлобья глядя на брата.

— Зачем... Заключить вечный мир! Я не могу воевать одновременно с Русью и немцами! Все прочее пусть решают Михайло с Дмитрием сами!

— Ты не хочешь больше помогать шурину? — тихо вопросил Кейстут.

— Да, не хочу! — отозвался Ольгерд, глядя мимо братнего лица.— Он и так захватил слишком много!

За шатром гомонили ратные. Кейстут, высокий, худой, молча встал и, склонясь, вышел из шатра. Ольгерд повалился на кошмы, сожидая, когда войдет мальчик-слуга. Выговорил сквозь зубы, зная, что его не услышит никто:

— И кроме того, Кейстут, я и сам не хочу погибнуть здесь, на Оке, ради дел своего безумного шурина!

Назавтра начались переговоры. Бояре, те и другие, несколько раз перебирались через овраг, уряжая статьи нового мирного договора, почти сходного с предыдущим, по крайней мере в том, что Ольгерд, заключая мир с московским князем, отступался от своего тверского шурина, предоставляя решение всех порубежных споров суду самих владимирских князей, Михайлы с Дмитрием.

Полки уходили с береженьем, опасаясь погони. Впрочем, москвичи так же береглись Ольгерда, как и он их, и преследовать литву не стали. Тверской князь уводил свои рати особо и шел быстрыми переходами, выматывая коней, дабы воротить в Тверь раньше, чем москвичи сумеют двинуть полки под Дмитров. Но московские рати, достигшие Москвы хоть и много ранее возвращенья Михайлы во Тверь, в новый поход не тронулись. И не мирный договор, а тайная грамота, присланная из Орды Федором Кошкою, была тому виною...

Ванята возвращался из похода гордый. Он — сам! — взял в полон литвина. (Ежели быть точным... Но уж очень точным кто захотел бы быть после такого дела в его возрасте?!)

В полях жали. Уже далеко протянулись ряды золотистых бабок сжатого хлеба. И мать жала. Ему указали,

где. Наталья, охнув, распрямилась и сунула в рот обрезанный серпом палец.

— Живой! — уронила серп, обнимая спрыгнувшего с коня сына. Едва не потеряла сознания: живой!

— Мамо! А я литвина в полон забрал! — похвастал Ванята, и она, глядя в его разгоревшееся, покрытое веснушками, обожженное ветром лицо, заплакала. А кругом уже столпились побросавшие работу бабы.

— Ну вот, боярыня, живой! Неча и горевать было! Подь, подь домой, кака уж тут работа седни для тебя!

Она кивнула и, не чуя радостных слез, пошла к деревне, оступаясь босыми ногами на колком жнивье. Сын, ведя коня в поводу, шел рядом.

ГЛАВА 57

Сидели не в большой думной палате, а в тесной горнице княжеских хором. Дума не дума, а собрались «вернейшие паче прочих». Четверо Вельяминовых. Василий Василич тяжко сидит на лавке, его мучает грудная болесть, но таковое дело без тысяцкого не решить. Тимофей Василич, окольничий, глядится нынче куда моложе и крепче брата. Иван Федорович Воронец и Микула Василич вдвоем являют собою второе поколение Вельяминовых. Ивана нет, Дмитрий сам настоял, чтобы позвали отца, а не сына, и князю не стали перечить. Семен Жеребец и Федор Андреич Свибло представляют здесь могущественные семьи Кобылиных и Акинфичей. Матвей Федорович с племянником Данилою Феофанычем — оба заматерелые, оба в сединах — митрополичий род бояр Бяконтовых. Митяй, князев печатник, созванный волею князя, сопит; он крупен, велик, красен лицом, подозрительно взглядывает на сухого, согбенного в кресле митрополита, который не глядит на Митяя, но не глядит нарочито: меж ним и коломенским попом, вошедшим в силу при молодом князе, нелюбие возрастает год от году, и нелюбие самого безнадежного свойства. Алексий не выносит громогласности, чревной силы и отягощенного книжными украсами ума княжеского печатника; Митяй не понимает всех вообще молчальников-исихастов. «Почто и даден Господом разум человеку, дабы не молчать, но разумно глаголати!» — как-то высказал он прилюдно, при князе, когда речь зашла о старце Исаакии,

ученике Сергия Радонежского. Не понимал исихастов Митяй! И, будь дело в Константинополе четверть века тому назад, поддержал бы, поди, Варлаама с Акиндиным против Григория Паламы. Он любил красоту службы и понимал в ней премного, мог страницами цитировать на память святых отцов. Любил обильную трапезу и тоже понимал, как никто, в изысканных яствах и питиях различных земель, нимало того не скрывая. Охотно выезжал с князем на соколиную охоту. И монастыри ему нравились те, где мог, по его словам, «муж нарочит упокоить себя от трудов и суеты на старости лет», где в келье удалившегося от дел боярина были бы слуги и весь привычный и богатый жизненный обиход. На дух не принимал он поэтому ни Сергия, ни племянника его Федора Симоновского, полагая глупцом и тунеядцем каждого смысленого мужа, удалившего себя, заместо служения князю, куда-то в гиблые леса и болота, на съедение комарью... Медведям, что ли, Ивана Златоустого читать?!

Теперь Митяй, шумно вздыхая, изредка взглядывает в сторону митрополита Алексия, пошевеливает руками, все не ведая, как ловчее уложить крупные длани с драгим золотым перстнем на левой руке, и тихо негодуя суровому невниманию митрополита.

Иван Мороз, Иван Дмитрич Красный-Зернов, Андрей Одинец, Александр Всеволож сидят тесно по лавкам, вперяя очи в князя. В самом углу Дмитрий Боброк. Давеча Дуня намекнула Дмитрию, что Боброк вдовец, а Нюша, сестра Дмитрия, уже на выданье, и великий князь, мгновеньями отвлекаясь от дела, разглядывает по-новому чеканный лик волынского воеводы.

— Женишь на Анне, верный из верных будет тебе! — сказала давеча Дуня, и теперь Дмитрий, хмурясь, исподлобья, украдкою изучает возможного своего шурина. Красив! И не сказать, чтобы стар! Поди, Дуня с сестрой уже и промеж себя сговорили!

— Одним махом кончить войну! — произносит вслух Иван Мороз. Боброк молчит, хмурит густые брови. Ему затея не по нраву, хотя и отрекаться от нее смысла нет. Федор Кошка не стал бы писать пустого.

Алексий взглядывает исподлобья, медлит. Взгляд его строг, но он тоже не думает сказать «нет» и озабочен лишь тем, где взять эдакую прорву серебра. Десять тысяч! Москву из камени построить мочно и всю рать заново вооружить!

— Десять тысячей серебра! — раздумчиво повторяет Зернов.— Ежели всех бояр упросить...

— Стефан Комнин обещает заем от греческих гостей-сурожан в четыре тысячи! — строго отвечает Алексий, сверкнув взором, и вновь склоняет сухую лобастую голову.

— Заемное серебро дорого, да и не достанет все одно! Ежели объявить бор по волости? — предлагает Александр Всеволож.

— Народ оскудел! — твердо и кратко возражает Иван Мороз. Тяжкий прошедший год и дань, которую собирали, дабы удоволить княжеских должников прошлою осенью, помнятся всем.

Окольничий Тимофей Вельяминов яро ерошит волосы.

— Посад надобно потрясти! Не может того быть, чтобы не набрали! Ты как, Василий? — обращается он к брату. Тысяцкий смотрит, думает, с хрипом выдыхая воздух из больной груди. Чуется, что он уже «там» и больше слушает себя самого, чем окружающих. Но и он, пересиливая немощь плоти, склоняет багровую шею.

— Тысячи две на посаде соберем! — говорит, подумав. И тоже — не ведая явно иной неудоби, а токмо трудноту насущную от тягостей недавнего литовского раззора и летошнего голода.

— Сколько может дать церковь?! — спрашивает Митяй, на сей раз заставив митрополита взглянуть на него.

— Церковь — даст...— Алексий обжигает мгновенным взором своего супротивника и вновь потупляет очи. Все московские великие бояре ведают, что об ином владыку спрашивать непристойно, один Митяй все еще этого не может постичь.

Дмитрий растерян. Поворачивает то к тому, то к другому широкое лицо с пятнами лихорадочного румянца, выступающими всегда, когда князь взволнован или гневен. Он так был горд недавним стоянием у Любутска! Так радовал победе, тому, что сам грозный Ольгерд отступил перед ним! И теперь бы начать отбивать у Михайлы по очереди великокняжеские города... А ему предлагают неслыханное, ни на что не похожее дело, скорее торговую сделку, пристойную хитрым грекам или настырным генуэзским фрягам, а не ему! Но и Боброк не возражает, и старый владыка мыслит согласно с прочими... И, как это было когда-то при

Калите и Узбеке, вновь ратную силу, кровь и осады городов должно заменить тяжелое русское серебро. (То самое, перенять которое у него, Дмитрия, хочет Михайло, разграбивший Торжок!)

— Десять тысячей! — повторяет Андрей Одинец.

— Десять тысячей... Ежели каждому из бояр...— осторожно начинает Федор Свибло (князю помочь надобно всяко, и нелепо держать в сундуках то, что — вынутое из них — обеспечивает полноту власти).

«Серебром и златом не налезу (добуду) дружины, дружиною же налезу серебро и злато!» — сказал некогда киевский князь Владимир Святославич, креститель Руси. А вот им теперь надобно не дружиною, но златом одолевать соперника. Сказать то, что сказал Владимир равноапостольный, возможно тому, кто не платит ордынского выхода! А у них — отнята честь. Пока отнята! Хоть и то есть, что порою превыше чести. Гневая, ненавидя друг друга, они в тяжкий час делают совокупное дело сообща и в час этот забывают о розни, взаимном нелюбии и даже о корысти своей. Ибо для них покамест ближнее не застит дальнего, как то совершается с роковой неизбежностью в века упадка.

— Тысячи две... Ну, три! Ежели со всех бояр и с городов...

— Тесть-от князев не даст взаймы? — неуверенно вопрошает Матвей.

— У самого нет! — отрывисто отвечает Дмитрий.

Тесть, Дмитрий Костянтиныч Суздальский, затеял возводить каменный кремник в Нижнем, а Борис Костянтиныч строит город Курмыш на Суре Поганой (и, сверх того, тайно держит сторону Михаила) — у того и другого, кроме долгов, ничего нет! И у ростовчан или ярославцев не спросишь! Князья, что покрупнее, ждут, чем окончит пря московского князя с Тверью. Тут не размахнешь, не пошлешь в город за серебром, как посылывал Калита в Ростов Великий! Мигом откачнут к Михайле!

Десять тысяч! За десять тысяч, пишет из Орды Федор Кошка, Мамай продаст москвичам княжича Ивашку, старшего сына тверского князя. Продаст наверное. Вот! И не надо городов брать!

Бояре, чуя правоту Федора, все согласны. Данило Феофаныч вздыхает:

— Надобно киличеев слать! Выкупил бы только опосле Михайло у нас сына своего!

ГЛАВА 58

Федор Кошка не зря просидел в Орде все то время, пока тут ратились, отбирая друг у друга грады и волости. Он дождался наконец того чаемого им мгновения, когда Мамаю вновь и позарез потребовалось русское серебро. Речь шла о подкупе ордынских эмиров, и Федор уведал, каких. Тверские бояре давали Мамаю четыре тысячи, со скрипом — пять, чтобы он только отобрал ярлык у Дмитрия. Выяснилось это окончательно в укромной, с глазу на глаз, беседе с всесильным темником. Федор Кошка минуту глядел на Мамая именно кошачьим, пристально-жадным, взглядом и наконец произнес:

— Мы заплатим и не четыре, и не пять тысяч, как просишь ты. Мы заплатим десять тысячей серебра, токмо выдай нам Ивашку Тверского на руки!

Мамай, насупленный, думал. Удивленно разглядывал хищно-просительный лик Федора. Предложенная сумма перекрывала все мыслимые представления. Ни фряги, которые обманывают его, неслыханно наживаясь на живом товаре, ни даже тверичи не могли бы ему предложить столько.

— Убьете? — жестко вопросил Мамай. Федор отчаянно завертел головой.

— Ни, ни! Волос не упадет! Будем держать у себя в заложниках миру ради!

— Когда серебро? — вопросил Мамай горловым низким голосом. Он не думал, что совершает подлость. Думал о том, что договор с Дмитрием об ордынском выходе доныне не пересмотрен. Потребовать? Потом! Впрочем, о «потом» Мамай думать не очень умел. То, что предложила Москва, было не «потом», а «сразу».— Заплатишь, получишь ворога своего! — твердо обещал он Федору.

И второй раз в тот же день пришлось ответить Кошке на заданный Мамаем вопрос. Уже дома, в шатре, у своих, когда составляли срочное послание великому князю.

— Великая гадина, однако, этот твой Мамай! — произнес, покачивая головой и вздыхая, младший Морозов.— У нас хоть его не убьют, Ивашку-то?

— Рази ж мочно! — живо возразил Федор и прибавил раздумчиво: — Мне ить и самому пакостно стало, когда его на таковое дело согласил! Видать по всему,

недолго они тут просидят с ханом своим! То ли Урус, то ли Тимур, а кто ни то его да прихлопнет! Ежели не сам Мамай себя генуэзским фрягам продаст! А мальчишку жаль, коли уморят его у нас на Москве! Доброй вышел бы князь!

— Уморить могут?

— Не ведаю! Как ся Михайло князь покажет! На то и война! Двух великих князей владимирских, сам понимай, не может быть на Руси!

ГЛАВА 59

Весело бегут кони по первой пороше, первому молодому снегу, засыпавшему твердую, промороженную землю. Необлетевшие березы, полные золотой, слепительно-яркой на белизне снегов листвы, стоят, словно диковинные, горящие холодным золотым огнем свечи. Всхрапывает конь, равномерно покачивается новая расписная дуга. Вторые сани, виляя, несутся вослед первым. Ременный конец, которым привязана поводная лошадь к задку передних пошевней, то натягивается, то провисает. Когда кобыла, часто ра̀ботая ногами и роняя клочья пены с удил, слишком приближается к задку саней, Иван взмахивает кнутом, осаживая:

— Н-но! Шалая!

Во вторых розвальнях связанная полуторагодовалая телушка, в первых — мешки с зерном и Наталья, замотанная в шерстяной плат, утонувшая в мужевом тулупе, рядом с сыном.

Иван привстает, щегольски правит, стоя на напруженных, раскорякой, ногах. Мать дергает его за полу зипуна, необидно усаживает:

— Не хвались! Сутки ить в санях не простоишь!

Едут под Рузу, к Услюмову сыну Лутоне, проведать, как там и что. Наталья только что привела осенний обоз на Москву, сдала хлеб и вот решила проведать племянника.

Иван в этом году (весной сравнялось четырнадцать) сильно пошел в рост, голос начал ломаться. А сыновца, поди, и не узнать! — думает Наталья. Посылала хлеб, на словах передавали, что жив, а какой стал — не видела.

Ночевали в деревне под Рузою. Снова ехали. Лесная тропа была намята до твердоты санной ездой. Значит,

люди жили тут, даже умножились. И верно, на старом пожоге стояла белая, только что срубленная изба. Знакомый дом, тот же сосед, та же жонка. Выбежали, узнали. Как же, как же!

— Лутоха!

Услюмов отрок вышел на крыльцо, остановился, застенчиво зарозовев. Он вытянулся, лицо оделось уже первым пухом, но был худ, чуялось, невдосталь и ест. Наталья пригнула к себе, облобызала племянника. Иван, как взрослый, подал двоюроднику ладонь, но не утерпел, дернул, стараясь стащить с места. Лутоня устоял, усмехнувшись, сам, дернув, перетянул Ваняту к себе. Все же был тремя годами старше.

В горнице встретила застенчиво девушка с пунцово-зардевшимся лицом.

— Соседка! — бросил Лутоня нарочито небрежно.— Мотей зовут! Помогает мне тута...

Они стали рядом, точно нашкодившие дети. Худой высокий отрок и невеликая, по плечо ему, девонька с едва намеченной грудью и красными от работы на холоде руками, которыми она мяла суровый передник, не смея поднять глаз на тетку-боярыню.

Скоро, впрочем, первое смущение прошло. Мотя засуетилась, накрывая на стол. Развязали телушку, завели в хлев, где бык (уже не бычок, а бычина с низко висящим подгрудком, с широкою породистой мордой и страшенными — в основании и двумя ладонями не обхватить — рогами) снисходительно обнюхал заробевшую, еще не готовую невесту и отворотил морду, продолжая медленно жевать сенной клок и уставя сонные, с поволокою, глаза на новых гостей.

— Коров ко мне водят! — похвастал Лутоня.— Такого быка ни у кого нет, да заматерел! Нынче с привязи и спускать опасно... Бить надобно! — присовокупил он с сожалением, глядя на красавца — единственную оставшуюся память ото всей отцовской скотины.

— Погоди, пущай обгуляет телушку, даром, что ли, везли! — возразила Наталья, оглаживая бычью морду. Тот мотанул головой, прочертив рогами кривой след в воздухе, и снова замер, лениво пережевывая корм.

— И пчелы есть! — с гордостью говорил Лутоня.— Нынче мед у меня купляли даже!

В избе уже весело гудела растопленная печь, что-то скворчало в глиняной латке. Пока Иван с Лутонею, натужась, заносили хлеб в холодную клеть, ссыпали

зерно в лари, распрягали и заводили коней в стойла, поспело немудреное варево, и Наталья, щедро достав из укладки гостинцы, уставила и украсила стол салом, копченой уткой, грудкою московских имбирных пряников и вельяминовским, белого теста рыбником с половиною жирной стерляди. Лутоня ел столь торопливо и жадно, что Наталья украдкою даже всплакнула, промокнув укромную слезу концом головного платка. Досыта, поди, с той-то поры ни разу не едал!

К трапезе зашла и соседка. Чинно сидела за столом, отламывала по кусочку от пряника, мерила Наталью глазами.

— Дети-то! — начала, когда уже отъели и принялись собирать со стола. Мотя, сбрусвянев, уронила латку и выбежала вон из избы. Лутоня неспешно встал и вышел следом за нею.

— Грех один! — не то жаловалась, не то объясняла баба.— Мы-то уж и срамим, а все, как свет, к ему да к ему! Оженить бы их, што ли...— Она просительно подняла глаза на Наталью, и та, склонив голову, отмолвила кратко:

— Потолкую с ними сама!

Соседка вышла в сумнении. Как ни беден был нынче Лутоня, а все ж таки — боярская родня!

Наталья вечером зазвала племянника и девушку в сельник, долго беседовала с ними. Ивану сказала потом не без торжественности:

— Женим! Любят друг друга!

Иван насупился, хмыкнул. Показалось, теряет товарища. Подумавши, переборол себя и вдруг, широко улыбнувшись, предложил:

— Мамо! А мы им кобылу нашу подарим! И сани!

Наталья, не отвечая, молча привлекла к себе сына и крепко поцеловала в лоб.

— Батька твой то же бы самое предложил! — сказала и заплакала вновь, так похож был сейчас Иван на покойного Никиту Федорова!

Назавтра Наталья благословляла жениха с невестой иконою. Съездили за попом.

За свадебным столом оказалось неожиданно много народу. Пришлось развязать мошну, дабы не бить своей скотины, которой у Лутони, почитай, и совсем не было, и не ударить в грязь лицом. Пели старинные величанья, шутили, вгоняя молодых в краску. Гости разошлись уже за полночь.

— Сена накосил? — строго спрашивала тетка на другой день после свадьбы заспанного Лутоню, пока Мотя, счастливая, с припухшими от поцелуев глазами, прибирала столы.— Кобылу тебе оставляем, от нас с Иваном, не уморишь ее?

— Што ты, тетя Наталья! — Лутоня даже руками замахал.— Да я... Две копны у меня уже есть, думал Рождеством продать в Рузе...— Он присел, морща лоб, стал прикидывать, сколько надобно сенов на кобылу с телушкою.

— Купить есть на что? — прервала его расчеты Наталья.— Словом, вот! Держи! Тута две полугривны, только сена купляй сразу, не жди до весны! Конем и вывезешь! А то по весне и заплатить придет вдвое, и возить — намучаешься по глубокому-то снегу!

Лутоня кивнул. Это он понимал хорошо. Потом сполз с лавки, стал на колени и земно поклонился Наталье.

— Ну, племянник! Встань, встань! — Наталья положила ему руки на плечи. Лутоня плакал. Дав справиться с собою, подняла, успокоила.

— Я думал, за Мотю станешь корить! — шепотом признался Лутоня на расставании.

И вот они снова едут, пустые, на одних санях. Весело бежит конь. Идет снег. Зима наступила полная, и теперь оттепели не жди до весны! Небо серо-сиреневое, мягкое, оно много темнее белого снега, и давешние березы уже облетели и лишь чуть-чуть посвечивают тусклыми блестками остатнего пожухлого золота.

ГЛАВА 60

Ивашку, купленного тверского княжича, привезли на Москву в Филиппово заговенье, на второй день. Старый митрополит сам встречал дорогой поезд и твердо, прекращая все недоумения, повелел отвести пленника к себе, на митрополичий двор. Дмитрию, не сожидая вопроса, высказал:

— Случись со княжичем какая беда, от одних покоров погибнем! — И Дмитрий, подумавши, полностью согласился с митрополитом.

Ближайшим итогом привоза явилось то, что спустя немногим больше месяца, после Рождества, Михаил Василич Кашинский сложил целованье князю Михайле

и укатил из Кашина в Москву, откуда устремился в Орду хлопотать о своих правах под тверским родичем.

Тем же Рождеством, значительно усилив князя Олега, умер Владимир Пронский, а первого марта — князь Еремей, подручник Михайлы Александровича. Тем же мартом, двадцать седьмого, в самом конце года, скончался тверской владыка Василий.

Михайло сидел у постели своего епископа, многажды пострадавшего за князя, а тот, умирающий, взглядывал заботно в очи своему духовному сыну и говорил, трудно справляясь с дыханием:

— Оставляю тя, сыне... Прости... В тяжкий час! Иван в нятьи московском... А токмо, молю, допрежь не говорил я того... Замирись, сыне! Земля не приемлет тебя! Поздно! Ратный труд... Людие гибнут... Что ж делать-то, княже! Видишь сам! Подвиг христианина в отречении! Смири себя перед Господом!

Михайло молчал. Умирающий боялся за него, не хотел оставлять одного пред ликом новой роковой трудноты. Сына могли уморить, отравить, зарезать — все могли! Умирающий епископ знал это слишком хорошо, но знал и другое, о чем с трудом и болью пытался поведать в свой смертный час.

— Земля не хочет! — повторил он со скорбью, и это были последние слова старика. Михайло сам закрыл ему очи, не подпустивши священника, и уже когда тело начало холодеть, встал, шатнувшись, крепко поцеловал владыку в лоб, вышел стремительно из покоя.

Земля его не хотела! Новгород вновь призвал к себе московского князя Владимира Андреича и, не желая смиряться с потерей Торжка, готовил, по слухам, новые рати. Князья крупных уделов выжидали, не ввязываясь в спор. Города приходилось брать приступом. Кто ведает, как повернулись бы события, не захвати его в тот раз князь Дмитрий с владыкою Алексием в полон!

Двадцатого апреля, совершив подкоп, бежали из Твери, из погреба, взятые в Торжке новогородцы Яков Ус и Глазач. (Захваченных новгородских бояр Михайло не отпускал, требуя принять своего наместника в Новгород.)

Весною же, едва сошел снег, в Тверь начали стягивать изо всех тверских и новоторжских губ мужиков на городовое дело. Копали ров и насыпали вал от Волги до Тьмаки, заключая город в кольцо новых стен.

Михаил сам руководил работами, требуя свершить невозможное, и невозможное было свершено, а Тверь в случае приступа московских ратей могла теперь выдержать любую осаду.

С Москвою не было в это лето ни мира, ни войны. В июне Мамай пришел набегом на Рязанскую землю, и князь Дмитрий со всеми силами Москвы и подручных княжеств все лето стоял у Оки, на переправах, готовясь к бою с Ордой.

В июле в Тверь приезжал посланец патриарха Филофея, болгарин Киприан. От Киприана вновь осталось у Михайлы странное впечатление: будто бы друг и будто бы вражеский соглядатай. Он толково и старательно выспросил и даже записал все неправды Алексиевы, обещав повлиять на мнение патриарха, и очень осторожно дал понять, что возможна замена старого митрополита иным лицом, о чем хлопочут и литовские князья, озабоченные тем, что подвластные им епископии долгое время остаются без пастырского окормления и надзора, «понеже митрополит не выезжает за пределы земли Владимирской». Предлагал также свое содействие в устроении мира с Москвой, указывая на общую беду, проистекающую от «нечестивых агарян, сиречь татар». Князь не ответил болгарину ни да ни нет, так и не понявши, кто перед ним: враг Алексия, посланец Ольгерда или тайный возлюбленник московского князя?

Длилось немое и грозное противостояние. Сын тверского князя, Ивашка, как звали его на Москве, сидел по-прежнему в московском нятьи, наместники Михайлы — по городам. По-прежнему выжидали, оставаясь в стороне, ярославский и ростовский князья. По-прежнему Борис не решался выступить один против Москвы и старшего брата и тем поддержать князя Михайлу — слишком очевиден был для него в этом случае скорый разгром. Тверские послы катались из Твери в Москву и обратно. Дмитрий требовал ежели не отказа от прав на владимирский стол, то, во всяком случае, признания его великим князем владимирским согласно последнему ярлыку Мамая и очищения захваченных городов.

Михайловы бояре медлили, ждали вестей из Орды, ждали, что Мамай победоносно перейдет Оку, и тогда возможно будет потребовать от Дмитрия передачи власти. В городах шумели самостийные веча, епис-

копы, ставленные Алексием, призывали к верности московскому престолу, посадские и купцы в спорах доходили до драк. Многие хотели заложиться за тверского князя, и все-таки Москва побеждала. Медленно, но неуклонно мнение земли поворачивалось в сторону князя Дмитрия, «законного», ибо государственные усилия митрополита Петра, Калиты, Симеона, а паче всего владыки Алексия дали свои плоды, связав судьбу русской земли с московским престолом. В какой час, в какой миг понял это и уступил князь Михайло?

Он уступил в этот раз без боя, уступил сам, после того, как зимою, двадцатого декабря, умер Михаил Василич Кашинский, а его сын, Василий, «по совету с бабою, с княгинею со Оленою и с бояры с кашинским приехал в Тверь ко князю великому Михаилу с челобитьем и вдашася в его волю». Это была победа. С подчинением Кашина Михаил Тверской сразу становился сильнее и мог вновь спорить с Москвой...

Он сидел один в горнице, куда удалялся теперь, когда одолевала тоска по сыну. Даже ежели Иван вернется домой, что они с ним содеют, что станет с детской душой после долгих месяцев заключения? Сломают? Ожесточат? Озлобят?! Что возрастет в его сердце? Отчаяние? Ненависть? Страх? Кого он увидит перед собою, получивши сына назад? Верни мне сына, Дмитрий! Да, ты доказал, что значит Орда! Чего стоит Мамай! Но чего стоишь ты, великий князь московский!

Мамай, получив серебро Дмитрия, удержал за собою Сарай. Михаил не винил Мамая, он просто перестал ему верить. Ждали размирья с Москвой — об этом шептали ему генуэзские фряги. Не дождались. Дмитрий простоял на Оке, так и не обнажив меча.

Олег после нынешнего погрома не союзник. Новгородцы Торжок не отстраивают, ждут, когда уйдут тверичи. Ольгерд опять послал войска на Волынь. Нынешнею зимой он не выступит.

Сколько может длиться нынешнее противостояние? Наместники захваченных городов доносят о смутах, не ведают, чем усмирять бунтующую чернь. Что же, он должен будет в каждом городе, как в осаде, держать тверскую ратную силу? Ярлык опять у Дмитрия, и это ведомо всем!

Да, он великий князь и останет великим князем тверским, ежели уступит Дмитрию. Лукавил он разве,

полагая Тверь, а не Москву наследницею власти в земле Владимирской? Сколь красноречиво глаголют летописи, и сколь жалок лепет потомков, в крови которых нет воли и мужества великих отцов!

Скрипнула дверь. По легким шагам за спиною узнал, не оборачиваясь, Евдокию. Поднял руку, предостерегая, дабы не говорила о сыне. Помедлив, сказал:

— У тебя их еще трое!

— Неужели?!

— Молчи!

— Я гадала нынче в Сочельник...

— Ну?

— И видела его лицо... Жалкое такое, думаю — болен!

— Алексий — врач. Болящего он вылечит, ежели не захочет уморить!

Евдокия всхлипнула. Страшась остаться и не в силах уйти, она стояла у порога, полуприкрывши дверь.

— Кто помогал новогородским узникам бежать? Пройти всю Тверь? Миновать стены и выйти из города? Измена тут, в городе! Князь я еще али нет?! Или и меня вместе с сыном продали Москве?

— Миша, милый... Мне страшно, я... боюсь за тебя!

— Бойся за сына! Я не сойду с ума и не перережу себе горла! Слышишь?! — Он яростно обернулся, вперил мрачный взор в растерянное лицо жены. Она задрожала, вот-вот упадет на колени, будет его умолять...— Ступай!

Покоя не было. Он встал. Сам запер за женою дверь. Расхаживая по горнице, вспомнил вдруг, как весело, со славщиками и крестным ходом, справляли нынешнее Рождество. Ему одному было не до веселья. То, что собиралось, скапливалось целый год, нынче прорвалось истечением гноя. Он ненавидел себя, других, родимую Тверь, престол, владыку Алексия, бояр, смердов, князей... Он был один! Он, как Кантакузин, надумал в одиночку спасать родину, а земля не хочет того. «Не хочет земля! — почти закричал он.— И твоя, тверская?» — вопросил спокойно внутренний голос, и Михайло, до того метавшийся взад-вперед по горнице, застыл, слушая, будто бы кто-то, внутри него сущий, разговаривал с ним.

— Ты же сам, сам отверг власть, отказавшись от татарской помочи! Мамай не простил тебе этого и не простит никогда! Ты плюнул ему в лицо, ты сказал

ему: «Вонючий степняк, не нужна помочь твоих грабителей!» — вот что ты сказал ему!

А Ольгерд! Будет он ждать, когда у него под боком возникнет великое Тверское княжество и, поглотив Новгород, начнет отбирать у него захваченные русские волости одну за другой? Ты ворог шурину своему, потому что захотел не подчиненья, не помощи сильного, а величия родимой земле и славы в веках!

А ратники, которые погибнут в напрасных боях? А сожженные города, сгоревшие иконы и книги, пеплом развеянная мудрость иных поколений? Ради чего ты снова и снова бросаешься в бой?

— Ради чего? — спрашивает Михаил.— Ради великого прошлого! Ради могил и памяти отчей! Ради тех, которые придут после нас и будут, должны ведать, что пращуры их не были половой, перстью, разносимою ветром, что были они отборным зерном и оно взошло!

— Война никого не учит и не воспитывает. Она только отбирает жизни. Воспитывает поколения мирный труд. Ежедневное усилие пахаря важнее подвигов на поле брани!

— Но и пахарь не жив без защиты и обороны воинской!

— Тебе предлагают мир, а не сдачу в плен. Дмитрий достаточно укрощен, а мненье русской земли тебе ведомо! — звучит бесстрастный внутренний голос.— Именно теперь, когда Кашин в твоей воле, уместно заключить мир с Дмитрием!

— Хорошо! — говорит Михаил, уже сдаваясь голосу, и повторяет вслух: — Хорошо! Но что настанет потом?

— Ты получишь сына! Это уже немало! И земля обретет тишину!

— А воля? А власть? А слава?

— Ты все это видел во время пожара Торжка! — жестоко отвечает голос.— И ужели не усладил себя до конца? Пять скудельниц трупья собрали после тебя в городе, не считая тех, кто сгорел без останка или утонул в Тверце! Татары не сумели бы совершить большего!

Михайло берет себя руками за голову, голова в огне. Череп вот-вот разорвет, вот-вот лопнут жилы и хлынет кровь и ему станет легко-легко, он исчезнет, обратится в ничто, и — тогда?

— Тогда твои бояре заключат мир с Москвой! — говорит внутренний голос.

— Значит, все дело во мне?

— Значит, так!

...И когда он уже решил в исходе ночи, такою отчаянной болью охватило сердце, что князь едва не умер, едва не упал под грузом задавленной страсти. Он, шатаясь, добрел до порога, цепляя непослушными пальцами, откинул щеколду... Ждала ли Евдокия или сердцем почуяла мужеву трудноту? Подхватила, довела до постели...

Наутро Михайло объявил боярам, что намерен заключить мир с князем Дмитрием, освободить захваченные города и выкупить сына Ивана. Дума не спорила.

О Крещении прибыли в Тверь долгожданные московские послы. Еще через четыре дня Михайло с Евдокией встречали старшего сына. Подросший отрок стеснялся отца, считая себя невольною причиной его уступчивости московскому князю, конфузился материных ласк. Перебыв у Алексия, стал привержен к молитвам и постам и как-то очень долго не мог взять в толк, что снова свободен вершить что хочет и скакать куда вздумается. Единожды отец застал его плачущим.

— Батя, я никудышный князь, да? — спрашивал Иван, давясь слезами.— Я должен был умереть, да?!

Михайло с трудом успокоил первенца. Самого после трясло: «Что я содеял с сыном!»

Были отпущены пленные с обеих сторон. Наместники Михаила съехали с захваченных городов. «И бяшеть тишина и от уз разрешение христианом, и радостью возрадовалися людие, а врази их облекошася в студ»,— записывал летописец, веря сам, что наступил конец тяжкой, раздиравшей русскую землю при и возможно станет, наконец, «отдохнуть христианом». Увы! До конца было еще далеко...

ГЛАВА 61

Истинные результаты устремления человеческих воль никогда не укладываются в заранее заданный замысел какого-то отдельного лица или группы лиц, сообщества, партии, ибо, во-первых, всегда есть противник,

мыслящий иначе, усилия коего тоже образуют составляющую исторического процесса. Всегда есть третий, четвертый и тому подобные «неприсоединившиеся» — носители иных воль и иных государственных устремлений. Всегда есть обстоятельства, порой нежданные, облегчающие или затрудняющие действия. Наконец, всегда есть «мнение народное», точнее — и не мнение вовсе, а труднообъяснимая внутренняя доминанта действования, отношения к делу, к событиям, приятие или неприятие нисходящих «сверху» устремлений. «Народ безмолвствует»,— написал Пушкин в своей гениальной заключительной ремарке, оканчивающей и как бы венчающей трагедию «Борис Годунов». Да, принял, да, не протестует, не мыслит даже, но — безмолвствует. Безмолвствует, когда должен бы был кричать.

Мы, в наши годы, на памяти поколений, переживших сознательно вторую и третью четверти XX века, видели не раз, как после истерических воплей, приветствий, массового психоза вдруг наступает это отрезвляющее, грозное безмолвие. Никто ничего не понял еще, и далеко впереди ученые изъяснения социологов, историков и писателей, но — народ безмолвствует.

Видели мы и то, как вдруг останавливаются отступавшие доселе армии, как люди, пробежавшие тысячи верст, начинают драться за каждый дом, ни пяди не уступая врагу. И ведь бежали и перестали бежать они все с теми же мыслями, с теми же лозунгами, с идеей все той же! Что переменилось в мыслях, во взглядах? Да ничего! Переменилось то, трудно определимое, в подсознании обретаемое и лишь с трудом, окольно, определяемое неточными словами: «духовный перелом» или «подъем», «внутреннее осознание»... Ну, кто-то произнесет к случаю слова, вроде: «За Волгой земли нет». А почто уж так-то и нету? Есть земля! Аж до самой Камчатки драпай — земля все та же! И, к слову, за Днепром, за Доном да и за Бугом была та же самая родная землица! Выходит, и такие вот вроде бы от сердца и в грозный час произнесенные слова мало что значат или же не значат ничего, а «срабатывает» невыразимое. Бежал воин, бежал, спасаясь, уходя от беды, и вдруг остоялся. Лег и начал стрелять. И то, что катилось за ним, давило землю железом, сеяло ужас, остановилось тоже, а затем покатилось

назад. Прав все-таки был Лев Толстой, хоть мы его и корим в учебниках за преклонение перед стихией...

Возвращаясь к четырнадцатому столетию, поре подъема, поре созидания великой Московии, не будем тоже забывать о народе, который безмолвствует, и постараемся распутать, елико возможно, клубок разноречивых усилий и воль, из соперничества которых слагались реальные, а не задуманные кем-то заранее исторические события и судьба страны.

ГЛАВА 62

1374 год начинался торжественно. Двадцать четвертого февраля (по мартовскому счету в исходе предыдущего, 1373 года) Алексий в Москве, в Успенском соборе, прилюдно, с целым сонмом иерархов, игуменов монастырей, архимандритов и попов, рукоположил во епископы Суздалю, Нижнему Новгороду и Городцу игумена нижегородского Печерского монастыря Дионисия.

Летописец владимирский, отмечая сие событие, отошел от обычной сухой краткости, с коей отмечались утверждения новых епископов летописью допрежь того, начертав длинный перечень заслуг Дионисия: «мужа тиха, кротка, смиренна, хитра, премудра, разумна, промышленна же и рассудна, изящна в божественных писаниях, учительна, и книгам сказателя, монастырям строителя, и мнишескому житию наставника, и церковному чину правителя, и общему житию начальника, и милостыням подателя, и в постном житии добре просиявша, и любовь ко всем преизлише стяжавша, и подвигом трудоположника, и множеству братства предстателя, и пастуха стаду Христову, и, спроста рещи, всяку добродетель исправлешаго».

Кроме начальных и обязательных слов о тихости, кротости и смирении (пламенный суздальский проповедник, коему пристало бы с крестом в руке, сверкая взором, вести рати на Куликово поле, был каким угодно, но только не тихим, не кротким и не смиренным), кроме начальных, повторим, обязательных слов, все прочее в этой похвале или, лучше сказать, панегирике, было истиной. Дионисий опередил Сергия Радонежского с Алексием в создании общежительных монастырей. Был истинно глубок знаниями, «книжен», как говорили в старину, и очень многое свершил для раз-

вития в Нижнем летописания и иконного письма. На его проповеди собирались сотни и тысячи народу. Он бестрепетно спорил с князьями, требуя от них мужества и скорейшей борьбы с Ордой. «Изгнать нечестивых агарян!» — этот призыв, невзирая ни на какие хитрые политические расчеты, он повторял ежечасно. В Орде отлично знали об этих его призывах. Еще Джанибек называл его «сумасшедшим попом Денисом», который заставит своего князя, ежели тот получит стол владимирский, тотчас выступить против татарской власти. Именно он, Дионисий Суздальский, создал, руками монаха Лаврентия в 1377 году, тот летописный рассказ о нахождении Батыевом, который дошел до нас в составе Лаврентьевской летописи и который не столько описывал то, что было на самом деле в 1238 году, сколько призывал к битве с захватчиками, живописуя ужасы нашествия и героизм тогдашних, к 1377 году уже легендарных, русичей, так что истинная картина захваченной почти без боя страны, князья которой больше стремились напакостить соседу, чем выступить заедино противу монголов, невеселая эта картина почти нацело исчезла, растворилась в великолепной ораторской прозе епископа Дионисия. Добавим, что «попа Дениса» хотела видеть своим епископом вся Нижегородская земля, суздальские князья полагали выдвижение Дионисия на престол делом своей чести и неоднократно хлопотали о том перед митрополитом всея Руси.

Затем, однако, Алексий и не ставил столь долго Дионисия во епископы Нижнему, что слишком хорошо знал о его неистовой страсти и воинственных призывах, и рукоположил наконец в нынешнем 1374 году только потому, что отношения с Ордой и с Мамаем по вине властного темника и его генуэзских советников испортились — хуже некуда и уже замаячил на окоеме тот роковой рубеж, когда, оставив недейственные слова, народы и государи берутся за оружие. А тут уже и нужны становятся люди, подобные Дионисию Суздальскому, способные камни и те поднять на борьбу пламенным глаголом своим.

...Епископы рязанский, ростовский, брянский и сарский съехались на хиротонию Дионисия. Леонтий-Станята, не так давно рукоположенный в сан пресвитера, в непривычном для себя атласном облачении стоял в ряду священства, остраненно наблюдая за Алексием.

Утром благовестили во все московские колокола, и народу в храме было — яблоку негде упасть.

Вот вышли на помост два ряда высших архиереев: четыре епископа, архимандриты, игумены, протоиереи.

— Благословен еси, Христе Боже наш, иже премудры ловцы являй, ниспослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, человеколюбче, слава Тебе! — поет хор иерархов и священников, и он поет, ожидая, когда из алтаря выведут Дионисия.

Вот нижегородский игумен кланяется у престола — дважды в пояс и третий раз земно,— затем кланяется собравшимся иерархам в царских дверях и торжественно сходит с солеи. Его ведут под руки, ставят на орлец перед помостом. В толпе движение, шорохи, шопот — толкаются, тянут шеи поглядеть на нового ставленника. Смолкает хор, и тотчас восстает высокий, отдающийся под сводами глас протодиакона:

— Приводится боголюбезнейший избранный и утвержденный архимандрит Дионисий хиротонисатися во епископа богоспасаемых градов: Суздаля, Нижняго Новагорода и Городца!

— Чесо ради пришел еси, и от нашея мерности чесого просиши? — вопрошает в наступившей тишине Алексий все еще ясным, хотя и несильным голосом. Сейчас, в блеске одежд, в жарком сиянии свечей, в роскоши осыпанных яхонтами, алмазами и жемчугом облачений, пестроцветье атласа, парчи и шелков, под ярко сияющими в иконостасе огромными образами суздальского, новогородского, тверского и московского письма, в виду многочисленных ратей лихих святителей, украшенных мужицкими бородами, писанных по стенам и сводам собора мастерами Симеона Гордого, перед толпою разряженных горожан, в громоподобных гласах мужского хора — во всем этом величии и блеске православной церковности — Алексий, в алтабасной митре, с драгим посохом, с рукою, слегка вздрагивающею от тяжести поднятого креста, видится ему очень-очень старым уже!

— Хиротонию архиерейския благодати, преосвященнейшие! — громко и как-то, возможно, излишне твердо отвечает Дионисий Алексию. Он тоже зело не молод! Но сух и прям, и огненосен взором, и видится оку Леонтия, что это — Дионисиев звездный час!

— Како веруеши? — вопрошает Алексий, и весь собор слушает гордые, в устах Дионисия, слова символа веры.

Алексий медлит, но вот протягивает крест и, благословляя крестовидно Дионисия, устало и как-то слишком обреченно произносит:

— Благодать Бога Отца и Господа нашего Исуса Христа и Святаго Духа да будет с тобою!

Вновь взмывает ввысь, отражаясь от сводов, глас протодьякона. Вновь Дионисий отчетисто излагает теперь уже догмат веры об ипостасях триединого божества, обязуется соблюдать каноны святых апостолов и семи вселенских соборов, хранить неизменно святые уставы церкви, хранить церковный мир и повиновение митрополиту и патриарху константинопольскому, быть в согласии с прочими архиереями, с любовию управлять паствой.

— Клянусь! — возвышает голос Дионисий.— Не творить ничесоже по принуждению сильных мира сего, даже и под страхом смерти! — И эта клятва, такая же традиционная, как и прочие, в его устах звучит неожиданно грозно и вроде бы даже вызывающе в стольном граде великого князя московского и владимирского — почему и невольный ропот в толпе: каждому из стоящих в церкви внятно, по-видимому, что для Дионисия это отнюдь не пустые слова.

Длится торжественное действо посвящения. Вновь следуют поклоны, многолетия, целования рук... «Что мы делаем?!» — думает Леонтий и вдруг нежданно понимает, что жизнь идет, и то, к чему призывает Дионисий, произойдет рано или поздно, не может не произойти! И что усталость и даже смерть отдельного человеческого существа — гибель Никиты и тысяч иных смердов и ратников, грядущая уже вскоре смерть владыки Алексия — все это ничто, ежели живы, ежели продолжают жить народ, язык, земля Русская! Он глубоко вздыхает, провожая взглядом гордую спину суздальского новопоставленного епископа, возвращающегося в алтарь. Складываясь двумя рядами, уходит, втягивается в царские врата атласная и золотая вереница иерархов церковных. Прилюдное действо окончено. Дальнейшее происходит там, у престола, а здесь начинается литургия.

В алтаре Дионисий становится на колени. Руки, сложенные крестообразно, на престоле. Голова опущена на руки. На темени его раскрытое Евангелие письменами вниз. Архиереи, столпясь, возлагают руки на Евангелие.

— Избранием и искусом боголюбезнейших архиереев и всего освященного собора,— говорит Алексий,— божественная благодать, всегда немощная врачующи и оскудевающая восполняющи, пророчествует благоговейнейшаго игумена Дионисия во епископа Суздалю, Новугороду Нижнему и Городцу! Помолимся, убо, о нем, да приидет на него благодать Всесвятого Духа!

— Господи помилуй, Господи помилуй, Господи поми-и-и-луй! — звучит хор.

— Сотвори, Господи, сего нового строителя тайн достойным своим подражателем! — просит Алексий, обращаясь к Богу.— Да будет светом сущих во тьме, светильником в мире, да предстанет престолу Его непостыдно!

На Дионисия надевают саккос, амофор, крест, панагию и митру. Епископы по очереди подходят и целуются с ним.

...Во время приобщения Святых Даров Алексий подает пресвитерам Тело Христово, а новопоставленный — Святую Кровь в чаше. Ведает ли кто-нибудь из предстоящих, что скоро, очень скоро, Дионисий приобщит крови не токмо себя и нескольких иереев, но и весь Нижний Новгород? И-то будет не преображенная, а самая подлинная кровь, причастная жертва, принесенная нацией на алтарь русской государственности!

По окончании литургии Дионисию вручается пастырский жезл — символ правления. Теперь его сможет остановить только смерть.

Поздно вечером Леонтий проник в келью Алексия. Владыка полулежал на подушках, прикрывши глаза. Служки суетились около него и, только завидя Леонтия, отступили, неслышно удаляясь из покоя.

— Леонтий? — вопросил Алексий, не открывая глаз.

— Будет война с Ордой? — вопросом на вопрос ответил Леонтий.

— Не ведаю! — Владыка приоткрыл вежды, взгляд его, поначалу мертвый, ожил и засверкал вновь.— Не ведаю, но мню, что нынче приходит пора новых людей. Тех, которые не будут ждать, терпеть и готовить грядущее, как мы, но творить и действовать, ввергаясь во брани!

Алексий все еще не был стар. Он и не мог угаснуть, не окончивши дела своего.

— Надобно напомнить володетелям, что престол великих князей владимирских — это теперь московский

престол! — докончил он твердо.— И что конечное сокрушение Твери — дело всей земли, а не только одного московского князя!

Тишина звенела. В колеблющемся свечном пламени лики святых поводили очами. Перед ним был все тот же Алексий, победивший Романа, выдержавший гибельное киевское заключение, руководитель страны, пастырь народа и смиритель царствующих.

— Помоги мне подняться, Леонтий! — просит он.— Я еще не свершал вечернего молитвенного правила!

И уже когда Станята держит в руках это иссохшее, с птичьими острыми костями тело, в коем заключен неумирающий дух небесного воина, Алексий договаривает ему:

— На днях едем с тобою в Тверь. Мне надлежит благословить Михаила Тверского и встретиться с Киприаном. Об этом через Иоанна Дакиана настоятельно просит Филофей.

ГЛАВА 63

В Твери Алексий должен был торжественно, при стечении всего народа, снять проклятие, наложенное им на Михаила, чего требовал и патриарх Филофей, и заключенный мир и попросту здравый смысл днешних политических отношений, а также рукоположить нового тверского епископа, Евфимия, что он и совершил на Средокрестной неделе, в четверг, девятого марта.

Посланец Филофея понравился ему. Киприан был истинно по-византийски образован, что не могло не расположить к нему Алексия, скромен, сдержан и совершенно равнодушен к телесным благам. Никаких жалоб на морозы, трудные дороги, непривычную еду, размирья и прочее, к чему так часто бывали неравнодушны приезжие из теплых западных стран, Алексий от него не услышал. О Литве Киприан судил здраво, хотя и очень сдержанно, не выказывая никакого мнения о литовских князьях. Даже внешний вид Киприана располагал — эта его аккуратная борода; застегнутая на все мелкие частые пуговицы долгая византийская сряда, сверх которой у Киприана была небрежно наброшена на плеча драгоценная (видимо даренная литвинами) кунья шуба, ценности которой он то ли не ведал, то ли не желал

знать, иногда оставляя ее в санях без догляда, ежели приезжал куда на краткий срок.

Леонтию Киприан, напротив, не понравился сразу. Были торжества, пиры, долгие службы. Остаться с глазу на глаз с владыкою все не удавалось. Случай представился уже в день отъезда.

Из Твери они должны были вместе с Киприаном ехать в Переяславль, где нынче находился великий князь и едва ли не весь двор. Дмитрий, возродив обычаи прадеда, почасту жил в Переяславле, где отстроил палаты, правда не в Клещине, а в самом городе, и охотничий домик для себя возвел в лесу, невдали от Берендеева, где дичь была непуганая и леса преизобиловали всяким зверем.

Леонтий зашел в маленькую горенку в верхних покоях тверского дворца, где отдыхал митрополит, и начал было торопливо и потому сбивчиво говорить о своих впечатлениях о Киприане.

— Зачем он вообще появился тут? Для чего ездит по Литве, а в Москву не явился ни разу?!

Алексий поднял руку, воспрещая Станяте дальнейшую речь. Взгляд его был устал и жалок.

— Филофей хочет установить добрые отношения патриархии с Литвой. Я не должен мешать ему в этом! — ответил он, а взглядом договорил то, о чем воспретил вопрошать: «Ежели Филофей Коккин и обманывает меня, мне о том неведомо, и я не желаю этого знать! На борьбу с человеком, коего я считал своим другом и коему верил, меня уже не хватит!»

Леонтий понял и замкнул уста.

И вот они едут в Переяславль. Все трое, вернее — семеро, ежели считать двух служек Алексия и двух спутников Киприана, в обширном, обитом кожею и устланном шкурами владычном возке. В окна, затянутые пузырем, льется слепительное мартовское сияние, сверкают сырые снега, поля истекают голубою истомой, голые прутья тальника напряжены, тела осин — зелены, и, птицы сходят с ума, уже почуяв весну. Возок колыхается, проваливая в мокрый снег. Вот-вот вскроются реки и рухнут пути.

Киприан сидит прямой, настороженно-спокойный, пряча руки в рукава то ли от холода, то ли дабы не показать невольным движением дланей того, что надежно скрывает гладкое лицо болгарина. Идет неспешная беседа на греческом. Не ведая, что Леонтий великолеп-

но знает язык, Киприан в разговоре учитывает одного Алексия. Этот старец сперва произвел на него жалкое впечатление, и Киприан был удивлен тою сугубою ненавистью, каковую столь ветхий деньми и телесным здравием муж возмог вызвать в Ольгерде. Однако, присмотревшись к Алексию в Твери, Киприан мнение свое переменил, уже догадывая, что избавиться от Алексия будет далеко не просто. В Переяславле он надеялся понять то, чего не мог постичь до сих пор: причин таковой великой популярности Алексия среди московитов. Или это тоже вымысел? Будь дело в Константинополе, Киприан мог бы сказать наверное, что у каждого мужа, чем-то любезного черни, врагов тем больше, чем более любим он охлосом. И потому свергнуть его так, как избавились от Кантакузина, более чем просто. Но тут была Русь, иная страна, иной язык, как уверяет Филофей,— еще молодой и тем самым избавленный от всех неизбежных пороков старости (как, надо полагать, и от старческой мудрости тоже!). Впрочем, ссоры по молодости подчас отличаются сугубою яростью! Неведомо, оставили бы Кантакузина в живых и на свободе императоры-иконоборцы! Во всяком случае, в разумном и направленном духовном руковожении эта страна очень нуждается! И, может быть, благом для Московии стало бы слияние ее с Литвой?!

Правда, князь Михаил, которого, со слов Ольгерда, Киприан счел сперва послушным литовским подручником, разочаровал его. Тут, видимо, была третья сила, плохо укрощаемая и с непредсказуемою последовательностью своих поступков...

Возок встряхивало. Русский спутник Алексия сидел недвижимо. Твердое, в тугих морщинах, как у бывалых моряков или воинов, лицо секретаря было непроницаемо и враждебно. Киприан помыслил вдруг: а что, ежели этому русичу знаком греческий? Нет, скорее всего, нет! Злится, по-видимому, именно потому, что не понимает ни слова. Дабы не слишком огорчать русича, Киприан перешел на славянскую речь. Тут только секретарь поглядел на него чуть удивленно, но снова замер, окаменевши ликом, как бы и вовсе не слушая. Ну, точь-в-точь, как вышколенные Ольгердовы холопы! Все же в варварских странах великое удобство представляет то, что прислуга верна своим господам и вместе с тем не вмешивается в разговоры и не наушничает. Ежели бы не опасение, что ему подсунут соглядатая, Киприан давно

бы завел себе прислужника-русича, с коим удобно было бы постигать прехитрую русскую речь, в которой столько неудобь произносимых гласных растяжений в словах, что разговор порою напоминает пение. Киприан еще не постиг, что русичи плохо понимают болгар именно из-за нагромождения не произносимых ими краткогласных созвучий. Однако он уже понял, что природного знания им болгарского языка здесь никак не достаточно, и даже выучился несколько «глаголить по-русску»... А все-таки, как приятно было дать себе волю и перейти на привычную греческую речь! Пусть Алексий плохой политик, пусть его надобно сменить (вернее, занять его место) прежде всего для того, чтобы привлечь к престолу патриархии литовских князей, не дать утвердиться в этой стране католичеству — все так! Но собеседник Алексий — чудесный, и давнее пребывание в Константинополе украсило его на всю жизнь!

Возок взлетает и падает. Никогда, наверное, он не привыкнет к этой длинной зиме, к этим ежегодно раскисающим и паки замерзающим дорогам, где три четверти года снег, слякоть, лед, лужи и грязь, а три месяца сушь и вязкая пыль... Скифия! Далекая страна, которую он обязан просветить светом истинной византийской культуры! Тут даже князья живут в деревянных, часто выгорающих домах, упорно не возводя себе каменных хором. И как редко населена! Откуда тут берутся многочисленные и сильные, как говорят, армии? Почему Ольгерд не примет православия и не подчинит себе всю эту землю?

Киприан легко, чуть заметно, пожимает плечами. Разговор течет вольный, касаясь последних константинопольских новостей, анекдотов из жизни Иоанна Палеолога, совсем запутавшегося в женщинах, долгах и интригах. Алексий вопрошает о нынешних цареградских изографах, а Станята-Леонтий молчит, ибо видит, что умный патриарший посланец утаивает от Алексия главное, то, для чего он и прибыл сюда, а владыка, словно и сам того хочет, поддается обману.

Для лиц, облеченных духовным саном, не существует границ, ежели таковую границу не устанавливает чужая, тем паче враждебная, вера. Во всех прочих случаях их не задерживают на мытных дворах и пограничных заставах княжеств, им не надобно объяснять, кто они, откуда и зачем. Ехали левым берегом Волги, потом переправились на правый по ненадежному весеннему

льду. Киприан уже приучил себя не выказывать наружного страха при этих сумасшедших русских переправах. Теперь ехали по землям Московского княжества. И попрежнему были почтительны к нему воеводы, бояре и ратники, все так же селяне просили благословить, а на постоялых дворах, «ямах», а то и попросту в припутных деревнях им мгновенно, не требуя платы, предоставляли еду, ночлег и корм для лошадей. Заметно, что здесь был бо́льший порядок, чем в Великом княжестве Литовском, где порою местные володетели не брезговали даже грабежом церковных имуществ, а проезд по дорогам был отнюдь не таким спокойным, как тут. И все-таки разве можно было сравнить русскую землю с многострадальной Болгарией, где на каждом шагу видишь памяти великой старины, а византийская и славянская образованность упорно живет, невзирая на все разорения, набеги влахов, сербов, татар и нависшую над страною угрозу турецкого завоевания!

Леса, леса и леса... Высокие горбатые лесные олени — лоси, с тяжелыми разлатыми рогами, выходят прямо на дорогу, стоят, фыркая на приближающийся санный поезд, и неохотно отступают в кусты. Давеча на той стороне Волги ясным днем видали медведя. Говорят, позапрошлым летом, когда стояла мгла, то дикие звери, медведи, волки и лисы, ослепнув от дыма, свободно заходили в города и в улицах сталкивались с людьми...

К Переяславлю подъезжали, спускаясь с горы, со стороны Весок, и белое, затянутое льдом озеро, и город открылся весь: в розовых дымах из труб и в игольчатом нагромождении храмов. Острые кровли и маленькие главки над ними, с куполами, похожими на луковицы, крытые узорною чешуей; монастыри; вал и рубленая городня по насыпу; белый, видный даже отсюда, каменный храм в середине города, строенный, как сообщил Алексий, еще до нахождения татар. Переяславль был не меньше Вильны, быть может даже и более, но явно уступал последней в каменном зодчестве.

— На Москве много каменных храмов! — как бы почуя Киприанову мысль, говорит Алексий. Ему не хочется объяснять, что в деревянных хоромах жить на Руси здоровее и удобнее — пусть Киприан все это поймет когда-нибудь сам!

— Вот в этом монастыре мои палаты! — говорит

Алексий, когда они уже приближаются к низко нависшей над головою бревенчатой башне въездных ворот.

— Я хочу увидеть вашего чудотворящего игумена Сергия! — говорит почти правильно по-русски Киприан. Алексий молча кивает. Он устал и хочет сейчас только одного: помолиться и лечь спать. Поразительно, но почему-то в присутствии этого болгарина он, Алексий, чувствует себя бесконечно старым! Леонтий смотрит на него с заботною тревогой; Алексий, дабы не волновать своего секретаря, через силу раздвигает морщины щек, изображая улыбку, и, подхваченный под руки, первым выбирается из возка. Их встречают. В монастыре и в городе звонят колокола.

Ночью Киприан, уже разоблаченный, уже улегшийся в постель, долго не спит. Почему-то именно здесь рассказ Дакиана припомнился ему во всех подробностях.

Патриарший поверенный в делах Руссии Иоанн Дакиан был человеком строгой и не подверженной никаким сомнениям веры. Но, сверх того, он был чиновником патриархии, в задачи которого входила и такая деликатная вещь, как проверка истинности сведений, сообщаемых при прошениях о канонизации того или иного подвижника. Он сталкивался с таким количеством подделок, обманов, суеверий и ложных чудес, что постепенно разучился им верить вообще. По его собственному разумению несомненными чудесами можно было признать лишь воскресение и вознесение Спасителя, все же прочее было ежели не вымыслом, то преувеличением и легко объяснялось без вмешательства высшей силы, ежели не являлось попросту колдовством, к проявлениям коего Дакиан был непримиримо суров. Поэтому рассказы о чудесах, сопровождавших рождение Сергия (тем паче, что такие же точно совершались, согласно житиям, со многими святыми отцами первых веков христианства), Иоанн Дакиан не воспринимал вовсе, а упорные толки о провидческом даре Сергия и совершаемых им чудесах приписывал склонному к вымыслу мнению народному.

С тем именно настроением Дакиан и отправился, как он сам рассказывал Киприану, посетить Сергиеву пустынь. «Возможно ли,— говорил он себе,— дабы в этих диких, недавно обращенных к свету Христову странах воссиял такой светильник, коему подивились бы и наши древние отцы?» Дакиан последние несколько поприщ шел в обитель пешком, так как по какой-то причине во-

зок не мог одолеть дорогу до монастыря. Воздух был, однако, свеж и напоен лесными ароматами, и Дакиан уверял Киприана, что он нисколько не устал и даже не запыхался. Однако, уже приблизясь к ограде монастыря, испытал ужас, тем больший, что причин для него не было никаких. Ужас этот не проходил и за монастырской оградою, а когда игумен Сергий вышел к нему (Дакиан уверял, что он даже не успел разглядеть лица преподобного Сергия), патриарший посланец вдруг потерял зрение. Это было непередаваемо страшно: мгновенная полная темнота! Сергий, то ли поняв, то ли ведая, что с ним, молча взял Дакиана за руку и повел в келью. Осторожно сойдя по ступеням, вошли в горницу. Дакиан продолжал, однако, ничего не видеть и тут; в этот вот миг он и почувствовал прожигающий душу стыд, повалился на колени и, плача, покаялся старцу в своем неверии, прося того излечить себя от слепоты. Сергий слушал его молча. Дождался, когда Дакиан, стоя на коленях, перестал говорить, свесил голову и просто молча лил слезы, вздрагивая, как когда-то, мальчиком, в далеком позабытом детстве.

— Довольно! — вдруг негромко произнес Сергий и, приподняв его голову за лоб, легко коснулся зениц прохладными кончиками пальцев, из которых как будто бы перетекла некая незримая сила. Так бывает при грозе, когда рядом ударит молния и покалывает и щекочет все тело, а по коже бегут мурашки. Дакиан прозрел, как и ослеп, сразу и вдруг. Он поднял глаза. Сергий стоял перед ним, задумчиво глядя на коленопреклоненного грека.

— Тебе, премудрый учителю, подобает учити ны, но не высокомудровать и не возноситься над смиренными! Зачем ты пришел? Ради какой пользы? Токмо уведать о неразумии нашем? Суетно сие! И стыдно пред праведным Судией, который все видит!

Дакиан позднее еще беседовал с Сергием, ночевал и назавтра пустился в путь, но о чем была дальнейшая беседа, совершенно не помнил, вообще говорил и повторял Киприану, что с Сергием надобно не говорить, а видеть его. Попросту с верою в сердце побыть рядом.

Все это Киприан запомнил, отнеся к тем нарушениям психики, которые бывают со всяким от усталости, страха или упорных мыслей. И только здесь, вдруг и нежданно, его обеспокоило. Он понял — и это была совсем новая, ирреальная, несвойственная ему мысль, —

что ведь ежели это так и все, сообщаемое о Сергии, правда, то ведь он, Киприан, не сумеет скрыть от этого старца своих тайных намерений! Мысль была оскорбительная и стыдная. Словно его, патриаршего посланца, последователя святого Паламы, уличили бы в воровстве. Он даже приподнялся в кровати. Подумал мгновением: не бежать ли ему отселе? Пока нелепость последней мысли не сразила его совершенно, и он вновь откинулся на подушки, приказав себе уснуть и сосредоточив на этом всю свою волю, воспитанную в те годы, когда он в афонском монастыре и сам, вослед великому Паламе, предавался исихии. Только тогда, наконец, его отпустило, страх минул и стало возможно погрузиться в сон.

Назавтра являлись к великому князю московскому, Дмитрию. Князь был молод (двадцати двух лет, сказали ему), и, конечно, этот ширококостный юноша с таким топорно сработанным лицом, по-видимому заносчивый и недалекий, не сам руководил страной! Московские бояре гляделись куда умнее, и отбивал Ольгерда наверняка этот вот волынский перебежчик, князь Боброк. Московская власть все переманивает и переманивает подданных Ольгерда. Конечно, столько земли, есть куда сажать!

Прием был недолог и не пышен. Дмитрий, когда ему повестили о приезде патриаршего посла, нежданно заупрямился. Не стал устраивать большого совета и даже платье надел обиходное. Киприана провели ко княжеской семье, дабы он благословил пышную голубоглазую красавицу княгиню и недавно рожденного ею младенца, а затем сдали на руки печатнику князя попу Дмитрию, или Митяю, как его тут за глаза называли все.

Митяй был в дорогом, явно богаче княжеского, облачении, поглаживая бороду, слегка улыбался. Был он могуч и крупен и с высоты своего роста оглядывал патриаршего посланца покровительственно. Митяй угощал Киприана тонко нарезанною дорогою волжскою рыбой, удивительной тройною ухой, переяславскою знаменитой ряпушкой и прочими благами русской, зело нескудной земли. И хотя стол был строго рыбный, но изобилие грибов, ягод, варений, многоразличных пирогов, пряников, орехов в меду, сладких восточных заедок было таково, что казался этот стол отнюдь не постным. Выставлены были в серебряных и поливных сосудах квасы, красное привозное вино и хмельной мед, и Киприан, как ни отказывался (Митяй, напротив, ел с

завидным аппетитом), встал из-за стола в слегка осоловелом состоянии.

Не прекращая трапезы, уписывая разварную севрюгу, черпая ложкою тускло мерцающую черную икру, Митяй легко вел беседу, щеголяя знанием святоотеческой литературы, несколько раз цитировал по-гречески, и, когда выведенный из терпения Киприан попробовал было сбить спесь с княжеского печатника, задав вопрос, касающийся тонкостей богословского истолкования евхаристии, Митяй тут же явил блестящее знание литургики не токмо православной, но и католической, но и армянской, не говоря уже о кочевниках-несторианах. Нет, решительно, ущемить чем-либо этого иерея было невозможно, хотя, когда зашла речь о Григории Паламе и паламитах, Митяй попросту отмахнулся от вопроса: «А! Молчальники! Тут у игумена Сергия есть один такой... Исаакий, кажется...» И в тоне голоса, в снисходительном пренебрежении взора почуялось, что сей зело начитанный муж не видит никакой нужды, ни смысла в духовных упражнениях молчальников, почитая их едва ли не дураками, творящими исихию по убогости своей. Невыразимого словесно, тайного, постигаемого не умом, но разогревающимся молитвою сердцем для Митяя явно не существовало.

Объевшийся и уязвленный, Киприан покинул княжеские покои, так и не понявши, зачем его принимали и чествовали. То ли в угоду Алексию, то ли дабы соблюсти дипломатический этикет в отношениях с патриаршим престолом. Говорить в особицу с боярами, что-либо выяснить из внутренних отношений московского великокняжеского двора ему так и не удалось. Киприан даже начал подозревать, что виною тому сам Алексий, не пожелавший, дабы посланец патриарха уяснил себе внутренние язвы здешней государственной и церковной политики. Не боится ли он разоблачения? — гадал Киприан, заранее настроенный против Алексия и убежденный, что недовольных его правлением на Руси должно быть великое число.

Земля, однако, была богата. Виделось это и по снеди, ежедневно доставляемой в монастырь, и по нарядам знати, и по малому количеству нищих и сирот на папертях храмов, хотя предыдущие годы были зело тяжкими, поскольку ратный раззор усугубился засухою и неурожаем...

Ехать в Троицкую пустынь, как собирался Киприан,

стало неможно из-за раскисших путей. Но ему обещали, что старец вскоре должен явиться в Переяславль сам вместе с племянником Федором, игуменом Симонова монастыря на Москве.

— Как же они-то доберутся сюда в распутицу? Неужели верхом?! — удивленно спрашивал Киприан. Ему только улыбались в ответ.

Старец пришел в лаптях и с посохом, в крестьянской дорожной сряде из грубого сукна, линялого, заплатанного и покрытого странными белесыми пятнами. Они вместе с племянником добирались, оказывается, какими-то потайными тропами через леса, где под елями, в гущине ветвей, еще держался твердый наст и возможно было пройти на коротких охотничьих, подшитых лосиною шкурою лыжах.

Услышав обо всем этом и увидев путников с торбами за плечами, старого и молодого, которых он, ей-богу, принял бы за нищенствующих крестьян, Киприан только вздохнул.

Алексий, принимая старцев, радостно раскрыл объятия. Сергий скользом, стремительно, озрел Киприана, прежде чем подойти к нему для лобызания. От старца пахло заношенною сермягой, дымом и лесом, с лаптей его и мокрых до колен онучей тут же натекли лужи, чего никто из русичей как-то вовсе не замечал, и только сияющий Алексий вопросил что-то, указывая на дорожный вотол Сергия. Тот весело рассмеялся, а Федор, блестя глазами, рассказал, что сукно это, с пятнами, испорченное при окраске, никто из братии не пожелал брать, и тогда сам Сергий сшил себе из него вотол и вот носит в укор инокам, которые теперь казнят друг друга за прежнее глупое величание.

Сергия здесь явно любили. Горицкий настоятель, келарь, эконом, экклесиарх, иноки, служки бегали в хлопотах, теснились получить благословение у троицкого игумена.

Скоро старцы, разоболокшись от верхней одежи, перемотав онучи (сменная сряда была у них захвачена с собой), сменив мокрые лапти на сухие (Федор, так тот достал и не лапти, а легкие кожаные выступки) и отстояв короткую благодарственную службу в храме, были уже в настоятельском покое, за столом, уставленном хотя и не бедно, но отнюдь не так, как был уставлен стол у княжеского печатника. Сверх того, и оба игумена, хотя и выхлебали уху и отдали дань

разварной рыбе, как-то очень быстро отстранились от едва утоленной ими плотской нужи, являя истинный пример того, что не плоть, но дух должны водительствовать в теле смыслена мужа, тем паче — старца.

За столом говорили больше о монастырских надобностях, Киприан же, присматриваясь, молчал. Рассказанное Дакианом не выходило у него из головы. Впрочем, старец Сергий был, ей-богу, не страшен! Худощавый, с лесными озерными светлыми глазами, быть может несколько близко расположенными друг к другу, что придавало его взору по временам какую-то настороженную остроту, с рыжеватою густою копною волос, заплетенных сзади в косицу, со здоровою худобою запавших щек, он, невзирая на свои пятьдесят лет, почти еще не имел седины в волосах или морщин на лице да и не горбился станом. Руки у него были мужицкие, грубые и одновременно чуткие, с долгими перстами. Странные руки, ибо решить по ним, кто перед тобою — пахарь, плотник или философ — было бы даже и затруднительно.

Племянник Сергия был свеж, воинствен, ярок взглядом, хотя и более хрупок, чем Сергий, и, видимо, очень увлечен делами созидаемого монастыря. Ему было едва за тридцать, возраст мужества, когда уже неможно медлить и размышлять, а надобно творить, созидать, делать, иначе пропустишь, истеряв на суетные мелочи, всю дальнейшую жизнь. И, видимо, Федор хорошо понимал это и спешил изо всех сил исполнить жизненное предназначение свое. Временами на его щеках являлся чуть лихорадочный румянец, а брови сурово хмурились. В нем бушевала, бурлила внутренняя, сдержанная токмо воспитанием и навыками монашества энергия, переливая изредка через край, и потому то, что делал он, казалось и ему и окружающим даже — «самым-самым». Самым важным, самым существенным теперь, когда войны, моровые поветрия, возмущения стихий, многоразличные беды,— именно теперь важнее всего созидание общежительных обителей, ибо только они возмогут явиться вместилищами духа и питомниками духовных водителей Руси! Федор был к тому же иконописец, и это чуялось в страстных движениях рук, коими он достраивал, живописуя в воздухе, украсы речи, когда не хватало слов. Старец Сергий сдержанно и чуть-чуть лукаво наслаждался племянником.

Оттрапезовав, перешли в гостевую келью, и тут наконец разговор перешел на дела константинопольской патриархии. Старец Сергий как-то незаметно стушевался, сев сзади на лавку, и, к вящему облегчению Киприана, кажется, задремал. В разговоре, то и дело переходя на греческий, участвовали: Алексий, Федор и игумен Горицкого монастыря. Федор, оказывается, тоже изучал греческий и имел неплохое произношение, хотя слов ему порою и не хватало. (Выяснилось, что учителем его был византийский монах, тоже Сергий по имени, перебравшийся на Русь и достигший в конце концов, переходя из монастыря в монастырь, Троицкой пустыни.)

Киприан, избавившись от взгляда светлых насторожённых глаз, почти позабыл про радонежского игумена. Федор жадно расспрашивал о попытках Палеолога установить унию с Римом, заставив Киприана прочесть целую схолию об отличиях римско-католического вероучения от православного, причем коснуться пришлось не токмо пресловутого «филиокве», догмата о непорочном зачатии Богоматери и принципа соборности — поскольку папы претендовали на высшую непререкаемую власть в христианской церкви,— но и устройства и уставов монашеских орденов, в частности, ордена миноритов, но и толкования предопределения в сочинениях Августина Блаженного, но и политической борьбы Венеции с Генуей на Греческом и Сурожском морях, но и отношений Галаты с Константинополем, но и споров внутри императорской семьи, но и турецкого натиска и соответственно требований мусульман к православным храмам и греческому населению в захваченной ими Вифинии...

Киприан говорил и видел, что Федор жадно впитывает все, запоминая и делая для себя какие-то внутренние выводы. Ему пришлось объяснять, как устроены патриаршьи секреты, что делают хартофилакт, сакелларий, протонотарий и прочие, кто и как обсуждает грамоты, посылаемые на Русь, и еще многое другое, чего он не очень и хотел бы долагать русичам, но, однако, рассказывал, уступая необычайному напору Федора Симоновского.

Алексий сидел, отдыхая, слушая и любуясь юною горячностью Сергиева племянника. А Сергий все это время отнюдь не спал, а внимательно смотрел в спину Киприану и, уже не вдумываясь в слова, начинал все

более чувствовать и, чувствуя, понимать этого велеречивого синклитика.

Когда он понял, что Киприан прибыл на Русь, дабы сменить Алексия, улыбаться ему уже расхотелось. Он стал внимательнее разглядывать Алексиево лицо. Неужели владыка не видит, кто перед ним? Или... Нет, Алексий не хотел видеть этого! А Киприан? На чем он строит возводимое им прехитрое здание? На благосклонности к нему литовских князей? Но они все тотчас перессорятся со смертью Ольгерда! Страна, в коей не уряжено твердого престолонаследия, не может уцелеть за пределами одного, много — двух поколений! Неужели ему, византийцу, сие не понятно?! На чем еще держится его уверенность? На благосклонности Филофея Коккина? Но патриархи в Константинополе меняются с каждою сменою василевса, а власть нынешних василевсов определяют мусульманин-султан и католическая Генуя! О чем они мечтают? О каком соборном единстве православных государств?! Когда Алексий вот уже скоро двадцать летов пытается объединить под твердою властью никогда не распадавшееся вполне Владимирское великое княжение и еще не возмог сего достичь! На какой непрочной нити висят прегордые устроенья и замыслы сего болгарина! Господи! Просвети его, грешного! Да устроение единого общежительного монастыря важнее всего, что они замыслили там у себя вместе с патриархом Филофеем! Да ведь еще надобно выучить, воспитать способных к устроению сих обителей учеников! Он вспомнил вновь недавнее свое, в начале зимы сущее, видение слетевшихся райских птиц... Тогда он, одержимый беспокойством и тоскою по Федору (сыновцу, и верно, трудно приходилось в ту пору на Москве), особенно долго молился в одиночестве своей кельи... Да, чудо! Одно из тех, в которые патриарший посланец явно разучился верить! Да, труд всей жизни надобен для того только, дабы вырастить малую горсть верных, способных не угасить, но пронести светочи далее, разгоняя тем светом мрак грешного бытия... Ведь оттуда, из греков, пришло к ним благое слово Учителя! Ведь и ныне не угас огнь православия в греческой земле! И вот он сидит перед ним в келье, муж, украшенный ученостию, искушенный в писании и не понимающий ровно ничего! Ни того, что замыслил сам, ни того, на что надеется...

«И не поймет? — спросил себя Сергий.— И не пой-

мет! И все-таки он надобен? — спросил Сергий опять.— В днешнем обстоянии от латинян? — уточнил он вопрос.— Алексий понимает, конечно, что Ольгерду нельзя позволить создать особую литовскую митрополию. Тогда погибнет православие, поглощенное Римом, а с ним погибнут истинные заветы Христа. Возможно, потому Алексий и приемлет Киприана?»

Когда расходились, Киприан чуял себя так, будто бы выдержал ответственный экзамен или победил в диспуте, и даже несколько свысока поглядывал на престарелого русского митрополита, не догадывая, что русичи давно уже раскусили его. Федор же Симоновский, выходя следом за болгарином, оборотил вопрошающий взор к Сергию, и наставник ответил ему слегка приподняв и опустивши ресницы.

— Мыслишь,— спрашивал Федор вечером, когда они остались одни,— сей Киприан восхощет низложити владыку Алексия?

— Мыслю тако! — вздыхая, отозвался Сергий.— Однако, он стоек в православии! И что содеяти в днешнем обстоянии, когда церковь наша еще не укрепилась пустынностроителями и не окрепла духовно,— не приложу ума!

Оба опустились на колени перед божницею и замерли, моля Господа вновь и опять подать им силы в борьбе за победу добра.

ГЛАВА 64

Громоздкая мордовская мокшана подходит к берегу. На яркой, разбитой ветром и веслами в тысячи солнц воде, на слепительной кованой парче многочисленные суда у берега кажутся черными. Город вздымается на горе, точно дорогое ожерелие в венце только-только возведенных каменных стен и башен. Нижний Новгород! Первый большой княжеский город Руссии. Кафинские купцы, генуэзцы и армяне уже суетятся, готовясь выгружать товар. Большой холщовый парус тяжко и гулко хлопает над головою. Выбрасывают длинные весла, и неуклюжий нос мокшаны начинает уваливать к берегу. Ветер наполняет парус, но течение сильнее, и кажется, что мокшана стоит на месте, а волны жадно и торопливо облизывают ее смоленые черные бока.

Путешествие было трудным. Из Кафы ехали карава-

ном, с охраною, береглись. На нижней Волге опять начиналась война, Мамай столкнулся с Черкесом, который сидел до того в Хаджи-Тархане спокойно, а тут надумал отобрать у Мамая Сарай, и, пользуясь ратным безвременьем, вооруженные шайки татар, черкесов, ясов, беглых русичей напропалую разбойничали в степи. Вздохнули спокойнее, уже когда погрузили товар на мокшану. Судно то тянули на долгом ужище конями, бредущими по берегу, то подымали парус и начинали грести — и все же это было спокойнее, чем каждую минуту подвергать жизнь и добро опасности потери... И вот теперь подходили наконец к Нижнему.

Высокий густоволосый грек, жилистый и худой, в наброшенной на плеча хламиде и в коротких штанах, открывающих икры сухих мускулистых ног, босой, без шапки, со спутанною ветром длинною черною бородой, стоял у борта мокшаны, следя подплывающий берег. Руки его, сильные и ухватистые, с долгими коричневыми перстами, крепко вцепились в поручни. (Он и весь был оливково-темен, пропечен солнцем и словно выдублен и высушен во многих водах и песках пустынь.)

Грек был недвижен, и только его темно-голубые, почти черные глаза, глубоко сидящие в глазницах, быстро обегáли берег, башни города, ряды бревенчатых лабазов, вереницы мачт и ярко раскрашенную резьбу русских судов, волнующуюся на пристани толпу, по временам убегая ввысь, к небесам, и тогда белки его глаз на темном лице начинали сверкать почти зловеще. Грек был горбонос и весь как-то остр и встревожен, напоминая большую степную нахохлившуюся птицу — не то орла, не то ощипанную дрофу, не то аиста. Серая хламида поминутно сползала у него с плеч, открывая широкий ворот когда-то голубой туники, выступающие ключицы и сухую шею с большим кадыком.

Русский слуга, раб, купленный на рынке в Кафе, подошел сзади. Улыбаясь, позвал грека на смешанном греко-русско-половецком наречии, на котором говорили в Кафе и Суроже:

— Господин! Подходим уже! Калиги одень!

Грек обернулся, глянул ослепленно, не понимая, потом, завидя протянутые ему слугою русские сапоги, тоже улыбнулся в ответ, причем его до того грозное носатое лицо преобразилось почти волшебно: глаза

вспыхнули, стали юными, губы под усами сморщились, словно от сдерживаемого смеха, и веселые морщинки разбежались от уголков глаз. Но улыбка как вспыхнула, так мгновенно и угасла. Грек сожалительно протянул ногу. Слуга, опустившись на одно колено, быстро обмотал ногу портянкою, сунул в сапог, тотчас принялся за другую. Потом встал, отряхнув ладони, поправил на господине сползающую хламиду, вытащил и застегнул погоднее фибулу, а затем, сняв со своего плеча, подал господину тяжелый кожаный пояс. Грек, отогнув хламиду, опоясался, застегнул бронзовую, со львиною головою, пряжку ремня, проверил, здесь ли кожаный мешочек с греческими иперперами и итальянскими дукатами, а также нож, огниво и каменная краскотерка, привешенная к поясу там, где у других полагается быть оружию.

— Вот ты и прибыл на Русь! — значительно произнес грек.

Покупая раба, он, нарочито выкликая, искал пленника из Московии, куда собирался ехать, и нашел этого юношу. Точнее, юноша сам пробился к нему, упрашивая купить и отвезти в Русь, ибо он три года тому назад был захвачен литвинами во время войны, продан в рабство татарам, пас стада кобылиц в степи, обморозил ноги и потому был уступлен задешево венецианскому гостю, который, опасаясь турецких пиратов, предпочел часть малоценного товара продать на месте, в Кафе. Ноги у юноши, впрочем, уже подживали, хотя часть пальцев и пришлось отрезать, спасаясь от трупного заражения. Со слугою Феофан (так звали грека) договорился следующим образом: тот довезет его до своей родины, выучит языку и, отработав свою полную стоимость вместе с дорожными расходами господина, станет затем свободным человеком. Грек не прогадывал. Обещая свободу, он покупал преданность и мог не страшиться того, что слуга ограбит его, убежит или, как то тоже бывало неоднократно, выдаст в руки торговцев живым товаром.

Мокшана глухо стукнула о причал. Отдавши кормчему причитающуюся тому плату, грек в сопровождении тяжело нагруженного юноши сошел на пристань. Купленный раб тащил мешок с дорогими красками — несколькими кусками лазурита, киноварью и пурпуром, кожаную суму с кистями и инструментом, потребным изографу, коему приходилось в те века самому делать

все, начиная от растирания красок и до подготовки доски, левкаса и паволоки, которую наклеивают сверху доски, прежде чем начать писать икону. Приезжий грек имел с собою к тому же несколько книг и инструмент для выглаживания извести, ибо был не просто изографом-иконописцем, но и мастером самой сложной, фресковой живописи. В круглой деревянной коробочке на поясе у него хранились свитки грамот, удостоверяющие, кто он и откуда, причем одна из них была подписана самим патриархом Филофеем.

На пристани осанистый боярин в летнике с откинутыми назад рукавами, сощурясь, озрел тюки, бочки и ящики, махнул рукою, приказав нести в клеть, где взвешивали товар и брали мытное и лодейный сбор, на грека поднял недоуменный взор, обозрев с удивлением голенастого, худого и косматого путника, однако, услышав слово «изограф», пожевал ус, подумал, кивнул на мешок за плечами раба: «А тамо што?» — услышав, что краски, потрогав кисти в отверстой для показа суме, вопросил:

— Драгих камней не везешь? Яхонтов тамо, бирюзы, лалов? — Грек решительно потряс головой, намерясь было явить весь свой нехитрый скарб, но боярин, подумав, махнул рукою: — На владычный двор вали, к Дионисию! — И отвернулся, пропуская художника на берег.

Поминутно оглядываясь, грек надолго замирал пред каждою диковиной, каковою для него оказывались то резные ворота терема, то две бабы с ведрами в вышитых домотканых запасках, то мужик в серой холщовой рубахе распояскою и в лаптях, обтесывающий новую воротную верею, вырубленную из цельного ствола с корнем,— он даже повертел головою, знаками вопросив, как мужик намеревается ставить столб, вниз ли или вверх корнями, и только поняв, что корень будет зарыт в землю, удоволенно покивав головою, двинулся дальше. Заметив наконец, что слуга совсем изнемог, грек начал оглядываться по сторонам, ища харчевню.

— Чего ето он? — окликнула баба от калитки. Слуга, отирая взмокший лоб, посетовал:

— Да вот, приезжие мы, путники, изнемогли совсем!

— А зайдите, зайдите молочка испить! — живо откликнулась баба.

Грек, пригнувшись и едва не разбив лоб о притолоку, пролез в жило. Оглянул любопытно двухцветную —

янтарно-желтую понизу и черную поверху от приставшей сажи — горницу, присел, оглядываясь, за стол у маленького, в полбревна, прорубленного окошка. Дождав, когда пенистая белая влага наполнила берестяные кружки, поднял свою, осторожно выпил и тотчас стал рассматривать прихотливый берестяной узор, видно вырезанный тоненьким ножичком и наложенный в несколько слоев вокруг сосуда. Хозяйка отрезала кусок хлеба, налила еще молока, пожалилась на жарынь:

— Опять ни капли дождя! Верно, и сенов и хлеба не станет! — Вопросила, верно ли, что в Орде мор. Воздохнула всею грудью, примолвила обреченно: — Вскорости и до нас дойдет!

— И кони мрут? — вопросила заботно опять.

— И кони! — ответил слуга.

— И коровы?

— И коровы тоже!

— Коровушек-то жалко! — горестно покачала головою хозяйка.— Опять липову кору толочь! — И тут же, заметив, что у гостей опорожнены сосуды, налила еще молока из глиняной, грубо украшенной зеленою и белою поливою кринки.

— Пейте, пейте, с дороги, дак!

Когда грек предложил ей плату, баба даже руками замахала испуганно:

— Што ты, што ты, батюшко! Век того не бирывала! Путника не напоить, с гостя плату взять — грех непростимой! — И уже на походе, когда путники выбирались из жилья, ополоснув, сунула слуге в руку берестяной узорный туесок-кружку.— Передай хозяину своему, любовал, дак!

Таково было первое знакомство Феофана Грека с Русью. И, сама не подозревая о том, безвестная нижегородская баба эта больше сделала, чем последующие сановитые хозяева, князья и епископы, принимавшие византийского мастера, для того чтобы изограф, приехавший только лишь выполнить несколько работ по заказу местных володетелей, похотел затем остаться в этой стране навсегда, сделав Московию своею второю родиной.

Грек-изограф продолжал идти, как он и шел допрежь, рассматривая все по сторонам, что находил достойным внимания, и откладывая в памяти своей. В улицах стояла пыль, было жарко. До двора епископа они добрались только к полудню. Чуднóго, с голыми

икрами, путника остановили в воротах, но потом вышел старший придверник и, услышав греческую речь, провел гостя в покои епископа. Греку со спутником предложили омыть руки и проводили в трапезную, не разделяя господина от раба, как полагалось бы в Кафе, Константинополе или Галате. Впрочем, обычаи тут устанавливал сам Дионисий.

Епископ принял изографа ввечеру. Греческий язык он знал превосходно, грамоты, привезенные Феофаном, лишь проглядел, больше присматриваясь к самому мастеру. Изограф, в свою очередь, сразу же оценил жгучий взгляд и решительность лица русича, его краткую, полную сдержанной силы речь, в коей он немногими строгими красками набросал нынешнее состояние страны, раздираемой сварами князей и угнетаемой агарянами, «рекомыми половцами или татарами»,— как несколько витиевато изобразил Дионисий ханов Орды и их кочевое войско.

— Горестное угнетение православных! Скорбь, и нужа, и гнев Господень, сведомый на ны! Ныне паки в стране иссохли нивы, близит глад и мор на люди и на рогатый скот такожде! И беда та опять же надвигается на нас от безбожных куманов! Людин, зашедший во храм, возведя очи горé, должен узреть не покой, но боренье духовное! Должен постигать телесными очами то, о чем речет Григорий Палама: яко смертный муж в борении постигает бессмертную энергию горняго света!

Феофан склонил голову. Далее они оба целиком перешли на греческую речь, и уже епископ, прерываясь, начинал внимать Феофану.

— Не был в Галате, не зрел! — произнес Дионисий наконец, оканчивая беседу и вставая.— Но егда возможешь изобразить красками то, о чем ныне глаголал, тебе, и паки тебе поручит князь Дмитрий Костянтиныч, по слову моему, подписывать созданный им два лета назад храм Николая Святого!

В ближайшие дни греческий мастер получил келью, корм и несколько русских подмастерьев. Он тут же поручил им готовить доски для пророческого ряда нового храма, а сам взялся писать «Деисус» в полтора человеческих роста, почему уже к концу второй недели от любопытствующих приходилось очищать мастерскую.

Работал Феофан яростно. Когда возник на доске писанный в полный рост Иоанн Предтеча, сам князь

явился к художнику вместе с епископом и боярами и долго рассматривал то образ, полный какой-то неслыханной доселе силы и рдеющего, словно бы изнутри пробивающегося наружу, огня, то всклокоченного, с голыми жилистыми руками, в одном хитоне, перемазанном красками, мастера, который писал прямо по подготовленной доске, без перевода и оттиска, не заглядывая ни в какие подлинники. Дмитрий Константиныч живопись любил, понимал в ней и, справившись с первым ощущением необычно тревожного, что и привлекало и отвращало в письме грека, в конце концов одобрительно склонил голову и, пошептавшись с епископом, осторожно покинул покой. Дионисий взошел полчаса спустя, удоволенно сияя, повестив, что храм Николы князь поручает расписывать Феофану и просит его руководить изографами-русичами, которых всех передает под его начало.

Феофан, у которого после бурных приступов вдохновения наступало опустошение (сейчас подошел именно такой час), токмо помавал главою, измученно поглядев на епископа. Но Дионисий, сжившийся с изографом, которого за протекшие дни выучился понимать вполне, не оскорбился тем нимало и, выйдя из покоя, приказал эконому озаботить себя доставкою твореной извести из Суздаля, где она доспевала в ямах, устроенных еще рачением покойного Костянтина Василича, когда он только-только задумывал перебираться в Нижний,— и собирать мастеров.

ГЛАВА 65

В один из дней Феофан, идучи на работу в собор, был остановлен толпами горожан, запрудивших улицы. Раздавались крики, возгласы, вопли.

— Ушкуйники? — вопросил он, ибо на днях слышал про северных новгородских разбойников, пограбивших Вятку, Булгар и всю Ветлугу. Поскольку ему сказывали и о давешнем набеге охочих молодцов на Нижний, то художник вообразил, что прошедшие Волгой грабители ворвались в город.

— Ушкуйники?! — спрашивал он, вертя головою, зажатый в мятущейся толпе.

— Татары! — ответили ему.

В самом деле, по улице ехали на конях косматые степные всадники. На набег это, впрочем, было непохоже. Степняки не обнажали оружия, разве изредка, взмахнувши плетью, отшибали с дороги зарвавшихся смердов.

Почти не понимая русской речи, он ухватывал происходящее больше глазами и ухом, ловя музыку ропота, то жалобного, то грозно-негодующего. Ежели татары свои, почему такие крики и шум? Татар было много, очень много, и когда они прошли, Феофан с трудом пробился на епископский двор.

Слуга, Васко, как он сам себя называл, изъяснил, наконец, Феофану, что происходит в городе. Оказывается, явились Мамаевы послы с дружиною, и дружина в тысячу или того более душ. Требуют подарков, кормов, начинают грабить, уже разорили торг, с горожанок срывают головные уборы и украшения, выдирая серьги из ушей. Словом, все так, как бывало когда-то при хане Узбеке. *Словно вернулись прежние времена, словно* не было сокращения дани и ослабы от татарских баскаков и послов.

В этот день ему не работалось. Да и две трети подмастерьев пропадало в улицах. Город шумел, не затихая, даже и в ночь. В иссохших проулках столбами стояла пыль. Горожане боялись пожаров, и это увеличивало сумятицу. Феофан в конце концов бросил кисть и, кликнув холопа, вышел на площадь. Откуда-то несло дымом и запахом подгорелого мяса, глухо гомонили ордынцы, город шумел, там и тут перебегали какие-то тени.

Он ожидал узреть то же, что в Константинополе: растерянную чернь, ратников, древками копий расчищающих дорогу,— но тут было нечто иное, неведомое ему и грозное. Навстречу молча валила толпа оборуженных топорами, вилами, рогатинами и дрекольем мужиков. Передовой яростно выкрикивал что-то.

— О чем он? — вопросил Феофан.

— Да год тяжел! — отозвался холоп.— Бают, хлеба нет, мор, а тут татар нанесло, корми их да ублажай! Не хотят, вишь!

«Не хотели» русичи совсем не так, как византийцы. За первой ватагой двигалась вторая. Художника грубо остановили. Кто-то схватил Феофана за локоть.

— Не с нами?

— Не видишь, грек! — громко возразил второй.

Перед лицом Феофана качалась широкая, бычья, косматая морда хмельного мужика. Несло пивною брагой.

— Грек! — вымолвил он, прибавив неподобное, и отпихнул изографа к тыну. Эти тоже были все оборужены, на иных посверкивали даже брони.

Феофан потер ушибленное плечо, провожая глазами, старался отчетливее запомнить буйный лик горожанина.

— Восстание? — вопросил он. Холоп Васко молчал, дыша тяжело. Явно боролся с собою, желая кинуться вослед мужикам, и только благодарность вытащившему его из Орды греку мешала холопу тотчас бросить господина и, схватя что попало под руку, бежать за толпой.

Утром, прикорнув часа на два, Феофан проснулся оттого, что тревожно били колокола. Колокола, захлебываясь, трезвонили по всему городу. Он встал, накинул верхнее платье. Васко, с покрасневшими от бессонницы глазами, ждал его, давно одетый, а может, и не раздевался вовсе, а, проводивши вечор господина, снова устремил на улицу. Феофан не спрашивал.

В церкви было не пробиться. Из ропота и выкриков толпы слуга выуживал для него необходимые, чтобы хоть что-то понять, слова.

Татары погромили церковь в слободе. Одрали серебряные оклады с икон. Люди ждали, что скажет епископ. Дионисий явился над толпою, как воплощенный гнев Господень. Весь смысл бросаемых им с амвона огненных слов сводился к одному:

— Доколе! Доколе терпеть грабежи, насилия, ругательства святыням? Доколе мирволить безбожным язычникам и бесерменам сущим? Чего еще ждете вы, граждане нижегородские, вы, великая Русь?!

И — стронулось. Согласный уже не ропот, рёв ответил епископу. Смерды с исступленными лицами пробивались наружу. Княжеской сторожи нигде не было видать, верно попрятались. Феофан, как и прочие, не ведал, что ночью у епископа с князем была пря, и князь, не сумевши уговорить Дионисия, уступил, скрылся, оставив город и татарских гостей на волю Божию, а точнее — на волю своего воинственного епископа.

На площади перед собором неожиданно явились несколько татар в оружии, и — началось! Прижатый к стене собора, стоя на паперти в стеснившейся толпе нищенок и калек, Феофан узрел, как разом истаяли все заборы вокруг площади, как в жутко очерченный просверком стали круг ворвался смерд с ослопом и оглушил

татарина ударом по голове и как толпа шатнулась, дернулась, колья взмыли над головами и кучка обнаживших оружие ордынцев была разом смыта и затоптана воющею толпой. А колокола продолжали бить, вызванивая набат, и в их высоком голосе, в волнах прокатывающегося по площади гомона и рева тонули визги и вопли избиваемых.

Полторы тысячи татар были уничтожены, выбиты, вырезаны в какой-нибудь час озверелою, потерявшей всяческое человеческое подобие толпою и теми вооруженными дружинами горожан, что сходились ночью, окружая княжеский двор.

Князь с дружинниками с трудом сдерживали горожан, рвущихся в палаты, защищая самого татарского посла Сарайку и его знатных мурз с ближнею дружиной, что, перепав, прятались за спинами русичей. В конце концов Дмитрий Костянтиныч сам явился на площадь к народу и клятвенно, осеняя себя крестом, обещал держать спасенных татар взаперти, на воеводском дворе, яко заключенных, отнюдь не пуская их в город.

Все это слышал, вернее, видел Феофан и не удивил тому, что слуга воротился к нему много спустя раненный, но с сияющими глазами, и пока Феофан сердито перевязывал ему грудь, рассказывал, захлебываясь, как резали татар в торгу.

Уложив холопа, Феофан прошел в мастерскую и сел на трехногий табурет, прямь начатого им «Спаса». Нет! Здесь, в Руссии, Спас должен был быть не таким! Не вознесенным горé, надмирным и недоступным охлосу, но столь же неистово-страстным и токмо возвышенным над низменною природою бытия! Да и само понятие «охлос» — толпа, подлая чернь — здесь, на Руси, вряд ли было применимо! Демос, народ! Как они сумели в одну ночь, без князя, создать дружины, почти армию, ибо с тою, виденной им только что, безоружной толпою татарская тысяча справилась бы с легкостью!

Он еще раз внимательно и пристрастно оглядел прорись образа. Да, изображение никуда не годилось! Здесь, на Руси, надобно было и писать иначе, чем в Константинополе или Галате. Здесь улица врывалась в храм, и храм отверзался на площадь. Неведомо, слышали ли сии смерды что-нибудь о свете фаворском и Григории Паламе, но те незримые энергии, коими Господь творит мир, зримо присутствовали в них, в этой

грозной толпе, и должно живописать о них и для них именно так! Борением Духа побеждая борение страсти и во плоти, пронизанной огнем, являя высоту и величие Горняго!

Он сам аккуратно разбил яйцо, тщательно растер краску (ни одного из русских помощников не было с самого утра), нерешительно приблизился к еще не написанной иконе. Первые очерки давались с трудом, рука утратила былую уверенность, за линией не чуялось силы, но вот — это приходит всегда нежданно, и этого никому не изъяснить — его как бы повело, потянуло, рука все увереннее вела и вела линию, нечто открывалось ему, веяло тут, в воздухе. Должно быть, в такие-то мгновенья и нисходит озарение высшей силы на изографа! Он бил яйца, мешал с пивом и уксусом, растирал краски, макал кисть, накладывал, убирал лишнее — все, будто во сне. Образ рос, яснел, пронзительно проступал на белой поверхности левкаса, сам собою создавая глубину, невесомо-бестелесный и полный жизни, требовательно-строгий и пронизанный неземным пламенем...

И уже ввечеру, накладывая белилом последние безошибочные движки, почти теряя сознание от усталости и наступающего упадка духовных сил, он, оглянув, заметил столпившихся учеников и выползшего из кельи Васька, который тоже смотрел молча, придерживая повязку. И, узрев ужас восхищения в их устремленных к образу Спаса глазах, понял, что ныне сотворил должное.

ГЛАВА 66

В ограде Троицкого монастыря ржут кони. Парубки в богатом платье и оружии вяжут лошадей к коновязям. Молодой, в облаке первой мягкой бороды, белозубый и румяный, кровь с молоком, сияющий улыбками князь в светлом травчатом летнике, в щегольских зеленых, шитых шелками и жемчугом сапогах идет по монастырскому двору, обходит или перепрыгивает пни, летник расстегнут, откинутые рукава и полы свободно полощут по воздуху, на суконной, с отворотами и круглым бархатным верхом шапке соколиное перо укреплено большим изумрудом, вышитая сказочными узорами и цветами грудь рубахи сверкает, точно дивный сад, пояс украшен серебряными капторгами с гранатами и бирюзою, ножны дорогого, аланской работы ножа — в золоте.

Сергий ждет, стоя у крыльца и улыбаясь ответно. Он в летнем холщовом подряснике, перепоясанном даже не ремнем, а веревкою, и в суконной заношенной донельзя шапке, похожей на небольшое перевернутое ведро.

Князь Владимир Андреич, весь, с ног до головы, струящийся радостью, роскошью и красотою, легко и картинно опускается на колени, кланяется старцу в землю, ждет, не подымая головы, благословения и встает только после того, как Сергий легко осеняет его крестным знамением. Целуя твердую, пахнущую смолою, дымом и ладаном руку, Владимир произносит вполгласа:

— К тебе, отче! С великою просьбою!

Сергий кивает, он уже понял и приблизительно догадывает, о чем будет князев запрос.

Растесненный к ограде народ — несколько крестьян и старух странниц, приволокшихся в монастырь по своим надобностям: кому нужда дитятю окрестить, кому отпеть покойника, кому освятить новое хоромное строение или окропить святой водою болеющую скотину, кому просто глянуть на Сергия, к которому наезжают князья и бояре, а он, вишь, даже шелковой оболочины не завел! Теперь они во все глаза наблюдают редкое зрелище: знатного боярина, князя ли в дорогом зипуне, коней под узорными седлами, покрытых попонами из тафты, княжеского скакуна с узорной чешмою на груди — вздыхают, любуются красотой.

Сергий восходит по ступеням своей кельи, прикидывая на ходу, кого оставить игуменствовать вместо себя, ежели брат Стефан того не восхощет.

В келье Владимир Андреич, осенив себя крестным знамением, крепко, руки в колени, садится было на самодельный столец, но Сергий мягко, одним движением, дает ему понять, что юный князь нарушил устав.

— Помолимся, сыне! — говорит он, и Владимир готовно вскакивает, становясь рядом с Сергием перед божницею. После молитвы, опять не тратя излишних слов, одним лишь мановением бровей, троицкий игумен вопрошает, постился ли князь и не вкушал ли пищи с прошлого вечера? Владимир вертит головою: «Как же! Конечно нет!» И Сергий ведет его в храм. Обедня уже окончилась, и он причащает князя святых тайн прямо в алтаре.

Когда они возвращаются в келью, Михей уже поставил на стол лесные ягоды в деревянной чаше и квас. Князь с удовольствием пьет, озирая келью, полную в этот час мягкого солнечного сияния, несмотря на крохотные оконца, прорубленные с истинно крестьянским бережением к теплу.

— Город у меня! — говорит он, обтирая усы.— Серпухов строю! — И чуется, по тому откровенному удовольствию, которое звучит в голосе князя, что созидание города для него много более, чем обязанность, но и любовь, и утеха, и гордость — всё тут! — Из единого дуба стены кладу! — хвастает он.— И дани все отменил! И гостям даю леготу! Вот! И со сторон призываю — селись, кто восхощет! Наместником мой окольничий, Яков Юрьич, Новосилец! — И опять в ликующем голосе двадцатилетнего князя звучит упоение радости. Давать, дак полною мерою! — словно бы говорит он.

— Монастырь! — произносит, утверждая, Сергий, и князь, не удивляясь ему, кивает согласно.

— Монастырь! Хочу, отче, дабы сам, своими руками... И избрал, и место означил...— Владимир краснеет, делает движение пасть на колени опять. Сергий удерживает его, думает.

— Афанасия с тобою пошлю, игуменом! — твердо решает он и, воспрещая дальнейшие просьбы князя, договаривает: — Заутро поедь, княже, к себе, а яз, не умедлив, гряду за тобою!

Владимир кивает. Он счастлив. Грешным делом, захватил даже с собою на всякий случай спокойного верхового коня, ведая, конечно, что старец повсюду ходит пеший, но... все-таки!

Назавтра блестящая вереница всадников, сверкая оружием и одеждой, втягивается на узкую тропинку, постепенно исчезая в лесу. Дружина Владимира, кроме одного лишь думного боярина, не старше своего князя. Все они только что отстояли службу, причастились и теперь уже весело хохочут, шуткуют, горяча коней. Сергий, проводивший князя до ворот, следит взглядом ликующую толпу молодежи, и на лице у него добрая улыбка наставника, коему весело зреть, как резвятся на отдыхе ученики, покинувшие на мал час тесный покой училища.

Сам он выходит назавтра, в ночь, в дорожной суконной сряде, с плотницким топором за поясом и с посохом, провожаемый одним лишь Афанасием, коему

надлежит принять игуменство в еще не созданном общежительном монастыре «на Высоком», церковь которого, во имя Зачатия Пресвятой Богородицы, преподобный заложит своими руками уже через несколько дней.

Никнут хлеба. Яровое уже погорело полностью. С Троицы — ни капли дождя. Два инока идут по дороге, минуя деревни, где мычит погибающая скотина: ящур, «мор на рогатый скот, кони и люди», как записывал летописец. Только в укромности, под лесом и в низинах, растет хлеб, только маленьких однодворных деревень в чащобе лесов не досягнул мор. На дороге лежит вспухшая, мерзко пахнущая корова. Сергий идет к ближней деревне за заступом. Роют яму. Долгою вагой спихивают туда корову, забрасывают землей.

Ночуют в лесу. Сосут захваченные из дому сухари. В Москву, в Симонов монастырь, они попадают назавтра к вечеру. Незаметно для себя Сергий разучился ходить быстро, по шестьдесят — семьдесят верст в сутки, как в молодости. Короче становится жизнь и длиннее дороги. И именно теперь время особенно дорого!

Поздно ночью (Афанасий уже спит) Федор досказывает дяде московские новости: о погроме татар в Нижнем; о том, что юный кашинский князь Василий, замирившийся было с Михайлой после смерти отца, поссорился вновь с тверским великим князем и прибежал на Москву, а значит, вновь стало возможным ратное размирье; что болеет тысяцкий; что мор, распространяясь по земле, уже достиг Переяславля и Рузы; что пришлые иноки с трудом и скорбию привыкают к навыкам общежительства...

Наконец они гасят свечу и укладываются спать, рядом, на одной постели. И Сергию, когда он уже засыпает, слушая тихое дыхание Федора, вдруг становится единовременно горько и сладко, он почему-то вспоминает давно покинутый дом, Ростов, откуда нет-нет да и приходят к нему в обитель иноки, почитающие и до сих пор Сергия «своим», ростовским, угодником... Тихое веяние жизни, простой, земной, незаметной, той, которою жил до самой смерти своей его и Стефанов младший брат Петр, жил, и умер, и погребен в Хотькове, и навряд кто даже теперь вспомнил бы о нем, ежели не они со Стефаном!

— Господи! — произносит он одними устами и повторяет: — Господи! Укрепи меня! Больше ли я прочих?

Ведь и я грешен, и страстен, и одержим унынием, как и все! И свершаю подвиг с тем же усилием воли, какое надобно любому смертному!

Федор спит, беспокойно вздрагивая. Он недосыпает, недоедает, он очень спешит, видимо, чувствуя, что срок жизни его не столь долог, как у учителя, и надобно успеть свершить все задуманное при жизни своей...

Город строят тысячи народу. Голод согнал на строительство Серпухова мастеров аж из-под Можая и Дмитрова. Ухают дубовые бабы, звучит несмолкаемая частоговорка топоров, вереницею отъезжают телеги, нагруженные землей. Город строят тысячи, и два инока в посконине, мерно проходящие сквозь толпы работного люду и развалы земли, не влекут ничьего внимания. Но именно им надлежит содеять то, без чего город мертв и являет собою лишь плотское, тварное скопище людское, живущее, как и трава, и скот, и звери, и птицы, по законам животного естества. Они, иноки, должны подарить городу свет. Внести в это кишение плоти жизнь Духа. И тут ошибиться нельзя. Почему юный князь и скакал именно к Сергию, к Троице, дабы не подменить свет обманкою, ложным, отраженным блеском мертвого слова.

Храм жив возносимою в нем молитвою, монастырь — подвигом инока, город — праведником, находящимся в нем. И без праведника не стоит ни город, ни село, ни весь. Потому и проходят неспешно два усталых, осыпанных пылью инока, удаляясь к устью реки, туда, где будет поставлен Сергием монастырь «на Высоком». И пусть Афанасий, проживши несколько лет, оставит игуменство и уедет в Константинополь, где купит келью в монастыре, да там и умрет, посылая на родину иконы и книги. На его место тотчас придет другой игумен. В сраме войны, мора и глада, в кипении злых страстей, в деловом перестуке секир, в усилиях пахаря, в мужестве воина — страна жива праведником!

Сергий, мерно ударяя посохом в землю, проходит сквозь город. Он пройдет, он уйдет, угаснет его земная жизнь, протекут столетия, но памятью преподобного Сергия будет и через столетия славиться наша земля.

ГЛАВА 67

На Москве пыль, жара, вонь, всяческая неподобь. Ветра нет, и в Кремнике не продохнуть. Но дума все-таки собралась. Из Орды прискакал с важными вестями Федор Кошка, а из Нижнего — тесть великого князя московского, Дмитрий Костянтиныч, самолично повестить об избиении Мамаевых татар и попросить совета у зятя.

Душно. Бояре то и дело отирают обильно струящийся по лицам пот. В деревнях у них, у каждого, в разгаре скотий падеж, голодные мужики, умирают люди и кони... И все-таки тут собрались победители, не желающие уступать ни завоеванной нынешней власти, ни накопленного предками добра. Кошка похудел, видимо изнемог и замотался в Орде.

— Что надобно Мамаю?!

— А шут его ведает! — отзывается Федор Кошка, дернув плечом.— Нынче его Черкас вновь выбил из Сарая, дак злобствует, требует нового серебра!

— Хватит!

— Попил кровушки! — раздаются дружные голоса.

— Кабы год как год, а то моровая напасть, засуха, кони дохнут! С каких животов?!

— Как таковая пакость могла произойти? — вопросил осторожный Афинеев суздальского князя. Дмитрий Костянтиныч глянул надменно, но и великий князь Дмитрий тоже перевел взгляд на тестя, следовало отвечать. Голенастый сухой суздальский князь гневно дернулся.

— Денис! — высказал единым словом главное.— Смерды, вестимо... Голод, грабежи... А тут в соборе: «доколе», мол! — князь сердито отводит взгляд.

— Где посол? — вопросил, в очередь, Иван Мороз.

— Сарайка? Сидит с дружиною на воеводском дворе! — устало отзывается князь.— Я приставил охрану и корм выдаю.

— Сколько их? — поинтересовался Александр Всеволож.

— Да сотни... две наберется, ежели всех сосчитать! — неуверенно протянул Дмитрий Костянтиныч.

— А было?

— Полторы тысячи!

Бояре молча переглядываются. Кое-кто полез в за-

тылок пятернею. Нижегородские смерды славно-таки поработали!

— А ночто и вел эстолько! — высоким голосом возражает Григорий Пушка.— Узбековы времена похотел воротить! Ну, разорили бы несколько городов, народу побили! Того хотите, бояре?!

Ему не отвечают. Только Данило Феофаныч, в очередь, утирая красным тафтяным платом взопревший лоб, произносит спокойно:

— Такого Мамай не простит!

— Да и так-то...— поддержал Данилу Дмитрий Зернов.— Послов ить побили! Нехорошо! Не по закону таковое творить!

— Смерды...— отозвался устало Дмитрий Костянтиныч.— Не сдержать было!

— Тамо таковое дело,— вновь заговорил Кошка.— В Хорезме сейчас подымает голову Тимур, сильнее его нынче никого нету; в Белой Орде Урус-хан, тоже воевода суровый. И тот и другой без нашей помочи живо Мамаю хребет переломят! И так уж все волжские грады истерял! Сидит на Дону, на вчерашних половецких кочевьях, от кафинской торговли да от нас токмо серебро и емлет. А все новым Батыем себя мнит! Требует даней, как при Чанибеке-царе, а на-поди! А того в толк не берет, сколь ему уже за ярлык заплочено! Не поддержал бы Михайлу, не вверг нож в ны, дак и дань мочно бы дать по-старому!

Мужающий князь на престоле тут разлепил губы, сказал заносчиво (хотел спокойно и твердо, но не получилось):

— Прежней дани ему от нас не видать! Придет на Русь — встретим с оружием!

Бояре, многие, скоса глянули на своего князя. Редко доселе размыкал уста, но владыки нет, и должен же князь когда-то начинать править?!

— С оружием...— протянул, покачавши головою, Матвей Бяконтов.— А где оно?

Окольничий, Тимофей Василич, сказал отрывисто:

— Рати не собраны! Надлежит помыслить путем! А токмо и уступать Мамаю не след!

— Не след, не след! — согласно закивали бояре. Князь Дмитрий обвел глазами хмурые боярские лица. Обижаться раздумал. Что бы он сам натворил, кабы еговую тысячу ратных ни за что ни про что истребили в степи?

— Кто там в Орде мутит?! — подал голос со своего места Иван Вельяминов. Дмитрий сумрачно глянул на него. Федор Кошка поднял голову, подумал, отмолвил кратко, единым речением:

— Фряги!

— Ентим чего надобно? — недовольно вопросил князь.

— К нашему Северу руки тянут! — пояснил Кошка.— Меховой торг мыслят в свои руки забрать!

— Ежели пустить их...— произнес кто-то на дальней скамье.

— Пущай до того завоюют Москву! — взрывается Иван.— У нас един фрязин печорскую дань емлет, дак и то вскорости всю Печору до зубов обдерет! Пустим — станет Сурожский стан Галатою, а мы — обобранным Цареградом! Все серебро мимо нас прямиком в Кафу поплывет, а оттоле — в Генуя! Я как тысяцкий первым не позволю того!

Грамоту злополучного фрязина Андрея подписывал князь Дмитрий. Не стоило б Ивану о том поминать! Князь глядит на него не мигая, потом закусывает губу и отворачивает пошедшее пятнами лицо. Федор глянул на князя и, сожалительно, на Ивана Вельяминова. Коли власть, дак уж власть! Неча тебе было, Иван, называть себя тысяцким при живом батьке, хоть ты и сотню раз прав! — подумалось ему.

— Меховой торг будет у нас, на Москве! — медленно произносит Дмитрий, справясь со своею яростью. Иван Вельяминов в этом случае был, разумеется, прав, и не стоило ему так уж гневать на него за смелое слово. Хоть и не тысяцкой он вовсе, а токмо сын при отце!

— Ну дак и што, пойдет походом на нас Мамай? — уточняет Иван Мороз, сжимая кулаки и плотнее усаживаясь на лавке.

— Покудова не пойдет! Силы нет! У них в степи тоже мор на скотину! — возражает Кошка.— А только дурак, дурак! Власти хочет, а друзей не видит своих! Фряги его и обведут, и выведут, а сказать — не́как!

Общий вздох проходит по палате. Раз не возмог Кошка, кто иной возможет уговорить Мамая не наломать дров?

— Черкес, баешь, выбил его из Сарая? — вопросил опять Афинеев.

— Черкес! Мамаю прямая выгода при етой напасти

держаться Москвы! Нам бы дал леготу, и свою голову, гляди, уберег!

— Дак станет ратиться?! — твердо вопрошает Иван Мороз.

— Когда ни то да станет! — ответствует Кошка, вздыхая.

— А побьем?!

Федор усмехнул, подумал, прищурил взгляд, будто поглядел куда-то туда, за леса, за реки, в далекую половецкую степь. Отозвался, помедлив:

— Быват, и побьем! Коли Ольгерд с Михайлой тою порой в спину нам не ударят!

И новая волна прошла по рядам преющих в духоте бояр московских, коснувшись и самого князя Дмитрия. Тверь оставалась главною зазнобой, и пока Михайло не согласил с грамотою, передающей великое княжение в руки Москве, все еще могло совершить во Владимирской Руси!

ГЛАВА 68

Все это тяжкое лето, когда на Руси и в Орде свирепствовал скотий мор и не выпало ни капли дождя, Василий Васильич Вельяминов пролежал в болезни. Ему становилось все хуже, временами отказывала память. Он то начинал неразборчиво говорить с кем-нибудь из отсутствующих или умерших, то упорно звал на очи старшего сына. Дело шло к концу. С началом сентября — когда пошли запоздалые дожди, небо заволокло облачной пеленою и свинцовые тени наползли на измученные леса и обмелевшие речные излуки, воздух посвежел, обрадованно залопотали жестяные листья осин, а березы начали горестно гнуться и роптать, жалуясь ветру на поздний его приход,— тысяцкому стало совсем плохо. Со дня на день ждали смерти.

Семья великого князя с начала августа прочно перебралась в Переяславль. Дуня была на сносях, а в Переяславле, под защитою леса и на берегу обширного озера, все-таки легче дышалось, чем в раскаленной Москве, затянутой дымом горящих торфяных болот.

Дмитрий, заслышав, что старый тысяцкий очень плох, сам, верхом, прискакал на Москву. Пересаживаясь на подставах с коня на конь, он проделал весь путь от Переяславля за один день. Марья Михайловна,

иссохшая, скорбная, молча встала и, отдавши поклон князю, вышла из покоя.

Василий Василич лежал бессильный, и его большое тело казалось ненадобным и даже оскорбительно-лишним перед величием смерти. Дряблая плоть рождала горькую мысль о разложении, о телесной, жестокой гибели, напоминающей гибель скошенной моровым поветрием скотины, раздутые тела которой торопились зарыть, дабы не распространять заразы. Дмитрий невольно содрогнулся. Это был уже не его дядя, суровый наставник в трудах воинских, некогда заменивший ему отца. В этом разлатом, потерявшем усилие воли лице, в этих жалко приоткрытых губах, в тяжелом, со свистом и хрипами, дыхании, в клокастой, спутанной бороде, краснине набрякших век, мутности взора — во всем этом так мало оставалось от того, прежнего Василь Василича, что князя охватило темным, нерассудливым ужасом: бежать! Но вот лицо умирающего дрогнуло, взгляд стал осмысленнее, и бледный окрас улыбки коснулся искаженных губ.

— Не узнаешь, княже? — хрипло и медленно вопросил умирающий.— Прежнего меня, говорю, не узнаешь?

Дмитрию стало стыдно себя, и он, опустивши голову, закусил губу. В нем самом еще столько было жизни, что иначе, чем сторонний, пугающий ужас смерти он не воспринимал.

— Сына тебе оставляю, не обиды! — тихо выговорил Василий. Князь не ответил ему. Помешал комок, подступивший к горлу. В этот миг он, наверно, простил бы Ивану Вельяминову все его истинные и вымышленные грехи.

Дмитрий тихо поднялся. Постоял, подумал. Не сумел заставить себя нагнуться и поцеловать на прощание дядю, хотя и ведал, что не увидит его больше живым. Когда вышел из покоя, смертная одолела усталость. Едва добрался до терема, до княжой постели...

С Иваном Василь Василич говорил за два дня до смерти. Как часто бывает перед кончиною, тело, уступившее смерти, перестало мучить его и тысяцкий обрел полную ясноту разума. Он причастился, посхимился, был переодет в монашеское одеяние и наречен Варсонофием. Ивана призвал к себе одного. Ясно и твердо повестил, что умирает, что на него, Ивана, оставляет

Москву. Долго вглядывался в гордое лицо сына, сказал наконец:

— Помни, Даниловичей поставили мы, Вельяминовы! Нам и отвечать за них, коли что...

Сын сидел у смертного ложа монаха-отца сгорбясь. Уже немолодой сын, на пятый десяток пошло. У Ивана старшему сыну, Федору, перевалило за двадцать и внук нарожен — Микула-Рогушка. Иван после отца станет неслыханно богат, богаче самого великого князя московского. С должностью тысяцкого это — великая сила. Ведал из рассказов отца, как дедушка Протасий защитил Москву от Михайлы Святого. Не защитил — стала бы Тверь столицей земли! Сами поставили! Не сказал и никогда не баял того отец, но в голове у Ивана само собою сложилось невысказанное: «Сами и переменить заможем!» Просто так, не из чего сложилось, вроде как поговоркою. Отец умирал, и самое великое наследство, которое он оставлял Ивану, была власть тысяцкого.

Василий Васильич умер семнадцатого сентября. Все Вельяминовы собрались у смертного ложа. Оба брата — Тимофей и Юрий Грунка, племянник Иван Воронец, трое сыновей Василь Василича — Иван, Микула и юный Полиевкт, сын Тимофея Семен, дети Юрия, внуки, Мария Михайловна, дочери, снохи, племянницы, жена Микулы Марья, сестра великой княгини.

С Тимофеем явился его бессменный печатник и казначей Козьма, один из немногих, допущенных в круг вельяминовской семьи. Все прочие — приказчики, волостели, управители, главы купеческих братств, гости торговые, ремесленная старшина — теснились в большой столовой палате терема. Двор был полон глядельщиками, посадскими,— на похороны сбежалось пол-Москвы. От великого князя прибыли бояре. Алексий сам почтил прах, когда Василия опускали в землю в соборе Богоявленского монастыря, рядом с могилами отца и деда, и закрывали тяжелою каменною плитой.

Наталья Федорова примчалась в Москву на пятый день после похорон. Марья Михайловна встретила Наталью сама на себя не похожая, так похудела и так поблекла за протекшие дни. Обнимая, разрыдалась. Горе как-то опростило ее, уравняло с прочими.

— Чего будет, чего будет! — повторяла, рыдая, не в силах унять слезы. Наталья поняла только одно: великий князь не был на похоронах и не прислал Ивану грамоты, а уже идут толки, что многие бояре

требуют от великого князя поставить тысяцким вместо Ивана кого другого.

— Баяла покойнику! Призвал бы Митрия-то, ужотко живому-то, поди, не отказал в етой милости! Гордый, вишь! Не захотел просить! Да ты ешь, ешь! С поминок! Всего столько напекли, настряпали — на полгорода хватит!

Наталья ела севрюгу и пироги, пила дорогой сбитень и сама уже начинала трепетать вместе с Марьей Михайловной: а ну как тысяцким станет кто другой? Так надеялась сына вывести в люди через Вельяминовых! И Никита, почитай, всю жисть служил ихнему роду!

И думала так не одна Наталья — тысячи народу на Москве, связанных разноличными узами с домом тысяцкого. Трепетали, ждали, гадали, надеялись. Для всех них тысяцким уже давно был Иван Вельяминов, и теперь, поскольку от великого князя не было вестей, все они, вспоминая дело Алексея Хвоста, гадали: что-то будет?

Неизвестность мучила больше всего самого Ивана Василича. Многажды собирался он скакать на поклон к Дмитрию и — отлагал. Не чаял от того для себя добра. А слухи шли, и надо было заниматься делами, оповещать князей, которых великий князь Дмитрий по совету Алексия задумал собрать к себе, дабы обсудить с ними нужды страны, а проще сказать — напомнить о своем первенстве в земле Владимирской. И делать это приходилось от имени тысяцкого, то есть от своего, возбуждая этим сугубые боярские пересуды...

Наталья видела его всего раза два. На девятинах, куда была приглашена среди немногих самою Марьей Михайловной, и позже как-то столкнулась с ним в тереме на переходах. Иван шел — высокий (он был выше отца, статью вымахал в прадеда, Протасия), весь какой-то неотмирный и строгий, не шел, а точно парил, и побледневшее, с очень темными оттого бровями и ресницами лицо было остраненно-холодным, пока он не столкнулся с Натальей, что называется, нос к носу. Он вытянул руку, слегка отстраняя ее, поглядел рассеянно, куда-то поверх головы, вдруг узнал и усмехнул вымученно и бледно:

— И ты здесь?

— Сына хотела... К тебе! — начала было Наталья, но Иван, не дав ей молвить слова, омрачнел, точно

тяжелая туча нашла на чело, предостерегающе поднял ладонь:

— Не ведаю еще...— начал, но не договорил, не окончил, махнул рукою. И столько было в нем в этот миг усталой мужеской горечи, столько подавленного гнева, что Наталья невольно отшатнулась, перепав, а он, рассеянно кивнувши ей, прошествовал далее, и полы его длинной бархатной ферязи летели за ним по воздуху, точно реяли, увеличивая странное впечатление полета.

Вокруг должности тысяцкого в самом деле разгорелся такой жаркий костер многоразличных котор, споров и боярской замятни, что великий князь порешил ничего не вершить без совета своего митрополита, а Алексий после похорон Вельяминова отправился объезжать митрополию и скоро быть в Переяславле не обещал. И это было именно так, что бы там ни толковали впоследствии. Ни в сентябре, ни даже в октябре великий князь Дмитрий еще не знал, не ведал своего решения, склоняясь даже к тому, чтобы выдать все-таки грамоту на звание тысяцкого не любимому им Ивану, дабы сохранить привычный распоряд Московской земли.

И еще об одном надобно сказать сразу. Крестины второго сына великого князя Дмитрия были только внешним поводом княжеского сейма, подготавливавшегося задолго до родин и без всякой связи с последними. Так уж подошло, и так было пристойнее перед татарами. Праздник по случаю рождения княжеского сына — совсем не то, что съезд володетелей, готовых выставить в поле оружные рати. Вовсе и непохоже одно на другое, как там ни посмотри!

ГЛАВА 69

Скотий мор утих с началом зимы. Милостивые снега скрыли поля с трупами павших и непогребенных животных. Со скотьим мором кончился и «мор на людие». Земля, переживши еще одну беду, сожидала следующей. Всем было понятно, что Мамай не оставит так истребления своей «тысячи» в Нижнем Новгороде, ни разорения Булгара ушкуйниками, за что отвечать, по справедливости, должен был великий князь Дмитрий и вся Владимирская земля, и что ответный поход татар на Русь задерживается только по причине морового поветрия. Пленный Мамаев посол Сарайка с дружиной про-

должал сидеть в Нижнем Новгороде. Не разоруженные, но лишенные свободы передвижения татары были не то заложниками, не то гостями, которых берегут от разбушевавшейся черни. Этого не понимали ни сами они, ни даже престарелый князь Дмитрий Костянтиныч, жаждавший услышать окончательный приговор гостям из уст могущественного московского зятя.

Евдокия Дмитриевна, великая княгиня московская, разрешилась от бремени двадцать шестого ноября, мальчиком. Сына назвали Юрием. Крестить младенца был вызван сам троицкий игумен, преподобный Сергий Радонежский.

Третьи роды — не первые. Дуня, слегка похудевшая, с голубыми тенями под глазами, и оттого особенно свежая и юная, уже хлопочет, все не может отстать от крестной, то одно поправит, то другое. В серебряной купели, поставленной у левого крылоса, уже налита вода. Малыш бессмысленно таращит глазки, вертит головенкою, чмокает — верно, ищет грудь,— пробует голос. Сергий (он в простой рясе с подсученными рукавами) ловко и бережно берет младенца, и тот тотчас замирает, успокаивается у старца в руках и даже не пищит, только отфыркивает воду, когда его троекратно погружают в купель. «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа...» — кончено. Сергий помазывает маслом лобик, ладони рук и ножки дитяти, которому судьба готовит зело не простой жребий! И это торжественное крещение тоже будет сказываться незримо в событиях, разыгравшихся много лет спустя, в грядущем столетии, когда и люди, и нравы, и события — все станет иным.

Волнуется толпа разряженных гостей. Сухой высокий Дмитрий Костянтиныч ублаготворен почетом. Он в первых рядах, он — старший среди князей, собравшихся на это не совсем семейное торжество. Ради него княжеская семья стеснилась в своих хоромах. Он приехал с братьями. Потишевший Борис предпочитает не ссориться с великим князем московским Дмитрием. В последней войне он обманул надежды Михайлы с Ольгердом. Младший сын Дмитрия Костянтиныча Семен тоже здесь. Нету только Василия Кирдяпы, с которым еще предстоит московскому князю долгая и мучительная пря. Нет, не все решено и уряжено даже с семейством князей суздальских, хоть и родичи они московского дома, а все-таки...

Гул, ропот, боярыни и бояре теснятся глянуть на

княжеского сына. Город переполнен. Князья со свитами заняли все пригородные монастыри, набиты битком все мало-мальски пристойные городские хоромы. Поглядеть на такое собрание нарочитых мужей сбежался народ аж из Клещина и из Весок. В улицах, прямо на растоптанном копытами, залитом конской мочою снегу, торгуют рыбой, грибами, горячим сбитнем, медовухою, калачами, даже студнем, невзирая на Филипьев пост. Посадские жонки, поджимая губы, оценивают наряды наезжих боярынь, замечая всякую малейшую неисправу в дорогих уборах и узорочье. Сами вытащили лучшее свое, береженое. Не в редкость увидеть на иной бабе какие-нибудь колты работы владимирских мастеров позапрошлого столетия или парчовый коротель, крытый византийским аксамитом времен Комнинов. Этот ли город осаждала Литва? Тут ли летось умирали с голоду и со слезами зарывали в землю погибающую скотину?

Богатую страну трудно разорить враз. Погибло добро, сгорели хоромы, подохла скотина, убит или уведен хозяин дома. Есть лес и река, а значит, дичь и рыба (река не отравлена, и лес не вырублен — на дворе еще XIV век!). Есть рабочие навыки, есть умение. Руки берутся за топоры — вырастают новые, только что срубленные избы. Из лесных, не тронутых мором деревень приводят скотину, у ордынских купцов покупают, вырывши из земли береженую гривну серебра, пару новых коней. Сироты находят родных, сябров, свойственников, соседей; калеки, убогие — странноприимный, выстроенный князем, дом. Монахи и сельские знахари лечат больных, лечат толково, вправляют переломы и вывихи, прикладывают целебные травы, поят отварами — все с присловьем, с наговором или молитвою, так крепче: у болящего, как и у лекаря, должна быть вера в успех лечения, и она помогает не меньше трав.

И вот наступает осень. Собрано все, что можно было собрать: ягоды, рыба, грибы, полть медвежьей туши — свояк завалил по осени в малинниках; у ордынских купцов куплена соль, можно прожить до весны! И жонка дóстает из скрыни береженый прабабкин саян, шелковую рубаху с парчовыми оплечьями, с вышитою прехитрым узором грудью — бояре наехали, из Москвы, из Владимира, Ярославля, из Нижнего самого! Князья! Надобно и себя не уронить!

— Ты-ко, хозяин, тоже ентую рвань не одевай!

Красных овчин зипун есь! Сама тебе его шерстями вышивала, то и одень! Неча беречь! На погост все одно с собою не унесем!

У дочери сверху шубейки, крытой лунским сукном, рудо-желтый узорной тафты плат. Сын в новой белой рубахе. Под расстегнутым курчавым зипуном — вышитая алым шелком грудь. Кудри по плечам, рожа аж светится, шапка заломлена на затылок. (А ничего сын! Плотничал ноне с батькой, Бога-то не гневим!) Семья. На улице степенно раскланиваются со «своим» боярином. Людей не хуже! И так — весь Переяславль. Красные и узорные, шерстяные и шелковые, тканые и плетеные кушаки, зипуны, вышитые по подолу, груди и нарукавьям цветными шерстями, круглые, тоже цветные, у кого и бархатом крытые шапки, лапти, плетенные в два цвета, чистые онучи, на иных посадских и сапоги. Коли сани, то непременно с резным задком, коли дуга, так крашеная, с наведенными вапою змеями, берегинями или львами в плетеном узоре. Сбруя — в медном, начищенном до блеска наборе, рукавицы у ямщика за широким поясом — каждая, как сказочный цветок.

На Красной площади, перед теремами,— не протолкнуться. Тут — знать, тут уже иноземные шелка и сукна. Ежели меха, то непременно соболь, куница, бобер, или невесомая, из ласочьих шкурок, под китайским шелком шубейка на иной боярышне, или соболиный опашень с золотою оплечною цепью, на князе (князь беден, опашень единственный и цепь, от прадеда доставшаяся, чудом уцелевшая, всего одна, но тут — вздета на плеча, не ударить лицом в грязь перед прочими!).

В теремах тоже яблоку негде упасть, снуют слуги. В хоромах великой княгини вокруг счастливой матери с дитятею целое столпотворение вавилонское. Ищут Дмитрия: куда-то запропастился великий князь, а скоро и выходить за столы!

И только там, в задней, на самом верху, с окошками на безбрежную даль озера, тишина. Укромную дверь покоя стерегут преданные холопы. Дмитрий ходит взволнованно по горнице, под тяжелыми шагами поскрипывают половицы. Старый митрополит сидит в кресле. Они одни. Нет, не изменил молодой великий князь своему наставнику! И Митяя здесь, слава Богу, нету, и нету бояр-наушников.

— Я не могу с ним! — кричит, срываясь, Дмит-

рий.— Дядя мне был в отца место! А Ивана половина бояр не хочет видеть своим тысяцким!

— Винят в гордости? — спрашивает Алексий.

— Хотя бы и так!

— Кем же ты мыслишь заменить Ивана Вельяминова?

Дмитрий останавливает с разбегу, будто бы налетев на забор.

— Мыслишь, владыко, будет то же самое, что и с Алексеем Хвостом?

— Сын еговый не просит у тебя батьково место? — чуть насмешливо вопрошает нарочитою простонародною речью Алексий. Дмитрий, краснея пятнами, отчаянно вертит головой: «Нет, нет!» Да и никто из бояр не решится в особину взять власть под вельяминовским родом. Но Ивана меж тем не хотят действительно многие. Весь клан Акинфичей против него. Коломенские бояре тоже не хотят Ивана. Ни Редегины, ни даже Зерновы, ни тем паче Афинеев или Окатьевичи. Неслыханно богат и неслыханную власть над растущим столичным городом держит в своих руках тысяцкий града Москвы. И старый митрополит молчит, думает. Взглядывает иногда на бегающего перед ним по горнице молодого князя... Власть великого князя московского, как замыслил ее он, Алексий, должна быть единой и нераздельной. Иначе не стоять земле. Опасно, ежели вельможа становится сильнее своего властителя! К худу или к добру нелюбовь Дмитрия к Ивану? От Алексия сейчас зависит решительное слово, и он, прикрывая глаза, думает. В самом деле, кому? Кому передать эту, становящуюся опасною, власть? Сколько раз вознесенные волею василевсов на вершину власти византийские временщики убивали своих благодетелей, сами становясь императорами? На Руси сего не может быть? Не должно быть! — поправил он себя строго. Предусмотреть надобно все. Даже и то, что иной на месте Вельяминовых восхощет (может восхотеть!) той же нераздельной власти над князем своим... У Ольгерда есть возлюбленник, Войдило. Уже сейчас можно догадать, что, пережив господина, этот холоп попытается так или иначе захватить власть в литовской земле. На Руси таковое невозможно? Не должно быть возможным!

— Чего же и кого хочешь ты? — вопрошает Алексий. Дмитрий останавливает свой беспокойный бег по палате, молчит, бледнеет, поднимает глаза на духовного

отца своего, говорит, словно бросаясь в воду или в сражение:

— Я не хочу никого!

Алексий глядит, думает. Устал ли он? Или постарел? Или, наконец, этот мальчик становится мужем? Единственно правильным решением может быть именно это, подсказанное Дмитрию нерассудливой детскою ревностью к Ивану (как-никак по родству двоюродному брату великого князя!).

— Ты хочешь отменить должность тысяцкого на Москве? — после долгого молчания вопрошает Алексий. И Дмитрий, сам пугаясь того, что было смутно у него в душе и что так ясно высказал сейчас Алексий, отвечает сперва неуверенно, а потом с яростною силой:

— Да... Да!!!

— Надобно повестить об этом синклиту и выборным на Москве! — строго и наставительно заключает Алексий.— Дабы передать дела купеческие и посадские по первости княжому дьяку, назначить своих мытников и вирников, а дружину тысяцкого подчинить твоим служилым боярам, дабы никто не пострадал и не разрушилось дело управления городом!

Дмитрий, не думавший ни о чем таком, тут только понимает, что отменить тысяцкого на Москве — зело не просто и потребует сугубых трудов и что вновь и опять без Алексиевой заступы и обороны ему с этим делом не совладать. Он благодарно, но ревниво взирает исподлобья на Алексия, ведь и съезд князей, долженствующий подтвердить непререкаемую власть великого князя московского, организовал именно он, Алексий, для того и объезжал епархии.

— Мыслю, разумно будет объявить об отмене тысяцкого после того, как собранные князья принесут присягу быти всем заедино и не изменять впредь престолу и воле великого князя московского! Иван много старался о том, дабы помочь мне совокупить нынешнее единство володетелей, и не надобно его огорчать излиха отменою власти именно теперь!

Дмитрий молча кивает. Он уже понимает многое, но еще не научился ждать и терпеть. Ему бы хотелось решенное решить сразу. Но он слушается своего владыки, и в этом его днешнем послушании — спасение страны.

ГЛАВА 70

Все эти люди умерли. От большинства из них даже не осталось могил. Ражие посадские молодцы; румяные, кровь с молоком, девки — состарились и сгинули тоже. Много раз сгорали и возникали вновь хоромы. Исчезали деревни. Несколько закрытых храмов, да Синий камень, переживший века, да смутные предания о том, что в овраге у Клещина, на пути в Княжово-село, «водит», озорует древняя, еще дохристианская нечистая сила,— вот и все оставшееся доднесь от тех, почти утонувших во мгле забвения, времен. Не зайдешь, не выспросишь!

Неведомо, длился ли съезд князей целых четыре с лишним месяца, от ноября до конца марта, или, что вернее, пожалуй, на крестинах княжеского сына было только решено устроить съезд, «сейм», невдолге, пригласивши князей с их дружинами, ибо подпирали дела ордынские, опасила Литва, не казался да и не был надежен мир с Михаилом... И какие речи велись на том, последующем, княжеском сейме? О чем глаголал митрополит Алексий главам Владимирской земли?

О том, что надобно совокупное дружество, что нужен закон и что надобен единый глава, и глава этот — московский великий князь, признанный ханским ярлыком наследственным володетелем владимирского великого княжения?

О том, что шатание ни до чего хорошего не доведет страну, испытавшую нашествие Ольгерда, что ежели бы не народ, не земля, вставшая за Москву,— неведомо, что и створилось бы на Руси?

Что Мамай возможет и вновь поссориться с Русью, и что пора остановить татар такожде, как и Литву, такожде, как и католиков, жаждущих изгубить православие. Что надобно не стоять в стороне, как стояли доднесь князья многих владимирских уделов, а помогать великому князю в любой беде, отколе бы она ни исходила, и что великий князь волен карать ослушников, иначе не стоять Руси! И что надобно собирать ратных, готовить полки, дабы не оказаться вновь нежданно побитыми не Ордой, так Ольгердом...

Поздняя патриаршая Никоновская летопись попросту говорит то, чего в более ранних сводах не существовало, и что, вероятнее всего, родилось как итог исторических размышлений людей, свергнувших

ордынское иго, что-де великий князь Михаил Александрович «колико приводил ратью зятя своего, великого князя литовского Ольгерда Гедиминовича, и много зла христианом сотвори, а ныне сложися с Мамаем, и со царем его, и со всею Ордою Мамаевою, а Мамай яростию дышит на всех нас, а аще сему попустим, сложится с ними, и́мать победити всех нас».

По-видимому, ежели мысль такая и была, то так прямо, даже когда княжеские дружины двинулись на Тверь, не высказывалась. Да ведь были и иные мысли! Еще далеко не всем была ясна законность Москвы и незаконность тверского княжеского дома, права коего на великий стол были отнюдь не меньше московских, хоть и забылось уже, что Юрий был выскочка и что за смертью Данилы московские володетели потеряли всякие права на владимирский стол. То забылось, поминалось лишь книгочиями да иными князьями в местнических расчетах своих. И все-таки Тверь не была еще, не являлась, как хотелось бы видеть летописцу XV—XVII столетий, безусловным врагом, и потому речи, которые говорились на княжеском сейме, должны были вестись о другом и словами иными.

Глаголал ли что-нибудь игумен Сергий? Мы не знаем. Скорее всего, нет. Но он был и присутствием своим содеивал многое.

О чем внушал иерарх всей Владимирской земли, владыка Алексий? Он был прежде всего митрополит и говорить должен был о вопросах веры, тем паче, что обращался он к верующим. И говорил в пору великого обстояния. Мусульмане — с юга. С запада — католики. Посланец патриарха, Киприан, сейчас в Литве и, возможно, роет под него, Алексия, кумится с литовскими князьями в надежде сохранить эту страну за греческим патриаршим престолом. Единственный, кто мог и должен бы был явиться другом Руси — Мамай, становится ее ворогом, и послы его днесь сидят в заключении в Нижнем Новгороде, не ведая еще участи своей. И что станет с землей и с верою православной, ежели толикое количество врагов разом обрушит на Русь? И ежели тому, кто все это понимает и держит на плечах своих, митрополиту Алексию, восемь десятков лет? Какую веру надобно иметь в сердце своем, дабы не устрашить, устоять на сей высоте, и коликую любовь надобно хранить земле к пастырю своему, дабы не усомниться в нем и не дрогнуть верою! Воистину бес-

смертным почитал русский народ наставника своего!

Все они нынче в земле, и мы не ведаем больше того, что скупо отмечено летописью, не знаем сказанных слов и только смеем догадывать, о чем мог говорить Алексий на княжеском сейме тем, от чьей совокупной воли зависела тогдашняя (а значит, и нынешняя) судьба нашей страны, вернее, что должен был он сказать как глава церкви и духовный наставник народа, который оказывался в эти трагические десятилетия гибели Византии и близкого завоевания турками Балканских государств единственным защитником православия, единственным народом, языком, где вера соединялась и объединялась с государственностью, а не противополагалась ей, как это было в Литве, и церковь не оказывалась в подчинении иноверцев, как это стало на землях растущей Турецкой империи.

Он должен был, прежде всего, поднять голос в защиту православия, в защиту соборности церкви (а не ступенчатого подчинения католическому Риму), когда высшим органом церкви является она сама, всею совокупностью своих членов (принцип этот на Руси в послениконовскую эпоху был сохранен одними староверами). Он должен был говорить о свободе воли, данной, или, точнее, объявленной, принесенной в мир воплощенным Словом — Логосом четырнадцать веков назад.

Две, только две истины существуют в мире со дня Нагорной проповеди Спасителя! Существуют и борются друг с другом. Истина предопределения и истина свободы воли.

Одна, прежняя, ветхозаветная, как раз и отброшенная Учителем, гласит: есть, мол, избранный народ, есть заповеди, которые надобно токмо соблюдать, дабы не утерять избранничества своего, и есть предназначенность: «Каждый волос человека сосчитан еще до его рождения». Предназначенность, определяемая в течение столетий бытием ли, имуществом, «собиною», правами ли граждан, господним промыслом, природою ли живого, мыслящего существа, «прогрессом» наконец,— но всегда остающаяся предназначенностью, предопределенностью, при которой ничто существенно не можно, да и не должно изменять, предоставив миру течь по начертанному пути, подчиняясь свыше данным законам. И [illegible]чет, по существу, ни морали,

ни понятий зла и добра, ни ответственности смертных друг перед другом и перед Господом, нет ни воли, ни безволия... Есть закон. Тот самый мертвый закон, о котором первый русский иерарх, митрополит Илларион, говорил в самой ранней дошедшей до нас проповеди «Слове о законе и благодати», произведении, означившем всю дальнейшую направленность исторической мысли России.

Сперва приходит закон, но он мертв, а потом, после — благодать, и она дает жизнь, ибо живо лишь то, что принято сердцем и доброю волей по закону вселенской любви. И ежели верно то, что закон приходит сперва, то верно и другое, что истинная жизнь, жизнь во Христе, наступает с приятием благодати.

И тут вот, с воплощением Логоса, с пришествием Христа, рождается вторая, конечная истина, истина веры Христовой, истина православия. И истиной этою является свобода воли.

— Да, смертный — смертен! Да, есть воздаяние за грехи. Но, братие! Господь, воскресивший ны и страдавший ради нас на кресте, заповедал нам то, чего не было сказано и не могло быть сказано в иудейском законе,— что мы свободны в своем выборе и наши заботы, радости и огорчения сотворены нами, а не зависят от чьего-то стороннего замысла. Создав нас, Господь сознательно ограничил себя, воспретив себе вмешиваться в наши устремления и поступки. И только слезы, только скорбь Спасителя отданы нам, согрешающим! Мы же, волею своею, возможем как достигнуть царства Божия, так и снизойти во ад! И сотворенное нами зло, как и добро, как и все дела наши являются здесь на земле. Не надо мыслить, согрешая, что где-то там наступит прощение грехов! Созданное греховно само обрушивает грозною силою воздаяния на главу грешничю! Истреби землю, на коей живешь, иссуши ниву, которую пашешь, отрави источники вод — и сам ты погибнешь, сотворивый своими руками погибель свою!

Тот из нас, кто не пришел на помощь брату своему старейшему в грозные дни минувшей войны, избежал ли тем грабительства проходящих сквозь его землю литовских ратей? Избежит ли гибели, ежели и вся земля падет перстью и достанется в снедь иноверным?

Точно так, как надобно сберечь семенное зерно,

взрыхлить пашню, засеять, а вырастив урожай, сжать его и уложить в житницы, точно так надобно готовить почву народа своего: разрыхлить ниву словом истины, посеять семена добра и любви к ближнему своему, извергнуть плевелы зависти, злобы, неверия и нелюбия, вырастить и оберечь от гибели урожай новых поколений, в коем будут сохранены и приумножены наши заветы и предания старины, и воля, и вера, и верность, и русская государственность, которая ныне требует единого главы, дабы народ наш сумел противустать иноверным и не обратился перстью дорог, не был развеян Господом, подобно древним иудеям, согрешивши противу Него!

И не соблазняйтесь прелестию латинскою, понеже оные, устами Августина Блаженного и паки, в борьбе с Пелагием, начали утверждать предопределенность свыше одних людей добру и других — злу, предопределенность, перенятую ими от манихеев и от Ветхого завета! Помыслите, какой соблазн открывается при сём утверждении, отметающем заветы Христа! Целые народы, вопреки слову Учителя, возможно объявить подлежащими гибели по предопределению свыше!

Уже сейчас католики утверждают, что православные — хуже бесермéн, так каковую хулу вознесут на вас, ежели обадят вас лестию и заставят поклонитися римскому престолу! Меньшими из меньших на земле станете вы, и гордость ваша, и слова, и заветы отни будут низринуты в прах! Мню, скоро и в Литве возобладают католики! Вы, и токмо вы ныне — защитники истинных заветов Христовых на земли! Вам говорю я, русичи! По слову Спасителя вашего, вы вольны в выборе пути и поступков своих! Но помните, опасную власть и грозную волю даровал вам Господь! Он уже не вмешается, дабы остановить вас, неразумных, на краю бездны, забывших заветы старины! Он уже не подхватит вас, маловеров, над пропастью, изготовленною вашими же руками!

Вы вольны погубить себя и землю ваших отцов, и сейчас, когда я говорю вам это, быть может, наступает самый грозный час русской судьбы! Отрекитесь от гнева и зависти, от любованья собою и от хитрого величания перед ближним своим, братом твоим во Христе! Отрекитесь! К отречению зову я вас, ибо секира уже положена у корня дере-

ва и земля, позабывшая заветы Христа, обречена гибели!

Воззрите! Чудеса совершаются в храмах стольного града Москвы, прозрения и излеченья болящих у гроба святого митрополита Петра, и прочая многая! Господь знаменьями призывает и остерегает ны, показуя вид крови в небесных знамениях в годину взаимной резни! Не погубите себя, православные, не поддайтесь прелести, помните о той вечной жизни, которую теряет возжелавший всех, без изъятия, утех земного бытия! И не ждите, что вас спасут, ежели вы не спасетесь сами! Господь укрепляет в трудах, но не вершит труды взамен смертного! Токмо тот спасен, кто крайние, до предела, усилия всего своего естества прилагает к деянию! Яко земледелец на пашне, для коего нет ни ночи, ни дня, ни предела сил, пока он не собрал урожай с поля своего, и так — каждогодно! Вот пример для вас! Не иноки, не святые отцы — хотя они тоже являют высокий пример служения ближнему своему,— но смерды, простые пахари вашей земли! Пахарь, оратай, тот, кто кормит вас и кто един не возжелал в эти горестные годы отринуть власть государя московского! К братскому единению призываю я вас! К осознанью того, что токмо в ваших руках спасение русской земли и заветов Христовых!

Так или приблизительно так должен был говорить митрополит Алексий, может быть, совсем не называя Твери и тверского князя, с коим был только что заключен мир и с коего он сам снял наложенное прежде проклятие.

Но слово пастыря должно было доходить до сердец, и тут мое перо, перо летописца поздних времен, бессильно, ибо неведомы мне те глаголы, коими пронизал души современников своих митрополит Алексий.

Во всяком случае, в новой замятне, поднявшейся, как заключительный страшный вал жестокой многолетней бури, владимирские князья выступили соборно на стороне и по призыву Дмитрия «все за един».

А теперь снова вернемся к тому, что едва не погубило страну, послуживши истоком событий и бедствий, нашедших свое завершение лишь через два десятка лет.

ГЛАВА 71

Василию Кирдяпе, старшему сыну нижегородского князя Дмитрия Костянтиныча, тому самому, который пытался некогда сорвать переговоры москвичей с Борисом и едва не сумел вызвать большой войны, исполнилось ныне тридцать лет. В то время, когда отец его был в Переяславле на княжеском сейме, Василий сидел в Нижнем, стерег город от нежданного татарского набега и тихо злобствовал. Он презирал отца, забывшего напрочь о своих правах на владимирский стол, презирал дядю Бориса, который не восхотел помочь Михаилу с Ольгердом, презирал себя, обреченного неволею тащить колымагу московских желаний и воль, не имея даже надежды когда-то стать в первые ряды владимирских властителей... Он мучительно завидовал упорству тверского великого князя, так и не подписавшего клятой московской грамоты (до него уже дошли слухи о бегстве Ивана Вельяминова в Тверь!), а меж тем силы к деянию так и кипели в нем, рвались, жаждали выхода...

Замещая отца, он принимал послов, слухачей, доносивших о передвижениях Мамаевой орды, толковал с иноземными гостями и потому не очень удивился, когда встречи с ним попросил посланец хана Черкеса, недавно захватившего вновь Сарай, столицу бывшей Золотой Орды (пока она была Золотой, а не Синей, пока не стала просто Ордою, утерявшею почти все волжские города).

Кирдяпа брезгливо и надменно взирал на гостя. Слуги носили русские блюда, разливали мед. Татарин должен был, как все они, вырвавшись на свободу, напиться до бесчувствия. Но татарин в черной окладистой бороде, хотя и пил, но умеренно... И все поглядывал на князя, точно оценивая его стоимость на базаре, что начало уже тихо бесить Василия.

— Хочу с тобою толковать, князь! — сказал татарин на правильном русском языке, отодвигая от себя серебряное блюдо с запеченным горбом вепря.— С тобою самим! — повторил он с легким нажимом, а это значило: удали толмача и слуг, никому не верю! Василий подумал мгновением, не отказать ли татарину? (И многих бед не совершилось бы тою порой!) Но любопытство, а паче того неисходная злоба на московитов, вкупе со слухами о московских нестроениях

победили, и Кирдяпа кивком удалил из палаты толмача-татарина и слуг, прибиравших со стола.

— Сарай-ака сидит? Хорошо сидит? Крепко? — спрашивал татарин, и Кирдяпа все не понимал, куда он клонит, и опять жалел, что согласился беседовать с глазу на глаз.

— Черкес большой хан! — Посланец покачивал головою, не то насмешливо, не то изучающе глядя в лицо Кирдяпе.

— Тимур-бек знаешь? — произнес он вдруг, понижая голос и хищно наклоняясь вперед.— Черкес знаешь, а Тимур-бек знаешь? Тимур-бек, о-о! Мамай трус, грязь (он произнес татарское бранное слово, но Василий понял вполне), Мамая кормит русской улус! Иначе его давно не стало бы в степи! Зачем тебе, князь, Мамай?

— Мамай надобен Москве! — с неведомо почему пересохшим горлом произнес Василий.— Не нам!

— Я ведаю, ты не любишь коназа Димитрия! — сказал татарин спокойно и протянул руку к кувшину с хмельным вином. Выпил, обтер усы, вновь твердо поглядел Кирдяпе в глаза: — Ты можешь поссорить Мамая с Димитрием. Насмерть поссорить! Пускай Сарай-ака умрет! Тогда Мамай обязательно пойдет на Димитрия, и они погубят друг друга. Черкес доволен, Тимур-бек доволен, степь — другой хозяин. Хозяин — ты!

Василий, боясь поднять глаза на татарина, схватил и опорожнил чару. Шея взмокла под суконным воротником дорогой ферязи. Татарин знал и ведал явно больше того, о чем говорил, и быть может, обманывал в чем-то его, Кирдяпу. Однако то, что он предлагал, было выходом всему — унынию, злобе, безысходности, днешнему бесталанному житию...

— Хотя бы утесни Сарайку (Посланец нарочито произнес имя узника по-русски). Ежели отец твой страшит тебя!

Кровь бросилась в лицо Василию, бешено сжались кулаки. Татарин удоволенно наблюдал из-под ресниц нерассудливый гнев князя.

— Падаркам прими! — сказал, дождавшись, когда гнев Кирдяпы спадет.— Хан посылает тебе баласы, таких нету в твоей казне! — На столешню легли три драгоценных рубина, цена крови Мамаевых послов, как понял Василий, когда, не выдержав сияния великолепных

камней, протянул к баласам руку и жадно забрал все три драгих камня, прикидывая, во сколько гривен серебра потянул бы каждый из них в торгу. Ханский посол удоволенно усмехнул, досказал, теперь уже словно приказывая:

— Пока отец твой нет — соверши! Не то отец воротит, отпустит Сарайку по наказу Димитрия, и войны не будет!

Кирдяпа молча кивнул головой.

Вот что предшествовало приказу князя Василия Дмитрича Кирдяпы, отданному 31 марта 1375 года (по мартовскому счету это конец 1374-го), схватить Сарайку, разоружить всех татар и посадить в узилища — «розно развести». Для отца наготове была припасена им и причина: послы-де взбунтовались, попытались захватить княжой терем...

За месяцы сидения в Нижнем Сарайка не только добре выучил русскую речь, но и узнал, кто был вдохновителем нятья послов и истребления Мамаевой тысячи. Когда пришел приказ Василия разоружить и розно развести захваченных татар, Сарайка не стал медлить, ждать, когда ему, безоружному, перережут горло. Татары, как один, взялись за сабли и после короткой кровавой сшибки, опрокинув княжескую сторожу, не сожидавшую столь дружного отпора, рванулись за ворота воеводского двора.

Гнев? Отчаяние? Мужество? Или жажда мести? Или желание дорого продать свою жизнь руководили Сарайкой и его татарами в этот последний час, но, вырвавшись из укрепа, повел он своих дружинников не куда-то, а к епископскому двору, и тут закончилась эта растянувшаяся на полгода кровавая драма.

Греческий изограф Феофан расписывал уже своды храма и с выси, с лесов, узрел сотворившуюся замятню.

— Запирай двери! — отчаянно крикнул он холопу. Васко, сообразив, захлопнул и задвинул железным засовом кованые створы дверей, после чего и сам приник к узкому высокому, окну, выходящему на площадь. Над палатами епископа уже металось веселое пламя, татары зажгли владычный двор, но хлынувшая толпа и пробившиеся сквозь нее ратники дружным натиском смяли татарских богатуров, и завязалась кровавая, дикая, непредставимая, ежели нѐ увидеть того воочью, резня. Вой, визг и рев вздымались под небеса, бабы, замешавшиеся в толпу, цепляя за платье, за

волосы, дергали татар, валили на землю, сами валились, разрубленные саблями. Ратники рубились отчаянно, спасая безоружный, ополоумевший народ, страшно лязгала сталь, кровь пятнала снег, отступающие татары отстреливались, горожане, падая трупьем, рвались вперед и голыми руками вырывали луки и копья из рук ордынцев. Наконец во двор ворвался конный отряд княжой сторожи, грудью коней расшвыривая толпу, обрушились, рубя и топча, на последних отбивающихся татаринов. И тут епископ Дионисий с крестом в руках взошел на обрушенное, обгорелое крыльцо, и почти уже схваченный Сарайка с визгом, перекрывшим мгновением шум на площади, выстрелил из лука в епископа, отмщая убийце своему. Стрела пронзила епископскую мантию, не задев тела. В следующий миг его сбили с ног. Последних татар рубили в куски, как капусту. Вопли гасли. Опомнившаяся толпа и княжеские ратники кинулись гасить подожженные татарами владычные хоромы.

Только тогда художник, почуяв обморочную дурноту, отступил от окна и на долгое мгновение закрыл ладонью лицо. Он видел толпы турок у стен Галлиполи, видел уличные бои в Константинополе, казни Апокавка и то, как по приказу василисы Анны носили по городу отрубленные руки и головы сторонников Кантакузина... Слышал пламенные проповеди исихастов и их противников, сам безоглядно пошел за Григорием Паламою, пытаясь в линиях и красках выразить непередаваемую словесно сокровенную суть его учения,— и все же того, что преподносила ему Русь, многоликая, переходящая от безоглядного добра к безоглядной жестокости, а затем снова к добру,— такого он в Константинополе не видел, не зрел. И потому учился днесь постижению новой для него истины.

Василий Кирдяпа плохую услугу оказал родителю своему. Весною Мамай набегом пограбил Киш, где был убит героически защищавший острог боярин Парфений Федорыч, и разорил все Запьянье — пожег хоромы, порубил и посек людей, оставших в живых уведя в полон. Для большого набега на Русь у него пока не хватало сил, и только потому Дмитрий с Мамаем не столкнулись на пять лет ранее Куликова поля (и с исходом, не ясным ни для кого).

Но в дело давно уже вмешалась третья сила, которую проглядели почти все историки, сведя события

1375 года к личной обиде русского боярина и авантюре сурожского гостя,— то есть к заговору всего двух человек, вознамерившихся вдвоем (!) обрушить московский престол, чего, заранее, быть не могло ни при каких обстоятельствах.

ГЛАВА 72

Тайная политика государств и государей, то, о чем написаны тома литературы, большею частью, впрочем, ровно ничего не объясняющей, все эти подкупы, доносы, зловещие убийства, выкраденные секретные бумаги, клевета, шпионаж и прочее — были всегда. Но далеко не всегда и не в одинаковой мере оказывались эффективны. И дело здесь не в том, что не находилось умного предателя, или не был вовремя сделан донос, или кого-то успели перекупить. Есть иная мера времени и иные измерения возможностей тайной дипломатии. Проще сказать — иная пора этнического возраста наций.

Асасины держали в страхе весь ближний Восток. Содеять с ними не мог никто ничего, ибо у любого володетеля среди его приближенных, телохранителей, советников находился кто-нибудь из асасинов и кинжал убийцы вовремя останавливал всякого, отважившегося противустать «великому старцу». Монголы взяли штурмом замки асасинов и перебили их всех. В монгольском войске и в личной охране его предводителей предателей-асасинов попросту не было и проникнуть туда они не могли.

Надобна иная мера времени, надобен народ достаточно уставший или размежеванный изнутри, с теми самыми классовыми противоречиями, о которых слишком много говорят и которые достаточно плохо изучают, перенося, по методе вульгарных социологов, картину явлений позднего времени на ранние, начальные периоды развития этносов. А там — все иначе. Добро бы, дело касалось одной лишь науки присяжных теоретиков, но ведь подобно им думают и политики, и главы государств, и завоеватели, способные сосчитать количество пушек, ружей, наличных полков, но вовсе не понимающие, почему и когда возможен почти мгновенный успех при незначительных усилиях и, казалось бы, в сходной ситуации, вооруженная до зубов

армия терпит постыдные поражения? А дело попросту в фазах этногенеза. Народ на подъеме очень трудно завоевать. Народ в стадии стойкого гомеостаза трудно подчинить духовно. Государство в стадии надлома или же обскурации само, как червивое яблоко с дерева, падает к ногам победителя. Истина эта, хотя и проста, но до сих пор неведома большинству, не ведали ее и генуэзские купцы вместе с легатами папского престола во второй половине славного четырнадцатого столетия, которые по состоянию Византии и по своим тамошним успехам судили о возможностях Владимирской Руси. Да и как было не ошибиться людям, флот которых без всякого серьезного сопротивления взял и разграбил Гераклею, второй по значению город-крепость византийцев на Мраморном море? Которые отстояли Галату от всех ромейских армий, дважды уничтожали греческий флот, построенный Кантакузином? Перевели в Галату пять шестых константинопольского торгового оборота?! Наконец, прогнали самого Кантакузина, для чего оказалось достаточно генуэзскому пирату доставить морем в Константинополь молодого Иоанна Палеолога! При этом генуэзцы ухитрились одновременно выдержать тяжелую войну со своим торговым соперником Венецией за обладание колониями той же умирающей Византии, забрав за десять лет до описываемых событий в свои руки Кафу и другие порты на Черном море. Сумели сделаться первыми советниками и торговыми агентами Мамая, а теперь протягивали руки к богатствам русского Севера, где надобно было только сокрушить упрямство московских «басилевсов», убрать второго Кантакузина, дабы полною мерой запустить длани в бессчетные сокровища северных стран... Как было не поверить удаче, когда со всех сторон уже обложили этот упрямый кусочек земли между Окою и Волгой, меж тем как в Литве вот-вот должны были победить люди католического вероисповедания, а Палеолог уже подписал унию, отдающую православную Византию во власть римского престола!

Как было, в самом деле, не поверить, что и тут все возможно быстро изменить, стоит только слегка подтолкнуть одного и так же слегка, играючи, помочь другому... А тех сил, которые растут и крепнут внутри общественной системы, их попросту до времени не видать, и лишь чуткий взор художника может ощутить, почуять неведомое, незримое ни политику, ни даже тор-

говому гостю, ибо взгляд человека видит сущее, но не то, что может из него произрасти в потоке времен.

Только так можно понять и постичь поступок сурожского купца Некомата, богатого гостя и землевладельца, имевшего села под Москвой и рискнувшего всем ради иллюзорной, как оказалось, выгоды, а восемь лет спустя схваченного и казненного на Москве.

Не то следовало выяснять, кем был Некомат: греком, генуэзцем или восточным купцом, католиком или несторианином. А то, кто же стоял за его спиною. Какие силы подвигнули этого Некомата — «бреха», по выражению московского летописца, — затеять и совершить то, что затеял и совершил он, как оказалось потом, на свою собственную гибель.

А потому воротимся в степь, где Мамай рвет и мечет, получив сведения о гибели своей тысячи и пленении послов (убийство Сарайки, еще не совершенное, послужит последнею каплей, и потому возможно подозревать, что все нити тут были связаны воедино и поступок Кирдяпы был заранее взвешен на тех же тайных весах), и давно уже плетется незримая сеть, в которой отсутствовало до сих пор одно лишь необходимое звено: согласие владыки Орды на борьбу с великим князем владимирским. Теми же тайными силами Некомату предназначалась та роль, которую с успехом выполнил двадцать лет тому назад генуэзский торговец, патриций и пират, Франческо Гаттилузио, доставивший на своих кораблях Иоанна V Палеолога в Константинополь.

...Идут караваны, едут, замотавши бритые лица в русские меха, посланцы римского престола, трясутся верхом полномочные и неполномочные послы Генуэзской республики, пробираются сквозь немыслимые пространства гор, степей и пустынь, гонят рабов на Кафинский рынок. Их жестокие суровые лица, лица из одних скул, мускулов и костей, упрямые подбородки, лица людей, готовых ко всему на свете, торгашей и воинов, людей скупых и бестрепетных, изобразила рука художника Возрождения, а полуистлевшие счетные книги донесли до нас опись покупок и продаж, бухгалтерский итог грабежей и насилий: столько-то захвачено, столько-то продано в Египет, в Италию, Испанию по цене стольких-то дукатов и стольких-то маркетов или греческих иперперов...

Схизматики — как это итальянцы видели в Констан-

тинополе — не заслуживали уважения. Греки не умели драться и разучились торговать. Греческая церковь поддерживала свое существование подарками и милостыней из далекой Руссии, в которой тоже идут бои местных володетелей-князей друг с другом; и от великой Орды, от властительного темника Мамая зависит, в конце концов, кого поставить князем в русской земле! Так казалось, так было, так думали и считали многие, ежели не все. А значит, надобно подвинуть Мамая к борьбе с упрямым Дмитрием и его стариком митрополитом, каковой единственно препятствует делу крещения Руси по католическому обряду и даже, помогая русским серебром византийцам, препятствует распространению унии в империи... Токмо подтолкнуть, а далее — само пойдет!

Работают торговые конторы, едут клирики и скачут гонцы, плетутся соглашения и подкупы, выстраивается великий торговый путь: из Кафы в ордынские волжские города, затем в Рязань, Москву, Нижний, Кострому, Тверь, Великий Новгород... Ежели бы возможно было обратить эту землю в источник дешевого сырья,— мечтают фряжские, всех мастей, гости,— вывозить отсюда меха, воск, сало, лен, лес, рыбу, серебро, содеять эту страну колонией Запада! Для сего, повторяют настойчиво прелаты, надобно подчинить землю Руссии власти римского престола, приобщить славян культуре Запада. Распространить здесь католичество, европейские законы, обычаи и нравы, дабы отнять у русичей всякую волю к сопротивлению... И содеять это так просто!

За спиною сурожского гостя Нико Маттеи, «Некомата-бреха», стояла вся тогдашняя католическая Европа, деловая, жадная и жестокая, которая скоро подчинит Америку и начнет победный марш завоевателей по всему миру, неся просвещение пушек, водки, сифилиса, оспы, рабства и угнетения всем нациям и народам земли.

За спиною! Но выполнить первое из потребных деяний должен был он. Скажем точнее — обязан был выполнить! У него не оставалось иного выбора. Отказавшись, он наверняка рисковал всем, включая собственную жизнь.

А теперь добавим только, что соглашение с Мамаем состоялось, что, возможно, и действия Василия Кирдяпы были подготовлены или учитывались той тайною третьею силою, которая решила повернуть по-своему

историю Владимирской земли, не ведая, что такое Русь, не понимая, что это совсем не усталая, потерявшая веру в себя и отвыкшая драться Византия, граждан которой не надобно было даже науськивать друг на друга — сами готовы были изничтожить ближнего своего!

ГЛАВА 73

Иван Вельяминов, получив вести о том, что должность тысяцкого упраздняется, заперся ото всех, предоставив течение дел княжеским дьякам. В нем медленно изгибали, перегнивая и отравляя мозг ненавистью, его гордость, его вера, весь смысл его бытия, ибо уже далеко не первый год он не только считал себя, но и был тысяцким града Московского, и глядеть теперь в эти ждущие лица, угадывать за показною скорбью тайные насмешки, встречать жалость там, где привык видеть почтение и страх, глядеть в глаза вчерашним послужильцам, старостам, вирникам, мытникам, сбирам, ключникам и каждому объяснять, что он нынче никто и они уже не связаны с ним тысячью нерасторжимых уз, обязанностей и приятельств,— лучше бы Дмитрий назначил иного на его место! Было бы кого ненавидеть, было бы кого убить, ежели не стихнет душа!

Все родственники, дядья и братья, пытавшиеся уговаривать, убеждавшие претерпеть, заняться иным делом,— отступились. Неслыханно богатый наследник мог себе позволить решительно все. Не было среди утех земных ничего, что, возжелав, не смог бы он получить. И токмо одного, единственно надобного ему, был он лишен — власти!

А без власти все иное не занимало Ивана. Он сидел и думал. И в воспаленной голове рождались чудовищные образы, рушились и возникали миры... Он только что помогал князю Дмитрию совокуплять землю, организовывал съезд князей, и вот стал ненужен, ненадобен! Что он теперь? Что делать ему? Драться Святками на кулаках со смердами на льду Москвы-реки? Бешено гонять в ковровых санях с колокольцами, запаляя кровных рысаков? Собирать редкости, из иных земель привезенные? Что все это было ему, приученному и привыкшему к деянию!

Он сидел один, с омерзением оглядывая роскошь покоя, бесценные ковры, серебро и фарфор, резную

кость и драгоценные сосуды... Даже иконы, способные потрясти знатока, не рождали в нем высокого чувства отречения. Только большой белый хорт, разлегшийся у ног господина, порою преданно заглядывал в его отуманенные глаза, только он еще вызывал рассеянное снисходительное внимание Ивана Вельяминова. Жена и сын боялись к нему заходить.

В эти-то черные дни и объявился в вельяминовских хоромах Некомат-брех, пробившийся сквозь заплот придверников и холопов, коим велено было никого не допускать к господину.

Скрипнула дверь. Иван поднял холодные, усталые глаза.

— А! — Бессильно опущенная его рука ласкала голову собаки.

Купец поклонился по-русски, в пояс.

— Чего тебе, Некомат? — вопросил Иван с ленивою тоскою в голосе.— Я же велел...

— Ведаю, ведаю! — живо подхватил черноглазый посетитель и, запахивая зипун, остро взглядывая на поверженного московского вельможу, уселся, повинуясь знаку Вельяминова, на краешек перекидной узорной скамьи.

— Однако в нынешней горести могу предложить господину... Ведаю! — вскричал он, предупреждая нетерпеливое движение Ивана.— Пото и пришел, потому и пришел! Горести тысяцкого Москвы — наши горести! — Некомат подчеркнул голосом слово «наши».— Несправедливость от князя все равно является несправедливостью и должна быть наказана! Во всех землях удивлены таковым решением великого князя Дмитрия! Купцы недоумевают, полагая, что совершенное совершено единственно из скупости и что князь завидовал доходам и славе своего тысяцкого!

— Что ж, и в Орде...— начал Иван.

— В Орде Ивана Васильича Вельяминова продолжают почитать московским тысяцким! Такожде, мню, и в Твери, поелику для всех имя Вельяминовых — великое имя! Глаголют, единственно вами держался московский князь!

Иван оборотил к настырному сурожанину свой хладный, запредельный взгляд. «Мы же и поставили!» — едва не сорвалось с языка. Чего-то он хочет, около чего-то вертит, этот пронырливый фрязин! И уже в омертвелой душе Ивана возникло тревожное любопытство: какой корысти добивается он теперь от меня, утерявшего сла-

ву, и власть, и все права, от коих недавно еще зависели судьбы сурожской торговли на Москве и во всех областях великого княжения Московского? Почему не идет к дьяку, к боярам, перенявшим его, вельяминовские, заботы? Но на прямой этот вопрос, заданный Иваном, Некомат отчаянно замотал головой:

— Ты! Только ты! Ты один! Тебе верим! Более никому! Мы, гости торговые, посад, ратники — все!

— И главный кафинский бальи, по-видимому? Или как он там у вас прозывается? Поздно! Опоздали! Я теперь ничего не могу!

— Ты не можешь?! — Некомат округло вытаращил глаза.— Ты все можешь! Тебе верят! За тобой пойдут! И мы поддержим тебя!

— А вы-то с чего? Вам-то чего от нас надобно? — вопросил Иван с ленивой усмешкой.— Меховой торг, поди? Да еще — московитов в католическую веру перегнать! — Он рассмеялся невесело и отворотился к окну. Когда-то он сам настаивал на том, чтобы фрягов далее Москвы не пускали. Теперь все это было бесконечно далеко от него.

— Слушай! — Некомат склонился к нему, вытянул шею. Зашептал страстно: — Я знаю, слыхал, твой прадед не восхотел поставить над Москвой великого князя Михаила Ярославича Тверского! Ты теперь не жалеешь о том? Не мнишь, что тверские государи были бы заботнее о слугах своих!

— Измену предлагаешь ты мне? — вопросил Иван.

— Зачем измену, почему измену?! Тверской князь — русский князь! Свой! Гляди, ежели бы ему помогли — только помогли! — он, а не Дмитрий был бы великим князем, а ты — тысяцким при нем!

— А вы бы получили право закупать меха на Севере?

— Зачем меха, почему меха?! Мы бы получили право торговать, не платя пошлины двум государям, токмо одному!

— Поздно! — ответил Иван, пресекая дальнейший разговор.

— Совсем не поздно, боярин! — возразил Некомат и, еще понизив голос до шепота, заговорил:— Орда ждет, Мамай ждет! Дадут ярлык Михаилу, сразу дадут! Наши люди сговорили хана! Тебе только поднять народ, захватить Москву! Тебе верят, за тобою пойдут!

Иван дернулся было, но Некомат опять не дал ему возразить:

— Ну, не пойдут, теперь не пойдут! Но ежели война и ежели ты вступишь в Москву с войсками тверского князя? И будет единая Русь?! Великая Русь! Какие меха, какие католики?! Будет единая Владимирская земля! С тверским князем! С дружественною Литвой! С союзным Мамаем! Без войны! Зачем это нам, нам зачем, спрашиваешь? Нам не сговорить с князем Дмитрием! Он и владыка Алексий мешают нашей торговле, они снова вызовут войну, а когда война, первыми грабят купцов! И уж тогда некуда везти товар, да и незачем! Товар отберут по дороге! А ты будешь по-прежнему тысяцким! Все твои соперники умрут, друзья — останутся. Ты будешь спаситель страны! И тебе поверят, тебя любят, тебя знают и примут тебя как друга, как истинного господина своего! Решись, боярин! Другого такого случая не будет уже!

Выгнать бы Ивану Некомата, спустить с лестницы! И зачем, почему вопросил он опять: почто надобен именно он? Зачем выслушал заверения, что без него, именно без него, никакое дело не сделается ни на Москве, ни на Руси Великой!

Гордость — самый тяжкий из семи смертных грехов, которыми грешит человечество.

Ни Некомат, ни тем паче Иван Вельяминов не верили тому, во что верили хозяева Некомата, столь легко захватившие Константинополь. Поднять народ противу законного князя на Москве нечего было и думать. Счеты — счетами, взаимное нелюбие — нелюбием, вплоть и даже до убийства, но токмо — за общее дело, а чтобы призвать народ изменить своему князю ради чужого, пусть и тверского, находника! Не Византия! Не Царьград. Века спустя и то не могли помыслить такого русичи. И потому оставалось надеяться токмо на победу Михайлы в бою, на смену власти, на то, что поверженная Москва подчинится новому великому князю владимирскому, и вот тогда-то...

Что творилось в душе Ивана, что творилось в душе домочадцев его: жены, сына Федора, снохи? Ну, внук, двухлетний малыш, не в счет. О чем думали домочадцы, не пожелавшие покинуть господина своего в толикой беде, и о чем — дружинники, домашний поп, лекарь и книгочий, после долгих мук и размышлений решившийся ехать с Вельяминовым?

Рассорившийся с родичами Иван никого из них не поставил в известность о своем предполагаемом бегстве.

Право отъезда слуг вольных, древнее боярское право, требовало прилюдного, перед лицом князя, отказа от службы. Иван Вельяминов, бежавший из Москвы вкупе с Некоматом о Великом Заговенье, отказную грамоту великому князю послал только лишь из Твери, то есть бежал и как беглый подлежал княжому суду.

Скорые на расправу, почасту встречавшие смерть лицом к лицу в бою ли, на путях ли торговых, предки наши были более нас чувствительны к соблюдению законности. Без палача никто, например, не брался совершить казнь преступника. Без судоговорения не позволялось никому, ниже́ самому князю, казнить или предавать опале ослушников, и потому все случаи отступления от этого правила тщательно и укоризненно отмечались летописью. Иван имел право отъезда, хотя и нарушил правило отказа боярина от службы князю своему. И в том, что обиженный князем Вельяминов покинул Москву, не зрели греха и не винили Ивана даже его прямые супротивники.

Дальнейшие события развертывались с предельно возможною для тех времен быстротою.

Вот расчет времени по летописным известиям. Пасха в 1375 году была 22 апреля (по старому стилю). На Великое Заговенье, то есть за два месяца до Пасхи (приблизительно 25 февраля), Иван Вельяминов с Некоматом бегут в Тверь, надо полагать, после предварительных тайных пересылов с тверским князем.

Владимирские князья в это время, по-видимому, на съезде. Убийство Сарайки совершается еще месяц спустя, 31 марта. (Известие о чем должен был получить Мамай не позднее чем через две недели, то есть к середине апреля, после чего он где-то в начале мая и совершил набег на Киш и Запьянье.) Но еще до того, на Федоровой неделе, в начале марта, Иван с Некоматом отправляются в Орду. Значит, Вельяминов пробыл в Твери всего около двух недель, успев, впрочем, получить поместья недалеко от Торжка[1] (причем одна из данных

[1] О поместьях Ивана, группе деревень с характерными названиями, расположенных западнее Торжка, в новгородско-тверском пригарничье, сообщил мне разыскавший их прямой потомок в 22-м колене московского тысяцкого Протасия (от его младшего правнука Юрия Грунки) Борис Александрович Воронцов-Вельяминов, известный советский ученый, астроном, коему я и приношу здесь сердечную благодарность за целый ряд сведений, касающихся рода Вельяминовых.

ему деревень так и называлась Тысяцкое, то есть его звание, не полученное в Москве, признавалось тверским князем!), как-то, на первый случай, обиходить их, оставив на месте семью и сына, а сам с ближними слугами поскакал в Орду, где тоже считался тысяцким. Высокое звание и тут сохранялось за ним.

Князь Михаил отправлял их, не сомневаясь в успехе, ибо генуэзцы, жившие в Твери и связанные со своими соотечественниками, уверяли Михаила, что ярлык он получит, как и помощь Мамаеву, обязательно. И уверили настолько твердо, что он тут же, не сожидая иных вестей, всего через полторы недели, на Средокрестии (четвертая неделя поста, конец марта, тогда же, напомним, 31-го, был убит и Сарайка!), устремился в Литву за помощью, откуда возвратился «очень быстро» (вряд ли быстрее, однако, чем к концу мая). И уже 13 июля (13 или 14-го), через четыре месяца после отъезда в Орду, Некомат возвращается от Мамая с татарским послом Ачиходжою и ярлыком, выданным великому князю тверскому Михаилу на великое владимирское княжение. Иван Вельяминов в ту пору продолжал оставаться в Орде.

ГЛАВА 74

Что должен был подумать, почувствовать Михаил, когда на его дворе ржали московские кони и высокий красавец Иван Васильевич Вельяминов в распахнутой цареградской ферязи всходил по ступеням крыльца? Они обнялись. Да, тысяцкий на Москве был лицом, равным любому князю Владимирской земли! Сурожский гость Некомат вертелся около, как рыбак, уловивший столь крупную рыбину, что не втащить и в лодку, и боящийся ее упустить.

— К тебе, князь! — просто сказал Вельяминов, когда они уселись друг против друга наверху, в княжеском тереме.— С Дмитрием не могу больше! И этот,— он кивнул пренебрежительно куда-то вбок, разумея фрязина Некомата,— обещает и ярлык добыть от Мамая, и прочее все, о чем писалось в грамоте, словом — златые горы! А я хочу, чтобы ты стал великим князем Владимирской земли! Наш род утвердил Даниловичей на престоле, наш род должен их и убрать, изженить! Тверь правее!

Иван умолк. Сказанные слова трудно дались ему, но это были слова правды. Он так думал теперь. Потому и прискакал к Михаилу.

Князь встал, задумчиво сделал несколько шагов по горнице. Сейчас, в эти мгновения, пока они были вдвоем, решалось нечто бесконечно важное, что должно было пережить и разгром и беду (ибо земли, коими наделил Ивана Михаил, оставались за потомками тысяцкого и потом, вплоть до шестнадцатого столетия, когда вельяминовский род пресекся в Твери за гибелью последних его представителей. Грех, принятый на плечи Протасием, медленно, но неуклонно истребил его потомков по прямой линии родового старшинства, что совершилось бы много ранее, кабы не тверская заступа).

«А помыслил ли ты о том, Иван Вельяминов,— молча спросил себя князь,— что я уже отрекся от искуса власти и теперь могу не захотеть возжелать ее вновь?!» Он глядел вниз, во двор, сквозь цветную разрисованную узорами слюду и думал. Наконец поднял помолодевший, обреченный взор:

— Спасибо, Иван! — сказал.— Я принимаю тебя и... твой совет принимаю тоже! Зови своего фрязина!

Разговор не был окончен на Некомате. В ближайшие дни явились кафинские гости со своим старшиною, явился неведомо чей посол из земель западных, не представлявшийся Михаилу дотоле. Еще через неделю сидели с боярами. Были все Шетневы, были Лазыничи (впоследствии — Бороздины), Микула, иные бояре, тверские и микулинские. Был игумен Отроча монастыря, были старшины ремеслённых и купеческих братств. Дело затевалось немалое, и Михайле надобно было знать мнение всей земли.

Фрязины клялись, что ярлык получат без обмана и что Мамай отныне не покинет тверского князя в беде. Неведомый гость намекал, что и с Ольгердом сговорено и что патриарший посланец Киприан не воспретит рати на князя Дмитрия. Генуэзские фряги обещали заемное серебро и оружие.

Михайло ярился в душе. Год назад вся эта помочь могла бы позволить ему захватить владимирский стол и удержаться на нем! Теперь приходит вновь брать отданные по миру города, вновь собирать распущенные было рати...

Мнение боярское выразил Григорий Садык:

— Княже! Опять Василий Кашинский тебе изме-

нил и подался к Москве! Беды не избыть, а войны не минути! Соглашайся, покудова есть заступа! Нам или досягнуть великого стола, или уж самим с повинною явиться к московскому князю!

И явился бы! Временем, часом, до того не захотелось войны! Но Иван Вельяминов сидел рядом, и уже отступить — значило предать и его. Но фряги, купеческая старшина, игумен, бояре — все вдохновились обещанием помочи и хотели, ждали, требовали его согласия. И сам он хотел! Не отошло, не перегорело в душе!

Ивану Михаил вручил деревни и села под Торжком на прокорм, ибо слишком ясно становило, что, уведавши о новой войне, вельяминовские поместья под Москвою великий князь возьмет за себя.

Да и шло к тому! Из Москвы — запрос за запросом. Дмитрий не вдруг и не сразу принял вельяминовскую разметную грамоту.

Когда уже все и тайное и явное было решено и утверждено, на Федорове неделе, как сказано, Иван Вельяминов с Некоматом отправились в Орду, а сам Михаил, спустя малое число дней, на Средокрестной неделе, поскакал к шурину, великому князю Ольгерду.

Кое-где, на просохших полянах, уже пахали. Сын, провожавший Михаила верхом, обнимая отца на расставании, заботно и тревожно спросил:

— Одолеем, батя?

— Не ведаю! — честно отмолвил ему Михаил.— Ежели фряги с Мамаем да Ольгерд помогут нам вовремя...

Таким и запомнил в тот раз отца княжич Иван: заботным, пасмурным и — решившимся вновь идти до конца. Охолодало. По небу быстро бежали торопливые дымные облака. Дул ветер, ледяной ветер новой весны. Глаза отца прояснели синью. Он махнул рукою и поскакал, уже не оборачиваясь назад.

ГЛАВА 75

На второй неделе поста заболел Сергий, игумен Радонежский. Заболел, наверно, впервые в жизни и потому очень тяжело.

Он не велел никого извещать о своей болезни, сперва перемогался, ходил в храм но после слег и уже

лежал недвижимо, дозволяя братии обихаживать его непослушную, жестоко истончившуюся плоть, и только старался, елико мог, сократить ухаживающим за ним инокам неприятные ощущения, связанные с плотскими потребностями своего непослушного, дурно пахнущего тела.

Он лежал и спал или думал, перебирая в уме все, совершенное им в жизни, и вопрошал себя: дождался ли уже плодов с древа, заботливо произращенного?

Почасту, открывая глаза, видел склоненное над собою суровое лицо Стефана. Брат давно перемог свои прежние страсти, гордость и вожделение, но, кажется, сломив гордыню, сломался и сам... Приходил ростовский инок Епифаний, и Сергий видел в его глазах, в их отуманенной голубизне, в испуге пред скудостью плоти, в остроте взора (Епифаний был изограф, но и писец нарочит) иные моря и земли, просторы неба и колебанье стихий и предугадывал, что как некогда Станята-Леонтий, так и сей станет путником на этой земле и должен повидать многое, прежде чем воротиться сюда, понявши наконец, что и самый долгий путь не длиннее короткого и что полноты души возможно достичь и не выходя за ограду обители...

В один из дней — на дворе уже вовсю расцветали травы, пели птицы, и иноки давно уже довершили работу на монастырском огороде и в поле — в келье явился Федор Симоновский. Явился как луч света или ангел добра. Отворил двери, велел жарко истопить печь, раздел донага и обмыл Сергия, не страшась и не ужасаясь видом иссохших костей, едва прикрытых изможденною плотию, выкинул, изругав послушников, истлевшую постель с гнилою соломою внутри, совершенно не слушая Сергия, набил свежий пестрядинный тюфяк новою соломою, переодел наставника в чистую полотняную сряду, промазал медвежьим салом все пролежни, сам составил отвар, которым велел поить Сергия. Наконец. все устроив, уложив погоднее жалкую, с запавшими висками и провалившимися ямами щек голову любимого учителя и дяди на мягкое взголовье, сел рядом на маленькую холщовую раскладную скамеечку, на которой сиживал Сергий, когда плел лапти или тачал сапоги, задумался, бестрепетно глядя в очи полутрупа, начал рассказывать о заботах своей обители, о том, где он был и почему не приходил раньше. После помог Сергию

приподняться, дабы исполнить молитвенное правило. Уходя, долго наставлял надзирающих за игуменом, дабы творили впредь по указанному...

Приходил потом Мефодий с Песноши; был Кузьма, казначей Тимофея Василича Вельяминова. Осторожно сказывал о семейной беде: бегстве Ивана во Тверь. Почасту являлся старец Павел, что поселился в лесу, вдали от обители, ища сугубого уединения. Прибрел из Галича, прослышав о болезни Сергия, Авраамий. Приходил с Киржача Роман, из Москвы — игумен основанного Алексием во свое спасение монастыря, Андроник, давний ученик Сергия. Приходил из Переяславля Дмитрий, основатель Никольского, что на болоте, монастыря и тихо выспрашивал полумертвого наставника, благословит ли тот его бежать далее, в глушь, в вологодские северные пределы? Нет, жизнь не прошла напрасно, и свершено за протекшие годы многое!

Сергий ждал, и вот наконец к нему явился Алексий. Владыка Руси долго сидел, не шевелясь, уложив руки на колени, глядел на эту связь костей, в живые глаза на обтянутом кожею черепе.

— Нет, я не умру! — медленно открывая уста, ответил Сергий.— Не зрю образа смерти перед собою! Господь предназначил иное... Что, не ведаю, но еще не все должное свершено мною! Я вот что думаю,— продолжил он задумчиво и тихо, и голос старца, повинуясь слабому дыханию, журчал совсем еле слышно.— Думаю, мне болеть, пока не утихнет новая пря на Руси! Что Иван Вельяминов? Что князь? А татары? А этот Киприан?

Больной спрашивал медленно, с отдышкою, но разум был ясен в этом теле, и Алексий, преодолев наконец ужас возможной жестокой потери, начал говорить, объяснять, рассказывать. Сергий слушал и не слушал. Сказал вдруг, без связи со спрошенным:

— Будет война! Смерды опять погибнут! Не может человек...— Он не договорил. Алексий, похолодев, склонился над телом.

— Чего не может? (Неужто умер?!) — Но Сергий спал, у него просто окончились силы, и он спал, тихо вздыхая во сне. Алексий замер, не смея мешать спящему, и долго и неподвижно сидел рядом с ложем, без мысли, опустошенный до дна. Сергий надобен был ему, как самая основа духовного бытия. Пока Сергий был,

существовал, сидел в своем лесу,— все содеивалось и все было возможно. Его охватил ужас.

— Господи! — воззвал он.— Не сотворяй мне еще и этого испытания! — Он едва не попросил смерти себе взамен Сергиевой, но вовремя опомнился и торопливо осенил себя крестом, отгоняя греховный помысел: не должен верующий никому из ближних своих, даже себе самому, желать смерти!

Садилось солнце. Багряная струя гаснущей зари влилась в узенькие оконца кельи, прочертила огненный след на чисто подметенном и вымытом полу (со дня быванья Федора Симоновского иноки не запускали уже так ни келью преподобного, ни его постель, ни его самого).

Алексий вдруг понял, что он, проживший восемь десятков лет и переваливший на девятый, не приуготовил себя к гибели. Вернее, когда-то был готов, ежечасно готов оставить земное бытие, но в делах, в суете, под бременем забот государственных, утратил готовность свою и теперь растерян и угнетен видением смерти!

Солнце никло, свет мерк, и в келье становилось темно. Алексий не уведал, когда Сергий пробудился от сна, и вздрогнул, услышав его голос:

— Ныне покончишь с Михайлою, токмо не мсти ему! И отпадут тверские заботы твои, владыко! Это долит, это тревожит и держит тебя на земли! Нет, я не умру, Алексие! Не страшись! Восстану, когда минует беда! Говорю тебе: нету образа гибели передо мною, и ангел смерти еще не садился у ложа моего! Если бы люди умели ждать и терпеть! Не стало бы войн, злодейств, мучительства... Скажи, Алексие, будут ли когда-нибудь люди — все люди, а не одни лишь иноки — такими, как мы с тобою? Или плотская тварная жизнь всегда грешна и такою пребудет вовек?

— Того не ведаю! — тихо отозвался Алексий.

— Возможно,— продолжал Сергий, — надобно побеждать... ежечасно, всегда! Но не победить всеконечно... Ибо в этом, наверное, и есть искус жизни: в постоянной борьбе со злом!

Сергий утих, выговорившись. Сумрак, все больше сгущаясь, заливал келью. А Алексий с пронзительной остротою понимал, что все его дела, свершенья и замыслы без этого полумертвого инока — ничто.

ГЛАВА 76

Михайло Тверской воротился из Литвы в самом начале июня и начал собирать рати. Через месяц с небольшим (13—14 июля) прибыл из Орды Некомат с татарским послом Ачиходжою и с ярлыком от Мамая и хана на великое княжение владимирское. Михайло тотчас отправил Дмитрию взметную грамоту, слагая крестное целование, а на Углече Поле и в Торжок послал своих наместников с вооруженною ратью. Так началась последняя тверская война, самая короткая и, быть может, самая яростная из всех предыдущих.

На этот раз, наконец, москвичи оказались готовы вовремя. Дружины уже были собраны, полки уряжены, и князья ждали только приказа, дабы выступить тотчас, не стряпая.

Гонец со взметною грамотою достиг Москвы семнадцатого числа. Дума собралась немедленно, и уже через несколько часов во все концы понеслись, насмерть загоняя лошадей, конные вестоноши. Глухой топот копыт, пролетающий, взвихрив пыль на дороге, одинокий всадник. Война! Баба у колодца роняет кленовое ведро, стоит, глядя из-под ладони вдаль: какая, с кем? Неужто татары?!

Двадцать девятого июля «князь великий Дмитрий Иванович, собрав всю силу русских городов и со всеми князьями русскими совокупяся... с Волока пошел ратию к Твери, воюя волости тверьскыя»,— записывал тогдашний летописец. Седовательно, двух неполных недель хватило на сбор войск и на их подход к Волоку-Ламскому?

С московскою и коломенскою ратью Дмитрия (от Коломны до Волока более двухсот верст) шли князья — «коиждо от своих градов и со своими полкы»: тесть его, князь Дмитрий Костянтиныч Суздальский (от Нижнего до Волока более пятисот верст), князь Владимир Андреевич (от Серпухова до Волока двести верст), князь Борис Костянтиныч Городецкий (от Городца тоже пятьсот верст) и князь Дмитрий Костянтиныч Ноготь-Суздальский, князь Андрей Федорович Ростовский (триста пятьдесят верст), князь Семен Дмитрич, князь Иван Васильич Смоленский (тоже триста — четыреста верст), князь Василий Васильич Ярославский (четыреста с лишком верст), князь Роман Васильич Ярославский, князь Федор Романович Бе-

лозерский (шестьсот верст!), князь Василий Михалыч Кашинский, князь Федор Михалыч Моложский (четыреста пятьдесят верст), князь Андрей Федорыч Стародубский (поболее двухсот верст), князь Василий Костянтиныч Ростовский, князь Александр Костянтиныч, брат его, князь Роман Михайлович Брянский (пятьсот верст), князь Роман Семеныч Новосильский (четыреста верст), князь Семен Костянтиныч Оболенский, князь Иван Тарусский «и вси князи русстии, коиждо со своими ратьми и служаще князю великому, и окружная места тяжко плениша...».

Иными словами, выступили все владимирские князья и большая часть князей так называемых верховских княжеств, расположенных за Окою.

Когда складываешь все эти цифры расстояний, делишь на количество дней, на среднюю скорость движения даже конницы с обозами (сорок — сорок пять верст в сутки), становится ясно одно: почти никто из союзных князей за две недели второй половины августа не то что подойти, но и собрать полков попросту не успел бы. Ни из Городца, ни из Нижнего, ни из Ярославля, не говоря уже о Белозерске или Новосиле. А мы, прикидывая расстояние, не учли еще всех извивов и неровностей пути, переправ и иных задержек. И это не были легкие конные дружины, это была действительно огромная армия, которая «тяжко облегла» Тверь. То есть в походе участвовали пешие полки, городовая рать, а возможно, и сельское ополчение. Решительно никак не получается, чтобы подобная армия собралась в указанный двухнедельный срок! А значит, ратные силы Владимирской земли уже были собраны, и сбор их начался, по крайней мере, вслед за убийством Сарайки, то есть за четыре месяца до начала войны. Но вот вопрос: против кого они изготовились? Ольгерда? Мамая? Ведь о ханском ярлыке Михаилу еще никто ничего не знал! Как и о том, что способны натворить сурожский гость Некомат с Иваном Вельяминовым! (И почему, кстати, Иван остался в Орде, где продолжал зваться московским тысяцким?!)

Конечно, москвичи могли ожидать, невзирая на заключенный мир, нового Ольгердова набега еще весною, когда Михайло уехал в Литву. Еще вероятнее было ожидать нашествия Мамая в отместье за уничтожение своего посольства. Хотя вряд ли затевался русичами в ту пору крестовый поход против Орды — как полагают

иные исследователи, своих бед хватало на Руси! Да и долгие пересуды на княжеском сейме говорят скорее о желании заключить мир с Мамаем, чем о жажде повести ратников в ордынские степи. И все же полки были собраны. И ждали боя. С кем?

Тайная дипломатия Рима и Генуи, развязавшая эту войну, не учла суровой решимости русичей в любом случае воевать за свою землю и отстаивать духовные идеалы Родины. Ожидали, что все произойдет так же, как в Византии. Слишком многого ждали от измены тысяцкого. Медлили с помощью.

Но москвичи на сей раз, наученные опытом предыдущих литовских набегов, обогнали всех, не давши врагам выступить совокупными силами. Ни Мамай, ни Ольгерд попросту не успели бы вмешаться (да и не очень хотели, как прояснело впоследствии!), ибо за те полтора месяца, в которые все и началось и закончилось, собрать большие армии и повести их за тысячу верст на Москву было бы невозможно.

Две недели (только-только домчать до Орды!) на выступление войск. Первого августа был взят приступом всех ратей Микулин, и уже повели в полон захваченных горожан. А пятого августа, на заре, в канун Спасова дня, Дмитрий с войсками уже подступил к Твери, сжег пригородные посады и церкви, разорил села по волости и восьмого, через три дня, на память святых мучеников Дементия и Емельяна, в среду утром, подведя туры и сделав примет у стен, от Тьмацких ворот повел приступ к городу.

ГЛАВА 77

Онисим с тяжелым сердцем покидал на сей раз родимые хоромы. Мнилось, и не узрит больше! То ли погибнет сам, то ли деревню сожгут. Шел вдвоем с Федором. Коляню и подросшего Ванчуру сорок раз предупреждал:

— При первой вести о московитах гоните скотину в Манькино займище и сами туды схоронись! С добром, со всема! Сруб у меня поставлен на болоте, засеки поделаны, ни един черт не найдет! Ты, Недаш, и с Колянею, гляди, парня какого в сторожу посылай! — И еще издали, привставая в седле, прокричал: — Телегу! Телегу с собой забирай! — Представил, как погонят телегу чужие ратники, груженную его же добром, запряженную

Онькиной лошадью, да поведут назади связанных Таньшу с девками — худо сделалось! Ехал, вздыхал. Федор поглядывал сбоку на отца. Ражий парень, видный, а оженить за боями да за походами так и не успел! Убьют — хоть корень оставил бы на земле, паренька там али девоньку... Сзади топотали кони двоих Недашевых. Четверо ратников (и у двоих — брони!) посылала деревня на защиту Твери.

Когда переправились в город, уже все толковали о подходе московских ратей. День и ночь скрипели возы, спешно свозили остатний хлеб из деревень. Тут бы жать! А какое жнитво — по всем дорогам конная сторожа. Села — вымерли. В город спешно завозят сено, гонят и гонят скотину, и уже тесно от нее становит по дворам.

— Война все съест! — толкуют бывалые ратники.

Онисим, как и другие пожилые ополченцы, занял место в городовом полку, на защите стены со стороны Дмитровской дороги. Федор, как ни берег Онька парня, оторвался на сей раз от родителя-батюшки, наряженный в конную полевую сторожу.

Пятого августа, утром, из дальних лесов начали выливаться полк за полком московские рати. С высоты стен видно было: словно бесчисленные муравьиные рои оползали город. Как-то враз и зловеще вспыхнули хоромы в загородье. Комонные московиты — вот они! Уже подскакивали к стенам, пускали стрелы. Одного непроворого задело-таки, высунулся из-за заборол. Раненого отволокли вниз, отдали жонкам-знахаркам...

Онька извелся в этот день, все гадал о Федоре: жив ли? Тверская конная рать выходила в поле, в сшибках — видать было со стен — являлись и раненые и убитые. Поздно уже он отпросился у боярина. Долго разыскивал, пока наконец в какой-то клети у Тьмацких ворот, среди вповалку спящих молодцов, не отыскал Федора. Потискав за плечи спросонь плохо понимавшего что сына, Онисим отправился назад. Его окликали дозорные, прошали грубо, почто шастает ночью.

Воротясь к своим, Онисим влез по ступеням на заборола глянуть в ночь. Костры горели, точно россыпь светляков, по всему окоему. Сила к городу подошла несметная.

На другой день продолжались сшибки, москвичи разъезжали вдоль городских стен по-за валом. Там и тут реяли княжеские стяги. Вся сила Владимирской

земли и верховских княжеств собралась под стенами Твери. К Тьмацким воротам, на той стороне, начали пододвигать высокие скрипучие башни на колесах — туры. Ратники тащили вязанки хвороста, прикрываясь щитами, забрасывали ими ров — делали примёт. Вот вдали промаячил узорный колонтарь и красное корзно какого-то воеводы. «Сбить бы такого!» — мечтательно произнес кто-то рядом с Онисимом.

Сменяясь, ели кашу. Ждали. Многие откладывали ложки — не елось перед боем! Примёт продолжали наваливать и ночью, к утру ров был почти полон. Вновь подвигали туры. Подходили, подтягиваясь, полки.

Приступ начался утром на третий день осады. Там, у Тьмацких ворот, нарастал и ширил натужный крик, медленно, колыхаясь, двинулись осадные башни. Воздух затмило от мельканья летящих туда и оттуда стрел.

Уже лезли по примету наверх, уже волокли лестницы, уже тяжким, с окованною вершиной, бревном, подвешенным на цепях, готовились расшибать ворота, как створы их отворились сами и, не видные отсюда, навстречу московитам высыпали тверские конные дружинники. Онька, не ведая, что с сыном, стоял и молча молился. Бой кипел уже у осадных тур.

Федор, Онисимов сын, был в спешенной стороже у самых ворот. Когда створы их распахнулись и мимо него, пригибаясь в седлах и все убыстряя и убыстряя бег, прошла на рысях тверская кованая рать — «Князь! Князь!» — раздались голоса, Федор вытянул шею:

— Где? Который?

— Вон! В корзне! На карем коне! Рать ведет!

Михаил, и верно, скакал в рядах своей дружины и, вырвавшись из узости ворот,— копыта гулко и глухо протопотали по дереву мостового настила — вырвал из ножен саблю и ринул первым в гущу осаждающих москвичей. Сабля его, прочертив молнийный след, ударила в мягкое, потом проскрежетала по вражескому шелому. Противники вспятили.

— Поджигай! — бешено орал Михаил. Сзади бежали пешцы, полк Федора вступал в бой. Ратники топорами рубили туры. Михайло в разорванном, взвихренном корзне уже рубился напереди. Битва ширилась. Все новые и новые тверские дружины выбегали и выезжали из ворот. Две осадные башни уже пылали.

Федор, обеспамятев, рвался вперед, за князем, не усмотрев, что пеший полк остался назади и начал втя-

гиваться назад, в ворота. Михайло скакал по полю, все так же бешено врезаясь в ряды москвичей, дружинники неслись вослед своему князю. Вдруг сбоку, слева, прихлынула иная рать. Федор оборотился, вздевши топор, ударил кого-то, был сбит с ног, через него бежали, спотыкались, прыгали. Он поднялся на четвереньки, яро рыча, хотел было встать, но тут на него налетел какой-то молодой парень в кольчатой рубахе и шишаке, схватил Федора за шею, и они оба покатились покатом в истоптанную траву. Рядом рубились, отступали, напирали вновь, а эти двое, грызя друг друга, не в силах дотянуться и до ножа, все катались по земле, пыхтя, добираясь до глаз и до горла.

— Грызи меня, грызи! — яростно бормотал Федор, постепенно освобождаясь. Парень был молод противу него, да увертлив, и все не удавалось заломить ему руки за спину. Он было и перемог, но парень, нежданно извернувшись, вырвал нож и ткнул в руку ниже короткого рукава кольчатой рубахи. Федор споткнулся, и тут его ударил под дых сапогом какой-то московский ратник.

— Не трожь, мой! — яростно закричал парень в кольчуге, замахиваясь ножом на ратника, и стал крутить руки Федору арканом. Завидя, что у того льется кровь, парень грубо перевязал ему предплечье и погнал перед собою, уводя полоняника в свой стан.

Скоро они достигли коноводов с оседланными конями. Парень, боярчонок видно, заметил наконец, что Федор вовсе не может идти и начинает валиться наземь. Поднял его, довел до коня, которого держал какой-то густобородый, самого мирного вида мужик, что — тут же достал целебной травки, распорол рубаху на Федоре и перевязал ладом раненую руку. Парень, видя, что кровь все идет, даже перепал немного, видно боялся потерять захваченного полоняника. Федора посадили на конь, арканом, чтобы не убежал и не упал, привязали к седлу. Парень, кивнув мужику, устремил снова в бой, а Федор, безнадежно оглядываясь назад, поволокся куда-то в глубину московского стана. «Прощай, батяня!» — вымолвил он, ощутив невольную мокроту глаз.

К вечеру бой у ворот начал стихать. Москвичи отступили, оставив истоптанное, покрытое трупами поле, а тверичи, уничтожив и изуродовав туры, тоже отошли назад, в город. Князь до самого вечера дрался в гуще сражения, прикрывая отступленье своих полков. Уже

когда в сумерках протяжно затрубили рога и начал затихать бой, он оглянул еще раз смутное кровавое поле и строящиеся вдали ряды московских дружин, поднял над головою кровавую саблю, погрозил ею туда, во тьму, и въехал в город на шатающемся, в пене, загнанном скакуне. Нет, он не искал в этот день смерти! Но и жизни своей не щадил, понимая, что за каждого сраженного ратника, за каждого людина, уведенного в полон, отвечать пред Господом придется ему одному.

На второй приступ москвичи уже не рискнули. Отступивши со всех сторон от городских стен, они начали рыть канаву и ставить острог, окружая Тверь полукольцом укреплений. Тверская рать выходила в поле еще не раз, завязывались стычки, все более трудные для осажденных. Наконец, стена из заостренных кольев и легких башен с навесами и бойницами для лучного боя опоясала Тверь. Москвичи подогнали собранные по берегу лодьи и на судах навели два моста через Волгу, выше и ниже города, заняли Отрочь монастырь и полностью окружили город. Осадою явно руководил опытный в ратном деле муж, один или несколько, почему в результате полутора недель муравьиной работы всего войска Тверь была окружена и замкнута так, что даже гонцы с великим трудом прорывались в город и вон из города.

На четвертый, пятый ли день после отбитого приступа к Твери подошла собранная с великою поспешностью новогородская рать. Бояре Великого Нова Города мстили за разграбленный Торжок.

Посланные в зажитье рати пустошили Тверскую волость, стадами угоняя скот, целыми деревнями уводя полоняников. Михаил ждал, надеясь на обещанную помочь. Проходил август — подмоги не было. Потом от пробравшихся сквозь московские заставы слухачей вызналось, что литовская рать подходила было к Твери, но, нарвавшись на сильные московские заслоны, отступила, не принявши боя. Последняя надежда рухнула, тем паче, что и из Орды не было радостных вестей. Мамай медлил. Быть может, не мог собрать ратных, быть может, его задерживали Черкес или Тимур, но не было помощи и из Орды. (А когда она подошла, было уже слишком поздно, и Мамай тоже не решился напасть на Дмитрия, ограничившись новым грабежом окраин нижегородской земли.)

Проходили дни. Редкий без какого-нибудь приступа. Ратники исхудали и почернели от недосыпа. Город

изнемогал. Шел уже двадцатый день осады, и, кроме новых и новых сведений о грабежах и погроме тверской земли, князь не получал никаких иных вестей. Фряги обманули его! Обманул и Мамай, обманул и Ольгерд. Все они отступились от обреченного города.

Михаил сам обходил стены, дома почти не спал, раз за разом кровавил саблю и видел, что личное мужество — ничто там, где дерутся друг с другом тысячи.

Его берегли. Многажды грудью защищали от направленных в него стрел. И все-таки Михайло чувствовал себя предателем. Он предал Тверь, обрек на уничтожение, плен, голод и смерть свою волость, и — ради чего?

Онисима, давнего своего знакомца, Михаил повстречал случайно и сперва не узнал прежнего Оньки в старом, перевязанном кровавою заскорузлой тряпицею и уже седом мужике. Поседел Онька, узнавши о гибели второго сына.

Встретив князя, он робко поклонился ему, намерясь отступить в сторону. Князь, в броне и шлеме, стоял перед ним, вглядываясь в лик ратника слепым, невидящим взором.

— Это я, Онька! — решился подать голос мужик.

— Онька? Онисим! — бледно усмехнулся Михайло, припоминая, и вдруг померк. Горячею горечью окатило сердце.

— Ты что? — вопросил он.

— Сына потерял! Второго! — просто ответил ратник.

Они молчали, стоя друг против друга. Говорить было не о чем. Смеркалось. Изредка над головою посвистывали стрелы.

— Чую, что и нашу сторону ограбят тою порой! — осмелев, видя, что князь не уходит, высказал Онисим и снова умолк.

— Помочи нет и не будет! — ответил Михайло сурово. И поднял светлые, отчаянные, все еще молодые глаза: — Ольгерд не придет!

— А Мамая, того и вовсе не надо бы! — раздумчиво, покачав головою, возразил Онька.— Как уж опосле Щелкановой рати...— Он не докончил. Михайло понял его, кивнул головой. У него застрял ком в горле. Он не мог пережить плена единого сына, а тут — двое, и, верно, пока этот ратник стоит с ним на стене, охраняя княжеский город, новгородские ратные пустошат

Онькину деревню, забирают в полон семью, бесчестят дочерей, угоняют скотину...

— Что делать, Онисим, скажи?! — почти выкрикнул он.

— Что ж молвить тебе, княже?! Надобно, изомрем! А токмо, ежели помочи не добыть ниоткуда,— мирись! Рано ли, поздно, а перед такою громадою войска — не устоять! Видать, не наше теперича время!

Князь молча, опустив голову, прошел дальше по стене. Так и не понял Онисим, то́ ли слово молвил Михайле, по нраву ли? И внял ли ему, не огорчился ли князь?

Но еще два дня спустя ворота отворились, и из города выехали с белыми платами в руках совлекшие с себя шеломы всадники. Они толпою окружали епископа Евфимия, который шел пеший, вздымая в руке большой напрестольный крест. Начались переговоры о мире. Было уже первое сентября. В Твери и в ставке великого князя московского подписывались грамоты, бояре ездили туда и сюда, утихла перестрелка.

В грамоте, которую вновь перечитывал Михаил, начинавшейся словами: «По благословенью отца нашего Алексия, митрополита всея Руси», его, Михаила, называли молодшим братом великого князя московского, обязывали «блюсти и не обидети» вотчины великого князя Дмитрия и земли Великого Новгорода, «не вступати» в Кашин и в то, что «потягло к нему». Уряживались дела порубежные. К чести Дмитрия и его руководителя, владыки Алексия, они не отбирали у Михайлы тверских волостей, оставляли волю всем боярам, избравшим того или иного князя, и лишь для двух человек, Ивана Вельяминова и Некомата, делалось исключение. Села их великий князь забирал под себя. Михаила обязывали давать путь чист новогородским гостям, не накладывать на них и не изобретать новых вир и пошлин. И выступать заедино с братом своим старейшим против татар или Ольгерда, с которым его обязывали порвать прежний ряд.

«Вот и окончено!» — думал Михайло с тяжелым горьким отчаянием, понимая, что, заключив этот ряд, он уже никогда, ни в какие самые несчастливые для Москвы годы, не восстанет на Дмитрия и не захочет переиграть историю и судьбу. Кончено! Ныне он отрекается от всего: борьбы, гнева и злобы, гордой мечты быть первым в русской земле, мечты, потребовавшей слишком большой, уже не оплатной ничем кровавой

дани. Кончено! Как написано в грамоте — «всему сему погреб!». И завтра он поцелует крест «к брату своему старейшему Дмитрию» за себя, и за сына Ивана, и за весь род, навсегда уступая Москве великое владимирское княжение и превращаясь, опять же навсегда, в «молодшего брата» — подручника московского князя. На этих условиях до поры ему и его детям оставляли их отчину, Тверь с волостьми, градами и селами, «иже к ней потягло», и право жить дальше. Ему и Оньке. Восстанавливали порушенное добро.

Третьего сентября, заключив мир, московские рати отступили от города и начали расходиться «коиждо восвояси».

ЭПИЛОГ

Иван Федоров был на седьмом небе от гордости, что приведет в дом холопа. Он ехал красуясь, подражая лениво-небрежной посадке бывалых ратников. За ним, на телеге с нахватанным добром, которою правил тот самый густобородый мирный мужик, крестьянин из владычной деревни, тряссяя, поддерживая раненую руку, захваченный в бою полоняник, которого — он уже выяснил — звали Федюхой.

Ржали кони. Брели полоняники, иные из которых будут освобождены по миру, другие так и останут холопами на чужом боярском дворе. Гонят скотину. У каждого пешца за спиною — полный мешок награбленного добра: портище ли, сарафан, зипун или заготовленные кожи, бабьи выступки, очелье, медный ковш или какой рабочий снаряд — все сгодится! Не бояре, дак! Второй день моросит, и дорога раскисла, чавкает под ногами. Тысячи походных лаптей, сапог, поршней месят дорожную грязь.

Иван обгоняет долгий обоз, оглядывается назад, на свою непроворую телегу. Он счастлив и горд, он поднимает голову, с удовольствием принимая холодную осеннюю влагу, омывающую его разгоряченное веснушчатое лицо. Вечером, на ночлеге, он кричит на холопа нарочито грубым голосом — он ведь теперь господин! Крестьянин глядит на него добродушно-устало. Боярыня просила Христом Богом, хоть раненого, да живого довезти боярчонка до дому. Сам, не чинясь, делится ломтем хлеба с тверским полоняником.

Дома (уже издрогшие, уже под проливным осенним дождем) они, мокрые, все трое слезают наземь, стучат в ворота. Наталья выбегает из дверей с расширенными от счастья глазами: сын — живой!

— Матка! Я холопа привез! — говорит Иван «взрослым» голосом, и матерь, любуя мокрого Федора лучистыми счастливыми глазами, говорит пленнику:

— Заходи, тверич, поснидай, оголодал, поди! Как звать-то тебя? Федюхой? Федею, должно!

Скоро все трое сидят за столом, уплетая горячие щи. На холопе старая рубаха и порты, своя сряда сохнет на печке. Жить можно! — думает Федор, постепенно оттаивая.— Боярыня, кажись, добрая!

В эту осень великой войны не произошло. В то время, когда князь Дмитрий стоял под Тверью, новгородские ушкуйники взяли и разграбили Кострому.

Воеводою на Костроме был младший брат владыки Алексия, Александр Плещей, рачительный хозяин и книгочий, но никакой стратилат. Новгородцы, обогнув город по можжевельнику, как рассказывали впоследствии очевидцы, зашли в тыл московской рати, ударив разом с двух сторон. Город взяли в какие-нибудь полчаса и разграбили дочиста. Московская рать в беспорядке бежала во главе с воеводою, хотя их было вдвое больше, чем ушкуйников. «Плещеев вдал плещи»,— ядовито острили по этому поводу на Москве. Алексий принял брата у себя в палатах. Оставшись с глазу на глаз, одно только высказал:

— Лепше бы тебе было честною смертию пасти! — И Александр со срамом, повеся голову, покинул палаты старшего брата...

Полонившие Кострому ушкуйники вослед за тем спустились вниз по Волге, грабя купеческие караваны и разбивая все волжские города, а кончили бесславно. Уже в низовьях, в Хаджи Тархане, дались в обман, перепились и были в пьяном беспамятстве все до единого вырезаны татарами.

Осенью встал с одра болезни игумен Сергий. Иван Вельяминов по-прежнему оставался в Орде, и Наталья, грехом поминая давешний разговор с ним в московском тереме, тихо радовалась, что не связала судьбу своего сына с судьбою отступника, который едва ли когда воротит и уж, верно, не будет прощен!

Холоп Федя, у коего зажила раненая рука, неплохо помогал по дому и в хлевах обряжался со скотиною.

Колол дрова, осенью, до снегов, перекрыл соломою крышу. Кормили его по большей части вместе с собою, за столом. Иван пофыркивал, на все робкие попытки Федора подружиться с ним — задирал нос, куражился. Мать окорачивала:

— Не такие мы баре! Да и грех величаться тебе, сам мог во полон попасть!

Как-то холоп прихворнул. Лежал в холодной клети, жаром блестели глаза. Иван зашел, потыкал его концом плети, окликнул грубо:

— Федька, вставай! Кони не обряжены! — Увидел горячечный взгляд, побелевшие губы, остоялся.— Ты чего?! — Пошмыгал носом, посовался, спросил для чего-то, хотя и так можно было понять: — Совсем занемог? — Сбегал за горячим питьем, захватил кусок меду. Федюха пил трудно, кашляя. Мед есть не стал. Пришлось бежать к матери.

Наталья распорядилась положить полоняника на печку, стала поить отварами целебных трав.

Лёжучи, Федор рассказывал слабым голосом про свое лесное житье-бытье, про батяню, медведей, про лося, который чуть-чуть не затоптал родителя-батюшку. Как-то на вопрос Натальи, откуда они родом, припомнил давнее предание (он уже слезал с печи и помаленьку начинал работать): как еговый дедушко, батин ли был схвачен опосле Щелкановой рати, как его свободил какой-то москвич, не то Федор Михалкич, как-то так, не то не едак ищо...

— Как деда-то твоего звали, помнишь? — вопросила Наталья.

— Да... как... Отец-то, батяня мой, Онисим, а дедо... Кажись, Степан! Степан Прохоров, должно!

Иван безразлично, одним ухом, ловил холопий рассказ, но мать вдруг, отставя тарелку, посмотрела на слугу долго-подолгу и необычным, добрым каким-то голосом попросила:

— Пойди, Федюша, коней обиходь! Чаю, овса надо подсыпать Чалому!

Холоп вышел, хлопнула дверь.

— Ты чего, мать? — опоминаясь, спросил Иван.

— Батя твой сказывал, как его отец, Мишук, тверича одного отпустил после того, Щелканова, разоренья. И зипун ему дал, и секиру — всем наделил, словом. И еще сын, не то внук у него был со снохой! А Федором Михалкичем деда нашего звали! Дак етот Они-

сим, Федин батька, не тот ли? Не Степанов ли внук?

Иван поднял голову, во все глаза уставился на мать, трудно соображая. Вдруг кровь ударила в голову, весь залился багровым румянцем.

— Дак... Ежели...— только и произнес.

— То-то, сын! — кротко ответила Наталья.— Ты уж поопрятнее с им!

Мать опустила глаза, зачерпнула ложкою каши, сделала замечание Любаве:

— Стыдись, невеста уже!

А Иван все сидел, поминая, как он чванился над раненым, как грубо гнал его перед собою, как и теперь...

Он ничего не стал говорить матери, но однажды, уже Великим постом, приказал холопу готовить коня и телегу, не сказавши, зачем.

Выехали в темь, ночевали уже где-то вблизи Дмитрова, а наутро, договорясь с хозяином, Иван оставил у него телегу и, севши в седло, приказал Федору, пешему, идти за собой. Федор (он уже сжился с Иваном и порою не замечал его нарочитой, показной грубости), передернув плечами, туже запоясался и вышел вслед за господином, не очень понимая, зачем они идут и куда. Когда уже отошли версты три, Иван так же грубо повелел Федору сесть на круп лошади.

Ехали молча. Федор, недоумевая все более, держался за луку седла. Дорога была пустынной и, как бывает, ярко золотилась, сверкала в лучах холодного зимнего солнца.

— Дальше тверская сторона! — сказал наконец, останавливая коня, Иван.— Слазь! Пойдешь,— говорил он, наклоняясь с коня,— версты через четыре, за тем увалом, первое тверское село будет! Ну, и... ентот вот мешочек возьми! Мать подорожников напекла... И вот от меня тоже... Отселе ты сам добересси до Твери. Ступай!

Федор недоуменно глянул, встретил насупленный, почти злой взгляд Ивана и, ничего так и не поняв, даже того, что свободен, зашагал по дороге. Когда он уже отошел порядочно места, Иван, сложив руки трубой, прокричал:

— Федюха-а-а!

Тот обернулся, стоя на бугре. Солнце светило с той стороны, и он, весь в тени, был на ясном небе как словно вырезан из дерева.

— Батяню твово свободил мой дедушко-о-о! —

прокричал Иван и, махнувши рукою, круто поворотил коня и поскакал, уже не сдерживая радостных слез.

Федя припустил было с горы бегом, но конь уходил все дальше и дальше.

— Ванята-а-а! — кричал Федор.— Ванята-а-а! — кричал он с отчаянием и вновь бежал, задыхаясь от бега, и останавливался, и снова кричал уже безнадежно: — Ванята-а-а-а!

Конь мелькнул еще раз за последним перевалом и исчез. На пустой дороге оседала снежная пыль. Федор долго стоял, прислушиваясь, и когда уже понял, что тот не воротится, круто отвернул и, опустив голову, зашагал в сторону Твери.

1987

СОДЕРЖАНИЕ

Балашов Д. М.
Б 20 Собрание сочинений. В 6 т. Т. 6. Отречение
Роман.— М.: Худож. лит., 1993. 681 с.

ISBN 5-280-02039-7 (Т. 6)
ISBN 5-280-01602-0

В шестой том Собрания сочинений вошел исторический роман из цикла «Государи Московские» — «Отречение», повествующий об окончательной победе Москвы над Тверью в жестокой, многолетней борьбе за право стать центром Русской земли, за великое владимирское княжение

Б $\frac{4702010201\text{-}105}{028(01)\text{-}93}$ **Подписное** **ББК 84Р6**

ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ БАЛАШОВ

Собрание сочинений в шести томах

Том шестой

Редактор **Т. Шурыгина**
Художественный редактор **Е. Ененко**
Технический редактор **А. Кашафутдинова**
Корректор **И. Лебедева**

ИБ № 6722

Сдано в набор 04.09.91. Подписано в печать 30.03.93. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 36,12. Усл. кр.-отт. 36,12. Уч.-изд. л. 38,74. Изд. № III-4243. Тираж 50 000 экз. Заказ № 3138. «С»-031.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Государственное ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Московское предприятие «Первая Образцовая типография» Министерства печати и информации Российской Федерации. 113054, Москва, Валовая, 28